

Илья Ильф
Евгений Петров

ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ



ЗОЛОТОЙ
ТЕЛЕНОК

ИСТОРИЯ ГОРОДА
КОЛОКОЛАМСКА



Полные версии в одном томе
с комментариями

БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ





Илья Ильф
Евгений Петров

ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ



ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК



НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ ГОРОДА КОЛОКОЛАМСКА



Алькор

*Совместный проект издательства СЗКЭО
и переплетной компании
ООО «Творческое объединение „Алькор“»*



Санкт-Петербург
СЗКЭО

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44
И48

Первые 100 пронумерованных экземпляров от общего тиража данного издания переплетены мастерами ручного переплета ООО «Творческое объединение „Алькор“».

Классический европейский переплет выполнен из натуральной кожи особой выделки растительного дубления. Инкрустация кожаной вставкой с полноцветной печатью.

Тиснение блинтовое, золотой и цветной фольгой.

6 бинтов на корешке ручной обработки.

Использовано шелковое ляссе, золоченый каптал из натуральной кожи, форзац и нахзац выполнены из дизайнерской бумаги Malmege с тиснением орнамента золотой фольгой. Обработка блока с трех сторон методом механического торшенирования с нанесением золотой матовой полиграфической фольги горячим способом.

Оформление обложки пронумерованных экземпляров разработано в ООО «Творческое объединение „Алькор“»

И48 **Ильф И., Петров Е.** Двенадцать стульев. Золотой теленок. — Санкт-Петербург: СЗКЭО, 2020. — 704 с., ил.

Настоящее полное издание текстов романов впервые воспроизводится по первым книжным публикациям «Двенадцати стульев» 1928 года и «Золотого теленка» 1933 года. В советское время романы неоднократно переиздавались, подвергаясь правкам, изменениям и существенным сокращениям.

Цикл новелл «Необыкновенные истории из жизни города Колоколамска» был опубликован в нескольких номерах журнала «Чудак» в 1928–1929 годах авторами под псевдонимом Ф. Толстоевский.

В приложении публикуется не включенная в основной текст романа «Двенадцать стульев» глава «Прошлое регистратора загса», впервые опубликованная в журнале «30 дней» в 1929 году как самостоятельный рассказ.

Великолепные иллюстрации к данному изданию выполнены победительницей конкурса профессиональных художников «Лермонтов-2014» Ольгой Граблевской.

ISBN 978-5-9603-0560-0 (7БЦ)
ISBN 978-5-9603-0561-7 (Кожаный переплет)

© СЗКЭО, 2020

© О. Граблевская,
иллюстрации, 2017

ИЛЬФ И ПЕТРОВ¹

Наше время чрезвычайно серьезно. Оно серьезно в своей радости потому, что основание нашей радости — это сознание постепенной победы на трудных и решающих путях, по которым идет наша страна. Оно серьезно в своем труде потому, что труд этот — напряженный и целью его является не только заработок куска хлеба, а построение нового мира, решение задачи, важной для всего человечества. Оно серьезно в своих скорбях опять-таки потому, что скорби наши — не мелкие обывательские огорчения, а какие-нибудь «неприятности», большие промашки, препятствия или потери на этом тяжелом и славном пути.

При таких обстоятельствах, при серьезности даже нашего веселья спрашивается: возможна ли у нас смешашая, смешная литература?

Один молодой исследователь из Коммунистической академии прочел в основанной мною при академии Комиссии по изучению сатирических жанров доклад, в котором он доказывал, что пролетариату, во всяком случае, чужд юмор. Он говорил так: сатира — это применение смеха с целью деградации, разрушения противника.

Пролетариату, после одержанной им победы, сатира уже не так нужна, как революционному классу во время его подъема. Сатира направляется больше снизу вверх, но у пролетариата все же еще много врагов, против которых он должен пользоваться оружием смеха, а в этом случае ему придется прибегать к сатире.

Не то юмор. Юмор, по указанию молодого исследователя (И. Нусинов), имеет своей целью смягчать противоположности. Юмористика отмечает нечто выходящее из ряда, нечто заслуживающее внимания, но не допускает насмешки, в которой было бы что-то жалящее, едкое. Она решает показанное явление в несерьезность, в нечто, к чему можно отнестись несерьезно. Это ни боевому пролетариату, ни пролетариату — строителю своего будущего, по мнению означенного мыслителя, совершенно не нужно.

Между тем у нас выходят книги сатирические и сатирические комедии. У нас существуют также и юмористические произведения.

Мало того, наши юмористы, даже такие несколько поверхностные, хотя и забавные, как Зоценко, пользуются успехом за границей. Этот самый Зо-

¹ Впервые напечатано в журнале «30 дней», 1931, № 8, август, с примечанием: «Статья тов. А. Луначарского является предисловием к американскому изданию книги И. Ильфа и Е. Петрова». Американское издание вышло в 1931 г. в издательстве «Фаррер и Рейнгарт».

Печатается по изданию: Луначарский А. В. Собрание сочинений: в 8 т. Т. 2. М.: Художественная литература, 1964.

щенко вырос в серьезного писателя, например, в Германии, где сочинения его разошлись множеством изданий.

Это значит, что наша юмористическая литература, которая у нас самих вызывает только беглую улыбку, оказывается на самом деле для окружающего мира настолько смешной, что делается одним из центров их общественного смеха.

Гораздо, однако, дальше Зоценко идут наши юмористы Ильф и Петров, совместно создавшие такой блестящий весельем роман, как «Двенадцать стульев».

«Двенадцать стульев» имеют европейский успех. Роман этот переведен почти на все европейские языки. В некоторых случаях, например, в той же Германии, он произвел впечатление настоящего события на рынке смеха.

Что и говорить, роман действительно заставляет хохотать.

Со мной был такой случай: я ехал из Москвы в Ленинград. В вагоне я заметил сравнительно пожилую женщину, которая, стесняясь окружающих, заливалась хохотом, всячески стараясь удержаться. Книжка, которую она читала, была сложена таким образом, что название нельзя было увидеть.

Сидящий против нее молодой человек, который все время улыбался, зараженный ее весельем, сказал: «Бьюсь об заклад, что вы читаете „Двенадцать стульев“».

Молодой человек, конечно, угадал.

Подходя к этому первому произведению наших юмористов, надо сказать, что оно действительно не было серьезно.

«Но еще бы, — скажет читатель, — сами говорите, что это — развеселая книжка, а потом говорите, что она несерьезна. Развеселая книжка не может быть серьезной». Нет, читатель, вы в этом ошибаетесь.

Смех может быть чрезвычайно серьезным, потому что, веселя, он в то же время разит: он придает чувство уверенности тому, кто смеется, и обливает ядом, более или менее жестоким, того, над кем смеются. Недаром французы говорят, что смеяться — это убивать. Мольер писал веселые комедии, а Вольтер — чрезвычайно веселые повести и рассказы, но оба они были чрезвычайно серьезными людьми, а Мольер даже человеком мрачным.

Ильф и Петров очень веселые люди. В них много молодости и силы. Им всякая пошлость жизни не импонирует, им, что называется, море по колено. Они сознают не только свою внутреннюю силу, а стало быть, свое превосходство над окружающей обывательщиной, над жизненной мелюзгой, над мелочным бытом, но они знают: эта сторона советского быта, эта мелочь, обывательщина являются только подонками нашего общества, только испачканным подолом одежд революции.

Они сознают, что дальше, за пеленой этих масок, курьезных событий, страстишек, жалких пороков и т. д. имеется совершенно другая жизнь героического напряжения. Поэтому они и веселы, поэтому они позволяют себе

позубоскальствовать над всякими жизненными явлениями того мизерного и карликового порядка, которых у нас, правда, сколько угодно.

Ведь дело в том, что гигантское плановое хозяйство, титаническое строительство нового мира врезалось в мещанскую Россию. А мещанская Россия от Гоголя через Успенского, Чехова до «Городка Окурова» Максима Горького оставалась все той же затхлою, жалкою, мелкою. И теперь она пришла в своеобразное кипение и, как может, реагирует на исполинское явление революции, и реагирует, конечно, невпопад.

Если она страдает и гибнет, то это нельзя взять всерьез, — почему же не гибнуть этому мусору, который история должна смести со своих путей? Если они волнуются или протестуют — все эти суждения и вытекающие отсюда поступки являются также лилипутской суетней «вокруг настоящего».

Вот почему Ильф и Петров в «Двенадцати стульях» позволили себе зубоскальствовать, не жалея никого, не бичуя, а просто хохоча во все горло над этим болотом, по которому революция шагает в своих семимильных ботфортах¹.

Однако авторам надо поставить в вину, что этого гиганта в семимильных ботфортах они не показали. Он только чувствуется сзади показанной ими картины, но на глаз иностранца, не знающего наших жизненных взаимоотношений, может, пожалуй, показаться, что наш нынешний СССР — это все та же «боже мой, какая грустная Россия» Гоголя², что, в сущности, это все тот же мир «Мертвых душ».

Конечно, сама мысль «Двенадцати стульев» по существу советская.

Однако известное добродушие, которое делает роман не сатирическим, а юмористическим, может навести людей, подобно напоминаемому мной Нусинову, на такую мысль:

— Зачем нам это изображение мелкоты? Эта мелкота отравляет воздух своими пакостями, заражая таким образом и будущее поколение. Она проникает, эта нечисть, во все части нашего великого механизма, помпы которого набирают новые кадры для будущего строительства, невольно черпая иногда при этом и грязную, мутную воду.

Смеяться над ними можно, и они заслуживают смеха, потому что это — несерьезные противники, но смеяться надо, бичуя их, с оттенком сарказма, гнева и презрения. Этого слишком мало у Ильфа и Петрова!

Я думаю, что сатирические «Скорпионы» вполне смогут быть направлены на обывательщину, на мещанство, на бюрократизм, которые подобно

¹ Луначарский использует выражение Маркса (см.: *Маркс К., Энгельс Ф.* Сочинения: в 39 т. Т. 1. М.: Изд-во политической литературы, 1954–1966. С. 444).

² По рассказу Гоголя, Пушкин, слушая «Мертвые души», «начал понемногу становиться все сумрачней, сумрачней, а наконец сделался совершенно мрачен. Когда же чтение кончилось, он произнес голосом тоски: «Боже, как грустна наша Россия!» (*Гоголь Н. В.* Полное собрание сочинений: в 14 т. Т. 8, М.—Л.: Изд-во АН СССР, 1937–1952. С. 294).

пыли, носящейся в воздухе, мешают здоровому дыханию разворачивающегося молодого организма.

Но, правда, когда авторы берутся за это дело, как например Эрдман в своей великолепной комедии «Мандат», очень легко сойти на юмор. Противник так мелок и жалок в своей духовной безличности, что смех, начиная с презрения, невольно скатывается к простой безоблачной веселости.

Но ведь победа и делает противника до такой степени несерьезным, что можно просто отпраздновать эту победу над ним гомерическим, беззаботным смехом, в котором сказывается собственная жизненная уверенность. Пусть придут другие, которые напишут сатиру на остатки старого человека, копошащегося под нами, но Ильф и Петров пишут об этом человеке юмористически. Беды в этом никакой нет. Уверенность подлинного советского человека только крепнет от этого. Но, повторяю, и иностранцу не следует упускать из виду перспективы. Было бы огромной ошибкой либо принять картины Ильфа и Петрова всерьез, как характеристику нашей жизни, или принять беззаботный смех Ильфа и Петрова за действительную готовность нашу примириться со всей этой разноцветной грязью.

Все это я говорю о романе «Двенадцать стульев», но все это относится к кое-какими переменами и оговорками и к роману «Золотой теленок».

«Золотой теленок» глубже, чем «Двенадцать стульев». В этом смысле он серьезнее, но он также богат неистощимым количеством курьезных случаев (большой частью записанных в памятную книжку в процессе бродяжничества по лицу нашей страны), богат также и потоками шуток, в самой неожиданной форме высмеивающих все стороны этого мелкотравчатого существования.

Притом же, как и в «Двенадцати стульях», авторы книги отпиливают для себя только ту часть жизни, которая является смешной, как бы отрезая именно тот грязный подол одежд революции, о которых я говорил выше. (А это опять чревато все теми же возможностями: принять этот человеческий отрезок за целое и подумать, что мы к его существованию относимся равнодушно и даже радостно.)

Но в «Золотом теленке» есть много положительных сторон, которые приводят всю систему романа в большее равновесие, чем это было в «Двенадцати стульях». Замысел здесь стройнее.

К числу положительных сторон романа, увлекающего своей буйной веселостью, беззаботной атмосферой смеха, нужно отнести проявление рядом с обывательщиной некоторых моментов настоящей жизни.

Так, например, вслед за карикатурным автомобильным пробегом Остапа Бендера и его друзей пролетает в ночи, сияя огнями, заражая быстротой, подлинный советский автомобильный пробег. Это выглядит эффектно и доказательно.

Так же точно поездка Бендера в погоню за его миллионером вместе с иностранцем-журналистом, едущим на открытие Турксиба, дает возможность авторам взглянуть на огромное серьезное дело, которое творится где-то за пределами достижения способного, но погрязшего в своих плутовских комбинациях, в своей пустоте остроумного Бендера.

В результате — большая серьезность и даже глубина этого романа, заключающего в себе некоторые новые понятия.

Хотя, как мы сказали, авторы и оставляют некоторые просветы в действительную, настоящую жизнь, все же читатель возвращается вместе с ними в лилипутском мире, в мире мелкой обывательщины.

Но в этом лилипутском мире есть свой гулливер, свой большой человек — это Остап Бендер. Этот необыкновенно ловкий и смелый, находчивый, по своему великодушный, обливающий насмешками, афоризмами, парадоксами все вокруг себя плут Бендер кажется единственно подлинным человеком среди этих микроскопических гадов.

Романы Ильфа и Петрова по прямой линии идут от плутовского романа древней Испании XV и XVI веков, от Лесажа, Бомарше и т. д.

Огромным явлением был плутовской роман в европейской литературе.

Но какое значение имели эти Жиль Блазы¹ и Фигаро² для того времени? Феодальный мир и даже сплав феодализма с торговым капиталом под эгидой монархии и церкви видимым образом разлагался. Общество, взрылленное денежными операциями и потерявшее прочную базу, беспорядочно и неудержимо валилось вниз.

На фоне этой разрухи и отчаяния, конвульсивных попыток полиции, и церкви, и аристократии, и упрочившихся буржуазных фирм, на фоне военных и торговых авантур, беспорядочной радуги конкуренции, афер и пороков по-является фигура плута, который ловчее других.

Он презирает то человеческое стадо, которое стрижет, уважая только себе подобных плутов, да и это — уважение собрата по мошенничеству, по отношению к моральным ценностям которого не может быть иллюзии.

Этот плут являлся иногда провозвестником дальнейшего движения буржуазии, дальнейших ее представителей, которые уже не войдут в трио: дворянство, церковь, негоцианты, которые своими дюжими плечами заставят посторониться феодализм или прогонят его в могилу.

Когда в «Свадьбе Фигаро» герой оказывается безмерно превосходящим по своему умению и ловкости всех других, вы видите, что это — фореитор

¹ Жиль Блас — герой романа французского писателя А.-Р. Лесажа «История Жиль Бласа из Сантльяны», изданного в 1715–1735 годах.

² Фигаро — герой трилогии французского драматурга Бомарше: «Севильский цирюльник», «Женитьба Фигаро» и «Преступная мать».

нового класса. При всей бессовестности и хитрости его вы сочувствуете ему. Он действительно положительный тип на фоне разложения старого режима. Но когда вы берете советскую действительность и спрашиваете себя, в каком отношении к советской действительности может находиться талантливый плут, то вы получите, конечно, совсем другой ответ. В самом деле, там — разлагающееся общество и на почве этого — юркий зародыш нового быта. Здесь — гигантское зарождение нового быта, и на почве его юркая индивидуальность может быть только микробом разложения.

Почему Остап Бендер не кажется нам отвратительным?

Потому, что Ильф и Петров перенесли его в атмосферу советского «подола», в атмосферу обывательского советского дна. Там он фигурирует как величина, а если он соприкоснется с настоящей жизнью, настоящая жизнь должна будет его раздавить как личность, тем более вредную, чем он способнее и чем более он «свободен от принципов». При этих условиях Остап Бендер, который все разлагает своей философией беспринципности, своим организмом очень умного комбинатора, начинает нас тревожить, как бы не вообразил кто-нибудь, что это — герой нашего времени, как бы Остап Бендер не оказался образчиком для юнцов, не перепрыгнувших еще своего болота.

На авторах лежит большая ответственность.

Оставить Бендера так, как они его оставили, — это значит не разрешить поставленной ими проблемы. Сделать Бендера обывателем — это значит насиловать его силу и ум.

Думаю, что оказаться ему строителем нового будущего очень и очень трудно, хотя при гигантской очищающей силе революционного огня подобные факты и возможны.

Оставить его плутом и повести дальше по линии разрушительного авантюризма — значит превратить его окончательно в бандита, в своеобразного беса, опасно вертящегося под ногами у строительства жизни. Дальнейшее сочувствие к такому типу явится уже элементом анархическим.

В такой позиции оставляют в конце романа авторы своего героя, который вырос в их руках постепенно в слишком большую величину.

Может быть, это окажется удачей, а может быть, это окажется наказанием за то, что авторы дали очень ловкому плуту возвращаться в нереальном мире, где только обыватели без строителей. В жизни этого нет! Это — только художественный прием, который немного фальшивит. В результате стерлись пропорции и даровитый хулиган Бендер вырос в героя.

Предостерегая читателей от неверных выводов, мы не можем не подчеркнуть еще вопроса о том, что «Золотой теленок» — роман, не только блестящий весельем, но роман, в котором много жизненной правды и который ставит серьезные жизненные проблемы и является шагом вперед по сравнению с «Двенадцатью стульями», уже приобретенными мировой интерес.

ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ



*ПОСВЯЩАЕТСЯ
ВАЛЕНТИНУ ПЕТРОВИЧУ КАТАЕВУ*



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ СТАРГОРОДСКИЙ ЛЕВ

ГЛАВА I Безенчук и «нимфы»

В уездном городе N было так много парикмахерских заведений и бюро похоронных процессий, что, казалось, жители города рождаются лишь затем, чтобы побриться, остричься, освежить голову вежеталем¹ и сразу же умереть. А на самом деле в уездном городе N люди рождались, брились и умирали довольно редко. Жизнь города N была тишайшей. Весенние вечера были упоительны, грязь под луною сверкала, как антрацит, и вся молодежь города до такой степени была влюблена в секретаршу месткома коммунальщиков, что это мешало ей собирать членские взносы.

Вопросы любви и смерти не волновали Ипполита Матвеевича Воробьянинова, хотя этими вопросами, по роду своей службы, он ведал с девяти утра до пяти вечера ежедневно, с получасовым перерывом для завтрака.

¹ *Вежталь* (от фр. *vegetal* — «растительный») — жидкость на спирте с примесью парфюмерных веществ для смачивания волос.

По утрам, выпив из морозного с жилкой стакана свою порцию горячего молока, поданного Клавдией Ивановной, он выходил из полутемного домика на просторную, полную диковинного весеннего света улицу «Имени товарища Губернского». Это была приятнейшая из улиц, какие встречаются в уездных городах. По левую руку, за волнистыми зеленоватыми стеклами, серебрились гробы похоронного бюро «Нимфа». Справа, за маленькими, с обвалившейся замазкой окнами, угрюмо возлежали дубовые пыльные и скучные гробы гробовых дел мастера Безенчука. Далее «Цирульный мастер Пьер и Константин» обещал своим потребителям «холоу ногтей» и «ондулясион¹ на дому». Еще дальше расположилась гостиница с парикмахерской, а за нею на большом пустыре стоял палевый теленок и нежно лизал поржавевшую, приклоненную к одиноко торчащим воротам вывеску:

«Погребальная контора „Милости просим“»

Хотя похоронных депо² было множество, но клиентура у них была небогатая. «Милости просим» лопнуло еще за три года до того, как Ипполит Матвеевич осел в городе N, а мастер Безенчук пил горькую и даже однажды пытался заложить в ломбарде свой лучший выставочный гроб.

Люди в городе N умирали редко, и Ипполит Матвеевич знал это лучше кого бы то ни было, потому что служил в ЗАГСе, где ведал столом регистрации смертей и браков.

Стол, за которым работал Ипполит Матвеевич, походил на старую надгробную плиту. Левый уголок его был уничтожен крысами. Хилые его ножки тряслись под тяжестью пухлых папок табачного цвета с записями, из которых можно было почерпнуть все сведения о родословных жителей города N и о генеалогических древах, произросших на скудной уездной почве.

В пятницу 15 апреля 1927 года Ипполит Матвеевич, как обычно, проснулся в половине восьмого и сразу же просунул нос в старомодное пенсне с золотой дужкой. Очков он не носил. Однажды, решив, что носить пенсне негигиенично, Ипполит Матвеевич направился к оптику и купил очки без оправы, с позолоченными оглоблями. Очки с первого раза ему понравились, но жена (это было незадолго до ее смерти) нашла, что в очках он — вылитый Милюков, и он отдал очки дворнику. Дворник, хотя и не был близорук, к очкам привык и носил их с удовольствием.

— Бонжур! — пропел Ипполит Матвеевич самому себе, спуская ноги с постели.

«Бонжур» указывало на то, что Ипполит Матвеевич проснулся в добром расположении. Сказанное при пробуждении «гут морген» обычно значило,

¹ *Ондулясион* (ондуляция (фр.) — «струистый», «волнистый») — завивка волос.

² Здесь *депо* в своем первоначальном значении — место для собрания, складирования и хранения каких-либо предметов с особой, определенной целью.

что печень пошаливает, что пятьдесят два года не шутка и что погода нынче сырая.

Ипполит Матвеевич сунул сухощавые ноги в довоенные штучные брюки¹, завязал их у щиколоток тесемками и погрузился в короткие мягкие сапоги с узкими квадратными носами. Через пять минут на Ипполите Матвеевиче красовался лунный жилет², усыпанный мелкой серебряной звездой, и переливчатый люстриновый пиджачок³. Смахнув со своих седин оставшиеся после умывания росинки, Ипполит Матвеевич зверски пошевелил усами, в нерешительности попробовал шероховатый подбородок, провел щеткой по коротко остриженным алюминиевым волосам и, учтиво улыбаясь, двинулся навстречу входившей в комнату теще — Клавдии Ивановне.

— Эпполе-эт, — прогремела она, — сегодня я видела дурной сон.

Слово «сон» было произнесено с французским прононсом.

Ипполит Матвеевич поглядел на тещу сверху вниз. Его рост доходил до 185 сантиметров, и с такой высоты ему легко и удобно было относиться к теще с некоторым пренебрежением.

Клавдия Ивановна продолжала:

— Я видела покойную Мари с распущенными волосами и в золотом кушаке.

От пушечных звуков голоса Клавдии Ивановны дрожала чугунная лампа с ядром, дробью и пыльными стеклянными цацками⁴.

— Я очень встревожена. Боюсь, не случилось бы чего.

Последние слова были произнесены с такой силой, что каре волос на голове Ипполита Матвеевича колыхнулось в разные стороны. Он сморщил лицо и раздельно сказал:

— Ничего не будет, маман. За воду вы уже вносили?

Оказывается, что не вносили. Калоши тоже не были помыты. Ипполит Матвеевич не любил своей тещи. Клавдия Ивановна была глупа, и ее преклонный возраст не позволял надеяться на то, что она когда-нибудь помнеет. Скупа она была до чрезвычайности, и только бедность Ипполита Матвеевича не давала развернуться этому захватывающему чувству. Голос у нее был такой силы и густоты, что ему позавидовал бы Ричард Львиное Сердце⁵. И, кроме того, что было самым ужасным: Клавдия Ивановна видела сны. Она видела их всегда. Ей снились девушки в кушаках, лошади,

¹ Штучные — сшитые на заказ.

² То же, что пикейный жилет, изготовленный из хлопка-пике (cotton-piqué) — хлопковой ткани с особым переплетением, образующим заметный лишь вблизи узор типа «птичий глаз», «ромбики» или «соты».

³ Люстрин (от фр. lustrine) — полушерстяная или шерстяная материя с глянцем.

⁴ Подвесная керосиновая лампа с противовесом в виде медного ядра, наполненного дробью.

⁵ В последующих редакциях романа добавлено: «от крика которого, как известно, приседали кони».

обшитые желтым драгунским кантом, дворники, играющие на арфах, архангелы в сторожевых тулупах, прогуливающиеся по ночам с колотушками в руках, и вязальные спицы, которые сами собой прыгали по комнате, производя огорчительный звон. Пустая старуха была Клавдия Ивановна. Вдобавок ко всему под носом у нее выросли усы, и каждый ус был похож на кисточку для бритья.

Ипполит Матвеевич, слегка раздраженный, вышел из дому. У входа в свое потасканное заведение стоял, прислонясь к дверному косяку и скрестив руки, гробовых дел мастер Безенчук. От систематических крахов своих коммерческих начинаний и от долговременного употребления внутрь горячительных напитков глаза мастера были ярко-желтыми, как у кота, и горели неугасимым огнем.

— Почет дорогому гостю! — прокричал он скороговоркой, завидев Ипполита Матвеевича. — С добрым утром!

Ипполит Матвеевич вежливо приподнял запятнанную кастановую шляпу¹.

— Как здоровье тещеньки, разрешите узнать?

— Мр-мр-мр, — неопределенно ответил Ипполит Матвеевич и, пожав прямыми плечами, проследовал дальше.

— Ну, дай бог здоровычка, — с горечью сказал Безенчук, — одних убытков сколько несем, туды его в качель!

И снова, скрестив руки на груди, прислонился к двери.

У врат похоронного бюро «Нимфа» Ипполита Матвеевича снова попрдержали.

Владельцев «Нимфы» было трое. Они враз поклонились Ипполиту Матвеевичу и хором осведомились о здоровье тещи.

— Здорова, здорова, — ответил Ипполит Матвеевич, — что ей делается! Сегодня золотую девушку видела, распущенную. Такое ей было видение во сне.

Три «нимфа» переглянулись и громко вздохнули.

Все эти разговоры задержали Ипполита Матвеевича в пути, и он против обыкновения пришел на службу тогда, когда часы, висевшие над лозунгом «Сделал свое дело — и уходи»², показывали пять минут десятого.

¹ Бобровый мех прежде поступал в торговлю в Западной Европе почти исключительно остриженным, и остриженная шерсть употреблялась для изготовления тончайших мужских шляп (кастановые шляпы), по-латыни род бобров — *Castor*.

² Лозунг лиги «Время» (ЛВ). ЛВ — организация, созданная в 1923 году в СССР при поддержке основателя русской школы тайм-менеджмента и научной организации труда Платона Михайловича Керженцева. Задачи лиги были сформулированы в ее уставе весьма кратко: «борьба за правильное использование и экономию времени во всех проявлениях общественной и частной жизни, как основное условие для осуществления принципов научной организации в СССР». Прекратила свое существование в 1926 году. Члены ЛВ выступали за ликвидацию таких «убийц»



Ипполита Матвеевича за большой рост, а особенно за усы, прозвали в учреждении Мацистом¹, хотя у настоящего Мациста никаких усов не было.

Вынув из ящика стола синюю войлочную подушечку, Ипполит Матвеевич положил ее на стол, придал усам правильное направление (параллельно линии стола) и сел на подушечку, несколько возвышаясь над тремя своими сослуживцами. Ипполит Матвеевич не боялся геморроя, он боялся протереть брюки и потому пользовался синим войлоком.

За всеми манипуляциями советского служащего застенчиво следили двое молодых людей — мужчина и девица. Мужчина, в суконном, на вате пиджаке, был совершенно подавлен служебной обстановкой, запахом ализариновых чернил², часами, которые часто и тяжело дышали, а в особенности строгим плакатом «Сделал свое дело — и уходи». Хотя дела своего мужчина в пиджаке еще и не начинал, но уйти ему уже хотелось. Ему казалось, что дело, по которому он пришел, настолько незначительно, что из-за него совестно беспокоить такого видного седого гражданина, каким был Ипполит Матвеевич. Ипполит Матвеевич и сам понимал, что у пришедшего дело маленькое, что оно терпит, а потому, раскрыв скоросшиватель № 2 и дернув щечкой, углубился в бумаги. Девица, в длинном жакете, обшитом блестящей черной тесьмой, пошептала с мужчиной и, теплея от стыда, стала медленно подвигаться к Ипполиту Матвеевичу.

— Товарищ, — сказала она, — где тут...

Мужчина в пиджаке радостно вздохнул и неожиданно для самого себя гаркнул:

— Сочетаться!

Ипполит Матвеевич внимательно поглядел на перильца, за которыми стояла чета.

— Рождение? Смерть?

— Сочетаться, — повторил мужчина в пиджаке и растерянно оглянулся по сторонам.

Девица прыснула. Дело было на мази. Ипполит Матвеевич с ловкостью фокусника принялся за работу. Записал старушечьим почерком имена новобрачных в толстые книги, строго допросил свидетелей, за которыми невеста сбегала во двор, долго и нежно дышал на квадратные штампы и,

времени», как митинги, заседания с бессмысленными обсуждениями политической доктрины, опоздания, затяжные перекуры. Передвигали станки и письменные столы для сокращения перемещений сотрудников, вели учет личного и рабочего времени с помощью хронокарт. Почетными председателями ЛВ были В. И. Ленин и Л. Д. Троцкий.

¹ *Мацист* — один из персонажей немого итальянского художественного фильма «Кабирия» 1914 года, первого масштабного исторического фильма из истории Древнего Рима, раб, непобедимый великан.

² *Фиолетовые чернила на основе ализарина* — краска, приготовляемая из антрацена и добываемая фабричным путем из каменноугольного дегтя, с соответствующим запахом.

привстав, оттискивал их на потрепанных паспортах. Приняв от молодежи два рубля и выдавая квитанцию, Ипполит Матвеевич сказал, усмехнувшись: «За совершение таинства», и поднялся во весь свой прекрасный рост, по привычке выкатив грудь (в свое время он нашивал корсет). Толстые желтые лучи солнца лежали на его плечах, как эполеты. Вид у него был несколько смешной, но необыкновенно торжественный. Двояковогнутые стекла пенсне лучились белым прожекторным светом. Молодые стояли как барашки.

— Молодые люди, — заявил Ипполит Матвеевич выпренно, — позвольте вас поздравить, как говаривалось раньше, с законным браком. Очень, очень приятно видеть таких молодых людей, как вы, которые, держась за руки, идут к достижению вечных идеалов. Очень, очень приятно!

Произнесши эту тираду, Ипполит Матвеевич пожал новобрачным руки, сел и, весьма довольный собою, продолжал чтение бумаг из скоросшивателя № 2.

За соседним столом служащие хрюкнули в чернильницы.

Началось спокойное течение служебного дня. Никто не тревожил стол регистрации смертей и браков. В окно было видно, как граждане, поеживаясь от весеннего холодка, разбредались по своим домам. Ровно в полдень запел петух в кооперативе «Плуг и молот». Никто этому не удивился. Потом раздались металлическое кряканье и клекот мотора. С улицы «Имени товарища Губернского» выкатился плотный клуб фиолетового дыма. Клекот усилился. Из-за дыма вскоре появились контуры уисполкомовского¹ автомобиля Гос. № 1 с крохотным радиатором и громоздким кузовом. Автомобиль, барахтаясь в грязи, пересек Старопанскую площадь и, колыхаясь, исчез в ледовитом дыму². Служащие долго еще стояли у окна, комментируя происшествие и ставя его в связь с возможным сокращением штата. Через некоторое время по деревянным мосткам осторожно прошел мастер Безенчук. Он целыми днями шатался по городу, выпытывая, не умер ли кто.

Наступил узаконенный получасовой перерыв для завтрака. Раздалось полновзвучное чавканье. Старушку, пришедшую регистрировать внучонка, отогнали на середину площади.

Переписчик Сапежников начал досконально уже всем известный цикл охотничьих рассказов. Весь смысл их сводился к тому, что на охоте приятно и даже необходимо пить водку. Ничего больше от переписчика нельзя было добиться.

— Ну, вот-с, — иронически сказал Ипполит Матвеевич, — вы толь-

¹ Здесь и далее, например, в слове «умиляция», буква у в начале слова означает уездный.

² Имеется в виду прозрачный бело-голубоватый дым из выхлопной трубы.

ко что изволили сказать, что раздавили эти самые две полбутылки...¹ Ну, а дальше что?

— Дальше?... А дальше я и говорю, что по зайцу нужно бить крупной дробью... Ну, вот... Проспорил мне на этом Григорий Васильевич диковинку... Ну и вот, раздавили мы диковинку и еще соточкой смочили. Так было дело.

Ипполит Матвеевич раздраженно хмыкнул.

— Ну, а зайцы как? Стреляли вы по ним крупной дробью?

— Вы подождите, не перебивайте. Тут подъезжает на телеге Донников, а у него, бродяги, под соломой целый «гусь» запряган, четвертуха вина...

Сапежников захохотал, обнажив светлые десны.

— Вчетвером целого гуся одолели и легли спать, тем более — на охоту чуть свет выходить надо. Утром встаем. Темно еще, холодно. Одним словом, драже прохладительное... Ну, у меня полшишки нашлось. Выпили. Чувствуем — не хватает. Драманж! Баба двадцатку донесла. Была там в деревне колдовница такая — вином торгует...

— Когда же вы охотились-то, позвольте полюбопытствовать?

— А тогда ж и охотились... Что с Григорий Васильевичем делалось! Я, вы знаете, никогда не блюю... И даже еще мерзавчика раздавил для легкости. А Донников, бродяга, опять на телеге укатил. Не расходитесь, говорит, ребята. Я сейчас еще кой-чего доведу. Ну, и довед, конечно. И все сороковками — других в «Молоте» не было. Даже собак напоили...

— А охота?! Охота! — закричали все.

— С пьяными собаками какая же охота? — обижаясь, сказал Сапежников.

— М-мальчишка! — прошептал Ипполит Матвеевич и, негодуя, направился к своему столу.

Этим узаконенный получасовой перерыв для завтрака завершился².

Служебный день подходил к концу. На соседней желтенькой с белым колокольне что есть мочи забили в колокола. Дрожали стекла. С колокольни посыпались галки, помитинговали над площадью и унесли. Вечернее небо леденело над опустевшей площадью.

В канцелярию вошел рыжий бородатый милиционер в форменной фуражке и в тулупе с косматым воротником. Под мышкой он осторожно держал маленькую разносную книгу в засаленном холщовом переплете. Застенчиво

¹ Основная русская дометрическая единица измерения объема жидкостей, примерно равная 12,299 литрам — ведро (казённое ведро). 1 ведро = 10 штофам (кружкам) = 16 винным бутылкам = 20 водочным или пивным бутылкам (полуштофам) = 100 чаркам = 200 шкаликам. В рассказе Сапежникова фигурируют народные названия емкостей водки: гусь — бутылка с удлиненным горлом — то же что и четвертуха ($\frac{1}{4}$ ведра), диковинка, шишка, то же, что и винная бутылка ($\frac{1}{16}$ ведра), двадцатка ($\frac{1}{20}$ ведра), полбутылки или сороковка ($\frac{1}{40}$ ведра), соточка, то же что и чарка ($\frac{1}{100}$ ведра), мерзавчик, то же что и шкалик ($\frac{1}{200}$ ведра).

² Рассказ Сапежникова об охоте был изъят из последующих изданий романа, современный читатель может заметить параллели с фильмом А. Рогожкина «Особенности национальной охоты».

стуча своими слоновыми сапогами, милиционер подошел к Ипполиту Матвеевичу и налег грудью на тщедушные перильца.

— Здорово, товарищ, — густо сказал милиционер, доставая из разносной книги большой документ, — товарищ начальник до вас прислал, доложить на ваше распоряжение, чтоб зарегистрировать.

Бумага была такого содержания:

«Служебная записка. В загс. Тов. Воробьянинов! Будь добрый. У меня как раз сын родился. В 3 часа 15 минут утра. Так ты его зарегистрируй вне очереди, без излишней волокиты. Имя сына — Иван, а фамилия моя. С коммунистическим пока Замначальника Умилиции Перервин».

Ипполит Матвеевич заспешил и без излишней волокиты, а также вне очереди (тем более, что ее никогда и не бывало) зарегистрировал дитя умилиции.

От милиционера пахло табаком, как от Петра Великого, и деликатный Ипполит Матвеевич свободно вздохнул лишь тогда, когда милиционер ушел.

Пора было уходить и Ипполиту Матвеевичу. Все, что имело родиться в этот день, родилось и было записано в толстые книги. Все желающие повенчаться были повенчаны и тоже записаны в толстые книги. И не было лишь, к явному разорению гробовщиков, ни одного смертного случая. Ипполит Матвеевич сложил дела, спрятал в ящик войлочную подушечку, распушил гребенкой усы и уже было, мечтая об огнедышащем супе, собрался пойти прочь, — как дверь канцелярии распахнулась и на пороге ее появился гробовых дел мастер Безенчук.

— Почет дорогому гостю, — улыбнулся Ипполит Матвеевич. — Что скажешь?

Хотя дикая рожа мастера и сияла в наступивших сумерках, но сказать он ничего не смог.

— Ну? — спросил Ипполит Матвеевич более строго.

— «Нимфа», туды ее в качель, разве товар дает? — смутно молвил гробовой мастер. — Разве ж она может покупателя удовлетворить? Гроб — он одного лесу сколько требует...

— Чего? — спросил Ипполит Матвеевич.

— Да вот «Нимфа»... Их три семейства с одной торговлишки живут. Уже у них и матерьял не тот, и отделка похуже, и кисть жидкая, туды ее в качель. А я — фирма старая. Основан в 1907 году. У меня гроб — огурчик, отборный, любительский...

— Ты что же это, с ума сошел? — кротко спросил Ипполит Матвеевич и двинулся к выходу. — Обалдеешь ты среди своих гробов.

Безенчук предупредительно рванул дверь, пропустил Ипполита Матвеевича вперед, а сам увязался за ним, дрожа как бы от нетерпения.

— Еще когда «Милости просим» были, тогда верно! Против ихнего гла-

зету¹ ни одна фирма, даже в самой Твери, выстоять не могла, туды ее в качель. А теперь, прямо скажу, лучше моего товару нет. И не ищите даже.

Ипполит Матвеевич с гневом обернулся, посмотрел секунду на Безенчука сердито и зашагал несколько быстрее. Хотя никаких неприятностей по службе с ним сегодня не произошло, но почувствовал он себя довольно гадостно.

Три владельца «Нимфы» стояли у своего заведения в тех же позах, в каких Ипполит Матвеевич оставил их утром. Казалось, что с тех пор они не сказали друг другу ни слова, но разительная перемена в лицах, таинственная удовлетворенность, темно мерцавшая в их глазах, показывала, что им известно кое-что значительное.

При виде своих коммерческих врагов Безенчук отчаянно махнул рукой, остановился и зашептал вслед Воробьянинову:

— Уступлю за тридцать два рублика.

Ипполит Матвеевич поморщился и ускорил шаг.

— Можно в кредит, — добавил Безенчук.

Трое же владельцев «Нимфы» ничего не говорили. Они молча устремились вслед за Воробьяниновым, непрерывно снимая на ходу картузы и вежливо кланяясь.

Рассерженный вконец глупыми приставаниями гробовщиков, Ипполит Матвеевич быстрее обыкновенного взбежал на крыльцо, раздраженно соскреб о ступеньку грязь и, испытывая сильнейшие приступы аппетита, вошел в сени. Навстречу ему из комнаты вышел пышущий жаром священник церкви Фрола и Лавра, отец Федор. Подобрал правой рукой рясу и не замечая Ипполита Матвеевича, отец Федор пронесся к выходу.

Тут Ипполит Матвеевич заметил излишнюю чистоту, новый, режущий глаза беспорядок в расстановке немногочисленной мебели и ощутил щекотание в носу, происшедшее от сильного лекарственного запаха. В первой комнате Ипполита Матвеевича встретила соседка, агрономша Кузнецова. Она зашептала и замахала руками.

— Ей хуже, она только что исповедовалась. Не стучите сапогами.

— Я не стучу, — покорно ответил Ипполит Матвеевич. — Что же случилось?

Мадам Кузнецова подобрала губы и показала рукой на дверь второй комнаты.

— Сильнейший сердечный припадок.

И, повторяя явно чужие слова, понравившиеся ей своей значительностью, добавила:

— Не исключена возможность смертельного исхода. Я сегодня весь день

¹ Глазет (от фр. glasse — букв. «лощенный») — сорт парчи с вытканными на ней блестящими золотыми или серебряными узорами.

на ногах. Прихожу утром за мясорубкой, смотрю: дверь открыта, в кухне никого, в этой комнате тоже, ну, я думаю, что Клавдия Ивановна пошла за мукой для куличей. Она давеча собиралась. Мука теперь, сами знаете, если не купишь заранее...

Мадам Кузнецова долго еще рассказывала бы про муку, про дороговизну и про то, как она нашла Клавдию Ивановну лежащей у изразцовой печки в совершенно мертвенном состоянии, но стон, раздавшийся из соседней комнаты, больно поразил слух Ипполита Матвеевича. Он быстро перекрестился слегка онемевшей рукой и прошел в комнату тещи.

ГЛАВА II

Кончина мадам Петуховой

Клавдия Ивановна лежала на спине, подсунув одну руку под голову. Голова ее была в чепце интенсивно-абрикосового цвета, который был в какой-то моде в каком-то году, когда дамы носили «шантеклер»¹ и только начинали танцевать аргентинский танец «танго».

Лицо Клавдии Ивановны было торжественно, но ровно ничего не выражало. Глаза смотрели в потолок.

— Клавдия Ивановна! — позвал Воробьянинов.

Теща быстро зашевелила губами, но, вместо привычных уху Ипполита Матвеевича трубных звуков, он услышал стон, тихий, тонкий и такой жалостный, что сердце его дрогнуло. Блестящая слеза неожиданно быстро выкатилась из глаза и, словно ртуть, скользнула по лицу.

— Клавдия Ивановна, — повторил Воробьянинов, — что с вами?

Но он снова не получил ответа. Старуха закрыла глаза и слегка завалилась набок.

В комнату тихо вошла агрономша и увела его за руку, как мальчика, которого ведут мыться.

— Она заснула. Врач не велел ее беспоко-



¹ В конце 1900-х годов распространилась мода на шляпки с гребешком из фазаньих перьев и платья с длинным «хвостом». Их именовали «шантеклер» (дословно «певец зари», петух) по названию пьесы Эдмона Ростана.

ить. Вы, голубчик, вот что — сходите в аптеку. Нате квитанцию и узнайте, почему пузыри для льда.

Ипполит Матвеевич во всем покорился мадам Кузнецовой, чувствуя ее неоспоримое превосходство в подобных делах.

До аптеки бежать было далеко. По-гимназически, зажав в кулаке рецепт, Ипполит Матвеевич торопливо вышел на улицу.

Было уже почти темно. На фоне иссякающей зари виднелась тщедушная фигурка гробовых дел мастера Безенчука, который, прислонясь к еловым воротам, закусывал хлебом и луком. Тут же рядом сидели на корточках три «нимфа» и, облизывая ложки, ели из чугунного горшочка гречневую кашу. При виде Ипполита Матвеевича гробовщики вытянулись как солдаты. Безенчук обидчиво пожал плечами и, протянув руку в направлении конкурентов, проворчал:

— Пугаются, туды их в качель, под ногами.

Посреди Старопанской площади, у бюстика поэта Жуковского с высеченной на цоколе надписью: «Поэзия есть бог в святых мечтах земли», велись оживленные разговоры, вызванные известием о тяжелой болезни Клавдии Ивановны. Общее мнение собравшихся горожан сводилось к тому, что «все там будем» и что «бог дал, бог и взял».

Парикмахер «Пьер и Константин», охотно отзывавшийся, впрочем, на имя «Андрей Иванович», и тут не упустил случая выказать свои познания в медицинской области, почерпнутые им из московского журнала «Огонек».

— Современная наука, — говорил Андрей Иванович, — дошла до невозможного. Возьмите: скажем, у клиента прыщик на подбородке вскочил. Раньше до заражения крови доходило, а теперь в Москве, говорят, — не знаю, правда это или неправда, — на каждого клиента отдельная стерилизованная кисточка полагается.

Граждане протяжно вздохнули.

— Это ты, Андрей, малость захватил...

— Где же это видано, чтоб на каждого человека отдельная кисточка? Выдумает же!

Бывший пролетарий умственного труда, а ныне палаточник Прусис даже разнервничался.

— Позвольте, Андрей Иванович, в Москве, по данным последней переписи, больше двух миллионов жителей. Так, значит, нужно больше двух миллионов кисточек? Довольно оригинально!

Разговор принимал горячие формы и черт знает до чего дошел бы, если б в конце Осыпной улицы не показался бегущий иноходью Ипполит Матвеевич.

— Опять в аптеку побежал. Плохи дела, значит.

— Помрет старуха. Недаром Безенчук по городу сам не свой бегаёт.

— А доктор что говорит?

— Что доктор! В страхкассе разве доктора? И здорового залечат!

«Пьер и Константин», давно уже порывавшийся сделать сообщение на медицинскую тему, заговорил, опасливо оглянувшись по сторонам:

— Теперь вся сила в гемоглобине.

Сказав это, «Пьер и Константин» умолк.

Замолчали и горожане, каждый по-своему размышляя о таинственных силах гемоглобина.

Когда поднялась луна и ее мятный свет озарил миниатюрный бюстик Жуковского, на медной его спине можно было ясно разобрать написанное мелом краткое ругательство. Впервые подобная надпись появилась на бюстике 15 июня 1897 года, в ночь, наступившую непосредственно после открытия памятника. И как представители полиции, а впоследствии милиции, ни старались, хулительная надпись аккуратно возобновлялась каждый день.

В деревянных, с наружными ставнями, домиках уже пели самовары. Был час ужина. Граждане не стали понапрасну терять время и разошлись. Подул ветер.

Между тем Клавдия Ивановна умирала. Она то просила пить, то говорила, что ей нужно встать и сходить за отданными в починку парадными штроблетами Ипполита Матвеевича, то жаловалась на пыль, от которой, по ее словам, можно было задохнуться, то просила зажечь все лампы.

Ипполит Матвеевич, который уже устал волноваться, ходил по комнате. В голову ему лезли неприятные хозяйственные мысли. Он думал о том, как придется брать в кассе взаимопомощи аванс, бегать за попом и отвечать на соболезнующие письма родственников. Чтобы рассеяться немного, Ипполит Матвеевич вышел на крыльцо. В зеленом свете луны стоял гробовых дел мастер Безенчук.

— Так как же прикажете, господин Воробьянинов? — спросил мастер, прижимая к груди картуз.

— Что ж, пожалуй, — угрюмо ответил Ипполит Матвеевич.

— А «Нимфа», туды ее в качель, разве товар дает! — заволновался Безенчук.

— Да пошел ты к черту! Надоел!

— Я ничего. Я насчет кистей и глазета. Как сделать, туды ее в качель? Первый сорт, прима? Или как?

— Без всяких кистей и глазетов. Простой деревянный гроб. Сосновый. Понял?

Безенчук приложил палец к губам, показывая этим, что он все понимает, повернулся и, балансируя картузом, но все же шатаясь, отправился восвояси. Тут только Ипполит Матвеевич заметил, что гробовой мастер смертельно пьян.

На душе Ипполита Матвеевича снова стало необыкновенно гадостно. Он не представлял себе, как будет приходиться в опустевшую, замусоренную квартиру. Ему казалось, что со смертью тещи исчезнут те маленькие удобства и привычки, которые он с усилиями создал себе после революции, похитившей у него большие удобства и широкие привычки. «Жениться? — подумал Ипполит Матвеевич. — На ком? На племяннице начальника умилиции, на Варваре Степановне, сестре Прусиса? Или, может быть, нанять домработницу? Куда там! Затаскает по судам. Да и накладно».

Жизнь сразу почернела в глазах Ипполита Матвеевича. Полный негодования и отвращения ко всему на свете, он снова вернулся в дом.

Клавдия Ивановна уже не бредила. Высоко лежа на подушках, она поглядывала на вошедшего Ипполита Матвеевича вполне осмысленно и, как ему показалось, даже строго.

— Ипполит, — прошептала она явственно, — сядьте около меня. Я должна рассказать вам...

Ипполит Матвеевич с неудовольствием сел, вглядываясь в похудевшее усатое лицо тещи. Он попытался улыбнуться и сказать что-нибудь ободряющее. Но улыбка получилась дикая, а ободряющих слов совсем не нашлось. Из горла Ипполита Матвеевича вырвалось лишь неловкое пиканье.

— Ипполит, — повторила теща, — помните вы наш гостиный гарнитур?

— Какой? — спросил Ипполит Матвеевич с предупредительностью, возможной лишь к очень больным людям.

— Тот... Обитый английским ситцем...

— Ах, это в моем доме?

— Да, в Старгороде...

— Помню, отлично помню... Диван, дюжина стульев и круглый столик о шести ножках. Мебель была превосходная, гамбсовская... А почему вы вспомнили?

Но Клавдия Ивановна не смогла ответить. Лицо ее медленно стало покрываться купоросным цветом. Захватило почему-то дух и у Ипполита Матвеевича. Он отчетливо вспомнил гостиную в своем особняке, симметрично расставленную ореховую мебель с гнутыми ножками, начищенный восковой пол, старинный коричневый рояль и овальные черные рамочки с дагерротипами сановных родственников на стенах.

Тут Клавдия Ивановна деревянным, равнодушным голосом сказала:

— В сиденье стула я зашила свои бриллианты.

Ипполит Матвеевич покосился на старуху.

— Какие бриллианты? — спросил он машинально, но тут же спохватился. — Разве их не отобрали тогда, во время обыска?

— Я зашила бриллианты в стул, — упрямо повторила старуха.



Ипполит Матвеевич вскочил и, посмотрев на освещенное керосиновой лампой каменное лицо Клавдии Ивановны, понял, что она не бредит.

— Ваши бриллианты! — закричал он, пугаясь силы своего голоса. — В стул! Кто вас надуумил? Почему вы не дали их мне?

— Как же было дать вам бриллианты, когда вы пустили по ветру имя моей дочери? — спокойно и зло молвила старуха.

Ипполит Матвеевич сел и сейчас же снова встал. Сердце его с шумом рассылало потоки крови по всему телу. В голове начало гудеть.

— Но вы их вынули оттуда? Они здесь?

Старуха отрицательно покачала головой.

— Я не успела. Вы помните, как быстро и неожиданно нам пришлось бежать. Они остались в стуле, который стоял между терракотовой лампой и камином.

— Но ведь это же безумие! Как вы похожи на свою дочь! — закричал Ипполит Матвеевич полным голосом.

И уже не стесняясь тем, что находится у постели умирающей, с грохотом отодвинул стул и засеменял по комнате. Старуха безучастно следила за действиями Ипполита Матвеевича.

— Но вы хотя бы представляете себе, куда эти стулья могли попасть? Или вы думаете, быть может, что они смиренхонько стоят в гостиной моего дома и ждут, покуда вы придете забрать ваши р-регалии?

Старуха ничего не ответила.

У делопроизводителя загса от злобы свалилось с носа пенсне и, мелькнув у колен золотой своей дужкой, грянулось об пол.

— Как? Засадить в стул бриллиантов на семьдесят тысяч! В стул, на котором неизвестно кто сидит!..

Но тут Клавдия Ивановна всхлипнула и подалась всем корпусом к краю кровати. Рука ее, описав полукруг, пыталась ухватить Ипполита Матвеевича, но тотчас же упала на стеганое фиолетовое одеяло.

Ипполит Матвеевич, повизгивая от страха, бросился к соседке.

— Умирает, кажется!

Агрономша деловито перекрестилась и, не скрывая своего любопытства, вместе с мужем, бородатым агрономом, побежала в дом Ипполита Матвеевича. Сам Воробьянинов ошеломленно забрел в городской сад.

Покуда чета агрономов со своей прислугой прибирали в комнате покойной, Ипполит Матвеевич бродил по саду, натываясь на скамьи и принимая окаменевшие от ранней весенней любви парочки за кусты.

В голове Ипполита Матвеевича творилось черт знает что. Звучали цыганские хоры, грудастые дамские оркестры беспрерывно исполняли «танго-амапа», представлялись ему московская зима и черный длинный рысак, презрительно хрюкающий на пешеходов. Много представлялось Ипполиту Матвеевичу: и оранжевые упоительно дорогие кальсоны, и лакейская преданность, и возможная поездка в Тулузу.

Ипполит Матвеевич зашагал медленнее и вдруг споткнулся о тело гробовых дел мастера Безенчука. Мастер спал, лежа в тулупе поперек садовой дорожки. От толчка он проснулся, чихнул и живо встал.

— Не извольте беспокоиться, господин Воробьянинов, — сказал он горячо, как бы продолжая начатый давеча разговор. — Гроб — он работу любит.

— Умерла Клавдия Ивановна, — сообщил заказчик.

— Ну, царствие небесное, — согласился Безенчук. — Преставилась, значит, старушка... Старушки, они всегда преставляются... Или богу душу отдают, — это смотря какая старушка. Ваша, например, маленькая и в теле, — значит преставилась. А, например, которая покрупнее да похудее — та, считается, богу душу отдает...

— То есть как это считается? У кого это считается?

— У нас и считается. У мастеров. Вот вы, например, мужчина видный, возвышенного роста, хотя и худой. Вы, считается, ежели, не дай бог, помрете, что в ящик сыграли. А который человек торговый, бывшей купеческой гильдии, тот, значит, приказал долго жить. А если кто чином поменьше, дворник, например, или кто из крестьян, про того говорят: перекинулся или ноги протянул. Но самые могучие когда помирают, железнодорожные кондуктора или из начальства кто, то считается, что дуба дают. Так про них и говорят: «А наш-то, слышали, дуба дал».

Потрясенный этой несколько странной классификацией человеческих смертей, Ипполит Матвеевич спросил:

— Ну, а когда ты померешь, как про тебя мастера скажут?

— Я — человек маленький. Скажут: «Гигнулся Безенчук». А больше ничего не скажут.

И строго добавил:

— Мне дуба дать или сыграть в ящик — невозможно: у меня комплекция мелкая... А с гробом как, господин Воробьянинов? Неужто без кистей и глазету ставить будете?

Но Ипполит Матвеевич, снова потонув в ослепительных мечтах, ничего не ответил и двинулся вперед. Безенчук последовал за ним, подсчитывая что-то на пальцах и, по обыкновению, бормоча.

Луна давно сгинула. Было по-зимнему холодно. Лужи снова затянуло ломким вафельным льдом. На улице «Имени товарища Губернского», куда вышли спутники, ветер дрался с вывесками. Со стороны Старопанской площади, со звуками опускаемой шторы, выехал пожарный обоз на тощих лошадях.

Пожарные, свесив парусиновые ноги с площадки мотали головами в касках и пели нарочито противными голосами:

Нашему брандмейстеру слава,

Нашему дорогому товарищу Насосову сла-ава!..

— На свадьбе у Кольки, брандмейстера сына, гуляли, — равнодушно сказал Безенчук и почесал под тулупом грудь. — Так неужто без глазету и без всего делать?

Как раз к этому времени Ипполит Матвеевич уже решил все. «Поеду, — решил он, — найду. А там посмотрим» И в брильянтовых мечтах даже покойница теща показалась ему милее, чем была. Он повернулся к Безенчуку:

— Черт с тобой! Делай! Глазетовый! С кистями!

ГЛАВА III

«Зерцало грешного»

Исповедав умирающую Клавдию Ивановну, священник церкви Фрола и Лавра, отец Федор Востриков, вышел из дома Воробьянинова в полном ажиотаже и всю дорогу до своей квартиры прошел, рассеянно глядя по сторонам и смущенно улыбаясь. К концу дороги рассеянность его дошла до такой степени, что он чуть было не угодил под уисполкомовский автомобиль Гос. № 1. Выбравшись из фиолетового тумана, напущенного адской машиной, отец Востриков пришел в совершенное расстройство и, несмотря на почтенный сан и средние годы, проделал остаток пути фривольным полугалопом.

Матушка Катерина Александровна накрывала к ужину. Отец Федор, в свободные от всеобщей ночи дни, любил ужинать рано. Но сейчас, сняв шляпу и теплую, на ватине, рясу, батюшка быстро проскочил в спальню, к удивлению матушки, заперся там и глухим голосом стал напевать «Достойно есть».

Матушка присела на стул и боязливо зашептала:

— Новое дело затеял...

Порывистая душа отца Федора не знала покоя. Не знала она его никогда. Ни тогда, когда он был воспитанником духовного училища, Федей, ни когда он был усатым семинаристом, Федором Ивановичем. Перейдя из семинарии в университет и проучившись на юридическом факультете три года, Востриков в 1915 году убоился возможной мобилизации и снова пошел по духовной. Сперва был рукоположен в диаконы, а потом посвящен в сан священника и назначен в уездный город N. И всегда, во всех этапах духовной и гражданской карьеры, отец Федор оставался стяжателем.

Мечтал отец Востриков о собственном свечном заводе. Терзаемый видением больших заводских барабанов, наматывающих толстые восковые канаты, отец Федор изобретал различные проекты, осуществление которых должно было доставить ему основной и оборотный капиталы для покупки давно присмотренного в Самаре заводика.

Идеи осеняли отца Федора неожиданно, и он сейчас же принимался за работу. Отец Федор начинал варить мраморное стирочное мыло; наваривал его пуды, но мыло, хотя и заключало в себе огромный процент жиров, не мылилось и вдобавок стоило втрое дороже, чем «плуг-и-молотовское».



Мыло долго потом мякло и разлагалось в сених, так что Катерина Александровна, проходя мимо него, даже всплакивала. А еще потом мыло выбрасывали в выгребную яму.

Прочитав в каком-то животноводческом журнале, что мясо кроликов нежно, как у цыпленка, что плодятся они во множестве и что разведение их может принести рачительному хозяину немалые барыши, отец Федор немедленно обзавелся подюжиной производителей, и уже через два месяца собака Нерка, испуганная невероятным количеством ушастых существ, заполнивших двор и дом, сбежала неизвестно куда. Проклятые обыватели города N оказа-

лись чрезвычайно консервативными и с редким единодушием не покупали у Вострикова ни одного кролика. Тогда отец Федор, переговорив с попадьей, решил украсить свое меню кроликами, мясо которых превосходит по вкусу мясо цыплят. Из кроликов приготавливали: жаркое, битки, пожарские котлеты; кроликов варили в супе, подавали к ужину в холодном виде и запекали в бабки¹. Это не привело ни к чему. Отец Федор подсчитал, что при переходе исключительно на кроличий паек семья сможет съесть за месяц не больше сорока животных, в то время как ежемесячный приплод составляет девяносто штук, причем число это с каждым месяцем будет увеличиваться в геометрической прогрессии.

Тогда Востриковы решили давать домашние обеды. Отец Федор весь вечер писал химическим карандашом на аккуратно нарезанных листках арифметической бумаги объявление о даче вкусных домашних обедов, приготавливаемых исключительно на свежем коровьем масле. Объявление начиналось словами: «Дешево и вкусно». Попадья наполнила эмалированную мисочку мучным клейстером, и отец Федор поздно вечером налепил объявления на всех телеграфных столбах и поблизости советских учреждений.

Новая затея имела большой успех. В первый же день явилось семь человек, в том числе делопроизводитель военкомата Бендин и заведующий подотделом благоустройства Козлов, тщанием которого недавно был снесен единственный в городе памятник старины: триумфальная арка Елисаветинских времен, мешавшая, по его словам, уличному движению. Всем им обед очень понравился. На другой день явилось четырнадцать человек. С кроликов не успевали сдирать шкурки. Целую неделю дело шло великолепно, и отец Федор уже подумывал об открытии небольшого скорняжного производства, без мотора, когда произошел совершенно непредвиденный случай.

Кооператив «Плуг и молот», который был заперт уже три недели по случаю переучета товаров, открылся, и работники прилавка, пыхтя от усилий, выкатили на задний двор, общий с двором отца Федора, бочку гнилой капусты, которую и свалили в выгребную яму. Привлеченные пикантным запахом, кролики сбежались к яме, и уже на другое утро среди нежных грызунов начался мор. Свирепствовал он всего только три часа, но уложил 240 производителей и весь, не поддающийся учету, приплод.

Ошеломленный отец Федор притих на целых два месяца и выиграл духом только теперь, возвратясь из дома Воробьянинова и запершись, к удивлению матушки, в спальне. Все указывало на то, что отец Федор озарен новой идеей, захватившей всю его душу.

Катерина Александровна косточкой согнутого пальца постучала в дверь спальни. Ответа не было, только усилилось пение. Через минуту дверь при-

¹Бабка — блюдо из тертого картофеля, заправленного жареным салом, мясом и луком и запеченное в духовке.

открылась, и в щели показалось лицо отца Федора, на котором играл девичий румянец.

— Дай мне, мать, ножницы поскорее, — быстро проговорил отец Федор.

— А ужин как же?

— Ладно. Потом.

Отец Федор схватил ножницы, снова заперся и подошел к стенному овальному зеркалу в поцарапанной черной раме.

Рядом с зеркалом висела старинная народная картинка «Зерцало грешного», печатанная с медной доски и приятно раскрашенная рукой. Особенно утешило отца Федора «Зерцало грешного» после неудачи с кроликами. Лубок ясно показывал бренность всего земного. По верхнему его ряду шли четыре рисунка, подписанные славянской вязью, значительные и умиротворяющие душу: «Сим молитву деет, Хам пшеницу сеет, Яфет власть имеет. Смерть всем владеет». Смерть была с косою и песочными часами с крыльями. Она была сделана как бы из протезов и ортопедических частей и стояла, широко расставив ноги, на пустой холмистой земле. Вид ее ясно говорил, что неудача с кроликами — дело пустое.

Сейчас отцу Федору больше понравилась картинка «Яфет власть имеет». Тучный богатый человек с бороною сидел в маленьком зальце на троне.

Отец Федор улыбнулся и, внимательно глядя на себя в зеркало, начал подстригать свою благообразную бороду. Волосы сыпались на пол, ножницы скрипели, и через пять минут отец Федор убедился, что подстригать бороду он совершенно не умеет. Борода его оказалась скошенной на один бок, неприличной и даже подозрительной.

Помаечив у зеркала еще немного, отец Федор обозлился, позвал жену и, протягивая ей ножницы, раздраженно сказал:

— Помоги мне хоть ты, матушка. Никак не могу вот с волосищами своими справиться.

Матушка от удивления даже руки назад отвела.

— Что же ты над собой сделал? — вымолвила она наконец.

— Ничего не сделал. Подстригаюсь. Помоги, пожалуйста. Вот здесь как будто скособочилось...

— Господи, — сказала матушка, посягая на локоны отца Федора, — неужели, Феденька, ты к обновленцам¹ перейти собрался?

Такому направлению разговора отец Федор обрадовался.

— А почему, мать, не перейти мне к обновленцам? А обновленцы что — не люди?

¹ Обновленчество (официальное самоназвание) — православная российская церковь; позднее — православная церковь в СССР. Раскольническое движение в русском православии, возникшее официально после Февральской революции 1917 года. Декларировало цель «обновления церкви»: демократизацию управления и модернизацию богослужения.



— Люди, конечно люди, — согласилась матушка ядовито, — как же: по иллюзиям ходят, алименты платят...

— Ну и я по иллюзиям буду бегать.

— Бегай, пожалуйста.

— И буду бегать.

— Добегаешься. Ты в зеркало на себя посмотри.

И действительно, из зеркала на отца Федора глянула бойкая черноглазая физиономия с небольшой дикой бородкой и нелепо длинными усами.

Стали подстригать усы, доводя их до пропорциональных размеров.

Дальнейшее еще более поразило матушку. Отец Федор заявил, что этим же вечером должен выехать по делу, и потребовал, чтобы Катерина Александровна сбежала к брату-булочнику и взяла у него на неделю пальто с барашковым воротником и коричневый утиный картуз¹.

— Никуда не пойду! — заявила матушка и заплакала.

Полчаса шагал отец Федор по комнате и, пугая жену изменившимся своим лицом, молол чепуху. Матушка поняла только одно: отец Федор ни с того ни с сего остригся, хочет в дурацком картузе ехать неизвестно куда, а ее бросает.

¹ Картуз с длинным козырьком, похожий на каскетку (кепку) для утиной охоты.

— Не бросаю, — твердил отец Федор, — не бросаю, через неделю буду назад. Ведь может же быть у человека дело. Может или не может?

— Не может, — говорила попадья.

Отцу Федору, человеку в обращении с ближними кроткому, пришлось даже постучать кулаком по столу. Хотя стучал он осторожно и неумело, так как никогда этого не делал, попадья все же очень испугалась и, накинув платок, побежала к брату за штатской одеждой.

Оставшись один, отец Федор с минуту подумал, сказал: «Женщинам тоже тяжело», и вытянул из-под кровати сундучок, обитый жестью. Такие сундучки встречаются по большей части у красноармейцев. Оклеены они полосатыми обоями, поверх которых красуется портрет товарища Буденного или картонка от папиросной коробки «Пляж» с тремя красавицами, лежащими на усыпанном галькой батумском берегу. Сундучок Востриковых, к неудовольствию отца Федора, также был оклеен картинками, но не было там ни Буденного, ни батумских красоток. Попадья залепила все нутро сундучка фотографиями, вырезанными из журнала «Летопись войны 1914 года». Тут было и «Взятие Перемышля», и «Раздача теплых вещей нижним чинам на позициях», и... мало ли что еще там было.

Выложив на пол лежавшие сверху книги: комплект журнала «Русский паломник» за 1903 год, толстеннейшую «Историю раскола» и брошюрку «Русский в Италии», на обложке которой отпечатан был курящийся Везувий, отец Федор запустил руку на самое дно сундучка и вытащил старый, обтерханый женин капор. Зажмурившись от запаха нафталина, который внезапно ударил из сундучка, отец Федор, разрывая кружевца и прошвы, вынул из капора тяжелую полотняную колбаску. Колбаска содержала в себе двадцать золотых десятков — все, что осталось от коммерческих авантюр отца Федора.

Он привычным движением руки приподнял полу рясы и засунул колбаску в карман полосатых брюк. Потом подошел к комоду и вынул из конфетной коробки пятьдесят рублей трехрублевками и пятирублевками. В коробке оставалось еще двадцать рублей.

— На хозяйство хватит, — решил он.

ГЛАВА IV

Муза дальних странствий

За час до прихода вечернего почтового поезда отец Федор, в коротеньком, чуть ниже колен, пальто и с плетеной корзинкой, стоял в очереди у кассы и боязливо поглядывал на входные двери. Он боялся, что матушка, противно его настоянию, прибежит на вокзал провожать, и тогда палаточник Прусис, сидевший в буфете и угощавший пивом финагента, сразу его узнает. Отец

Федор с удивлением и стыдом посматривал на свои, открытые взорам всех мирян, полосатые брюки.

Посадка в бесплэцкартный поезд носила обычный скандальный характер. Пассажиры, согнувшись под тяжестью преогромных мешков, бегали от головы поезда к хвосту и от хвоста к голове. Отец Федор ошеломленно бежал со всеми. Он так же, как и все, говорил с проводниками искательным голосом, так же, как и все, боялся, что кассир дал ему «неправильный» билет, и только впущенный, наконец, в вагон вернулся к обычному спокойствию и даже повеселел.

Паровоз закричал полным голосом, и поезд тронулся, увозя с собой отца Федора в неизвестную даль по делу загадочному, но сулящему, как видно, большие выгоды.

Интересная штука — полоса отчуждения. Самый обыкновенный гражданин, попав в нее, чувствует в себе некоторую хлопотливость и быстро превращается либо в пассажира, либо в грузополучателя, либо просто в безбилетного забудыгу, омрачающего жизнь и служебную деятельность кондукторских бригад и перронных контролеров.

С той минуты, когда гражданин вступает в полосу отчуждения, которую он по-дилетантски называет вокзалом или станцией, жизнь его резко меняется. Сейчас же к нему подскакивают Ермаки Тимофеевичи в белых передниках с никелированными бляхами на сердце и услужливо подхватывают багаж. С этой минуты гражданин уже не принадлежит самому себе. Он — пассажир и начинает исполнять все обязанности пассажира. Обязанности эти многосложны, но приятны.

Пассажир очень много ест. Простые смертные по ночам не едят, но пассажир ест и ночью. Ест он жареного цыпленка, который для него дорог, крутые яйца, вредные для желудка, и маслины. Когда поезд прорезает стрелку, на полках бряцают многочисленные чайники и подпрыгивают завернутые в газетные кульки цыплята, лишенные ножек, с корнем вырванных пассажирами. Но пассажиры ничего этого не замечают. Они рассказывают анекдоты. Регулярно через каждые три минуты весь вагон надсаживается от смеха. Затем наступает тишина, и бархатный голос докладывает следующий анекдот:

— Умирает старый еврей. Тут жена стоит, дети. «А Моня здесь?» — еврей спрашивает еле-еле. «Здесь». — «А тетя Брана пришла?» — «Пришла». — «А где бабушка, я ее не вижу?» — «Вот она стоит». — «А Исак?» — «Исак тут». — «А дети?» — «Вот все дети». — «Кто же в лавке остался?»

Сию же секунду чайники начинают бряцать, и цыплята летают на верхних полках, потревоженные громовым смехом. Но пассажиры этого не замечают. У каждого на сердце лежит заветный анекдот, который, трепыхаясь, дожидается своей очереди. Новый исполнитель, толкая локтем соседей и умоляю-

ще крича: «А вот мне рассказывали!» — с трудом завладевает вниманием и начинает:

— Один еврей приходит домой и ложится спать рядом со своей женой. Вдруг он слышит: под кроватью кто-то скребется. Еврей опустил под кровать руку и спрашивает: «Это ты, Джек?» А Джек лизнул руку и отвечает: «Это я».

Пассажиры умирают от смеха, темная ночь закрывает поля, из паровой трубы вылетают вертялые искры, и тонкие семафоры в светящихся зеленых очках щепетильно пронесаются мимо, глядя поперек поезда.

Интересная штука полоса отчуждения! Во все концы страны бегут длинные тяжелые поезда дальнего следования. Всюду открыта дорога. Везде горит зеленый огонь — путь свободен. Полярный экспресс подымается к Мурманску. Согнувшись и сгорбась на стрелке, с Курского вокзала выскакивает «Первый-К», прокладывая путь на Тифлис. Дальневосточный курьер огибаёт Байкал, полным ходом приближаясь к Тихому океану.

Муза дальних странствий манит человека. Уже вырвала она отца Федора из тихой уездной обители и бросила невесту в какую губернию. Уже и бывший предводитель дворянства, а ныне делопроизводитель загса Ипполит Матвеевич Воробьянинов потревожен в самом нутре своем и задумал черт знает что такое.

Носит людей по стране. Один за десять тысяч километров от места службы находит себе сияющую невесту. Другой, в погоне за сокровищами, бросает почтово-телеграфное отделение и, как школьник, бежит на Алдан. А третий так и сидит себе дома, любовно поглаживая созревшую грыжу и читая сочинения графа Салиас, купленные, вместо рубля, за пять копеек.

На второй день после похорон, управление которыми любезно взял на себя гробовой мастер Безенчук, Ипполит Матвеевич отправился на службу и, исполняя возложенные на него обязанности, зарегистрировал собственноручно кончину Клавдии Ивановны Петуховой, пятидесяти девяти лет, домашней хозяйки, беспартийной, жительство имевшей в уездном городе N и родом происходившей из дворян Старгородской губернии. Затем Ипполит Матвеевич испросил себе двухнедельный, узаконенный, декретный отпуск, получил 41 рубль отпускных денег и, распрощавшись с сослуживцами, отправился домой. По дороге он завернул в аптеку.

Провизор Леопольд Григорьевич, которого домашние и друзья называли Липа, стоял за красным лакированным прилавком, окруженный молочными банками с ядом, и с нервностью продавал свояченице брендмейстера «крем Анго против загара и веснушек, придает исключительную белизну коже». Свояченица брендмейстера, однако, требовала «пудру Рашель золотистого цвета, придает телу ровный, не достижимый в природе загар». Но в аптеке

был только крем Анго против загара, и борьба столь противоположных продуктов парфюмерии длилась полчаса. Победил все-таки Липа, продавший свояченице брандмейстера губную помаду и клоповар¹ — прибор, построенный по принципу самовара, но имеющий внешний вид лейки.

— Как вам нравится Шанхай? — спросил Липа Ипполита Матвеевича. — Не хотел бы я теперь быть в этом сеттльменте².

— Англичане ж сволочи, — ответил Ипполит Матвеевич, — так им и надо. Они всегда Россию продавали.

Леопольд Григорьевич сочувственно пожал плечами, как бы говоря: «Кто Россию не продавал?» — и приступил к делу.

— Что вы хотели?

— Средство для волос.

— Для ращения, уничтожения, окраски?

— Какое там ращение, — сказал Ипполит Матвеевич, — для окраски.

— Для окраски есть замечательное средство «Титаник». Получено с таможни. Контрабандный товар. Не смывается ни холодной, ни горячей водой, ни мыльной пеной, ни керосином. Радикальный черный цвет. Флакон на полгода стоит 3 рубля 12 копеек. Рекомендую как хорошему знакомому.

Ипполит Матвеевич повертел в руках квадратный флакон «Титаника», со вздохом посмотрел на этикетку и выложил деньги на прилавок.

— Они скоро всю Хэнань³ заберут, эти кантонцы, — сказал на прощание Липа. — Сватоу, я знаю, а?

Ипполит Матвеевич возвратился домой и с омерзением стал поливать голову и усы «Титаником». По квартире распространилось зловоние.

После обеда вонь убавилась, усы обсохли, слиплись, и расчесать их можно было только с большим трудом. Радикальный черный цвет оказался с несколько зеленоватым отливом, но вторично красить уже было некогда. Ипполит Матвеевич вынул из тещиной шкатулки найденный им накануне список драгоценностей, пересчитал все наличные деньги, запер квартиру, спрятал ключи в задний карман, сел в ускоренный № 7 и уехал в Старгород.

¹ *Клоповарки* — устройства с длинным и тонким носиком для борьбы с клопами. Внутри насыпался уголь, который нагревал воду, и из носика выходила струя пара. С помощью длинного носика можно было проникнуть в потаенные места, где прятались клопы.

² *Сеттльмент* — поселение, иностранный квартал в городах стран Востока: в Шанхае располагались английский, американский, и пр. сеттльменты, обладавшие правами экстерриториальности, предполагалось, что захватившие в ходе гражданской войны Шанхай противники англо-американской ориентации будут громить сеттльменты.

³ *Хэнань* — провинция в Центральном Китае, Шань-тоу, или Сватоу — открытый для иностранной торговли китайский порт в провинции Гуан-дун, откуда начали свое выступление кантонцы — сторонники находившегося в Кантоне (Гуанчжоу) правительства.

ГЛАВА V

Великий комбинатор

В половине двенадцатого, с северо-запада, со стороны деревни Чмаровки, в Старгород вошел молодой человек лет двадцати восьми. За ним бежал беспризорный.

— Дядя, — весело кричал он, — дай десять копеек!

Молодой человек вынул из кармана нагретое яблоко и подал его беспризорному, но тот не отставал. Тогда пешеход остановился, иронически посмотрел на мальчика и тихо сказал:

— Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат?

Зарвавшийся беспризорный понял всю беспочвенность своих претензий и отстал.

Молодой человек солгал: у него не было ни денег, ни квартиры, где они могли бы лежать, ни ключа, которым можно было бы квартиру отпереть. У него не было даже пальто. В город молодой человек вошел в зеленом, в талию, костюме. Его могучая шея была несколько раз обернута старым шерстяным шарфом, ноги были в лаковых штиблетах с замшевым верхом апельсинного цвета. Носков под штиблетами не было. В руке молодой человек держал астролябию.

«О баядерка, ти-ри-рим, ти-ри-ра!» — запел он, подходя к привозному рынку.

Тут для него нашлось много дела. Он втиснулся в шеренгу продавцов, торговавших на развале, выставил вперед астролябию и серьезным голосом стал кричать:

— Кому астролябию?! Дешево продается астролябия! Для делегаций и женотделов скидка.

Неожиданное предложение долгое время не рождало спроса. Делегации домашних хозяек больше интересовались дефицитными товарами и толпились у мануфактурных палаток. Мимо продавца астролябии уже два раза прошел агент Старгуброзыска. Но так как астролябия ни в какой мере не походила на украденную вчера из канцелярии Маслоцентра пишущую машинку, агент перестал магнетизировать молодого человека глазами и ушел.

К обеду астролябия была продана слесарю за три рубля.

— Сама меряет, — сказал молодой человек, передавая астролябию покупателю, — было бы что мерять.

Освободившись от хитрого инструмента, веселый молодой человек пообедал в столовой «Уголок вкуса» и пошел осматривать город. Он прошел Советскую улицу, вышел на Красноармейскую (бывшая Большая Пушкинская), пересек Кооперативную и снова очутился на Советской. Но это была уже не та Советская, которую он прошел: в городе было две Советских ули-



цы. Немало подивившись этому обстоятельству, молодой человек очутился на улице Ленских Событий (бывшей Денисовской). Подле красивого двухэтажного особняка № 28 с вывеской: «СССР, РСФСР. 2-й Дом Социального Обеспечения Старгубстраха» молодой человек остановился, чтобы прикурить у дворника, который сидел на каменной скамеечке при воротах.

— А что, отец, — спросил молодой человек, затаившись, — невесты у вас в городе есть?

Старик дворник ничуть не удивился.

— Кому и кобыла невеста, — ответил он, охотно ввязываясь в разговор.

— Больше вопросов не имею, — быстро проговорил молодой человек.

И сейчас же задал новый вопрос:

— В таком доме да без невест?

— наших невест, — возразил дворник, — давно на том свете с фонарями ищут. У нас тут государственная богадельня: старухи живут на полном пенсионе.

— Понимаю. Это которые еще до исторического материализма родились?

— Уж это верно. Когда родились, тогда и родились.

— А в этом доме что было до исторического материализма?

— Когда было?

— Да тогда, при старом режиме.

— А при старом режиме барин мой жил.

— Буржуй?

— Сам ты буржуй! Он не буржуй был. Предводитель дворянства.

— Пролетарий, значит?

— Сам ты пролетарий! Сказано тебе — предводитель.

Разговор с умным дворником, слабо разбиравшимся в классовой структуре общества, продолжался бы еще бог знает сколько времени, если бы молодой человек не взялся за дело решительно.

— Вот что, дедушка, — молвил он, — неплохо бы вина выпить.

— Ну, угости.

На час оба исчезли, а когда вернулись назад, дворник был уже вернейшим другом молодого человека.

— Так я у тебя переночую, — говорил новый друг.



— По мне хоть всю жизнь живи, раз хороший человек.

Добившись так быстро своей цели, гость проворно спустился в дворницкую, снял апельсиновые штилеты и растянулся на скамейке, обдумывая план действий на завтра.

Звали молодого человека Остап Бендер. Из своей биографии он обычно сообщал только одну подробность. «Мой папа, — говорил он, — был турецко-подданный». Сын турецко-подданного за свою жизнь переменял много занятий. Живость характера, мешавшая ему посвятить себя какому-нибудь одному делу, постоянно кидала его в разные концы страны и теперь привела в Старгород без носков, без ключа, без квартиры и без денег.

Лежа в теплой до вонючести дворницкой, Остап Бендер отшлифовывал в мыслях два возможных варианта своей карьеры.

Можно было сделаться многоженцем и спокойно переезжать из города в город, таская за собой новый чемодан с захваченными у дежурной жены ценными вещами.

А можно было завтра же пойти в Стардеткомиссию и предложить им взять на себя распространение еще не написанной, но гениально задуманной картины «Большевики пишут письмо Чемберлену», по популярной картине художника Репина «Запорожцы пишут письмо султану». В случае удачи этот вариант мог бы принести рублей четырехста.

Оба варианта были задуманы Остапом во время его последнего пребывания в Москве. Вариант с многоженством родился под влиянием вычитанного в вечерней газете судебного отчета, где ясно указывалось, что некий многоженец получил всего два года без строгой изоляции. Вариант № 2 родился в голове Бендера, когда он по контрамарке обозревал выставку АХРР¹.

Однако оба проекта имели свои недостатки. Начать карьеру многоженца без дивного, серого в яблоках, костюма было невозможно. К тому же нужно было иметь хотя бы десять рублей для представительства и обольщения. Можно было, конечно, жениться и в походном зеленом костюме, потому что мужская сила и красота Бендера были совершенно неотразимы для провинциальных Маргарит на выданье, но это было бы, как говорил Остап, «низкий сорт, не чистая работа». С картиной тоже не все обстояло гладко: могли встретиться чисто технические затруднения. Удобно ли будет рисовать т. Калинин в папаче и белой бурке, а т. Чичерина — голым по пояс? В случае чего можно, конечно, нарисовать всех персонажей в обычных костюмах, но это уже не то.

— Не будет того эффекта! — произнес Остап вслух.

Тут он заметил, что дворник уже давно о чем-то горячо говорит. Оказывается, дворник предался воспоминаниям о бывшем владельце дома:

¹ АХРР — Ассоциация художников революционной России.

— Полицмейстер ему честь отдавал... Приходишь к нему, положим, буду говорить, на Новый год с поздравлением — трешку дает... На пасху, положим, буду говорить, еще трешку. Да, положим, в день ангела ихнего поздравляешь... Ну вот одних поздравительных за год рублей пятнадцать и набезит... Медаль даже обещался мне представить. Я, говорит, хочу, чтобы дворник у меня с медалью был. Так и говорил: «Ты, Тихон, считай себя уже с медалью...»

— Ну и что, дали?

— Ты погоди... Мне, говорит, дворника без медали не нужно. В Санкт-Петербург поехал за медалью. Ну, в первый раз, буду говорить, не вышло. Господа чиновники не захотели. Царь, говорит, в заграницу уехал, сейчас невозможно. Приказал мне барин ждать. Ты, говорит, Тихон, жди, без медали не будешь.

— А твоего барина что, шлепнули? — неожиданно спросил Остап.

— Никто не шлепал. Сам уехал. Что ему тут было с солдатней сидеть...

А теперь медали за дворницкую службу дают?

— Дают. Могу тебе выхлопотать.

Дворник с уважением посмотрел на Бендера.

— Мне без медали нельзя. У меня служба такая.

— Куда ж твой барин уехал?

— А кто его знает! Люди говорили, в Париж уехал.

— А!.. Белой акации, цветы эмиграции... Он, значит, эмигрант?

— Сам ты эмигрант... В Париж, люди говорят, уехал. А дом под старух забрали... Их хоть каждый день поздравляй — гривенника не получишь!.. Эх! Барин был!..

В этот момент над дверью задержался ржавый звонок. Дворник, кряхтя, поплелся к двери, открыл ее и в сильнейшем замешательстве отступил.

На верхней ступеньке стоял Ипполит Матвеевич Воробьянинов, черноусый и черноволосый. Глаза его сияли под пенсне довоенным блеском.

— Барин! — страстно замычал Тихон. — Из Парижа!

Ипполит Матвеевич, смущенный присутствием в дворницкой постороннего, голые фиолетовые ступни которого только сейчас увидел из-за края стола, смутился и хотел было бежать; но Остап Бендер живо вскочил и низко склонился перед Ипполитом Матвеевичем.

— У нас хотя и не Париж, но милости просим к нашему шалашу.

— Здравствуй, Тихон, — вынужден был сказать Ипполит Матвеевич, — я вовсе не из Парижа. Чего тебе это взбрело в голову?

Но Остап Бендер, длинный благородный нос которого явственно чуял запах жареного, не дал дворнику и пикнуть.

— Отлично, — сказал он, кося глазом, — вы не из Парижа. Конечно, вы приехали из Кологрива навестить свою покойную бабушку...

Говоря так, он нежно обнял очумевшего дворника и выставил его за дверь прежде, чем тот понял, что случилось, а когда опомнился, то мог сообразить лишь то, что из Парижа приехал барин, что его, Тихона, выставили из дворничкой и что в левой руке его зажат бумажный рубль. Глядя на бумажку, дворник так растрогался, что направился в пивную и заказал себе пару горшановского пива.

Тщательно заперев за дворником дверь, Бендер обернулся к все еще стоявшему среди комнаты Воробьянинову и сказал:

— Спокойно, все в порядке. Моя фамилия Бендер! Может, слышали?

— Не слышал, — нервно ответил Ипполит Матвеевич.

— Ну, да откуда же в Париже может быть известно имя Остапа Бендера? Тепло теперь в Париже? Хороший город. У меня там двоюродная сестра замужем. Недавно прислала мне шелковый платок в заказном письме...

— Что за чепуха! — воскликнул Ипполит Матвеевич. — Какие платки? Я приехал не из Парижа, а из...

— Чудно, чудно! Из Моршанска.

Ипполит Матвеевич никогда еще не имел дела с таким темпераментным молодым человеком, как Бендер, и почувствовал себя плохо.

— Ну, знаете, я пойду, — сказал он.

— Куда же вы пойдете? Вам некуда торопиться. ГПУ к вам само придет.

Ипполит Матвеевич не нашелся, что ответить, расстегнул пальто с осыпавшимся бархатным воротником и сел на лавку, недружелюбно глядя на Бендера.

— Я вас не понимаю, — сказал он упавшим голосом.

— Это не страшно. Сейчас поймете. Одну минуточку,

Остап надел на голые ноги апельсиновые штiblеты, прошелся по комнате и начал:

— Вы через какую границу? Польскую? Финляндскую? Румынскую? Должно быть, дорогое удовольствие. Один мой знакомый переходил недавно границу, он живет в Славуте, с нашей стороны, а родители его жены — с той стороны. По семейному делу поссорился он с женой, а она из обидчивой фамилии. Плюнула ему в рожу и удрала через границу к родителям. Этот знакомый посидел дня три один и видит — дело плохо: обеда нет, в комнате грязно, и решил помириться. Вышел ночью и пошел через границу к тестю. Тут его пограничники и взяли, пришили дело, посадили на шесть месяцев, а потом исключили из профсоюза. Теперь, говорят, жена прибежала назад, дура, а муж в допре¹ сидит. Она ему передачу носит... А вы тоже через польскую границу переходили?

— Честное слово, — вымолвил Ипполит Матвеевич, чувствуя неужи-

¹ *Допр* — дом принудительных работ, одна из разновидностей мест заключения.



данную зависимость от разговорчивого молодого человека, ставшего на его дороге к бриллиантам, — честное слово, я подданный РСФСР. В конце концов я могу показать паспорт...

— При современном развитии печатного дела на Западе напечатать советский паспорт — это такой пустяк, что об этом смешно говорить... Один мой знакомый доходил до того, что печатал даже доллары. А вы знаете, как трудно подделать американские доллары? Там бумага с такими, знаете, разноцветными волосками. Нужно большое знание техники. Он удачно сплавлял их на московской черной бирже; потом оказалось, что его дедушка, известный валютчик, покупал их в Киеве и совершенно разорился, потому что доллары были все-таки фальшивые. Так что вы со своим паспортом тоже можете прогадать.

Ипполит Матвеевич, рассерженный тем, что вместо энергичных поисков бриллиантов он сидит в вонючей дворницкой и слушает трескотню молодого нахала о темных делах его знакомых, все же никак не решался уйти. Он чувствовал сильную робость при мысли о том, что неизвестный молодой человек разболтает по всему городу, что приехал бывший предводитель. Тогда — всему конец, а может быть, еще посадят.

— Вы все-таки никому не говорите, что меня видели, — просительно сказал Ипполит Матвеевич, — могут и впрямь подумать, что я эмигрант.

— Вот! Вот! Это конгениально! Прежде всего актив: имеется эмигрант, вернувшийся в родной город. Пассив: он боится, что его заберут в ГПУ.

— Да ведь я же вам тысячу раз говорил, что я не эмигрант.

— А кто вы такой? Зачем вы сюда приехали?

— Ну, приехал из города N по делу.

— По какому делу?

— Ну, по личному делу.

— И после этого вы говорите, что вы не эмигрант?.. Один мой знакомый тоже приехал...

Тут Ипполит Матвеевич, доведенный до отчаяния историями о знакомых Бендера и видя, что его не собьешь с позиции, покорился.

— Хорошо, — сказал он, — я вам все объясню.

«В конце концов без помощника трудно, — подумал Ипполит Матвеевич, — а жулик он, кажется, большой. Такой может быть полезен».

ГЛАВА VI

Бриллиантовый дым

Ипполит Матвеевич снял с головы пятнистую кастровую шляпу, расчесал усы, из которых, при прикосновении гребешка, вылетела дружная стайка электрических искр, и, решительно откашлявшись, рассказал Остапу Бендеру, первому встреченному им проходимцу, все, что ему было известно о бриллиантах со слов умирающей тещи.

В продолжение рассказа Остап несколько раз вскакивал и, обращаясь к железной печке, восторженно вскрикивал:

— Лед тронулся, господа присяжные заседатели! Лед тронулся.

А уже через час оба сидели за шатким столиком и, упираясь друг в друга головами, читали длинный список драгоценностей, некогда украшавших тещины пальцы, шею, уши, грудь и волосы.

Ипполит Матвеевич, поминутно поправляя колебавшееся на носу пенсне, с ударением произносил:

— Три нитки жемчуга... Хорошо помню. Две по сорок бусин, а одна большая — в сто десять. Бриллиантовый кулон... Клавдия Ивановна говорила, что четыре тысячи стоит, старинной работы...

Дальше шли кольца: не обручальные кольца, толстые, глупые и дешевые, а тонкие, легкие, с впаянными в них чистыми, умытыми бриллиантами; тяжелые ослепительные подвески, кидающие на маленькое женское ухо разноцветный огонь: браслеты в виде змей с изумрудной чешуей; фермуар¹, на который ушел урожай с пятисот десятин; жемчужное кольцо, которое было бы по плечу только знаменитой опереточной примадонне; венцом всему была сорокатысячная диадема.

Ипполит Матвеевич оглянулся. По темным углам зачумленной дворницкой вспыхивал и дрожал изумрудный весенний свет. Бриллиантовый дым держался под потолком. Жемчужные бусы катились по столу и прыгали по полу. Драгоценный мираж потрясал комнату.

Взволнованный Ипполит Матвеевич очнулся только от звука голоса Остапа.

— Выбор неплохой. Камни, я вижу, подобраны со вкусом. Сколько вся эта музыка стоила?



¹ Фермуар (от фр. fermoir) — застежка, пряжка.

— Тысяч семьдесят — семьдесят пять.

— Мгу... Теперь, значит, стоит полтораста тысяч.

— Неужели так много? — обрадованно спросил Воробьянинов.

— Не меньше. Только вы, дорогой товарищ из Парижа, плюньте на все это.

— Как плюнуть?

— Слюной, — ответил Остап, — как плевали до эпохи исторического материализма. Ничего не выйдет.

— Как же так?

— А вот как. Сколько было стульев?

— Дюжина. Гостиный гарнитур.

— Давно, наверно, сгорел ваш гостиный гарнитур в печках.

Воробьянинов так испугался, что даже встал с места.

— Спокойно, спокойно. За дело берусь я. Заседание продолжается. Кстати, нам с вами нужно заключить небольшой договорчик.

Тяжело дышавший Ипполит Матвеевич кивком головы выразил свое согласие. Тогда Остап Бендер начал выработать условия.

— В случае реализации клада я, как непосредственный участник концессии и технический руководитель дела, получаю шестьдесят процентов, а соцстрах можете за меня не платить. Это мне все равно. Ипполит Матвеевич посерел.

— Это грабеж среди бела дня.

— А сколько же вы думали мне предложить?

— Н-н-ну, пять процентов, ну десять, наконец. Вы поймите, ведь это же пятнадцать тысяч рублей!

— Больше вы ничего не хотите?

— Н-нет.

— А может быть, вы хотите, чтобы я работал даром, да еще дал вам ключ от квартиры, где деньги лежат, и сказал вам, где нет милиционера?

— В таком случае, простите, — сказал Воробьянинов в нос. — У меня есть все основания думать, что я и один справлюсь со своим делом.

— Ага! В таком случае, простите, — возразил великолепный Остап, — у меня есть не меньшие основания, как говорил Энди Таккер, предполагать, что и я один могу справиться с вашим делом.

— Мошенник! — закричал Ипполит Матвеевич, задрожав.

Остап был холоден.

— Слушайте, господин из Парижа, а знаете ли вы, что наши бриллианты почти что у меня в кармане! И вы меня интересуете постольку, поскольку я хочу обеспечить вашу старость.

Тут только Ипполит Матвеевич понял, какие железные лапы схватили его за горло.

— Двадцать процентов, — сказал он угрюмо.

— И мои харчи? — насмешливо спросил Остап.

— Двадцать пять.

— И ключ от квартиры?

— Да ведь это тридцать семь с половиной тысяч!

— К чему такая точность? Ну, так и быть — пятьдесят процентов. Половина — ваша, половина — моя.

Торг продолжался. Остап уступил еще. Он, из уважения к личности Воробьянинова, соглашался работать из сорока процентов.

— Шестьдесят тысяч! — кричал Воробьянинов.

— Вы довольно пошлый человек, — возражал Бендер, — вы любите деньги больше, чем надо.

— А вы не любите денег? — взвыл Ипполит Матвеевич голосом флейты.

— Не люблю.

— Зачем же вам шестьдесят тысяч?

— Из принципа!

Ипполит Матвеевич только дух перевел.

— Ну что, тронулся лед? — добивал Остап.

Воробьянинов запыхтел и покорно сказал:

— Тронулся.

— Ну, по рукам, уездный предводитель команчей! Лед тронулся! Лед тронулся, господа присяжные заседатели!

После того как Ипполит Матвеевич, обидевшись на прозвище «предводителя команчей», потребовал извинения и Остап, произнося извинительную речь, назвал его фельдмаршалом, приступили к выработке диспозиции.

В полночь дворник Тихон, хватаясь руками за все попутные палисадники и надолго приныкая к столбам, тащился в свой подвал. На его несчастье, было новолуние.

— А! Пролетарий умственного труда! Работник метлы! — воскликнул Остап, завидя согнутого в колесо дворника.

Дворник замычал низким и страстным голосом, каким иногда среди ночной тишины, вдруг горячо и хлопотливо начинает бормотать унитаз.

— Это конгениально, — сообщил Остап Ипполиту Матвеевичу, — а ваш дворник довольно-таки большой пошляк. Разве можно так напиваться на рубль?

— М-можно, — сказал дворник неожиданно.

— Послушай, Тихон, — начал Ипполит Матвеевич, — не знаешь ли ты, дружок, что с моей мебелью?

Остап осторожно поддерживал Тихона, чтобы речь могла свободно литься из его широко открытого рта. Ипполит Матвеевич в напряжении ждал. Но

из дворницкого рта, в котором зубы росли не подряд, а через один, вырвался оглушительный крик:

— Бы-вы-вы-вали дни вес-с-селье...

Дворницкая наполнилась громом и звоном. Дворник трудолюбиво и старательно исполнял песню, не пропуская ни единого слова. Он ревел, двигаясь по комнате, то бессознательно ныряя под стол, то ударяясь картузом о медную цилиндрическую гирю «ходиков», то становясь на одно колено. Ему было страшно весело.

Ипполит Матвеевич совсем потерялся.

— Придется отложить опрос свидетелей до утра, — сказал Остап. — Будем спать.

Дворника, тяжелого во сне, как комод, перенесли на скамью. Воробьянинов и Остап решили лечь вдвоем на дворницкую кровать. У Остапа под пиджаком оказалась рубашка «ковбой» в черную и красную клетку. Под ковбойкой не было уже больше ничего. Зато у Ипполита Матвеевича под известным читателю лунным жилетом оказался еще один — гарусный, ярко-голубой.

— Жилет прямо на продажу, — завистливо сказал Бендер, — он мне как раз подойдет. Продайте.

Ипполиту Матвеевичу неудобно было отказывать своему новому компаньону и непосредственному участнику концессии. Он, морщась, согласился продать жилет за свою цену — восемь рублей.

— Деньги после реализации нашего клада, — заявил Бендер, принимая от Воробьянинова теплый еще жилет.

— Нет, я так не могу, — сказал Ипполит Матвеевич, краснея. — Позвольте жилет обратно.

Деликатная натура Остапа возмутилась.

— Но ведь это же лавочничество? — закричал он. — Начинать полуторастатысячное дело и ссориться из-за восьми рублей! Учитесь жить широко!

Ипполит Матвеевич покраснел еще больше, вынул маленький блокнотик и каллиграфически записал: «25/IV 27 г. Выдано т. Бендеру Р. 8».

Остап заглянул в книжечку.

— Ого! Если вы уже открываете мне лицевой счет, то хоть ведите его правильно. Заведите дебет, заведите кредит. В дебет не забудьте внести 60 000 рублей, которые вы мне должны, а в кредит — жилет. Сальдо в мою пользу — 59 992 рубля. Еще можно жить.

После этого Остап заснул беззвучным детским сном. А Ипполит Матвеевич снял с себя шерстяные напульсники, баронские сапоги и, оставшись в заштопанном егерском белье, посапывая, полез под одеяло. Ему было очень неудобно. С внешней стороны, где не хватало одеяла, было холодно, а с другой стороны его жгло молодое, полное трепетных идей тело великого комбинатора.

Всем троем снились сны.

Воробьянинову привиделись сны черные: микробы, угрозыск, бархатные толстовки и гробовых дел мастер Безенчук в смокинге, но небритый.

Остап видел вулкан Фудзи-Яму, заведующего Маслотрестом и Тараса Бульбу, продающего открытки с видами Днепроостроя.

А дворнику снилось, что из конюшни ушла лошадь. Во сне он искал ее до самого утра и, не найдя, проснулся разбитый и мрачный. Долго, с удивлением, смотрел он на спящих в его постели людей. Ничего не поняв, он взял метлу и направился на улицу исполнять свои прямые обязанности: подбирать конские яблоки и кричать на богаделок.

ГЛАВА VII

Следы «Титаника»

Ипполит Матвеевич проснулся, по привычке, в половине восьмого, про-рокотал «гут морген» и направился к отливу¹. Он умывался с наслаждением: отплевывался, причитал и тряс головой, чтобы избавиться от воды, набежавшей в уши. Вытираться было приятно, но, отняв от лица полотенце, Ипполит Матвеевич увидел, что оно испачкано тем радикально черным цветом, которым с позавчерашнего дня были окрашены его горизонтальные усы. Сердце Ипполита Матвеевича потухло. Он бросился к своему карманному зеркальцу. В зеркальце отразились большой нос и зеленый, как молодая травка, левый ус. Ипполит Матвеевич поспешно передвинул зеркальце направо. Правый ус был того же омерзительного цвета. Нагнув голову, словно желая забодать зеркальце, несчастный увидел, что радикальный черный цвет еще господствовал в центре каре, но по краям был обсажен тою же травянистой каймой. Все существо Ипполита Матвеевича издало такой громкий стон, что Остап Бендер открыл свои чистые голубые глаза.

— Вы с ума сошли! — воскликнул Бендер и сейчас же сомкнул сонные вежды.

— Товарищ Бендер, — умоляюще зашептала жертва «Титаника».

Остап проснулся после многих толчков и уговоров. Он внимательно посмотрел на Ипполита Матвеевича и радостно засмеялся. Отвернувшись от директора-учредителя концессии, главный руководитель работ и технический директор содрогался, хватался за спинку кровати, кричал: «Не могу» — и снова бушевал.

— С вашей стороны это нехорошо, товарищ Бендер, — сказал Ипполит Матвеевич, с дрожью шеveled зелеными усами.

Это придало новые силы изнемогшему было Остапу. Чистосердечный его

¹ К умывальнику.

смех продолжался еще минут десять. Отдышавшись, он сразу сделался очень серьезным.

— Что вы на меня смотрите такими злыми глазами, как солдат на вошь? Вы на себя посмотрите!

— Но ведь мне аптекарь говорил, что это будет радикально-черный цвет. Не смывается ни холодной, ни горячей водой, ни мыльной пеной, ни керосином... Контрабандный товар.

— Контрабандный? Всю контрабанду делают в Одессе, на Малой Арнаутской улице. Покажите флакон... И потом посмотрите. Вы читали это?

— Читал.

— А вот это — маленькими буквами? Тут ясно сказано, что после мытья горячей и холодной водой или мыльной пеной и керосином волосы надо отнюдь не вытирать, а сушить на солнце или у примуса... Почему вы не суши-ли? Куда вы теперь пойдете с этой зеленой «липой»?

Ипполит Матвеевич был подавлен. Вошел Тихон. Увидя барина в зеленых усах, он перекрестился и попросил опохмелиться.

— Выдайте рубль герою труда, — предложил Остап, — и, пожалуйста, не записывайте на мой счет. Это ваше интимное дело с бывшим сослуживцем... Подожди, отец, не уходи, дельце есть.

Остап завел с дворником беседу о мебели, и уже через пять минут concessionеры знали все. Всю мебель в 1919 году увезли в жилотдел, за исключением одного гостиного стула, который сперва находился во владении Тихона, а потом был забран у него завхозом 2-го дома сощобеса.

— Так он что, здесь в доме?

— Здесь и стоит.

— А скажи, дружок, — замирая, спросил Воробьянинов, — когда стул был у тебя, ты его... не чинил?

— Чинить его невозможно. В старое время работа была хорошая. Еще тридцать лет такой стул может выстоять.

— Ну иди, дружок, возьми еще рубль, да смотри не говори, что я приехал.

— Могила, гражданин Воробьянинов.

Услав дворника и прокричав «лед тронулся», Остап Бендер снова обратился к усам Ипполита Матвеевича.

— Придется красить снова. Давайте деньги — пойду в аптеку. Ваш «Титаник» ни к черту не годится, только собак красить... Вот в старое время была красочка!.. Мне один беговой профессор рассказал волнующую историю. Вы интересовались бегами? Нет? Жалко. Волнующая вещь. Так вот... Был такой знаменитый комбинатор, граф Друцкий. Он проиграл на бегах пятьсот тысяч. Король проигрыша! И вот, когда у него уже, кроме долгов, ничего не было и граф подумывал о самоубийстве, один жучок дал ему за 50



рублей замечательный совет. Граф уехал и через год вернулся с орловским рысаком-трехлеткой. После этого граф не только вернул свои деньги, но даже выиграл еще тысяч триста. Его орловец «Маклер» с отличным аттестатом всегда приходил первым. На дерби он на целый корпус обошел «Мак-Магона». Гром!.. Но тут Курочкин (слышали?) замечает, что все орловцы начинают менять масть — один только «Маклер», как дуся, не меняет цвета. Скандал был неслыханный! Графу дали три года. Оказалось, что «Маклер» не орловец, а перекрашенный метис, а метисы гораздо резвее орловцев, и их к ним на версту не подпускают. Каково?.. Вот это красочка! Не то что ваши усы!..

— Но аттестат? У него ведь был отличный аттестат?

— Такой же, как этикетка на вашем «Титанике», фальшивый! Давайте деньги на краску.

Остап вернулся с новой микстурой.

— «Наяда». Возможно, что лучше вашего «Титаника». Снимайте пиджак!

Начался обряд переокраски. Но «изумительный каштановый цвет, придающий волосам нежность и пушистость», смешавшись с зеленью «Титаника», неожиданно окрасил голову и усы Ипполита Матвеевича в краски солнечного спектра.

Ничего еще не евший с утра Воробьянинов злобно ругал все парфюмерные заводы, как государственные, так и подпольные, находящиеся в Одессе, на Малой Арнаутской улице.

— Таких усов, должно быть, нет даже у Аристиды Бриана, — бодро заметил Остап, — но жить с такими ультрафиолетовыми волосами в Советской России не рекомендуется. Придется сбрить.

— Я не могу, — скорбно ответил Ипполит Матвеевич, — это невозможно.

— Что, усы дороги вам как память?

— Не могу, — повторил Воробьянинов, понуря голову.

— Тогда вы всю жизнь сидите в дворницкой, а я пойду за стульями. Кстати, первый стул над нашей головой.

— Брейте!

Разыскав ножницы, Бендер мигом отхватил усы, они бесшумно свалились на пол. Покончив со стрижкой, технический директор достал из кармана пожелтевшую бритву «Жиллет», а из бумажника — запасное лезвие и стал брить почти плачущего Ипполита Матвеевича.

— Последний ножик на вас трачу. Не забудьте записать на мой дебет два рубля за бритве и стрижку.

Содрогаясь от горя, Ипполит Матвеевич все-таки спросил:

— Почему же так дорого? Везде стоит сорок копеек!

— За конспирацию, товарищ фельдмаршал, — быстро ответил Бендер.

Страдания человека, которому бреют голову безопасной бритвой, невероятны. Это Ипполит Матвеевич понял с самого начала операции.

Но конец, который бывает всему, пришел.

— Готово. Заседание продолжается! Нервных просят не смотреть! Теперь вы похожи на Боборыкина, известного автора-куплетиста.

Ипполит Матвеевич отряхнул с себя мерзкие клочья, бывшие так недавно красивыми сединами, умылся и, ощущая на всей голове сильное жжение, в сотый раз сегодня уставился в зеркало. То, что он увидел, ему неожиданно понравилось. На него смотрело искаженное страданиями, но довольно юное лицо актера без ангажемента.

— Ну, марш вперед, труба зовет! — закричал Остап. — Я по следам в жилотдел, или, вернее, в тот дом, в котором когда-то был жилотдел, а вы к старухам!

— Я не могу, — сказал Ипполит Матвеевич, — мне очень тяжело будет войти в собственный дом.

— Ах, да!.. Волнующая история! Барон-изгнанник! Ладно. Идите в жилотдел, а здесь поработаю я. Сборный пункт — в дворницкой. Парад-алле!

ГЛАВА VIII

Голубой воришка

Завхоз 2-го дома Старсобеса был застенчивый ворюга. Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щеки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза. Завхоза звали Александром Яковлевичем, а жену его — Александрой Яковлевной. Он называл ее Сашхен, она звала его Альхен. Свет не выдывал еще такого голубого воришки, как Александр Яковлевич.

Он был не только завхозом, но и вообще заведующим. Прежнего за грубое обращение с воспитанницами сняли с работы и назначили капельмейстером симфонического оркестра. Альхен ничем не напоминал своего невоспитанного начальника. В порядке уплотненного рабочего дня он принял на себя управление домом и с пенсионерками обращался отменно вежливо, проводя в доме важные реформы и нововведения.

Остап Бендер потянул тяжелую дубовую дверь воробьяниновского особняка и очутился в вестибюле. Здесь пахло подгоревшей кашей. Из верхних помещений неслась разноголосица, похожая на отдаленное «ура» в цепи. Никого не было, и никто не появился. Вверх двумя маршами вела дубовая лестница с лаковыми некогда ступенями. Теперь в ней торчали только кольца, а медных прутьев, прижимавших когда-то ковер к ступенькам, не было.

«Предводитель команчей жил, однако, в пошлой роскоши», — думал Остап, поднимаясь наверх.

В первой же комнате, светлой и просторной, сидели в кружок десятка полтора седеньких старушек в платьях из найдешевейшего туалъденора¹ мышиного цвета. Напряженно вытянув сухие шеи и глядя на стоявшего в центре цветущего мужчину, старухи пели:

Слышен звон бубенцов издалека.
Это тройки знакомый разбег...
А вдали простирался широ-о-ко
Белым саваном искристый снег!..

Предводитель хора, в серой толстовке из того же туалъденора и в туалъденоровых брюках, отбивал такт обеими руками и, вертась, покрикивал:

— Дисканты, тише! Кокушкина, слабее!

Он увидел Остапа, но, не в силах удержать движения своих рук, только недоброжелательно посмотрел на вошедшего и продолжал дирижировать. Хор с усилием загремел, как сквозь подушку:

¹ Дешевая хлопчатобумажная ткань.

Та-та-та, та-та-та, та-та-та-та,
То-ро-ром, ту-ру-рум, ту-ру-рам...

— Скажите, где здесь можно видеть товарища завхоза? — вымолвил Остап, прорвавшись в первую же паузу.

— А в чем дело, товарищ?

Остап подал дирижеру руку и дружелюбно спросил:

— Песни народностей? Очень интересно. Я инспектор пожарной охраны.

Завхоз застыдился.

— Да, да, — сказал он, конфузясь, — это как раз кстати. Я даже доклад собирался писать.

— Вам нечего беспокоиться, — великодушно заявил Остап, — я сам пишу доклад. Ну, давайте смотреть помещение.

Альхен мановением руки распустил хор, и старухи удалились мелкими радостными шажками.

— Пожалуйте за мной, — пригласил завхоз.

Прежде чем пройти дальше, Остап устоялся на мебель первой комнаты. В комнате стояли: стол, две садовые скамейки на железных ногах (на спинке одной из них было глубоко вырезано имя «Коля») и рыжая фисгармония.

— В этой комнате примусов не зажигают? Временные печи и тому подобное?

— Нет, нет. Здесь у нас занимаются кружки: хоровой, драматический, изобразительные искусства, музыкальный кружок...

Дойдя до слова «музыкальный», Александр Яковлевич покраснел. Сначала запылал подбородок, потом лоб и щеки. Альхену было очень стыдно. Он давно уже продал все инструменты духовой капеллы. Слабые легкие старух все равно выдували из них только щенячий визг. Было смешно видеть эту громаду металла в таком беспомощном положении. Альхен не мог не украсть капеллу. И теперь ему было очень стыдно.

На стене, простершись от окна до окна, висел лозунг, написанный белыми буквами на куске туалетного мышиного цвета:

«Духовой оркестр — путь к коллективному творчеству».

— Очень хорошо, — сказал Остап, — комната для кружковых занятий никакой опасности в пожарном отношении не представляет. Перейдем дальше.

Пройдя фасадные комнаты воробьяниновского особняка быстрым аллюром, Остап нигде не заметил орехового стула с гнутыми ножками, обитого светлым английским ситцем в цветочках. По стенам утюженного мрамора¹ были наклеены приказы по дому № 2 Старсобеса. Остап читал их, время от времени энергично спрашивая: «Дымоходы прочищаются регулярно? Печи в порядке?» И, получая исчерпывающие ответы, двигался дальше.

¹ Утюженный мрамор — штукатурка под мрамор.

Инспектор пожарной охраны усердно искал в доме хотя бы один уголок, представляющий опасность в пожарном отношении, но в этом отношении все было благополучно. Зато розыски клада были безуспешны. Остап входил в спальни. Старухи при его появлении вставали и низко кланялись. Здесь стояли койки, устланные ворсистыми, как собачья шерсть, одеялами, с одной стороны которых фабричным способом было выткано слово «ноги». Под кроватями стояли сундучки, выдвинутые по инициативе Александра Яковлевича, любившего военную постановку дела, ровно на одну треть.

Все в доме № 2 поражало глаз своей чрезмерной скромностью: и меблировка, состоявшая исключительно из садовых скамеек, привезенных с Александровского, ныне имени Пролетарских Субботников, бульвара, и базарные керосиновые лампочки, и самые одеяла с пугающим словом «ноги». Но одно лишь в доме было сделано крепко и пышно: это были дверные пружины.

Дверные приборы были страстью Александра Яковлевича. Положив великие труды, он снабдил все без исключения двери пружинами самых разнообразных систем и фасонов. Здесь были простейшие пружины, в виде железной штанги. Были духовые пружины с медными цилиндрическими насосами. Были приборы на блоках со спускающимися увесистыми дробовыми мешочками. Были еще пружины конструкций таких сложных, что собеседский слесарь только удивленно качал головой. Все эти цилиндры, пружины и противовесы обладали могучей силой. Двери захлопывались с такою же стремительностью, как дверцы мышеловок. От работы механизмов дрожал весь дом. Старухи с печальным пискom спасались от набрасывавшихся на них дверей, но убежать удавалось не всегда. Двери настигали беглянок и толкали их в спину, а сверху с глухим карканьем уже спускался противовес, пролетая мимо виска, как ядро.

Когда Бендер с завхозом проходили по дому, двери салютовали страшными ударами.

За всем этим крепостным великолепием ничего не скрывалось — стула не было. В поисках пожарной опасности инспектор попал в кухню. Там, в большом бельевом котле, варилась каша, запах которой великий комбинатор учуял еще в вестибюле. Остап покрутил носом и сказал:

— Это что, на машинном масле?

— Ей-богу, на чистом сливочном! — сказал Альхен, краснея до слез. — Мы на ферме покупаем.

Ему было очень стыдно.

— Впрочем, это пожарной опасности не представляет, — заметил Остап.

В кухне стула тоже не было. Была только табуретка, на которой сидел повар в переднике и колпаке из туалденора.

— Почему это у вас все наряды серого цвета, да и кисейка такая, что ею только окна вытирать?

Застенчивый Альхен потупился еще больше.

— Кредитов отпускают в недостаточном количестве.

Он был противен самому себе.

Остап сомнительно посмотрел на него и сказал:

— К пожарной охране, которую я в настоящий момент представляю, это не относится.

Альхен испугался.

— Против пожара, — заявил он, — у нас все меры приняты. Есть даже пеногон-огнетушитель «Эклер».

Инспектор, заглядывая по дороге в чуланчики, неохотно проследовал к огнетушителю. Красный жестяной конус, хотя и являлся единственным в доме предметом, имеющим отношение к пожарной охране, вызвал в инспекторе особое раздражение.

— На толкучке покупали?

И, не дождавшись ответа как громом пораженного Александра Яковлевича, снял «Эклер» со ржавого гвоздя, без предупреждения разбил капсулу и быстро повернул конус вверх. Но вместо ожидаемой пенной струи конус выбросил из себя тонкое шипение, напоминавшее старинную мелодию «Коль славен наш господь в Сионе».

— Конечно, на толкучке, — подтвердил Остап свое первоначальное мнение и повесил продолжавший петь огнетушитель на прежнее место.

Провожаемые шипением, они пошли дальше.

«Где он может быть?» — думал Остап. — Это мне начинает не нравиться». И он решил не покидать туалетенорового чертога до тех пор, пока не узнает все.

За то время, покуда инспектор и завхоз лазали по чердакам, входя во все детали противопожарной охраны и расположения дымоходов, 2-й дом Старсобеса жил обыденной своей жизнью.

Обед был готов. Запах подгоревшей каши заметно усилился и перебил все остальные кислые запахи, обитавшие в доме. В коридорах зашелестело. Старухи, неся впереди себя в обеих руках жестяные мисочки с кашей, осторожно выходили из кухни и садились обедать за общий стол, стараясь не глядеть на развешанные в столовой лозунги, сочиненные лично Александром Яковлевичем и художественно выполненные Александрой Яковлевной. Лозунги были такие:

«ПИЩА — ИСТОЧНИК ЗДОРОВЬЯ»

**«ОДНО ЯЙЦО СОДЕРЖИТ СТОЛЬКО ЖЕ ЖИРОВ,
СКОЛЬКО 1/2 ФУНТА МЯСА»**

«ТЩАТЕЛЬНО СЛЕДИ ЗА СВОИМИ ЗУБАМИ»

«ПЕРЕЖЕВЫВАЯ ПИЩУ, ТЫ ПОМОГАЕШЬ ОБЩЕСТВУ»

и

«МЯСО — ВРЕДНО»

Все эти святые слова будили в старухах воспоминания об исчезнувших еще до революции зубах, о яйцах, пропавших приблизительно в ту же пору, о мясе, уступающем в смысле жиров яйцам, а может быть, и об обществе, которому они были лишены возможности помогать, тщательно пережевывая пищу.

Хуже всех приходилось старухе Кокушкиной, которая сидела против большого, хорошо иллюминированного акварелью, чертежа коровы. Чертеж этот был пожертвован ОННОБом (Обществом новой научной организации быта). Симпатичная корова, глядевшая с чертежа одним темным испанским глазом, была искусно разделена на части и походила на генеральный план нового кооперативного дома, с тою только разницей, что те места, которые на плане дома были обозначены уборными, кухнями, коридорами и черными лестницами, на плане коровы фигурировали под названиями: филе, ссек, край, 1-й сорт, 2-й и 3-й сорта.

Кокушкина ела свою кашу, не поднимая головы. Поразительная корова вызывала у нее слюнотечение и перебои сердца. Во 2-м доме собеса мясо к обеду не подавали.

Кроме старух, за столом сидели Исидор Яковлевич, Афанасий Яковлевич, Кирилл Яковлевич, Олег Яковлевич и Паша Эмильевич. Ни возрастом, ни полом эти молодые люди не гармонировали с задачами социального обеспечения, зато четыре Яковлевича были юными братьями Альхена, а Паша Эмильевич — двоюродным племянником Александры Яковлевны. Молодые люди, самым старшим из которых был 32-летний Паша Эмильевич, не считали свою жизнь в доме собеса чем-либо ненормальным. Они жили в доме на старушечьих правах, у них тоже были казенные постели с одеялами, на которых было написано «ноги», облачены они были, как и старухи, в мышинный туалетенор, но благодаря молодости и силе они питались лучше воспитанниц. Они крали в доме все, что не успевал украсть Альхен. Паша Эмильевич мог слопать в один присест два килограмма тюльки, что он однажды и сделал, оставив весь дом без обеда.

Не успели старухи основательно распробовать кашу, как Яковлевичи вместе с Эмильевичем, проглотив свои порции и отрыгиваясь, встали из-за стола и пошли в кухню на поиски чего-либо удобоваримого.

Обед продолжался. Старушки загомонили:

— Сейчас нажрут, станут песни орать!

— А Паша Эмильевич сегодня утром стул из красного уголка продал.

С черного хода вынес перекупщику.

— Посмотрите, пьяный сегодня придет...

В эту минуту разговор воспитанниц был прерван трубным сморканьем, заглушившим даже все продолжающееся пение огнетушителя, и коровий голос начал:

— ...бретение...

Старухи, пригнувшись и не оборачиваясь на стоявший в углу на мытом паркете громкоговоритель, продолжали есть, надеясь, что их минет чаша сия. Но громкоговоритель бодро продолжал:

— Евокр-р-рах-х-х-х видусоб... ценное изобретение. Дорожный мастер Мурманской железной дороги товарищ Сокуцкий, Самара, Орел, Клеопатра, Устинья, Царицын, Клементий, Ифигения, Йорк, — Со-куц-кий...

Труба с хрипом втянула в себя воздух и насморочным голосом возобновила передачу:

— ...изобрел световую сигнализацию на снегоочистителях. Изобретение одобрено Доризулом¹, — Дарья, Онега, Раймонд...

Старушки серыми утицами поплыли в свои комнаты. Труба, подпрыгивая от собственной мощи, продолжала бушевать в пустой комнате:

— ...А теперь прослушайте новгородские частушки...

Далеко-далеко, в самом центре земли, кто-то тронул балалаечные струны, и черноземный Баттистини запел:

На стене клопы сидели
И на солнце щурились,
Фининспектора узрели —
Сразу окочурились...

В центре земли эти частушки вызвали бурную деятельность. В трубе слышался страшный рокот. Не то это были громовые аплодисменты, не то начали работать подземные вулканы.

Между тем помрачневший инспектор пожарной охраны спустился задом по чердачной лестнице и, снова очутившись в кухне, увидел пятерых граждан, которые прямо руками выкапывали из бочки кислую капусту и обжирались ею. Ели они в молчании. Один только Паша Эмильевич по-гурмански крутил головой и, снимая с усов капустные водоросли, с трудом говорил:

— Такую капусту грешно есть помимо водки.

— Новая партия старушек? — спросил Остап.

— Это сироты, — ответил Альхен, выжимая плечом инспектора из кухни и исподволь грозя сиротам кулаком.

— Дети Поволжья?

Альхен замялся.

— Тяжелое наследье царского режима?

Альхен развел руками: мол, ничего не поделаешь, раз такое наследие.

— Совместное воспитание обоих полов по комплексному методу?

¹ Доризул — Дорожное бюро изобретений и улучшений.



Застенчивый Александр Яковлевич тут же, без промедления, пригласил пожарного инспектора отобедать чем бог послал.

В этот день бог послал Александру Яковлевичу на обед бутылку зубровки, домашние грибки, форшмак из селедки, украинский борщ с мясом 1-го сорта, курицу с рисом и компот из сушеных яблок.

— Сашхен, — сказал Александр Яковлевич, — познакомься с товарищем из Губпожара.

Остап артистически раскланялся с хозяйкой дома и объявил ей такой длиннющий и двусмысленный комплимент, что даже не смог довести его до конца. Сашхен — рослая дама, миловидность которой была несколько обезображена николаевскими полубакенбардами, тихо засмеялась и выпила с мужчинами.

— Пью за ваше коммунальное хозяйство! — воскликнул Остап.

Обед прошел весело, и только за компотом Остап вспомнил о цели своего посещения.

— Отчего, — спросил он, — в вашем кефирном заведении такой скудный инвентарь?

— Как же, — заволновался Альхен, — а фисгармония?

— Знаю, знаю, вокс гуманум. Но посидеть у вас со вкусом абсолютно не на чем. Одни садовые лоханки.

— В красном уголке есть стул, — обиделся Альхен, — английский стул. Говорят, еще от старой обстановки остался.

— А я, кстати, не видел вашего красного уголка. Как он в смысле пожарной охраны? Не подкачает? Придется посмотреть.

— Милости просим.

Остап поблагодарил хозяйку за обед и тронулся.

В красном уголке примусов не разводили, временных печей не было, дымоходы были в исправности и прочищались регулярно, но стула, к непомерному удивлению Альхена, не было. Бросились искать стул. Заглядывали под кровати и под скамейки, отодвинули для чего-то фисгармонию, допытывались у старушек, которые опасливо поглядывали на Пашу Эмильевича, но стула так и не нашли. Паша Эмильевич проявил в розыске стула большое усердие. Все уже успокоились, а Паша Эмильевич все еще бродил по комнатам, заглядывал под графины, передвигал чайные жестяные кружки и бормотал:

— Где же он может быть? Сегодня он был, я видел его собственными глазами! Смешно даже.

— Грустно, девицы, — ледяным голосом сказал Остап.

— Это просто смешно! — нагло повторял Паша Эмильевич.

Но тут певший все время пеногон-огнетушитель «Эклер» взял самое верхнее фа, на что способна одна лишь народная артистка республики Нежданова, смолк на секунду и с криком выпустил первую пенную струю, за-

лившую потолок и сбившую с головы повара туалъденоровый колпак. За первой струей пеногон-огнетушитель выпустил вторую струю туалъденорового цвета, повалившую несовершеннолетнего Исидора Яковлевича. После этого работа «Эклера» стала бесперебойной.

К месту происшествия ринулись Паша Эмильевич, Альхен и все уцелевшие Яковлевичи.

— Чистая работа! — сказал Остап. — Идиотская выдумка!

Старухи, оставшись с Остапом наедине, без начальства, сейчас же стали заявлять претензии:

— Брательников в доме поселил. Обжираются.

— Поросят молоком кормит, а нам кашу сует.

— Все из дому выносил.

— Спокойно, девицы, — сказал Остап, отступая, — это к вам из инспекции труда придут. Меня сенат не уполномочил.

Старухи не слушали.

— А Пашка-то Мелентьевич, этот стул он сегодня унес и продал. Сама видела.

— Кому? — закричал Остап.

— Продал — и все. Мое одеяло продать хотел.

В коридоре шла ожесточенная борьба с огнетушителем. Наконец, человеческий гений победил, и пеногон, растоптанный железными ногами Паши Эмильевича, последний раз выблевал вялую струю и затих навсегда.

Старух послали мыть пол. Инспектор пожарной охраны пригнул голову и, слегка покачивая бедрами, подошел к Паше Эмильевичу.

— Один мой знакомый, — сказал Остап веско, — тоже продавал государственную мебель. Теперь он пошел в монахи — сидит в допре.

— Мне ваши беспочвенные обвинения странны, — заметил Паша Эмильевич, от которого шел сильный запах пенных струй.

— Ты кому продал стул? — спросил Остап позванивающим шепотом.

Здесь Паша Эмильевич, обладавший сверхъестественным чутьем, понял, что сейчас его будут бить, может быть, даже ногами.

— Перекупщику, — ответил он.

— Адрес?

— Я его первый раз в жизни видел.

— Первый раз в жизни?

— Ей-богу.

— Набил бы я тебе рыло, — мечтательно сообщил Остап, — только Заратустра не позволяет. Ну, пошел к чертовой матери!

Паша Эмильевич искательно улыбнулся и стал отходить.

— Ну, ты, жертва аборта, — высокомерно сказал Остап, — отдай концы, не отчаливай. Перекупщик что, блондин, брюнет?

Паша Эмильевич стал подробно объяснять. Остап внимательно его выслушал и окончил интервью словами:

— Это, безусловно, к пожарной охране не относится.

В коридоре к уходящему Бендеру подошел застенчивый Альхен и дал ему червонец.

— Это 114-я статья Уголовного кодекса, — сказал Остап, — дача взятки должностному лицу при исполнении служебных обязанностей.

Но деньги взял и, не попрощавшись с Александром Яковлевичем, направился к выходу. Дверь, снабженная могучим прибором, с натугой растворилась и дала Остапу под зад толчок в полторы тонны весом.

— Удар состоялся!, — сказал Остап, потирая ушибленное место, — заседание продолжается!

ГЛАВА IX

Где ваши локоны?

В то время как Остап осматривал 2-й дом Старсобеса, Ипполит Матвеевич, выйдя из дворничьей и чувствуя холод в бритой голове, двинулся по улицам родного города.

По мостовой бежала светлая весенняя вода. Стоял непрерывный треск и цокот от падающих с крыш бриллиантовых капель. Воробьи охотились за навозом. Солнце сидело на всех крышах. Золотые битюги нарочито громко гремели копытами по обнаженной мостовой и, склонив уши долу, с удовольствием прислушивались к собственному стуку. На сырых телеграфных столбах ежились мокрые объявления с расплывшимися химическими буквами: «Обучаю игре на гитаре по цифровой системе» и «Даю уроки обществоведения для готовящихся в народную консерваторию». Взвод красноармейцев в зимних шлемах пересекал лужу, начинающуюся у магазина Старгико¹ и тянущуюся вплоть до здания Губплана, фронтон которого был увенчан гипсовыми тиграми, победами и кобрами.

Ипполит Матвеевич шел, с интересом посматривая на встречных и поперечных прохожих. Он, который прожил в России всю жизнь и революцию, видел, как ломался, перелицовывался и менялся быт. Он привык к этому, но оказалось, что привык он только в одной точке земного шара — в уездном городе N. Приехав в родной город, он увидел, что ничего не понимает. Ему было неловко и странно, как если бы он и впрямь был эмигрантом и сейчас только приехал из Парижа. В прежнее время, проезжая по городу в экипаже, он обязательно встречал знакомых или же известных ему с лица людей. Сейчас он прошел уже четыре квартала по улице Ленских Событий, но знакомые

¹ Старгико — Старгородское губернское инвалидно-кооперативное объединение.

не встречались. Они исчезли, а может быть, постарели так, что их нельзя было узнать, а может быть, сделались неузнаваемыми, потому что носили другую одежду, другие шляпы. Может быть, они переменили походку. Во всяком случае, их не было.

Ипполит Матвеевич шел бледный, холодный, потерянный. Он совсем забыл, что ему нужно разыскивать жилотдел. Он без смысла переходил с тротуара на тротуар и сворачивал в переулки, где распустившиеся битюги совсем уже нарочно стучали копытами. В переулках было больше зимы и кое-где попадался загнивший лед. Весь город был другого цвета. Синие дома стали зелеными, желтые — серыми, с каланчи исчезли бомбы¹, по ней не ходил больше пожарный, и на улицах было гораздо шумнее, чем это помнилось Ипполиту Матвеевичу.

На Большой Пушкинской Ипполита Матвеевича удивили никогда не виданные им в Старгороде рельсы и трамвайные столбы с проводами. Ипполит Матвеевич не читал газет и не знал, что к первому мая в Старгороде собираются открыть две трамвайные линии: Вокзальную и Привозную. То Ипполиту Матвеевичу казалось, что он никогда не покидал Старгорода, то Старгород представлялся ему местом совершенно незнакомым.

В таких мыслях он дошел до улицы Маркса и Энгельса. В этом месте к нему вернулось детское ощущение, что вот сейчас из-за угла двухэтажного дома с длинным балконом обязательно должен выйти знакомый. Ипполит Матвеевич даже приостановился в ожидании. Но знакомый не вышел. Сначала из-за угла показался стекольник с ящиком бемского стекла² и буханкой замазки медного цвета. Выдвинулся из-за угла фронт в замшевой кепке с кожаным желтым козырьком. За ним выбежали дети, школьники первой ступени, с книжками в ремешках³.

Вдруг Ипполит Матвеевич почувствовал жар в ладонях и прохладу в животе. Прямо на него шел незнакомый гражданин с добрым лицом, держа на весу, как виолончель, стул. Ипполит Матвеевич, которым неожиданно овладела икота, всмотрелся и сразу узнал свой стул.

Да! Это был гамбсовский стул, обитый потемневшим в революционных бурях английским ситцем в цветочках, это был ореховый стул с гнутыми ножками. Ипполит Матвеевич почувствовал себя так, как будто бы ему выпалили в ухо.

— Точить ножи-ножницы, бритвы править! — закричал вблизи баритональный бас.

И сейчас же донеслось тонкое эхо:

¹ Бомбы — разговорное название для сигнальных кожаных шаров разного цвета, используемых для извещения о пожаре или беде, ночью знаком беды становился зажженный на каланче фонарь.

² Стекло бемское, или богемское (от нем. böhmisch — «богемский») — высокосортное листовое стекло для окон, шлифованное на глиняных плитах; отличается идеально ровной поверхностью и прозрачностью.

³ До революции и в первые годы советской власти большинство учеников не имели портфелей и носили учебники перетянутыми ремешком.

— Пяять, начинать!..

— Московская гайзета «Звестие», журнал «Смехач», «Красная нива»!..

Где-то наверху со звоном высадили стекло. Потрясая город, проехал грузовик Мельстроля. Засвистел милиционер. Жизнь кипела и переливалась через край. Времени терять было нечего.

Ипполит Матвеевич леопардовым скоком приблизился к возмутительно-му незнакомцу и молча дернул стул к себе. Незнакомец дернул стул обратно. Тогда Ипполит Матвеевич, держась левой рукой за ножку, стал с силой отрывать толстые пальцы незнакомца от стула.

— Грабят, — шепотом сказал незнакомец, еще крепче держась за стул.

— Позвольте, позвольте, — лепетал Ипполит Матвеевич, продолжая отклеивать пальцы незнакомца.

Стала собираться толпа. Человека три уже стояло поблизости, с живейшим интересом следя за развитием конфликта.

Тогда оба опасливо оглянулись и, не глядя друг на друга, но не выпустив стула из цепких рук, быстро пошли вперед, как будто бы ничего и не было.

«Что же это такое?» — отчаянно думал Ипполит Матвеевич.

Что думал незнакомец, нельзя было понять, но походка у него была самая решительная.

Они шли все быстрее и, завидя в глухом переулке пустырь, засыпанный щебнем и строительными материалами, как по команде, повернули туда. Здесь силы Ипполита Матвеевича учетверились.

— Позвольте же, — закричал он, не стесняясь.

— Ка-ра-ул! — еле слышно воскликнул незнакомец.

И так как руки у обоих были заняты стулом, они стали пинать друг друга ногами. Сапоги незнакомца были с подковами, и Ипполиту Матвеевичу сначала пришлось довольно плохо. Но он быстро приспособился и, прыгая то направо, то налево, как будто танцевал краковяк, увертывался от ударов противника и старался поразить врага в живот. В живот ему попасть не удалось, потому что мешал стул, но зато он угодил в коленную чашечку противника, после чего тот смог лягаться только левой ногой.

— О господи! — зашептал незнакомец.

И тут Ипполит Матвеевич увидел, что незнакомец, возмутительнейшим образом похитивший его стул, не кто иной, как священник церкви Флора и Лавра — отец Федор Востриков. Ипполит Матвеевич опешил.

— Батюшка! — воскликнул он, в удивлении снимая руки со стула.

Отец Востриков полиловел и разжал наконец пальцы. Стул, никем не поддерживаемый, свалился на битый кирпич.

— Где же ваши усы, уважаемый Ипполит Матвеевич? — с наивозможной язвительностью спросила духовная особа.



— А ваши локоны где? У вас ведь были локоны?

Невыносимое презрение слышалось в словах Ипполита Матвеевича. Он окатил отца Федора взглядом необыкновенного благородства и, взяв под мышку стул, повернулся, чтобы уйти. Но отец Федор, уже оправившийся от смущения, не дал Воробьянинову такой легкой победы. С криком: «Нет, прошу вас», он снова ухватился за стул. Была восстановлена первая позиция. Оба противника стояли, вцепившись в ножки, как коты или боксеры, меряли друг друга взглядами, похаживая из стороны в сторону.

Хватающая за сердце пауза длилась целую минуту.

— Так это вы, святой отец, — проскрежетал Ипполит Матвеевич, — охотитесь за моим имуществом?

С этими словами Ипполит Матвеевич лягнул святого отца ногой в бедро.

Отец Федор изловчился и злобно пнул предводителя в пах так, что тот согнулся.

— Это не ваше имущество.

— А чье же?

— Не ваше.

— А чье же?

— Не ваше, не ваше.

— А чье же, чье?

— Не ваше.

Шипя так, они неистово лягались.

— А чье же это имущество? — возопил предводитель, погружая ногу в живот святого отца.

Преодолевая боль, святой отец твердо сказал:

— Это национализированное имущество.

— Национализированное?

— Да-с, да-с, национализированное.

Говорили они с такой необыкновенной быстротой, что слова сливались.

— Кем национализировано?

— Советской властью! Советской властью!

— Какой властью?

— Властью трудящихся.

— А-а-а!.. — сказал Ипполит Матвеевич леденя. — Властью рабочих и крестьян?

— Да-а-а-с!

— М-м-м!.. Так, может быть, вы, святой отец, партийный?

— М-может быть!

Тут Ипполит Матвеевич не выдержал и с воплем «может быть!» смачно плюнул в доброе лицо отца Федора. Отец Федор немедленно плюнул в лицо Ипполита Матвеевича и тоже попал. Стереть слюну было нечем: руки были заняты стулом. Ипполит Матвеевич издал звук открываемой двери и изо всей мочи толкнул врага стулом. Враг упал, увлекая за собой задыхающегося Воробьянинова. Борьба продолжалась в партере.

Вдруг раздался треск: отломилась сразу обе передние ножки. Забыв друг о друге, противники принялись терзать ореховое кладохранилище. С печальным криком чайки разодрался английский ситец в цветочках. Спинка отлетела, отброшенная могучим порывом. Кладоискатели рванули рогожу вместе с медными пуговичками и, ранясь о пружины, погрузили пальцы в шерстяную набивку. Потревоженные пружины пели. Через пять минут стул был обглодан. От него остались рожки да ножки. Во все стороны катились пружины. Ветер носил гнилую шерсть по пустырю. Гнутые ножки лежали в яме. Бриллиантов не было.

— Ну что, нашли? — спросил Ипполит Матвеевич задыхаясь.

Отец Федор, весь покрытый клочками шерсти, отдувался и молчал.

— Вы аферист! — крикнул Ипполит Матвеевич. — Я вам морду побью, отец Федор!

— Руки коротки, — ответил батюшка.

— Куда же вы пойдете весь в пуху?

— А вам какое дело?

— Стыдно, батюшка! Вы просто вор!

— Я у вас ничего не украл!

— Как же вы узнали об этом? Использовали в своих интересах тайну исповеди? Очень хорошо! Очень красиво!

Ипполит Матвеевич с негодующим «пфуй!» покинул пустырь и, чистя на ходу рукава пальто, направился домой.

На углу улицы Ленских Событий и Ерофеевского переулкa Воробьянинов увидел своего компаньона. Технический директор и главный руководитель концессии стоял вполоборота, приподняв левую ногу, — ему чистили замшевый верх ботинок канареечным кремом. Ипполит Матвеевич подбежал к нему. Директор беззаботно мурлыкал «Шимми»:

Раньше это делали верблюды,

Раньше так плясали ба-та-ку-ды,

А теперь уже танцует шимми це-лый мир...

— Ну, как жилотдел? — спросил он деловито и сейчас же добавил: — Подождите, не рассказывайте, вы слишком взволнованы, прохладитесь.

Выдав чистильщику семь копеек, Остап взял Воробьянинова под руку и поволок его по улице. Все, что рассказал взволнованный Ипполит Матвеевич, Остап выслушал с большим вниманием.

— Ага! Небольшая черная бородка? Правильно! Пальто с барашковым воротником? Понимаю. Это стул из богадельни. Куплен сегодня утром за три рубля.

— Да вы погодите...

И Ипполит Матвеевич сообщил главному концессионеру обо всех подлостях отца Федора. Остап омрачился.

— Кислое дело, — сказал он, — пещера Лейхтвейса¹. Тайственный соперник. Его нужно опередить, а морду ему мы всегда успеем пощупать.

Пока друзья закусывали в пивной «Стенька Разин» и Остап разузнавал, в каком доме находился раньше жилотдел и какое учреждение находится в нем теперь, день кончился.

Золотые битюги снова превратились в коричневых. Бриллиантовые капли холодели на лету и плюхались оземь. В пивных и ресторане «Феникс» пиво поднялось в цене: наступил вечер. На Большой Пушкинской зажглись электрические лампы и, возвращаясь домой с первой весенней прогулки, с барабанным топаньем прошел отряд пионеров.

¹ *Пещера Лейхтвейса* — популярный в начале XX в. приключенческий роман немецкого писателя, скрывавшегося под псевдонимом В. А. Рёдер. Роман повествует о приключениях разбойника и браконьера Генриха Антона Лейхтвейса. Полное название романа «Пещера Лейхтвейса, или Тринадцать лет любви и верности под землею».

Тигры, победы и кобры губплана таинственно светились под входящей в город луной.

Идя домой с замолчавшим вдруг Остапом, Ипполит Матвеевич посмотрел на губплановских тигров и кобр. В его время здесь помещалась губернская земская управа, и граждане очень гордились кобрами, считая их старгородской достопримечательностью.

«Найду», — подумал Ипполит Матвеевич, взглядываясь в гипсовую победу.

Тигры ласково размахивали хвостами, кобры радостно сокращались, и душа Ипполита Матвеевича наполнилась уверенностью.

ГЛАВА X

Слесарь, попугай и гадалка

Дом № 7 по Перелешинскому переулку не принадлежал к лучшим зданиям Старгорода. Два его этажа, построенные в стиле второй империи, были украшены побитыми львиными мордами, необыкновенно похожими на лицо известного в свое время писателя Арцыбашева. Арцыбашевских ликов было ровно восемь, по числу окон, выходящих в переулок. Помещались эти львиные хари в оконных ключах.

Были на доме еще два украшения, но уже чисто коммерческого характера. С одной стороны висела лазурная вывеска: «Одесская бубличная артель „Московские баранки“». На вывеске был изображен молодой человек в галстуке и коротких французских брюках. Он держал в одной вывернутой руке сказочный рог изобилия, из которого лавиной валили охряные московские баранки, выдававшиеся по нужде и за одесские бублики. При этом молодой человек сладострастно улыбался. С другой стороны упаковочная контора «Быстроупак» извещала о себе уважаемых гр.гр. заказчиков черной вывеской с круглыми золотыми буквами.

Несмотря на ощутительную разницу в вывесках и величине оборотного капитала, оба эти разнородные предприятия занимались одним и тем же делом: спекулировали мануфактурой всех видов — грубошерстной, тонкошерстной, камвольной, хлопчатобумажной, а если попадался шелк хороших цветов и рисунков, то и шелком.

Пройдя ворота, залитые туннельным мраком и водой, и свернув направо во двор с цементным колодцем, можно было увидеть две двери без крылец, выходящие прямо на острые камни двора. Дощечка тусклой меди с вырезанной на ней писанными буквами фамилией «В. М. Полесов» помещалась на правой двери. Левая была снабжена беленькой жестянкой: «Моды и шляпы». Это тоже была одна видимость.

Внутри модной и шляпной мастерской не было ни спартри¹, ни отделки, ни безголовых манекенов с офицерской выправкой, ни головатых болванок для изящных дамских шляп. Вместо всей этой мишуры в трехкомнатной квартире жил непорочно-белый попугай в красных подштанниках. Попугая одолевали блохи, но пожаловаться он никому не мог, потому что не говорил человеческим голосом. По целым дням попугай грыз семечки и сплевывал шелуху на ковер сквозь прутья башенной клетки. Ему не хватало только гармоники и новых свистящих калош, чтобы походить на подгулявшего кустаря-одиночку. На окнах колыхались темные коричневые занавеси с блямбами. В квартире преобладали темно-коричневые тона. Над пианино висела репродукция с картины Бёклина «Остров мертвых» в раме фантази², темно-зеленого полированного дуба, под стеклом. Один угол стекла давно вылетел, и обнаженная часть картины была так отделана мухами, что совершенно сливалась с рамой. Что творилось в этой части острова мертвых — узнать было уже невозможно.

В спальне на кровати сидела сама хозяйка и, опираясь локтями на восьмиугольный столик, покрытый нечистой скатертью ришелье³, раскладывала карты. Перед нею сидела вдова Грицацуева в пушистой шали.

— Должна вас предупредить, девушка, что я за сеанс меньше пятидесяти копеек не беру, — сказала хозяйка.

Вдова, не знаящая преград в стремлении отыскать нового мужа, согласилась платить установленную цену.

— Только вы, пожалуйста, и будущее, — жалобно попросила она.

— Вас надо гадать на даму трэф.

Вдова возразила:

— Я всегда была червонная дама.

Хозяйка равнодушно согласилась и начала комбинировать карты. Черновое определение вдовьей судьбы было дано уже через несколько минут. Вдову ждали большие и мелкие неприятности, а на сердце у нее лежал трефовый король, с которым дружила бубновая дама.

Набело гадали по руке. Линии руки вдовы Грицацуевой были чисты, мощны и безукоризненны. Линия жизни простиралась так далеко, что конец ее заехал в пульс, и, если линия говорила правду, вдова должна была бы дожить до Страшного суда. Линии ума и искусства давали право надеяться, что вдова бросит торговлю бакалеей и подарит человечеству непревзойденные ше-

¹ *Спартри* — плетеный материал для изготовления примерочного макета будущей шляпы.

² *Фантази* — романтический стиль в искусстве.

³ *Скатерть ришелье* — ажурная скатерть с вышивкой. Вышивка ришелье — это род ажурной вышивки, при котором основные элементы узора обшиваются, а промежутки между ними вырезаются, создавая кружево. Впервые этот вид рукоделия появился в Италии в эпоху Возрождения, а затем перекочевал во Францию, где и приобрел огромное множество почитателей. Одним из них и был знаменитый кардинал Ришелье, в честь которого эта вышивка и получила свое название.

девро в какой угодно области искусства, науки или обществоведения. Бугры Венеры у вдовы походили на маньчжурские сопки и обнаруживали чудесные запасы любви и нежности.

Все это гадалка объяснила вдове, употребляя слова и термины, принятые в среде графологов, хиромантов и лошадиных барышников.

— Вот спасибо вам, мадамочка, — сказала вдова, — уж я теперь знаю, кто трэфовый король. И бубновая дама мне тоже очень известна. А король-то марьяжный?

— Марьяжный, девушка.

Окрыленная вдова зашагала домой. А гадалка, сбросив карты в ящик, зевнула, показала пасть пятидесятилетней женщины и пошла в кухню. Там она повозилась с обедом, гревшимся на керосинке «Грец», по-кухарочьи вытерла руки о передник, взяла поколовшееся эмалевое ведро и вышла во двор за водой.

Она шла по двору, тяжело передвигаясь на плоских ступнях. Ее полуразвалившийся бюст вяло прыгал в перекрашенной кофточке. На голове рос венчик седеющих волос. Она была старухой, была грязновата, смотрела на всех подозрительно и любила сладкое. Если бы Ипполит Матвеевич увидел ее сейчас, то никогда не узнал бы Елены Боур, старой своей возлюбленной, о которой секретарь суда когда-то сказал стихами, что она «к поцелуям зовущая, вся такая воздушная».

У колодца мадам Боур была приветствована соседом Виктором Михайловичем Полесовым, слесарем-интеллигентом, который набирал воду в бидон из-под бензина. У Полесова было лицо оперного дьявола, которого тщательно мазали сажей перед тем, как выпустить на сцену.

Обменявшись приветствиями, соседи заговорили о деле, занимавшем весь Старгород.

— До чего дожились, — иронически сказал Полесов, — вчера весь город обегал, плашек три восьмых дюйма достать не мог. Нету. Нет! А трамвай собираются пускать...

Елена Станиславовна, имевшая о плашках в три восьмых дюйма такое же представление, какое имеет о сельском хозяйстве слушательница хореографических курсов имени Леонардо да Винчи, предполагающая, что творог добывается из вареников, все же посочувствовала:

— Какие теперь магазины! Теперь только очереди, а магазинов нет. И названия у этих магазинов самые ужасные. Старгико!..

— Нет, знаете, Елена Станиславовна, это еще что! У них четыре мотора «Всеобщей электрической компании» остались. Ну, эти кое-как пойдут, хотя кузова та-акой хлам!.. Стекла не на резинах. Я сам видел. Дребезжать все это будет... Мрак! А остальные моторы — харьковская работа. Сплошной госпромцветмет¹. Версты не протянут. Я на них смотрел...

¹ Имеется в виду металлолом.



Слесарь раздраженно замолк. Его черное лицо блестело на солнце. Белки глаз были желтоваты. Среди кустарей с мотором, которыми изобилдовал Старгород, Виктор Михайлович Полесов был самым непроворным и наиболее часто попадавшим впросак. Причиной к этому служила его чрезмерно кипучая натура. Это был кипучий лентяй. Он постоянно пенился. В собственной его мастерской, помещавшейся во втором дворе дома № 7 по Перелешинскому переулку, застать его было невозможно. Потухший переносный горн сиротливо стоял посреди каменного сарая, по углам которого были навалены проколотые камеры, рваные протекторы «Треугольник», рыжие замки — такие огромные, что ими можно было запирать города, — мягкие баки для горючего с надписями «Indian» и «Wanderer», детская рессорная колясочка, навеки заглохшая динамка, гнилые сыромятные ремни, масляная пакля, стертая наждачная бумага, австрийский штык и множество рваной, гнутой и давленной дряни.

Заказчики не находили Виктора Михайловича. Виктор Михайлович уже где-то распоряжался. Ему было не до работы. Он не мог спокойно видеть въезжающего в свой или чужой двор ломовика с кладью. Полесов сейчас же выходил во двор и, сложив руки на спине, презрительно наблюдал действия возчика. Наконец сердце его не выдерживало.

— Кто же так заезжает? — кричал он, ужасаясь. — Заворачивай!

Испуганный возчик заворачивал.

— Куда же ты заворачиваешь, морда?! — страдал Виктор Михайлович, налетая на лошадь. — Надавали бы тебе в старое время пощечин, тогда бы заворачивал.

Покомандовавши так с полчаса, Полесов собирался было уже возвратиться в мастерскую, где ждал его непочиненный велосипедный насос, но тут спокойная жизнь города обычно вновь нарушалась каким-нибудь недоразумением. То на улице сцеплялись осями телеги, и Виктор Михайлович указывал, как лучше всего и быстрее их расцепить; то меняли телеграфный столб, и Полесов проверял его перпендикулярность к земле собственным, специально вынесенным из мастерской отвесом; то, наконец, проезжал пожарный обоз, и Полесов, взволнованный звуками трубы и испепеляемый огнем беспокойства, бежал за колесницами.

Однако временами Виктора Михайловича постигала стихия реального действия. На несколько дней он скрывался в мастерскую и молча работал. Дети свободно бегали по двору и кричали что хотели, ломовики заворачивали и описывали во дворе какие угодно кривые, телеги на улице вообще переставали сцепляться, и пожарные колесницы и катафалки в одиночестве катили на пожар — Виктор Михайлович работал. Однажды, после одного такого запоя, он вывел во двор, как барана за рога, мотоцикл, составленный из кусочков автомобилей, огнетушителей, велосипедов и пишущих машинок.

Мотор в $1\frac{1}{2}$ силы был вандереровский, колеса давидсоновские, а другие существенные части уже давно потеряли фирму. С седла свисал на шпагате картонный плакат «Проба». Собралась толпа. Не глядя ни на кого, Виктор Михайлович закрутил рукой педаль. Искры не было минут десять. Затем раздалось железное чавканье, прибор задрожал и окутался грязным дымом. Виктор Михайлович кинулся в седло, и мотоцикл, забрав безумную скорость, вынес его через туннель на середину мостовой и сразу остановился, словно срезанный пулей. Виктор Михайлович собрался было уже слезть и обревизовать свою загадочную машину, но она дала вдруг задний ход и, пронеся своего создателя через тот же туннель, остановилась на месте отправления — посреди двора, ворчливо ахнула и взорвалась. Виктор Михайлович уцелел чудом и из обломков мотоцикла в следующий запойный период устроил стационарный двигатель, который был очень похож на настоящий, но не работал.

Венцом академической деятельности слесаря-интеллигента была эпопея с воротами соседнего дома № 5. Жилтоварищество этого дома заключило с Виктором Михайловичем договор, по которому Полесов обязывался привести железные ворота дома в полный порядок и выкрасить их в какой-нибудь экономический цвет, по своему усмотрению. С другой стороны, жилтоварищество обязывалось уплатить В. М. Полесову, по приеме работы специальной комиссией, 21 рубль 75 копеек. Гербовые марки были отнесены за счет исполнителя работы.

Виктор Михайлович утащил ворота, как Самсон. В мастерской он с энтузиазмом взялся за работу. Два дня ушло на расклепку ворот. Они были разобраны на составные части. Чугунные завитушки лежали в детской колясочке, железные штанги и копыя были сложены под верстак. Еще несколько дней пошло на осмотр повреждений. А потом в городе произошла большая неприятность: на Дровяной лопнула магистральная водопроводная труба, и Виктор Михайлович остаток недели провел на месте аварии, иронически улыбаясь, крича на рабочих и поминутно заглядывая в провал. Когда организаторский пыл Виктора Михайловича несколько утих, он снова подступил к воротам, но было поздно: дворовые дети уже играли чугунными завитушками и копиями ворот дома № 5. Увидав разгневанного слесаря, дети в испуге побросали цацки и убежали. Половины завитушек не хватало, и найти их не удалось. После этого Виктор Михайлович совершенно охладел к воротам.

А в доме № 5, раскрытом настежь, происходили ужасные события. С чердаков крали мокрое белье и однажды вечером унесли даже закипающий во дворе самовар. Виктор Михайлович лично принимал участие в погоне за вором, но вор, хотя и нес в вытянутых вперед руках кипящий самовар, из жестяной трубы которого било пламя, бежал очень резво и, оборачиваясь назад, хулил держащегося впереди всех Виктора Михайловича нечистыми словами.

Но больше всех пострадал дворник дома № 5. Он потерял еженощный заработок: ворот не было, нечего было открывать, и загулявшим жильцам не за что было отдавать свои гривенники. Сперва дворник приходил справляться, скоро ли будут собраны ворота, потом молил христом-богом, а под конец стал произносить неопределенные угрозы. Жилтоварищество посылало Виктору Михайловичу письменные напоминания. Дело пахло судом. Положение напрягалось все больше и больше.

Стоя у колодца, гадалка и слесарь-энтузиаст продолжали беседу.

— При наличии отсутствия пропитанных шпал, — кричал Виктор Михайлович на весь двор, — это будет не трамвай, а одно горе!

— Когда же все это кончится! — сказала Елена Станиславовна. — Живем как дикари.

— Конца этому нет... Да! Знаете, кого я сегодня видел? Воробьянинова.

Елена Станиславовна прислонилась к колодцу, в изумлении продолжая держать на весу полное ведро с водой.

— Прихожу я в Коммунхоз продлить договор на аренду мастерской, иду по коридору. Вдруг подходят ко мне двое. Я смотрю что-то знакомое. Как будто воробьяниновское лицо. И спрашивает: «Скажите, что здесь за учреждение раньше было, в этом здании?» Я говорю, что раньше была здесь женская гимназия, а потом жилотдел. «А вам зачем?» — спрашиваю. А он говорит «спасибо» и пошел дальше. Тут я ясно увидел, что это сам Воробьянинов, только без усов. Откуда ему здесь взяться? И тот, другой, с ним был — красавец мужчина. Явно бывший офицер. И тут я подумал...

В эту минуту Виктор Михайлович заметил нечто неприятное. Прервав речь, он схватил свой бидон и быстро спрятался за мусорный ящик. Во двор медленно вошел дворник дома № 5, остановился подле колодца и стал ози- рать дворовые постройки. Не заметив нигде Виктора Михайловича, он за- грустил.

— Витьки-слесаря опять нету? — спросил он у Елены Станиславов- ны.

— Ах, ничего я не знаю, — сказала гадалка, — ничего я не знаю.

И в необыкновенном волнении, выливая воду из ведра, торопливо ушла к себе.

Дворник погладил цементный блок колодца и пошел к мастерской. Через два шага после вывески «Ход в слесарную мастерскую» красовалась вывеска «Слесарная мастерская и починка примусов», под которой висел тяжелый за- мок. Дворник ударил ногой в замок и с ненавистью сказал:

— У, гангрена!

Дворник стоял у мастерской еще минуты три, наливаясь самыми ядови- тыми чувствами, потом с грохотом отодрал вывеску, понес ее на середину двора к колодцу и, став на нее обеими ногами, начал скандалить.



— Ворюги у вас в доме номер семь живут! — вопил дворник. — Сволота всякая! Гадюка семибатюшная!¹ Среднее образование имеет!.. Я не посмотрю на среднее образование!.. Гангрена проклятая!..

В это время семибатюшная гадюка со средним образованием сидела за мусорным ящиком на бидоне и тосковала.

С треском распахивались рамы, и из окон выглядывали веселые жильцы. С улицы во двор не спеша входили любопытные. При виде аудитории дворник разжегся еще больше.

— Слесарь-механик! — вскрикивал дворник. — Аристократ собачий!

Парламентарные выражения дворник богато перемежал нецензурными словами, которым отдавал предпочтение. Слабое женское сословие, густо облепившее подоконники, очень негодовало на дворника, но от окон не отходило.

— Харю разворочу! — неистовствовал дворник. — Образованный!

Когда скандал был в зените, явился милиционер и молча стал тащить скандалиста в район. Милиционеру помогали молодцы из «Быстроупака».

Дворник покорно обнял милиционера за шею и заплакал навзрыд. Опасность миновала.

¹ Семибатюшный — дословно «имеющий семь отцов», ругательство, означающее незаконно-рожденный, ублюдок.

Тогда из-за мусорного ящика выскочил истомившийся Виктор Михайлович. Аудитория зашумела.

— Хам! — закричал Виктор Михайлович вслед шествию. — Хам! Я тебе покажу! Мерзавец!

Горько рыдавший дворник ничего этого не услышал. Его несли на руках в отделение. Туда же в качестве вещественного доказательства потащили вывеску «Слесарная мастерская и починка примусов».

Виктор Михайлович еще долго хорохорился.

— Сукины сыны, — говорил он, обращаясь к зрителям, — возомнили о себе! Хамы!

— Будет вам, Виктор Михайлович! — крикнула из окна Елена Станиславовна. — Зайдите ко мне на минуточку.

Она поставила перед Виктором Михайловичем блюдечко компота и, расхаживая по комнате, принялась расспрашивать.

— Да говорю же вам, что это он, без усов, но он, — по обыкновению кричал Виктор Михайлович, — ну вот, знаю я его отлично! Воробьянинов, как вылитый!

— Тише вы, господи! Зачем он приехал, как вы думаете?

На черном лице Виктора Михайловича определилась ироническая улыбка.

— Ну, а вы как думаете?

Он усмехнулся с еще большей иронией.

— Уж во всяком случае не договоры с большевиками подписывать.

— Вы думаете, что он подвергается опасности?

Запасы иронии, накопленные Виктором Михайловичем за десять лет революции, были неистощимы. На лице его заиграли серии улыбок различной силы и скепсиса.

— Кто в Советской России не подвергается опасности, тем более человек в таком положении, как Воробьянинов? Усы, Елена Станиславовна, даром не сбривают.

— Он послан из-за границы? — спросила Елена Станиславовна, чуть не задохнувшись.

— Безусловно, — ответил гениальный слесарь.

— С какой же целью он здесь?

— Не будьте ребенком.

— Все равно. Мне надо его видеть.

— А вы знаете, чем рискуете?

— Ах, все равно! После десяти лет разлуки я не могу не увидеться с Ипполитом Матвеевичем.

Ей и на самом деле показалось, что судьба разлучила их в ту пору, когда они любили друг друга.

— Умоляю вас, найдите его! Узнайте, где он! Вы всюду бываете! Вам будет нетрудно! Передайте, что я хочу его видеть. Слышите?

Попугай в красных подштанниках, дремавший на жердочке, испугался шумного разговора, перевернулся вниз головой и в таком виде замер.

— Елена Станиславовна, — сказал слесарь-механик, приподнимаясь и прижимая руки к груди, — я найду его и свяжусь с ним.

— Может быть, вы хотите еще компоту? — растрогалась гадалка.

Виктор Михайлович съел компот, прочел злобную лекцию о неправильном устройстве попугайской клетки и попрощался с Еленой Станиславовной, порекомендовав ей держать все в строжайшем секрете.

ГЛАВА XI

Алфавит — зеркало жизни

На второй день компаньоны убедились, что жить в дворницкой больше неудобно. Бурчал Тихон, совершенно обалдевший после того, как увидел барина сначала черноусым, потом зеленоусым, а под конец и совсем без усов. Спать было не на чем. В дворницкой стоял запах гниющего навоза, распространяемый новыми валенками Тихона. Старые валенки стояли в углу и воздуха тоже не озонировали.

— Считаю вечер воспоминаний закрытым, — сказал Остап, — нужно переезжать в гостиницу.

Ипполит Матвеевич дрогнул.

— Этого нельзя.

— Почему-с?

— Там придется прописаться.

— Паспорт не в порядке?

— Да нет, паспорт в порядке, но в городе мою фамилию хорошо знают.

Пойдут толки.

Концессионеры в раздумье помолчали.

— А фамилия Михельсон вам нравится? — неожиданно спросил великолепный Остап.

— Какой Михельсон? Сенатор?

— Нет. Член Союза совторгслужащих.

— Я вас не пойму.

— Это от отсутствия технических навыков. Не будьте божьей коровой.

Бендер вынул из зеленого пиджака профсоюзную книжку и передал Ипполиту Матвеевичу.

— Конрад Карлович Михельсон, сорока восьми лет, беспартийный, холост, член союза с 1921 года, в высшей степени нравственная личность, мой

хороший знакомый, кажется, друг детей...¹ Но вы можете не дружить с детьми: этого от вас милиция не потребует.

Ипполит Матвеевич зарделся.

— Но удобно ли?

— По сравнению с нашей концессией это деяние, хотя и предусмотренное уголовным кодексом, все же имеет невинный вид детской игры в крысу².

Воробьянинов все-таки запнулся.

— Вы идеалист, Конрад Карлович. Вам еще повезло, а то, вообразите, вам вдруг пришлось бы стать каким-нибудь Папа-Христозопуло или Зловуновым.

Последовало быстрое согласие, и концессионеры, не попрощавшись с Тихоном, выбрались на улицу.

Остановились они в меблированных комнатах «Сорбонна». Остап переполошил весь небольшой штат отельной прислуги. Сначала он обзирал семирублевые номера, но остался недоволен их меблировкой. Убранство пятирублевых номеров понравилось ему больше, но ковры были какие-то облезшие, и возмущал запах. В трехрублевых номерах было все хорошо, за исключением картин.

— Я не могу жить в одной комнате с пейзажами, — сказал Остап.

Пришлось поселиться в номере за рубль восемьдесят. Там не было пейзажей, не было ковров, а меблировка была строго выдержана: две кровати и ночной столик.

— Стиль каменного века, — заметил Остап с одобрением. — А доисторические животные в матрацах у вас не водятся?

— Смотря по сезону, — ответил лукавый коридорный, — если, например, губернский съезд какой-нибудь, то, конечно, нету, потому что пассажиров бывает много и перед ними чистка происходит большая. А в прочее время действительно случается, что и набегают. Из соседних номеров «Ливадия».

В тот же день концессионеры побывали в Старкомхозе, где получили все необходимые сведения. Оказалось, что жилотдел был расформирован в 1921 году и что обширный его архив слит с архивом Старкомхоза.

За дело взялся великий комбинатор. К вечеру компаньоны уже знали домашний адрес заведующего архивом Варфоломея Коробейникова, бывшего чиновника канцелярии градоначальства, ныне работника конторского труда.

Остап облачился в гарусный жилет, выбил о спинку кровати пиджак, вытребовал у Ипполита Матвеевича рубль двадцать копеек на представительство и отправился с визитом к архивариусу. Ипполит Матвеевич остал-

¹ Намек на то, что он состоял в обществе «Друг детей». Общество «Друг детей» было организовано в 1924 году и осуществляло свою деятельность под руководством Деткомиссии при ВЦИК, возглавлял ее Ф. Э. Дзержинский. Прекратило свою деятельность в 1935 году.

² В некоторых областях России так назывались обыкновенные пятнашки или догонялки.

ся в «Сорбонне» и в волнении стал прохаживаться в ущелье между двумя кроватями.

В этот вечер, зеленый и холодный, решалась судьба всего предприятия. Если удастся достать копии ордеров, по которым распределялась изъятая из воровьяниновского особняка мебель, дело можно считать наполовину удавшимся. Дальше предстояли трудности, конечно, невообразимые, но нить была бы уже в руках.

— Только бы ордера достать, — прошептал Ипполит Матвеевич, валясь на постель, — только бы ордера!..

Пружины разбитого матраца кусали его, как блохи. Он не чувствовал этого. Он еще неясно представлял себе, что последует вслед за получением ордеров, но был уверен, что тогда все пойдет как по маслу. «А маслом, — почему-то вертелось у него в голове, — каши не испортишь».

Между тем каша заваривалась большая. Обуянный розовой мечтою, Ипполит Матвеевич переваливался на кровати. Пружины под ним блеяли.

Остапу пришлось пересечь весь город. Коробейников жил на Гусище — окраине Старгорода.

Там жили преимущественно железнодорожники. Иногда над домами, по насыпи, огороженной бетонным тонкостенным забором, проходил задним ходом сопящий паровоз. Крыши домов на секунду освещались полыхающим огнем паровозной топки. Иногда катились порожние вагоны, иногда взрывались петарды. Среди халуп и временных бараков тянулись длинные кирпичные корпуса сырых еще кооперативных домов.

Остап миновал светящийся остров — железнодорожный клуб, — по бумажке проверил адрес и остановился у домика архивариуса. Он крутнул звонок с выпуклыми буквами «прошу крутить».

После длительных расспросов, «кому да зачем», ему открыли, и он очутился в темной, заставленной шкафами передней. В темноте кто-то дышал на Остапа, но ничего не говорил.

— Где здесь гражданин Коробейников? — спросил Бендер.

Дышащий человек взял Остапа за руку и ввел в освещенную висячей керосиновой лампой столовую. Остап увидел перед собою маленького старичка — чистюлю с необыкновенно гибкой спиной. Не было сомнений в том, что старик этот сам гражданин Коробейников. Остап без приглашения придвинул стул и сел.

Старичок безбоязненно смотрел на самоуправца и молчал. Остап любезно начал разговор первым:

— Я к вам по делу. Вы служите в архиве Старкомхоза?

Спина старичка пришла в движение и утвердительно выгнулась.

— А раньше служили в жилотделе?

— Я всюду служил, — сказал старик весело.

— Даже в канцелярии градоначальства?

При этом Остап грациозно улыбнулся. Спина старика долго извивалась и наконец остановилась в положении, свидетельствующем, что служба в градоначальстве — дело давнее и что все упомянуть положительно невозможно.

— А позвольте все-таки узнать, чем обязан? — спросил хозяин, с интересом глядя на гостя.

— Позволю, — ответил гость. — Я Воробьянинова сын.

— Это какого же? Предводителя?

— Его.

— А он что, жив?

— Умер, гражданин Коробейников. Почил.

— Да, — без особой грусти сказал старик, — печальное событие. Но ведь, кажется, у него детей не было?

— Не было, — любезно подтвердил Остап.

— Как же?..

— Ничего. Я от морганатического брака.

— Не Елены ли Станиславовны будете сынок?

— Да. Именно.

— А она в каком здоровье?

— Маман давно в могиле.

— Так, так, ах как грустно!

И долго еще старик глядел со слезами сочувствия на Остапа, хотя не далее как сегодня видел Елену Станиславовну на базаре, в мясном ряду.

— Все умирают, — сказал он, — вот и бабушка моя тоже... зажилась. А все-таки разрешите узнать, по какому делу, уважаемый, вот имени вашего не знаю...

— Вольдемар, — быстро сообщил Остап.

— Владимир Ипполитович? Очень хорошо. Так. Я вас слушаю, Владимир Ипполитович.

Старичок присел к столу, покрытому клеенкой в узорках, и заглянул в самые глаза Остапа.

Остап в отборных словах выразил свою грусть по родителям. Он очень сожалеет, что вторгся так поздно в жилище глубокоуважаемого архивариуса и причинил ему беспокойство своим визитом, но надеется, что глубокоуважаемый архивариус простит его, когда узнает, какое чувство толкнуло его на это.

— Я хотел бы, — с невыразимой сыновней любовью закончил Остап, — найти что-нибудь из мебели папаши, чтобы сохранить о нем память. Не знаете ли вы, кому передана мебель из папашиного дома?

— Сложное дело, — ответил старик, подумав, — это только обеспеченному человеку под силу... А вы, простите, чем занимаетесь?

— Свободная профессия. Собственная мясохладобойня на артельных началах в Самаре.

Старик с сомнением посмотрел на зеленые доспехи молодого Воробьянинова, но возражать не стал.

«Прыткий молодой человек», — подумал он.

Остап, который к этому времени закончил свои наблюдения над Коробейниковым, решил, что «старик — типичная сволочь».

— Так вот, — сказал Остап.

— Так вот, — сказал архивариус, — трудно, но можно...

— Потребуется расходов? — помог владельцу мясохладобойни.

— Небольшая сумма...

— Ближе к телу, как говорит Мопассан. Сведения будут оплачены.

— Ну что ж, семьдесят рублей положите.

— Это почему ж так много? Овес нынче дорог?

Старик мелко задрезжал, виляя позвоночником.

— Извольте шутить.

— Согласен, папаша. Деньги против ордеров. Когда к вам зайти?

— Деньги при вас?

Остап с готовностью похлопал себя по карману.

— Тогда пожалуйста хоть сейчас, — торжественно сказал Коробейников.

Он зажег свечу и повел Остапа в соседнюю комнату. Там, кроме кровати, на которой, очевидно, спал хозяин дома, стоял письменный стол, заваленный бухгалтерскими книгами, и длинный канцелярский шкаф с открытыми полками. К ребрам полок были приклеены печатные литеры: А, Б, В и далее, до арьергардной буквы Я. На полках лежали пачки ордеров, перевязанные свежей бечевкой.

— Ого! — сказал восхищенный Остап. — Полный архив на дому!

— Совершенно полный, — скромно ответил архивариус. — Я, знаете, на всякий случай... Коммунхозу он не нужен, а мне на старости лет может пригодиться... Живем мы, знаете, как на вулкане... Все может произойти... Кинутся тогда люди искать свои мебели, а где они, мебели? Вот они где! Здесь они! В шкафу. А кто сохранил, кто уберет? Коробейников. Вот господа спасибо и скажут старичку, помогут на старости лет... А мне много не нужно — по десяточке за ордерок подадут — и на том спасибо... А то иди, попробуй, ищи ветра в поле. Без меня не найдут!

Остап восторженно смотрел на старика.

— Дивная канцелярия, — сказал он, — полная механизация. Вы прямо герой труда!

Польщенный архивариус стал вводить гостя в детали любимого дела. Он раскрыл толстые книги учета и распределения.

— Все здесь, — сказал он, — весь Старгород! Вся мебель! У кого когда взято, кому когда выдано. А вот это — алфавитная книга, зеркало жизни!



Вам про чью мебель? Купца первой гильдии Ангелова? Пожа-алуиста. Смотрите на букву А. Буква А, Ак, Ам, Ан, Ангелов... Номер? Вот! 82742. Теперь книгу учета сюда. Страница 142. Где Ангелов? Вот Ангелов. Взято у Ангелова 18 декабря 1918 года: рояль «Беккер» № 97012, табурет к нему мягкий, бюро две штуки, гардеробов четыре (два красного дерева), шифоньер один и так далее... А кому дано?.. Смотрим книгу распределения. Тот же номер 82742... Дано... Шифоньер — в горвоенком, гардеробов три штуки — в детский интернат «Жаворонок»... И еще один гардероб — в личное распоряжение секретаря Старпродкомгуба. А рояль куда пошел? Пошел рояль в собес, во 2-й дом. И посейчас там рояль есть...

«Что-то не видел я там такого рояля», — подумал Остап, вспомнив застенчивое личико Альхена.

— Или, примерно, у правителя канцелярии городской управы Мурина... На букву М, значит, и нужно искать. Все тут. Весь город. Рояли тут, козетки всякие, трюмо, кресла, диванчики, пуфики, люстры... Сервизы даже, и то есть...

— Ну, — сказал Остап, — вам памятник нужно нерукотворный воздвигнуть. Однако ближе к телу. Например, буква В.

— Есть буква В, — охотно отозвался Коробейников. — Сейчас. Вм, Вн, Ворицкий, № 48238, Воробьянинов, Ипполит Матвеевич, батюшка ваш, царство ему небесное, большой души был человек... Рояль «Беккер» № 5480009, вазы китайские, маркированные — четыре, французского завода «Севр», ковров

обюссонов¹ — восемь, разных размеров, гобелен «Пастушка», гобелен «Пастух», текинских ковров — два, хоросанских ковров — один, чучело медвежье с блюдом — одно, спальнй гарнитур — двенадцать мест, столовй гарнитур — шестнадцать мест, гостиный гарнитур — четырнадцать мест, ореховый, мастера Гамбса работы...

— А кому роздано? — в нетерпении спросил Остап.

— Это мы сейчас. Чучело медвежье с блюдом — во второй район милиции. Гобелен «Пастух» — в фонд художественных ценностей. Гобелен «Пастушка» — в клуб водников. Ковры обюссон, текинские и хоросан — в Наркомвнешторг. Гарнитур спальнй — в Союз охотников, гарнитур столовй — в Старгородское отделение Главчая. Гарнитур гостиный ореховый — по частям. Стол круглый и стул один — во 2-й дом собеса, диван с гнутой спинкой — в распоряжение жилотдела (до сих пор в передней стоит, всю обивку промаслили, сволочи), и еще один стул — товарищу Грицацуеву, как инвалиду империалистической войны, по его заявлению и резолюции завжилотделом т. Буркина. Десять стульев в Москву, в Музей мебельного мастерства, согласно циркулярного письма Наркомпроса... Вазы китайские, маркированные...

— Хвалю, — сказал Остап, ликуя, — это конгениально! Хорошо бы и на ордера посмотреть.

— Сейчас, сейчас и до ордеров доберемся. На № 48238, литера В.

Архивариус подошел к шкафу и, поднявшись на цыпочки, достал нужную пачку.

— Вот-с. Вся вашего батюшки мебель тут. Вам все ордера?

— Куда мне все... Так... Воспоминания детства — гостиный гарнитур... Помню, игрывал я в гостиной на ковре хоросан, глядя на гобелен «Пастушка»... Хорошее было время, золотое детство!.. Так вот гостиным гарнитуром мы, папаша, и ограничимся.

Архивариус с любовью стал расправлять пачку зеленых корешков и принялся



¹ Обюссон — французский город, известный производством ковров.

разыскивать там требуемые ордера. Коробейников отобрал пять штук. Один ордер на десять стульев, два — по одному стулу, один — на круглый стол и один — на гобелен «Пастушка».

— Извольте ли видеть. Все в порядке. Где что стоит — все известно. На корешках все адреса прописаны и собственноручная подпись получателя. Так что никто, в случае чего, не отпорется. Может быть, хотите генеральши Поповой гарнитур? Очень хороший. Тоже гамбсовская работа.

Но Остап, движимый любовью исключительно к родителям, схватил ордера, засунул их на самое дно бокового кармана, а от генеральшиного гарнитура отказался.

— Можно расписочку писать? — осведомился архивариус, ловко выгибаясь.

— Можно, — любезно сказал Бендер, — пишите, борец за идею.

— Так я уж напишу.

— Кройте!

Перешли в первую комнату. Коробейников каллиграфическим почерком написал расписку и, улыбаясь, передал ее гостю. Главный концессионер необыкновенно учтиво принял бумажку двумя пальцами правой руки и положил ее в тот же карман, где уже лежали драгоценные ордера.

— Ну, пока, — сказал он, сощурясь, — я вас, кажется, сильно беспокоил. Не смею больше обременять своим присутствием. Вашу руку, правитель канцелярии.

Ошеломленный архивариус вяло пожал поданную ему руку.

— Пока, — повторил Остап.

Он двинулся к выходу.

Коробейников ничего не понял. Он даже посмотрел на стол, не оставил ли там гость денег, но и на столе денег не было. Тогда архивариус очень тихо спросил:

— А деньги?

— Какие деньги? — сказал Остап, открывая дверь. — Вы, кажется, спросили про какие-то деньги?

— Да как же! За мебель! За ордера!

— Голуба, — пропел Остап, — ей-богу, клянусь честью покойного батюшки. Рад душой, но нету, забыл взять с текущего счета...

Старик задрожал и вытянул вперед хилую свою лапку, желая задержать ночного посетителя.

— Тише, дурак, — сказал Остап грозно, — говорят тебе русским языком — завтра значит завтра. Ну, пока! Пишите письма!..

Дверь с треском захлопнулась. Коробейников снова открыл ее и выбежал на улицу, но Остапа уже не было. Он быстро шел мимо моста. Проезжавший через виадук локомотив осветил его своими огнями и завалил дымом.

— Лед тронулся! — закричал Остап машинисту. — Лед тронулся, господа присяжные заседатели!

Машинист не расслышал, махнул рукой, колеса машины сильнее задергали стальные локти кривошипов, и паровоз умчался.

Коробейников постоял на ледяном ветерке минуты две и, мерзко сквернословя, вернулся в свой домишко. Невыносимая горечь охватила его. Он стал посреди комнаты и в ярости принялся пинать ногою стол. Подпрыгивала пепельница, сделанная на манер калоши с красной надписью «Треугольник», и стакан чокнулся с графином.

Еще никогда Варфоломей Коробейников не был так подло обманут. Он мог обмануть кого угодно, но здесь его надули с такой гениальной простотой, что он долго еще стоял, колотя по толстым ножкам обеденного стола.

Коробейникова на Гусище звали Варфоломеичем. Обращались к нему только в случае крайней нужды. Варфоломеич брал в залог вещи и назначал людоедские проценты. Он занимался этим уже несколько лет и еще ни разу не попался. А теперь он, как дыпленок, прогорел на лучшем своем коммерческом предприятии, от которого ждал больших барышей и обеспеченной старости. С этой неудачей мог сравниться только один случай в жизни Варфоломеича.

Года три назад, когда впервые после революции вновь появились медовые субъекты, принимающие страхование жизни, Варфоломеич решил обогатиться за счет Госстраха. Он застраховал свою бабушку ста двух лет, почтенную женщину, возрастом которой гордилось все Гусище, в тысячу рублей. Древняя женщина была одержима многими старческими болезнями. Поэтому Варфоломеичу пришлось платить высокие страховые взносы. Расчет Варфоломеича был прост и верен. Старуха долго прожить не могла. Вычисления Варфоломеича говорили за то, что она не проживет и года. За год пришлось бы внести рублей шестьдесят страховых денег, и 940 рублей являлись бы прибылью почти гарантированной.

Но старуха не умирала. Сто третий год она прожила вполне благополучно. Негодуя, Варфоломеич возобновил страхование на второй год. На сто четвертом году жизни старуха значительно окрепла: у нее появился аппетит и разогнулся указательный палец правой руки, скрученный хирагрой¹ уже лет десять. Варфоломеич со страхом убедился, что, истратив сто двадцать рублей на бабушку, он не получил ни копейки процентов на капитал. Бабушка не хотела умирать, капризничала, требовала кофий и однажды летом выползла даже на площадь Парижской Коммуны послушать новомодную выдумку — музыкальное радио. Варфоломеич понадеялся, что музыкальный рейс доконает старуху, которая действительно слегла и про-

¹ Хирагра — ломота в руках и пальцах, то же, что и подагра в ногах.

лежала в постели три дня, поминутно чихая. Но организм победил. Старуха встала и потребовала киселя. Пришлось в третий раз платить страховые деньги. Положение сделалось невыносимым. Старуха должна была умереть и все-таки не умерла. Тысячерублевый мираж таял, сроки истекали, надо было возобновлять страхование. Неверие овладело Варфоломеичем. Проклятая старуха могла прожить еще двадцать лет. Сколько ни обхаживал Варфоломеича страховой агент, как ни убеждал он его, рисуя обольстительные, не дай бог, похороны старушки, Варфоломеич был тверд, как диабаз. Страхования он не возобновил. Лучше потерять, решил он, сто восемьдесят рублей, чем двести сорок, триста, триста шестьдесят, четыреста двадцать или, может быть, даже четыреста восемьдесят, не говоря уж о процентах на капитал.

Даже теперь, пиная ногой стол, Варфоломеич не переставал по привычке прислушиваться к кряхтению бабушки, хотя никаких коммерческих выгод из этого кряхтения он уже извлечь не мог.

— Шутки?! — крикнул он, вспоминая о погибших ордерах. — Теперь деньги только вперед. И как же это я так оплошал? Своими руками отдал ореховый гостинный гарнитур!.. Одному гобелену «Пастушка» цены нет! Ручная работа!..

Звонок «прошу крутить» давно уже вертела чья-то неуверенная рука, и не успел Варфоломеич вспомнить, что входная дверь осталась открытой, как в передней раздался тяжкий грохот и голос человека, запутавшегося в лабиринте шкафов, воззвал:

— Куда здесь войти?

Варфоломеич вышел в переднюю, потянул к себе чье-то пальто (на ощупь — драп) и ввел в столовую отца Федора.

— Великодушно извините, — сказал отец Федор.

Через десять минут обоюдных недомолвок и хитростей выяснилось, что гражданин Коробейников действительно имеет кое-какие сведения о мебели Воробьянинова, а отец Федор не отказывается за эти сведения уплатить. Кроме того, к живейшему удовольствию архивариуса, посетитель оказался родным братом бывшего предводителя и страстно желал сохранить о нем память, приобретя ореховый гостинный гарнитур. С этим гарнитуром у брата Воробьянинова были связаны наиболее теплые воспоминания отрочества.

Варфоломеич запросил сто рублей. Память брата посетитель расценивал значительно ниже, рублей в тридцать. Согласились на пятидесяти.

— Деньги бы я попросил вперед, — заявил архивариус, — это мое правило.

— А это ничего, что я золотыми десятками? — заторопился отец Федор, разрывая подкладку пиджака.

— По курсу приму. По девять с половиной. Сегодняшний курс.

Востриков вытряс из колбаски пять желтяков, досыпал к ним два с пол-

тиной серебром и пододвинул всю горку архивариусу. Варфоломеич два раза пересчитал монеты, сгреб их в руку, попросил гостя минуточку повременить и пошел за ордерами. В тайной своей канцелярии Варфоломеич не стал долго размышлять, раскрыл алфавит — зеркало жизни — на букву П, быстро нашел требуемый номер и взял с полки пачку ордеров генеральши Поповой. Распотрошив пачку, Варфоломеич выбрал из нее один ордер, выданный т. Брунсу, проживающему по Виноградской, 34, на двенадцать ореховых стульев фабрики Гамбса. Дивясь своей сметке и умению изворачиваться, архивариус усмехнулся и отнес ордера покупателю.

— Все в одном месте? — воодушевленно воскликнул покупатель.

— Один к одному. Все там стоят. Гарнитур замечательный. Пальчики оближете. Впрочем, что вам объяснять! Вы сами знаете!

Отец Федор долго восторженно тряс руку архивариуса и, ударившись несчетное количество раз о шкафы в передней, убежал в ночную темноту.

Варфоломеич долго еще подсмеивался над окопаченным покупателем. Золотые монеты он положил в ряд на столе и долго сидел, сонно глядя на пять светлых кружочков.

«И чего это их на воробьяниновскую мебель потянуло?» — подумал он. — С ума посходили».

Он разделся, невнимательно помолился богу, лег в узенькую девичью постельку и озабоченно заснул.

ГЛАВА XII

Знойная женщина — мечта поэта

За ночь холод был съеден без остатка. Стало так тепло, что у ранних прохожих ныли ноги. Воробьи несли разный вздор. Даже курица, вышедшая из кухни в гостиничный двор, почувствовала прилив сил и попыталась взлететь. Небо было в мелких облачных клетках. Из мусорного ящика несло запахом фиалки и супа пейзаж¹. Ветер млеял под карнизом. Коты развалились на крыше и, снисходительно сощурилась, глядели во двор, через который бежал коридорный Александр с тючком грязного белья.

В коридорах «Сорбонны» зашумели. На открытие трамвая из уездов съезжались делегаты. Из гостиничной линейки² с вывеской «Сорбонна» высадилась их целая куча.

Солнце грело в полную силу. Взлетали кверху рифленые железные шторы магазинов. Совработники, вышедшие на службу в ватных пальто, задыхались, распахивались, чувствуя тяжесть весны.

¹ *Крестьянский суп* — овощной суп с беконом.

² *Линейка* — длинная четырёхколесная открытая повозка для коротких поездок, обычно с возможностью усестись по обе стороны спиной друг к другу.

На Кооперативной улице у перегруженного грузовика Мельстроя лопнула рессора, и прибывший на место происшествия Виктор Михайлович Полевосов подавал советы.

В номере, обставленном с деловой роскошью (две кровати и ночной столик), слышались конский храп и ржание: Ипполит Матвеевич весело умылся и прочищал нос. Великий комбинатор лежал в постели, рассматривая повреждения в канареечных штиблетах.

— Кстати, — сказал он, — прошу погасить задолженность.

Ипполит Матвеевич вынырнул из полотенца и посмотрел на компаньона выпуклыми без пенсне глазами.

— Что вы на меня смотрите, как солдат на вошь? Что вас удивило? Задолженность? Да! Вы мне должны деньги. Я вчера позабыл вам сказать, что за ордера мною уплачено, согласно ваших полномочий, семьдесят рублей. К сему прилагаю расписку. Перебросьте сюда тридцать пять рублей. Концессионеры, надеюсь, участвуют в расходах на равных основаниях?

Ипполит Матвеевич надел пенсне, прочел записку и, томясь, отдал деньги. Но даже это не могло омрачить его радости. Богатство было в руках. Тридцатирублевая пылинка исчезла в сиянии бриллиантовой горы.

Ипполит Матвеевич, лучезарно улыбаясь, вышел в коридор и стал прогуливаться. Планы новой, построенной на драгоценном фундаменте жизни тешили его. «А святой отец?» — подумал он, ехидствуя. — Дурак дураком остался. Не видать ему стульев, как своей бороды».

Дойдя до конца коридора, Воробьянинов обернулся. Белая в трещинах дверь № 13 раскрылась и прямо навстречу ему вышел отец Федор в синей косоворотке, подпоясанной потертым черным шнурком с пышной кисточкой. Доброе его лицо расплывалось от счастья. Он тоже вышел в коридор на прогулку. Соперники несколько раз встречались и, победоносно поглядывая друг на друга, следовали дальше. В концах коридора оба разом поворачивались и снова сближались. В груди Ипполита Матвеевича кипел восторг. То же чувство одолевало и отца Федора. Чувство сожаления к побежденному противнику одолевало обоих. Наконец, во время пятого рейса, Ипполит Матвеевич не выдержал:

— Здравствуйте, батюшка, — сказал он с невыразимой сладостью.

Отец Федор собрал весь сарказм, положенный ему богом, и ответил:

— Доброе утро, Ипполит Матвеевич.

Враги разошлись. Когда пути их сошлись снова, Воробьянинов уронил:

— Не ушиб ли я вас во время последней встречи?

— Нет, отчего же, очень приятно было встретиться, — ответил ликующий отец Федор.

Их снова разнесло. Физиономия отца Федора стала возмущать Ипполита Матвеевича.

— Обедню, небось, уже не служите? — спросил он при следующей встрече.

— Где там служить! Прихожане по городам разбежались, сокровища ищут.

— Заметьте — свои сокровища! Свои!

— Мне неизвестно чьи, а только ищут.

Ипполит Матвеевич хотел сказать какую-нибудь гадость и даже открыл для этой цели рот, но выдумать ничего не смог и рассерженно проследовал в свой номер. Через минуту оттуда вышел сын турецкого подданного — Остап Бендер, в голубом жилете и, наступая на шнурки от своих ботинок, направился к Вострикову. Розы на щеках отца Федора увяли и обратились в пепел.

— Покупаете старые вещи? — спросил Остап грозно. — Стулья? Потроха? Коробочки от ваксы?

— Что вам угодно? — прошептал отец Федор.

— Мне угодно продать вам старые брюки.

Священник оледенел и отодвинулся.

— Что ж вы молчите, как архиерей на приеме?

Отец Федор медленно направился к своему номеру.

— Старые вещи покупаем, новые крадем! — крикнул Остап вслед.

Востриков вобрал голову и остановился у своей двери. Остап продолжал измываться.

— Как же насчет штанов, многоуважаемый служитель культа? Берете? Есть еще от жилетки рукава, круг от бублика и от мертвого осла уши. Оптом всю партию — дешевле будет. И в стульях они не лежат, искать не надо! А?

Дверь за служителем культа закрылась.

Удовлетворенный Остап, хлопая шнурками по ковру, медленно пошел назад. Когда его массивная фигура отделилась достаточно далеко, отец Федор быстро высунул голову за дверь и с долго сдерживаемым негодованием пискнул:

— Сам ты дурак!

— Что? — крикнул Остап, бросаясь обратно, но дверь была уже заперта, и только щелкнул замок.

Остап наклонился к замочной скважине, приставил ко рту ладонь трубой и внятно сказал:

— Почем опиум для народа?

За дверью молчали.

— Папаша, вы пошлый человек! — прокричал Остап.

В ту же секунду из замочной скважины выскочил и заерзал карандаш «Фабера», острием которого отец Федор пытался ужалить врага. Кон-

цессионер вовремя отпрянул и ухватился за карандаш. Враги, разделенные дверью, молча стали тянуть карандаш к себе. Победила молодость, и карандаш, упираясь, как заноза, медленно выполз из скважины. С этим трофеем Остап возвратился в свой номер. Компаньоны еще больше развеселились.

— И враг бежит, бежит, бежит! — пропел Остап. На ребре карандаша он вырезал перочинным ножиком оскорбительное слово, выбежал в коридор и, опустив карандаш в замочную амбразуру, сейчас же вернулся.

Друзья вытащили на свет зеленые корешки ордеров и принялись их тщательно изучать.

— Ордер на гобелен «Пастушка», — сказал Ипполит Матвеевич мечтательно, — я купил этот гобелен у петербургского антиквара.

— К черту пастушку! — крикнул Остап, разрывая ордер в лапшу.

— Стол круглый... Как видно, от гарнитура...

— Дайте сюда столик. К чертовой матери столик!

Остались два ордера: один — на 10 стульев, выданный Музеем мебельного мастерства в Москве, другой — на один стул — т. Грицацуеву, в Старгороде, по улице Плеханова, 15.

— Готовьте деньги, — сказал Остап, — возможно, в Москву придется ехать.

— Но тут ведь тоже есть стул?

— Один шанс против десяти. Чистая математика. Да и то, если гражданин Грицацуев не растапливал им буржуйку.

— Не шутите так, не нужно.

— Ничего, ничего, либер фатер Конрад Карлович Михельсон, найдем! Святое дело! Батистовые портянки будем носить, крем Марго кушать.

— Мне почему-то кажется, — заметил Ипполит Матвеевич, — что ценности должны быть именно в этом стуле.

— Ах! Вам кажется? Что вам еще кажется? Ничего? Ну, ладно. Будем работать по-марксистски. Предоставим небо птицам, а сами обратимся к стульям. Я из-



мучен желанием поскорее увидеться с инвалидом империалистической войны, гражданином Грицацуевым, улица Плеханова, дом 15. Не отставайте, Конрад Карлович. План составим по дороге.

Проходя мимо двери отца Федора, мстительный сын турецко-подданного пнул ее ногой. Из номера послышалось слабое рычание затравленного конкурента.

— Как бы он за нами не пошел! — испугался Ипполит Матвеевич.

— После сегодняшнего свидания министров на яхте никакое сближение невозможно. Он меня боится.

Друзья вернулись только к вечеру. Ипполит Матвеевич был озабочен. Остап сиял. На нем были новые малиновые башмаки, к каблукам которых были привинчены круглые резиновые набойки, шахматные носки, в зеленую и черную клетку, кремовая кепка и полуселковый шарф румынского оттенка.

— Есть-то он есть, — сказал Ипполит Матвеевич, вспоминая визит к вдове Грицацуевой, — но как этот стул достать? Купить?

— Как же, — ответил Остап, — не говоря уже о совершенно непроизводительном расходе, это вызовет толки. Почему один стул? Почему именно этот стул?..

— Что же делать?

Остап с любовью осмотрел задники новых штиблет.

— Шик-модерн, — сказал он.
— Что делать? Не волнуйтесь, председатель, беру операцию на себя. Перед этими ботиночками ни один стул не устоит.

— Нет, вы знаете, — оживился Ипполит Матвеевич, — когда вы разговаривали с госпожой Грицацуевой о наводнении, я сел на наш стул, и, честное слово, я чувствовал под собой что-то твердое. Они там, ей-богу, там... Ну вот, ей-богу ж, я чувствую.



— Не волнуйтесь, гражданин Михельсон.

— Его нужно ночью выкрасть! Ей-богу, выкрасть!

— Однако для предводителя дворянства у вас слишком мелкие масштабы. А технику этого дела вы знаете? Может быть, у вас в чемодане запрятан походный несессер с набором отмычек? Выбросьте из головы! Это типичное пижонство грабить бедную вдову.

Ипполит Матвеевич опомнился.

— Хочется ведь скорее, — сказал он умоляюще.

— Скоро только кошки родятся, — наставительно заметил Остап. —

Я женюсь на ней.

— На ком?

— На мадам Грицацуевой.

— Зачем же?

— Чтобы спокойно, без шума, покопаться в стуле.

— Но ведь вы себя связываете на всю жизнь!

— Чего не сделаешь для блага концессии!

— На всю жизнь!

Ипполит Матвеевич в крайнем удивлении взмахнул руками. Пасторское бритое лицо его ощерилось. Показались нечищенные со дня отъезда из города N голубые зубы.

— На всю жизнь! — прошептал Ипполит Матвеевич. — Это большая жертва.

— Жизнь! — сказал Остап. — Жертва! Что вы знаете о жизни и о жертвах? Или вы думаете, что если вас выселили из особняка, вы знаете жизнь? И если у вас реквизируют поддельную китайскую вазу, то это жертва? Жизнь, господа присяжные заседатели, это сложная штука, но, господа присяжные заседатели, эта сложная штука открывается просто, как ящик. Надо только уметь его открыть. Кто не может открыть, тот пропадает. Вы слышали о гусаре-схимнике?

Ипполит Матвеевич не слышал.

— Буланов! Не слышали? Герой аристократического Петербурга? Сейчас услышите.

И Остап Бендер рассказал Ипполиту Матвеевичу историю, удивительное начало которой взволновало весь светский Петербург, а еще более удивительный конец потерялся и прошел решительно никем не замеченным в последние годы.

Рассказ о гусаре-схимнике

Блестящий гусар, граф Алексей Буланов, как правильно сообщил Бендер, был действительно героем аристократического Петербурга. Имя великолепного кавалериста и кутилы не сходило с уст чопорных обитателей двор-

цов по Английской набережной и со столбцов светской хроники. Очень часто на страницах иллюстрированных журналов появлялся фотографический портрет красавца-гусара: куртка, расшитая бранденбурами¹ и отороченная зернистым каракулем, высокие прилизанные височки и короткий победительный нос.

За графом Булановым катилась слава участника многих тайных дуэлей, имевших роковой исход, явных романов с наикрасивейшими неприступнейшими дамами света, сумасшедших выходок против уважаемых в обществе особ и прочувствованных кутежей, неизбежно кончавшихся избиением штафирок².

Граф был красив, молод, богат, счастлив в любви, счастлив в картах и в наследовании имущества. Родственники его умирали быстро, и наследства их увеличивали и без того огромное богатство гусара.

Он был дерзок и смел. Он помогал абиссинскому негусу Менелику в его войне с итальянцами. Он сидел под большими абиссинскими звездами, закутавшись в белый бурнус, глядя в трехверстную карту местности. Свет факелов бросал шатающиеся тени на прилизанные височки графа. У ног его сидел новый друг, абиссинский мальчик Васька.

Разгромив войска итальянского короля, граф вернулся в Петербург вместе с абиссинцем Васькой. Петербург встретил героя цветами и шампанским. Граф Алексей снова погрузился в беспечную пучину наслаждений³. О нем продолжали говорить с удвоенным восхищением, женщины травились из-за него, мужчины завидовали. На запятках графской кареты, пролетавшей по Миллионной, неизменно стоял абиссинец, вызывая своей чернотой и тонким станом изумление прохожих.

И внезапно все кончилось. Граф Алексей Буланов исчез. Княгиня Белорусско-Балтийская, последняя пассия графа, была безутешна. Исчезновение графа наделало много шума. Газеты были полны догадками. Сыщики сбились с ног. Но все было тщетно. Следы графа не находились.

Когда шум уже затихал, из Аверкиевой пустыни пришло письмо, все объяснившее. Блестящий граф — герой аристократического Петербурга, Валтасар XIX века — принял схиму. Передавали ужасающие подробности. Говорили, что граф-монах носит вериги в несколько пудов, что он, привыкший к тонкой французской кухне, питается теперь только картофельной шелухой. Поднялся вихрь предположений. Говорили, что графу было видение умершей матери. Женщины плакали. У подъезда княгини Белорусско-Балтийской стояли вереницы карет. Княгиня с мужем принимали соболезнования. Рождались новые слухи. Ждали графа назад. Го-

¹ *Бранденбур* — блестящий шнур на одежде.

² *Штафирка* (иноск., шутол.) — мелкий штатский чиновник (намек на штафирку, подкладку около рукава пишущего, для сбережения рукава от трения).

³ В последующих редакциях авторы добавили: «как это говорится в великосветских романах».

ворили, что это временное помешательство на религиозной почве. Утверждали, что граф бежал от долгов. Передавали, что виною всему — несчастный роман.

А на самом деле гусар пошел в монахи, чтобы постичь жизнь. Назад он не вернулся. Мало-помалу о нем забыли. Княгиня Балтийская познакомилась с итальянским певцом, а абиссинец Васька уехал на родину.

В обители граф Алексей Буланов, принявший имя Евпла, изнурял себя великими подвигами. Он действительно носил вериги, но ему показалось, что этого недостаточно для познания жизни. Тогда он изобрел для себя особую монашескую форму: клубок с отвесным козырьком, закрывающим все лицо, и рясу, связывающую движения. С благословения игумена он стал носить эту форму. Но и этого показалось ему мало. Обуянный гордыней, он удалился в лесную землянку и стал жить в дубовом гробу.

Подвиг схимника Евпла наполнил удивлением обитель. Он ел только сухари, запас которых ему возобновляли раз в три месяца.

Так прошло двадцать лет. Евпл считал свою жизнь мудрой, правильной и единственно верной. Жить ему стало необыкновенно легко, и мысли его были хрустальными. Он постиг жизнь и понял, что иначе жить нельзя.

Однажды он с удивлением заметил, что на том месте, где он в продолжение двадцати лет привык находить сухари, ничего не было. Он не ел четыре дня. На пятый день пришел неизвестный ему старик в лаптях и сказал, что монахов выселили большевики и устроили в обители совхоз. Оставив немного сухарей, старик плача ушел. Схимник не понял старика. Светлый и тихий, он лежал в гробу и радовался познанию жизни. Старик-крестьянин продолжал носить сухари.

Так прошло еще несколько никем не потревоженных лет.

Однажды только дверь землянки растворилась, и несколько человек, согнувшись, вошли в нее. Они подошли к гробу и принялись молча рассматривать старца. Это были рослые люди в сапогах со шпорами, в огромных галифе и с маузерами в деревянных полированных ящиках. Старец лежал в гробу, вытянув руки, и смотрел на пришельцев лучезарным взглядом. Длинная и легкая седая борода закрывала половину гроба. Незнакомцы зазвенели шпорами, пожалы плечами и удалились, бережно прикрыв за собою дверь.

Время шло. Жизнь раскрылась перед схимником во всей своей полноте и сладости. В ночь, наступившую за тем днем, когда схимник окончательно понял, что все в его познании светло, он неожиданно проснулся. Это его удивило. Он никогда не просыпался ночью. Размышляя о том, что его разбудило, он снова заснул и сейчас же опять проснулся, чувствуя сильное жжение в спине. Постигая причину этого жжения он старался заснуть, но не мог.





Что-то мешало ему. Он не спал до утра. В следующую ночь его снова кто-то разбудил. Он повернулся до утра, тихо стелая и незаметно для самого себя почесывая руки. Днем, поднявшись, он случайно заглянул в гроб. Тогда он понял все: по углам его мрачной постели быстро перебежали вишневые клопы. Схимнику сделалось противно.

В этот же день пришел старик с сухарями. И вот подвижник, молчавший двадцать пять лет, заговорил. Он попросил принести ему немножко керосину. Услышав речь великого молчальника, крестьянин опешил. Однако, стыдясь и пряча бутылочку, он принес керосин. Как только старик ушел, отшельник дрожащей рукой смазал все швы и пазы гроба. Впервые за три дня Евпл заснул спокойно. Его ничто не потревожило. Смазывал он керосином гроб и в следующие дни. Но через два месяца понял, что керосином вывести клопов нельзя. По ночам он быстро переворачивался и громко молился, но молитвы помогали еще меньше керосина.

Прошло полгода в невыразимых мучениях, прежде чем отшельник обратился к старику снова. Вторая просьба еще больше поразила старика. Схимник просил привезти ему из города порошок «Арагац» против клопов. Но и «Арагац» не помог. Клопы размножались необыкновенно быстро. Могучее здоровье схимника, которого не могло сломить двадцатипятилетнее постни-

чество, заметно ухудшалось. Началась темная, отчаянная жизнь. Гроб стал казаться схимнику Евплу омерзительным и неудобным. Ночью, по совету крестьянина, он жег клопов лучиной. Клопы умирали, но не сдавались.

Было испробовано последнее средство: продукты бр. Глик — розовая жидкость с запахом отравленного персика под названием «Клопин». Но и это не помогло. Положение ухудшалось. Через два года от начала великой борьбы отшельник случайно заметил, что совершенно перестал думать о смысле жизни, потому что круглые сутки занимался травлей клопов.

Тогда он понял, что ошибся. Жизнь так же, как и двадцать пять лет назад, была темна и загадочна. Уйти от мирской тревоги не удалось. Жить телом на земле, а душой на небесах оказалось невозможным.

Тогда старец встал и проворно вышел из землянки. Он стоял среди темного, зеленого леса. Была ранняя, сухая осень. У самой землянки выперлось из-под земли целое семейство белых грибов — толстобрюшек. Неведомая птица сидела на ветке и пела соло. Послышался шум проходящего поезда. Земля задрожала. Жизнь была прекрасна. Старец, не оглядываясь, пошел вперед.

Сейчас он служит кучером конной базы Московского коммунального хозяйства.

Рассказав Ипполиту Матвеевичу эту в высшей степени поучительную историю, Остап почистил рукавом пиджака свои малиновые башмаки, сыграл на губах туш и удалился.

Под утро он ввалился в номер, разулся, поставил малиновую обувь на ночной столик и стал поглаживать глянцевитую кожу, с нежной страстью приговаривая:

— Мои маленькие друзья.

— Где вы были? — спросил Ипполит Матвеевич спросонья.

— У вдовы, — глухо ответил Остап.

— Ну?

Ипполит Матвеевич оперся на локоть.

— И вы женитесь на ней?

Глаза Остапа заискрились.

— Теперь я уже должен жениться как честный человек.

Ипполит Матвеевич сконфуженно хрюкнул.

— Знойная женщина, — сказал Остап, — мечта поэта. Провинциальная непосредственность. В центре таких субтропиков давно уже нет, но на периферии, на местах — еще встречаются.

— Когда же свадьба?

— Послезавтра. Завтра нельзя: первое мая — все закрыто.

— Как же будет с нашим делом? Вы женитесь... Может быть, придется ехать в Москву...

— Ну, чего вы беспокоитесь? Заседание продолжается.

— А жена?

— Жена? Бриллиантовая вдовушка? Последний вопрос. Внезапный отъезд по вызову из центра. Небольшой доклад в Малом Совнаркоме. Прощальная сцена и цыпленок на дорогу. Поедем с комфортом. Спите. Завтра у нас свободный день.

ГЛАВА XIII

Дышите глубже: вы взволнованы!

В утро первого мая Виктор Михайлович Полесов, снедаемый обычной жадной деятельностью, выскочил на улицу и помчался к центру. Сперва его разнообразные таланты не могли найти себе должного применения, потому что народу было еще мало, и праздничные трибуны, оберегаемые конными милиционерами, были пусты. Но часам к девяти в разных концах города замурлыкали, засопели и засвистали оркестры. Из ворот выбежали домашние хозяйки.

Колонна музработников, в мягких отложных воротничках, каким-то образом втиснулась в середину шествия железнодорожников, путаясь под ногами и всем мешая. Грузовик, одетый новеньким зеленым паровозом серии «Ц», все время на скакивал на музработников сзади. При этом на тружеников гобоя и флейты из самого паровозного брюха неслись крики:

— Где ваш распорядитель? Вам разве по Красноармейской?! Не видите, влезли и создали пробку!

Тут, на горе музработников, в дело вмешался Виктор Михайлович.

— Конечно же, вам сюда в тупик надо сворачивать! Праздника даже не могут организовать! — надрывался Полесов. — Сюда! Сюда! Удивительное безобразие!

Грузовики Старкомхоза и Мельстроя развозили детей. Самые маленькие стояли у бортов грузовика, а ростом побольше — в середине. Несовершеннолетнее воинство потряхивало бумажными флажками и веселилось до упаду.

Стучали пионерские барабаны. Допризывники выгибали груди и старались идти в ногу. Было тесно, шумно и жарко. Ежеминутно образовывались заторы и ежеминутно же рассасывались. Чтобы скоротать время в заторе, качали старичков и активистов. Старички причитали бабьими голосами. Активисты летали молча, с серьезными лицами. В одной веселой колонке приняли продиравшегося на другую сторону Виктора Михайловича за распорядителя и стали качать его. Полесов дергал ногами, как паяц.

Понесли чучело английского министра Чемберлена, которого рабочий с анатомической мускулатурой бил картонным молотом по цилиндру. На

цилиндре была надпись «Лига Наций». Проехали на автомобиле три комсомольца во фраках и белых перчатках. Они сконфуженно поглядывали на толпу.

— Васька! — кричали с тротуара. — Буржуй! Отдай подтяжки.

Девушки пели. В толпе служащих собеса шел Альхен с большим красным бантом на груди и задумчиво гнусил:

Но от тайги до британских морей
Красная армия всех сильнее!..

Физкультурники, по команде, отдельно кричали нечто невнятное.

Все шло, ехало и маршировало к новому трамвайному депо, из которого ровно в час дня должен был выйти первый в Старгороде вагон электрического трамвая.

Никто в точности не знал, когда начали строить старгородский трамвай.

Как-то, в двадцатом году, когда начались субботники, деповцы и канатчики пошли с музыкой на Гусище и весь день копали какие-то ямы.

Нарыли очень много глубоких и больших ям.

Среди работающих бегал товарищ в инженерной фуражке. За ним ходили с разноцветными шестами десятники. В следующий субботник работали в том же месте. Две ямы, вырытые не там, где надо, пришлось снова завалить. Товарищ в инженерной фуражке налетал на десятников и требовал объяснений. Новые ямы рыли еще глубже и шире.

Потом привезли кирпич, и появились настоящие строительные рабочие. Они начали выкладывать фундамент. Затем все стихло. Товарищ в инженерной фуражке приходил еще иногда на опустевшую постройку и долго расхаживал в обложенной кирпичом яме, бормоча:

— Хозрасчет.

Он похлопывал по фундаменту палкой и бежал домой, в город, закрывая ладонями замерзшие уши.

Фамилия инженера была Треухов.

Трамвайная станция, постройка которой замерла на фундаменте, была задумана Треуховым уже давно, еще в 1912 году, но городская управа проект отвергла. Через два года Треухов возобновил штурм городской управы, но помешала война. После войны помешала революция. Теперь помешали нэп, хозрасчет, самоокупаемость. Фундамент на лето зарастал цветами, а зимой дети устраивали там ледяные горки.

Треухов мечтал о большом деле. Ему нудно было служить в отделе благоустройства Старкомхоза, чинить обочины тротуаров и составлять сметы на установку афишных тумб. Но большого дела не было. Проект трамвая, снова поданный на рассмотрение, барахтался в высших губернских инстанциях, одобрялся, не одобрялся, переходил на рассмотрение в центр, но независимо

от одобрения или неодобрения покрывался пылью, потому что ни в том, ни в другом случае денег не давали.

— Это варварство! — кричал Треухов на жену. — Денег нет? А переплачивать на извозопромышленников, на гужевую доставку на станцию товаров есть деньги? Старгородские извозчики дерут с живого и с мертвого! Конечно, монополия мародеров! Попробуй пешком с вещами за пять верст на вокзал пройтись!.. Трамвай окупится в шесть лет!

Его блеклые усы гневно обвисали. Курносое лицо шевелилось. Он вынимал из стола напечатанные светописью на синей бумаге чертежи и сердито показывал их жене в тысячный раз. Тут были планы станции, депо и двенадцати трамвайных линий.

— Черт с ними, с двенадцатью. Потерпят. Но три, три линии! Без них Старгород задохнется.

Треухов фыркал и шел в кухню пилить дрова.

Все хозяйственные работы по дому он выполнял сам. Он сконструировал и построил люльку для ребенка и стиральную машину. Первое время сам стирал белье, объясняя жене, как нужно обращаться с машиной. По крайней мере пятая часть жалованья уходила у Треухова на выписку иностранной технической литературы. Чтобы сводить концы с концами, он бросил курить.

Потащил он свой проект и к новому заведующему Старкомхозом Гаврилину, которого перевели в Старгород из Самарканда. Почерневший под туркестанским солнцем новый заведующий долго, но без особого внимания, слушал Треухова, перебрал все чертежи и под конец сказал:

— А вот в Самарканде никакого трамвая не надо. Там все на ешаках ездят. Ешак три рубля стоит — дешежка. А подымает пудов десять!.. Маленький такой ешачок, даже удивительно!

— Вот это есть Азия! — сердито сказал Треухов. — Ишак три рубля стоит, а скормить ему нужно тридцать рублей в год.

— А на трамвае вашем вы много на тридцать рублей наездите? Триста раз. Даже не каждый день в году.

— Ну, и выписывайте себе ваших ишаков! — закричал Треухов и выбежал из кабинета, ударив дверь.

С тех пор у нового заведующего вошло в привычку при встрече с Треуховым задавать ему насмешливые вопросы.

— Ну как, будем выписывать ешаков или трамвай построим?

Лицо Гаврилина было похоже на гладко обструганную репу. Глаза хитрили.

Месяца через два Гаврилин вызвал к себе инженера и серьезно сказал ему:

— У меня тут планчик наметился. Мне одно ясно, что денег нет, а трамвай не ешак — его за трешку не купишь. Тут материальную базу подводить надо. Практическое разрешение какое? Акционерное общество! А еще какое? Заем! Под проценты. Трамвай через сколько лет должен окупиться?

— Со дня пуска в эксплуатацию трех линий первой очереди — через шесть лет.

— Ну, будем считать, через десять. Теперь — акционерное общество. Кто войдет? Пищетрест, Маслоцентр. Канатчикам трамвай нужен? Нужен! Мы до вокзала грузовые вагоны отправлять будем. Значит, канатчики! НКПС¹, может быть, даст немного. Ну, губисполком даст. Это уж обязательно. А раз начнем — госбанк и комбанк дадут ссуду. Вот такой мой планчик. В пятницу на президиуме губисполкома разговор будет. Если решимся — за вами остановка.

Треухов до поздней ночи взволнованно стирал белье и объяснял жене преимуществу трамвайного транспорта перед гужевым.

В пятницу вопрос решился благоприятно. И начались муки. Акционерное общество сколачивали с великой натугой. НКПС то вступал, то не вступал в число акционеров. Пищетрест всячески старался вместо 15 % акций получить только десять. Наконец весь пакет акций был распределен, хотя и не обошлось без столкновений. Гаврилина за нажим вызвали в ГубКК². Впрочем, все обошлось благополучно. Оставалось начать.

— Ну, товарищ Треухов, — сказал Гаврилин, — начинай. Чувствуешь, что можешь построить? То-то. Это тебе не ешака купить.

Треухов утонул в работе. Пришла пора великого дела, о котором он мечтал долгие годы. Писались сметы, составлялся план постройки, делали заказы. Трудности возникали там, где их меньше всего ожидали. В городе не оказалось специалистов-бетонщиков, и их пришлось выписать из Ленинграда. Гаврилин торопил, но заводы обещались дать машины только через полтора года. А нужны они были самое позднее через год. Подействовала только угроза заказать машины за границей. Потом пошли неприятности помельче. То нельзя было найти фасонного железа нужных размеров, то вместо пропитанных шпал предлагали непропитанные. Наконец, дали то, что нужно, но Треухов, поехавший сам на шпалопропиточный завод, забраковал 60 % шпал. В чугунных частях были раковины. Лес был сырой. Рельсы были хороши, но они стали прибывать с опозданием на месяц.

Гаврилин часто приезжал в старом простуженном «фиате» на постройку станции. Здесь между ним и Треуховым вспыхивали перебранки.

Покуда строились и монтировались трамвайная станция и депо, старгородцы только отпускали шуточки. Куплетист Федя Клетчатый осмелился даже в ресторане «Феникс» осмеять постройку в куплетах:

Приезжали меня сватать,
Просили приданого.
А папаша посулил
Трамвая буланого...

¹ НКПС — Народный комиссариат путей сообщения СССР.

² ГубКК — губернская контрольная комиссия.

Но когда стали укладывать рельсы и навешивать провода на круглые трамвайные мачты, даже такой неискоренимый пессимист, как Федя Клетчатый, переменил фронт и запел по-иному:

Электрический мой конь
 Лучше, чем кобылка.
 На трамвае я поеду,
 А со мною милка...

В «Старгородской правде» трамвайным вопросом занялся известный всему городу фельетонист Принц Датский, писавший теперь под псевдонимом Маховик». Не меньше трех раз в неделю Маховик раздражался большим бытовым очерком о ходе постройки. Третья полоса газеты, изобиловавшая заметками под скептическими заголовками: «Мало пахнет клубом», «По слабым точкам», «Осмотры нужны, но при чем тут блеск и длинные хвосты», «Хорошо и... плохо», «Чему мы рады и чему нет», «Подкрутить вредителей просвещения» и «С бумажным морем пора покончить» — стала дарить читателей солнечными и бодрыми заголовками очерков Маховика: «Как строим, как живем», «Гигант скоро заработает», «Скромный строитель» и далее в том же духе.

Треухов с дрожью разворачивал газету и, чувствуя отвращение к братьям-писателям, читал о своей особе бодрые строки:

«...Подымаюсь по стропилам. Ветер шумит в уши.

Наверху — он, этот невзрачный строитель нашей мощной трамвайной станции, этот худенький с виду, курносый человек, в затрапезной фуражке с молоточками.

Вспоминаю: „На берегу пустынных волн стоял он, дум великих полн“.

Подхожу. Ни единого ветерка. Стропила не шелохнутся.

Спрашиваю:

— Как выполняются задания?

Некрасивое лицо строителя, инженера Треухова, оживает...

Он пожимает мне руку. Он говорит:

— 70 % задания уже выполнено...»

Статья кончалась так:

«Он жмет мне на прощанье руку... Позади меня гудят стропила.

Рабочие спуют там и сям.

Кто может забыть этих кипений рабочей стройки, этой неказистой фигуры нашего строителя?»

Маховик».

Спасало Треухова только то, что на чтение газеты времени не было, и иногда удавалось пропустить сочинения тов. Маховика.

Один раз Треухов не выдержал и написал тщательно продуманное язвительное опровержение.

«Конечно, — писал он, — болты можно называть трансмиссией, но делают это люди, ничего не смыслящие в строительном деле. И потом, я хотел бы заметить тов. Маховику, что стропила гудят только тогда, когда постройка собирается развалиться. Говорить так о стропилах все равно что утверждать, будто бы виолончель рождает детей. Примите и проч.».

После этого неугомонный Принц на постройке перестал появляться, но бытовые очерки по-прежнему украшали третью полосу, резко выделяясь на фоне обыденных: «15 000 рублей ржавеют», «Жилищные комочки», «Материал плачет» и «Курьез и слезы».

Строительство подходило к концу. Термитным способом сваривались рельсы, и они тянулись без зазоров от самого вокзала до боен и от привозного рынка до кладбища.

Сперва открытие трамвая хотели приурочить к девятой годовщине Октября, но вагоностроительный завод, ссылаясь на «арматуру», не сдал к сроку вагонов. Открытие пришлось отложить к первому мая. К этому дню решительно все было готово.

Концессионеры, гуляючи, дошли вместе с демонстрациями до Гусища. Там собрался весь Старгород. Новое здание депо обвивали хвойные дуги, хлопали флаги, ветер бегал по лозунгам. Конный милиционер галопировал за первым мороженщиком, бог весть как попавшим в пустой, оцепленный трамвайщиками круг. Между двумя воротами депо высилась жидкая, пустая еще трибуна с микрофоном-усилителем. К трибуне подходили делегаты. Сводный оркестр коммунальников и канатчиков пробовал силу своих легких. Барабан лежал на земле.

По светлому залу депо, в котором стояли десять светло-зеленых вагонов, занумерованных от 701 до 710, шлялся московский корреспондент в волосатой кепке. На груди у него висела зеркалка, в которую он часто и озабоченно заглядывал. Корреспондент искал главного инженера, чтобы задать ему несколько вопросов на трамвайные темы. Хотя в голове корреспондента очерк об открытии трамвая со включением конспекта еще не произнесенных речей был уже готов, корреспондент добросовестно продолжал изыскания, находя недостаток лишь в отсутствии буфета.

В толпе пели, кричали и грызли семечки, дожидаясь пуска трамвая.

На трибуну поднялся президиум губисполкома. Принц Датский, заикаясь, обменивался фразами с собратом по перу. Ждали приезда московских кинохроникеров.

— Товарищи! — сказал Гаврилин. — Торжественный митинг по случаю открытия старгородского трамвая позвольте считать открытым.

Медные трубы задвигались, вздохнули и три раза подряд сыграли «Интернационал».

— Слово для доклада предоставляется товарищу Гаврилину! — крикнул Гаврилин.

Принц Датский-Маховик и московский гость, не сговариваясь, записали в свои записные книжки: «Торжественный митинг открылся докладом председателя Старкомхоза тов. Гаврилина. Толпа обратилась в слух...»

Оба корреспондента были людьми совершенно различными. Московский гость был холост и юн. Принц-Маховик, обремененный большой семьей, давно перевалил за четвертый десяток. Один всегда жил в Москве, другой никогда в Москве не был. Москвич любил пиво, Маховик-Датский, кроме водки, ничего в рот не брал. Но эта разность в характерах, возрасте, привычках и воспитании ничему не мешала. Впечатления у обоих журналистов отливались в одни и те же затертые, подержанные, вывалянные в пыли фразы. Карандаши их зачиркали, и в книжках появилась новая запись: «В день праздника улицы Старгорода стали как будто шире...»

Гаврилин начал свою речь хорошо и просто:

— Трамвай построить, — сказал он, — это не ешака купить.

В толпе внезапно послышался громкий смех Остапа Бендера. Он оценил эту фразу. Ободренный приемом, Гаврилин, сам не понимая почему, вдруг заговорил о международном положении. Он несколько раз пытался пустить свой доклад по трамвайным рельсам, но с ужасом замечал, что не может этого сделать. Слова сами по себе, против воли оратора, получались какие-то международные. После Чемберлена, которому Гаврилин уделил полчаса, на международную арену вышел американский сенатор Бора. Толпа обмякла. Корреспонденты враз записали: «В образных выражениях оратор обрисовал международное положение нашего Союза...» Распалившийся Гаврилин нехорошо отозвался о румынских боярах и перешел на Муссолини. И только к концу речи он поборол свою вторую международную натуру и заговорил хорошими деловыми словами:

— И я так думаю, товарищи, что этот трамвай, который сейчас выйдет из депа, благодаря кого он выпущен? Конечно, товарищи, благодаря вот вам, благодаря всех рабочих, которые, действительно, поработали не за страх, а, товарищи, за совесть. А еще, товарищи, благодаря честного советского специалиста, главного инженера Треухова. Ему тоже спасибо!..

Стали искать Треухова, но не нашли. Представитель Маслоцентра, которого давно уже жгло, протиснулся к перилам трибуны, взмахнул рукой и громко заговорил о международном положении. По окончании его речи оба

корреспондента, прислушиваясь к жиденьким хлопкам, быстро записали: «Шумные аплодисменты, переходящие в овацию...» Потом подумали над тем, что «переходящие в овацию...» будет, пожалуй, слишком сильно. Москвич решил и овацию вычеркнул. Маховик вздохнул и оставил.

Солнце быстро катилось по наклонной плоскости. С трибуны произносились приветствия. Оркестр поминутно играл туш. Светло засинел вечер, а митинг все продолжался. И говорившие и слушавшие давно уже чувствовали, что произошло что-то неладное, что митинг затянулся, что нужно как можно скорее перейти к пуску трамвая. Но все так привыкли говорить, что не могли остановиться.

Наконец, нашли Треухова. Он был испачкан и, прежде чем пойти на трибуну, долго мыл в конторе лицо и руки.

— Слово предоставляется главному инженеру, товарищу Треухову! — радостно возвестил Гаврилин. — Ну, говори, а то я совсем не то говорил, — добавил он шепотом.

Треухов хотел сказать многое. И про субботники, и про тяжелую работу, обо всем, что сделано и что можно еще сделать. А сделать можно много: можно освободить город от заразного привозного рынка, построить крытые стеклянные корпуса, можно построить постоянный мост, вместо ежегодно сносимого ледоходом, можно, наконец, осуществить проект постройки огромной мясохладобойни.

Треухов открыл рот и, запинаясь, заговорил:

— Товарищи! Международное положение нашего государства...

И дальше замямлил такие прописные истины, что толпа, слушавшая уже шестую международную речь, похолодела.

Только окончив, Треухов понял, что и он ни слова не сказал о трамвае.

«Вот обидно, — подумал он, — абсолютно мы не умеем говорить, абсолютно».

И ему вспомнилась речь французского коммуниста, которую он слышал на собрании в Москве. Француз говорил о буржуазной прессе. «Эти акробаты пера, — восклицал он, — эти виртуозы фарса, эти шакалы ротационных машин...» Первую часть речи француз произносил в тоне *la*, вторую часть — в тоне *do* и последнюю, патетическую, — в тоне *mi*. Жесты его были умеренны и красивы.

«А мы только муть разводим, — решил Треухов, — лучше б совсем не говорили».

Было уже совсем темно, когда председатель губисполкома разрезал ножницами красную ленточку, запиравшую выход из депо. Рабочие и представители общественных организаций с гомоном стали рассаживаться по вагонам. Ударили тонкие звоночки, и первый вагон трамвая, которым

управлял сам Треухов, выкатился из депо под оглушительные крики толпы и стоны оркестра. Освещенные вагоны казались еще ослепительнее, чем днем. Все они плыли цугом по Гусицу; пройдя под железнодорожным мостом, они легко поднялись в город и свернули на Большую Пушкинскую. Во втором вагоне ехал оркестр и, выставив трубы из окон, играл марш Буденного.

Гаврилин, в кондукторской форменной тужурке, с сумкой через плечо, прыгая из вагона в вагон, нежно улыбался, давал некстати звонки и вручал пассажирам пригласительные билеты на торжественный вечер, имеющий быть 1 мая в 9 ч. вечера в клубе коммунальников по следующей программе: 1) Доклад тов. Мосина, 2) Вручение грамоты союзом коммунальников и 3) Неофициальная часть: большой концерт и семейный ужин с bufетом.

На площадке последнего вагона стоял неизвестно как попавший в число почетных гостей Виктор Михайлович. Он принюхивался к мотору. К крайнему удивлению Полесова, мотор выглядел отлично и, как видно, работал исправно. Стекла не дребезжали. Осмотрев их подробно, Виктор Михайлович убедился, что они все-таки на резине. Он уже сделал несколько замечаний вагонуводителю и считался среди публики знатоком трамвайного дела на Западе.

— Воздушный тормоз работает неважно, — заявил Полесов, с торжеством поглядывая на пассажиров, — не всасывает.

— Тебя не спросили, — ответил вагонуводитель, — авось без тебя засосет.

Проделав праздничный тур по городу, вагоны вернулись в депо, где их поджидала толпа. Треухова качали уже при полном блеске электрических ламп. Качнули и Гаврилина, но, так как он весил пудов шесть и высоко не летал, его скоро отпустили. Качали тов. Мосина, техников и рабочих. Второй раз в этот день качали Виктора Михайловича. Теперь он уже не дергал ногами, а, строго и серьезно глядя в звездное небо, взлетал и парил в ночной темноте. Спланировав в последний раз, Полесов заметил, что его держит за ногу и смеется гадким смехом не кто иной, как бывший предводитель Ипполит Матвеевич Воробьянинов. Полесов вежливо высвободился, отошел немного в сторону, но из виду предводителя уже не выпускал. Заметив, что Ипполит Матвеевич вместе с молодым незнакомцем, явно бывшим офицером, уходят, Виктор Михайлович осторожно последовал за ними.

Когда все уже кончилось и Гаврилин в своем лиловеньком «Фиате» поджидал отдававшего последние распоряжения Треухова, чтобы ехать с ним в клуб, к воротам депо подкатил фордовский полугрузовичок с кинохроникерами.



Первым из машины ловко выпрыгнул мужчина в двенадцатиугольных роговых очках и элегантно кожаном армяке без рукавов. Острая длинная борода росла у мужчины прямо из адамова яблока. Второй мужчина тащил киноаппарат, путаясь в длинном шарфе того стиля, который Остап Бендер обычно называл «шик-модерн». Затем из грузовичка поползли ассистенты, юпитера и девушки.

Вся группа с криками ринулась в депо.

— Внимание! — крикнул бородатый армяковладелец. — Коля! Ставь юпитера!

Треухов заалелся и двинулся к ночным посетителям.

— Это вы кино? — спросил он. — Что ж вы днем не приехали?

— А когда назначено открытие трамвая?

— Он уже открыт.

— Да, да, мы несколько задержались. Хорошая натура подвернулась. Масса работы. Закат солнца! Впрочем, мы и так справимся. Коля! Давай свет! Вертящееся колесо! Крупно! Двигающиеся ноги толпы — крупно. Люда! Милочка! Пройдитесь! Коля, начали! Начали. Пошли! Идите, идите, идите... Довольно. Спасибо. Теперь будем снимать строителя. Товарищ Треухов? Будьте добры, товарищ Треухов. Нет, не так. В три четверти... Вот так, пооригинальней, на фоне трамвая... Коля! Начали! Говорите что-нибудь!..

— Ну, мне, право, так неудобно!..

— Великолепно!.. Хорошо!.. Еще говорите!.. Теперь вы говорите с первой пассажиркой трамвая... Люда! Войдите в рамку. Так. Дышите глубже: вы взволнованы!.. Коля! Ноги крупно!.. Начали!.. Так, так... Большое спасибо... Стоп!..

С давно дрожавшего «Фиата» тяжело слез Гаврилин и пришел звать отставшего друга. Режиссер с волосатым адамовым яблоком оживился.

— Коля! Сюда! Прекрасный типаж. Рабочий! Пассажир трамвая! Дышите глубже. Вы взволнованы. Вы никогда прежде не ездили в трамвае. Начали! Дышите!

Гаврилин с ненавистью засопел.

— Прекрасно!.. Милочка!.. Иди сюда! Привет от комсомола!.. Дышите глубже. Вы взволнованы... Так... Прекрасно. Коля, кончили.

— А трамвай снимать не будете? — спросил Треухов застенчиво.

— Видите ли, — промычал кожаный режиссер, — условия освещения не позволяют. Придется доснять в Москве. Целую!

Кинохроника молниеносно исчезла.

— Ну, поедem, дружок, отдохнуть, — сказал Гаврилин. — Ты что, закурил?

— Закурил, — сознался Треухов, — не выдержал.

На семейном вечере голодный накурившийся Треухов выпил три рюмки водки и совершенно опьянел. Он целовался со всеми, и все его целовали. Он хотел сказать что-то доброе своей жене, но только рассмеялся. Потом долго тряс руку Гаврилина и говорил:

— Ты чудак! Тебе надо научиться проектировать железнодорожные мосты! Это замечательная наука. И главное — абсолютно простая. Мост через Гудзон...

Через полчаса его развезло окончательно, и он произнес филиппику, направленную против буржуазной прессы:

— Эти акробаты фарса, эти гиены пера! Эти виртуозы ротационных машин! — кричал он.

Домой его отвезла жена на извозчике.

— Хочу ехать на трамвае, — говорил он жене, — ну, как ты этого не понимаешь? Раз есть трамвай, значит, на нем нужно ехать!.. Почему? Во-первых, это выгодно...

Полесов шел следом за концессионерами, долго крепился и, выждав, когда вокруг никого не было, подошел к Воробьянинову.

— Добрый вечер, господин Ипполит Матвеевич! — сказал он почтительно. Воробьянинову сделалось не по себе.

— Не имею чести, — пробормотал он.

Остап выдвинул правое плечо и подошел к слесарю-интеллекту.

— Ну-ну, — сказал он, — что вы хотите сказать моему другу?

— Вам не надо беспокоиться, — зашептал Полесов, оглядываясь по сторонам. — Я от Елены Станиславовны...

— Как? Она здесь?

— Здесь. И очень хочет вас видеть.

— Зачем? — спросил Остап. — А вы кто такой?

— Я... Вы, Ипполит Матвеевич, не думайте ничего такого. Вы меня не знаете, но я вас очень хорошо помню.

— Я бы хотел зайти к Елене Станиславовне, — нерешительно сказал Воробьянинов.

— Она чрезвычайно просила вас прийти.

— Да, но откуда она узнала?..

— Я вас встретил в коридоре комхоза и долго думал: знакомое лицо. Потом вспомнил. Вы, Ипполит Матвеевич, ни о чем не волнуйтесь! Все будет совершенно тайно.

— Знакомая женщина? — спросил Остап деловито.

— М-да, старая знакомая...

— Тогда, может быть, зайдём поужинаем у старой знакомой? Я, например, безумно хочу жрать, а все закрыто.

— Пожалуй.

— Тогда идем. Ведите нас, таинственный незнакомец.

И Виктор Михайлович проходными дворами, поминутно оглядываясь, повел компаньонов к дому гадалки, в Перелешинский переулочек.

ГЛАВА XIV Союз «Меча и орала»

Когда женщина стареет, с ней могут произойти многие неприятности: могут выпасть зубы, поседеть и поредеть волосы, развиться одышка, может нагнать тучность, может одолеть крайняя худоба, но голос у нее не изменится. Он останется таким же, каким был у нее гимназисткой, невестой или любовницей молодого повесы.

Поэтому, когда Полесов постучал в дверь и Елена Станиславовна спросила: «Кто там?», Воробьянинов дрогнул. Голос его любовницы был тот же, что и в девяносто девятом году, перед открытием парижской выставки. Но, войдя в комнату и сжимая веки от света, Ипполит Матвеевич увидел, что от бывшей красоты не осталось и следа.

— Как вы изменились! — сказал он невольно.

Старуха бросилась ему на шею.

— Спасибо, — сказала она, — я знаю, чем вы рисковали, придя ко мне. Вы тот же великодушный рыцарь. Я не спрашиваю вас, зачем вы приехали из Парижа. Видите, я нелюбопытна.

— Но я вовсе не приехал из Парижа, — растерянно сказал Воробьянинов.

— Мы с коллегой прибыли из Берлина, — поправил Остап, нажимая на локоть Ипполита Матвеевича, — об этом не рекомендуется говорить вслух.

— Ах, я так рада вас видеть! — возопила гадалка. — Войдите сюда, в эту комнату... А вы, Виктор Михайлович, простите, но не зайдете ли вы через полчаса?

— О! — заметил Остап. — Первое свидание! Трудные минуты! Разрешите и мне удалиться. Вы позволите с вами, любезнейший Виктор Михайлович.

Слесарь задрожал от радости. Оба ушли в квартиру Полесова, где Остап, сидя на обломке ворот дома № 5 по Перелешинскому переулочку, стал развивать перед оторопевшим кустарем-одиночкой с мотором фантазмагорические идеи, клонящиеся к спасению родины.

Через час они вернулись и застали стариков совершенно разомлевшими.

— А вы помните, Ипполит Матвеевич? — говорила Елена Станиславовна.

— А вы помните, Елена Станиславовна? — говорил Ипполит Матвеевич. «Кажется, наступил психологический момент для ужина», — подумал Остап. И, прервав Ипполита Матвеевича, вспоминая выборы в городскую управу, сказал:

— В Берлине есть очень странный обычай: там едят так поздно, что нельзя понять, что это — ранний ужин или поздний обед.

Елена Станиславовна встрепенулась, отвела кроличий взгляд от Воробьянинова и потащила на кухню.

— А теперь действовать, действовать и действовать! — сказал Остап, понизив голос до степени полной нелегальности.

Он взял Полесова за руку.

— Старуха не подкачает? Надежная женщина?

Полесов молитвенно сложил руки.

— Ваше политическое кредо?

— Всегда! — восторженно ответил Полесов.

— Вы, надеюсь, кирилловец?¹

— Так точно.

Полесов вытянулся в струну.

— Россия вас не забудет! — рявкнул Остап.

Ипполит Матвеевич, держа в руке сладкий пирожок, с недоумением слушал Остапа, но удержать его было нельзя. Его несло. Великий комбинатор чувствовал вдохновение, упоительное состояние перед вышесредним шантажом. Он прошелся по комнате, как барс.

В таком возбужденном состоянии его застала Елена Станиславовна, с трудом тащившая из кухни самовар. Остап галантно подскочил к ней, перенял на ходу самовар и поставил его на стол. Самовар свистнул. Остап решил действовать.

— Мадам, — сказал он, — мы счастливы видеть в вашем лице...

Он не знал, кого он счастлив видеть в лице Елены Станиславовны. Пришлось начать снова. Изю всех пышных оборотов царского режима вертелось в голове только какое-то «милостиво повелеть соизволил». Но это было не к месту. Поэтому он начал деловито:

— Строгий секрет! Государственная тайна!

Остап показал рукой на Воробьянинова:

— Кто, по-вашему, этот мощный старик? Не говорите, вы не можете этого знать. Это — гигант мысли, отец русской демократии и особа, приближенная к императору.

¹ В годы советской власти в российском эмигрантском монархическом движении было несколько основных течений: кирилловцы (они же легитимисты) поддерживали великого князя Кирилла Владимировича, николаевцы (они же непредрешенцы) — великого князя Николая Николаевича — младшего.



Ипполит Матвеевич встал во весь свой прекрасный рост и растерянно посмотрел по сторонам. Он ничего не понимал, но, зная по опыту, что Остап Бендер никогда не говорит зря, молчал. В Полесове все происходящее вызвало дрожь. Он стоял, задрвав подбородок к потолку, в позе человека, готовящегося пройти церемониальным маршем. Елена Станиславовна села на стул, в страхе глядя на Остапа.

— Наших в городе много? — спросил Остап напрямик. — Каково настроение?

— При наличии отсутствия... — сказал Виктор Михайлович и стал путано объяснять свои беды. Тут был и дворник дома № 5, возмнивший о себе хам, и плашки $\frac{3}{8}$ дюйма, и трамвай, и прочее.

— Хорошо! — грянул Остап. — Елена Станиславовна! С вашей помощью мы хотим связаться с лучшими людьми города, которых злая судьба загнала в подполье. Кого можно пригласить к вам?

— Кого ж можно пригласить! Максима Петровича разве с женой?

— Без жены, — поправил Остап, — без жен! Вы будете единственным приятным исключением. Еще кого?

В обсуждении, к которому деятельно примкнул и Виктор Михайлович, выяснилось, что пригласить можно того же Максима Петровича Чарушника, бывшего гласного городской думы, а ныне чудесным образом сопричисленного к лику соработников, хозяина «Быстроупака» Дядьева, председателя одесской бубличной артели «Московские баранки» Кислярского и двух молодых людей без фамилии, но вполне надежных.

— В таком случае прошу пригласить их сейчас же на маленькое совещание. Под величайшим секретом.

Заговорил Полесов:

— Я побегу к Максиму Петровичу, за Никешей и Владей, а уж вы,

Елена Станиславовна, потрудитесь и сходите в «Быстроупак» и за Кислярским.

Полесов умчался. Гадалка с благоговением посмотрела на Ипполита Матвеевича и тоже ушла.

— Что это значит? — спросил Ипполит Матвеевич, надувая щеки.

— Это значит, — ответил Остап, — что вы отсталый человек.

— Почему?

— Потому что! Простите за пошлый вопрос: сколько у вас есть денег?

— Каких денег?

— Всяких. Включая серебро и медь.

— Тридцать пять рублей.

— И с этими деньгами вы собирались окупить все расходы по нашему предприятию?

Ипполит Матвеевич молчал.

— Вот что, дорогой патрон. Мне сдается, что вы меня понимаете. Вам придется побить часок гигантом мысли и особой, приближенной к императору.

— Зачем?

— Затем, что нам нужен оборотный капитал. Завтра моя свадьба. Я не нищий. Я хочу пировать в этот знаменательный день.

— Что же я должен делать? — простонал Ипполит Матвеевич.

— Вы должны молчать. Иногда, для важности, надувайте щеки.

— Но ведь это же... обман.

— Кто это говорит? Это говорит граф Толстой? Или Дарвин? Нет. Я слышу это из уст человека, который еще вчера только собирался забраться ночью в квартиру Грицацуевой и ограбить у бедной вдовы мебель. Не задумывайтесь. Молчите. И не забывайте надувать щеки.

— К чему ввязываться в такое опасное дело? Ведь могут донести.

— Об этом не беспокойтесь. На плохие шансы я не ловлю. Дело будет поведено так, что никто ничего не поймет. Давайте пить чай.

Пока концессионеры пили и ели, а попугай трещал скорлупой подсолнухов, в квартиру входили гости.

Никеша и Владя пришли вместе с Полесовым. Виктор Михайлович не решился представить молодых людей гиганту мысли. Они засели в уголке и принялись наблюдать за тем, как отец русской демократии ест холодную телятину. Никеша и Владя были вполне созревшие недотепы. Каждому из них было лет под тридцать. Им, видно, очень нравилось, что их пригласили на заседание.

Бывший гласный городской думы Чарушников, тучный старик, долго тряс руку Ипполиту Матвеевичу и заглядывал ему в глаза. Под наблюдением Остапа старожилы города стали обмениваться воспоминаниями. Дав им разговориться, Остап обратился к Чарушникову:

— Вы в каком полку служили?

Чарушников запыхтел.

— Я... я, так сказать, вообще не служил, потому что, будучи облечен доверием общества, проходил по выборам.

— Вы дворянин?

— Да. Был.

— Вы, надеюсь, остались им и сейчас? Крепитесь. Потребуется ваша помощь. Полесов вам говорил? Заграница нам поможет. Остановка за общественным мнением. Полная тайна организации. Внимание!

Остап отогнал Полесова от Никеши и Влади и с неподдельной суровостью спросил:

— В каком полку служили? Придется послужить отечеству. Вы дворяне? Очень хорошо. Запад нам поможет. Крепитесь. Полная тайна вкладов, то есть организации. Внимание.

Остапа несло. Дело как будто налаживалось. Представленный Еленой Станиславовной владельцу «Быстроупака», Остап отвел его в сторону, предложил ему крепиться, осведомился, в каком полку он служил, и обещал содействие заграницы и полную тайну организации. Первым чувством владельца «Быстроупака» было желание как можно скорее убежать из заговорщицкой квартиры. Он считал свою фирму слишком солидной, чтобы вступать в рискованное дело. Но, оглядев ловкую фигуру Остапа, он поколебался и стал размышлять: «А вдруг!.. Впрочем, все зависит от того, под каким соусом все это будет подано».

Дружеская беседа за чайным столом оживилась. Посвященные свято хранили тайну и разговаривали о городских новостях.

Последним пришел гражданин Кислярский, который, не будучи дворянином и никогда не служа в гвардейских полках, из краткого разговора с Остапом сразу уяснил себе положение вещей.



— Крепитесь, — сказал Остап наставительно.

Кислярский пообещал.

— Вы, как представитель частного капитала, не можете остаться глухим к стонам народа.

Кислярский сочувственно загрустил.

— Вы знаете, кто это сидит? — спросил Остап, показывая на Ипполита Матвеевича.

— Как же, — ответил Кислярский, — это господин Воробьянинов.

— Это, — сказал Остап, — гигант мысли, отец русской демократии, особа, приближенная к императору.

«В лучшем случае два года со строгой изоляцией, — подумал Кислярский, начиная дрожать. — Зачем я сюда пришел?»

— Тайный союз меча и орала! — злоеще прошептал Остап.

«Десять лет», — мелькнула у Кислярского мысль.

— Впрочем, вы можете уйти, но у нас, предупреждаю, длинные руки!..

«Я тебе покажу, сукин сын, — подумал Остап. — Меньше чем за сто рублей я тебя не выпущу».

Кислярский сделался мраморным. Еще сегодня он так вкусно и спокойно обедал куриные пупочки, бульон с орешками и ничего не знал о страшном «союзе меча и орала». Он остался: «длинные руки» произвели на него невыгодное впечатление.

— Граждане! — сказал Остап, открывая заседание. — Жизнь диктует свои законы, свои жестокие законы. Я не стану говорить вам о цели нашего собрания — она вам известна. Цель святая. Отовсюду мы слышим стоны. Со всех концов нашей обширной страны взывают о помощи. Мы должны протянуть руку помощи, и мы ее протянем. Одни из вас служат и едят хлеб с маслом, другие занимаются отхожим промыслом и едят бутерброды с икрой. И те и другие спят в своих постелях и укрываются теплыми одеялами. Одни лишь маленькие дети, беспризорные дети, находятся без призора. Эти цветы улицы, или, как выражаются пролетарии умственного труда, цветы на асфальте, заслуживают лучшей участи. Мы, господа присяжные заседатели, должны им помочь. И мы, господа присяжные заседатели, им поможем.

Речь великого комбинатора вызвала среди слушателей различные чувства.

Полесов не понял своего нового друга — молодого гвардейца.

«Какие дети? — подумал он. — Почему дети?»

Ипполит Матвеевич даже и не старался ничего понять. Он давно уже махнул на все рукой и молча сидел, надувая щеки.

Елена Станиславовна пригорюнилась.

Никеша и Владя преданно глядели на голубую жилетку Остапа.

Владелец «Быстроупака» был чрезвычайно доволен.

«Красиво составлено, — решил он, — под таким соусом и деньги дать можно. В случае удачи — почет! Не вышло — мое дело шестнадцатое. Помогал детям — и дело с концом».

Чарушников обменялся значительным взглядом с Дядьевым и, отдавая должное конспиративной ловкости докладчика, продолжал катать по столу хлебные шарики.

Кислярский был на седьмом небе. «Золотая голова», — думал он. Ему казалось, что он еще никогда так сильно не любил беспризорных детей, как в этот вечер.

— Товарищи! — продолжал Остап. — Нужна немедленная помощь. Мы должны вырвать детей из цепких лап улицы, и мы вырвем их оттуда. Поможем детям. Будем помнить, что дети — цветы жизни. Я приглашаю вас сейчас же сделать свои взносы и помочь детям, только детям и никому другому. Вы меня понимаете?

Остап вынул из бокового кармана квитанционную книжку.

— Попрошу делать взносы. Ипполит Матвеевич подтвердит мои полномочия.

Ипполит Матвеевич надулся и наклонил голову. Тут даже несмышленные Никеша с Владей и сам хлопотливый слесарь поняли тайную суть иносказаний Остапа.

— В порядке старшинства, господа, — сказал Остап, — начнем с уважаемого Максима Петровича.

Максим Петрович заерзал и дал от силы тридцать рублей.

— В лучшие времена дам больше! — заявил он.

— Лучшие времена скоро наступят, — сказал Остап. — Впрочем, к беспризорным детям, которых я в настоящий момент представляю, это не относится.

Восемь рублей дали Никеша с Владей.

— Мало, молодые люди.

Молодые люди зарделись.

Полесов сбегал домой и принес пятьдесят.

— Bravo, гусар! — сказал Остап. — Для гусара-одиночки с мотором этого на первый раз достаточно. Что скажет купечество?

Дядьев и Кислярский долго торговались и жаловались на уравнилельный. Остап был неумолим:

— В присутствии самого Ипполита Матвеевича считаю эти разговоры излишними.

Ипполит Матвеевич наклонил голову. Купцы пожертвовали в пользу деток по двести рублей.

— Всего, — возгласил Остап, — четыреста восемьдесят восемь рублей. Эх! Двенадцати рублей не хватает для ровного счета.



Елена Станиславовна, долго крепившаяся, ушла в спальню и вынесла в ридикюле искомые двенадцать рублей.

Остальная часть заседания была смята и носила менее торжественный характер. Остап начал резвиться. Елена Станиславовна совсем размякла. Гости постепенно расходились, почтительно прощаясь с организаторами.

— О дне следующего заседания вы будете оповещены особо, — говорил Остап на прощание, — строжайший секрет. Дело помощи детям должно находиться в тайне. Это, кстати, в ваших личных интересах.

При этих словах Кислярскому захотелось дать еще пятьдесят рублей, но больше уже не приходиться ни на какие заседания. Он еле удержал себя от этого порыва.

— Ну, — сказал Остап, — будем двигаться. Вы, Ипполит Матвеевич, я надеюсь, воспользуетесь гостеприимностью Елены Станиславовны и переночуете у нее. Кстати, нам и для конспирации полезно разделить на время. А я пошел.

Ипполит Матвеевич отчаянно подмаргивал Остапу глазом, но тот сделал вид, что не заметил этого, и вышел на улицу.

Пройдя квартал, он вспомнил, что в кармане у него лежат пятьсот честно заработанных рублей.

— Извозчик! — крикнул он. — Вези в «Феникс»!

— Это можно, — сказал извозчик.

Он неторопливо подвез Остапа к закрытому ресторану.

— Это что? Закрыто?

— По случаю Первого мая.

— Ах, чтоб их! И денег сколько угодно, и погулять негде! Ну, тогда валяй на улицу Плеханова. Знаешь?

Остап решил поехать к своей невесте,

— А раньше как эта улица называлась? — спросил извозчик.

— Не знаю.

— Куда же ехать? И я не знаю.

Тем не менее Остап велел ехать и искать.

Часа полтора проколесили они по пустому ночному городу, опрашивая ночных сторожей и милиционеров. Один милиционер долго пыжился и, наконец, сообщил, что Плеханова не иначе как бывшая Губернаторская.

— Ну, Губернаторская! Я Губернаторскую хорошо знаю. Двадцать пять лет вожу на Губернаторскую.

— Ну, и езжай!

Приехали на Губернаторскую, но она оказалась не Плеханова, а Карла Маркса.

Озлобленный Остап возобновил поиски затерянной улицы имени Плеханова. И вот всю ночь безумец бедный, куда б стопы ни обращал, не мог найти улицы имени Плеханова.

Рассвет бледно осветил лицо богатого страдальца, так и не сумевшего развлечься.

— Вези в «Сорбонну»! — крикнул он. — Тоже извозчик! Плеханова не знаешь!

Чертог вдовы Грицацовой сиял. Во главе свадебного стола сидел марьяжный король — сын турецко-подданного. Он был эlegantен и пьян. Гости шумели.

Молодая была уже немолода. Ей было не меньше тридцати пяти лет. Природа одарила ее щедро. Тут было все: арбузные груди, нос — обухом, расписные щеки и мощный затылок. Нового мужа она обожала и очень боялась. Поэтому звала его не по имени и даже не по отчеству, которого она так никогда и не узнала, а по фамилии: товарищ Бендер.

Ипполит Матвеевич снова сидел на заветном стуле. В продолжение всего свадебного ужина он подпрыгивал на нем, чтобы почувствовать твердое. Иногда это ему удавалось. Тогда все присутствующие нравились ему, и он неистово начинал кричать «горько».

Остап все время произносил речи, спичи и тосты. Пили за народное просвещение и ирригацию Узбекистана. После этого гости ста-

ли расходиться. Ипполит Матвеевич задержался в передней и шепнул Бендеру:

— Так вы не тяните. Они там.

— Вы — стяжатель, — ответил пьяный Остап, — ждите меня в гостинице. Никуда не уходите. Я могу прийти каждую минуту. Уплатите в гостинице по счету. Чтоб все было готово. Адье, фельдмаршал! Пожелайте мне спокойной ночи.

Ипполит Матвеевич пожелал и отправился в «Сорбонну» волноваться.

В пять часов утра явился Остап со стулом. Ипполита Матвеевича проняло. Остап поставил стул посредине комнаты и сел на него.

— Как это вам удалось? — выговорил наконец Воробьянинов.

— Очень просто, по-семейному. Вдовица спит и видит сон. Жаль было будить. «На заре ты ее не буди». Увы! Пришлось оставить любимой записку: «Выезжаю с докладом в Новохоперск. К обеду не жди. Твой Суслик». А стул я захватил в столовой. Трамвая в эти утренние часы нет — отдыхал на стуле по пути.

Ипполит Матвеевич с урчанием кинулся к стулу.

— Тихо, — сказал Остап, — нужно действовать без шума.

Он вынул из кармана плоскогубцы, и работа закипела.

— Вы дверь заперли? — спросил Остап.

Отталкивая нетерпеливого Воробьянинова, Остап аккуратно вскрыл стул, стараясь не повредить английского ситца в цветочках.

— Такого материала теперь нет, надо его сохранить. Товарный голод, ничего не поделаешь.

Все это довело Ипполита Матвеевича до крайнего раздражения.

— Готово, — сказал Остап тихо.

Он приподнял покровы и обеими руками стал шарить между пружинами. На лбу у него обозначилась венозная ижица.

— Ну? — повторял Ипполит Матвеевич на разные лады. — Ну? Ну?

— Ну и ну, — отвечал Остап раздраженно, — один шанс против одиннадцати. И этот шанс... Он хорошенько порылся в стуле и закончил: — И этот шанс пока не наш.

Он поднялся во весь рост и принялся чистить коленки. Ипполит Матвеевич кинулся к стулу.

Бриллиантов не было. У Ипполита Матвеевича обвисли руки. Но Остап был по-прежнему бодр.

— Теперь наши шансы увеличились.

Он походил по комнате.

— Ничего! Этот стул обошелся вдове больше, чем нам.

Остап вынул из бокового кармана золотую брошь со стекляшками, дутый золотой браслет, полдюжины золоченых ложечек и чайное ситечко.

Ипполит Матвеевич в горе даже не сообразил, что стал соучастником обыкновенной кражи.

— Пошлая вещь, — заметил Остап, — но согласитесь, что я не мог покинуть любимую женщину, не оставив о ней никакого воспоминания. Однако времени терять не следует. Это еще только начало. Конеч в Москве. А Мебельный музей — это вам не вдова; там потруднее будет!

Компаньоны запихнули обломки стула под кровать и, подсчитав деньги (их вместе с пожертвованиями в пользу детей оказалось 535 рублей), выехали на вокзал к московскому поезду.

Ехать пришлось через весь город на извозчике.

На Кооперативной они увидели Полесова, бежавшего по тротуару, как пугливая антилопа. За ним гнался дворник дома № 5 по Перелешинскому переулку. Заворачивая за угол, концессионеры успели заметить, что дворник настиг Виктора Михайловича и принялся его дубасить. Полесов кричал «караул!» и «хам!».

Возле самого вокзала, на Гусище, пришлось переждать похоронную процессию. На грузовой платформе, содрогаясь, ехал гроб, за которым следовал совершенно обессиленный Варфоломеич. Каверзная бабушка умерла как раз в тот год, когда он перестал делать страховые взносы.

До отхода поезда сидели в уборной, опасаясь встречи с любимой женщиной.

Поезд уносил друзей в шумный центр. Друзья прикинули к окну. Вагоны проносились над Гусищем.

Внезапно Остап заревел и схватил Воробьянинова за бицепс.

— Смотрите, смотрите! — крикнул он. — Скорее! Альхен, с-сукин сын!..

Ипполит Матвеевич посмотрел вниз. Под насыпью дюжий усатый молодец тащил тачку, груженную рыжей фисгармонией и пятью оконными рамами. Тачку подталкивал стыдливого вида гражданин в мышинной толстовочке.

Солнце пробилось сквозь тучи. Сияли кресты церквей.

Остап, хохоча, высунулся из окна и гаркнул:

— Пашка! На толкучку едешь?

Паша Эмильевич поднял голову, но увидел только буфера последнего вагона и еще сильнее заработал ногами.

— Видели? — радостно спросил Остап. — Красота! Вот работают люди!

Остап похлопал загрузившего Воробьянинова по спине.

— Ничего, папаша! Не унывайте! Заседание продолжается. Завтра вечером мы в Москве!



ЧАСТЬ ВТОРАЯ В МОСКВЕ

ГЛАВА XV Среди океана стульев

Статистика знает все.

Точно учтено количество пахотной земли в СССР с подразделением на чернозем, суглинок и лёсс. Все граждане обоего пола записаны в аккуратные толстые книги, так хорошо известные Ипполиту Матвеевичу Воробьянинову — книги ЗАГСов. Известно, сколько какой пищи съедает в год средний гражданин республики. Известно, сколько этот средний гражданин выпивает в среднем водки, с примерным указанием потребляемой закуски. Известно, сколько в стране охотников, балерин, револьверных станков, собак всех пород, велосипедов, памятников, девушек, маяков и швейных машинок.

Как много жизни, полной пыла, страстей и мысли, глядит на нас со статистических таблиц!

Кто он, розовощекий индивид, сидящий с салфеткой на груди за столиком и с аппетитом уничтожающий дымящуюся снедь? Вокруг него лежат стада миниатюрных быков. Жирные свиньи сбились в угол таблицы, В специальном статистическом бассейне плещутся бесчисленные осетры, налимы и рыба чехонь. На плечах, руках и голове индивида сидят куры. В перистых облаках летают домашние гуси, утки и индейки. Под столом прячутся два кролика. На горизонте возвышаются пирамиды и вавилоны из печеного хлеба. Небольшая крепость из варенья омывается молочной рекой. Огурец, величиною в пизанскую башню, стоит на горизонте. За крепостными валами из соли и перца пополюротно маршируют вина, водки и наливки. В арьергарде жалкой кучкой плетутся безалкогольные напитки: нестроеные нарзаны, лимонады и сифоны в проволочных сетках.

Кто же этот розовощекий индивид — обжора, пьянчуга и сластун?

Гаргантюа, король дипсодов? Силач Фосс?¹ Легендарный солдат Яшка Красная Рубашка? Лукулл?

Это не Лукулл. Это — Иван Иванович Сидоров, или Сидор Сидорович Иванов; средний гражданин, съедающий в среднем за свою жизнь всю изображенную на таблице снедь. Это — нормальный потребитель калорий и витаминов, тихий сорокалетний холостяк, служащий в госмагазине галантереи и трикотина².

От статистики не скроешься никуда. Она имеет точные сведения не только о количестве зубных врачей, колбасных шприцев, дворников, кинорежиссеров, проституток, соломенных крыш, вдов, извозчиков и колоколов, но знает даже, сколько в стране статистиков.

И одного она не знает.

Не знает она, сколько в СССР стульев.

Стульев очень много. Последняя статистическая перепись определила численность населения союзных республик в 143 миллиона человек. Если отбросить 90 миллионов крестьян, предпочитающих стульям лавки, полати, завалинки, а на Востоке — истертые ковры и паласы, то все же остается 53 миллиона человек, в домашнем обиходе которых стулья являются предметами первой необходимости. Если же принять во внимание возможные просчеты в исчислениях и привычку некоторых граждан Союза сидеть между двух стульев, то, сократив на всякий случай общее число вдвое, найдем, что стульев в стране должно быть не менее $26 \frac{1}{2}$ миллионов. Для верности откажемся еще от $6 \frac{1}{2}$ миллионов. Оставшиеся двадцать миллионов будут числом минимальным.

¹ Цирковой артист выступавший под псевдонимом Эмиль Фосс, больше известный своими скандальными похождениями в ресторанах и буфетах, где он съедал необычайно много и не платил.

² Трикотин — эластичная и легкая ткань, которая изготавливается из шелковых или шерстяных ниток.

Среди этого океана стульев, сделанных из ореха, дуба, ясеня, палисандра, красного дерева и карельской березы, среди стульев еловых и сосновых герои романа должны найти ореховый гамбсовский стул с гнутыми ножками, таящий в своем обитом английским ситцем брюхе сокровища мадам Петуховой.

Концессионеры в одних носках лежали на верхних полках и еще спали, когда поезд осторожно перешел Оку и, усилив ход, стал приближаться к Москве.

ГЛАВА XVI

Общежитие имени монаха Бертольда Шварца¹

Ипполит Матвеевич и Остап, напирая друг на друга, стояли у открытого окна жесткого вагона и внимательно смотрели на коров, медленно сходявших с насыпи, на хвою, на дощатые дачные платформы.

Все дорожные анекдоты были уже рассказаны. «Старгородская правда» от вторника прочитана до объявлений и покрыта масляными пятнами. Все щыплята, яйца и маслины съедены.

Оставался самый томительный участок пути — последний час перед Москвой.

Из реденьких лесочков и рощ подскакивали к насыпи веселенькие дачки. Были среди них деревянные дворцы, блестящие стеклом веранд и свежeverкрашенными железными крышами. Были и простые деревянные срубы с крохотными квадратными оконцами, настоящие капканы для дачников.

В то время как пассажиры с видом знатоков рассматривали горизонт и, перевирая сохранившиеся в памяти воспоминания о битве при Калке, рассказывали друг другу прошлое и настоящее Москвы, Ипполит Матвеевич упорно старался представить себе Музей мебели. Музей представлялся ему в виде многоверстного коридора, по стенам которого шпалерами² стояли стулья. Воробьянинов видел себя быстро идущим между ними.

— Как еще будет с Музеем мебели, неизвестно. Обойдется? — встревоженно говорил он.

— Вам, предводитель, пора уже лечиться электричеством. Не устраивайте преждевременной истерики. Если вы уже не можете не переживать, то переживайте молча.

Поезд прыгал на стрелках. Глядя на него, семафоры разевали рты. Пути учащались. Чувствовалось приближение огромного железнодорожного узла. Трава исчезла, ее заменил шлак. Свистели маневровые паровозы. Стрелоч-

¹ *Бертольд Шварц, или Бертольд Чёрный, (в миру Константин Анклитцен)* — немецкий францисканский монах, алхимик, живший в XIV веке и считающийся европейским изобретателем пороха.

² *Шпалера* (военное дело) — шеренга войск по сторонам пути следования кого-нибудь.

ники трубили. Внезапно грохот усилился. Поезд вкатился в коридор между порожними составами и, щелкая как турникет, стал пересчитывать вагоны.

Пути вздваивались¹.

Поезд выскочил из коридора. Ударило солнце. Низко, по самой земле, разбегались стрелочные фонари, похожие на топорики. Валил дым. Паровоз, отдуваясь, выпустил белоснежные бакенбарды. На поворотном кругу стоял крик. Дёповцы загоняли паровоз в стойло.

От резкого торможения хрустнули поездные суставы. Все завизжало, и Ипполиту Матвеевичу показалось, что он попал в царство зубной боли. Поезд причалил к асфальтовому перрону.

Это была Москва. Это был Рязанский² — самый свежий и новый из всех московских вокзалов.

Ни на одном из восьми остальных вокзалов Москвы нет таких обширных и высоких помещений, как на Рязанском. Весь Ярославский вокзал, с его псевдорусскими гребешками и геральдическими курочками, легко может поместиться в большом буфете-ресторане Рязанского вокзала.

Московские вокзалы — ворота города. Ежедневно они впускают и выпускают тридцать тысяч пассажиров. Через Александровский вокзал³ входит в Москву иностранец на каучуковых подошвах, в костюме для гольфа (шаровары и толстые шерстяные чулки наружу). С Курского — попадает в Москву кавказец в коричневой бараньей шапке с вентиляционными дырочками и рослый волгарь в пеньковой бороде. С Октябрьского⁴ — выскакивает полуответственный работник с портфелем из дивной свиной кожи. Он приехал из Ленинграда по делам увязки, согласования и конкретного охвата. Представители Киева и Одессы проникают в столицу через Брянский вокзал⁵. Уже на станции Тихонова Пустынь киевляне начинают презрительно улыбаться. Им великолепно известно, что Крещатик — наилучшая улица на земле. Одесситы тащат с собой корзины и плоские коробки с копченой скумбрией. Им тоже известна лучшая улица на земле. Но это, конечно, не Крещатик, это улица Лассаля, бывшая Дерibasовская. Из Саратова, Аткарска, Тамбова, Ртищева и Козлова в Москву приезжают с Павелецкого вокзала. Самое незначительное число людей прибывает в Москву через Савеловский. Это — башмачники из Талдома, жители города Дмитрова, рабочие Яхромской мануфактуры

¹ *Вздваиваться* (военное дело) — перестроиться в две шеренги или в колонну по два, здесь в значении раздваивались.

² Имеется в виду Казанский вокзал. В 1912 году Москва получила связь по железной дороге с Казанью. В связи с этим вокзал был переименован в Казанский. Однако еще около двадцати лет использовались оба названия. В 1926 году был завершён первый этап строительства и отделки нового здания вокзала.

³ Сейчас Белорусский.

⁴ Сейчас Ленинградский.

⁵ Сейчас Киевский.

или унылый дачник, живущий зимой и летом на станции Хлебниково. Ехать здесь в Москву недолго. Самое большое расстояние по этой линии — сто тридцать верст. С Ярославского вокзала попадают в столицу люди, приехавшие из Владивостока, Хабаровска, Читы, из городов дальних и больших.

Самые диковинные пассажиры все-таки на Рязанском вокзале. Это узбеки, в белых кисейных чалмах и цветочных халатах, краснобородые таджики, туркмены, хивинцы и бухарцы, над республиками которых сияет вечное солнце.

Концессионеры с трудом пробившись к выходу и очутились на Каланчевской площади. Справа от них высились геральдические курочки Ярославского вокзала. Прямо против них тускло поблескивал Октябрьский вокзал, выкрашенный масляной краской в два цвета. Часы на нем показывали пять минут одиннадцатого. На часах Ярославского вокзала было ровно десять. А посмотрев на темно-синий, украшенный знаками зодиака циферблат Рязанского вокзала, путешественники заметили, что часы показывали без пяти десять.

— Очень удобно для свиданий! — сказал Остап. — Всегда есть десять минут форы.

Извозчик издал губами поцелуйный звук. Проехали под мостом, и перед путниками развернулась величественная панорама столичного города.

Подле реставрированных тцанием Главнауки Красных ворот расположились заляпаные известкой маляры с саженными кистями, плотники с пилами, штукатуры и каменщики. Они плотно облепили угол Садово-Спасской.

— Запасный дворец¹, — заметил Ипполит Матвеевич, глядя на длинное белое с зеленым здание по Новой Басманной.

— Работал я и в этом дворце, — сказал Остап, — он, кстати, не дворец, а НКПС. Там служащие, вероятно, до сих пор носят эмалевые нагрудные знаки, которые я изобрел и распространял.

— Куда мы, однако, едем? — спросил Ипполит Матвеевич.

— К хорошим людям, — ответил Остап, — в Москве их масса. И все мои знакомые.

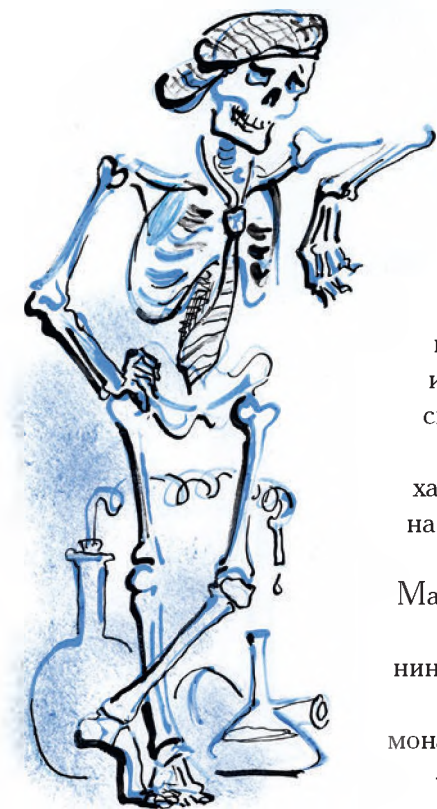
— И мы у них остановимся?

— Это общежитие. Если не у одного, то у другого место всегда найдется.

В сквере, против Большого театра, уже торчала пальмочка, анонсируя, что лето уже наступило и что желающие подышать свежим воздухом должны немедленно уехать не менее чем за две тысячи верст.

В академических театрах еще свирепствовала зима. Зимний сезон был в разгаре. Афиши сообщали о первом представлении оперы «Любовь к трем

¹ *Запасный дворец*, построенный во второй половине XVIII века с целью хранения запасов продовольствия и фуража для нужд императорского двора. В конце XIX века Запасный дворец был передан Дворянскому институту — учебному заведению, где воспитывались «девицы благородного звания», а с 1918 года там находился Народный комиссариат путей сообщения.



апельсинам», о «Последнем концерте перед отъездом за границу знаменитого тенора Дмитрия Смирнова» и о всемирноизвестном капитане с его шестьюдесятью крокодилами в первом госцирке.

В Охотном ряду было смятение. Врассыпную, с лотками на головах, как гуси, бежали беспатентные лотошники. За ними лениво трусил милиционер. Беспризорные сидели возле асфальтового чана и с наслаждением вдыхали запах кипящей смолы.

Выехали на Арбатскую площадь, проехали по Пречистенскому бульвару и, свернув направо, остановились на Сивцевом вражке.

— Что это за дом? — спросил Ипполит Матвеевич.

Остап посмотрел на розовый домик с мезонином и ответил:

— Общежитие студентов-химиков имени монаха Бертольда Шварца.

— Неужели монаха?

— Ну, пошутил, пошутил. Имени товарища Семашко¹. Как и полагается рядовому студенческому общежитию в Москве, дом студен-

тов-химиков давно уже был заселен людьми, имеющими к химии довольно отдаленное отношение. Студенты расплзлись. Часть из них окончила курс и разъехалась по назначениям, часть была исключена за академическую неуспешность. Именно эта часть, год от году возрастая, образовала в розовом домике нечто среднее между жилтовариществом и феодальным поселком. Тщетно пытались ряды новых студентов ворваться в общежитие. Экс-химики были необыкновенно изобретательны и отражали все атаки. На домик махнули рукой. Он стал считаться диким и исчез со всех планов МУНИ². Его как будто бы и не было. А между тем он был, и в нем жили люди.

Концессионеры поднялись по лестнице на второй этаж и свернули в совершенно темный коридор.

¹ Н. А. Семашко (1874–1949) — врач, академик, создатель системы здравоохранения Советского Союза.

² МУНИ — Московское управление недвижимым имуществом.

— Свет и воздух, — сказал Остап.

Внезапно в темноте, у самого локтя Ипполита Матвеевича, кто-то шумно засопел.

— Не пугайтесь, — заметил Остап, — это не в коридоре. Это за стеной. Фанера, как известно из физики, — лучший проводник звука. Осторожнее! Держитесь за меня! Тут где-то должен быть несгораемый шкаф.

Крик, который сейчас же издал Воробьянинов, ударившись грудью об острый железный угол, показал, что шкаф действительно где-то тут.

— Что, больно? — осведомился Остап. — Это еще ничего. Это — физические мучения. Зато сколько здесь было моральных мучений — жутко вспомнить. Тут вот рядом стоял скелет студента Иванопуло. Он купил его на Сухаревке, а держать в комнате боялся. Так что посетители сперва ударялись о кассу, а потом на них падал скелет. Беременные женщины были очень недовольны.

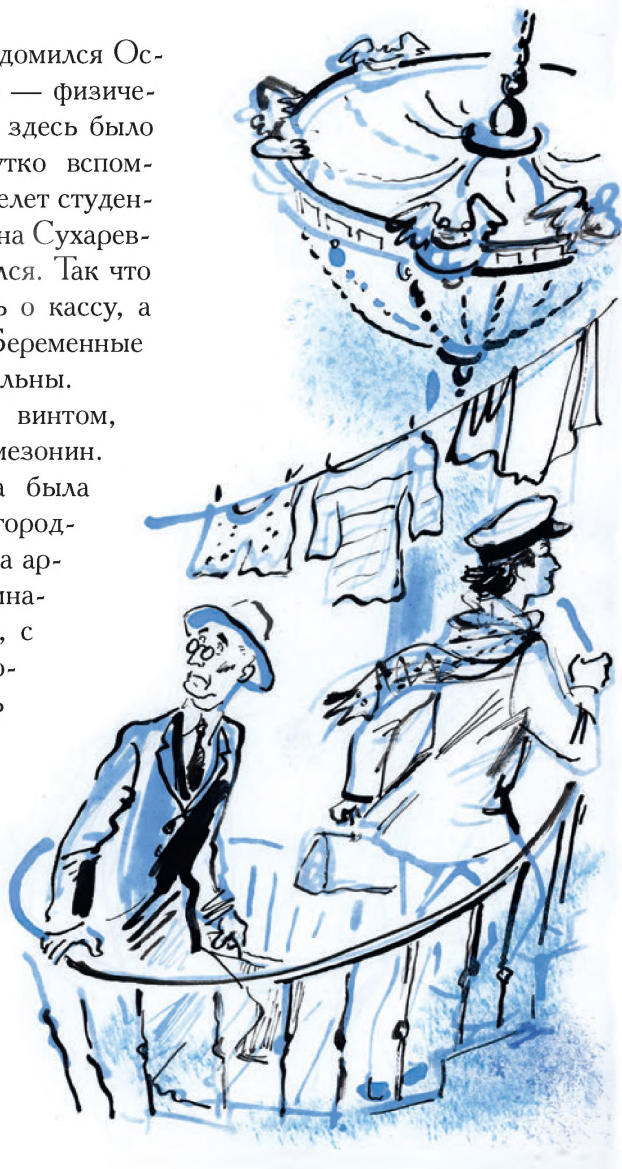
По лестнице, шедшей винтом, компаньоны поднялись в мезонин. Большая комната мезонина была разрезана фанерными перегородками на длинные ломти, в два аршина ширины каждый¹. Комнаты были похожи на пеналы, с тем только отличием, что, кроме карандашей и ручек, здесь были люди и примусы.

— Ты дома, Коля? — тихо спросил Остап, остановившись у центральной двери.

В ответ на это во всех пяти пеналах завозились и загалдели.

— Дома, — ответили за дверью.

— Опять к этому ду-



¹ Два аршина — примерно полтора метра.

раку гости спозаранку пришли! — зашептал женский голос из крайнего пенала слева.

— Да дайте же человеку поспать! — буркнул пенал № 2.

В третьем пенале радостно зашипели:

— К Кольке из милиции пришли. За вчерашнее стекло.

В пятом пенале молчали. Там ржал примус и целовались.

Остап толкнул ногою дверь. Все фанерное сооружение затряслось, и концессионеры проникли в Колькину щель. Картина, представившаяся взору Остапа, при внешней своей невинности, была ужасна. В комнате из мебели был только матрац в красную полоску, лежавший на четырех кирпичках. Но не это обеспокоило Остапа. Колькина мебель была ему известна давно. Не удивил его и сам Колька, сидящий на матраце с ногами. Но рядом сидело такое небесное создание, что Остап сразу омрачился. Такие девушки никогда не бывают деловыми знакомыми — для этого у них слишком голубые глаза и чистая шея. Это любовницы или, еще хуже, это жены — и жены любимые. И действительно, Коля называл создание Лизой, говорил ей «ты» и показывал ей рожки.

Ипполит Матвеевич снял свою касторовую шляпу. Остап вызвал Колю в коридор. Там они долго шептались.

— Прекрасное утро, сударыня, — сказал Ипполит Матвеевич, чувствуя себя очень стесненно.

Голубоглазая сударыня засмеялась и, без всякой видимой связи с замечанием Ипполита Матвеевича, заговорила о том, какие дураки живут в соседнем пенале.

— Они нарочно заводят примус, чтобы не было слышно, как они целуются. Но, вы поймите, это же глупо. Мы все слышим. Вот они, действительно, ничего уже не слышат из-за своего примуса. Хотите, я вам сейчас покажу. Слушайте.

И Колина жена, постигшая все тайны примуса, громко сказала:

— Зверевы — дураки!

За стеной слышалось адское пение примуса и звуки поцелуев.

— Видите? Они ничего не слышат. Зверевы — дураки, болваны и психопаты. Видите?

— Да, — сказал Ипполит Матвеевич.

— А мы примуса не держим. Зачем? Мы ходим обедать в вегетарианскую столовую, хотя я против вегетарианской столовой. Но когда мы с Колей женились, он мечтал о том, как мы вместе будем ходить в вегетарианку. Ну вот мы и ходим. Я очень люблю мясо. А там котлеты из лапши. Только вы, пожалуйста, ничего не говорите Коле...

В это время вернулся Коля с Остапом.

— Ну что ж, раз у тебя решительно нельзя остановиться, мы пойдем к Пантелею.

— Верно, ребята, — закричал Коля, — идите к Иванопуло. Это свой парень.

— Приходите к нам в гости, — сказала Колина жена, — мы с мужем будем очень рады.

— Опять в гости зовут! — возмутились в крайнем пенале слева. — Мало им гостей!

— А вы — дураки, болваны и психопаты, не ваше дело! — сказала Колина жена нормальным голосом.

— Ты слышишь, Иван Андреевич, — заволновались в крайнем пенале, — твою жену оскорбляют, а ты молчишь.

Подали свой голос невидимые комментаторы из других пеналов. Словесная перепалка разрасталась. Компаньоны ушли вниз, к Иванопуло.

Студента не было дома. Ипполит Матвеевич зажег спичку. На дверях висела записка: «Буду не раньше 9 ч. Пантелей».

— Не беда, — сказал Остап, — я знаю, где ключ.

Он пошарил под несгораемой кассой, достал ключ и открыл дверь.

Комната студента Иванопуло была точно такого же размера, как и Колина, но зато угловая. Одна стена ее была каменная, чем студент очень гордился. Ипполит Матвеевич с огорчением заметил, что у студента не было даже матраца.

— Отлично устроимся, — сказал Остап, — приличная кубатура для Москвы. Если мы уляжемся все втроем на полу, то даже останется немного места. А Пантелей — сукин сын! Куда он девал матрац, интересно знать?

Окно выходило в переулок. Там ходил милиционер. Напротив, в домике, построенном на манер готической башни, помещалось посольство крохотной державы. За железной решеткой играли в теннис. Летал белый мячик. Слышались короткие возгласы.

— Аут, — сказал Остап, — класс игры невысокий. Однако давайте отдыхать.

Концессионеры разостлали на полу газеты. Ипполит Матвеевич вынул подушку-думку¹, которую возил с собой.

Не успели они как следует улечься на телеграммах и хронике театральной жизни, как в соседней комнате послышался шум раскрываемого окна, и сосед Пантелея вызывающе крикнул теннисистам:

— Да здравствует Советская республика! Долой хищ-ни-ков им-периа-лиз-ма!

Крики эти повторялись минут десять. Остап удивился и поднялся с полу.

— Что это за коллекционер хищников?

Высунувшись за подоконник, он посмотрел вправо и увидел у соседне-

¹ *Думка* — маленькая подушечка, подкладываемая под щеку, то есть подушка «для раздумий».

го окна двух молодых людей. Он сразу заметил, что они кричат о хищниках только тогда, когда мимо их окна проходит милиционер с поста у посольства. Милиционер озабоченно поглядывал то на молодых людей, то за решетку, где играли в теннис. Положение его было тяжелое. Крики о хищниках все продолжались, и он не знал, что предпринять. С одной стороны, эти возгласы были вполне естественны и не заключали в себе ничего непристойного. А с другой стороны, хищники в белых штанах, игравшие за решеткой в теннис, могли принять это на свой счет и — обидеться. Не будучи в состоянии разобраться в создавшейся конъюнктуре, милиционер умоляюще смотрел на молодых людей и кончил тем, что накинулся на обоз и велел ему заворачивать. Дипломатическое затруднение наконец закончилось. К молодым людям пришли гости, и соседи занялись громогласным решением шахматной задачи.

Остап снова повалился на телеграммы и заснул. Ипполит Матвеевич спал уже давно.

ГЛАВА XVII

Уважайте матрацы, граждане!

- Лиза, пойдем обедать!
- Мне не хочется. Я вчера уже обедала.
- Я тебя не понимаю.
- Не пойду я есть фальшивого зайца.
- Ну, и глупо!
- Я не могу питаться вегетарианскими сосисками.
- Сегодня будешь есть шарлотку.
- Мне что-то не хочется.
- Говори тише. Все слышно.

И молодые супруги перешли на драматический шепот.

Через две минуты Коля понял в первый раз за три месяца супружеской жизни, что любимая женщина любит морковные, картофельные и гороховые сосиски гораздо меньше, чем он.

— Значит, ты предпочитаешь собачину диетическому питанию? — закричал Коля, в горячности не учтя подслушивающих соседей.

— Да говори тише! — громко закричала Лиза. — И потом, ты ко мне плохо относишься. Да! Я люблю мясо! Иногда. Что же тут дурного?

Коля изумленно замолчал. Этот поворот был для него неожиданным. Мясо пробило бы в Колином бюджете огромную, незаполнимую брешь. Прогуливаясь вдоль матраца, на котором, свернувшись в узелок, сидела раскрасневшаяся Лиза, молодой супруг производил отчаянные вычисления.

Копирование на кальку в чертежном бюро «Техносила» давало Коле Качачову даже в самые удачные месяцы никак не больше сорока рублей. За квартиру Коля не платил. В диком поселке не было управдома, и квартирная плата была там понятием абстрактным. Десять рублей уходило на обучение Лизы кройке и шитью на курсах с правами строительного техникума. Обед на двоих (одно первое — борщ монастырский — и одно второе — фальшивый заяц или настоящая лапша), съедаемый честно пополам в вегетарианской столовой «Не укради», вырывал из бюджета супругов тринадцать рублей в месяц. Остальные деньги расплывались неизвестно куда. Это больше всего смущало Колю. «Куда идут деньги?» — задумывался он, вытягивая рейсфедером на небесного цвета кальке длинную и тонкую линию. При таких условиях перейти на мясоедение значило гибель. Поэтому Коля пылко заговорил:

— Подумай только, пожирать трупы убитых животных! Людоедство под маской культуры! Все болезни происходят от мяса.

— Конечно, — с застенчивой иронией сказала Лиза, — например, ангина.

— Да, да, и ангина! А что ты думаешь? Организм, ослабленный вечным потреблением мяса, не в силах сопротивляться инфекции.

— Как это глупо!

— Не это глупо. Глуп тот, кто стремится набить свой желудок, не заботясь о количестве витаминов.

Коля вдруг замолчал. Все больше и больше заслоняя фон из пресных и вялых лапшевников, каши, картофельной чепухи, перед Колиным внутренним оком предстала обширная свиная котлета. Она, как видно, только что соскочила со сковороды. Она еще шипела, булькала и выпускала пряный дым. Кость из котлеты торчала, как дуэльный пистолет.

— Ведь ты пойми! — закричал Коля. — Какая-нибудь свиная котлета отнимает у человека неделю жизни!

— Пусть отнимает, — сказала Лиза, — фальшивый заяц отнимает полгода. Вчера, когда мы съели морковное жаркое, я почувствовала, что умираю. Только я не хотела тебе говорить.

— Почему же ты не хотела говорить?

— У меня не было сил. Я боялась заплакать.

— А теперь ты не боишься?

— Теперь мне уже все равно.

Лиза всплакнула.

— Лев Толстой, — сказал Коля дрожащим голосом, — тоже не ел мяса.

— Да-а, — ответила Лиза, икая от слез, — граф ел спаржу.

— Спаржа не мясо.

— А когда он писал «Войну и мир», он ел мясо! Ел, ел, ел! И когда «Анну Каренину» писал — лопал, лопал, лопал!



— Да замолчи!

— Лопал! Лопал! Лопал!

— А когда «Крейцерову сонату» писал — тогда тоже лопал? — ядовито спросил Коля.

— «Крейцера соната» маленькая. Попробовал бы он написать «Войну и мир», сидя на вегетарианских сосисках!

— Что ты, наконец, прицепилась ко мне со своим Толстым?

— Я к тебе прицепилась с Толстым? Я? Я к вам прицепилась с Толстым?

Коля тоже перешел на «вы». В пеналах громко ликовали. Лиза поспешно с затылка на лоб натягивала голубую вязаную шапочку.

— Куда ты идешь?

— Оставь меня в покое. Иду по делу.

И Лиза убежала.

«Куда она могла пойти?» — подумал Коля. Он прислушался.

— Много воли дано вашей сестре при советской власти, — сказали в крайнем слева пенале.

— Утопится! — решили в третьем пенале.

Пятый пенал развел примус и занялся обыденными поцелуями.

Лиза взволнованно бежала по улицам.

Был тот час воскресного дня, когда счастливицы везут по Арбату со Смоленского рынка матрацы.

Молодожены и советские середняки — главные покупатели пружинных матрацев. Они везут их стоймя и обнимают обеими руками. Да как им не обнимать голубую, в лоснящихся мордастых цветочках основу своего счастья.

Граждане! Уважайте пружинный матрац в голубых цветочках! Это — семейный очаг, альфа и омега мебелировки, общее и целое домашнего уюта, любовная база, отец примуса! Как сладко спать под демократический звон его пружин! Какие чудесные сны видит человек, засыпающий

на его голубой дерюге! Каким уважением пользуется каждый матрацевладелец!

Человек, лишенный матраца, жалок. Он не существует. Он не платит налогов, не имеет жены, знакомые не занимают ему денег до среды, шоферы такси посылают ему вдогонку оскорбительные слова, девушки смеются над ним: они не любят идеалистов.

Человек, лишенный матраца, большей частью пишет стихи: «Под мягкий звон часов Буре приятно отдыхать в качалке. Снежинки вьются на дворе, и, как мечты, летают галки.» Творит он за высокой конторкой телеграфа, задерживая деловых матрацевладельцев, пришедших отправлять телеграммы.

Матрац ломает жизнь человеческую. В его обивке и пружинах таится некая сила, притягательная и до сих пор не исследованная. На призывный звон его пружин стекаются люди и вещи. Приходит финагент и девушки. Они хотят дружить с матрацевладельцами. Финагент делает это в целях фискальных, преследующих государственную пользу, а девушки — бескорыстно, повинаясь законам природы.

Начинается цветение молодости. Финагент, собравши налог, как пчела, собирает весеннюю взятку, с радостным гулом улетает в свой участковый улей. А отхлынувших девушек заменяет жена и примус «Ювель № 1».

Матрац ненасытен. Он требует жертвоприношений. По ночам он издает звон падающего мяча. Ему нужна этажерка. Ему нужен стол на глупых тумбах. Лязгая пружинами, он требует занавесей, портьер и кухонной посуды. Он толкает человека и говорит ему:

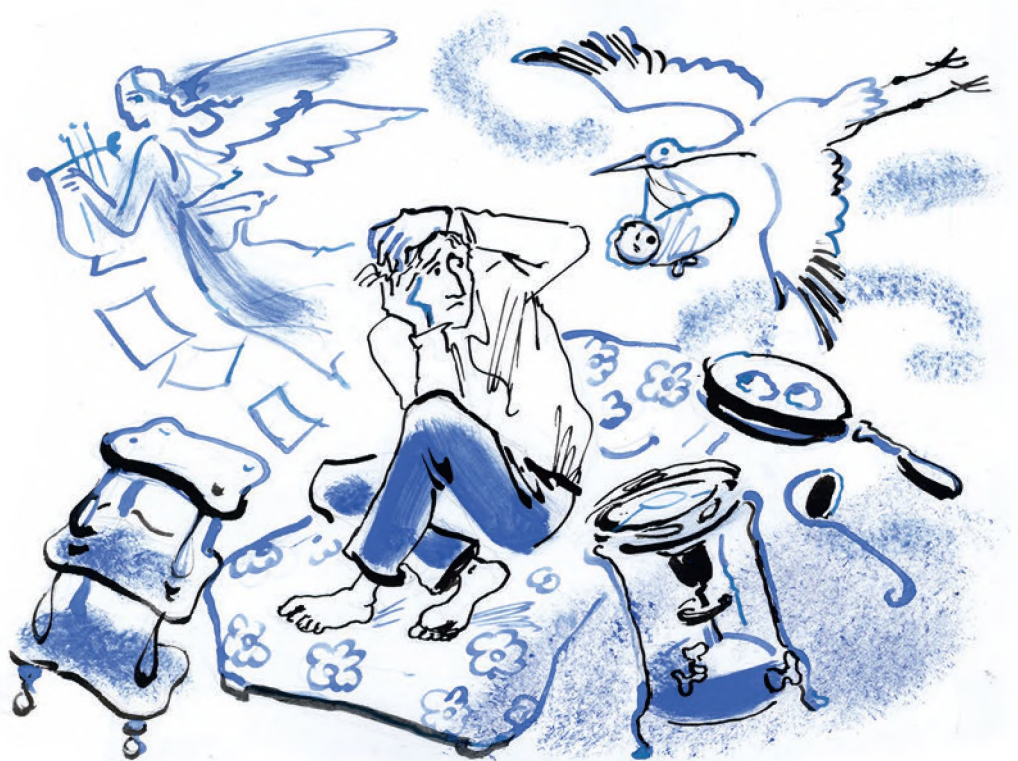
— Пойди! Купи рубель и скалку!¹

— Мне стыдно за тебя, человек, у тебя до сих пор нет ковра!

— Работай! Я скоро принесу тебе детей! Тебе нужны деньги на пеленки и колясочку!



¹ Для разглаживания ткани использовали набор из скалки — небольшой палки с ровным круглым сечением — и рубеля — плоского деревянного бруска с рукоятью и ребристой нижней рабочей поверхностью.



Матрац все помнит и все делает по-своему.

Даже поэт не может избежать общей участи. Вот он везет с Сухаревского рынка матрац, с ужасом прижимаясь к его мягкому брюху.

— Я сломя твое упорство, поэт! — говорит матрац. — Тебе уже не надо будет бегать на телеграф писать стихи. Да и вообще стоит ли их писать? Служи! И сальдо будет всегда в твою пользу. Подумай о жене и детях.

— У меня нет жены, — кричит поэт, отшатываясь от пружинного учителя.

— Она будет. И я не поручусь, что это будет самая красивая девушка на земле. Я не знаю даже, будет ли она добра. Приготовься ко всему. У тебя родятся дети.

— Я не люблю детей!

— Ты полюбишь их!

— Вы пугаете меня, гражданин матрац!

— Молчи, дурак! Ты не знаешь всего! Ты еще возьмешь в Мосдреве кредит на мебель.

— Я убью тебя, матрац!

— Щенок! Если ты осмелишься это сделать, соседи донесут на тебя в домоуправление.

Так каждое воскресенье, под радостный звон матрацев, циркулируют по Москве счастливицы.

Но не этим одним, конечно, замечательно московское воскресенье.

Воскресенье — музейный день.

Есть в Москве особая категория людей. Она ничего не понимает в живописи, не интересуется архитектурой и не любит памятников старины. Эта категория посещает музеи исключительно потому, что они расположены в прекрасных зданиях. Эти люди бродят по ослепительным залам, завистливо рассматривают расписные потолки, трогают руками то, что трогать воспрещено, и беспрерывно бормочут:

— Эх! Люди жили!

Им неважно, что стены расписаны французом Пюви де Шаванном. Им важно узнать, сколько это стоило бывшему владельцу особняка. Они поднимаются по лестнице с мраморными изваяниями на площадках и представляют себе, сколько лакеев стояло здесь, сколько жалованья и чаевых получал каждый лакей. На камине стоит фарфор, но они, не обращая на него внимания, решают, что камин — штука невыгодная: слишком много уходит дров. В столовой, обшитой дубовой панелью, они не смотрят на замечательную резьбу. Их мучит одна мысль: что ел здесь бывший хозяин-купец и сколько бы это стоило при теперешней дороговизне.

В любом музее можно найти таких людей. В то время как экскурсии бодро маршируют от одного шедевра к другому, такой человек стоит посреди зала и, не глядя ни на что, мычит, тоскуя:

— Эх! Люди жили!

Лиза бежала по улице, проглатывая слезы. Мысли подгоняли ее. Она думала о своей счастливой и бедной жизни: «Вот, если бы был еще стол и два стула, было бы совсем хорошо. И примус, в конце концов, нужно завести. Нужно как-то устроиться».

Она пошла медленнее, потому что внезапно вспомнила о ссоре с Колей. Кроме того, ей очень хотелось есть. Ненависть к мужу разгорелась в ней внезапно.

— Это просто безобразие! — сказала она вслух.

Есть захотелось еще сильнее.

— Хорошо же, хорошо. Я сама знаю, что мне делать.

И Лиза, краснея, купила у торговки бутерброд с вареной колбасой. Как она ни была голодна, есть на улице показалось неудобным. Как-никак а она все-таки была матрацевладельцей и тонко разбиралась в жизни. Она оглянулась и вошла в подъезд двухэтажного особняка. Там, испытывая большое

наслаждение, она принялась за бутерброд. Вареная собачина была обольстительна. Большая экскурсия вошла в подъезд. Проходя мимо стоявшей у стены Лизы, экскурсанты посматривали на нее.

«Пусть видят!» — решила озлобленная Лиза.

ГЛАВА XVIII

Музей мебели

Лиза вытерла платочком рот и смахнула с кофточки крошки. Ей стало веселее. Она стояла перед вывеской: «Музей мебельного мастерства». Возвращаться домой было неудобно. Идти было не к кому. В карманчике лежало двадцать копеек. И Лиза решила начать самостоятельную жизнь с посещения музея. Проверив наличие, Лиза пошла в вестибюль.

Там она сразу наткнулась на человека в подержанной бороде, который, упершись тягостным взглядом в малахитовую колонну, цедил сквозь усы:

— Богато жили люди!

Лиза с уважением посмотрела на колонну и прошла наверх.

В маленьких квадратных комнатах, с такими низкими потолками, что каждый входящий туда человек казался гигантом, Лиза бродила минут десять.

Это были комнаты, обставленные павловским ампиром, красным деревом и карельской березой — мебелью строгой, чудесной и воинственной. Два квадратных шкафа, стеклянные дверцы которых были крест-накрест пересечены копиями, стояли против письменного стола. Стол был безбрежен. Сесть за него было все равно что сесть за Театральную площадь, причем Большой театр с колоннадой и четверкой бронзовых коняг, волокущих Аполлона на премьеру «Красного мака», показался бы на столе чернильным прибором. Так, по крайней мере, чудилось Лизе, воспитываемой на морковке, как некий кролик. По углам стояли кресла с высокими спинками, верхушки которых были загнуты на манер бараньих рогов. Солнце лежало на персиковой обивке кресел. В такое кресло хотелось сейчас же сесть, но сидеть на нем воспрещалось.

Лиза мысленно сопоставила, как выглядело бы кресло бесценного павловского ампира рядом с ее матрацем в красную полоску. Выходило ничего себе. Она прочла на стене табличку с научным и идеологическим обоснованием павловского ампира и, огорчаясь тому, что у нее с Колей нет комнаты в этом дворце, вышла в неожиданный коридор.

По левую руку от самого пола шли низенькие полукруглые окна. Сквозь них, под ногами, Лиза увидела огромный белый двухсветный зал с колоннами. В зале тоже стояла мебель и блуждали посетители. Лиза остановилась. Никогда еще она не видела зала у себя под ногами. Дивясь и млея, она долго

смотрела вниз. Вдруг она заметила, что там от кресел к бюро переходят ее сегодняшние знакомые — товарищ Бендер и его спутник, бритоголовый предстательный старик.

— Вот хорошо! — сказала Лиза. — Будет не так скучно.

Она очень обрадовалась, побежала вниз и сразу же заблудилась. Она попала в красную гостиную, в которой стояло предметов сорок. Это была ореховая мебель на гнутых ножках. Из гостиной не было выхода. Пришлось бежать назад через круглую комнату с верхним светом, мебелированную, казалось, только цветочными подушками.

Она бежала мимо парчовых кресел итальянского Возрождения, мимо голландских шкафов, мимо большой готической кровати с балдахином на черных витых колоннах. Человек на этой постели казался бы не больше ореха. Зал был где-то под ногами, может быть, справа, но попасть в него было невозможно.

Наконец Лиза услышала гул экскурсантов, невнимательно слушавших руководителя, обличавшего империалистические замыслы Екатерины II в связи с любовью покойной императрицы к мебели стиля Луи-Сез¹.

Это и был большой двухсветный зал с колоннами. Лиза прошла в противоположный его конец, где знакомый ей товарищ Бендер жарко беседовал со своим бритоголовым спутником.

Подходя, Лиза услышала звучный голос:

— Мебель в стиле шик-модерн. Но это, кажется, не то, что нам нужно.

— Да, но здесь, очевидно, есть еще и другие залы. Нам необходимо систематически все осмотреть.

— Здравствуйте, — сказала Лиза.

Оба повернулись и сразу сморщились.

— Здравствуйте, товарищ Бендер. Хорошо, что я вас нашла. А то одной скучно. Давайте смотреть все вместе.

Концессионеры переглянулись. Ипполит Матвеевич приосанился, хотя ему было неприятно, что Лиза может их задержать в важном деле поисков бриллиантовой мебели.

— Мы — типичные провинциалы, — сказал Бендер нетерпеливо, — но как попали сюда вы, москвичка?

— Совершенно случайно. Я поссорилась с Колей.

— Вот как? — заметил Ипполит Матвеевич.

— Ну, покинем этот зал, — сказал Остап.

— А я его еще не смотрела. Он такой красивенький.

— Начинается! — шепнул Остап на ухо Ипполиту Матвеевичу. И, об-

¹ Стиль Людовика XVI.

рацаясь к Лизе, добавил: — Смотреть здесь совершенно нечего. Упадочный стиль. Эпоха Керенского.

— Тут где-то, мне говорили, есть мебель мастера Гамбса, — сообщил Ипполит Матвеевич, — туда, пожалуй, отправимся.

Лиза согласилась и, взяв Воробьянинова об руку (он казался ей удивительно милым представителем науки), направилась к выходу. Несмотря на всю серьезность положения и наступивший решительный момент в поисках сокровищ, Бендер, идя позади парочки, игриво смеялся. Его смешил предводитель команчей в роли кавалера.

Лиза сильно стесняла concessionеров. В то время как они одним взглядом определяли, что в комнате нужной мебели нет, и невольно влеклись в следующую, Лиза подолгу застревала в каждом отделе. Она прочитывала вслух все печатные критики на мебель, отпускала острые замечания насчет посетителей и подолгу застаивалась у каждого экспоната. Невольно и совершенно незаметно для себя она приспособлиwała виденную мебель к своей комнате и потребностям. Готическая кровать ей совсем не понравилась. Кровать была слишком велика. Если бы даже Коле удалось чудом получить комнату в три квадратных сажени, то и тогда средневековое ложе не поместилось бы в комнате. Однако Лиза долго обхаживала кровать, обмеривала шажками ее подлинную площадь. Лизе было очень весело. Она не замечала кислых физиономий своих спутников, рыцарские характеры которых не позволяли им сломя голову броситься в комнату мастера Гамбса.

— Потерпим, — шепнул Остап, — мебель не уйдет; а вы, предводитель, не жмите девочку. Я ревную.

Воробьянинов самодовольно улыбнулся.

Залы тянулись медленно. Им не было конца. Мебель Александровской эпохи была представлена многочисленными комплектами. Сравнительно небольшие ее размеры привели Лизу в восторг.

— Смотрите, смотрите! — доверчиво кричала она, хватая Воробьянинова за рукав. Видите это бюро? Оно чудно подошло бы к нашей комнате. Правда?

— Прелестная мебель! — гневно сказал Остап. — Упадочная только.

Мебель не произвела на Ипполита Матвеевича должного впечатления. Между тем она была прекрасна. Совершенство ее форм поражало глаз.

Стада диванов, секретеров, горок, шкафов — все стили, все времена, все эпохи — были осмотрены concessionерами, а залы, большие и маленькие, все еще тянулись.

— А здесь я уже была, — сказала Лиза, входя в красную гостиную, — здесь, я думаю, останавливаться не стоит.

К ее удивлению, равнодушные к мебели спутники замерли у дверей, как часовые.



— Что же вы стали? Пойдемте. Я уже устала.

— Подождите, — сказал Ипполит Матвеевич, освобождаясь от ее руки, — одну минуточку.

Большая комната была перегружена мебелью. Гамбсовские стулья расположились вдоль стены и вокруг стола. Диван в углу тоже окружали стулья. Их гнутые ножки и удобные спинки были захватывающе знакомы Ипполиту Матвеевичу. Остап испытующе смотрел на него. Ипполит Матвеевич стал красным.

— Вы устали, барышня, — сказал он Лизе, — присядьте-ка сюда и отдохните, а мы с ним походим немного. Это, кажется, интересный зал.

Лизу усадили. Концессионеры отошли к окну.

— Она? — опросил Остап.

— Как будто она. Нужно более тщательно осмотреть.

— Все стулья тут?

— Сейчас я посчитаю. Подождите, подождите...

Воробьянинов стал переводить глаза со стула на стул.

— Позвольте, — сказал он наконец, — двадцать стульев. Этого не может быть. Их ведь должно быть всего десять.

— А вы присмотритесь хорошо. Может быть, это не те стулья.

Они стали ходить между стульями.

— Ну? — торопил Остап.

— Спинка как будто не такая, как у моих.

— Значит, не те?

— Не те.

— Мура! Напрасно я с вами связался, кажется.

Ипполит Матвеевич был совершенно подавлен.

— Ладно, — сказал Остап, — заседание продолжается. Стул не игол-ка. Найдется. Дайте ордера сюда. Придется вступить в неприятный контакт с администрацией музея. Садитесь рядом с девочкой и сидите. Я сейчас приду.

— Чего это вы такой грустный? — говорила Лиза. — Вы устали?

Ипполит Матвеевич отделялся молчанием.

— У вас голова болит?

— Да, немножко. Заботы, знаете ли. Отсутствие женской ласки сказывается на жизненном укладе.

Лиза сперва удивилась, а потом, посмотрев на своего бритоголового собеседника, и на самом деле его пожалела. Глаза у Воробьянинова были страдальческие. Пенсне не скрывало резко обозначившихся мешочков. Быстрый переход от спокойной жизни делопроизводителя уездного ЗАГСа к неудобному и хлопотливому быту охотника за бриллиантами и авантюриста даром не дался. Ипполит Матвеевич сильно похудел, и у него стала побаливать печень.

Под суровым надзором Бендера Ипполит Матвеевич терял свою физиономию и быстро растворялся в могучем интеллекте сына турецко-подданного. Теперь, когда он на минуту остался вдвоем с очаровательной гражданкой Калачовой, ему захотелось рассказать ей обо всех горестях и волнениях, но он не посмел этого сделать.

— Да, — сказал он, нежно глядя на собеседницу, — такие дела. Как же вы поживаете, Елизавета...

— Петровна. А вас как зовут?

Обменялись именами-отчествами.

«Сказка любви дорогой», — подумал Ипполит Матвеевич, вглядываясь в простенькое лицо Лизы. Так страстно, так неотвратимо захотелось старому предводителю женской ласки, отсутствие которой тяжело сказывается на жизненном укладе, что он немедленно взял Лизину лапку в свои морщинистые руки и горячо заговорил о Париже. Ему захотелось быть богатым, расточительным и неотразимым. Ему хотелось увлекать и под шум оркестров пить редереры¹ с красоткой из дамского оркестра в отдельном кабинете. О чем было говорить с этой девочкой, которая, безусловно, ничего не знает ни о редерерах, ни о дамских оркестрах и которая по своей природе даже не может постичь всей прелести этого жанра. А быть увлекательным так хотелось! И Ипполит Матвеевич обольщал Лизу рассказами о Париже.

— Вы научный работник? — спросила Лиза.

— Да, некоторым образом, — ответил Ипполит Матвеевич, чувствуя, что со времени знакомства с Бендером он вновь приобрел несвойственное ему в последние годы нахальство.

— А сколько вам лет, простите за нескромность?

— К науке, которую я в настоящий момент представляю, это не имеет отношения.

Этим быстрым и метким ответом Лиза была покорена.

— Но все-таки? Тридцать? Сорок?

— Почти. Тридцать восемь.

— Ого! Вы выглядите значительно моложе.

Ипполит Матвеевич почувствовал себя счастливым.

— Когда вы доставите мне счастье увидеться с вами снова? — спросил Ипполит Матвеевич в нос.

Лизе стало очень стыдно. Она заерзала в кресле и затосковала.

— Куда это товарищ Бендер запропастился? — сказала она тоненьким голосом.

— Так когда же? — спросил Воробьянинов нетерпеливо. — Когда и где мы увидимся?

¹ «Луи Редерер» (Louis Roederer) — название торгового дома, давшего имя своему шампанскому; вино этой марки считалось одним из лучших до революции.

— Ну, я не знаю. Когда хотите.

— Сегодня можно?

— Сегодня?

— Умоляю вас.

— Ну, хорошо. Пусть сегодня. Заходите к нам.

— Нет, давайте встретимся на воздухе. Теперь такие погоды замечательные. Знаете стихи: «Это май-баловник, это май-чародей веет свежим своим опахалом»¹.

— Это Жарова² стихи?

— М-м... Кажется. Так сегодня? Где же?

— Какой вы странный! Где хотите. Хотите у несгораемого шкафа? Знаете? Когда стемнеет...

Едва Ипполит Матвеевич успел поцеловать Лизе руку, что он сделал весьма торжественно в три разделения, как вернулся Остап. Остап был очень деловит.

— Простите, мадемуазель, — сказал он быстро, — но мы с приятелем не сможем вас проводить. Открылось небольшое, но очень важное дельце. Нам надо срочно отправиться в одно место.

У Ипполита Матвеевича захватило дыхание.

— До свиданья, Елизавета Петровна, — сказал он поспешно, — простите, простите, простите, но мы страшно спешим.

И компаньоны убежали, оставив удивленную Лизу в комнате, обставленной гамбсовской мебелью.

— Если бы не я, — сказал Остап, когда они спускались по лестнице, — ни черта бы не вышло. Молитесь за меня! Молитесь, молитесь, не бойтесь, голова не отвалится! Слушайте! Ваша мебель музейного значения не имеет. Ей место не в музее, а в казарме штрафного батальона. Вы удовлетворены этой ситуацией?

— Что за издевательство! — воскликнул Воробьянинов, начавший было освобождаться из-под ига могучего интеллекта сына турецко-подданного.

— Молчание, — холодно сказал Остап, — вы не знаете, что происходит. Если мы сейчас не захватим нашу мебель — кончено. Никогда нам ее не видать. Только что я имел в конторе тяжелый разговорчик с заведующим этой исторической свалкой.

— Ну, и что же? — закричал Ипполит Матвеевич. — Что же сказал вам заведующий?

¹ Из стихотворения «Май» (1 мая 1885 года) поэта Константина Михайловича Фофанова (1862–1911).

² Александр Алексеевич Жаров (1904–1984) — советский поэт. Стихи публиковал с начала 1920-х годов.

— Сказал все, что надо. Не волнуйтесь. «Скажите, — спросил я его, — чем объяснить, что направленная вам по ордеру мебель из Старгорода не имеется в наличии?» Спросил я это, конечно, любезно, в товарищеском порядке. «Какая это мебель?» — спрашивает он. — У меня в музее таких фактов не наблюдается». Я ему сразу ордера под нос подсунул. Он полез в книги. Искал полчаса и, наконец, возвращается. Ну, как вы себе представляете? Где эта мебель?

— Продали? — пискнул Воробьянинов.

— Представьте себе, нет. Представьте себе, что в таком кавардаке она уцелела. Как я вам уже говорил, музейной ценности она не имеет. Ее свалили в склад, и только вчера, заметьте себе, вчера, через семь лет (она лежала на складе семь лет!), она была отправлена в аукцион на продажу. Аукцион Главнауки. И, если ее не купили вчера или сегодня утром, она наша! Вы удовлетворены?

— Скорее! — закричал Ипполит Матвеевич.

— Извозчик! — завопил Остап.

Они сели, не торгуясь.

— Молитесь на меня, молитесь! Не бойтесь, гофмаршал! Вино, женщины и карты нам обеспечены. Тогда рассчитаемся и за голубой жилет.

В пассаж на Петровке, где помещается аукционный зал, concessionеры вбежали бодрые, как жеребцы.

В первой же комнате аукциона они увидели то, что так долго искали. Все десять стульев Ипполита Матвеевича стояли вдоль стенки на своих гнутых ножках. Даже обивка на них не потемнела, не выгорела, не попортилась. Стулья были свежие и чистые, как будто только что вышли из-под надзора рачительной Клавдии Ивановны.

— Они? — спросил Остап.

— Боже, боже, — твердил Ипполит Матвеевич, — они, они. Они самые. На этот раз сомнений никаких.

— На всякий случай проверим, — сказал Остап, стараясь быть спокойным.

Он подошел к продавцу:

— Скажите, эти стулья, кажется, из мебельного музея?

— Эти? Эти — да.

— А они продаются?

— Продаются.

— Какая цена?

— Цены еще нет. Они у нас идут с аукциона.

— Ага. Сегодня?

— Нет. Сегодня торг уже кончился. Завтра с пяти часов.

— А сейчас они не продаются?



— Нет. Завтра с пяти часов.

Так, сразу же, уйти от стульев было невозможно.

— Разрешите, — пролепетал Ипполит Матвеевич, — осмотреть. Можно?

Концессионеры долго рассматривали стулья, садились на них, смотрели для приличия и другие вещи. Воробьянинов сопел и все время подталкивал Остапа локтем.

— Молитесь на меня! — шептал Остап. — Молитесь, предводитель.

Ипполит Матвеевич был готов не только молиться на Остапа, но даже целовать подметки его малиновых штиблет.

— Завтра, — говорил он, — завтра, завтра, завтра.

Ему хотелось петь.

ГЛАВА XIX

Баллотировка по-европейски

В то время как друзья вели культурно-просветительный образ жизни, посещали музеи и делали авансы дамочкам, затосковавшим по мясу, в Старгороде, на улице Плеханова, двойная вдова Грицацуева, женщина толстая и слабая, совещалась и конспирировала со своими соседками. Все

скопом рассматривали оставленную Бендером записку и даже разглядывали ее на свет. Но водяных знаков на ней не было, а если бы они и были, то и тогда таинственные каракули великолепного Остапа не стали бы более ясными.

Прошло три дня. Горизонт оставался чистым. Ни Бендер, ни чайное ситечко, ни дутый браслетик, ни стул — не возвращались. Все эти одушевленные и неодушевленные предметы пропали самым загадочным образом.

Тогда вдова приняла радикальные меры. Она пошла в контору «Старгородской правды», и там ей живо состряпали объявление:

УМОЛЯЮ

лиц, знающих местопребывание.
Ушел из дому тов. Бендер, лет 25–30.
Одет в зеленый костюм, желтые ботинки и голубой жилет. Брюнет.
Указавш. прош. сообщить за приличн. вознагражд. Ул. Плеханова, 15, Грицацовой.

- Это ваш сын? — участливо осведомилась в конторе.
- Муж он мне! — ответила страдальца, закрывая лицо платком.
- Ах, муж!
- Законный. А что?
- Да ничего, ничего. Вы бы в милицию все-таки обратились.

Вдова испугалась. Милиции она страшилась. Провожаемая странными взглядами, вдова ушла.

Троекратно прозвучал призыв со страниц «Старгородской правды». Но молчала великая страна. Не нашлось лиц, знающих местопребывание брюнета в желтых ботинках. Никто не являлся за приличным вознаграждением. Соседки судачили.

Чело вдовы омрачалось с каждым днем все больше. И странное дело. Муж мелькнул, как ракета, утащив с собой в черное небо хороший стул и семейное ситечко, а вдова все любила его. Кто может понять сердце женщины, особенно вдовой?

К трамваю в Старгороде уже привыкли и садились в него безбоязненно. Кондуктора кричали свежими голосами «местов нет», и все шло так, будто трамвай заведен в городе еще при Владимире Красное Солнышко. Инвалиды всех групп, женщины с детьми и Виктор Михайлович Полесов садились в вагоны с передней площадки. На крик «получите билеты» Полесов важно говорил: «Годовой» — и оставался рядом с вагоновожатым. Годового билета у него не было и не могло быть.

Пребывание Воробьянинова и великого комбинатора оставило в городе глубокий след.

Заговорщики тщательно хранили доверенную им тайну. Молчал даже Виктор Михайлович, которого так и подмывало выложить волнующие его секреты первому встречному. Однако, вспоминая оловянный взгляд и могучие плечи Остапа, Полесов крепился. Душу он отводил только в разговорах с гадалкой.

— А как вы думаете, Елена Станиславовна, — говорил он, — чем объяснить отсутствие наших руководителей?

Елену Станиславовну это тоже весьма интересовало, но она не имела никаких сведений.

— А не думаете ли вы, Елена Станиславовна, — продолжал неугомонный слесарь, — что они выполняют сейчас особое задание?

Гадалка была убеждена, что это именно так. Того же мнения придерживался, видно, и попугай в красных подштанниках. Он смотрел на Полесова своим круглым разумным глазом, как бы говоря: «Дай семечек, и я тебе сейчас все расскажу. Виктор, ты будешь губернатором. Тебе будут подчинены все слесаря. А дворник дома № 5 так и останется дворником, возомнившим о себе хамом».

— А не думаете ли вы, Елена Станиславовна, что нам нужно продолжать работу? Как-никак нельзя сидеть сложа руки?

Гадалка согласилась и заметила:

— А ведь Ипполит Матвеевич — герой!

— Герой, Елена Станиславовна! Ясно. А этот боевой офицер с ним? Деловой человек! Как хотите, Елена Станиславовна, а дело так стоять не может. Решительно не может.

И Полесов начал действовать. Он делал регулярные визиты всем членам тайного общества «Меча и орала», особенно допекая осторожного владельца одесской бубличной артели «Московские баранки», гражданина Кислярского. При виде Полесова Кислярский чернел. А слова о необходимости действовать доводили боязливого бараночника до умоисступления.

К концу недели все собрались у Елены Станиславовны в комнате с попугаем. Полесов кипел.

— Ты, Виктор, не болбочи, — говорил ему рассудительный Дядьев, — чего ты целыми днями по городу носишься?

— Надо действовать! — кричал Полесов.

— Действовать надо, а вот кричать совершенно не надо. Я, господа, вот как себе все это представляю. Раз Ипполит Матвеевич сказал — дело святое. И, надо полагать, ждать нам осталось недолго. Как все это будет происходить, нам и знать не надо: на то военные люди есть. А мы часть гражданская — представители городской интеллигенции и купечества.

Нам что важно? Быть готовыми. Есть у нас что-нибудь? Центр у нас есть? Нету. Кто станет во главе города? Никого нет. А это, господа, самое главное. Англичане, господа, с большевиками, кажется, больше церемониться не будут. Это нам первый признак. Все переменится, господа, и очень быстро. Уверяю вас.

— Ну, в этом мы и не сомневаемся, — сказал Чарушников, надуваясь.

— И прекрасно, что не сомневаетесь. Как ваше мнение, господин Кислярский? И ваше, молодые люди?

Никеша и Владя всем своим видом выразили уверенность в быстрой перемене. А Кислярский, понявший со слов главы торговой фирмы «Быстроупак», что ему не придется принимать непосредственного участия в вооруженных столкновениях, обрадованно поддакнул.

— Что же нам сейчас делать? — нетерпеливо спросил Виктор Михайлович.

— Погодите, — сказал Дядьев, — берите пример со спутника господина Воробьянинова. Какая ловкость! Какая осторожность! Вы заметили, как он быстро перевел дело на помощь беспризорным? Так нужно действовать и нам. Мы только помогаем детям. Итак, господа, наметим кандидатуры.

— Ипполита Матвеевича Воробьянинова мы предлагаем в предводители дворянства! — воскликнули молодые люди Никеша и Владя.

Чарушников снисходительно закашлялся.

— Куда там! Он не меньше чем министром будет. А то и выше подымай — в диктаторы!

— Да что вы, господа, — сказал Дядьев, — предводитель — дело десятое! О губернаторе нам надо думать, а не о предводителе. Давайте начнем с губернатора. Я думаю...

— Господина Дядьева! — восторженно закричал Полесов. — Кому же еще взять бразды над всей губернией?

— Я очень польщен доверием, — начал Дядьев.

Но тут выступил внезапно покрасневший Чарушников.

— Этот вопрос, господа, — сказал он с надсадой в голосе, — следовало бы провентилировать.

На Дядьева он старался не смотреть.

Владелец «Быстроупака» гордо рассматривал свои сапоги, на которые налипли деревянные стружки.

— Я не возражаю, — вымолвил он, — давайте пробаллотуруем. Закрытым голосованием или открытым?

— Нам по-советскому не надо, — обиженно сказал Чарушников, — давайте голосовать по-честному, по-европейски — закрыто.

Голосовали бумажками. За Дядьева было подано четыре записки. За Чарушникова — две. Кто-то воздержался. По лицу Кислярского было видно,

что это он. Ему не хотелось портить отношений с будущим губернатором, кто бы он ни был.

Когда трепещущий Полесов огласил результаты честной европейской баллотировки, в комнате воцарилось тягостное молчание. На Чарушникову старались не смотреть. Неудачливый кандидат в губернаторы сидел как оплеванный.

Елене Станиславовне было очень его жалко. Это она голосовала за него.

Другой голос Чарушников, искушенный в избирательных делах, подал за себя сам. Добрая Елена Станиславовна тут же сказала:

— А городским головой я предлагаю выбрать все-таки мосье Чарушникова.

— Почему же — все-таки? — проговорил великодушный губернатор. — Не все-таки, а именно его и никого другого. Общественная деятельность господина Чарушникова нам хорошо известна.

— Просим, просим! — закричали все.

— Так считать избрание утвержденным?

Оплеванный Чарушников ожил и даже запротестовал:

— Нет, нет, господа, я прошу пробаллотировать. Городского голову даже скорее нужно баллотировать, чем губернатора. Если уж, господа, вы хотите оказать мне доверие, то, пожалуйста, очень прошу вас, пробаллотируйте!

В пустую сахарницу посыпались бумажки.

— Шесть голосов — за, — сказал Полесов, — и один воздержался.

— Поздравляю вас, господин голова! — сказал Кислярский, по лицу которого было видно, что воздержался он и на этот раз. — Поздравляю вас!

Чарушников расцвел.

— Остается освежиться, ваше превосходительство, — сказал он Дядьеву. — Слетай-ка, Полесов, в «Октябрь». Деньги есть?

Полесов сделал рукой таинственный жест и убежал. Выборы на время прервали и продолжали их уже за ужином.

Попечителем учебного округа наметили бывшего директора дворянской гимназии, ныне букиниста, Распопова. Его очень хвалили. Только Владя, выпивший три рюмки водки, вдруг запротестовал:

— Его нельзя выбирать. Он мне на выпускном экзамене двойку по логике поставил.

На Владю набросились.

— В такой решительный час, — кричали ему, — нельзя помышлять о собственном благе. Подумайте об отечестве.

Владю так быстро сагитировали, что даже он сам голосовал за своего мучителя. Распопов был избран всеми голосами при одном воздержавшемся.

Кислярскому предложили пост председателя биржевого комитета. Он против этого не возражал, но при голосовании на всякий случай воздержался.

Перебирая знакомых и родственников, выбрали: полицмейстера, заведующего пробирной палатой, акцизного, податного и фабричного инспекторов; заполнили вакансии окружного прокурора, председателя, секретаря и членов суда; наметили председателей земской и купеческой управы, попечительства о детях и, наконец, мещанской управы. Елену Станиславовну выбрали попечительницей обществ: «Капля молока» и «Белый цветок». Никешу и Владю назначили, за их молодостью, чиновниками для особых поручений при губернаторе.

— Паз-звольте! — воскликнул вдруг Чарушников. — Губернатору целых два чиновника! А мне?

— Городскому голове, — мягко сказал губернатор, — чиновников для особых поручений не полагается по штату.

— Ну, тогда секретаря.

Дядьев согласился. Оживилась и Елена Станиславовна.

— Нельзя ли, — сказала она, робея, — тут у меня есть один молодой человек, очень милый и воспитанный мальчик. Сын мадам Черкесовой... Очень, очень милый, очень способный... Он безработный сейчас. На бирже труда состоит. У него есть даже билет. Его обещали на днях устроить в союз... Не сможете ли вы взять его к себе? Мать будет очень благодарна.

— Пожалуй, можно будет, — милостиво сказал Чарушников, — как вы смотрите на это, господа? Ладно. В общем, я думаю, удастся.

— Что ж, — заметил Дядьев, — кажется, в общих чертах... все? Все как будто?

— А я? — раздался вдруг тонкий, волнующийся голос.

Все обернулись. В углу, возле попугая, стоял вконец расстроенный Полесов. У Виктора Михайловича на черных веках закипали слезы. Всем стало очень совестно. Гости вспомнили вдруг, что пьют водку Полесова и что он вообще один из главных организаторов Старгородского отделения «Меча и орала». Елена Станиславовна схватилась за виски и испуганно вскрикнула.

— Виктор Михайлович! — застонали все. — Голубчик! Милый! Ну, как вам не стыдно? Ну, чего вы стали в углу? Идите сюда сейчас же!

Полесов приблизился. Он страдал. Он не ждал от товарищей по мечу и оралу такой черствости.

Елена Станиславовна не вытерпела.

— Господа, — сказала она, — это ужасно! Как вы могли забыть дорогого всем нам Виктора Михайловича?

Она поднялась и поцеловала слесаря-аристократа в закопченный лоб.

— Неужели же, господа, Виктор Михайлович не сможет быть достойным попечителем учебного округа или полицмейстером?

— А, Виктор Михайлович? — спросил губернатор. — Хотите быть попечителем?

— Ну, конечно же, он будет прекрасным, гуманным попечителем! — поддержал городской голова, глотая грибок и морщась.

— А Распо-опов? — обидчиво протянул Виктор Михайлович. — Вы же уже назначили Распопова?

— Да, в самом деле, куда девать Распопова?

— В брандмейстеры, что ли?..

— В брандмейстеры! — заволновался вдруг Виктор Михайлович.

Перед ним мгновенно возникли пожарные колесницы, блеск огней, звуки труб и барабанная дрожь. Засверкали топоры, закачались факелы, земля разверзлась, и воронные драконы понесли его на пожар городского театра.

— Брандмейстером? Я хочу быть брандмейстером!

— Ну, вот и отлично! Поздравляю вас. Отныне вы брандмейстер.

— За процветание пожарной дружины! — иронически сказал председатель биржевого комитета.

На Кислярского набросились все:

— Вы всегда были левым! Знаем вас!

— Господа, какой же я левый?

— Знаем, знаем!..

— Левый!

— Все евреи левые.

— Но, ей-богу, господа, этих шуток я не понимаю.

— Левый, левый, не скрывайте!

— Ночью спит и видит во сне Милюкова!

— Кадет! Кадет!

— Кадеты Финляндию продали, — замычал вдруг Чарушников, — у японцев деньги брали! Армяшек разводили!

Кислярский не вынес потока неосновательных обвинений. Бледный, поблескивая глазками, председатель биржевого комитета ухватился за спинку стула и звенящим голосом сказал:

— Я всегда был октябристом и останусь им.

Стали разбираться в том, кто какой партии сочувствует.

— Прежде всего, господа, — демократия, — сказал Чарушников, — наше городское самоуправление должно быть демократичным. Но без кадетшек. Они нам довольно нагадили в семнадцатом году!

— Надеюсь, — ядовито заинтересовался губернатор, — среди нас нет так называемых социал-демократов?

Левее октябристов, которых на заседании представлял Кислярский, не было никого. Чарушников объявил себя «центром». На крайнем правом



фланге стоял брандмейстер. Он был настолько правым, что даже не знал, к какой партии принадлежит.

Заговорили о войне.

— Не сегодня, завтра, — сказал Дядьев.

— Будет война, будет.

— Советую запастись кое-чем, пока не поздно.

— Вы думаете? — встревожился Кислярский.

— А вы как полагаете? Вы думаете, что во время войны можно будет что-нибудь достать? Сейчас же мука с рынка долой! Серебряные монетки как сквозь землю, — бумажечки пойдут всякие, почтовые марки, имеющие хождение наравне, и всякая такая штука.

— Война — дело решенное.

— Вы как знаете, — сказал Дядьев, — а я все свободные средства бросаю на закупку предметов первой необходимости.

— А ваши дела с мануфактурой?

— Мануфактура сама собой, а мука и сахар своим порядком. Так что советую и вам. Советую настоятельно.

Полесов усмехнулся.

— Как же большевики будут воевать? Чем? Чем они будут воевать? Старыми винтовками? А воздушный флот? Мне один видный коммунист говорил, что у них, ну как вы думаете, сколько аэропланов?

— Штук двести!

— Двести? Не двести, а тридцать два! А у Франции восемьдесят тысяч боевых самолетов.

— Да-а... Довели большевики до ручки.

Разошлись за полночь.

Губернатор пошел провожать городского голову. Оба шли преувеличенно ровно.

— Губернатор! — говорил Чарушников. — Какой же ты губернатор, когда ты не генерал?

— Я штатским генералом буду, а тебе завидно? Когда захочу, посажу тебя в тюремный замок. Насидишься у меня.

— Меня нельзя посадить. Я баллотированный, облеченный доверием.

— За баллотированного двух небаллотированных дают.

— Па-апрашу со мной не острить! — закричал вдруг Чарушников на всю улицу.

— Что же ты, дурак, кричишь? — спросил губернатор. — Хочешь в милиции ночевать?

— Мне нельзя в милиции ночевать, — ответил городской голова, — я советский служащий...

Сияла звезда. Ночь была волшебна. На Второй Советской продолжался спор губернатора с городским головой.

ГЛАВА XX

От Севильи до Гренады

Позвольте, а где же отец Федор? Где стриженный священник церкви Фрола и Лавра? Он, кажется, собирался пойти на Виноградную улицу, в дом № 34, к гражданину Брунсу? Где же этот кладоискатель в образе ангела и заклятый враг Ипполита Матвеевича Воробьянинова, дежурящего ныне в темном коридоре у несгораемого шкафа?

Исчез отец Федор. Завертела его нелегкая. Говорят, что видели его на станции Попасная, Донецких дорог. Бежал он по перрону с чайником кипятку...

Взбалкал отец Федор. Захотелось ему богатства. Понесло его по России за гарнитуром генеральши Поповой, в котором, надо признаться, ни черта нет.

Едет отец по России. Только письма жене пишет.

Письмо отца Федора, писанное им в Харькове, на вокзале, своей жене в уездный город N

«Голубушка моя, Катерина Александровна!

Весьма перед тобою виноват. Бросил тебя, бедную, одну в такое время. Должен тебе все рассказать. Ты меня поймешь и, можно надеяться, согласишься.

Ни в какие живоцерковцы я, конечно, не пошел и идти не думал, и боже меня от этого упаси.

Теперь читай внимательно. Мы скоро заживем иначе. Помнишь, я тебе говорил про свечной заводик. Будет он у нас, и еще кое-что, может быть, будет. И не придется уже тебе самой обеды варить да еще столовников держать. В Самару поедем и найдем прислугу.

Тут дело такое, но ты его держи в большом секрете, никому, даже Марье Ивановне, не говори. Я ищу клад. Помнишь покойную Клавдию Ивановну Петухову, воробьяниновскую тещу? Перед смертью Клавдия Ивановна открылась мне, что в ее доме, в Старгороде, в одном из гостиных стульев (их всего двенадцать) запрятаны ее бриллианты.

Ты, Катенька, не подумай, что я вор какой-нибудь. Эти бриллианты она завещала мне и велела их стеречь от Ипполита Матвеевича, ее давнишнего мучителя.

Вот почему я тебя, бедную, бросил так неожиданно.

Ты уж меня не виновать.

Приехал я в Старгород, и, представь себе, этот старый женолюб тоже там очутился. Узнал как-то. Видно, старуху перед смертью пытал. Ужасный человек! И с ним ездит какой-то уголовный преступник, нанял себе бандита. Они на меня прямо набросились, сжить со свету хотели. Да я не такой, мне пальца в рот не клади, не дался.

Сперва я попал на ложный путь. Один стул только нашел в воробьяниновском доме (там ныне богоугодное заведение), нес я мою мебель к себе в номера „Сорбонна“, и вдруг из-за угла с рыканьем человек на меня лезет, как лев, набросился и схватился за стул. Чуть до драки не дошло. Осрамить меня хотели. Потом я пригляделся, смотрю: Воробьянинов. Побрился, представь себе, и голову оголил, аферист, позорится на старости лет.

Разломали мы стул — ничего там нету. Это потом я понял, что на ложный путь попал. А в то время очень огорчился.

Стало мне обидно, и я этому развратнику всю правду в лицо выложил.

Какой, говорю, срам на старости лет, какая, говорю, дикость в России теперь настала: чтобы предводитель дворянства на священнослужителя, аки лев, бросался и за беспартийность упрекал! Вы, говорю, низкий человек, мучитель Клавдии Ивановны и охотник за чужим добром, которое теперь государственное, а не его.

Стыдно ему стало, и он ушел от меня прочь, в публичный дом, должно быть.



А я пошел к себе в номера „Сорбонна“ и стал обдумывать дальнейший план. И сообразил я то, что дураку этому бритому никогда бы в голову не пришло: я решил найти человека, который распределял реквизированную мебель. Представь себе, Катенька, недаром я на юридическом факультете обучался — пошло на пользу. Нашел я этого человека. На другой же день нашел. Варфоломеич — очень порядочный старичок. Живет себе со старухой бабушкой, тяжелым трудом хлеб добывает. Он мне все документы дал. Пришлось, правда, вознагра-

дить за такую услугу. Остался без денег (но об этом после). Оказалось, что все двенадцать гостиных стульев из воробьяниновского дома попали к инженеру Брунсу, на Виноградную улицу, дом № 34. Заметь, что все стулья попали к одному человеку, чего я никак не ожидал (боялся, что стулья попадут в разные места). Я очень этому обрадовался. Тут как раз в „Сорбонне“ я снова встретился с мерзавцем Воробьяниновым. Я хорошенько отчитал его и его друга, бандита, не пожалел. Я очень боялся, что они проведуют мой секрет, и затаился в гостинице до тех пор, покуда они не съехали.

Брунс, оказывается, из Старгорода выехал в 1923 году в Харьков, куда его назначили служить. От дворника я выведал, что он увез с собою всю мебель и очень ее сохраняет. Человек он, говорят, степенный.

Сiju теперь в Харькове на вокзале и пишу вот по какому случаю. Во-первых, очень тебя люблю и вспоминаю, а во-вторых, Брунса здесь уже нет. Но ты не огорчайся. Брунс служит теперь в Ростове, в Новоросцементе, как я узнал. Денег у меня на дорогу в обрез. Выезжаю через час товаро-пассажирским. А ты, моя добрая, зайди, пожалуйста, к зятю, возьми у него пятьдесят рублей (он мне должен и обещался отдать) и вышли в Ростов: главный почтамт, до востребования, Федору Иоанновичу Вострикову. Перевод, в видах экономии, пошли почтой. Будет стоить тридцать копеек.

Что у нас слышно в городе? Что нового?

Приходила ли к тебе Кондратьевна? Отцу Кирилу скажи, что скоро вернусь: мол, к умирающей тетке в Воронеж поехал. Экономь средства. Обедает ли еще Евстигнеев? Кланяйся ему от меня. Скажи, что к тетке уехал.

Как погода? Здесь, в Харькове, совсем лето. Город шумный — центр Украинской республики. После провинции кажется, будто за границу попал.

Сделай:

1) мою летнюю рясу в чистку отдай (лучше 3 р. за чистку отдать, чем на новую тратиться), 2) здоровье береги, 3) когда Гуленьке будешь писать, упомяни невзначай, что я к тетке уехал в Воронеж.

Кланяйся всем от меня. Скажи, что скоро приеду.

Нежно целую, обнимаю и благословляю. Твой муж Федя.

Нотабене: где-то теперь рыщет Воробьянинов?»

Любовь сушит человека. Бык мычит от страсти. Петух не находит себе места. Предводитель дворянства теряет аппетит.

Бросив Остапа и студента Иванопуло в трактире, Ипполит Матвеевич пробрался в розовый домик и занял позицию у несгораемой кассы. Он слышал шум отходящих в Кастилию поездов и плеск отплывающих пароходов.

Гаснут дальней Альпухары
Золотистые края.

Сердце шаталось, как маятник. В ушах тикало.

На призывный звон гитары
Выйди, милая моя.

Тревога носилась по коридору. Ничто не могло растопить холод несгораемого шкафа.

От Севильи до Гренады
В тихом сумраке ночей.

В пенах стонали граммофоны. Раздавался пчелиный гул примусов.

Раздаются серенады,
Раздается звон мечей.

Словом, Ипполит Матвеевич был влюблен до крайности в Лизу Калачову.

Многие люди проходили по коридору мимо Ипполита Матвеевича, но от них пахло табаком, или водкой, или аптекой, или суточными щами. Во мраке коридора людей можно было различать только по запаху или тяжести шагов. Лиза не проходила. В этом Ипполит Матвеевич был уверен. Она не курила, не пила водки и не носила сапог, подбитых железными дольками. Йодом или головизной¹ пахнуть от нее не могло. От нее мог произойти только нежнейший запах рисовой кашицы или вкусно изготовленного сена, которым госпожа Нордман-Северова так долго кормила знаменитого художника Илью Репина².

Но вот послышались легкие, неуверенные шаги. Кто-то шел по коридору, натываясь на его эластичные стены и сладко бормоча.

— Это вы, Елизавета Петровна? — спросил Ипполит Матвеевич зефирным голоском.

В ответ пробасили:

— Скажите, пожалуйста, где здесь живут Пффеферкорны? Тут в темноте ни черта не разберешь.

Ипполит Матвеевич испуганно замолчал. Искатель Пффеферкорнов недоуменно подождал ответа и, не дождавшись его, пополз дальше.

Только к девяти часам пришла Лиза. Они вышли на улицу, под карамельно-зеленое вечернее небо.

— Где же мы будем гулять? — спросила Лиза.

Ипполит Матвеевич поглядел на ее белое светящееся лицо и, вместо того

¹ *Головизна* — голова и части хребта осетровой рыбы. Суп с головизной, пирог с головизной — традиционные кушанья русской кухни.

² *Наталья Нордман-Северова* — вторая жена и помощник художника И. Е. Репина, фотограф, вегетарианка.

чтобы прямо сказать: «Я здесь, Инезилья, стою под окном», начал длинно и нудно говорить о том, что давно не был в Москве и что Париж не в пример лучше белокаменной, которая, как ни крути, остается бессистемно распланированной большой деревней.

— Помню я Москву, Елизавета Петровна, не такой. Сейчас во всем скaredность чувствуется. А мы в свое время денег не жалели. «В жизни живем мы только раз», есть такая песенка.

Прошли через весь Пречистенский бульвар и вышли на набережную, к храму Христа-спасителя.

За Москворецким мостом тянулись черно-бурые лисьи хвосты. Электрические станции Могэса дымили, как эскадра. Трамвай перекатывались через мосты. По реке шли лодки. Грустно повествовала гармоника.

Ухватившись за руку Ипполита Матвеевича, Лиза рассказала ему обо всех своих огорчениях. Про ссору с мужем, про трудную жизнь среди подслушивающих соседей — бывших химиков — и об однообразии вегетарианского стола.

Ипполит Матвеевич слушал и соображал. Демоны просыпались в нем. Мнился ему замечательный ужин. Он пришел к заключению, что такую девушку нужно чем-нибудь оглушить.

— Пойдемте в театр, — предложил Ипполит Матвеевич.

— Лучше в кино, — сказала Лиза, — в кино дешевле.

— О! При чем тут деньги! Такая ночь, и вдруг какие-то деньги.

Совершенно разошедшиеся демоны, не торгуясь, посадили парочку на извозчика и повезли в кино «Арс». Ипполит Матвеевич был великолепен. Он взял самые дорогие билеты. Впрочем, до конца сеанса не дотерпели. Лиза привыкла сидеть на дешевых местах, вблизи, и плохо видела из дорогого тридцать четвертого ряда.

В кармане Ипполита Матвеевича лежала половина суммы, вырученная концессионерами на старгородском заговоре. Это были большие деньги для отвыкшего от роскоши Воробьянинова. Теперь, взволнованный возможностью легкой любви, он собирался ослепить Лизу широтой размаха. Для этого он считал себя великолепно подготовленным. Он с гордостью вспомнил, как легко покорил когда-то сердце прекрасной Елены Боур. Привычка тратить деньги легко и помпезно была ему присуща. Воспитанностью и умением вести разговор с любой дамой он славился в Старгороде. Ему показалось смешным затратить весь свой старорежимный лоск на покорение маленькой советской девочки, которая ничего еще толком не видела и не знала.

После недолгих уговоров Ипполит Матвеевич повез Лизу в образцовую столовую МСПО «Прагу» — «лучшее место в Москве», как говорил ему Бендер.

«Прага» поразила Лизу обилием зеркал, света и цветочных горшков. Лизе это было прощительно: она никогда еще не посещала больших образцово-показательных ресторанов. Но зеркальный зал совсем неожиданно поразил и Ипполита Матвеевича. Он отстал, забыл ресторанный уклад. Теперь ему было положительно стыдно за свои баронские сапоги с квадратными носами, штучные довоенные брюки и лунный жилет, осыпанный серебряной звездой.

Оба смутились и замерли на виду у всей довольно разношерстной публики.

— Пройдемте туда, в угол, — предложил Воробьянинов, хотя у самой эстрады, где оркестр выпиливал дежурное попурри из «Баядерки», были свободные столики.

Чувствуя, что на нее все смотрят, Лиза быстро согласилась. За нею смущенно последовал светский лев и покоритель женщин Воробьянинов. Потертые брюки светского льва свисали с худого зада мешочком. Покоритель женщин сгорбился и, чтобы преодолеть смущение, стал протирать пенсне.

Никто не подошел к столу. Этого Ипполит Матвеевич не ожидал. И он, вместо того чтобы галантно беседовать со своей дамой, молчал, томился, несмело стучал пепельницей по столу и бесконечно откашливался. Лиза с любопытством смотрела по сторонам; молчание становилось неестественным. Но Ипполит Матвеевич не мог вымолвить ни слова. Он забыл, что именно он всегда говорил в таких случаях. Его сковывало то, что никто не подходил к столику.

— Будьте добры! — взывал он к пролетавшим мимо работникам нарпита.

— Сию минуточку-с, — кричали официанты на ходу.

Наконец, карточка была принесена. Ипполит Матвеевич с чувством облегчения углубился в нее.

— Однако, — пробормотал он, — телячьи котлеты — два двадцать пять, филе — два двадцать пять, водка — пять рублей.

— За пять рублей большой графин-с, — сообщил официант, нетерпеливо оглядываясь.

«Что со мной?» — ужасался Ипполит Матвеевич. — Я становлюсь смешон».

— Вот, пожалуйста, — сказал он Лизе с запоздалой вежливостью, — не угодно ли выбрать? Что будете есть?

Лизе было совестно. Она видела, как гордо смотрел официант на ее спутника, и понимала, что он делает что-то не то.

— Я совсем не хочу есть, — сказала она дрогнувшим голосом. — Или вот что... Скажите, товарищ, нет ли у вас чего-нибудь вегетарианского?

Официант стал топтаться, как конь.

— Вегетарианского не держим-с. Разве омлет с ветчиной.



— Тогда вот что, — сказал Ипполит Матвеевич, решившись, — дайте нам сосисок. Вы ведь будете есть сосиски, Елизавета Петровна?

— Буду.

— Так вот. Сосиски. Вот эти, по рублю двадцать пять. И бутылку водки.

— В графинчике будет.

— Тогда — большой графин.

Работник нарпита посмотрел на беззащитную Лизу прозрачными глазами.

— Водку чем будете закусывать? Икры свежей? Семги? Расстегайчиков?

В Ипполите Матвеевиче продолжал бушевать делопроизводитель загса.

— Не надо, — с неприятной грубостью сказал он. — Почем у вас огурцы соленые? Ну, хорошо, дайте два.

Официант убежал, и за столиком снова водворилось молчание. Первой заговорила Лиза:

— Я здесь никогда не была. Здесь очень мило.

— Да-а, — протянул Ипполит Матвеевич, высчитывая стоимость заказанного.

«Ничего, — думал он, — выпью водки — разойдусь. А то, в самом деле, неловко как-то».

Но когда выпил водки и закусил огурцом, то не разошелся, а помрачнел еще больше. Лиза не пила. Натянутость не исчезла. А тут еще к столику подошел человек и, ласкательно глядя на Лизу, предложил купить цветы.

Ипполит Матвеевич притворился, что не замечает усатого цветочника, но тот не уходил. Говорить при нем любезности было совершенно невозможно.

На время выручила концертная программа. На эстраду вышел сдобный мужчина в визитке и лаковых туфлях.

— Ну, вот мы снова увиделись с вами, — развязно сказал он в публику. — Следующим номером нашей концертной программы выступит мировая исполнительница русских народных песен, хорошо известная в Марьиной Роще, Варвара Ивановна Годлевская. Варвара Ивановна! Пожалуйте!

Ипполит Матвеевич пил водку и молчал. Так как Лиза не пила и все время порывалась уйти домой, надо было спешить, чтобы выпить весь графин.

Когда на сцену вышел куплетист в рубчатой бархатной толстовке, сменивший певицу, известную в Марьиной Роще, и запел:

Ходите,
Вы всюду бродите,
Как будто ваш аппендицит
От хождения будет сыт,
Ходите,
Та-ра-ра-ра... —

Ипполит Матвеевич уже порядочно захмелел и, вместе со всеми посетителями образцовой столовой, которых он еще полчаса тому назад считал грубиянами и скаредными советскими бандитами, захопал в такт ладошами и стал подпевать:

Ходите,
Та-ра-ра-ра.

Он часто вскакивал и, не извинившись, уходил в уборную. Соседние столики его уже называли дядей и приваживали к себе на бокал пива. Но он не шел. Он стал вдруг гордым и подозрительным. Лиза решительно встала из-за стола:

— Я пойду. А вы оставайтесь. Я сама дойду.

— Нет, зачем же? Как дворянин, не могу допустить! Сеньор! Счет! Ха-мы!..

На счет Ипполит Матвеевич смотрел долго, раскачиваясь на стуле.

— Девять рублей двадцать копеек? — бормотал он. — Может быть, вам еще дать ключ от квартиры, где деньги лежат?

Кончилось тем, что Ипполита Матвеевича свели вниз, бережно держа под руки. Лиза не могла убежать, потому что номерок от гардероба был у великосветского льва.

В первом же переулке Ипполит Матвеевич навалился на Лизу плечом и стал хватать ее руками. Лиза молча отдиралась.

— Слушайте! — говорила она. — Слушайте! Слушайте!

— Поедем в номера! — убеждал Воробьянинов.

Лиза с силой высвободилась и, не примериваясь, ударила покорителя женщин кулачком в нос. Сейчас же свалилось пенсне с золотой дужкой и, попав под квадратный носок баронских сапог, с хрустом раскрошилось.

Ночной зефир

Струит эфир.

Лиза, захлебываясь слезами, побежала по Серебряному переулку к себе домой.

Шумит, бежит

Гвадалквивир.

Ослепленный Ипполит Матвеевич мелко затрусил в противоположную сторону, крича:

— Держи вора!

Потом он долго плакал и, еще плача, купил у старушки все ее баранки вместе с корзиной. Он вышел на Смоленский рынок, пустой и темный, и долго расхаживал там взад и вперед, разбрасывая баранки, как сеятель бросает семена. При этом он немзыкально кричал:

Ходите,

Вы всюду бродите,

Та-ра-ра-ра.

Затем Ипполит Матвеевич подружился с лихачом, раскрыл ему всю душу и сбивчиво рассказал про бриллианты.

— Веселый барин! — воскликнул извозчик.

Ипполит Матвеевич действительно развеселился. Как видно, его веселье носило несколько предосудительный характер, потому что часам к одиннадцати утра он проснулся в отделении милиции. Из двухсот рублей, которыми он так позорно начал ночь наслаждений и утех, при нем оставалось только двенадцать.

Ему казалось, что он умирает. Болел позвоночник, ныла печень, а на голову, он чувствовал, ему надели свинцовый котелок. Но ужаснее всего было то, что он решительно не помнил, где и как он мог истратить такие большие деньги. По дороге домой пришлось зайти к оптику и вставить в оправу пенсне новые стекла.

Остап долго, с удивлением, рассматривал измочаленную фигуру Ипполита Матвеевича, но ничего не сказал. Он был холоден и готов к борьбе.

ГЛАВА XXI

Экзекуция

Аукционный торг открывался в пять часов. Доступ граждан для обозрения вещей начинался с четырех. Дружья явились в три и целый час рассматривали машиностроительную выставку, помещавшуюся тут же рядом.

— Похоже на то, — сказал Остап, — что уже завтра мы сможем, при наличии доброй воли, купить этот паровозик. Жалко, что цена не проставлена. Приятно все-таки иметь собственный паровоз.

Ипполит Матвеевич маялся. Только стулья могли его утешить. От них он отошел лишь в ту минуту, когда на кафедру взобрался аукционист в клетчатых брюках «столетье» и бороде, ниспадавшей на толстовку русского коверкота.

Концессионеры заняли места в четвертом ряду справа. Ипполит Матвеевич начал сильно волноваться. Ему казалось, что стулья будут продаваться сейчас же. Но они стояли сорок третьим номером, и в продажу поступала сначала обычная аукционная гиль и дичь: разрозненные гербовые сервизы, соусник, серебряный подстаканник, пейзаж художника Петунина, бисерный ридикюль, совершенно новая горелка от примуса, бюстик Наполеона, полотняные бюстгальтеры, гобелен «Охотник, стреляющий диких уток» и прочая галиматья.

Приходилось терпеть и ждать. Ждать было очень трудно: все стулья налицо; цель была близка, ее можно было достать рукой.

«А большой бы здесь начался шухер, — подумал Остап, оглядывая аукционную публику, — если бы они узнали, какой огурчик будет сегодня продаваться под видом этих стульев».

— Фигура, изображающая правосудие! — провозгласил аукционист. — Бронзовая. В полном порядке. Пять рублей. Кто больше? Шесть с половиной, справа, в конце — семь. Восемь рублей, в первом ряду, прямо. Второй раз, восемь рублей, прямо. Третий раз. В первом ряду прямо.

К гражданину из первого ряда сейчас же понеслась девица с квитанцией для получения денег.

Стучал молоточек аукциониста. Продавались пепельницы из дворца, стекло баккара, пудреница фарфоровая. Время тянулось мучительно.

— Бронзовый бюстик Александра Третьего. Может служить пресс-папье. Больше, кажется, ни на что не годен. Идет с предложенной цены бюстик Александра Третьего.

В публике засмеялись.

— Купите, предводитель, — съязвил Остап, — вы, кажется, любите.

Ипполит Матвеевич не отводил глаз от стульев и молчал.

— Нет желающих? Снимается с торга бронзовый бюстик Александра Третьего. Фигура, изображающая правосудие. Кажется, парная к только

что купленной. Василий, покажите публике правосудие. Пять рублей. Кто больше?

В первом ряду прямо послышалось сопенье. Как видно, гражданину хотелось иметь правосудие в полном составе.

— Пять рублей бронзовое правосудие!

— Шесть! — четко сказал гражданин.

— Шесть рублей, прямо. Семь. Девять рублей, в конце справа.

— Девять с половиной, — тихо сказал любитель правосудия, подымая руку.

— С половиной, прямо. Второй раз, с половиной, прямо. Третий раз, с половиной.

Молоточек опустился. На гражданина из первого ряда налетела барышня.

Он уплатил и поплелся в другую комнату получать свою бронзу.

— Десять стульев из дворца! — сказал вдруг аукционист.

— Почему из дворца? — тихо ахнул Ипполит Матвеевич.

Остап рассердился:

— Да идите вы к черту! Слушайте и не рыпайтесь!

— Десять стульев из дворца. Ореховые. Эпохи Александра Второго. В полном порядке. Работы мебельной мастерской Гамбса. Василий, подайте один стул под рефлектор.

Василий так грубо потащил стул, что Ипполит Матвеевич привскочил.

— Да сядьте вы, идиот проклятый, навязался на мою голову! — зашипел Остап. — Сядьте, я вам говорю!

У Ипполита Матвеевича заходила нижняя челюсть. Остап сделал стойку. Глаза его посветлели.

— Десять стульев ореховых. Восемьдесят рублей.

Зал оживился. Продавалась вещь, нужная в хозяйстве. Одна за другой выскакивали руки. Остап был спокоен.

— Чего же вы не торгуетесь? — набросился на него Воробьянинов.

— Пошел вон, — ответил Остап, стиснув зубы.

— Сто двадцать рублей, позади. Сто тридцать пять, там же. Сто сорок.

Остап спокойно повернулся спиной к кафедре и с усмешкой стал рассматривать своих конкурентов.

Был разгар аукциона. Свободных мест уже не было. Как раз позади Остапа, дама, переговорив с мужем, польстилась на стулья (Чудные полукресла! Дивная работа! Саня! Из дворца же!) и подняла руку.

— Сто сорок пять, в пятом ряду справа. Раз.

Зал потух. Слишком дорого.

— Сто сорок пять. Два.



Остап равнодушно рассматривал лепной карниз. Ипполит Матвеевич сидел, опустив голову и вздрагивал.

— Сто сорок пять. Три.

Но прежде чем черный лакированный молоточек ударился о фанерную кафедру, Остап повернулся, выбросил вверх руку и негромко сказал:

— Двести.

Все головы повернулись в сторону concessionеров. Фуражки, кепки, картузы и шляпы пришли в движение. Аукционист поднял скучающее лицо и

посмотрел на Остапа.

— Двести, раз, — сказал он, — двести, в четвертом ряду справа, два. Нет больше желающих торговаться? Двести рублей, гарнитур ореховый дворцовый из десяти предметов. Двести рублей — три, в четвертом ряду справа.

Рука с молоточком повисла над кафедрой.

— Мама! — сказал Ипполит Матвеевич громко.

Остап, розовый и спокойный, улыбался. Молоточек упал, издавая небесный звук.

— Продано, — сказал аукционист. — Барышня! В четвертом ряду справа.

— Ну, председатель, эффектно? — спросил Остап. — Что бы, интересно знать, вы делали без технического руководителя?

Ипполит Матвеевич счастливо ухнул. К ним рысью приближалась барышня.

— Вы купили стулья?

— Мы! — воскликнул долго сдерживавшийся Ипполит Матвеевич. — Мы, мы. Когда их можно будет взять?

— А когда хотите. Хоть сейчас!

Мотив «Ходите, вы всюду бродите» бешено запрыгал в голове Ипполита Матвеевича. Наши стулья, наши, наши, наши! Об этом кричал весь его организм. Наши! — кричала печень. Наши! — подтверждала слепая кишка.

Он так обрадовался, что у него в самых неожиданных местах объявились пульсы. Все это вибрировало, раскачивалось и трещало под напором неслышанного счастья. Стал виден поезд, приближающийся к Сен-Готарду. На открытой площадке последнего вагона стоял Ипполит Матвеевич Воробьяни-

нов в белых брюках и курил сигару. Эдельвейсы тихо падали на его голову, снова украшенную блестящей алюминиевой сединой. Ипполит Матвеевич катил в Эдем.

— А почему же двести тридцать, а не двести? — услышал Ипполит Матвеевич.

Это говорил Остап, вертя в руках квитанцию.

— Включается пятнадцать процентов комиссионного сбора, — ответила барышня.

— Ну, что же делать! Берите!

Остап вытащил бумажник, отсчитал двести рублей и повернулся к главному директору предприятия.

— Гоните тридцать рублей, дражайший, да поживее: не видите — дамочка ждет. Ну?

Ипполит Матвеевич не сделал ни малейшей попытки достать деньги.

— Ну? Что же вы на меня смотрите, как солдат на вошь? Обалдели от счастья?

— У меня нет денег, — пробормотал наконец Ипполит Матвеевич.

— У кого нет? — спросил Остап очень тихо.

— У меня.

— А двести рублей?!

— Я... м-м-м... п-потерял.

Остап посмотрел на Воробьянинова, быстро оценил помятость его лица, зелень щек и раздувшиеся мешки под глазами.

— Дайте деньги! — прошептал он с ненавистью. — Старая сволочь!

— Так вы будете платить? — спросила барышня.

— Одну минуточку! — сказал Остап, чарующе улыбаясь. — Маленькая заминка.

Была еще маленькая надежда. Можно было уговорить подождать с деньгами.

Тут очнувшийся Ипполит Матвеевич, разбрызгивая слюну, ворвался в разговор.

— Позвольте! — завопил он. — Почему ко-



миссионерный сбор? Мы ничего не знаем о таком сборе! Надо предупреждать. Я отказываюсь платить эти тридцать рублей.

— Хорошо, — сказала барышня кротко, — я сейчас все устрою.

Взяв квитанцию, она унеслась к аукционисту и сказала ему несколько слов. Аукционист сейчас же поднялся. Борода его сверкала под светом сильных электрических ламп.

— По правилам аукционного торга, — звонко заявил он, — лицо, отказывающееся уплатить полную сумму за купленный им предмет, должно покинуть зал. Торг на стулья отменяется.

Изумленные друзья сидели недвижимо.

— Папрашу вас! — сказал аукционист.

Эффект был велик. В публике злобно смеялись. Остап все-таки не вставал. Таких ударов он не испытывал давно.

— Па-апра-ашу вас!

Аукционист пел голосом, не допускающим возражений.

Смех в зале усилился.

И они ушли. Мало кто уходил из аукционного зала с таким горьким чувством. Первым шел Воробьянинов. Согнув прямые костистые плечи, в укоротившемся пиджаке и глупых баронских сапогах, он шел, как журавль, чувствуя за собой теплый, дружественный взгляд великого комбинатора.

Концессионеры остановились в комнате, соседней с аукционным залом. Теперь они могли смотреть на торжище только через стеклянную дверь. Путь туда был уже прегражден. Остап дружественно молчал.

— Возмутительные порядки, — трусливо забормотал Ипполит Матвеевич, — форменное безобразие! В милицию на них нужно жаловаться.

Остап молчал.

— Нет, действительно, это ч-черт знает что такое! — продолжал горячиться Воробьянинов. — Дерут с трудящихся втридорога. Ей-богу!.. За какие-то подержанные десять стульев двести тридцать рублей. С ума сойти...

— Да, — деревянно сказал Остап.

— Правда? — переспросил Воробьянинов. — С ума сойти можно!..

— Можно.

Остап подошел к Воробьянинову вплотную и, оглянувшись по сторонам, дал предводителю короткий, сильный и незаметный для постороннего глаза удар в бок.

— Вот тебе милиция! Вот тебе дороговизна стульев для трудящихся всех стран! Вот тебе ночные прогулки по девочкам! Вот тебе седина в бороду! Вот тебе бес в ребро!

Ипполит Матвеевич за все время экзекуции не издал ни звука.

Со стороны могло показаться, что почтительный сын разговаривает с отцом, только отец слишком оживленно трясет головой.

— Ну, теперь пошел вон!

Остап повернулся спиной к директору предприятия и стал смотреть в аукционный зал. Через минуту он оглянулся.

Ипполит Матвеевич все еще стоял позади, сложив руки по швам.

— Ах, вы еще здесь, душа общества? Пошел! Ну?

— Това-ариц Бендер, — взмолился Воробьянинов. — Това-ариц Бендер!

— Иди! Иди! И к Иванову не приходи! Выгоню!

— Това-ариц Бендер!

Остап больше не оборачивался. В зале произошло нечто, так сильно заинтересовавшее Бендера, что он приоткрыл дверь и стал прислушиваться.

— Все пропало! — пробормотал он.

— Что пропало? — угодливо спросил Воробьянинов.

— Стулья отдельно продают, вот что. Может быть, желаете приобрести? Пожалуйста. Я вас не держу. Только сомневаюсь, чтобы вас пустили. Да и денег у вас, кажется, негусто.

В это время в аукционном зале происходило следующее: аукционист, почувствовавший, что выколотить из публики двести рублей сразу не удастся (слишком крупная сумма для мелюзги, оставшейся в зале), решил получить эти двести рублей по кускам. Стулья снова поступили в торг, но уже по частям.

— Четыре стула из дворца. Ореховые. Мягкие. Работы Гамбса. Тридцать рублей. Кто больше?

К Остапу быстро вернулись вся его решительность и хладнокровие.

— Ну, вы, дамский любимец, стойте здесь и никуда не выходите. Я через пять минут приду. А вы тут смотрите, кто и что. Чтoб ни один стул не ушел.

В голове Бендера сразу созрел план, единственно возможный при таких тяжелых условиях, в которых они очутились.

Он выбежал на Петровку, направился к ближайшему асфальтовому чану и вступил в деловой разговор с беспризорными.

Он, как и обещал, вернулся к Ипполиту Матвеевичу через пять минут. Беспризорные стояли наготове у входа в аукцион.

— Продают, продают, — зашептал Ипполит Матвеевич, — четыре и два уже продали.

— Это вы удружили, — сказал Остап, — радуйтесь. В руках все было, понимаете — в руках. Можете вы это понять?

В зале раздавался скрипучий голос, дарованный природой одним только аукционистам, крупье и стекольщикам:

— С полтиной, налево. Три. Еще один стул из дворца. Ореховый. В полной исправности... С полтиной, прямо. Раз — с полтиной, прямо.

Три стула были проданы поодиночке. Аукционист объявил к продаже последний стул. Злость душила Остапа. Он снова набросился на Воробьяни-

нова. Оскорбительные замечания его были полны горечи. Кто знает, до чего дошел бы Остап в своих сатирических упражнениях, если бы его не прервал быстро подошедший мужчина в костюме лодзинских коричневых цветов. Он размахивал пухлыми руками, наклонялся, прыгал и отскакивал, словно играл в теннис.

— А скажите, — поспешно спросил он Остапа, — здесь в самом деле аукцион? Да? Аукцион? И здесь в самом деле продаются вещи? Замечательно!

Незнакомец отпрыгнул, и лицо его озарилось множеством улыбок.

— Вот здесь действительно продают вещи? И в самом деле можно дешево купить? Высокий класс? Очень, очень! Ах!..

Незнакомец, виляя толстенькими бедрами, пронесся в зал мимо ошеломленных концессионеров и так быстро купил последний стул, что Воробьянинов только крикнул. Незнакомец с квитанцией в руках подбежал к прилавку выдачи.

— А скажите, стул можно сейчас взять? Замечательно!.. Ах!.. Ах!..

Беспрерывно блея и все время находясь в движении, незнакомец погрузил стул на извозчика и укатил. По его следам бежал беспризорный.

Мало-помалу разошлись и разъехались все новые собственники стульев. За ними мчались несовершеннолетние агенты Остапа. Ушел и он сам. Ипполит Матвеевич боязливо следовал позади. Сегодняшний день казался ему сном. Все произошло быстро и совсем не так, как ожидалось.

На Сивцевом Вражке рояли, мандолины и гармоники праздновали весну. Окна были распахнуты. Цветники в глиняных горшочках заполняли подоконники. Толстый человек, с раскрытой волосатой грудью, в подтяжках, стоял у окна и страстно пел. Вдоль стены медленно пробирался кот. В продуктовых палатках пылали керосиновые лампочки.

У розового домика прогуливался Коля. Увидев Остапа, шедшего впереди, он вежливо с ним раскланялся и подошел к Воробьянинову. Ипполит Матвеевич сердечно его приветствовал. Коля, однако, не стал терять времени.

— Добрый вечер, — решительно сказал он и, не в силах сдержаться, ударил Ипполита Матвеевича в ухо.

Одновременно с этим Коля произнес довольно пошлую, по мнению наблюдавшего за этой сценой Остапа, фразу.

— Так будет со всеми, — сказал Коля детским голосом, — кто покусится...

На что именно покусится, Коля не договорил. Он поднялся на носках и, закрыв глаза, хлопнул Воробьянинова по щеке.

Ипполит Матвеевич приподнял локоть, но не посмел даже пикнуть.

— Правильно, — приговаривал Остап, — а теперь по шее. Два раза. Так. Ничего не поделаешь. Иногда яйцам приходится учить зарвавшуюся ку-

рицу... Еще разок... Так. Не стесняйтесь. По голове больше не бейте. Это самое слабое его место.

Если бы старгородские заговорщики видели гиганта мысли и отца русской демократии в эту критическую для него минуту, то, надо думать, тайный союз «Меча и орала» прекратил бы свое существование.

— Ну, кажется, хватит, — сказал Коля, пряча руку в карман.

— Еще один разик, — умолял Остап.

— Ну его к черту! Будет знать другой раз!

Коля ушел. Остап поднялся к Иванопуло и посмотрел вниз. Ипполит Матвеевич стоял наискось от дома, прислонясь к чугунной посольской ограде.

— Гражданин Михельсон! — крикнул Остап. — Конрад Карлович! Войдите в помещение! Я разрешаю!

В комнату Ипполит Матвеевич вошел уже слегка оживший.

— Неслыханная наглость! — сказал он гневно. — Я еле сдержал себя.

— Ай-яй-яй, — посочувствовал Остап, — какая теперь молодежь пошла! Ужасная молодежь! Преследует чужих жен! Растрачивают чужие деньги... Полная упадочность. А скажите, когда бьют по голове, в самом деле больно?

— Я его вызову на дуэль!

— Чудно! Могу вам отрекомендовать моего хорошего знакомого. Знает дуэльный кодекс наизусть и обладает двумя венниками, вполне пригодными для борьбы не на жизнь, а на смерть. В секунданты можно взять Иванопуло и соседа справа. Он — бывший почетный гражданин города Кологрива и до сих пор кичится этим титулом. А можно устроить дуэль на мясорубках — это элегантнее. Каждое ранение безусловно смертельно. Пораженный противник механически превращается в котлету. Вас это устраивает, предводитель?

В это время с улицы донесся свист, и Остап отправился получать агентурные сведения от беспризорных.

Беспризорные отлично справились с возложенным на них поручением. Четыре стула попали в театр Колумба. Беспризорный подробно рассказал, как эти стулья везли на тачке, как их выгрузили и втащили в здание через артистический ход. Местоположение театра Остапу было хорошо известно.

Два стула увезла на извозчике, как сказал другой юный следопыт, «шикарная чмара». Мальчишка, как видно, большими способностями не отличался. Переулок, в который привезли стулья. — Варсонофьевский, — он знал, помнил даже, что номер квартиры семнадцатый, но номер дома никак не мог вспомнить.

— Очень шибко бежал, — сказал беспризорный, — из головы выскочило.

— Не получишь денег, — заявил наниматель.

— Дя-адя!.. Да я тебе покажу.

— Хорошо! Оставайся. Пойдем вместе.

Блеющий гражданин жил, оказывается, на Садовой-Спасской. Точный адрес его Остап записал в блокнот.

Восьмой стул поехал в Дом народов. Мальчишка, преследовавший этот стул, оказался пронирой. Преодолев заграждения в виде комендатуры и многочисленных курьеров, он проник в Дом и убедился, что стул был куплен заходом редакции «Станка».

Двух мальчишек еще не было. Они прибежали почти одновременно, запыхавшиеся и утомленные.

— Казарменный переулоч, у Чистых Прудов.

— Номер?

— Девять. И квартира девять. Там татары рядом живут. Во дворе. Я ему и стул донес. Пешком шли.

Последний гонец принес печальные вести. Сперва все было хорошо, но потом все стало плохо. Покупатель вошел со стулом в товарный двор Октябрьского вокзала, и пролезть за ним было никак нельзя — у ворот стояли стрелки ОВО НКПС¹.

— Наверно, уехал, — закончил беспризорный свой доклад.

Это очень встревожило Остапа. Наградив беспризорных по-царски — рубль на гонца, не считая вестника с Варсонофьевского переулоча, забывшего номер дома (ему было велено явиться на другой день пораньше), — технический директор вернулся домой и, не отвечая на расспросы осрамившегося председателя правления, принялся комбинировать.

— Ничего еще не потеряно. Адреса есть, а для того, чтобы добыть стулья, существует много старых, испытанных приемов: 1) простое знакомство, 2) любовная интрига, 3) знакомство со взломом, 4) обмен и 5) деньги. Последнее — самое верное. Но денег мало.

Остап иронически посмотрел на Ипполита Матвеевича. К великому комбинатору вернулись обычная свежесть мысли и душевное равновесие. Деньги, конечно, можно будет достать. В запасе имелись: картина «Большевики пишут письмо Чемберлену», чайное ситечко и полная возможность продолжать карьеру многоженца.

Беспокоил только десятый стул. След, конечно, был, но какой след! — расплывчатый и туманный.

— Ну, что ж, — сказал Остап громко. — На такие шансы ловить можно. Играю девять против одного. Заседание продолжается! Слышите? Вы! Присяжный заседатель!

¹ Особый вооруженный отряд народного комиссариата путей сообщения для охраны вагонов, складов и путей.

ГЛАВА XXII

Людоедка Эллочка

Словарь Вильяма Шекспира по подсчету исследователей составляет 12 000 слов. Словарь негра из людоедского племени «Мумбо-Юмбо» составляет 300 слов.

Эллочка Щукина легко и свободно обходилась тридцатью.

Вот слова, фразы и междометия, придирчиво выбранные ею из всего великого, многословного и могучего русского языка:

1. Хамите.
2. Хо-хо! (Выражает, в зависимости от обстоятельств: иронию, удивление, восторг, ненависть, радость, презрение и удовлетворенность.)
3. Знаменито.
4. Мрачный. (По отношению ко всему. Например: «мрачный Петя пришел», «мрачная погода», «мрачный случай», «мрачный кот» и т. д.)
5. Мрак.
6. Жуть. (Жуткий. Например, при встрече с доброй знакомой: «жуткая встреча».)
7. Парниша. (По отношению ко всем знакомым мужчинам, независимо от возраста и общественного положения.)
8. Не учите меня жить.
9. Как ребенка. («Я бью его, как ребенка», — при игре в карты. «Я его срезала, как ребенка», — как видно, в разговоре с ответственным съемщиком.)
10. Кр-р-расота!
11. Толстый и красивый. (Употребляется как характеристика неодушевленных и одушевленных предметов.)
12. Поедем на извозчике. (Говорится мужу.)
13. Поедем в таксо. (Знакомым мужского пола.)
14. У вас вся спина белая. (Шутка.)
15. Подумаешь!
16. Уля. (Ласкательное окончание имен. Например: Мишуля, Зинуля.)
17. Ого! (Ирония, удивление, восторг, ненависть, радость, презрение и удовлетворенность.)

Оставшиеся в крайне незначительном количестве слова служили передаточным звеном между Эллочкой и приказчиками универсальных магазинов.

Если рассмотреть фотографии Элочки Щукиной, висящие над постелью ее мужа, инженера Эрнеста Павловича Щукина (одна — анфас, другая — в профиль), то нетрудно заметить лоб приятной высоты и выпуклости, большие влажные глаза, милейший в Московской губернии носик и подбородок с маленьким, нарисованным тушью пятнышком.

Рост Элочки льстил мужчинам. Она была маленькая, и даже самые плюгавые мужчины рядом с нею выглядели большими и могучими мужами.

Что же касается особых примет, то их не было. Элочка и не нуждалась в них. Она была красива.

Двести рублей, которые ежемесячно получал ее муж на заводе «Электролюстра», для Элочки были оскорблением. Они никак не могли помочь той грандиозной борьбе, которую Элочка вела уже четыре года с тех пор, как заняла общественное положение домашней хозяйки — жены Щукина. Борьба велась с полным напряжением сил. Она поглощала все ресурсы. Эрнест Павлович брал на дом вечернюю работу, отказался от прислуги, разводил примус, выносил мусор и даже жарил котлеты.

Но все было бесплодно. Опасный враг уже разрушал хозяйство с каждым годом все больше. Элочка четыре года тому назад заметила, что у нее есть соперница за океаном. Несчастье посетило Элочку в тот радостный вечер, когда она примеряла очень миленькую крепдешиновую кофточку. В этом наряде она казалась почти богиней.

— Хо-хо! — воскликнула она, сведя к этому людоедскому крику поразительно сложные чувства, захватившие ее душу. Упрощенно чувства эти можно было бы выразить в следующей фразе: «Увидев меня такой, мужчины взволнуются. Они задрожат. Они пойдут за мной на край света, заикаясь от любви. Но я буду холодна. Разве они стоят меня? Я — самая красивая. Такой элегантной кофточки нет ни у кого на земном шаре».

Но слов было всего тридцать, и Элочка выбрала из них наиболее выразительное — «хо-хо».

В такой великий час к ней пришла Фимка Собак. Она принесла с собой морозное дыхание января и французский журнал мод. На первой его странице Элочка остановилась. Сверкающая фотография изображала дочь американского миллиардера Вандербильда в вечернем платье. Там были меха и перья, шелк и жемчуг, легкость покроя, необыкновенная и умопомрачительная прическа.

Это решило все.

— Ого! — сказала Элочка сама себе.

Это значило: «или я, или она».

Утро другого дня застало Элочку в парикмахерской. Здесь она потеряла прекрасную черную косу и перекрасила волосы в рыжий цвет. Затем удалось подняться еще на одну ступеньку той лестницы, которая приближала Элочку к сияющему раю, где прогуливаются дочери миллиардеров, не годящиеся домашней хозяйке Щукиной даже в подметки. По рабкредиту была куплена собачья шкура, изображавшая выхухоль. Она была употреблена на отделку вечернего туалета.

Мистер Щукин, давно лелеявший мечту о покупке новой чертежной доски, несколько приуныл.

Платье, отороченное собачьей, нанесло заносчивой Вандербильдихе первый меткий удар. Потом гордой американке были нанесены три удара подряд. Эллочка приобрела у домашнего скорняка Фимочки Собак шиншиловый палантин (русский заяц, умерщвленный в Тульской губернии), завела себе голубиную шляпу из аргентинского фетра и перешила новый пиджак мужа в модный дамский жакет. Миллиардерша покачнулась, но ее, как видно, спас любвеобильный папа — Вандербильд.

Очередной номер журнала мод заключал в себе портреты проклятой соперницы в четырех видах: 1) в черно-бурых лисах, 2) с бриллиантовой звездой во лбу, 3) в авиационном костюме (высокие лаковые сапожки, тончайшая зеленая куртка и перчатки, раструбы которых были инкрустированы изумрудами средней величины) и 4) в бальном туалете (каскады драгоценностей и немножко шелку).

Эллочка произвела мобилизацию. Папа-Щукин взял ссуду в кассе взаимопомощи. Больше тридцати рублей ему не дали. Новое мощное усилие в корне подрезало хозяйство. Приходилось бороться во всех областях жизни. Недавно были получены фотографии мисс в ее новом замке во Флориде. Пришлось и Эллочке обзавестись новой мебелью. Она купила на аукционе два мягких стула. (Удачная покупка! Никак нельзя было пропустить!) Не спросясь мужа, Эллочка взяла деньги из обеденных сумм. До пятнадцатого осталось десять дней и четыре рубля.

Эллочка с шиком провезла стулья по Варсонофьевскому переулку. Мужа дома не было. Впрочем, он скоро явился, таща с собой портфель-сундук.

— Мрачный муж пришел, — отчетливо сказала Эллочка.

Все слова произносились ею отчетливо и выскакивали бойко, как горошины.

— Здравствуй, Еленочка, а это что такое? Откуда стулья?

— Хо-хо!

— Нет, в самом деле?

— Кр-расота!

— Да. Стулья хорошие.

— Зна-ме-ни-тые!

— Подарил кто-нибудь?

— Ого?

— Как?! Неужели ты купила? На какие же средства? Неужели на хозяйственные? Ведь я тебе тысячу раз говорил...

— Эрнестуля! Хамишь!

— Ну, как же так можно делать?! Ведь нам же есть нечего будет!

— Подумаешь!..

— Но ведь это возмутительно! Ты живешь не по средствам!

— Шутите!

— Да, да. Вы живете не по средствам...

— Не учите меня жить!

— Нет, давай поговорим серьезно. Я получаю двести рублей...

— Мрак!

— Взятки не беру, денег не краду и подделывать их не умею...

— Жуть!

Эрнест Павлович замолчал.

— Вот что, — сказал он наконец, — так жить нельзя.

— Хо-хо, — сказала Эллочка, садясь на новый стул.

— Нам надо разойтись.

— Подумаешь!

— Мы не сходимся характерами. Я...

— Ты толстый и красивый парниша.

— Сколько раз я просил не называть меня парнишей!

— Шутите!

— И откуда у тебя этот идиотский жаргон?!

— Не учите меня жить!

— О, черт! — крикнул инженер.

— Хамите, Эрнестуля.

— Давай разойдемся мирно.

— Ого!

— Ты мне ничего не докажешь! Этот спор...

— Я побью тебя, как ребенка.

— Нет, это совершенно невыносимо. Твои доводы не могут меня удерживать от того шага, который я вынужден сделать. Я сейчас же иду за ломовиком.

— Шутите.

— Мебель мы делим поровну.

— Жуть!

— Ты будешь получать сто рублей в месяц. Даже сто двадцать. Комната останется у тебя. Живи, как тебе хочется, а я так не могу...

— Знаменито, — сказала Эллочка презрительно.

— А я перееду к Ивану Алексеевичу.

— Ого!

— Он уехал на дачу и оставил мне на лето всю свою квартиру. Ключ у меня... Только мебели нет.

— Кр-расота!

Эрнест Павлович через пять минут вернулся с дворником.

— Ну, гардероб я не возьму, он тебе нужнее, а вот письменный стол, уж будь так добра... И один этот стул возьмите, дворник. Я возьму один из этих

двух стульев. Я думаю, что имею на это право?!

Эрнест Павлович связал свои вещи в большой узел, завернул сапоги в газету и повернулся к дверям.

— У тебя вся спина белая, — сказала Элочка грамофонным голосом.

— До свидания, Елена.

Он ждал, что жена хоть в этом случае воздержится от обычных металлических словечек. Элочка также почувствовала всю важность минуты. Она напрыглась и стала искать подходящие для разлуки слова. Они быстро нашлись:

— Поедешь в таксо? Кр-расота!

Инженер лавиной скатился по лестнице.

Вечер Элочка провела с Фимкой Собак. Они обсуждали необычайно важное событие, грозившее опрокинуть мировую экономику.

— Кажется, будут носить длинное и широкое, — говорила Фима, покуриному окуная голову в плечи.

— Мрак.

И Элочка с уважением посмотрела на Фиму Собак. Мадмуазель Собак слыла культурной девушкой: в ее словаре было около ста восьмидесяти слов. При этом ей было известно одно такое слово, которое Элочке даже не могло присниться. Это было богатое слово: гомосексуализм. Фима Собак, несомненно, была культурной девушкой.

Оживленная беседа затянулась далеко за полночь.

В десять часов утра великий комбинатор вошел в Варсонофьевский переулок. Впереди бежал давешний беспризорный мальчик. Он указал дом.

— Не врешь?

— Что вы, дядя... Вот сюда, в парадное.

Бендер выдал мальчику честно заработанный рубль.



— Прибавить надо, — сказал мальчик по-извозчичьи.

— От мертвого осла уши. Получишь у Пушкина. До свидания, дефективный.

Остап постучал в дверь, совершенно не думая о том, под каким предлогом он войдет. Для разговоров с дамочками он предпочитал вдохновение.

— Ого? — спросили из-за двери.

— По делу, — ответил Остап.

Дверь открылась. Остап прошел в комнату, которая могла быть обставлена только существом с воображением дятла. На стенах висели кинооткрыточки, куколки и тамбовские гобелены. На этом пестром фоне, от которого рябило в глазах, трудно было заметить маленькую хозяйку комнаты. На ней был халатик, переделанный из толстовки Эрнеста Павловича и отороченный загадочным мехом.

Остап сразу понял, как вести себя в светском обществе. Он закрыл глаза и сделал шаг назад.

— Прекрасный мех! — воскликнул он.

— Шутите! — сказала Эллочка нежно. — Это мексиканский тушкан.

— Быть этого не может. Вас обманули. Вам дали гораздо лучший мех. Это шанхайские барсы. Ну да! Барсы! Я узнаю их по оттенку. Видите, как мех играет на солнце!.. Изумруд! Изумруд!

Эллочка сама красила мексиканского тушкана зеленой акварелью, и потому похвала утреннего посетителя была ей особенно приятна.

Не давая хозяйке опомниться, великий комбинатор вывалил все, что слышал когда-либо о мехах. После этого заговорили о шелке, и Остап обещал подарить очаровательной хозяйке несколько сот шелковых коконов, якобы привезенных ему председателем ЦИК Узбекистана.

— Вы — парниша что надо, — заметила Эллочка в результате первых минут знакомства.

— Вас, конечно, удивил ранний визит неизвестного мужчины?

— Хо-хо!

— Но я к вам по одному деликатному делу.

— Шутите!

— Вы вчера были на аукционе и произвели на меня чрезвычайное впечатление.

— Хамите!

— Помилуйте! Хамить такой очаровательной женщине бесчеловечно.

— Жуть!

Беседа продолжалась дальше в таком же, дающем в некоторых случаях чудесные плоды, направлении. Но комплименты Остапа раз от разу становились все водянистее и короче. Он заметил, что второго стула в комнате

не было. Пришлось нащупывать след. Перемежая свои расспросы цветистой восточной лестью, Остап узнал о событиях, происшедших вчера в Эллочкиной жизни.

«Новое дело, — подумал он, — стулья расползаются, как тараканы».

— Милая девушка, — неожиданно сказал Остап, — продайте мне этот стул. Он мне очень нравится. Только вы с вашим женским чутьем могли выбрать такую художественную вещь. Продайте, девочка, а я вам дам семь рублей.

— Хамите, парниша, — лукаво сказала Эллочка.

— Хо-хо, — втолковывал Остап.

«С ней нужно действовать на обмен», — решил он.

— Вы знаете, сейчас в Европе и в лучших домах Филадельфии возобновили старинную моду — разливать чай через ситечко. Необычайно эффектно и очень элегантно.

Эллочка насторожилась.

— Ко мне как раз знакомый дипломат приехал из Вены и привез в подарок. Забавная вещь.

— Должно быть, знаменито, — заинтересовалась Эллочка.

— Ого! Хо-хо! Давайте обменяемся. Вы мне стул, а я вам — ситечко. Хотите?

И Остап вынул из кармана маленькое позолоченное ситечко.

Солнце каталось в ситечке, как яйцо. По потолку сигали зайчики. Неожиданно осветился темный угол комнаты. На Эллочку вещь произвела такое же неотразимое впечатление, какое производит старая банка из-под консервов на людоеда Мумбо-Юмбо. В таких случаях людоед кричит полным голосом, Эллочка же тихо застонала.

— Хо-хо!

Не дав ей опомниться, Остап положил ситечко на стол, взял стул и, узнав у очаровательной женщины адрес мужа, галантно раскланялся.

ГЛАВА XXIII

Авессалом Владимирович Изнуренков

Для концессионеров началась страдная пора. Остап утверждал, что стулья нужно ковать, пока они горячи. Ипполит Матвеевич был амнистирован, хотя время от времени Остап допрашивал его:

— И какого черта я с вами связался? Зачем вы мне, собственно говоря? Поехали бы себе домой, в загс. Там вас покойники ждут, новорожденные. Не мучьте младенцев. Поезжайте.

Но в душе великий комбинатор привязался к одичавшему предводителю. «Без него не так смешно жить», — думал Остап. И он весело поглядывал на Воробьянинова, у которого на голове уже пророс серебряный газончик.

В плане работ инициативе Ипполита Матвеевича было отведено порядочное место. Как только тихий Ивановуло уходил, Бендер вдалбливал в голову компаньона кратчайшие пути к отысканию сокровищ.

— Действовать смело. Никого не расспрашивать. Побольше цинизма. Людям это нравится. Через третьих лиц ничего не предпринимать. Дураков больше нет. Никто для вас не станет таскать бриллианты из чужого кармана. Но и без уголовщины. Кодекс мы должны чтить.

И тем не менее розыски шли без особенного блеска. Мешали Уголовный кодекс и огромное количество буржуазных предрассудков, сохранившихся у обитателей столицы. Они, например, терпеть не могли ночных визитов через форточку. Приходилось работать только легально.

В комнате студента Ивановуло, в день посещения Остапом Элочки Шукиной, появилась мебель. Это был стул, обмененный на чайное ситечко, — третий по счету трофей экспедиции. Давно уже прошло то время, когда охота за бриллиантами вызывала в компаньонах мощные эмоции, когда они рвали стулья когтями и грызли их пружины.

— Даже если в стульях ничего нет, — говорил Остап, — считайте, что мы заработали десять тысяч по крайней мере. Каждый вскрытый стул прибавляет нам шансы. Что из того, что в дамочкином стуле ничего нет? Из-за этого не надо его ломать. Пусть Ивановуло помеблируется. Нам самим приятнее.

В тот же день концессионеры выпорхнули из розового домика и разошлись в разные стороны. Ипполиту Матвеевичу был поручен блеющий незнакомец с Садовой-Спасской, дано 25 рублей на расходы, велено в пивные не заходить и без стула не возвращаться. На себя великий комбинатор взял Элочкиного мужа.

Ипполит Матвеевич пересек город на автобусе № 6. Трясаясь на кожаной скамеечке и взлетая под самый лаковый потолок кареты, он думал о том, как узнать фамилию блеющего гражданина, под каким предлогом к нему войти, что сказать первой фразой и как приступить к самой сути.

Высидевшись у Красных ворот, он нашел по записанному Остапом адресу нужный дом и принялся ходить вокруг да около. Войти он не решался. Это была старая, грязная московская гостиница, превращенная в жилтоварищество, укомплектованное, судя по обшарпанному фасаду, злостными неплательщиками.

Ипполит Матвеевич долго стоял против подъезда, подходил к нему, затвердил наизусть рукописное объявление с угрозами по адресу нерадивых жильцов и, ничего не надумав, поднялся на второй этаж. В коридор выходили отдельные комнаты. Медленно, словно бы он подходил к классной доске, чтобы доказать не выученную им теорему, Ипполит Матвеевич приблизился к комнате № 41. На дверях висела на одной кнопке, головой вниз, визитная

карточка цвета заношенного крахмального воротничка: «Авессалом Владимирович Изнуренков».

В полном затмении Ипполит Матвеевич забыл постучать, открыл дверь, сделал три лунатических шага и очутился посреди комнаты.

— Простите, — сказал он придушенным голосом, — могу я видеть товарища Изнуренкова?

Авессалом Владимирович не отвечал. Воробьянинов поднял голову и только теперь увидел, что в комнате никого нет.

По внешнему ее виду никак нельзя было определить наклонностей ее хозяина. Ясно было лишь то, что он холост и прислуги у него нет. На подоконнике лежала бумажка с колбасными шкурками. Тахта у стены была завалена газетами. На маленькой полочке стояло несколько пыльных книг. Со стен глядели цветные фотографии котов, котиков и кошечек. Посредине комнаты, рядом с грязными, повалившимися набок ботинками, стоял ореховый стул. На всех предметах мебелировки, а в том числе и на стуле из старгородского особняка, болтались малиновые сургучные печати. Но Ипполит Матвеевич не обратил на это внимания. Он сразу же забыл об Уголовном кодексе, о наставлениях Остапа и подскочил к стулу.

В это время газеты на тахте зашевелились. Ипполит Матвеевич испугался. Газеты поползли и свалились на пол. Из-под них вышел спокойный котик. Он равнодушно посмотрел на Ипполита Матвеевича и стал умываться, захватывая лапкой ухо, щечку и ус.

— Фу! — сказал Ипполит Матвеевич.

И потащил стул к двери. Дверь раскрылась сама. На пороге появился хозяин комнаты — блеющий незнакомец. Он был в пальто, из-под которого виднелись лиловые кальсоны. В руке он держал брюки.

Об Авессаломе Владимировиче Изнуренкове можно было сказать, что другого такого человека нет во всей республике. Республика ценила его по заслугам. Он приносил ей большую пользу. И за всем тем он оставался неизвестным, хотя в своем искусстве он был таким же мастером, как Шаляпин — в пении, Горький — в литературе, Капабланка — в шахматах, Мельников — в беге на коньках и самый носатый, самый коричневый ассириец, занимающий лучшее место на углу Тверской и Камергерского, — в чистке сапог желтым кремом.

Шаляпин пел. Горький писал большой роман. Капабланка готовился к матчу с Алехиным. Мельников рвал рекорды. Ассириец доводил штиблеты граждан до солнечного блеска. Авессалом Изнуренков — острил.

Он никогда не острил бесцельно, ради красного словца. Он делал это по заданиям юмористических журналов. На своих плечах он выносил ответственнейшие кампании, снабжал темами для рисунков и фельетонов большинство московских сатирических журналов.

Великие люди острят два раза в жизни. Эти остроты увеличивают их славу и попадают в историю. Изнуренков выпускал не меньше шестидесяти первоклассных острот в месяц, которые с улыбкой повторялись всеми, и все же оставался в неизвестности. Если остротой Изнуренкова подписывался рисунок, то слава доставалась художнику. Имя художника помещали над рисунком. Имени Изнуренкова не было.

— Это ужасно! — кричал он. — Невозможно подписаться. Под чем я подпишусь? Под двумя строчками?

И он продолжал жарко бороться с врагами общества: плохими кооператорами, растратчиками, Чемберленом, бюрократами. Он уязвлял своими остротами подхалимов, оправдомов, частных, завов, хулиганов, граждан, не желавших снижать цены, и хозяйственников, отлынивающих от режима экономии.

После выхода журналов в свет остроты произносились с цирковой арены, перепечатывались вечерними газетами без указания источника и преподносились публике с эстрады «авторами-куплетистами».

Изнуренков умудрялся острить в тех областях, где, казалось, уже ничего смешного нельзя было сказать. Из такой чахлой пустыни, как вздутые накидки на себестоимость, Изнуренков умудрялся выжать около сотни шедевров юмора. Гейне опустил бы руки, если бы ему предложили сказать что-нибудь смешное и вместе с тем общественно полезное по поводу неправильной тарификации грузов малой скорости; Марк Твен убежал бы от такой темы. Но Изнуренков оставался на своем посту.

Он бегал по редакционным комнатам, натываясь на урны для окурков и бляя. Через десять минут тема была обработана, обдуман рисунок и приделан заголовок.

Увидев в своей комнате человека, уносящего опечатанный стул, Авессалом Владимирович взмахнул только что выглаженными у портного брюками, подпрыгнул и заклекотал:

— Вы с ума сошли! Я протестую! Вы не имеете права! Есть же, наконец, закон! Хотя дуракам он и не писан, но вам, может быть, понаслышке известно, что мебель может стоять еще две недели!.. Я пожалуюсь прокурору!.. Я заплачу, наконец!

Ипполит Матвеевич стоял на месте, а Изнуренков сбросил пальто и, не отходя от двери, натянул брюки на свои полные, как у Чичикова, ноги. Изнуренков был толстоват, но лицо имел худое.

Воробьянинов не сомневался, что его сейчас схватят и потащат в милицию. Поэтому он был крайне удивлен, когда хозяин комнаты, справившись со своим туалетом, неожиданно успокоился.

— Поймите же, — заговорил хозяин примирительным тоном, — ведь я не могу на это согласиться.





Ипполит Матвеевич на месте Изнуренкова тоже, в конце концов, не мог бы согласиться, чтобы у него среди бела дня крали стулья. Но он не знал, что сказать, и поэтому молчал.

— Это не я виноват. Виноват сам музпред. Да, я сознаюсь. Я не платил за прокатное пианино восемь месяцев, но ведь я его не продал, хотя сделать это имел полную возможность. Я поступил честно, а они по-жюльнически. Забрали инструмент, да еще подали в суд и описали мебель. У меня ничего нельзя описать. Эта мебель — орудие производства. И стул тоже орудие производства!

Ипполит Матвеевич начал кое-что соображать.

— Отпустите стул! — завизжал вдруг Авессалом Владимирович. — Слышите? Вы! Бюрократ!

Ипполит Матвеевич покорно отпустил стул и пролепетал:

— Простите, недоразумение, служба такая.

Тут Изнуренков страшно развеселился. Он забегал по комнате и запел: «А поутру она вновь улыбалась перед окошком своим, как всегда». Он не знал, что делать со своими руками. Они у него летали. Он начал завязывать галстук и, не довязав, бросил. Потом схватил газету и, ничего в ней не прочитав, кинул на пол.

— Так вы не возьмете сегодня мебель?.. Хорошо!.. Ах! Ах!

Ипполит Матвеевич, пользуясь благоприятно сложившимися обстоятельствами, двинулся к двери.

— Подождите, — крикнул вдруг Изнуренков. — Вы когда-нибудь видели такого кота? Скажите, он в самом деле пушист до чрезвычайности?

Котик очутился в дрожащих руках Ипполита Матвеевича.

— Высокий класс!.. — бормотал Авессалом Владимирович, не зная, что делать с излишком своей энергии. — Ах!.. Ах!..

Он кинулся к окну, всплеснул руками и стал часто и мелко кланяться двум девушкам, глядевшим на него из окна противоположного дома. Он топтался на месте и расточал томные ахи:

— Девушки из предместий! Лучший плод!.. Высокий класс!.. Ах!.. «А поутру она вновь улыбалась перед окошком своим, как всегда...»

— Так я пойду, гражданин, — глупо сказал директор концессии.

— Подождите, подождите! — заволновался вдруг Изнуренков. — Одну минуточку!.. Ах!.. А котик? Правда, он пушист до чрезвычайности?.. Подождите!.. Я сейчас!..

Он смущенно порылся во всех карманах, убежал, вернулся, ахнул, выглянул из окна, снова убежал и снова вернулся.

— Простите, душечка, — сказал он Воробьянинову, который в продолжение всех этих манипуляций стоял, сложив руки по-солдатски.

С этими словами он дал предводителю полтинник.

— Нет, нет, не отказывайтесь, пожалуйста. Всякий труд должен быть оплачен.

— Премного благодарен, — сказал Ипполит Матвеевич, удивляясь своей изворотливости.

— Спасибо, дорогой, спасибо, душечка!..

Идя по коридору, Ипполит Матвеевич слышал доносившиеся из комнаты Изнуренкова блеяние, визг, пение и страстные крики.

На улице Воробьянинов вспомнил про Остапа и задрожал от страха.

Эрнест Павлович Щукин бродил по пустой квартире, любезно уступленной ему на лето приятелем, и решал вопрос: принять ванну или не принимать.

Трехкомнатная квартира помещалась под самой крышей девятиэтажного дома. В ней, кроме письменного стола и воробьяниновского стула, было только трюмо. Солнце отражалось в зеркале и резало глаза. Инженер прилег на письменный стол, но сейчас же вскочил. Все было раскалено.

— Пойду умоюсь, — решил он.

Он разделся, остыл, посмотрел на себя в зеркало и пошел в ванную комнату. Прохлада охватила его. Он влез в ванну, облил себя водой из голубой эмалированной кружки и щедро намылился. Он весь покрылся хлопьями пены и стал похож на елочного деда.

— Хорошо! — сказал Эрнест Павлович.

Все было хорошо. Стало прохладно. Жены не было. Впереди была полная свобода. Инженер присел и отвернул кран, чтобы смыть мыло. Кран захлебнулся и стал медленно говорить что-то неразборчивое. Вода не шла. Эрнест Павлович засунул скользкий мизинец в отверстие крана. Пролилась тонкая струйка, но больше не было ничего.

Эрнест Павлович поморщился, вышел из ванны, поочередно вынимая ноги, и пошел к кухонному крану. Но там тоже ничего не удалось выдоить.

Эрнест Павлович зашлепал в комнаты и остановился перед зеркалом. Пена щипала глаза, спина чесалась, мыльные хлопья падали на паркет. При-

слушавшись, не идет ли в ванной вода, Эрнест Павлович решил позвать дворника.

«Пусть хоть он воды принесет, — решил инженер, протирая глаза и медленно закипая, — а то черт знает что такое».

Он выглянул в окно. На самом дне дворовой шахты играли дети.

— Дворник! — закричал Эрнест Павлович. — Дворник!

Никто не отозвался.

Тогда Эрнест Павлович вспомнил, что дворник живет в парадном, под лестницей. Он вступил на холодные плитки и, придерживая дверь рукой, свесился вниз. На площадке была только одна квартира, и Эрнест Павлович не боялся, что его могут увидеть в странном наряде из мыльных хлопьев.

— Дворник! — крикнул он вниз.

Слово грянуло и с шумом покатилося по ступенькам.

— Гу-гу! — ответила лестница.

— Дворник! Дворник!

— Гум-гум! Гум-гум!

Тут, нетерпеливо перебиравший босыми ногами, инженер поскользнулся и, чтобы сохранить равновесие, выпустил из руки дверь. Стена задрожала. Дверь прищелкнула медным язычком американского замка и затворилась. Эрнест Павлович, не поняв еще непоправимости случившегося, потянул дверную ручку. Дверь не подалась. Инженер ошеломленно подергал ее еще несколько раз и прислушался с бьющимся сердцем. Была сумеречная церковная тишина. Сквозь разноцветные стекла высоченного окна еле пробивался свет.

«Положение», — подумал Эрнест Павлович.

— Вот сволочь! — сказал он двери.

Внизу, как петарды, стали ухать и взрываться человеческие голоса. Потом, как громкоговоритель, залаяла комнатная собачка. По лестнице толкали вверх детскую колясочку.

Эрнест Павлович трусливо заходил по площадке.

— С ума можно сойти!

Ему показалось, что все это слишком дико, чтобы могло случиться на самом деле. Он снова подошел к двери и прислушался. Он услышал какие-то новые звуки. Сначала ему показалось, что в квартире кто-то ходит.

«Может быть, кто-нибудь пришел с черного хода?» — подумал он, хотя знал, что дверь черного хода закрыта и в квартиру никто не может войти.

Однообразный шум продолжался. Инженер задержал дыхание. Тогда он разобрал, что шум этот производит плещущая вода. Она, очевидно, бежала изо всех кранов квартиры. Эрнест Павлович чуть не заревел. Положение было ужасное.

Так прошло полчаса. Инженер терся об известковые стены, стонал и несколько раз безуспешно пытался выломать дверь. Он стал грязным и страшным.

Щукин решил спуститься вниз, к дворнику, чего бы это ему ни стоило.

— Нету другого выхода, нету. Только спрятаться у дворника!

Задышавшись и прикрывшись рукой так, как это делают мужчины, входя в воду, Эрнест Павлович медленно стал красться вдоль перил. Он очутился на площадке между восьмым и девятым этажами.

Его фигура осветилась разноцветными ромбами и квадратами окна. Он стал похож на Арлекина, подслушивающего разговор Коломбины с Паяцем. Он уже повернул в новый пролет лестницы, как вдруг дверной замок нижней квартиры выпал и из квартиры вышла барышня с балетным чемоданчиком. Не успела барышня сделать шагу, как Эрнест Павлович очутился уже на своей площадке. Он почти оглох от страшных ударов сердца.

Только через полчаса инженер оправился и смог предпринять новую вылазку. На этот раз он твердо решил стремительно кинуться вниз и, не обращая внимания ни на что, добежать до заветной дворничкой.

Так он и сделал. Неслышно прыгая через четыре ступеньки и подвывая, член бюро секции инженеров и техников поскакал вниз. На площадке шестого этажа он на секунду остановился. Это его погубило. Снизу кто-то поднялся.

— Несносный мальчишка! — послышался женский голос, многократно усиленный лестничным репродуктором. — Сколько раз я ему говорила.

Эрнест Павлович, повинувшись уже не разуму, а инстинкту, как преследуемый собаками кот, взлетел на девятый этаж.



Очутившись на своей, загаженной мокрыми следами площадке, он беззвучно заплакал, дергая себя за волосы и конвульсивно раскачиваясь. Кипящие слезы врезались в мыльную корку и прожгли в ней две волнистые борозды.

— Господи! — сказал инженер. — Боже мой! Боже мой!

Жизни не было. А между тем он явственно услышал шум пробежавшего по улице грузовика. Значит, где-то жили!

Он еще несколько раз побуждал себя спуститься вниз, но не смог — нервы сдали. Он попал в склеп.

— Наследили за собой, как свиньи! — услышал он старушечий голос с нижней площадки.

Инженер подбежал к стене и несколько раз боднул ее головой. Самым разумным было бы, конечно, кричать до тех пор, пока кто-нибудь не придет, и потом сдаться пришедшему в плен. Но Эрнест Павлович совершенно потерял способность соображать и, тяжело дыша, вертелся на площадке.

Выхода не было.

ГЛАВА XXIV

Клуб автомобилистов

В редакции большой ежедневной газеты «Станок», помещавшейся на втором этаже Дома народов, спешно пекли материал к сдаче в набор.

Выбирались из загона (материал, набранный, но не вошедший в прошлый номер) заметки и статьи, подсчитывалось число занимаемых ими строк, и начиналась ежедневная торговля из-за места.

Всего газета на своих четырех страницах (полосах) могла вместить 4400 строк. Сюда должно было войти все: телеграммы, статьи, хроника, письма рабкоров, объявления, один стихотворный фельетон и два в прозе, карикатуры, фотографии, специальные отделы: театр, спорт, шахматы, передовая и подпередовая, извещения советских, партийных и профессиональных организаций, печатающийся с продолжением роман, художественные очерки столичной жизни, мелочи под названием «Крупинки», научно-популярные статьи, радио и различный случайный материал. Всего по отделам набиралось материалу тысяч на десять строк. Поэтому распределение места на полосах обычно сопровождалось драматическими сценами.

Первым к секретарю редакции прибежал заведующий шахматным отделом маэстро Судейкин. Он задал вежливый, но полный горечи вопрос:

— Как? Сегодня не будет шахмат?

— Не вмещаются, — ответил секретарь. — Подвал большой. Триста строк.



— Но ведь сегодня же суббота. Читатель ждет воскресного отдела. У меня ответы на задачи, у меня прелестный этюд Неунывако, у меня, наконец...

— Хорошо. Сколько вы хотите?

— Не меньше ста пятидесяти.

— Хорошо. Раз есть ответы на задачи, дадим шестьдесят строк.

Маэстро пытался было вымолить еще строк тридцать, хотя бы на этюд Неунывако (замечательная индийская партия Тартаковер — Боголюбов лежала у него уже больше месяца), но его оттеснили.

Пришел репортер Персицкий.

— Нужно давать впечатления с пленума? — спросил он очень тихо.

— Конечно! — закричал секретарь. — Ведь позавчера говорили.

— Пленум есть, — сказал Персицкий еще тише, — и две зарисовки, но они не дают мне места.

— Как не дают? С кем вы говорили? Что они, посходили с ума?

Секретарь побежал ругаться. За ним, интригуя на ходу, следовал Персицкий, а еще позади бежали аяксы из отдела объявлений.

— У нас секаровская жидкость!¹ — кричали они грустными голосами.

За ними плелся завхоз, таща с собой купленный для редактора на аукционе мягкий стул.

¹ Броун-секаровская жидкость — популярное в начале XX века тоническое средство для омоложения, изобретение Шарля Броун-Секара, французского медика XIX века.

— Жидкость во вторник. Сегодня публикуем наши приложения!

— Много вы будете иметь с ваших бесплатных объявлений, а за жидкость уже получены деньги.

— Хорошо, в ночной редакции выясним. Сдайте объявление Паше. Она сейчас как раз едет в ночную.

Секретарь сел читать передовую. Его сейчас же оторвали от этого увлекательного занятия. Пришел художник.

— Ага, — сказал секретарь, — очень хорошо. Есть тема для карикатуры, в связи с последними телеграммами из Германии.

— Я думаю так, — проговорил художник, — «Стальной шлем» и общее положение Германии¹...

— Хорошо. Так вы как-нибудь скомбинируйте, а потом мне покажите.

Художник пошел в свой отдел. Он взял квадратик ватманской бумаги и набросал карандашом худого пса. На псиную голову он надел германскую каску с пикой. А затем принялся делать надписи. На туловище животного он написал печатными буквами слово «Германия», на витом хвосте — «Данцигский коридор», на челюсти — «Мечты о реванше», на ошейнике — «План Дауэса» и на высунутом языке — «Штреземан»². Перед собакой художник поставил Пуанкаре, державшего в руке кусок мяса. На мясе художник тоже замыслил сделать надпись, но кусок был мал, и надпись на нем не помещалась. Человек, менее сообразительный, чем газетный карикатурист, растерялся бы, но художник, не задумываясь, пририсовал к мясу подобие привязанного к шейке бутылки рецепта и уже на нем написал крохотными буквами: «Французские предложения о гарантиях безопасности». Чтобы Пуанкаре не смешали с каким-либо другим государственным деятелем, художник на животике его написал: «Пуанкаре». Набросок был готов.

На столах художественного отдела лежали иностранные журналы, большие ножницы, баночки с тушью и белилами. На полу валялись обрезки фотографий: чье-то плечо, чьи-то ноги и кусочки пейзажа. Человек пять художников скребли фотографии бритвенными ножичками «Жиллет», подсветляя их; придавали снимкам резкость, подкрашивая их тушью и белилами, и ставили на обороте подпись и размер: $3\frac{3}{4}$ квадрата, 2 колонки и так далее — указания, необходимые для цинкографии.

В комнате редактора сидела иностранная делегация. Редакционный пе-

¹ *Союз солдат-фронтовиков «Стальной шлем»* — немецкая правоконсервативно-монархическая политическая и боевая организация в 1918—1933 годах.

² *Данцигский коридор* — установленная Версальским мирным договором 1919 года полоса польской территории, отделявшая от Германии Восточную Пруссию и Данциг и предоставлявшая Польше выход к Балтийскому морю. *План Дауэса*, 30-го американского вице-президента, предусматривал получение Германией займов и кредитов для восстановления экономики. *Штреземан* — министр иностранных дел Германии.

реводчик смотрел в лицо говорящего иностранца и, обращаясь к редактору, говорил:

— Товарищ Арно желает узнать...

Шел разговор о структуре советской газеты. Пока переводчик объяснял редактору, что желал бы узнать товарищ Арно, сам Арно, в бархатных велосипедных брюках, и все остальные иностранцы с любопытством смотрели на красную ручку с пером № 86, которая была прислонена к углу комнаты. Перо почти касалось потолка, а ручка в своей широкой части была толщиной в туловище среднего человека. Этой ручкой можно было бы писать: перо было самое настоящее, хотя превосходило по величине большую щуку.

— Ого-го! — смеялись иностранцы. — Колоссаль!

Это перо было поднесено редакции съездом рабкоров.

Редактор, сидя на воробьяниновском стуле, улыбался и, быстро кивая головой то на ручку, то на гостей, весело объяснял.

Крик в секретариате продолжался. Персицкий принес статью Семашко, и секретарь срочно вычеркивал из макета третьей полосы шахматный отдел. Маэстро Судейкин уже не боролся за прелестный этюд Неунывако. Он тщился сохранить хотя бы решения задач. После борьбы, более напряженной, чем борьба его с Капабланкой на Сен-Себастьянском турнире, маэстро отвоевал себе местечко за счет «Суда и быта».

Семашко послали в набор. Секретарь снова углубился в передовую. Прочесть ее секретарь решил во что бы то ни стало, из чисто спортивного интереса.

Когда он дошел до места: «...Однако содержание последнего пакта таково, что если Лига Наций регистрирует его, то придется признать, что...», к нему подошел «Суд и быт», волосатый мужчина. Секретарь продолжал читать, нарочно не глядя в сторону «Суда и быта» и делая в передовой ненужные пометки.

«Суд и быт» зашел с другой стороны и сказал обидчиво:

— Я не понимаю.

— Ну-ну, — забормотал секретарь, стараясь оттянуть время, — в чем дело?

— Дело в том, что в среду «Суда и быта» не было, в пятницу «Суда и быта» не было, в четверг поместили из загона только алиментное дело, а в субботу снимают процесс, о котором давно пишут во всех газетах, и только мы...

— Где пишут? — закричал секретарь. — Я не читал.

— Завтра всюду появится, а мы опять опоздаем.

— А когда вам поручили Чубаровское дело, вы что писали? Строки от вас нельзя было получить. Я знаю. Вы писали о чубаровцах в вечерку¹.

¹ В августе 1926 года в сквере Чубарова переулочка, что рядом с Лиговским проспектом в Ленинграде, было совершено бандитское нападение на фабричную работницу с последующим групповым изнасилованием. Дело чубаровцев — самый шумный уголовный процесс в истории

— Откуда вы это знаете?

— Знаю. Говорили.

— В таком случае я знаю, кто вам говорил. Вам говорил Персицкий, тот Персицкий, который на глазах у всей Москвы пользуется аппаратом редакции, чтобы давать материал в Ленинград.

— Паша! — сказал секретарь тихо. — Позовите Персицкого.

«Суд и быт» индифферентно сидел на подоконнике. Позади него виднелся сад, в котором возились птицы и городошники.

Тяжбу разбирали долго. Секретарь прекратил ее ловким приемом: выкинул шахматы и вместо них поставил реабилитировавшийся «Суд и быт». Персицкому было сделано предупреждение.

Было самое горячее редакционное время — пять часов.

Над разогревшимися пишущими машинками курился дымок. Сотрудники диктовали противными от спешки голосами. Старшая машинистка кричала на негодаев, незаметно подкидывавших свои материалы вне очереди. По коридору ходил редакционный поэт.

Он ухаживал за машинисткой, скромные бедра которой развязывали его поэтические чувства. Он уводил ее в конец коридора и у окна говорил слова любви, на которые девушка отвечала:

— У меня сегодня сверхурочная работа, и я очень занята.

Это значило, что она любит другого.

Поэт путался под ногами и ко всем знакомым обращался с поразительно однообразной просьбой:

— Дайте восемь копеек на трамвай.

За этой суммой он забрел в отдел рабкоров. Потолкавшись среди столов, за которыми работали «читчики», и потрогав руками кипы корреспонденций, поэт возобновил свои попытки. Читчики, самые суровые в редакции люди (их сделала такими необходимость прочитывать по сто писем в день, вычерченных руками, знакомыми больше с топором, малярной кистью или тачкой, нежели с письмом), молчали.

Поэт побывал в экспедиции и в конце концов перекочевал в контору. Но там он не только не получил восьми копеек, а даже подвергся нападению со стороны комсомольца Авдотьева: поэту было предложено вступить

Ленинграда. 12 дней по 11 часов заседал суд. Вначале 26 обвиняемых признавались подсудными по статье «Нарушение половой неприкосновенности», но по ходу суда произошел сенсационный поворот: дело переквалифицировали в преступление против порядка управления — политический бандитизм. Все 26 подсудимых были признаны виновными. Семь обвиняемых расстреляны, четверо отправились на 10 лет в Соловки. Власти Ленинграда, окрыленные поддержкой Москвы, где дело чубаровцев рассматривалось на заседании Политбюро ЦК ВКП(б), принялись активно искоренять хулиганство. Дело было знаковым для своего времени, оно прогремело на всю страну, потому что ему специально был придан со стороны органов власти значительный пропагандистский эффект.

в кружок автомобилистов. Влюбленную душу поэта заволокло парами бензина. Он сделал два шага в сторону и, взяв третью скорость, скрылся с глаз.

Авдотьев несколько не был обескуражен. Он верил в торжество автомобильной идеи. В секретариате он повел борьбу тихой сапой¹. Это и помешало секретарю докончить чтение передовой статьи.

— Слушай, Александр Иосифович. Ты подожди, дело серьезное, — сказал Авдотьев, садясь на секретарский стол. — У нас образовался автомобильный клуб. Редакция не даст нам займы рублей пятьсот на восемь месяцев?

— Можешь не сомневаться.

— Что? Ты думаешь мертвое дело?

— Не думаю, а знаю. Сколько же у вас в кружке членов?

— Уже очень много.

Кружок пока что состоял только из одного организатора, но Авдотьев об этом не распространялся.

— За пятьсот рублей мы покупаем на «кладбище» машину. Егоров уже высмотрел. Ремонт, он говорит, будет стоить не больше пятисот. Всего тысяча. Вот я и думаю набрать двадцать человек, по полсотни на каждого. Зато будет замечательно. Научимся управлять машиной. Егоров будет шефом. И через три месяца — к августу — мы все умеем ездить, есть машина, и каждый по очереди едет, куда ему угодно.

— А пятьсот рублей на покупку?

— Даст касса взаимопомощи под проценты. Выплатим. Так что ж, записывать тебя?

Но секретарь был уже лысоват, много работал, находился во власти семьи и квартиры, любил полежать после обеда на диване и почитать перед сном «Правду». Он подумал и отказался.

— Ты, — сказал Авдотьев. — Старик!

Авдотьев подходил к каждому столу и повторял свои зажигательные речи. В стариках, которыми он считал всех сотрудников старше двадцати лет, его слова вызывали сомнительный эффект. Они кисло отбрехивались, напирая на то, что они уже друзья детей и регулярно платят по двадцать копеек в год на благое дело помощи бедным крошкам. Они, собственно говоря, согласились бы вступить в новый клуб, но...

— Что «но»? — кричал Авдотьев. — Если бы автомобиль был сегодня? Да? Если бы вам положить на стол синий шестицилиндровый «Паккард» за пятнадцать копеек в год, а бензин и смазочные материалы за счет правительства?!

¹ *Sana* — способ отрытия траншеи, рва или тоннеля для приближения к укреплениям противника, или название самой траншеи. Выражение «действовать тихой сапой», которое означает: крадучись, медленно, незаметно идти, проникать куда-нибудь, первоначально подразумевало: скрытно произвести подкоп, выкопать потайной туннель.

— Иди, иди! — говорили старички. — Сейчас последний посыл, мешаешь работать!

Автомобильная идея гасла и начинала чадить. Наконец нашелся пионер нового предприятия. Персицкий с грохотом отскочил от телефона, выслушал Авдотьева и сказал:

— Ты не так подходишь, дай лист. Начнем сначала.

И Персицкий вместе с Авдотьевым начали новый обход.

— Ты, старый матрац, — говорил Персицкий голубоглазому юноше, — на это даже денег не нужно давать. У тебя есть заем 27 года? На сколько? На пятьдесят? Тем лучше. Ты даешь эти облигации в наш клуб. Из облигаций составляется капитал. К августу мы сможем реализовать все облигации и купить автомобиль?

— А если моя облигация выиграет? — защищался юноша.

— А сколько ты хочешь выиграть?

— Пятьдесят тысяч.

— На эти пятьдесят тысяч будут куплены автомобили. И если я выиграю — тоже. И если Авдотьев — тоже. Словом, чья бы облигация ни выиграла, деньги идут на машины. Теперь ты понял? Чудак! На собственной машине поедешь по Военно-Грузинской дороге! Горы! Дурак!.. А позади тебя на собственных машинах «Суд и быт» катит, хроника, отдел происшествий и эта дамочка, знаешь, которая дает кино... Ну? Ну? Ухаживать будешь!..

Каждый держатель облигации в глубине души не верит в возможность выигрыша. Зато он очень ревниво относится к облигациям своих соседей и знакомых. Он пуце огня боится того, что выиграют они, а он, всегдашний неудачник, снова останется на бобах. Поэтому надежды на выигрыш соседа по редакции неотвратимо толкали держателей облигаций в лоно нового клуба. Смущало только опасение, что ни одна облигация не выиграет. Но это почему-то казалось маловероятным, и, кроме того, автомобильный клуб ничего не терял: одна машина с «кладбища» была гарантирована на составленный из облигаций капитал.

Двадцать человек набралось за пять минут. Когда дело было увенчано, пришел секретарь, прослышавший о заманчивых перспективах автомобильного клуба.

— А что, ребята, — сказал он, — не записаться ли также и мне?

— Запишись, старик, отчего же, — ответил Авдотьев, — только не к нам. У нас уже, к сожалению, полный комплект и прием новых членов прекращен до 1929 года. А запишись ты лучше в друзья детей. Дешево и спокойно. Двадцать копеек в год, и ехать никуда не нужно.

Секретарь помялся, вспомнил, что он и впрямь уже староват, вздохнул и пошел дочитывать увлекательную передовую.

— Скажите, товарищ, — остановил его в коридоре красавец с черкесским лицом, — где здесь редакция газеты «Станок»?

Это был великий комбинатор.

ГЛАВА XXV

Разговор с голым инженером

Появлению Остапа Бендера в редакции предшествовал ряд немаловажных событий.

Не застав Эрнеста Павловича днем (квартира была заперта, и хозяин, вероятно, был на службе), великий комбинатор решил зайти к нему попоже, а пока что расхаживал по городу. Томясь жаждой деятельности, он переходил улицы, останавливался на площадях, делал глазки милиционеру, подсаживал дам в автобусы и вообще имел такой вид, будто бы вся Москва с ее памятниками, трамваями, моссельпромщицами, церковками, вокзалами и афишными тумбами собралась к нему на раут. Он ходил среди гостей, мило беседовал с ними и для каждого находил теплое словечко. Прием такого огромного количества посетителей несколько утомил великого комбинатора. К тому же был уже шестой час, и надо было отправляться к инженеру Щукину.

Но судьба сулила так, что, прежде чем свидеться с Эрнестом Павловичем, Остапу пришлось задержаться часа на два для подписания небольшого протокола.

На Театральной площади великий комбинатор попал под лошадь. Совершенно неожиданно на него налетело робкое животное белого цвета и толкнуло его костистой грудью. Бендер упал, обливаясь потом. Было очень жарко. Белая лошадь громко просила извинения. Остап живо поднялся. Его могучее тело не получило никакого повреждения. Тем больше было причин и возможностей для скандала.

Гостеприимного и любезного хозяина Москвы нельзя было узнать. Он вразвалку подошел к смущенному старичку-извозчику и треснул его кулаком по ватной спине. Старичок терпеливо перенес наказание. Прибежал милиционер.

— Требую протокола! — с пафосом закричал Остап.

В его голосе послышались металлические нотки человека, оскорбленного в самых святых своих чувствах. И, стоя у стены Малого театра, на том самом месте, где впоследствии будет сооружен памятник великому русскому драматургу Островскому, Остап подписал протокол и дал небольшое интервью набежавшему Персицкому. Персицкий не брезговал черной работой. Он аккуратно записал в блокнот фамилию и имя потерпевшего и помчался далее.

Остап горделиво двинулся в путь. Все еще переживая нападение белой лошади и чувствуя запоздалое сожаление, что не успел дать извозчику и по шее, Остап, шагая через две ступеньки, поднялся до седьмого этажа шукинского дома. Здесь на голову ему упала тяжелая капля. Он посмотрел вверх. Прямо в глаза ему хлынул с верхней площадки небольшой водопадик грязной воды.

«За такие штуки надо морду бить», — решил Остап.

Он бросился наверх. У двери шукинской квартиры, спиной к нему, сидел голый человек, покрытый белыми лишаями. Он сидел прямо на кафельных плитках, держась за голову и раскачиваясь.

Вокруг голого была вода, вылившаяся в щель квартирной двери.

— О-о-о, — стонал голый, — о-о-о...

— Скажите, что вы здесь льете воду? — спросил Остап раздраженно. — Что это за место для купанья? Вы с ума сошли?

Голый тускло посмотрел на Остапа и всхлипнул.

— Слушайте, гражданин, вместо того чтобы плакать, вы, может быть, пошли бы в баню? Посмотрите, на что вы похожи! Прямо какой-то пикадор!

— Ключ, — замычал инженер.

— Что ключ? — спросил Остап.

— От кв-в-варти-ыры.

— Где деньги лежат?

Голый человек икал с поразительной быстротой.

Ничто не могло смутить Остапа. Он начинал соображать. И когда наконец сообразил, чуть не свалился за перила от хохота, бороться с которым было бы все равно бесполезно.

— Так вы не можете войти в квартиру? Но это же так просто!

Стараясь не запачкаться о голого, Остап подошел к двери, сунул в щель американского замка длинный желтый ноготь большого пальца и осторожно стал поворачивать его справа налево и сверху вниз.

Дверь бесшумно отворилась, и голый с радостным воем вбежал в затопленную квартиру.

Шумели краны. Вода в столовой образовала водоворот. В спальне она стояла спокойным прудом, по которому тихо, лебединым ходом, плыли ночные тупфы. Сонной рыбьей стайкой сбились в угол окурки.

Воробьяниновский стул стоял в столовой, где было наиболее сильное течение воды. Белые бурунчики образовались у всех его четырех ножек. Стул слегка подрагивал и, казалось, собирался немедленно уплыть от своего преследователя. Остап сел на него и поджал ноги. Пришедший в себя Эрнест Павлович с криками «пardon! pardon!» закрыл краны, умылся и предстал перед Бендером голый до пояса и в закатанных до колен мокрых брюках.



— Вы меня просто спасли! — возбужденно кричал он. — Извините, не могу подать вам руки, я весь мокрый. Вы знаете, я чуть с ума не сошел.

— К тому, видно, и шло.

— Я очутился в ужасном положении.

И Эрнест Павлович, переживая вновь страшное происшествие, то омрачаясь, то нервно смеясь, рассказал великому комбинатору подробности постигшего его несчастья.

— Если бы не вы, я бы погиб, — закончил инженер.

— Да, — сказал Остап, — со мной тоже был такой случай. Даже похуже немного.

Инженера настолько сейчас интересовало все, что касалось подобных историй, что он даже бросил ведро, которым собирал воду, и стал напряженно слушать.

— Совсем так, как с вами, — начал Бендер, — только было это зимой, и не в Москве, а в Миргороде, в один из веселеньких промежутков между Махно и Тютюником¹ в девятнадцатом году. Жил я в семействе одном. Хохлы отчаянные! Типичные собственники: одноэтажный домик и много разного барахла. Надо вам заметить, что насчет канализации и прочих удобств в Миргороде есть только выгребные ямы. Ну, и выскочил я однажды ночью, в одном белье, прямо на снег: простуды я не боялся — дело минутное. Выскочил и машинально захлопнул за собой дверь. Мороз — градусов двадцать. Я стучу — не открывают. На месте нельзя стоять: замерзнешь! Стучу и бегаю, стучу и бегаю — не открывают. И, главное, в доме ни одна сатана не спит. Ночь страшная. Собаки воют. Стреляют где-то. А я бегаю по сугробам в летних кальсонах. Целый час стучал. Чуть не подох. И почему, вы думаете, они не открывали? Имущество прятали, зашивали керенки в подушку. Думали, что с обыском. Я их чуть не поубивал потом.

Инженеру все это было очень близко.

— Да, — сказал Остап, — так это вы инженер Щукин?

— Я. Только уж вы, пожалуйста, никому не говорите. Неудобно, право.

— О, пожалуйста! Антр ну, тет-а-тет. В четыре глаза, как говорят французы. А я к вам по делу, товарищ Щукин.

— Чрезвычайно буду рад вам служить.

— Гран мерси. Дело пустяковое. Ваша супруга просила меня к вам зайти и взять у вас этот стул. Она говорила, что он ей нужен для пары. А вам она собирается прислать кресло.

— Да, пожалуйста! — воскликнул Эрнест Павлович. — Я очень рад! И зачем вам утруждать себя? Я могу сам принести. Сегодня же.

¹ Один из повстанческих атаманов Украины.

— Нет, зачем же! Для меня это — сущие пустяки. Живу я недалеко, для меня это нетрудно.

Инженер засуетился и проводил великого комбинатора до самой двери, переступить которую он страшился, хотя ключ был уже предусмотрительно положен в карман мокрых штанов.

Бывшему студенту Иванову был подарен еще один стул. Обшивка его была, правда, немного повреждена, но все же это был прекрасный стул и к тому же точь-в-точь, как первый.

Остапа не тревожила неудача с этим стулом, четвертым по счету. Он знал все штучки судьбы.

В стройную систему его умозаключений темной громадой врезывался только стул, уплывший в глубину товарного двора Октябрьского вокзала. Мысли об этом стуле были неприятны и навевали тягостное сомнение.

Великий комбинатор находился в положении рулеточного игрока, ставящего исключительно на номера, одного из той породы людей, которые желают выиграть сразу в 36 раз больше своей ставки. Положение было даже хуже: concessionеры играли в такую рулетку, где зеро приходилось на одиннадцать номеров из двенадцати. Да и самый двенадцатый номер вышел из поля зрения, находился черт знает где и, возможно, хранил в себе чудесный выигрыш.

Цепь этих горестных размышлений была прервана приходом главного директора. Уже один его вид возбудил в Остапе нехорошие чувства.

— Ого! — сказал технический руководитель. — Я вижу, что вы делаете успехи. Только не шутите со мной. Зачем вы оставили стул за дверью? Чтобы позабавиться надо мной?

— Товарищ Бендер, — пробормотал предводитель.

— Ах, зачем вы играете на моих нервах! Несите его сюда скорее, несите! Вы видите, что новый стул, на котором я сижу, увеличил ценность вашего приобретения во много раз.

Остап склонил голову набок и сощурил глаза.

— Не мучьте дитю, — забасил он наконец, — где стул? Почему вы его не принесли?

Сбивчивый доклад Ипполита Матвеевича прерывался криками с места, ироническими аплодисментами и каверзными вопросами. Воробьянинов закончил свой доклад под единодушный смех аудитории.

— А мои инструкции? — спросил Остап грозно. — Сколько раз я вам говорил, что красть грешно! Еще тогда, когда вы в Старгороде хотели обокрасть мою жену, мадам Грицацуеву, еще тогда я понял, что у вас мелкоуголовный характер. Самое большое, к чему смогут привести вас эти способности, это шесть месяцев без строгой изоляции. Для гиганта мысли и отца

русской демократии масштаб как будто небольшой, и вот результаты. Стул, который был у вас в руках, выскользнул. Мало того, вы испортили легкое место! Попробуйте нанести туда второй визит. Вам этот Авессалом Мочезнуренков голову оторвет. Счастье ваше, что вам помог идиотский случай, не то сидели бы вы за решеткой и напрасно ждали бы от меня передачи. Я вам передачу носить не буду, имейте это в виду. Что мне Гекуба?¹ Вы мне, в конце концов, не мать, не сестра и не любовница.

Ипполит Матвеевич, сознававший все свое ничтожество, стоял понурясь.

— Вот что, дорогуша, я вижу полную бесцельность нашей совместной работы. Во всяком случае работать с таким малокультурным компаньоном, как вы, из со-ро-ка процентов представляется мне абсурдным. Воленс-неволенс, но я должен поставить новые условия.

Ипполит Матвеевич задышал. До этих пор он старался не дышать.

— Да, мой старый друг, вы больны организационным бессилием и бледной немочью. Соответственно этому уменьшаются ваши пай. Честно, хотите — двадцать процентов?

Ипполит Матвеевич решительно замотал головой.

— Почему же вы не хотите? Вам мало?

— М-мало.

— Но ведь это же тридцать тысяч рублей! Сколько же вы хотите?

— Согласен на сорок.

— Грабеж среди бела дня! — сказал Остап, подражая интонациям предводителя во время исторического торга в дворницкой.

— Вам мало тридцати тысяч? Вам нужен еще ключ от квартиры?

— Это вам нужен ключ от квартиры, — пролепетал Ипполит Матвеевич.

— Берите двадцать, пока не поздно, а то я могу раздумать. Пользуйтесь тем, что у меня хорошее настроение.

Воробьянинов давно уже потерял тот самодовольный вид, с которым некогда начинал поиски бриллиантов.

Лед, который тронулся еще в дворницкой, лед, гремевший, трескавшийся и ударявшийся о гранит набережной, давно уже измельчал и стаял. Льда уже не было. Была широко разлившаяся вода, которая небрежно несла на себе Ипполита Матвеевича, швыряя его из стороны в сторону, то ударяя его о бревно, то сталкивая его со стульями, то унося от этих стульев. Невыразимую боязнь чувствовал Ипполит Матвеевич. Все пугало его. По реке плыл мусор, нефтяные остатки, пробитые курятники, дохлая рыба, чья-то ужасная шляпа. Может быть, это была шляпа отца Федора, утиный картузик,

¹ Отсылка к Гамлету, который рассуждает об игре актера: «Из-за Гекубы! Что ему Гекуба, // Что он Гекубе, чтоб о ней рыдать?»

сорванный с него ветром в Ростове? Кто знает! Конца пути не было видно. К берегу не прибывало, а плыть против течения бывший предводитель дворянства не имел ни сил, ни желания. Его несло в открытое море приключений.

ГЛАВА XXVI

Два визита

Подобно распеленатому малютке, который, не останавливаясь ни на секунду, разжимает и сжимает восковые кулачки, двигает ножонками, вертит головой, величиной в крупное антоновское яблоко, одетое в чепчик, и выдувает изо рта пузыри, Авессалом Изнуренков находился в состоянии вечного беспокойства. Он двигал полными ножками, вертел выбритым подбородочком, издавал ахи и производил волосатыми руками такие жесты, будто делал гимнастику на резинках.

Он вел очень хлопотливую жизнь, всюду появлялся и что-то предлагал, несясь по улице, как испуганная курица, быстро говорил вслух, словно высчитывал страховку каменного, крытого железом, строения. Сущность его жизни и деятельности заключалась в том, что он органически не мог заняться каким-нибудь делом, предметом или мыслью больше, чем на минуту.

Если острота не нравилась и не вызывала мгновенного смеха, Изнуренков не убеждал редактора, как другие, что острота хороша и требует для полной оценки лишь небольшого размышления, он сейчас же предлагал новую остроту.

— Что плохо, то плохо, — говорил он, — кончено.

В магазинах Авессалом Владимирович производил такой сумбур, так быстро появлялся и исчезал на глазах пораженных приказчиков, так экспансивно покупал коробку шоколада, что кассирша ожидала получить с него по крайней мере рублей тридцать. Но Изнуренков, пританцовывая у кассы и хватаясь за галстук, как будто его душили, бросал на стеклянную дощечку измятую трехрублевку и, благодарно блея, убегал.

Если бы этот человек мог остановить себя хоть бы на два часа, произошли бы самые неожиданные события. Может быть, Изнуренков присел к столу и написал бы прекрасную повесть, а может быть, и заявление в кассу взаимопомощи о выдаче безвозвратной ссуды, или новый пункт к закону о пользовании жилплощадью, или книгу «Уменьше хорошо одеваться и вести себя в обществе».

Но сделать этого он не мог. Бешено работающие ноги уносили его, из двигающихся рук карандаш вылетал как стрела, мысли прыгали.

Изнуренков бегал по комнате, и печати на мебели тряслись как серьги у танцующей цыганки. На стуле сидела смешливая девушка из предместья.



— Ах, ах, — вскрикивал Авессалом Владимирович, — боженственно! «Царица голосом и взором свой пышный оживляет пир...»¹ Ах, ах! Высокий класс!.. Вы — королева Марго.

Ничего этого не понимавшая королева из предместья с уважением смеялась.

— Ну, ешьте шоколад, ну, я вас прошу!.. Ах, ах!.. Очаровательно!

Он поминутно целовал королеве руки, восторгался ее скромным туалетом, совал ей кота и заискивающе спрашивал:

— Правда, он похож на попугая? Лев! Лев! Настоящий лев! Скажите, он действительно пушист до чрезвычайности?.. А хвост! Хвост! Скажите, это, действительно большой хвост? Ах!

Потом кот полетел в угол, и Авессалом Владимирович, прижав руки к пухлой молочной груди, стал с кем-то раскланиваться в окошко. Вдруг в его бедовой голове щелкнул какой-то клапан, и он начал вызывающе острить по поводу физических и душевных качеств своей гостыи:

— Скажите, а это брошка действительно из стекла? Ах! Ах! Какой блеск!.. Вы меня ослепили, честное слово!.. А скажите, Париж действительно большой город? Там действительно Эйфелева башня?.. Ах! Ах!.. Какие руки!.. Какой нос!.. Ах!..

¹ Строки из стихотворения А. С. Пушкина «Клеопатра».

Он не обнимал девушку. Ему было достаточно говорить комплименты. И он говорил их без умолку. Поток их был прерван посещением Остапа.

Великий комбинатор вертел в руках клочок бумаги и сурово допрашивал:
— Изнуренков здесь живет? Это вы и есть?

Авессалом Владимирович тревожно вглядывался в каменное лицо посетителя. В его глазах он старался прочесть, какие именно претензии будут сейчас предъявлены: штраф ли это за разбитое при разговоре в трамвае стекло, повестка ли в нарсуд за неплатеж квартирных денег или прием подписки на журнал для слепых.

— Что же это, товарищ, — жестко сказал Бендер, — это совсем не дело — прогонять казенного курьера.

— Какого курьера? — ужаснулся Изнуренков.

— Сами знаете какого. Сейчас мебель буду вывозить. Попрошу вас, гражданка, очистить стул.

Гражданка, над которой только что читали стихи самых лирических поэтов, поднялась с места.

— Нет! Сидите! — закричал Изнуренков, закрывая стул своим телом. — Они не имеют права!

— Насчет прав молчали бы, гражданин. Сознательным надо быть. Освободите мебель! Закон надо соблюдать!

С этими словами Остап схватил стул и потряс им в воздухе.

— Вывожу мебель! — решительно заявил Бендер.

— Нет, не вывозите!

— Как не вывожу, — усмехнулся Остап, выходя со стулом в коридор.

Авессалом поцеловал у королевы руку и, наклонив голову, побежал за строгим судьей. Тот уже спускался по лестнице.

— А я вам говорю, что не имеете права. По закону мебель может стоять две недели, а она стояла только три дня! Может быть, я заплачу!

Изнуренков вился вокруг Остапа, как пчела. Таким манером оба очутились на улице. Авессалом Вла-



димирович бежал за стулом до самого угла. Здесь он увидел воробьев, прыгавших вокруг навозной кучи. Он посмотрел на них просветленными глазами, забормотал, всплеснул руками и, заливаясь смехом, произнес:

— Высокий класс! Ах! Ах!.. Какой поворот темы!..

Увлеченный разработкой темы, Изнуренков весело повернул назад и, подскакивая, побежал домой. О стуле он вспомнил только дома, застав девушку из предместья стоящей посреди комнаты.

Остап отвез стул на извозчике.

— Учитесь, — сказал он Ипполиту Матвеевичу, — стул взят голыми руками. Даром. Вы понимаете?

Меблировка комнаты Ивановуло увеличилась еще на один стул. После вскрытия стула Ипполит Матвеевич загрустил.

— Шансы все увеличиваются, — сказал Остап, — а денег ни копейки. Скажите, а покойная ваша теща не любила шутить?

— А что такое?

— Может быть, никаких бриллиантов нет?

Ипполит Матвеевич так замахал руками, что на нем поднялся пиджачок.

— В таком случае все прекрасно. Будем надеяться, что достояние Ивановуло увеличится еще только на один стул.

— О вас, товарищ Бендер, сегодня в газетах писали, — заискивающе сказал Ипполит Матвеевич.

Остап нахмурился. Он не любил, когда пресса поднимала вой вокруг его имени.

— Что вы мелете? В какой газете?

Ипполит Матвеевич с торжеством развернул «Станок».

— Вот здесь. В отделе «Что случилось за день».

Остап несколько успокоился, потому что боялся заметок только в разоблачительных отделах: «Наши шпильки» и «Злоупотребителей — под суд».

Действительно, в отделе «Что случилось за день» *нонпарелью*¹ было напечатано:

ПОПАЛ ПОД ЛОШАДЬ

Вчера, на площади Свердлова, попал под лошадь извозчика № 8974 гр. О. Бендер. Пострадавший отделался легким испугом.

¹ *Нонпарель* ($\frac{1}{8}$ квадрата; от *фр.* nonpareil — несравненный, бесподобный) — типографский шрифт, кегль которого равен 6 пунктам. Применяют в изданиях, не предназначенных для сплошного чтения: справочная литература, подписи под рисунками, библиография, небольшие тексты справочного характера, таблицы.

— Это извозчик отделался легким испугом, а не я, — ворчливо заметил О. Бендер. — Идиоты! Пишут, пишут, и сами не знают, что пишут. Ах! Это — «Станок»? Очень, очень приятно; вы знаете, Воробьянинов, что эту заметку, может быть, писали, сидя на нашем стуле? Забавная история!

Великий комбинатор задумался.

Повод для визита в редакцию был найден.

Осведомившись у секретаря о том, что все комнаты справа и слева во всю длину коридора заняты редакцией, Остап напустил на себя простецкий вид и предпринял обход редакционных помещений: ему нужно было узнать, в какой комнате находится стул.

Он влез в местком, где уже шло заседание молодых автомобилистов, и, так как сразу увидел, что стула там нет, переключился в соседнее помещение. В конторе он делал вид, что ожидает резолюции; в отделе рабкоров узнавал, где здесь, согласно объявлению, продается макулатура; в секретариате выспрашивал условия подписки, а в комнате фельетонистов спросил, где принимают объявления об утере документов.

Таким манером он добрался до комнаты редактора, который, сидя на концессионном стуле, трубил в телефонную трубку.

Остапу нужно было время, чтобы внимательно изучить местность.

— Тут, товарищ редактор, на меня помещена форменная клевета, — сказал Бендер.

— Какая клевета? — спросил редактор.

Остап долго разворачивал экземпляр «Станка». Оглянувшись на дверь, он увидел на ней американский замок. Если вырезать кусочек стекла в двери, то легко можно было бы просунуть руки и открыть замок изнутри.

Редактор прочел указанную Остапом заметку.

— В чем же вы, товарищ, видите клевету?

— Как же! А вот это: «Пострадавший отделался легким испугом».

— Не понимаю.

Остап ласково посмотрел на редактора и на стул.

— Стану я пугаться какого-то там извозчика. Опозорили перед всем миром — опровержение нужно.

— Вот что, гражданин, — сказал редактор, — никто вас не позорил, и по таким пустяковым вопросам мы опровержений не даем.

— Ну, все равно, я так этого дела не оставлю, — говорил Остап, покидая кабинет.

Он уже увидел все, что ему было нужно.

ГЛАВА XXVII

Замечательная допровская корзинка

Старгородское отделение эфемерного «Меча и орала» вместе с молодцами из «Быстроупака» выстроилось в длиннейшую очередь у мучного лабаза «Хлебопродукта». Прохожие останавливались.

— Куда очередь стоит? — спрашивали граждане.

В нудной очереди, стоящей у магазина, всегда есть один человек, словоохотливость которого тем больше, чем дальше он стоит от магазинных дверей. А дальше всех стоял Полесов.

— Дожились, — говорил брандмейстер, — скоро все на жмых перейдем. В девятнадцатом году и то лучше было. Муки в городе на четыре дня.

Граждане недоверчиво подкручивали усы, вступали с Полесовым в спор и ссылались на «Старгородскую правду». Доказав Полесову, как дважды два четыре, что муки в городе сколько угодно и что нечего устраивать панику, граждане бежали домой, брали все наличные деньги и присоединялись к мучной очереди.

Молодцы из «Быстроупака», закупив всю муку в лабазе, перешли на бакалею и образовали чайно-сахарную очередь.

В три дня Старгород был охвачен продовольственным и товарным кризисом. Представители кооперации и госторговли предложили, до прибытия находящегося в пути продовольствия, ограничить отпуск товаров в одни руки: по фунту сахара и по пять фунтов муки.

На другой день было изобретено противоядие.

Первым в очереди за сахаром стоял Альхен. За ним — его жена Сашхен, Паша Эмильевич, четыре Яковлевича и все пятнадцать призреваемых старушек в туалденоровых нарядах. Выкачав из магазина Старгико полпулда сахару, Альхен увел свою очередь в другой кооператив, кляня по дороге Пашу Эмильевича, который успел слопать отпущенный на его долю фунт сахарного песка. Паша сыпал сахар горкой на ладонь и отправлял в свою широкую пасть. Альхен хлопотал целый день. Во избежание усушки и раструски, он изъял Пашу Эмильевича из очереди и приспособил его для перетаскивания скупленного на привозной рынок. Там Альхен застенчиво перепродавал в частные лавочки добытые сахар, муку, чай и маркизет.

Полесов стоял в очередях, главным образом, из принципа. Денег у него не было, и купить он все равно ничего не мог. Он кочевал из очереди в очередь, прислушивался к разговорам, делал едкие замечания, многозначительно задира брови и пророчествовал. Следствием его недомолвок было то, что город наполнили слухи о приезде с Мечи и Урала подпольной организации.

Губернатор Дядьев заработал в один день десять тысяч. Сколько заработал председатель биржевого комитета Кислярский, не знала даже его жена.

Мысль о том, что он принадлежит к тайному обществу, не давала ему покоя. Шедшие по городу слухи испугали его вконец. Проведя бессонную ночь, председатель биржевого комитета решил, что только чистосердечное признание может сократить ему срок пребывания в тюрьме.

— Слушай, Генриетта, — сказал он жене, — пора уже переносить мануфактуру к шурину.

— А что, разве придут? — спросила Генриетта Кислярская.

— Могут прийти. Раз в стране нет свободы торговли, то должен же я когда-нибудь сесть?

— Так что, уже приготовить белье? Несчастливая моя жизнь. Вечно носить передачу. И почему ты не пойдешь в советские служащие? Ведь шурин состоит членом профсоюза, и — ничего! А этому обязательно нужно быть красным купцом!

Генриетта не знала, что судьба возвела ее мужа в председатели биржевого комитета. Поэтому она была спокойна.

— Может быть, я не приду ночевать, — сказал Кислярский, — тогда ты завтра приходи с передачей. Только, пожалуйста, не приноси вареников. Что мне за удовольствие есть холодные вареники?

— Может быть, возьмешь с собой примус?

— Так тебе и разрешат держать в камере примус! Дай мне мою корзину.

У Кислярского была специальная допровская корзина. Сделанная по особому заказу, она была вполне универсальна. В развернутом виде она представляла кровать, в полуразвернутом — столик; кроме того, она заменяла шкаф: в ней были полочки, крючки и ящички. Жена положила в универсальную корзину холодный ужин и свежее белье.

— Можешь меня не провожать, — сказал опытный муж. — Если придет Рубенс за деньгами, скажи, что денег нет. До свиданья! Рубенс может подождать.

И Кислярский степенно вышел на улицу, держа за ручку допровскую корзину.

— Куда вы, гражданин Кислярский? — окликнул Полесов.

Он стоял у телеграфного столба и криками подбадривал рабочего связи, который, цепляясь железными когтями за столб, подбирался к изоляторам.

— Иду сознаваться, — ответил Кислярский.

— В чем?

— В мече и орале.

Виктор Михайлович лишился языка. А Кислярский, выставив вперед свой яйцевидный животик, опоясанный широким дачным поясом с накладным карманчиком для часов, неторопливо пошел в губпрокуратуру.

Виктор Михайлович захлопал крыльями и улетел к Дядьеву.

— Кислярский — провокатор! — закричал брандмейстер. — Только что пошел доносить. Его еще видно.

— Как? И корзинка при нем? — ужаснулся старгородский губернатор.

— При нем.

Дядьев поцеловал жену, крикнул, что, если придет Рубенс, денег ему не давать, и стремглав выбежал на улицу.

Виктор Михайлович завертелся, застонал, словно курица, снесшая яйцо, и побежал к Владе с Никешей.

Между тем гражданин Кислярский, медленно прогуливаясь, приближался к губпрокуратуре. По дороге он встретил Рубенса и долго с ним говорил.

— А как же деньги? — спросил Рубенс.

— За деньгами придете к жене.

— А почему вы с корзинкой? — подозрительно осведомился Рубенс.

— Иду в баню.

— Ну, желаю вам легкого пара.

Потом Кислярский зашел в кондитерскую ССПО, бывшую «Бонбон де Варсови», выкушал стакан кофе и съел слоеный пирожок. Пора было идти каяться. Председатель биржевого комитета вступил в приемную губпрокуратуры. Там было пусто. Кислярский подошел к двери, на которой было написано: «Губернский прокурор», и вежливо постучал.

— Можно! — ответил хорошо знакомый Кислярскому голос.

Кислярский вошел и в изумлении остановился. Его яйцевидный животик сразу же опал и сморщился, как финик. То, что он увидел, было полной для него неожиданностью.

Письменный стол, за которым сидел прокурор, окружали члены могучей организации «Меча и орала». Судя по их жестам и плаксивым голосам, они сознавались во всем.

— Вот он, — воскликнул Дядьев, — самый главный, октябрист.

— Во-первых, — сказал Кислярский, ставя на пол допровскую корзинку и приближаясь к столу, — во-первых, я не октябрист, затем, я всегда сочувствовал советской власти, а в-третьих, главный — это не я, а товарищ Чарушников, адрес которого...

— Красноармейская! — закричал Дядьев.

— Номер три! — хором сообщили Владя и Никеша.

— Во двор и налево, — добавил Виктор Михайлович, — я могу показать.

Через двадцать минут привезли Чарушников, который прежде всего заявил, что никого из присутствующих в кабинете никогда в жизни не видел. Вслед за этим, не сделав никакого перерыва, Чарушников донес на Елену Станиславовну.

Только в камере, переменяв белье и растянувшись на допровской корзинке, председатель биржевого комитета почувствовал себя легко и спокойно.

Мадам Грицацуева-Бендер за время кризиса успела запастись пищевыми продуктами и товарами для своей лавчонки по меньшей мере на четыре месяца. Успокоившись, она снова загрузила о молодом супруге, томящемся на заседаниях Малого Совнаркома. Визит к гадалке не внес успокоения.

Елена Станиславовна, встревоженная исчезновением всего старгородского ареопага, метала карты с возмутительной небрежностью. Карты возвещали то конец мира, то прибавку к жалованью, то свидание с мужем в казенном доме и в присутствии недоброжелателя — пикового короля.

Да и самое гадание кончилось как-то странно. Пришли агенты — пиковые короли — и увели прорицательницу в казенный дом, к прокурору.

Оставшись наедине с попугаем, вдовица в смятении собралась было уходить, как вдруг попугай ударил клювом в клетку и первый раз в жизни заговорил человеческим голосом.

— Дожились! — сказал он сардонически, накрыл голову крылом и выдернул из подмышки перышко.

Мадам Грицацуева-Бендер в страхе кинулась к дверям.

Вдогонку ей полилась горячая, сбивчивая речь. Древняя птица была так поражена визитом агентов и уводом хозяйки в казенный дом, что начала выкрикивать все знакомые ей слова. Наибольшее место в ее репертуаре занимал Виктор Михайлович Полесов.

— При наличии отсутствия, — раздраженно сказала птица.

И, повернувшись на жердочке вниз головой, подмигнула глазом застывшей у двери вдове, как бы говоря: «Ну, как вам это понравится, вдовица?»

— Мать моя! — простонала Грицацуева.



— В каком полку служили? — спросил попугай голосом Бендера. — Кр-р-р-рах... Европа нам поможет.

После бегства вдовы попугай оправил на себе манишку и сказал те слова, которые у него безуспешно пытались вырвать люди в течение тридцати лет:

— Попка-дурак!

Вдова бежала по улице и голосила. А дома ее ждал вертлявый старичок. Это был Варфоломеич, похудевший после смерти бабушки.

— По объявлению, — сказал Варфоломеич, — два часа жду, барышня.

Тяжелое копыто предчувствия ударило Грицацуеву в сердце.

— Ох! — запела вдова. — Истомилась душенька!

— От вас, кажется, ушел гражданин Бендер? Вы объявление давали?

Вдова упала на мешки с мукой.

— Какие у вас организмы слабые, — сладко сказал Варфоломеич. — Я бы хотел спервоначалу насчет вознаграждения уяснить себе...

— Ох!.. Все берите! Ничего мне теперь не жалко! — причитала чувствительная вдова.

— Так вот-с. Мне известно пребывание сыночка вашего О. Бендера. Какое вознаграждение будет?

— Все берите! — повторила вдова.

— Двадцать рублей, — сухо сказал Варфоломеич.

Вдова поднялась с мешков. Она была замарана мукой. Запорошенные ресницы усиленно моргали.



— Сколько? — переспросила она.

— Пятнадцать рублей, — спустил цену Варфоломеич.

Он чувал, что и три рубля вырвать у несчастной женщины будет трудно.

Попирая ногами кули, вдова наступала на старичка, призывала в свидетели небесную силу и с ее помощью добилась твердой цены.

— Ну что ж, бог с вами, пусть пять рублей будет. Только деньги попрошу вперед. У меня такое правило.

Варфоломеич достал из записной книжечки две газетных вырезки, не выпуская их из рук, стал читать:

— Вот, извольте посмотреть, по порядку. Вы писали, значит: «Умоляю... ушел из дому товарищ Бендер... зеленый костюм, желтые ботинки, голубой жилет...» Правильно ведь? Это «Старгородская правда», значит. А вот что пишут про сыночка вашего в столичных газетах. Вот... «Попал под лошадь...» Да вы не убивайтесь, мадамочка, дальше слушайте... «Попал под лошадь...» Да жив, жив! Говорю вам, жив. Нешто б я за покойника деньги брал бы? Так вот: «Попал под лошадь. Вчера, на площади Свердлова, попал под лошадь извозчика № 8974 гражданин О. Бендер. Пострадавший отделался легким испугом...» Так вот, эти документки я вам предоставляю, а вы мне денежки вперед. У меня уж такое правило.

Вдова с плачем отдала деньги. Муж, ее милый муж, в желтых ботинках лежал на далекой московской земле, и огнедышащая извозчичья лошадь била копытом в его голубую гарусную грудь.

Чуткая душа Варфоломеича удовлетворилась приличным вознаграждением. Он ушел, объяснив вдове, что дополнительные следы ее мужа, безусловно найдутся в редакции газеты «Станок», где уж, конечно, все на свете известно.

Письмо отца Федора, писанное им в Ростове, в водогрейне «Млечный Путь», жене своей в уездный город N

«Милая моя Катя! Новое огорчение постигло меня, но об этом после. Деньги получил вполне своевременно, за что тебя сердечно благодарю. По приезде в Ростов сейчас же побежал по адресу. „Новоросцемент“ — весьма большое учреждение, никто там инженера Брунса и не знал. Я уже было совсем отчаялся, но меня надоумили. Идите, говорят, в личный стол, пусть в списках посмотрят. Пошел я в личный стол. Попросил. „Да, — сказали мне, служил у нас такой, ответственную работу исполнял, только, говорят, в прошлом году он от нас ушел. Переманили его в Баку, на службу в Азнефть, по делу техники безопасности“.

Ну, голубушка моя, не так кратко мое путешествие, как мы думали. Ты пишешь, что деньги на исходе. Ничего не поделаешь, Катерина Александровна. Конца ждать недолго. Вооружись терпением и, помолясь богу, продай

мой диагональный студенческий мундир. И не такие еще придется нести расходы. Будь готова ко всему.

Дороговизна в Ростове ужасная. За номер в гостинице уплатил 2 р. 25 к. До Баку денег хватит. Оттуда, в случае удачи, телеграфирую.

Погоды здесь жаркие. Пальто ношу на руке. В номере боюсь оставить — того и гляди украдут. Народ здесь бедовый.

Не нравится мне город Ростов. По количеству народонаселения и по своему географическому положению он значительно уступает Харькову. Но ничего, матушка, бог даст, и в Москву вместе съездим. Посмотришь тогда — совсем западноевропейский город. А потом заживем в Самаре, возле своего заводика.

Не приехал ли назад Воробьянинов? Где-то он теперь рыщет? Столуется ли еще Евстигнеев? Как моя ряса после чистки? Во всех знакомых поддерживай уверенность, будто я нахожусь у одра тетеньки. Гуленьке напиши то же.

Да! Совсем было позабыл рассказать тебе про страшный случай, происшедший со мной сегодня.

Любуясь тихим Доном, стоял я у моста и возмечтал о нашем будущем достатке. Тут поднялся ветер и унес в реку картузик брата твоего, булочника. Только я его и видел. Пришлось пойти на новый расход: купить английский кепи за 2 р. 30 к. Брату твоему, булочнику, ничего о случившемся не рассказывай. Убеди его, что я в Воронеже.

Плохо вот с бельем приходится. Вечером стираю, а если не высыхает, утром надеваю влажное. При теперешней жаре это даже приятно.

Целую тебя и обнимаю.

Твой вечно муж Федя».

ГЛАВА XXVIII

Куточка и тихоокеанский петушок

Репортер Персидский деятельно готовился к двухсотлетнему юбилею великого математика Исаака Ньютона.

— Ньютона я беру на себя. Дайте только место, — заявил он.

— Так вы, Персидский, смотрите, — предостерегал секретарь, — обслужите Ньютона по-человечески.

— Не беспокойтесь. Все будет в порядке.

— Чтоб не случилось, как с Ломоносовым. В вечерке была помещена ломоносовская праправнучка-пионерка, а у нас...

— Я тут ни при чем. Надо было вам поручать такое ответственное дело рыжему Иванову! Пеняйте сами на себя.

— Что же вы принесете?

— Как что? Статья из Главнауки: у меня там связи не такие, как у Иванова. Биографию возьмем из Брокгауза. Но портрет будет замечательный. Все кинутся за портретом в тот же Брокгауз, а у меня будет нечто пооригинальнее. В «Международной книге» я высмотрел такую гравюрку!.. Только нужен аванс!.. Ну, иду за Ньютоном!

— А снимать Ньютона не будем? — спросил фотограф, появившийся к концу разговора.

Персицкий сделал знак предостережения, означавший: «Спокойствие, смотрите все, что я сейчас сделаю». Весь секретариат насторожился.

— Как? Вы до сих пор еще не сняли Ньютона?! — накинулся Персицкий на фотографа.

Фотограф на всякий случай стал отбредиваться.

— Попробуйте вы его поймать, — гордо сказал он.

— Хороший фотограф поймал бы! — закричал Персицкий.

— Так что же, надо снимать или не надо?

— Конечно, надо! Поспешите! Там, наверное, сидят уже из всех редакций!

Фотограф взвалил на плечи аппарат и гремящий штатив.

— Он сейчас в «Госшвеймашине». Не забудьте: Ньютон, Исаак, отчества не помню. Снимите к юбилею. И, пожалуйста, не за работой. Все у вас сидят за столом и читают бумажки. На ходу снимайте. Или в кругу семьи.

— Когда мне дадут заграничные пластинки, тогда и на ходу буду снимать. Ну, я пошел.

— Спешите! Уже шестой час!

Фотограф ушел снимать великого математика к его двухсотлетнему юбилею, а сотрудники стали заливаться на разные голоса.

В разгар работы вошел Степа из «Науки и жизни». За ним плелась тучная гражданка.

— Слушайте, Персицкий, — сказал Степа, — к вам вот гражданка по делу пришла. Идите сюда, гражданка, этот товарищ вам все объяснит.

Степа, посмеиваясь, убежал.

— Ну? — спросил Персицкий. — Что скажете?

Мадам Грицацуева (это была она) возвела на репортера томные глаза и молча сунула ему бумажку.

— Так, — сказал Персицкий, — ...попал под лошадь... отделался легким испугом... В чем же дело?

— Адрес, — просительно молвила вдова, — нельзя ли адрес узнать?

— Чей адрес?

— О. Бендера.

— Откуда же я знаю?

— А вот товарищ говорил, что вы знаете.

— Ничего я не знаю. Обратитесь в адресный стол.

— А может, вы вспомните, товарищ. В желтых ботинках.

— Я сам в желтых ботинках. В Москве еще двести тысяч человек в желтых ботинках ходят. Может быть, вам нужно узнать их адреса? Тогда пожалуйста. Я брошу всякую работу и займусь этим делом. Через полгода вы будете знать все. Я занят, гражданка.

Но вдова, которая почувствовала к Персицкому большое уважение, шла за ним по коридору и, стуча накрахмаленной нижней юбкой, повторяла свои просьбы.

«Сволочь Степа, — подумал Персицкий. — Ну, ничего, я на него напущу изобретателя вечного движения, он у меня попрыгает».

— Ну, что я могу сделать? — раздраженно спросил Персицкий, останавливаясь перед вдовой. — Откуда я могу знать адрес гражданина О. Бендера? Что я — лошадь, которая на него наехала? Или извозчик, которого он на моих глазах ударил по спине?..

Вдова отвечала смутным рокотом, в котором можно было разобрать только «товарищ» и «очень вас».

Занятия в Доме народов уже кончились. Канцелярия и коридоры опустели. Где-то только дошлепывала страницу пишущая машинка.

— Пардон, мадам, вы видите, что я занят!

С этими словами Персицкий скрылся в уборной. Погуляв там десять минут, он весело вышел. Грицацуева терпеливо трясла юбками на углу двух коридоров. При приближении Персицкого она снова заговорила.

Репортер осатанел.

— Вот что, тетка, — сказал он, — так и быть, я вам скажу, где ваш О. Бендер. Идите прямо по коридору, потом поверните направо и идите опять прямо. Там будет дверь. Спросите Черепенникова. Он должен знать.

И Персицкий, довольный своей выдумкой, так быстро исчез, что дополнительных сведений крахмальная вдовушка получить не успела.

Расправив юбки, мадам Грицацуева пошла по коридору.

Коридоры Дома народов были так длинны и узки, что идущие по ним невольно ускоряли ход. По любому прохожему можно было узнать, сколько он прошел. Если он шел чуть убыстренным шагом, это значило, что поход его только начат. Прошедшие два или три коридора развивали среднюю рысь. А иногда можно было увидеть человека, бегущего во весь дух: он находился в стадии пятого коридора. Гражданин же, отмахавший восемь коридоров, легко мог соперничать в быстроте с птицей, беговой лошадью и чемпионом мира — бегуном Нурми.

Повернув направо, мадам Грицацуева побежала. Трещал паркет.

Навстречу ей быстро шел брюнет в голубом жилете и малиновых башма-

ках. По лицу Остапа было видно, что посещение Дома народов в столь поздний час вызвано чрезвычайными делами концессии. Очевидно, в планы технического руководителя не входила встреча с любимой. При виде вдовушки Бендер повернулся и, не оглядываясь, пошел вдоль стены назад.

— Товарищ Бендер, — закричала вдова в восторге, — куда же вы?

Великий комбинатор усилил ход. Наддала и вдова.

— Подождите, что я скажу, — просила она.

Но слова не долетали до слуха Остапа. В его ушах уже пел и свистал ветер. Он мчался четвертым коридором, проскакивал пролеты внутренних железных лестниц. Своей любимой он оставил только эхо, которое долго повторяли ей лестничные шумы.

— Ну, спасибо, — бурчал Остап, сидя на пятом этаже, — нашла время для randevu. Кто прислал сюда эту знойную дамочку? Пора уже ликвидировать московское отделение концессии, а то еще, чего доброго, ко мне приедет гусар-одиночка с мотором.

В это время мадам Грицацуева, отделенная от Остапа тремя этажами, тысячу дверей и дюжиной коридоров, вытерла подолом нижней юбки разгоряченное лицо и начала поиски. Сперва она хотела поскорей найти мужа и объяснить с ним. В коридорах зажглись несветлые лампы. Все лампы, все коридоры и все двери были одинаковы. Вдове стало страшно. Ей захотелось уйти.

Подчиняясь коридорной прогрессии, она неслась со все усиливающейся быстротой. Через полчаса ей уже невозможно было остановиться. Двери президиумов, секретариатов, месткомов, орготделов и редакций с грохотом пролетали по обе стороны ее громоздкого тела. На ходу железными своими юбками она опрокидывала урны для окурков. С кастрюльным шумом урны катились по ее следам. В углах коридоров образовывались вихри и водовороты. Хлопали растворившиеся форточки. Указующие персты, намалеванные трафаретом на стенах, втыкались в бедную путницу.

Наконец Грицацуева попала на площадку внутренней лестницы. Там было темно, но вдова преодолела страх, сбегала вниз и дернула стеклянную дверь. Дверь была заперта. Вдова бросилась назад. Но дверь, через которую она только что прошла, была тоже закрыта чьей-то заботливой рукой.

В Москве любят запирают двери.

Тысячи парадных подъездов заколочены изнутри досками, и сотни тысяч граждан пробираются в свои квартиры черным ходом. Давно прошел восемнадцатый год, давно уже стало смутным понятие — «налет на квартиру», сгинула подомовая охрана, организованная жильцами в целях безопасности, разрешается проблема уличного движения, строятся огромные электростан-

ции, делаются величайшие научные открытия, но нет человека, который посвятил бы свою жизнь разрешению проблемы закрытых дверей.

Кто тот человек, который разрешит загадку кинематографов, театров и цирков?

Три тысячи человек должны за десять минут войти в цирк через одни-единственные, открытые только в одной своей половине, двери. Остальные десять дверей, специально приспособленных для пропуска больших толп народа, — закрыты. Кто знает, почему они закрыты? Возможно, что лет двадцать назад из цирковой конюшни украли ученого ослика, и с тех пор дирекция в страхе замуровывает удобные входы и выходы. А может быть, когда-то сквозняком прохватило знаменитого короля воздуха, и закрытые двери есть только отголосок учиненного королем скандала.

В театрах и кино публику выпускают небольшими партиями якобы во избежание затора. Избежать заторов очень легко — стоит только открыть имеющиеся в изобилии выходы. Но вместо того администрация действует, применяя силу. Капельдинеры, сцепившись руками, образуют живой барьер и таким образом держат публику в осаде не меньше получаса. А двери, заветные двери, закрытые еще при Павле Первом, закрыты и поныне.

Пятнадцать тысяч любителей футбола, возбужденные молодецкой игрой сборной Москвы, принуждены продираться к трамваю сквозь щель, такую узкую, что один легко вооруженный воин мог бы задержать здесь сорок тысяч варваров, подкрепленных двумя осадными башнями.

Спортивный стадион не имеет крыши, но ворот есть несколько. Открыта только калиточка. Выйти можно, только проломив ворота. После каждого большого соревнования их ломают. Но в заботах об исполнении святой традиции, их каждый раз аккуратно восстанавливают и плотно запирают.

Если уже нет никакой возможности привесить дверь (это бывает тогда, когда ее не к чему привесить), пускаются в ход скрытые двери всех видов:

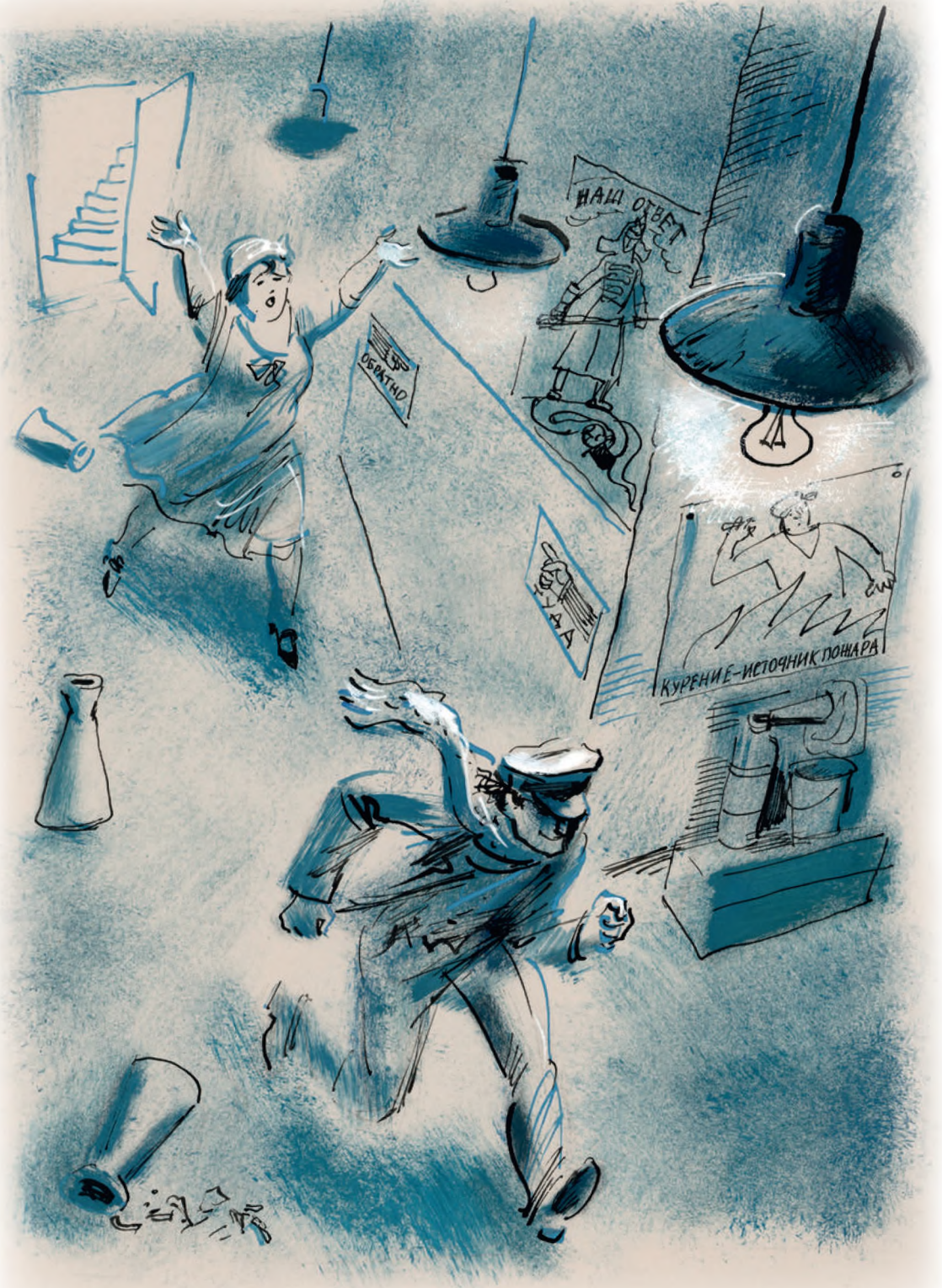
1. Барьеры.
2. Рогатки.
3. Перевернутые скамейки.
4. Заградительные надписи.
5. Веревки.

Барьеры в большом ходу в учреждениях.

Ими преграждается доступ к нужному сотруднику. Посетитель, как тигр, ходит вдоль барьера, стараясь знаками обратить на себя внимание. Это удается не всегда. А может быть, посетитель принес полезное изобретение! А может быть, и просто хочет уплатить подоходный налог! Но барьер помешал — осталось неизвестным изобретение, и налог остался неуплаченным.

Рогатка применяется на улице.

Ставят ее весною на шумной магистрали якобы для ограждения произво-



дящегося ремонта тротуара. И мгновенно шумная улица делается пустынной. Прохожие просачиваются в нужные им места по другим улицам. Им ежедневно приходится делать лишний километр, но легкокрылая надежда их не покидает. Лето проходит. Вянет лист. А рогатка все стоит. Ремонт не сделан. И улица пустынна.

Перевернутыми садовыми скамейками преграждают входы в московские скверы, которые по возмутительной небрежности строителей не снабжены крепкими воротами.

О заградительных надписях можно было бы написать целую книгу, но это в планы авторов сейчас не входит.

Надписи эти бывают двух родов: прямые и косвенные. К прямым можно отнести: «Вход воспрещается», «Посторонним людям вход воспрещается» и «Хода нет». Такие надписи иной раз вывешиваются на дверях учреждений, особенно усиленно посещаемых публикой.

Косвенные надписи наиболее губительны. Они не запрещают входа, но редкий смельчак рискнет все-таки воспользоваться своим правом. Вот они, эти позорные надписи: «Без доклада не входить», «Приема нет» и «Своим посещением ты мешаешь занятому человеку».

Там, где нельзя поставить барьера или рогатки, перевернуть скамейки или вывесить заградительную надпись, — там протягиваются веревки. Протягиваются они по вдохновению, в самых неожиданных местах. Если они протянуты на высоте человеческой груди, дело ограничивается легким испугом и несколько нервным смехом. Протянутая же на высоте лодыжки веревка может искалечить человека.

К черту двери! К черту очереди у театральных подъездов! Разрешите войти без доклада! Умоляем снять рогатку, поставленную нерадивым управлением у своей развороченной панели! Вон перевернутые скамейки! Поставьте их на место! В сквере приятно сидеть именно ночью. Воздух чист, и в голову лезут умные мысли!

Мадам Грицацуева, сидя на лестнице у запертой стеклянной двери в самой середине Дома народов, думала о своей вдовьей судьбе, изредка вздремывала и ждала утра.

Из освещенного коридора, через стеклянную дверь, на вдову лился желтый свет электрических плафонов. Пепельное утро проникало сквозь окна лестничной клетки.

Был тихий час, когда утро еще молодо и чисто. В этот час Грицацуева слышала шаги в коридоре. Вдова живо поднялась и прилипла к стеклу. В конце коридора сверкнул голубой жилет. Малиновые башмаки были запылены штукатуркой. Ветреный сын турецко-подданного, стяхивая с пиджака пылинку, приближался к стеклянной двери.

— Суслик! — позвала вдова. — Су-у-услик!

Она дышала на стекло с невыразимой нежностью. Стекло затуманилось, пошло радужными пятнами. В тумане и радугах сияли голубые и радужные призраки.

Остап не услышал кукования вдовы. Он почесывал спину и озабоченно крутил головой. Еще секунда — и он пропал бы за поворотом.

Со стоном: «Товарищ Бендер» — бедная супруга забарабанила по стеклу. Великий комбинатор обернулся.

— А, — сказал он, видя, что отделен от вдовы закрытой дверью, — вы тоже здесь?

— Здесь, здесь, — твердила вдова радостно.

— Обними же меня, моя радость, мы так долго не виделись, — пригласил технический директор.

Вдова засуетилась. Она подскакивала за дверью, как чижик в клетке. Притихшие за ночь юбки снова загремели. Остап раскрыл объятия.

— Что же ты не идешь, моя курочка. Твой тихоокеанский петушок так устал на заседании Малого Совнаркома.

Вдова была лишена фантазии.

— Суслик, — сказала она в пятый раз. — Откройте мне дверь, товарищ Бендер.

— Тише, девушка! Женщину украшает скромность. К чему эти прыжки?

Вдова мучилась.

— Ну, чего вы терзаетесь? — спрашивал Остап. — Что вам мешает жить?

— Сам уехал, а сам спрашивает!

И вдова заплакала.

— Утрите ваши глазки, гражданка. Каждая ваша слезинка — это молекула в космосе.

— А я ждала, ждала, торговлю закрыла. За вами поехала, товарищ Бендер...

— Ну, и как вам теперь живется на лестнице? Не дует?

Вдова стала медленно закипать как большой монастырский самовар.

— Изменщик! — выговорила она, вздрогнув.

У Остапа было еще немного свободного времени. Он защелкал пальцами и, ритмично покачиваясь, тихо пропел:

Частица черта в нас
Заключена подчас!
И сила женских чар
Родит в груди пожар...

— Чтоб тебе лопнуть! — пожелала вдова по окончании танца. — Браслет украл, мужнин подарок. А стуло зачем забрал?

— Вы, кажется, переходите на личности? — заметил Остап холодно.

— Украл, украл! — твердила вдова.

— Вот что, девушка, зарубите на своем носике, что Остап Бендер никогда ничего не крал.

— А ситечко кто взял?

— Ах, ситечко! Из вашего неликвидного фонда? И это вы считаете кражей? В таком случае наши взгляды на жизнь диаметрально противоположны.

— Унес, — куковала вдова.

— Значит, если молодой, здоровый человек позаимствовал у провинциальной бабушки ненужную ей, по слабости здоровья, кухонную принадлежность, то, значит, он вор? Так вас прикажете понимать?

— Вор, вор!

— В таком случае нам придется расстаться. Я согласен на развод.

Вдова кинулась на дверь. Стекла задрожали. Остап понял, что пора уходить.

— Обниматься некогда, — сказал он, — прощай, любимая! Мы разошлись, как в море корабли.

— Каррраул!!! — завопила вдова.

Но Остап уже был в конце коридора. Он встал на подоконник, тяжело спрыгнул на влажную после ночного дождя землю и скрылся в блистающих физкультурных садах.

На крики вдовы набрел проснувшийся сторож. Он выпустил узницу, пригрозив штрафом.

ГЛАВА XXIX

Автор «Гаврилады»

Когда мадам Грицацуева покидала негостеприимный стан канцелярий, к Дому народов уже стекались служащие самых скромных рангов: курьеры, входящие и исходящие барышни, сменные телефонистки, юные помощники счетоводов и бронеподrostки¹.

Среди них двигался Никифор Ляпис, очень молодой человек с бараньей прической и нескромным взглядом.

Невежды, упрямы и первичные посетители входили в Дом народов с главного подъезда. Никифор Ляпис проник в здание через амбулаторию. В Доме народов он был своим человеком и знал кратчайшие пути к оазисам, где брызжут светлые ключи гонорара под широколиственной сенью ведомственных журналов.

¹ Бронеподrostки (жарг.) — подросток 15–17 лет, принятый на работу в учреждение по брони, то есть вне конкурса.

Прежде всего Никифор Ляпис пошел в буфет. Никелированная касса сыграла матчиш¹ и выбросила три чека, Никифор съел варенец², вскрыв запечатанный бумагой стакан, и кремовое пирожное, похожее на клумбочку. Все это он запил чаем. Потом Ляпис неторопливо стал обходить свои владения.

Первый визит он сделал в редакцию ежемесячного охотничьего журнала «Герасим и Муму». Товарища Наперникова еще не было, и Никифор Ляпис двинулся в «Гигроскопический вестник», еженедельный рупор, посредством которого работники фармации общались с внешним миром.

— Доброе утро, — сказал Никифор. — Написал замечательные стихи.

— О чем? — спросил начальник литстранички. — На какую тему? Ведь вы же знаете, Трубецкой, что у нас журнал...

Начальник для более тонкого определения сущности «Гигроскопического вестника» пошевелил пальцами.

Трубецкой-Ляпис посмотрел на свои брюки из белой рогожки, отклонил корпус назад и певуче сказал:

— «Баллада о гангрене».

— Это интересно, — заметила гигроскопическая персона, — давно пора в популярной форме проводить идеи профилактики.

Ляпис немедленно задекламовал:

Страдал Гаврила от гангрены,

Гаврила от гангрены слег...

Дальше тем же молодецким четырехстопным ямбом рассказывалось о Гавриле, который по темноте своей не пошел вовремя в аптеку и погиб из-за того, что не смазал ранку йодом.

— Вы делаете успехи, Трубецкой, — одобрил редактор, — но хотелось бы еще больше... Вы понимаете?

Он задвигал пальцами, но страшную балладу взял, обещав уплатить во вторник.

В журнале «Будни морзиста» Ляписа встретили гостеприимно.

— Хорошо, что вы пришли, Трубецкой. Нам как раз нужны стихи. Только — быт, быт, быт. Никакой лирики. Слышите, Трубецкой? Что-нибудь из жизни потельработников³ и вместе с тем, вы понимаете?..

— Вчера я именно задумался над бытом потельработников. И у меня вылилась такая поэма. Называется: «Последнее письмо». Вот...

Служил Гаврила почтальоном,

Гаврила письма разносил...

¹ *Матчиш* — музыкальное произведение, более известное как «Бразильское танго».

² Квашеное топленое молоко, вид ряженки.

³ Почтово-телеграфные работники.



История о Гавриле была заключена в семьдесят две строки. В конце стихотворения письмоносец Гаврила, сраженный пулей фашиста, все же доставляет письмо по адресу.

— Где же происходило дело? — спросили Ляписа.

Вопрос был законный. В СССР нет фашистов, за границей нет Гаврил, членов Союза работников связи.

— В чем дело? — сказал Ляпис. — Дело происходит, конечно, у нас, а фашист переодетый.

— Знаете, Трубецкой, напишите лучше нам о радиостанции.

— А почему вы не хотите почтальона?

— Пусть полежит. Мы его берем условно.

Погрустневший Никифор Ляпис-Трубецкой пошел снова в «Герасим и Муму». Наперников уже сидел за своей конторкой. На стене висел сильно увеличенный портрет Тургенева, в пенсне, болотных сапогах и с двустволкой наперевес. Рядом с Наперниковым стоял конкурент Ляписа — стихотворец из пригорода.

Началась старая песня о Гавриле, но уже с охотничьим уклоном. Творение шло под названием: «Молитва браконьера».

Гаврила ждал в засаде зайца,

Гаврила зайца подстрелил.

— Очень хорошо! — сказал добрый Наперников. — Вы, Трубецкой, в этом стихотворении превзошли самого Энтиха¹. Только нужно кое-что исправить. Первое — выкиньте с корнем «молитву».

— И зайца, — сказал конкурент.

— Почему же зайца? — удивился Наперников.

— Потому что не сезон.

— Слышите, Трубецкой, измените и зайца.

Поэма в преобразенном виде носила название «Урок браконьеру», а зайцы были заменены бекаса-

¹ Николай Семёнович Тихонов (псевдоним Эн.Тих.) — советский поэт, ему принадлежат строки из «Баллады о гвоздях», ставшие крылатыми: «Гвозди бы делать из этих людей: //Крепче бы не было в мире гвоздей».

ми. Потом оказалось, что бекасов летом тоже не стреляют. В окончательной форме стихи читались:

Гаврила ждал в засаде птицу.
Гаврила птицу подстрелил...
И т. д.

После завтрака в столовой Ляпис снова принялся за работу. Белые брюки мелькали в темноте коридоров. Он входил в редакции и продавал многоликого Гаврилу.

В «Кооперативную флейту» Гаврила был сдан под названием «Эолова флейта».

Служил Гаврила за прилавком.
Гаврила флейтой торговал...

Простаки из толстого журнала «Лес как он есть» купили у Ляписа небольшую поэму «На опушке». Начиналась она так:

Гаврила шел кудрявым лесом,
Бамбук Гаврила порубал.

Последний за этот день Гаврила занимался хлебопечением. Ему нашлось место в редакции «Работника булки». Поэма носила длинное и грустное название: «О хлебе, качестве продукции и о любимой». Поэма посвящалась загадочной Хине Члек. Начало было по-прежнему эпическим:

Служил Гаврила хлебопеком,
Гаврила булку испекал...

Посвящение, после деликатной борьбы, выкинули.

Самое печальное было то, что Ляпису денег нигде не дали. Одни обещали дать во вторник, другие — в четверг или пятницу, третьи — через две недели. Пришлось идти занимать деньги в стан врагов — туда, где Ляписа никогда не печатали.

Ляпис спустился с пятого этажа на второй и вошел в секретариат «Станка». На его несчастье, он сразу же столкнулся с работягой Персицким.

— А! — воскликнул Персицкий. — Ляпус!



— Слушайте, — сказал Никифор Ляпис, понижая голос, — дайте три рубля. Мне «Герасим и Муму» должен кучу денег.

— Полтинник я вам дам. Подождите. Я сейчас приду.

И Персицкий вернулся, приведя с собой десяток сотрудников «Станка».

Завязался общий разговор.

— Ну, как торговали? — спрашивал Персицкий.

— Написал замечательные стихи!

— Про Гаврилу? Что-нибудь крестьянское? Пахал Гаврила спозаранку, Гаврила плуг свой обожал?

— Что Гаврила! Ведь это же халтура! — защищался Ляпис. — Я написал о Кавказе.

— А вы были на Кавказе?

— Через две недели поеду.

— А вы не боитесь, Ляписус? Там же шакалы!

— Очень меня это пугает! Они же на Кавказе недовитые!

После этого ответа все насторожились.

— Скажите, Ляписус, — спросил Персицкий, — какие, по-вашему, шакалы?

— Да знаю я, отстаньте!

— Ну, скажите, если знаете!

— Ну, такие... в форме змеи.

— Да, да, вы правы, как всегда. По-вашему, ведь седло дикой козы подается к столу вместе со стремянами.

— Никогда я этого не говорил! — закричал Трубецкой.

— Вы не говорили. Вы писали. Мне Наперников говорил, что вы пытались всучить ему такие стишата в «Герасим и Муму», якобы из быта охотников. Скажите по совести, Ляписус, почему вы пишете о том, чего вы в жизни не видели и о чем не имеете ни малейшего представления? Почему у вас, в стихотворении «Кантон», пеньюар — это бальное платье? Почему?!

— Вы мещанин, — сказал Ляпис хвастливо.

— Почему в стихотворении «Скачка на приз Буденного» жокей у вас затягивает на лошади супонь и после этого садится на облучок? Вы видели когда-нибудь супонь?¹

— Видел.

— Ну, скажите, какая она!

— Оставьте меня в покое. Вы псих!

¹ Супонь — ремень для стягивания хомута при запряжке лошади., Облучок — толстая деревянная скрепа, идущая по краям телеги, повозки или огибающая верхнюю часть саней, на которую садится кучер.

— А облучок видели? На скачках были?

— Не обязательно всюду быть! — кричал Ляпис. — Пушкин писал турецкие стихи и никогда не был в Турции.

— О да, Эрзерум ведь находится в Тульской губернии.

Ляпис не понял сарказма. Он горячо продолжал:

— Пушкин писал по материалам. Он прочел историю Пугачевского бунта, а потом написал. А мне про скачки все рассказал Энтих.

После этой виртуозной защиты Персицкий потащил упирающегося Ляписа в соседнюю комнату. Зрители последовали за ними. Там на стене висела большая газетная вырезка, обведенная траурной каймой.

— Вы писали этот очерк в «Капитанском мостике»?

— Я писал.

— Это, кажется, ваш первый опыт в прозе? Поздравляю вас! «Волны перекатывались через мол и падали вниз стремительным домкратом...» Ну, и удружили же вы «Капитанскому мостику». «Мостик» теперь долго вас не забудет, Ляпис!

— В чем дело?

— Дело в том, что... Вы знаете, что такое домкрат?

— Ну, конечно, знаю, оставьте меня в покое...

— Как вы себе представляете домкрат? Опишите своими словами.

— Такой... Падает, одним словом.

— Домкрат падает. Заметьте все! Домкрат стремительно падает! Подождите, Ляписус, я вам сейчас принесу полтинник. Не пускайте его!

Но и на этот раз полтинник выдан не был. Персицкий притащил из справочного бюро двадцать первый том Брокгауза, от Домиций до Евреинова. Между Домицием, крепостью в великом герцогстве Мекленбург-Шверинском, и Доммелем, рекой в Бельгии и Нидерландах, было найдено искомое слово.

— Слушайте! «Домкрат (нем. Daumkraft) — одна из машин для поднятия значительных тяжестей. Обыкновенный простой Д., употребляемый для поднятия экипажей и т. п., состоит из подвижной зубчатой полосы, которую захватывает шестерня, вращаемая с помощью рукоятки...» И так далее. И далее: «Джон Диксон в 1879 г. установил на место обелиск, известный под названием «Иглы Клеопатры», при помощи четырех рабочих, действовавших четырьмя „гидравлическими“ Д.». И этот прибор, по-вашему, обладает способностью стремительно падать? Значит, Брокгауз с Ефроном обманывали человечество в течение пятидесяти лет? Почему вы халтурите, вместо того чтобы учиться? Ответьте!

— Мне нужны деньги.

— Но у вас же их никогда нет. Вы ведь вечно рыщете за полтинником.

— Я купил много мебели и вышел из бюджета.

— И много вы купили мебели? Вам за вашу халтуру платят столько, сколько она стоит, — грош!

— Хороший грош! Я такой стул купил на аукционе...

— В форме змеи?

— Нет. Из дворца. Но меня постигло несчастье. Вчера я вернулся ночью домой...

— От Хины Члек? — закричали присутствующие в один голос.

— Хина!.. С Хиной я сколько времени уже не живу. Возвращался я с диспута Маяковского. Прихожу. Окно открыто. Ни Хунтова, ни Ибрагима дома нет. Я сразу почувствовал, что что-то случилось.

— Уй-уй-уй! — сказал Персицкий, закрывая лицо руками. — Я чувствую, товарищи, что у Ляпсуса украли его лучший шедевр. «Гаврила дворником служил, Гаврила в дворники нанялся».

— Дайте мне договорить. Удивительное хулиганство! Ко мне в комнату залезли какие-то негодяи и распоролли всю обшивку стула. Может быть, кто-нибудь займет пятерку на ремонт?

— Для ремонта сочините нового Гаврилу. Я вам даже начало могу сказать. Подождите, подождите... Сейчас... Вот: «Гаврила стул купил на рынке, был у Гаврилы стул плохой». Скорее запишите. Это можно с прибылью продать в «Голос комода»... Эх, Трубецкой, Трубецкой!.. Да, кстати, Ляпсус, почему вы Трубецкой? Почему вам не взять псевдоним еще лучше? Например, Долгорукий! Никифор Долгорукий! Или Никифор Валуа? Или еще лучше: гражданин Никифор Сумароков-Эльстон? Если у вас случится хорошая кормушка, сразу три стишка в «Гермуму», то выход из положения у вас блестящий. Один бред подписывается Сумароковым, другая макулатура — Эльстоном, а третья — Юсуповым... Эх вы, халтурщик!.. Держите его, товарищи! Я расскажу ему замечательную историю. Вы, Ляпсус, слушайте! При вашей профессии это полезно.

По коридору разгуливали сотрудники, поедая большие, как лапти, бутерброды. Был перерыв для завтрака. Бронеподростки гуляли парочками. Из комнаты в комнату бегал Авдотьев, собирая друзей автомобиля на экстренное совещание. Но почти все друзья автомобиля сидели в секретариате и слушали Персицкого, который рассказывал историю, услышанную им в обществе художников.

Вот эта история.

Рассказ о несчастной любви

В Ленинграде, на Васильевском острове, на Второй линии, жила бедная девушка с большими голубыми глазами. Звали ее Клотильдой.

Девушка любила читать Шиллера в подлиннике, мечтать, сидя на парапете невской набережной, и есть за обедом непрожаренный бифштекс.

Но девушка была бедна. Шиллера было очень много, а мяса совсем не было. Поэтому, а еще и потому, что ночи были белые, Клотильда влюбилась. Человек, поразивший ее своей красотой, был скульптор. Мастерская его помещалась у Новой Голландии.

Сидя на подоконнике, молодые люди смотрели в черный канал и целовались.

В канале плавали звезды, а может быть, и гондолы. Так, по крайней мере, казалось Клотильде.

— Посмотри, Вася, — говорила девушка, — это Венеция! Зеленая заря светит позади черно-мраморного замка.

Вася не снимал своей руки с плеча девушки. Зеленое небо розовело, потом желтело, а влюбленные все не покидали подоконника.

— Скажи, Вася, — говорила Клотильда, — искусство вечно?

— Вечно, — отвечал Вася, — человек умирает, меняется климат, появляются новые планеты, гибнут династии, но искусство непоколебимо. Оно вечно.

— Да, — говорила девушка, — Микеланджело!

— Да, — повторял Вася, вдыхая запах ее волос, — Пракситель!..

— Канова!

— Бенвенуто Челлини!

И опять кочевали по небу звезды, тонули в воде канала и туберкулезно светили к утру.

Влюбленные не покидали подоконника. Мяса было совсем мало. Но сердца их были согреты именами гениев.

Днем скульптор работал. Он ваял бюсты. Но великой тайной были покрыты его труды. В часы работы Клотильда не входила в мастерскую. Напрасно она умоляла:

— Вася, дай посмотреть мне, как ты творишь!

Но он был непреклонен. Показывая на бюст, покрытый мокрым холстом, он говорил ей:

— Еще не время, Клотильда, еще не время. Счастье, слава и деньги ожидают нас в передней. Пусть подождут.

Плыли звезды...

Однажды счастливой девушке подарили контрамарку в кино. Шла картина под названием «Когда сердце должно замолчать». В первом ряду, перед самым экраном, сидела Клотильда. Воспитанная на Шиллере и любительской колбасе, девушка была необычайно взволнована всем виденным.

Содержание картины было самое волнующее:

«Скульптор Ганс ваял бюсты. Слава шла к нему большими шагами. Жена его была прекрасна. Но они поссорились. В гневе прекрасная женщина разбила молотком бюст — великое творение скульптора Ганса, над которым он трудился три года. Слава и богатство погибли под ударом молотка. Горе Ганса было безысходным. Он повесился. Но раскаявшаяся жена вовремя вынула его из петли. Затем она быстро сбросила свои одежды.

— Лепи меня! — воскликнула она. — Нет на свете тела, прекраснее моего.

— О! — возразил Ганс. — Как я был слеп!

И он, охваченный вдохновением, изваял статую жены. И это была такая статуя, что мир задрожал от радости. Ганс и его прекрасная жена прославились и были счастливы до гроба».

Клотильда пошла из кино в Васину мастерскую. Все смешалось в ее душе. Шиллер и Ганс, звезды и мрамор, бархат и лохмотья.

— Вася! — окликнула она.

Он был в мастерской. Он лепил свой дивный бюст — человека с длинными усами и в толстовке. Лепил он его с фотографической карточки.

— И вся-то наша жизнь есть борьба! — напевал скульптор, придавая бюсту последний лоск.

И в эту же секунду бюст с грохотом разлетелся на куски от страшного удара молотком.

Клотильда сделала свое дело. Протягивая Васе руку, запачканную в гипсе, она гордо сказала:

— Почистите мне ногти!

И она удалилась. До слуха ее донеслись странные звуки. Она поняла, в чем дело: великий скульптор рыдал над разбитым творением.

Наутро Клотильда пришла, чтобы продолжить свое дело: вынуть потрясенного Васю из петли, сбросить перед ним свои одежды и сказать:

— Лепи меня! Нет на свете тела, прекраснее моего!

Она вошла и увидела.

Вася не висел в петле. Он сидел на высокой табуреточке спиной к вошедшей Клотильде и что-то делал.

Но девушка не смутилась. Она сбросила все одежды, покрылась от холода гусиной кожей и вскричала, лязгая зубами:

— Лепи меня, Вася, нет на свете тела прекраснее моего!

Вася обернулся. Слова песенки застыли на его устах.

И тут Клотильда увидела, что он делал.

Он лепил дивный бюст — человека с длинными усами и в толстовке. Фотографическая карточка стояла на столике. Вася придавал скульптуре последний лоск.

— Что ты делаешь? — спросила Клотильда.

— Я леплю бюст заведующего кооплавкой № 28.

— Но ведь я же вчера его разбила! — пролепетала Клотильда. — Почему же ты не повесился? Ведь ты же говорил, что искусство вечно. Я уничтожила твоё вечное искусство. Почему же ты жив, человек?

— Вечное-то оно — вечное, — ответил Вася, — но заказ-то нужно сдать? Ты как думаешь?

Вася был нормальным халтурщиком-среднячком.

А Клотильда слишком много читала Шиллера.

— Так вот, Ляпсус, не пугайте Хиночку Члек своим мастерством. Она нежная женщина. Она верит в ваш талант. Больше, кажется, в это никто не верит. Но если вы ещё месяц будете бегать по «Гигроскопическим вестникам», то и Хина отвернется от вас. Кстати, полтинника я вам не дам. Уходите, Ляпсус!

ГЛАВА XXX

Могучая кучка, или Золотоискатели

С криками: «Жертва громил», «Налетчики скрылись» и «Тайна редакторского кабинета» в комнату вбежал Степа.

— Персицкий, — сказал он, — иди скорее на место происшествия и пиши в «Что случилось за день». Сенсационный случай на пять строчек петита!

Оказалось, что пришедший в свою комнату редактор нашел огромную ручку с пером № 86 лежащей на полу. Перо воткнулось в подножку дивана. А новый, купленный на аукционе, редакторский стул имел такой вид, будто бы его клевали вороны. Вся обшивка была прорвана, набивка выброшена на пол, и пружины высовывались, как готовящиеся к укусу змеи.

— Мелкая кража, — сказал Персицкий, — если подберутся ещё три кражи, дадим заметку в три строки.

— В том-то и дело, что не кража. Ничего не украли. Только стул исковеркали.

— Совсем как у Ляпсуса, — заметил Персицкий, — похоже на то, что Ляпсус не врал.

— Вот видите, — гордо сказал Ляпсус, — дайте полтинник.

Принесли вечернюю газету. Персицкий стал ее проглядывать.

Обычный читатель газету читает. Журналист сначала рассматривает ее как картину.

Его интересует композиция.

— Я бы все-таки так не верстал, — сказал Персицкий, — наш читатель не подготовлен к американской верстке... Карикатура, конечно, на Чемберлена... Очерк о Сухаревой башне... Ляпсус, писанули бы и вы что-нибудь о

Сухаревском рынке: свежая тема — всего только сорок очерков за год печатается... Дальше...

Персицкий с легким презрением начал читать отдел происшествий, делавшийся, по его пристрастному мнению, бездарно.

— Столетний материал!.. Этот растратчик у нас уже был... Неудавшаяся кража в театре Колумба! Э-э-э, товарищи, это что-то новое... Слушайте!

И Персицкий прочел вслух:

Неудавшаяся кража в театре Колумба

Двумя неизвестными злоумышленниками, проникшими в реквизитную театра Колумба, были унесены четыре старинных стула.

Во дворе злоумышленники были замечены ночным сторожем и, преследуемые им, скрылись, бросив стулья.

Любопытно отметить, что стулья были специально приобретены для новой постановки голевской «Женитьбы».

— Нет, тут что-то есть. Это какая-то секта похитителей стульев.

— Маньяки!

— Ну, не так просто. Действуют они довольно здраво. Побывали у Ляпсуса, у нас, в театре.

— Да!

— Что-то они ищут, товарищи.

Тут Никифор Ляпис внезапно переменился в лице. Он неслышно вышел из комнаты и побежал по коридору. Через пять минут раскачивающийся трамвай уносил его к Покровским воротам.

Ляпис обитал в доме № 9 по Казарменному переулку совместно с двумя молодыми людьми, носившими мягкие шляпы. Ляпис носил капитанскую фуражку с гербом Нептуна, властителя вод. Комната Ляписа была проходной. Рядом жила большая семья татар.

Когда Ляпис вошел к себе, Хунтов сидел на подоконнике и перелистывал театральный справочник.

Это был человек, созвучный эпохе. Он делал все то, что требовала эпоха.

Эпоха требовала стихи, и Хунтов писал их во множестве.

Менялись вкусы. Менялись требования. Эпоха и современники нуждались в героическом романе на темы гражданской войны. И Хунтов писал героические романы.

Потом требовались бытовые повести. Созвучный эпохе Хунтов принимался за повести.

Эпоха требовала многого, но у Хунтова почему-то не брала ничего.

Теперь эпоха требовала пьесу. Поэтому Хунтов сидел на подоконнике и перелистывал театральный справочник. От человека, собирающегося писать пьесу, можно ждать, что он начнет изучать нравы того социального слоя людей, которых он собирается вывести на сцену. Можно ждать, что автор предполагаемой к написанию пьесы примется обдумывать сюжет, мысленно очерчивать характеры действующих лиц, придумывать сценические квипрокво¹. Но Хунтов начал с другого конца — с арифметических выкладок. Он, руководствуясь планом зрительного зала, высчитывал средний валовой сбор со спектакля в каждом театре. Его полное приятное лицо морщилось от напряжения, брови подымались и опадали.

Хунтов быстро прочеркивал в записной книжке колонки цифр; он умножал число мест на среднюю стоимость билета, причем производил вычисления по два раза: один раз, учитывая повышенные цены, а другой раз — обыкновенные.

В голове московских зрелищных предприятий, по количеству мест и расценкам на них, шел Большой академический театр. Хунтов расстался с ним с великим сожалением. Для того чтобы попасть в Большой театр, нужно было бы написать оперу или балет. Но эпоха в данный отрезок времени требовала драму. И Хунтов выбрал самый выгодный театр: Московский Художественный академический. Качалов, думалось ему, и Москвин, под руководством Станиславского, сбор сделают. Хунтов подсчитал авторские проценты. По его расчетам, пьеса должна была пройти в сезоне не меньше ста раз. Шли же «Дни Турбиных», думалось ему. Гонорару набегало много. Еще никогда судьба не сулила Хунтову таких барышей.

Оставалось написать пьесу. Но это беспокоило Хунтова меньше всего. «Зритель — дурак», — думалось ему.

— Мировой сюжет! — возгласил Ляпис, подходя к человеку, непрерывно звучащему в унисон с эпохой.

Хунтову сюжет был нужен, и он живо спросил:

— Какой сюжет?

— Классный, — ответил Ляпис.

Эпохальный мужчина приготовился уже записать слова Ляписа, но подозрительный по природе автор многоликого Гаврилы замолчал.

¹ *Квипрокво* (фр.) — букв. «кто вместо кого» — фразеологизм, означающий недоразумение.

— Ну! Говори же!

— Ты украдешь.

— Я у тебя часто крал сюжеты?

— А повесть о комсомольце, который выиграл сто тысяч рублей?

— Да, но ее же не взяли.

— Что у тебя вообще брали! Я могу написать замечательную поэму.

— Ну, не валяй дурака! Расскажи!

— А ты не украдешь?

— Честное слово.

— Сюжет классный. Понимаешь, такая история. Советский изобретатель изобрел луч смерти и запрятал чертежи в стул. И умер. Жена ничего не знала и распродала стулья. А фашисты узнали и стали разыскивать стулья. А комсомолец узнал про стулья, и началась борьба. Тут можно такое накрутить...

Хунтов забежал по комнате, описывая дуги вокруг опустошенного воробьяниновского стула.

— Ты дашь этот сюжет мне?

— Положим.

— Ляпис! Ты не чувствуешь сюжета! Это не сюжет для поэмы. Это сюжет для пьесы.

— Все равно. Это не твое дело. Сюжет мой.

— В таком случае я напишу пьесу раньше, чем ты успеешь написать заглавие своей поэмы.

Спор, разгоревшийся между молодыми людьми, был прерван приходом Ибрагима.

Это был человек легкий в обхождении, подвижный и веселый. Он был тучен. Воротнички душили его. На лице, шее и руках сверкали веснушки. Волосы были цвета сбитой яичницы. Из рта шел густой дым. Ибрагим курил сигары «Фигаро»: 2 штуки — 25 копеек. На нем было парусиновое подобие визитки, из карманов которого высовывались нотные свертки. Матерчатая панاما сидела на его темени корзиночкой. Ибрагим обливался грязным потом.

— Об чем спор? — спросил он пронзительным голосом.

Композитор Ибрагим существовал милостями своей сестры. Из Варшавы она присылала ему новые фокстроты. Ибрагим переписывал их на нотную бумагу, менял название «Любовь в океане» на «Амброзия» или «Флирт в метро» на «Сингапурские ночи» и, снабдив ноты стихами Хунтова, сплавлял их в музыкальный сектор.

— Об чем спор? — повторил он.

Соперники воззвали к беспристрастию Ибрагима. История о фашистах была рассказана во второй раз.

— Поэму нужно писать, — твердил Ляпис-Трубейкой.

— Пьесу! — кричал Хунтов.

Но Ибрагим поступил как библейский присяжный заседатель. Он мигом разрешил тяжбу.

— Опера! — сказал Ибрагим, отдуваясь. — Из этого выйдет настоящая опера с балетом, хорами и великолепными партиями.

Его поддержал Хунтов. Он сейчас же вспомнил величину сборов Большого театра. Упивавшегося Ляписа соблазнили рассказами о грядущих выгодах. Хунтов ударял ладонью по справочнику и выкрикивал цифры, сбивавшие все представления Ляписа о богатстве.

Началось распределение творческих обязанностей. Сценарий и прозаическую обработку взял на себя Хунтов. Стихи достались Ляпису. Музыка должен был написать Ибрагим. Писать решили здесь и сейчас же. Хунтов сел на искалеченный стул и разборчиво написал сверху листа: «Акт первый».

— Вот что, други, — сказал Ибрагим, — вы пока там нацарапаете, опишите мне главных действующих лиц. Я подготовлю кой-какие лейтмотивы. Это совершенно необходимо.

Золотоискатели принялись выработать характеры действующих лиц. Наметились приблизительно такие лица:

Уголино — гроссмейстер ордена фашистов (бас).

Альфонсина — его дочь (колоратурное сопрано).

Тов. Митин — советский изобретатель (баритон).

Сфорца — фашистский принц (тенор).

Гаврила — сельский комсомолец (переодетое меццо-сопрано).

Нина — комсомолка, дочь попа (лирич. сопрано).

(Фашисты, самогонщики, капелланы, солдаты, мажордомы, техники, сицилийцы, лаборанты, тень Митина, пионеры и др.)

— Я, — сказал Ибрагим, которому открылись благодарные перспективы, — пока что напишу хор капелланов и сицилийские пляски. А вы пишете первый акт. Побольше арий и дуэтов.

— А как мы назовем оперу? — спросил Ляпис.

Но тут в передней послышались стук копыт о гнилой паркет, тихое ржание и квартирная перебранка. Дверь в комнату золотоискателей отворилась, и гражданин Шаринов, сосед, ввел в комнату худую, тощую лошадь с длинным хвостом и седеющей мордой.

— Гоу! — закричал Шаринов на лошадь. — Ну-о, штоб тебя...

Лошадь испугалась, повернулась и толкнула Ляписа крупом.

Золотоискатели были настолько поражены, что в страхе прижались к стене. Шаринов потянул лошадь в свою комнату, из которой повыскакивало множество зеленоватых татарчат. Лошадь заупрямилась и ударила копы-

том. Квадратик паркета выскочил из гнезда и, крутясь, полетел в раскрытое окно.

— Фатыма! — закричал Шаринов страшным голосом. — Толкай сзади!

Со всего дома в комнату золотоискателей мчались жильцы. Ляпис вопил не своим голосом. Ибрагим иронически насвистывал «Амброзию». Хунтов размахивал списком действующих лиц. Лошадь тревожно косила глазами и не шла.

— Гоу! — сказал Шаринов вяло. — О-о-о, ч-черт!..

Но тут золотоискатели опомнились и потребовали объяснений. Пришел управдом с дворником.

— Что вы делаете? — спросил управдом. — Где это видано? Как можно вводить лошадь в жилую квартиру?

Шаринов вдруг рассердился.

— Какое тебе дело? Купил лошадь. Где поставить? Во дворе украдут!

— Сейчас же уведите лошадь! — истерически кричал управдом. — Если вам нужна конина, покупайте в мусульманской мясной.

— В мясной дорого, — сказал Шаринов. — Гоу! Ты!.. Проклятая!.. Фатыма!..

Лошадь двинулась задом и согласилась наконец идти туда, куда ее вели.

— Я вам этого не разрешаю, — говорил управдом, — вы ответите по суду.

Тем не менее Шаринов увел лошадь в свою комнату и, непрерывно тпрукая, привязал животное к оконной ручке. Через минуту пробежала Фатыма с большой и легкой охапкой сена.

— Как же мы будем жить, когда рядом лошадь? Мы пишем оперу, нам это неудобно! — завопил Ляпис.

— Не беспокойтесь, — сказал управдом, уходя, — работайте.

Золотоискатели, прислушиваясь к стуку копыт, снова засели за работу.

— Так как же мы назовем оперу? — спросил Ляпис.

— Предлагаю назвать «Железная роза».

— А роза тут при чем?

— Тогда можно иначе. Например, «Меч Уголино».

— Тоже несовременно.

— Как же назвать?

И они остановились на отличном интригующем названии: «Луч смерти». Под словами «акт первый» Хунтов недрогнувшей рукой написал: «Раннее утро. Сцена изображает московскую улицу, непрерывный поток автомобилей, автобусов и трамваев. На перекрестке — Уголино в поддевке. С ним — Сфорца».

— Сфорца в пижаме, — вставил Ляпис.

— Не мешай, дурак! Пиши лучше стишки для ариозо Митина. На улице в пижаме не ходят!

И Хунтов продолжал писать: «С ним — Сфорца в костюме комсомольца».

Дальше писать не удалось. Управдом с двумя милиционерами стали выводить лошадь из шариновской комнаты.

— Фатыма! — кричал Шаринов. — Держи, Фатыма!

Ляпис схватил со стола батон и трусливо шлепнул им по костлявому крупу лошади.

— Тащи! — вопил управдом.

Лошадь крестила хвостом направо и налево. Милиционеры пыхтели. Фатима с братьями-татарчатами обнимала худые колени лошади. Гражданин Шаринов безнадежно кричал: «Гоу».

Золотоискатели пришли на помощь представителям закона, и живописная группа с шумом вывалилась в переднюю.

В опустевшей комнате пахло цирковой конюшней. Внезапный ветер сорвал со стола оперные листочки и вместе с соломой закружил по комнате. Ариозо товарища Митина взлетело под самый потолок. Хор капелланов и зачатки сицилийской пляски пританцовывали на подоконнике.

С лестницы доносились крик и брезгливое ржание. Золотоискатели, милиционеры и представители домовой администрации напрягали последние силы. Осилев упорное животное, соавторы собрали развеванные листочки и продолжали писать без помарок.



ГЛАВА XXXI

В театре Колумба

Ипполит Матвеевич постепенно становился подхалимом. Когда он смотрел на Остапа, глаза его приобретали голубой жандармский оттенок.

В комнате Иванопуло было так жарко, что высохшие воробьяниновские стулья потрескивали, как дрова в камине. Великий комбинатор отдыхал, подложив под голову голубой жилет.

Ипполит Матвеевич смотрел в окно. Там, по кривым переулкам, мимо крошечных московских садов, проносилась гербовая карета. В черном ее лаке попеременно отражались кланяющиеся прохожие: кавалергард с медной головой, городские дамы и пухлые белые облачка. Громя мостовую подковами, лошади понесли карету мимо Ипполита Матвеевича. Он отвернулся с разочарованием.

Карета несла на себе герб МКХ, предназначалась для перевозки мусора, и ее дощатые стенки ничего не отражали. На козлах сидел бравый старик с пушистой седой бородой. Если бы Ипполит Матвеевич знал, что кучер не кто иной, как граф Алексей Буланов, знаменитый гусар-схимник, он, вероятно, окликнул бы старика, чтобы поговорить с ним о прелестных прошедших временах. Граф Алексей Буланов был сильно озабочен. Нахлестывая лошадей, он грустно размышлял о бюрократизме, разъедающем ассенизационный подотдел, из-за которого графу вот уже полгода как не выдавали положенного по гендоговору спецфартука.

— Послушайте, — сказал вдруг великий комбинатор, — как вас звали в детстве?

— А зачем вам?

— Да так! Не знаю, как вас называть. Воробьяниновым звать вас надоело, а Ипполитом Матвеевичем слишком кисло. Как же вас звали? Ипа?

— Киса, — ответил Ипполит Матвеевич, усмехаясь.

— Конгениально. Так вот что, Киса, посмотрите, пожалуйста, что у меня на спине. Болит между лопатками.

Остап стянул через голову рубашку «ковбой». Перед Кисой Воробьяниновым открылась обширная спина захолустного Антиноя, спина очаровательной формы, но несколько грязноватая.

— Ого, — сказал Ипполит Матвеевич, — краснота какая-то.

Между лопатками великого комбинатора лиловели и переливались нефтяной радугой синяки странных очертаний.

— Честное слово, цифра восемь! — воскликнул Воробьянинов. — Первый раз вижу такой синяк.

— А другой цифры нет? — спокойно спросил Остап.

— Как будто бы буква Р.

— Вопросов больше не имею. Все понятно. Проклятая ручка! Видите, Киса, как я страдаю, каким опасностям подвергаюсь из-за ваших стульев. Эти арифметические знаки нанесены мне большой самопадающей ручкой с пером № 86. Нужно вам заметить, что проклятая ручка упала на мою спину в ту самую минуту, когда я погрузил руки во внутренность редакторского стула. А вы, ничего-то вы толком не умеете. Почему нам пришлось бежать из театра? Из-за вас! Черт вас дернул стоять на цинке¹, как часовой, не двигаясь с

¹ Стоять на цинке (на цинку) — на уголовном жаргоне: стоять на страже при совершении преступления.

места. Это, конечно, вы делали для того, чтобы привлечь всеобщее внимание. А изнуренковский стул кто изгадил так, что мне потом пришлось за вас отдуваться? Об аукционе я уж и не говорю. Нашли время для кобеляжа! В вашем возрасте кобелировать просто вредно! Берегите свое здоровье!.. То ли дело я! За мною — стул вдовицы! За мною — два щукинских. Изнуренковский стул в конечном итоге сделал я! В редакцию и к Ляпису я ходил! И только единственный стул вы довели до победного конца, да и то при помощи нашего священного врага — архиепископа!

Неслышно ступая по комнате босыми ногами, технический директор вразумлял покорного Кису.

Стул, исчезнувший в товарном дворе Октябрьского вокзала, по-прежнему оставался темным пятном на сверкающем плане концессионных работ. Четыре стула в театре Колумба представляли верную добычу. Но театр уезжал в поездку по Волге с тиражным пароходом «Скрябин» и сегодня показывал премьеру «Женитьбы» последним спектаклем сезона. Нужно было решить: оставаться ли в Москве для розысков пропавшего в просторах Каланчевской площади стула, или выехать вместе с труппой в гастрольное турне. Остап склонялся к последнему.

— А то, может быть, разделимся? — спросил Остап. — Я поеду с театром, а вы оставайтесь и проследите за стулом в товарном дворе.

Но Киса так трусливо моргал седыми ресницами, что Остап не стал продолжать.

— Из двух зайцев, — сказал он, — выбирают того, который пожирнее. Поедем вместе. Но расходы будут велики. Нужны будут деньги. У меня осталось шестьдесят рублей. У вас сколько? Ах, я и забыл! В ваши годы девичья любовь так дорого стоит! Постановляю: сегодня мы идем в театр на премьеру «Женитьбы». Не забудьте надеть фрак. Если стулья еще на месте и их не продали за долги соцстраху, завтра же мы выезжаем. Помните, Воробьянинов, наступает последний акт комедии «Сокровище моей тещи». Приближается финита ля комедия, Воробьянинов! Не дышите, мой старый друг! Равнение на рампу! О, моя молодость! О, запах кулис! Сколько воспоминаний! Сколько интриг! Сколько таланту я показал в свое время в роли Гамлета! Одним словом, заседание продолжается!

Из экономии шли в театр пешком. Еще было совсем светло, но фонари уже сияли лимонным светом. На глазах у всех погибала весна. Пыль гнала ее с площадей, жаркий ветерок отгеснял ее в переулок. Там старушки приглубливали красавицу и пили с ней чай во двориках, за круглыми столами. Но жизнь весны кончилась — в люди ее не пускали. А ей так хотелось к памятнику Пушкину, где уже шел вечерний кобеляж, где уже котовали молодые

люди в пестренких кепках, брюках-дудочках, галстуках «собачья радость» и ботиночках «Джимми».

Девушки, осыпанные лиловой пудрой, циркулировали между храмом МСПО и кооперативом «Коммунар» (между б. Филипповым и б. Елисеевым). Девушки внятно ругались. В этот час прохожие замедляли шаги, но не только потому, что Тверская становилась тесна. Московские лошади были не лучше старгородских: они так же нарочно постукивали копытами по торцам мостовой. Велосипедисты бесшумно летели со стадиона Томского¹, с первого большого междугородного матча. Мороженщик катил свой зеленый сундук, полный майского грома, боязливо косясь на милиционера; но милиционер, скованный светящимся семафором, которым регулировал уличное движение, был не опасен.

Во всей этой сутолоке двигались два друга. Соблазны возникали на каждом шагу. В крохотных обжорочках на виду у всей улицы жарили шашлыки карские, кавказские и филейные. Горячий и пронзительный дым восходил к светленькому небу. Из пивных, ресторанчиков и кино «Великий немой» неслась струнная музыка. У трамвайной остановки горячился громкоговоритель.

Нужно было торопиться. Друзья вступили в гулкий вестибюль театра Колумба. Воробьянинов бросился к кассе и прочел расценку на места.

— Все-таки, — сказал он, — очень дорого. Шестнадцатый ряд — три рубля.

— Как я не люблю, — заметил Остап, — этих мецан, провинциальных простофиль! Куда вы полезли? Разве вы не видите, что это касса?

— Ну, а куда же? Ведь без билета не пустят!

— Киса, вы пошляк. В каждом благоустроенном театре есть два окошечка. В окошечко кассы обращаются только влюбленные и богатые наследники. Остальные граждане (их, как можете заметить, подавляющее большинство) обращаются непосредственно в окошечко администратора.

И, действительно, перед окошечком кассы стояло человек пять скромно одетых людей. Возможно, это были богатые наследники или влюбленные. Зато у окошечка администратора господствовало оживление. Там стояла цветная очередь. Молодые люди, в фасонных пиджаках и брюках того покроя, который провинциалу может только присниться, уверенно размахивали записочками от знакомых им режиссеров, артистов, редакций, театрального костюмера, начальника района милиции и прочих, тесно связанных с театром лиц, как то: членов ассоциации теа- и кино-

¹ Михаил Павлович Томский (1880–1936) — лидер советских профсоюзов, с 1929 года был снят с должности и отстранен от политической деятельности.

критиков, общества «Слезы бедных матерей», школьного совета «Мастерской циркового эксперимента» и какого-то «ФОРТИНБРАСА при УМСЛОПОГАСЕ»¹. Человек восемь стояли с записками от Эспера Эклеровича.

Остап врезался в очередь, растолкал фортинбрасовцев и, крича: «Мне только справку, вы не видите, что я даже калош не снял», пробился к окошечку и заглянул внутрь.

Администратор трудился, как грузчик. Светлый бриллиантовый пот орошал его жирное лицо. Телефон тревожил его поминутно и звонил с упорством трамвайного вагона, пробирающегося через Смоленский рынок.

— Да! — кричал он. — Да! Да! Восемь тридцать!

Он с лязгом вешал трубку, чтобы снова ее схватить.

— Да! Театр Колумб! Ах, это вы, Сегидилья Марковна? Есть, есть, конечно, есть. Бенуар! А бука не придет? Почему? Грипп? Что вы говорите? Ну, хорошо! Да, да, до свиданья, Сегидилья Марковна.

— Театр Колумба!!! Нет! Сегодня никакие пропуска не действительны! Да, но что я могу сделать? Моссовет запретил!..

— Театр Колумба!!! Ка-ак? Михаил Григорьевич? Скажите Михаилу Григорьевичу, что днем и ночью в театре Колумба его ждет третий ряд, место у прохода.

Рядом с Остапом бурлил и содрогался мужчина с полным лицом, брови которого беспрерывно поднимались и опадали.

— Какое мне дело! — говорил ему администратор.

Хунтов (это был человек, созвучный эпохе) негордой скороговоркой просил контрамарку.

— Никак! — сказал администратор. — Сами понимаете — Моссовет!

— Да, — мямлил Хунтов, — но Московское отделение Ленинградского общества драматических писателей и оперных композиторов согласовало с Павлом Федоровичем...

— Не могу и не могу! Следующий!

— Позвольте, Яков Менелаевич, мне же в Московском отделении Ленинградского общества драматических писателей и оперных композиторов...

— Ну что я с вами сделаю? Нет, не дам! Вам что, товарищ?

Хунтов, почувствовав, что администратор дрогнул, снова залопотал:

¹ Ильф и Петров, издеваясь над эпидемией канцелярского «сократительства», придумали организацию, название которой — это имена литературных героев — Фортинбрас и Умслопогас. Первое имя принадлежит норвежскому принцу Фортинбрасу из трагедии В. Шекспира «Гамлет», второе — герою романа Л. Г. Хаггарда «Копи царя Соломона» зулусу Умслопогасу.

— Поймите же, Яков Менелаевич, Московское отделение Ленинградского общества драматических писателей и оперных композиторов...

Этого администратор не перенес. Всему есть предел. Ломая карандаши и хватаясь за телефонную трубку, Менелаевич нашел для Хунтова место у самой люстры.

— Скорее, — крикнул он Остапу, — вашу бумажку?

— Два места, — сказал Остап тихо, — в партере.

— Кому?

— Мне!

— А кто вы такой, чтобы я давал вам места?

— А я все-таки думаю, что вы меня знаете.

— Не узнаю.

Но взгляд незнакомца был так чист, так ясен, что рука администратора сама отвела Остапу два места в одиннадцатом ряду.

— Ходят всякие, — сказал администратор, пожимая плечами, — кто их знает, кто они такие! Может быть, он из Наркомпроса? Кажется, я его видел в Наркомпросе. Где я его видел?

И, машинально выдавая пропуска счастливым теа- и кинокритикам, притихший Яков Менелаевич продолжал вспоминать, где он видел эти чистые глаза.

Когда все пропуска были выданы и в фойе уменьшили свет, Яков Менелаевич вспомнил: эти чистые глаза, этот уверенный взгляд он видел в Таганской тюрьме в 1922 году, когда и сам сидел там по пустяковому делу.

Из одиннадцатого ряда, где сидели концессионеры, послышался смех. Остапу понравилось музыкальное вступление, исполненное оркестрантами на бутылках, кружках Эсмарха¹, саксофонах и больших полковых барабанах. Свистнула флейта, и занавес, навевая прохладу, расступился.

К удивлению Воробьянинова, привыкшего к классической интерпретации «Женитьбы», Подколесина на сцене не было. Порыскав глазами, Ипполит Матвеевич увидел свисающие с потолка фанерные прямоугольники, выкрашенные в основные цвета солнечного спектра. Ни дверей, ни синих кисейных окон не было. Под разноцветными прямоугольниками танцевали дамочки в больших, вырезанных из черного картона шляпах. Бутылочные стоны вызвали на сцену Подколесина, который врезался в толпу верхом на Степане. Подколесин был наряжен в камергерский мун-

¹ Кружках Эсмарха — стеклянная, фаянсовая или металлическая кружка, емкостью 2 литра, с длинной резиновой трубкой, используется как клизма, Изобретение немецкого медика Ф. А. Эсмарха (1823–1908).

дир. Разогнав дамочек словами, которые в пьесе не значились, Подколесин возопил:

— Степа-ан!

Одновременно с этим он прыгнул в сторону и замер в трудной позе. Кружки Эсмарха загремели.

— Степа-а-ан! — повторил Подколесин, делая новый прыжок.

Но, так как Степан, стоящий тут же и одетый в барсову шкуру, не откликнулся, Подколесин трагически спросил:

— Что же ты молчишь, как Лига Наций?

— Очевидно, я Чемберлена испужался, — ответил Степан, почесывая шкуру.

Чувствовалось, что Степан оттеснит Подколесина и станет главным персонажем осовремененной пьесы.

— Ну что, шьет портной сюртук?

Прыжок. Удар по кружкам Эсмарха. Степан с усилием сделал стойку на руках и в таком положении ответил:

— Шьет!

Оркестр сыграл попури из «Чио-Чио-сан». Все это время Степан стоял на руках. Лицо его залилось краской.

— А что, — спросил Подколесин, — не спрашивал ли портной, на что, мол, барину такое хорошее сукно?

Степан, который к тому времени сидел уже в оркестре и обнимал дирижера, ответил:

— Нет, не спрашивал. Разве он депутат английского парламента?

— А не спрашивал ли портной, не хочет ли, мол, барин жениться?

— Портной спрашивал, не хочет ли, мол, барин платить алименты.

После этого свет погас, и публика затопала ногами. Топала она до тех пор, покуда со сцены не послышался голос Подколесина:

— Граждане! Не волнуйтесь! Свет потушили нарочно, по ходу действия. Этого требует вещественное оформление.

Публика покорилась. Свет так и не зажигался до конца акта. В полной темноте гремели барабаны. С фонарями прошел отряд военных в форме гостиничных швейцаров. Потом, как видно, на верблюде, приехал Кочкарев. Судить обо всем этом можно было из следующего диалога:

— Фу, как ты меня испугал! А еще на верблюде приехал!

— Ах, ты заметил, несмотря на темноту?! А я хотел преподнести тебе сладкое вер-блюдо!

В антракте концессионеры прочли афишу:

ЖЕНИТЬБА

Текст — Н. В. Гоголя, стихи — М. Шершеляфамова, литмонтаж — И. Антиохийского, музыкальное сопровождение — Х. Иванова.

Автор спектакля — Ник. Сестрин.

Вещественное оформление — Симбиевич-Синдиевич.

Свет — Платон Плащук. Звуковое оформление — Галкина, Палкина, Малкина, Чалкина и Залкинда. Грим — мастерской КРУЛТ.

Парики — Фома Кочура. Мебель — древесных мастерских ФОРТИНБРАСА при УМСЛОПОГАСЕ им. Валтассара. Инструктор акробатики — Жоржетта Тираспольских. Гидравлический пресс — под управлением монтера Мечникова.

Афиша набрана, сверстана и отпечатана в школе ФЗУ КРУЛТ.

— Вам нравится? — робко спросил Ипполит Матвеевич.

— А вам?

— Очень интересно, только Степан какой-то странный.

— А мне не понравилось, — сказал Остап, — в особенности то, что мебель у них каких-то мастерских ВОГОПАСА. Не приспособили ли они наши стулья на новый лад?

Эти опасения оказались напрасными. В начале же второго акта все четыре стула были вынесены на сцену неграми в цилиндрах.

Сцена сватовства вызвала наибольший интерес зрительного зала. В ту минуту, когда на протянутой через весь зал проволоке начала спускаться Агафья Тихоновна, страшный оркестр Х. Иванова произвел такой шум, что от него одного Агафья Тихоновна должна была бы упасть в публику. Но Агафья держалась на сцене прекрасно. Она была в трико телесного цвета и мужском котелке. Балансируя зеленым зонтиком с надписью: «Я хочу Подколесина», она переступала по проволоке, и снизу всем были видны ее грязные подошвы. С проволоки она прыгнула прямо на стул. Одновременно с этим все негры, Подколесин, Кочкарев в балетных пачках и сваха, в костюме вагоновожато-го, сделали обратное сальто. Затем все отдыхали пять минут, для сокрытия чего был снова погашен свет.

Женихи были очень смешны, в особенности — Яичница. Вместо него выносили большую яичницу на сковороде. На моряке была мачта с парусом.

Напрасно купец Стариков кричал, что его душат патент и уравни-тельный. Он не понравился Агафье Тихоновне. Она вышла замуж за Степана. Оба принялись уписывать яичницу, которую подал им обратившийся в лакея Подколесин. Кочкарев с Феклой спели куплеты про Чемберлена

и про алименты, которые британский министр взимает у Германии. На кружках Эсмарха сыграли отходную. И занавес, навевая прохладу, захлопнулся.

— Я доволен спектаклем, — сказал Остап, — стулья в целости. Но нам медлить нечего. Если Агафья Тихоновна будет ежедневно на него гукаться, то он недолго проживет.

Молодые люди в фасонных пиджаках, толкаясь и смеясь, вникали в тонкости вещественного и звукового оформления.

На лестнице раздавался снисходительный голос Хунтова.

— Да. Я пишу оперу. В Московском отделении Ленинградского общества драматических писателей и оперных композиторов мне говорили...

И долго еще расходившаяся публика слышала барабанную дробь человека, созвучного эпохе:

— Согласитесь с тем, что Московское отделение Ленинградского общества драматических писателей и оперных композиторов...

— Ну, — указал Остап, — вам, Кисочка, надо бай-бай. Завтра с утра нужно за билетами становиться. Театр в семь вечера выезжает ускоренным в Нижний. Так что вы берите два жестких места для сидения до Нижнего, Курской дороги. Не беда — посидим. Всего одна ночь.

На другой день весь театр Колумба сидел в буфете Курского вокзала. Симбиевич-Синдиевич, приняв меры к тому, чтобы вещественное оформление пошло этим же поездом, закусывал за столиком. Вымочив в пиве усы, он тревожно спрашивал монтера:

— Что, гидравлический пресс не сломают в дороге?

— Беда с этим прессом, — отвечал Мечников, — работает он у нас пять минут, а возить его целое лето придется.

— А с «прожектором времен» тебе легче было, из пьесы «Порошок идеологии»?

— Конечно, легче. Прожектор хоть и больше был, но зато не такой ломкий.

За соседним столиком сидела Агафья Тихоновна, молоденькая девушка с ногами твердыми и блестящими, как кегли. Вокруг нее хлопотало звуковое оформление — Галкин, Палкин, Малкин, Чалкин и Залкинд.

— Вы вчера мне не в ногу подавали, — жаловалась Агафья Тихоновна, — я так и свалиться могу.

Звуковое оформление загалдело:

— Что ж делать! Две кружки лопнули!

— Разве теперь достанешь заграничную кружку Эсмарха? — кричал Галкин.



— Зайдите в Госмедторг. Не то что кружки Эсмарха, термометра купить нельзя! — поддержал Палкин¹.

— А вы разве и на термометрах играете? — ужаснулась девушка.

— На термометрах мы не играем, — заметил Залкинд, — но из-за этих проклятых кружек прямо-таки заболеваешь — приходится мерить температуру.

Автор спектакля и главный режиссер Ник. Сестрин прогуливался с женой по перрону. Подколесин с Кочкаревым хлопнули по три рюмки и наперебой ухаживали за Жоржеттой Тираспольских.

Концессионеры, пришедшие за два часа до отхода поезда, совершили уже пятый рейс вокруг сквера, разбитого перед вокзалом.

Голова у Ипполита Матвеевича кружилась. Погоня за стульями входила в решающую стадию. Удлиненные тени лежали на раскаленной мостовой. Пыль садилась на мокрые, потные лица. Подкатывали пролетки. Пахло бензином. Наемные машины высаживали пассажиров. Навстречу им выбегали Ермаки Тимофеевичи, уносили чемоданы, и овальные их бляхи сияли на солнце. Муза дальних странствий хватала людей за горло.

— Ну, пойдем и мы, — сказал Остап.

Ипполит Матвеевич покорно повернулся. Тут он столкнулся лицом к лицу с гробовых дел мастером Безенчуком.

— Безенчук! — сказал он в крайнем удивлении. — Ты как сюда попал?

Безенчук снял шапку и радостно остолбенел.

— Господин Воробьянинов! — закричал он. — Почет дорогому гостю!

— Ну, как дела?

— Плохи дела, — ответил гробовых дел мастер.

— Что же так?

— Клиента ищу. Не идет клиент.

— «Нимфа» перебивает?

— Куды ей! Она меня разве перебьет? Случаев нет. После вашей тещеньки один только «Пьер и Константин» перекинулся.

— Да что ты говоришь? Неужели умер?

— Перекинулся, Ипполит Матвеевич. На посту своем перекинулся. Брил аптекаря нашего Леопольда и перекинулся. Люди говорили, разрыв внутренности произошел, а я так думаю, что покойник от этого аптекаря лекарством надыхался и не выдержал.

— Ай-яй-яй, — бормотал Ипполит Матвеевич, — ай-яй-яй! Ну, что ж, значит, ты его и похоронил?

— Я и похоронил. Кому же другому? Разве «Нимфа», туды ее в качель, кисть дает?

— Ододел, значит?

¹ В первом издании опечатка, ошибочно вторая реплика тоже принадлежит Галкину.



— Одолел. Только били меня потом. Чуть сердце у меня не выбили. Милиция отняла. Два дня лежал, спиртом лечился.

— Растирался?

— Нам растираться не к чему.

— А сюда тебя зачем принесло?

— Товар привез.

— Какой же товар?

— Свой товар. Проводник знакомый помог провезти задаром в почтовом вагоне. По знакомству.

Ипполит Матвеевич только сейчас заметил, что поодаль от Безенчука на земле стоял штабель гробов. Иные были с кистями, иные — так. Один из них Ипполит Матвеевич быстро опознал. Это был большой дубовый и пыльный гроб с безенчукской витрины.

— Восемь штук, — сказал Безенчук самодовольно, — один к одному. Как огурчики.

— А кому тут твой товар нужен? Тут своих мастеров довольно.

— А гриб?

— Какой гриб?

— Эпидемия. Мне Прусис сказал, что в Москва гриб свирепствует, что хоронить людей не в чем. Весь материал перевели. Вот я и решил дела поправить.

Остап, прослушавший весь этот разговор с любопытством, вмешался:

— Слушай, ты, папаша, это в Париже грипп свирепствует.

— В Париже?

— Ну да. Поезжай в Париж. Там подмолотишь! Правда, будут некоторые затруднения с визой, но ты, папаша, не грусти. Если Бриан тебя полюбит, ты заживешь недурно: устроишься лейб-гробовщиком при парижском муниципалитете. А здесь и своих гробовщиков хватит.

Безенчук дико огляделся. Действительно, на площади, несмотря на уверения Прусиса, трупы не валялись, люди бодро держались на ногах, и некоторые из них даже смеялись.

Поезд давно уже унес и концессионеров, и театр Колумба, и прочую публику, а Безенчук все еще ошалело стоял над своими гробами.

В наступившей темноте его глаза горели желтым неугасимым огнем.



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ СОКРОВИЩЕ МАДАМ ПЕТУХОВОЙ

ГЛАВА XXXII Волшебная ночь на Волге

Влево от пассажирских дебаркадеров Волжского государственного речного пароходства, под надписью: «Чаль за кольца, решетку береги, стены не касайся», стоял великий комбинатор со своим другом и ближайшим помощником Кисой Воробьяниновым.

Над пристанями хлопали флаги. Дым, курчавый, как цветная капуста, валил из паровых труб. Шла погрузка парохода «Антон Рубинштейн», стоявшего у дебаркадера № 2. Грузчики вонзали железные когти в тюки хлопка. На пристани выстроились в каре чугунные горшки, лежали мокрые соленые кожи, бунты проволоки, ящики с листовым стеклом, клубки сноповязального шпагата, жернова, двухцветные костистые сельскохозяйственные машины, деревянные вилы, обшитые дерюгой корзинки с молодой черешней и сельдяные бочки.

«Скрябина» не было. Это очень беспокоило Ипполита Матвеевича.

— Что вы переживаете? — спросил Остап. — Вообразите, что «Скрябин» здесь. Ну, как вы на него попадете? Если бы у нас даже были деньги на покупку билета, то и тогда бы ничего не вышло. Пароход этот пассажиров не берет.

Остап еще в поезде успел побеседовать с завгидропрессом, монтером Мечниковым, и узнал от него все. Пароход «Скрябин», заарендованный Наркомфином, должен был совершить рейс от Нижнего до Царицына, останавливаясь у каждой пристани и производя тираж выигрышного займа. Для этого из Москвы выехало целое учреждение: тиражная комиссия, канцелярия, духовой оркестр, кинооператор, корреспонденты центральных газет и театр Колумба. Театру предстояло в пути показывать пьесы, в которых популяризовалась идея госзаймов. До Сталинграда театр поступал на полное довольствие тиражной комиссии, а затем собирался на свой страх и риск совершить большую гастрольную поездку по Кавказу и Крыму с «Женитьбой».

«Скрябин» опоздал. Обещали, что он придет из затона, где делались последние приготовления, только к вечеру. Поэтому весь аппарат, прибывший из Москвы, в ожидании погрузки устроил бивак на пристани.

Нежные создания с чемоданчиками и портпледами¹ сидели на бунтах проволочки, сторожа свои ундревуды, и с опасением поглядывали на крючников². На жернове примостился гражданин с фиолетовой эспаньолкой. На коленях у него лежала стопка эмалированных дощечек. На верхней из них любопытный мог бы прочесть: «Отдел взаимных расчетов». Письменные столы на тумбах и другие столы, более скромные, стояли друг на друге. У запечатанного несгораемого шкафа прогуливался часовой. Представитель «Станка» Персицкий смотрел в цейсовский бинокль с восьмикратным увеличением на территорию ярмарки.

Под сенью гидравлического прессы на воробьяниновском стуле сидела Агафья Тихоновна и флиртвала с виртуозом-балалаечником, корректным молодым человеком с европейской выправкой. Виртуоз чувствовал себя в родственной среде прекрасно. Он грациозно уселся на один из воробьяниновских стульев, совершенно не обращая внимания на то, что Галкин, Палкин, Малкин, Чалкин и Залкинд вынуждены были все впятером довольствоваться только двумя стульями.

Вокруг стульев, как шакалы, расхаживали концессионеры. Остапа особенно возмущал виртуоз-балалаечник.

— Что это за чижик? — шептал он Ипполиту Матвеевичу. — Всякий

¹ *Портплед* (от фр. porter — «носить» и англ. plaid — «плед», в буквальном переводе — «чехол для пледа») — изначально мягкая дорожная сумка для постельных принадлежностей.

² *Крючник* — грузчик, переносящий тяжести на спине с помощью особого железного крюка.

дурак сидит на ваших стульях. Все это плоды вашего пошлого кобелирования.

— Что вы ко мне пристали? — захныкал Воробьянинов. — Я даже такого слова не знаю — кобелировать.

— Напрасно. Кобелировать — это значит ухаживать за молодыми девушками с нечистыми намерениями. Отпирательства ваши безнадежны. Лиза мне все рассказала. Вся Москва покатывается со смеху. Все знают о вашем кобеляже.

Виртуоз-балалаечник пригласил Агафью Тихоновну обедать на «Парижскую коммуну».

Звуковое оформление завздыхало и поплелось в трактир «Плот». Концессионеры оживились.

— Может быть, рискнем? — сказал вдруг Остап, невольно приближаясь к стульям. — Вы — два, и я — два, и — ходу! А? Хорошо бы было, черт возьми!

Он осмотрелся. Бежать надо было бы по насыпи до Рождественской улицы, забитой обозами. Да и сквозь толпу крючников продраться было бы нелегко. Кроме того, Кочкарев с Подколесиным маячили поблизости. Они, конечно, подняли бы страшный рев, заметив покушение на мебель, якобы изготовленную в древесных мастерских ФОРТИНБРАСА при УМСЛОПОГАСЕ имени Валтассара.

Остап скис.

— Придется ехать! Но как? В крайнем случае можно было бы сесть на «Парижскую коммуну», доехать до Царицына и там ждать труппу, но деньги, деньги! Ах, Киса, Киса, что б вас черт забрал! Осознали ли вы уже свою пошлость?

Разворачиваясь против течения, подходил пароход «Скрябин». На бортах своих он нес фанерные щиты с радужными изображениями гигантских облигаций. Пароход заревел, подражая крику мамонта, а может быть, и другого животного, заменявшего в доисторические времена пароходную сирену.

Финансово-театральный бивак оживился. По городским спускам бежали тиражные служащие. В облаке пыли катился к пароходу толстенький Платон Плащук. Галкин, Палкин, Малкин, Чалкин и Залкинд выбежали из трактира «Плот». Над несгораемой кассой уже трудились крючники. Инструктор акробатики Жоржетта Тираспольских гимнастическим шагом взбежала по сходням. Симбиевич-Синдиевич, в заботах о вещественном оформлении, простирали руки то к кремлевским высотам, то к капитану, стоявшему на мостике. Кинооператор пронес свой аппарат высоко над головами толпы и еще на ходу требовал отвода четырехместной каюты для устройства в ней лаборатории.

В общей свалке Ипполит Матвеевич пробрался к стульям и, будучи вне себя, поволок было один стул в сторонку.

— Бросьте стул! — завопил Бендер. — Вы что, с ума спятили? Один стул возьмем, а остальные пропадут для нас навсегда. Подумали бы лучше о том, как попасть на пароход.

По дебаркадеру прошли музыканты, опоясанные медными трубами. Они с отвращением смотрели на саксофоны, флексотоны¹, пивные бутылки и кружки Эсмарха, которыми было вооружено звуковое оформление.

Тиражные колеса были привезены на фордовском фургончике. Это была сложная конструкция, составленная из шести вращающихся цилиндров, сверкающая медью и стеклом. Установка ее на нижней палубе заняла много времени.

Топот и перебранка продолжались до позднего вечера.

В тиражном зале устраивали эстраду, приколачивали к стенам плакаты и лозунги, расставляли деревянные скамьи для посетителей и сращивали электропровода с тиражными колесами. Письменные столы разместили на корме; а из каюты машинисток, вперемежку со смехом, слышалось цоканье пишущих машинок. Бледный человек с фиолетовой эспаньолкой ходил по всему пароходу и навешивал на соответствующие двери свои эмалированные таблички: «Отдел взаимных расчетов», «Личный стол», «Общая канцелярия», «Машинное отделение». К большим табличкам человек с эспаньолкой присобачивал таблички поменьше: «Без дела не входить», «Приема нет», «Посторонним лицам вход воспрещается», «Все справки в регистратуре».

Салон первого класса был оборудован под выставку денежных знаков и бон. Это вызвало взрыв негодования у Галкина, Палкина, Малкина, Чалкина и Залкинда.

— Где же мы будем обедать? — волновались они. — А если дождь?

— Ой, — сказал Ник. Сестрин своему помощнику, — не могу!.. Как ты думаешь, Сережа, мы не сможем обойтись без звукового оформления?

— Что вы, Николай Константинович! Артисты к ритму привыкли.

Тут поднялся новый галдеж. Пятерка пронюхала, что все четыре стула автор спектакля утащил в свою каюту.

— Так, так, — говорила пятерка с иронией, — а мы должны будем репетировать, сидя на койках, а на четырех стульях будет сидеть Николай Константинович со своей женой Густой, которая никакого отношения к нашему коллективу не имеет. Может, мы тоже хотим иметь в поездке своих жен!

С берега на тиражный пароход зло смотрел великий комбинатор.

Новый взрыв кликов достиг ушей концессионеров.

— Почему же вы мне раньше не сказали?! — кричал член комиссии.

— Откуда я мог знать, что он заболел.

¹ Флексатон — ударный музыкальный инструмент. Запатентован в США в 1924 году. Тембр флексатона звенящий, завывающий, в верхнем регистре — пронзительный.

— Это черт знает что! Тогда поезжайте в Рабис¹ и требуйте, чтобы нам экстренно командировали художника.

— Куда же я поеду? Сейчас шесть часов. Рабис давно закрыт. Да и пароход через полчаса уходит.

— Тогда сами будете рисовать. Раз вы взяли на себя ответственность за украшение парохода, извольте отдуваться, как хотите.

Остап уже бежал по сходням, расталкивая локтями крючников, барышень и просто любопытных. При входе его задержали:

— Пропуск!

— Товарищ! — заорал Бендер. — Вы! Вы! Толстенький! Которому художник нужен!

Через пять минут великий комбинатор сидел в белой каюте толстенького, заведующего хозяйством плавучего тиража, и договаривался об условиях работы.

— Значит, товарищ, — говорил толстячок, — нам от вас потребуется следующее: исполнение художественных плакатов, надписей и окончание транспаранта. Наш художник начал его делать и заболел. Мы его оставили здесь, в больнице. Ну и, конечно, общее наблюдение за художественной частью. Можете вы это взять на себя? Причем предупреждаю: работы много.

— Да, я могу взять это на себя. Мне приходилось выполнять такую работу.

— И вы можете сейчас же ехать с нами?

— Это будет трудновато, но я постараюсь.

Большая и тяжелая гора свалилась с плеч заведующего хозяйством. Испытывая детскую легкость, толстяк смотрел на нового художника лучезарным взглядом.

— Ваши условия? — спросил Остап дерзко. — Имейте в виду, я не похоронная контора.

— Условия сдельные. По расценкам Рабиса.

Остап поморщился, что стоило ему большого труда.

— Но, кроме того, еще бесплатный стол, — поспешно добавил толстунчик, — и отдельная каюта.

— Ну, ладно, — сказал Остап со вздохом, — соглашаюсь. Но со мною еще мальчик, ассистент.

— Насчет мальчика вот не знаю. На мальчика кредита не отпущено. На свой счет, пожалуйста. Пусть живет в вашей каюте.

— Ну, пускай — по-вашему. Мальчишка у меня шустрый. Привык к спартанской обстановке.

¹ Рабис, или Сорабис (Союз работников искусств), с 1924 г. Всерабис (Всесоюзный профессиональный союз работников искусств) — массовая профессиональная организация в России и затем в СССР, объединяющая на добровольных началах всех работников искусств.

Остап получил пропуск на себя и на шустрого мальчика, положил в карман ключ от каюты и вышел на горячую палубу. Он чувствовал немалое удовлетворение при прикосновении к ключу. Это было первый раз в его бурной жизни. Ключ и квартира были. Не было только денег. Но они находились тут же, рядом, в стульях. Великий комбинатор, заложив руки в карманы, гулял вдоль борта, не замечая оставшегося на берегу Воробьянинова.

Ипполит Матвеевич сперва делал знаки молча, а потом даже осмелился попискивать. Но Бендер был глух. Повернувшись спиной к председателю концессии, он внимательно следил за процедурой опускания гидравлического пресса в трюм.

Делались последние приготовления к отвалу. Агафья Тихоновна, она же Мура, постукивая ножками, бегала из своей каюты на корму, смотрела в воду, громко делилась своими восторгами с виртуозом-балалаечником и всем этим вносила смущение в ряды почтенных деятелей тиражного предприятия.

Пароход дал второй гудок. От страшных звуков сдвинулись облака. Солнце побагровело и свалилось за горизонт. В верхнем городе зажглись лампы и фонари. С рынка, в Почаевском овраге, донеслись хрипы граммофонов, состязавшихся перед последними покупателями. Оглушенный и одинокий Ипполит Матвеевич что-то кричал, но его не было слышно. Лязг лебедки губил все остальные звуки.

Остап Бендер любил эффекты. Только перед третьим гудком, когда Ипполит Матвеевич уже не сомневался в том, что брошен на произвол судьбы, Остап заметил его.

— Что же вы стоите как засватанный? Я думал, что вы уже давно на пароходе! Сейчас сходи снимают! Бегите скорей! Пропустите этого гражданина! Вот пропуск.

Ипполит Матвеевич, почти плача, вбежал на пароход.

— Вот это ваш мальчик? — спросил завхоз подозрительно.

— Мальчик, — сказал Остап, — разве плох? Кто скажет, что это девочка, пусть первый бросит в меня камень!

Толстяк угрюмо отошел.

— Ну, Киса, — заметил Остап, — придется с утра сесть за работу. Надеюсь, что вы сможете разводить краски. А потом, вот что: я — художник, окончил ВХУТЕМАС, а вы — мой помощник. Если вы думаете, что это не так, то скорее бегите назад, на берег.

Черно-зеленая пена вырвалась из-под кормы. Пароход дрогнул, всплеснули медные тарелки, флейты, корнеты, тромбоны, басы затрубили чудный марш, и город, поворачиваясь и балансируя, перекочевал на левый берег. Продолжая дрожать, пароход стал по течению и быстро побежал в темноту. Позади качались звезды, лампы и портовые разноцветные знаки. Через ми-

нугу пароход отошел настолько, что городские огни стали казаться застывшим на месте ракетным порошком¹.

Еще слышался ропот работающих «ундервудов», а природа и Волга брали свое. Нега охватила всех плывущих на пароходе «Скрябин». Члены тиражной комиссии томно прихлебывали чай. На первом заседании месткома, происходившем на носу, царила нежность. Так шумно дышал теплый вечер, так мягко полоскалась у бортов водичка, так быстро пролетали по бортам парохода темные очертания берегов, что председатель месткома, человек вполне положительный, открывши рот для произнесения речи об условиях труда в необычной обстановке, неожиданно для всех и для самого себя запел:

Пароход по Волге плавал,
Волга-матушка река...

А остальные суровые участники заседания пророкотали припев:

Сире-энь цвяте-от...

Резолюция по докладу председателя месткома так и не была вынесена. Раздавались звуки пианино. Заведующий музыкальным сопровождением Х. Иванов извлекал из инструмента самые лирические ноты. Виртуоз плелся за Мурочкой и, не находя собственных слов для выражения любви, бормотал слова романса:

— Не уходи! Твои лобзанья жгучи, я лаской страстную еще не утомлен. В ущельях гор не просыпались тучи, звездой жемчужною не гаснул небосклон...

Симбиевич-Синдиевич, уцепившись за поручни, созерцал небесную бездну. По сравнению с ней вещественное оформление «Женитьбы» казалось ему возмутительным свинством. Он с гадливостью посмотрел на свои руки, принимавшие ярое участие в вещественном оформлении классической комедии.

В момент наивысшего томления расположившиеся на корме Галкин, Палкин, Малкин, Чалкин и Залкинд ударили в свои аптекарские и пивные принадлежности. Они репетировали. Мираж рассеялся сразу. Агафья Тихонова зевнула и, не обращая внимания на виртуоза-вздыхателя, пошла спать. В душах месткомовцев снова зазвучал гендоговор, и они взялись за резолюцию. Симбиевич-Синдиевич после зрелого размышления пришел к тому, что оформление «Женитьбы» не так уж плохо. Раздраженный голос из темноты звал Жоржетту Тираспольских на совещание к режиссеру. В деревнях лаяли собаки. Стало свежо.

¹ *Ракетный порошок* — металлический порошок для производства фейерверков и бенгальских огней, именно он дает разноцветные огни.

В каюте первого класса Остап, лежа на кожаном диване и задумчиво глядя на пробочный пояс, обтянутый зеленой парусиной, допрашивал Ипполита Матвеевича:

— Вы умеете рисовать? Очень жаль. Я, к сожалению, тоже не умею.

Он подумал и продолжал:

— А буквы — вы умеете? Тоже не умеете? Совсем нехорошо! Ведь мы — то художники! Ну, дня два можно будет мотать, а потом выкинут. За эти два дня мы должны успеть сделать все, что нам нужно. Положение несколько затруднилось. Я узнал, что стулья находятся в каюте режиссера. Но и это, в конце концов, не страшно. Важно то, что мы на пароходе. Пока нас не выкинули, все стулья должны быть осмотрены. Сегодня уже поздно. Режиссер спит в своей каюте.

ГЛАВА XXXIII

Нечистая пара

Наутро первым на палубе оказался репортер Персицкий. Он успел уже принять душ и посвятить десять минут гимнастическим экзерсисам. Люди еще спали, но река жила, как днем. Шли плоты — огромные поля бревен с избами на них. Маленький злой буксир, на колесном кожухе которого дугой было выписано его имя — «Повелитель бурь», тащил за собой три нефтяные баржи, связанные в ряд. Пробежал снизу быстрый почтовик «Красная Латвия». «Скрябин» обогнал землечерпательный караван и, промеряя глубину полосатеньким шестом, стал описывать дугу, заворачивая против течения.

Персицкий приложил к биноклю и стал глядеть на пристань.

— «Бармино», — прочел он пристанскую вывеску.

На пароходе стали просыпаться. На пристань полетела гирька со шпагатом. На этой леске пристанские потащили к себе толстый конец причального каната. Винты завертелись в обратную сторону. Полреки облилось шевелящейся пеной. «Скрябин» задрожал от резких ударов винта и всем боком пристал к дебаркадеру. Было еще рано. Поэтому тираж решили начать в десять часов.

Служба на «Скрябине» начиналась, словно бы и на суше, аккуратно в девять. Никто не изменил своих привычек. Тот, кто на суше опаздывал на службу, опаздывал и здесь, хотя спал в самом же учреждении. К новому укладу походные штаты Наркомфина привыкли довольно быстро.

Курьеры подметали каюты с тем равнодушием, с каким подметали канцелярии в Москве. Уборщицы разносили чай, бегали с бумажками из регистратуры в личный стол, ничуть не удивляясь тому, что личный стол помещается на корме, а регистратура на носу. Из каюты взаимных расчетов несся каста-



ньетный звук счетов и скрежетанье арифмометра. Перед капитанской рубкой кого-то распекали.

Великий комбинатор, обжигая босые ступни о верхнюю палубу, ходил вокруг длинной узкой полосы кумача, малюя на ней лозунг, с текстом которого он поминутно сверялся по бумажке: «Все — на тираж! Каждый трудящийся должен иметь в кармане облигацию госзайма».

Великий комбинатор очень старался, но отсутствие способностей все-таки сказывалось. Надпись поползла вниз, и кусок кумача, казалось, был испорчен безнадежно. Тогда Остап, с помощью мальчика Кисы, перевернул дорожку наизнанку и снова принялся малевать. Теперь он стал осторожнее. Прежде чем наляпывать буквы, он отбил вымеленной веревочкой две параллельных линии и, тихо ругая неповинного Воробьянинова, приступил к изображению слов.

Ипполит Матвеевич добросовестно выполнял обязанности мальчика. Он сбега́л вниз за горячей водой, растапливал клей, чихая, сыпал в ведро краски и угодливо заглядывал в глаза взыскательного художника. Готовый и высушенный лозунг concessionеры снесли вниз и прикрепили к борту.

Толстячок, нанявший Остапа, сбежал на берег и оттуда смотрел работу нового художника. Буквы лозунга были разной толщины и несколько скошены в стороны. Выхода, однако, не было — приходилось довольствоваться и этим.

На берег сошел духовой оркестр и принялся выдувать горячительные марши. На звуки музыки со всего Бармина сбежались дети, а за ними из яблоневого сада двинулись мужики и бабы. Оркестр гремел до тех пор, пока на берег не сошли члены тиражной комиссии. Начался митинг. С крыльца чайной Коробкова полились первые звуки доклада о международном положении.

Колумбовцы глазели на собрание с парохода. Оттуда видны были белые платочки баб, опасливо стоявших поодаль от крыльца, недвижимая толпа мужиков, слушавших оратора, и сам оратор, время от времени взмахивавший руками. Потом заиграла музыка. Оркестр повернулся и, не переставая играть, двинулся к сходням. За ним повалила толпа.

— Одну минуту! — закричал с борта толстячок. — Сейчас, товарищи, мы будем производить тираж выигрышного займа. Поэтому просим всех на пароход. По окончании тиража состоится концерт. А потому — просьба по окончании тиража не расходиться, а собраться на берегу и оттуда смотреть. Артисты будут играть на палубе!

Толкая друг друга, все побежали на пароход и спустились в прохладный тиражный зал. Тиражная комиссия и включенные в нее представители села Бармина разместились на эстраде. Члены комиссии сделали это с достоинством, выработанным привычкой к подобного рода церемониям. Представители

ли же села (их было двое), в лаптях и полосатых синих рубашках, серьезно, с таким видом, как будто бы они шли молотить, направились к столу и сели с краю.

После осмотра печатей на тиражных колесах из публики был затребован ребенок.

— И вот, товарищи, ребенок на глазах у всех будет вынимать из этих шести цилиндров по одному билету. На каждом из них есть одна цифра. Все шесть цифр вместе составят цифру¹ той облигации, которая выиграла. Имеющие облигации пускай следят. Не имеющие — могут приобрести их тут же на пароходе.

Колеса завертелись, моргая стеклянными своими окошечками и остановились. Босой мальчик, трусая, опускал руку поочередно в каждый цилиндр, вынимал оттуда похожие на папиросы билетные трубочки и отдавал их членам комиссии.

Тиражный аппарат методически выбрасывал комбинации цифр. Колеса оборачивались, оглашались номера, барминцы смотрели и слушали.

Прибежал на минуту Остап, убедился в том, что все обитатели парохода сидят в тиражном зале, и снова убежал на палубу.

— Воробьянинов, — шепнул он, — для вас срочное дело по художественной части. Встаньте у выхода из коридора первого класса и стойте. Если кто будет подходить, — пойте погромче.

Старик опешил.

— Что же мне петь?

— Уж во всяком случае не «Боже, царя храни!». Что-нибудь страстное: «Яблочко» или «Сердце красавицы». Но предупреждаю, если вы вовремя не вступите со своей арией! Это вам не Экспериментальный театр! Голову оторву.

Великий комбинатор, прилепывая босыми пятками, выбежал в коридор, обшитый вишневыми панелями. На секунду большое зеркало в конце коридора отразило его фигуру. Он читал табличку на двери: «Ник. Сестрин. Режиссер театра Колумба». Зеркало очистилось. Затем в нем снова появился великий комбинатор. В руке он держал стул с гнутыми ножками. Он промчался по коридору, вышел на палубу и, переглянувшись с Ипполитом Матвеевичем, понес стул наверх, к рубке рулевого. В стеклянной рубке не было никого. Остап отнес стул на корму и наставительно сказал:

— Стул будет стоять здесь до ночи. Я все обдумал. Здесь почти никто не бывает, кроме нас. Давайте прикроем стул плакатами, а когда стемнеет, спокойно ознакомимся с его содержимым.

¹ Раньше в русском языке слово «цифра» означало также и число. В Толковом словаре В. И. Даля такое определение: «цифра — ж. численный знак. Простых, одиночных цифр по нашему десять, а сложных — без числа».

Через минуту стул, заваленный фанерными листами и кумачом, перестал быть виден.

Ипполита Матвеевича снова охватила золотая лихорадка.

— А почему бы не отнести его в нашу каюту? — спросил он нетерпеливо. — Мы б его вскрыли сейчас же. И если бы нашли бриллианты, то сейчас же на берег...

— А если бы не нашли? Тогда что? Куда его девать? Или, может быть, отнести его назад к гражданину Сестрину и вежливо сказать: «Извините, мол, мы у вас стульчик украли, но, к сожалению, ничего в нем не нашли, так что, мол, получите назад в несколько испорченном виде!» Так бы вы поступили?

Великий комбинатор был прав, как всегда. Ипполит Матвеевич оправился от смущения только в ту минуту, когда с палубы понеслись звуки увертюры, исполняемой на кружках Эсмарха и пивных батареях.

Тиражные операции на этот день были закончены. Зрители разместились на береговых склонах и, сверх всякого ожидания, шумно выражали свое одобрение аптечно-негритянскому ансамблю. Галкин, Палкин, Малкин, Чалкин и Залкинд гордо поглядывали, как бы говоря: «Вот видите! А вы утверждали, что широкие массы не поймут. Искусство, оно всегда доходит!»

Затем на импровизированной сцене колумбовцами был разыгран легкий водевиль с пением и танцами, содержание которого сводилось к тому, как Вавила выиграл пятьдесят тысяч рублей и что из этого вышло. Артисты, сбросившие с себя путы никсестринского конструктивизма, играли весело, танцевали энергично и пели милыми голосами. Берег был вполне удовлетворен.

Вторым номером выступил виртуоз-балалаечник. Берег покрылся улыбками.

«Барыня, барыня, — вырабатывал виртуоз, — сударыня-барыня».

Балалайка пришла в движение. Она перелетала за спину артиста, и из-за спины слышалось: «Если барин при цепочке, значит, барин без часов». Она взлетала на воздух и за короткий свой полет выпускала немало труднейших вариаций.

Наступил черед Жоржетты Тираспольских. Она вывела с собой табунчик девушек в сарафанах. Концерт закончился русскими плясками.

Пока «Скрябин» готовился к дальнейшему плаванью, пока капитан переговаривался в трубку с машинным отделением и пароходные топки пылали, грея воду, духовой оркестр снова сошел на берег и, к общему удовольствию, стал играть танцы. Образовались живописные группы, полные движения. Закатывающееся солнце посылало мягкий абрикосовый свет. Наступил идеальный час для киносъемки. И, действительно, оператор Полкан, позевывая, вышел из каюты. Воробьянинов, который уже свыкся с амплуа всеобщего мальчика, осторожно нес за Полканом съемочный аппарат. Полкан



подошел к борту и воззрился на берег. Там на траве танцевали солдатскую польку. Парни топали босыми ногами с такой силой, будто хотели расколоть нашу планету. Девушки плыли. На террасах и съездах берега расположились зрители. Французский кинооператор из группы «Авангард» нашел бы здесь работы на трое суток. Но Полкан, скользнув по берегу крысиными глазками, сейчас же отвернулся, иноходью подбежал к председателю комиссии, поставил его к белой стенке, сунул в его руку книгу и, попросив не шевелиться, долго и плавно вертел ручку аппарата. Потом он увел стеснявшегося председателя на корму и снял его на фоне заката.

Закончив съемку, Полкан важно удалился в свою каюту и заперся.

Снова заревел гудок, и снова солнце в испуге убежало. Наступила вторая ночь. Пароход был готов к отходу.

Остап со страхом помышлял о завтрашнем утре. Ему предстояло вырезать в листе картона фигуру сеятеля, разбрасывающего облигации. Этот художественный искуc был не по плечу великому комбинатору. Если с буквами Остап кое-как справлялся, то для художественного изображения сеятеля уже не оставалось никаких ресурсов.

— Так имейте в виду, — предостерегал толстяк, — с Васюков мы начинаем вечерние тиражи, и нам без транспаранта никак нельзя.

— Пожалуйста, не беспокойтесь, — заявил Остап, надеясь больше не на завтрашнее утро, а на сегодняшний вечер, — транспарант будет.

После ужина, на качество которого не могли пожаловаться даже такие гурманы, как Галкин, Палкин, Малкин, Чалкин и Залкинд, после таких разговоров на корме:

— А как будет со сверхурочными?

— Вам хорошо известно, что без разрешения инспекции труда мы не можем допустить сверхурочных.

— Простите, дорогой товарищ, наша работа протекает в условиях ударной кампании...

— А почему же вы не запаслись разрешением в Москве?

— Москва разрешит постфактум.

— Пусть тогда постфактум и работают.

— В таком случае я не отвечаю за работу комиссии.

После всех этих и иных разговоров наступила звездная ветреная ночь. Население тиражного ковчега уснуло.

Львы из тиражной комиссии спали. Спали ягнята из личного стола, козлы из бухгалтерии, кролики из отдела взаимных расчетов, гиены и шакалы звукового оформления и голубицы из машинного бюро.

Не спала только одна нечистая пара. Великий комбинатор вышел из своей каюты в первом часу ночи. За ним следовала бесшумная тень верного Кисы.

— Одно из двух, — сказал Остап, — или — или.

Они поднялись на верхнюю палубу и неслышно приблизились к стулу, укрытому листами фанеры. Осторожно разобрав прикрытие, Остап поставил стул на ножки, сжав челюсти, вспорол плоскогубцами обшивку и залез рукой под сиденье.

Ветер бегал по верхней палубе. В небе легонько пошевеливались звезды. Под ногами, глубоко внизу, плескалась черная вода. Берегов не было видно. Ипполита Матвеевича трясло.

— Есть! — сказал Остап придушенным голосом.

Письмо отца Федора, писанное им в Баку из меблированных комнат «Стоимость» жене своей в уездный город N

«Дорогая и бесценная моя Катя!

С каждым часом приближаемся мы к нашему счастью. Пишу я тебе из меблированных комнат „Стоимость“ после того, как побывал по всем делам. Город Баку очень большой. Здесь, говорят, добывается керосин, но туда нужно ехать на электрическом поезде, а у меня нет денег. Живописный город омывается Каспийским морем. Оно действительно очень велико по размерам. Жара здесь страшная. На одной руке ношу пальто, на другой пиджак, — и то жарко. Руки преют. То и дело балуюсь чайком. А денег почти что нет. Но не беда, голубушка Катерина Александровна, скоро денег у нас будет во множе-

стве. Побываем всюду, а потом осядем по-хорошему в Самаре, подле своего заводика, и наливочку будем распивать. Впрочем, ближе к делу.

По своему географическому положению и по количеству народонаселения город Баку значительно превышает город Ростов. Однако уступает городу Харькову по своему движению. Иностранцев здесь множество. А особенно много здесь армяшек и персиян. Здесь, матушка моя, до Тюрции недалеко. Был я и на базаре. И видел я много тюрецких вещей и шалей. Захотел тебе в подарок купить мусульманское покрывало, только денег не было. И подумал я, что когда мы разбогатеем (а до этого днями нужно считать), тогда и мусульманское покрывало купить можно будет.

Ох, матушка, забыл тебе написать про два страшных случая, происшедших со мною в городе Баку: 1) уронил пиджак брата твоего, булочника, в Каспийское море и 2) в меня на базаре плюнул одnogорбый верблюд. Эти оба происшествия меня крайне удивили. Почему власти допускают такое бесчинство над проезжими пассажирами, тем более, что верблюда я не тронул, а даже сделал ему приятное — пощекотал хворостинкой в ноздре! А пиджак ловили всем обществом, еле выловили, а он возьми и окажись весь в керосине. Уж я и не знаю, что скажу твоему брату-булочнику. Ты, голубка, пока что держи язык за зубами. Обедает ли еще Евстигнеев, а если нет, то почему?

Перечел письмо и увидел, что о деле ничего не успел тебе рассказать. Инженер Брунс действительно работает в Азнефти. Только в городе Баку его сейчас нету. Он уехал в отпуск в город Батум. Семья его имеет в Батуме постоянное местожительство. Я говорил тут с людьми, и они говорят, что, действительно, в Батуме у Брунса вся мебелировка. Живет он там на даче, на Зеленом Мысу, — такое там есть дачное место (дорогое, говорят). Пути отсюда до Батума — на 15 рублей с копейками. Вышли двадцать сюда телеграфом, а из Батума все тебе протелеграфирую. Распространяй по городу слухи, что я все еще нахожусь у одра тетеньки в Воронеже. Твой вечно муж Федя.

Постскриптум: Относя письмо в почтовый ящик, у меня украли в номерах „Стоимость“ пальто брата твоего, булочника. Я в таком горе! Хорошо, что теперь лето! Ты брату ничего не говори».

ГЛАВА XXXIV

Изгнание из рая

Между тем как одни герои романа были убеждены в том, что время терпит, а другие полагали, что время не ждет, время шло обычным своим порядком. За пыльным московским маем пришел пыльный июнь. В уездном городе N автомобиль Гос. № 1, повредившись на ухабе, стоял уже две

недели на углу Старопанской площади и улицы «Имени товарища Губернского», время от времени заволакивая окрестность отчаянным дымом. Из старгородского допра выходили поодиночке сконфуженные участники заговора «Меча и орала» — у них была взята подписка о невыезде. Вдова Грицадуева (знойная женщина, мечта поэта) возвратилась к своему бакалейному делу и была оштрафована на пятнадцать рублей за то, что не вывесила на видном месте прейскурант цен на мыло, перец, синьку и прочие мелочные товары, — забывчивость, простительная женщине с большим сердцем!

— Есть! — повторил Остап сорвавшимся голосом. — Держите!

Ипполит Матвеевич принял в свои трепещущие руки плоский деревянный ящичек. Остап в темноте продолжал рыться в стуле. Блеснул береговой маячок. На воду лег золотой столбик и поплыл за пароходом.

— Что за черт! — сказал Остап. — Больше ничего нет!

— Н-н-не может быть, — пролепетал Ипполит Матвеевич.

— Ну, вы тоже посмотрите!

Воробьянинов не дыша пал на колени и по локоть всунул руку под сиденье. Между пальцами он ощутил основание пружины. Больше ничего твердого не было. От стула шел сухой мерзкий запах потревоженной пыли.

— Нету? — спросил Остап.

— Нет.

Тогда Остап приподнял стул и выбросил его далеко за борт. Послышался тяжелый всплеск. Вздрагивая от ночной сырости, концессионеры в сомнении вернулись к себе в каюту.

— Так, — сказал Бендер. — Что-то мы во всяком случае нашли.

Ипполит Матвеевич достал из кармана ящичек. Воробьянинов осовело посмотрел на него.

— Давайте, давайте! Чего глаза пялите!

Ящичек открыли. На дне лежала медная позеленевшая пластинка с надписью:

Мастеръ Гамбсъ этимъ полукресломъ
начинаетъ новую партію мебели.

1865 г.

Санктъ-Петербургъ.

Надпись эту Остап прочел вслух.

— А где же бриллианты? — спросил Ипполит Матвеевич.

— Вы поразительно догадливы, дорогой охотник за табуретками! Бриллиантов, как видите, нет.

На Воробьянинова было жалко смотреть. Отросшие слегка усы двигались, стекла пенсне были туманны. Казалось, что в отчаянии он бьет себя ушами по щекам.

Холодный, рассудительный голос великого комбинатора оказал свое обычное магическое действие. Воробьянинов вытянул руки по вытертым швам и замолчал.

— Молчи, грусть, молчи. Киса! Когда-нибудь мы посмеемся над дурацким восьмым стулом, в котором нашлась глупая дощечка. Держитесь. Тут есть еще три стула — девяносто девять шансов из ста!

За ночь на щеке огорченного до крайности Ипполита Матвеевича выскочил вулканический прыщ. Все страдания, все неудачи, вся мука погони за бриллиантами — все это, казалось, ушло в прыщ и отливало теперь перламутром, закатной вишней и синькой.

— Это вы нарочно? — спросил Остап.

Ипполит Матвеевич конвульсивно вздохнул, и высокий, чуть согнутый, как удочка, пошел за красками. Началось изготовление транспаранта. Концессионеры трудились на верхней палубе.

И начался третий день плавания.

Начался он короткой стычкой духового оркестра со звуковым оформлением из-за места для репетиций.

После завтрака к корме, одновременно с двух сторон, направились здоровяки с медными трубами и худые рыцари эсмарховских кружек. Первым на кормовую скамью успел усесться Галкин. Вторым прибежал кларнет из духового оркестра.

— Место занято, — хмуро сказал Галкин.

— Кем занято? — зловеще спросил кларнет.

— Мною, Галкиным.

— А еще кем?

— Палкиным, Малкиным, Чалкиным и Залкиным.

— А Елкина у вас нет? Это наше место.

С обеих сторон приблизились подкрепления. Трижды опоясанный медным змеем-горынычем стоял геракисофон¹ — самая мощная машина в оркестре. Покачивалась похожая на ухо валторна. Тромбоны стояли в полной боевой готовности. Солнце тысячу раз отразилось в боевых доспехах.

Темно и мелко выглядело звуковое оформление. Там мигало бутылочное стекло, бледно светились клистирные кружки, и саксофон — возмутитель-

¹ Так авторы в шутку называли геликон — самый большой медный духовой инструмент.

ная пародия на духовой инструмент, семенная вытяжка из настоящей духовой трубы — был жалок и походил на носогрейку.

— Клистирный батальон, — сказал задира кларнет, — претендует на место.

— Вы, — сказал Залкинд, стараясь подыскать наиболее обидное выражение, — вы — консерваторы от музыки!

— Не мешайте нам репетировать!

— Это вы нам мешаете.

— Вам помешаешь! На ваших ночных посудинах чем меньше репетируешь, тем красивше выходит.

— А на ваших самоварах, репетируй не репетируй, ни черта не получится.

Не придя ни к какому соглашению, обе стороны остались на месте и упрямо заиграли каждая свое. Вниз по реке понеслись звуки, какие мог бы издать только трамвай, медленно проползающий по стеклу. Духовики исполняли марш Кексгольмского лейб-гвардии полка, а звуковое оформление — негрскую пляску «Антилопа у истоков Замбези». Скандал был прекращен личным вмешательством председателя тиражной комиссии.



В одиннадцатом часу великий труд был закончен. Пятясь задом, Остап и Воробьянинов потащили транспарант к капитанскому мостику. Перед ним, воздев руки к звездам, бежал толстячок, заведующий хозяйством. Общими усилиями транспарант был привязан к поручням. Он высился над пассажирской палубой как экран. В полчаса электротехник подвел к спине транспаранта провода и приладил внутри его три лампочки, Оставалось повернуть выключатель.

Впереди, вправо по носу, уже сквозили огоньки города Васюки.

На торжество освещения транспаранта заведующий хозяйством созвал все население парохода. Ипполит Матвеевич и великий комбинатор смотрели на собравшихся сверху, стоя по бокам темной еще скрижали.

Всякое событие на пароходе принималось плавучим учреждением близко к сердцу. Машинистки, курьеры, ответственные работники, колумбовцы и парходная команда столпились, задрав головы, на пассажирской палубе.

— Давай! — скомандовал толстячок.

Транспарант осветился.

Остап посмотрел вниз, на толпу. Розовый свет лег на лица. Зрители смеялись. Потом наступило молчание. И суровый голос снизу сказал:

— Где завхоз?

Голос был настолько ответственный, что завхоз, не считая ступенек, кинулся вниз.

— Посмотрите, — сказал голос, — полюбуйтесь на вашу работу!

— Сейчас вытурят! — шепнул Остап Ипполиту Матвеевичу.

И точно, на верхнюю палубу, как ястреб, вылетел толстячок.

— Ну, как транспарантик? — нахально спросил Остап. — Доходит?

— Собирайте вещи! — закричал завхоз.

— К чему такая спешка?

— Со-би-рай-те вещи! Вон! Вы под суд пойдете! Наш начальник не любит шутить!

— Гоните его! — донесся снизу ответственный голос.

— Нет, серьезно, вам не нравится транспарант? Это в самом деле неважный транспарант?

Продолжать игру не имело смысла. «Скрябин» уже пристал к Васюкам, и с парохода можно было видеть ошеломленные лица васюкинцев, столпившихся на пристани.

В деньгах категорически было отказано. На сборы было дано пять минут.

— Сучья лапа, — сказал Симбиевич-Синдиевич, когда компаньоны сходили на пристань. — Поручили бы оформление транспаранта мне. Я б его так сделал, что никакой Мейерхольд за мной бы не утнулся.

На пристани концессионеры остановились и посмотрели вверх. В черных небесах сиял транспарант.

— М-да, — сказал Остап, — транспарантик довольно дикий. Мизерное исполнение.

Рисунок, сделанный хвостом непокорного мула, по сравнению с транспарантом Остапа показался бы музейной ценностью. Вместо сеятеля, разбрасывающего облигации, шкодливая рука Остапа изобразила некий обрубок с сахарной головой и тонкими плетями вместо рук.

Позади концессионеров пылал светом и гремел музыкой пароход, а впереди, на высоком берегу, был мрак уездной полночи, собачий лай и далекая гармошка.

— Резюмирую положение, — сказал Остап жизнерадостно. — Пассив: ни гроша денег, три стула уезжают вниз по реке, ночевать негде и ни одного значка деткомиссии. Актив: путеводитель по Волге издания 1926 года (пришлось позаимствовать у мосье Симбиевича в каюте). Бездефицитный баланс подвести очень трудно. Ночевать придется на пристани.

Концессионеры устроились на пристанских лавках. При свете дрянного керосинового фонаря Остап прочел из путеводителя:

«На правом высоком берегу — город Васюки. Отсюда отправляются лесные материалы, смола, лыко, рогожи, а сюда привозятся предметы широкого потребления для края, отстоящего на 50 километров от железной дороги. В городе 8000 жителей, государственная картонная фабрика с 320 рабочими, маленький чугунолитейный, пивоваренный и кожевенный заводы. Из учебных заведений, кроме общеобразовательных, лесной техникум».

— Положение гораздо серьезнее, чем я предполагал, — сказал Остап. — Выколотить из васюкинцев деньги представляется мне пока что неразрешимой задачей. А денег нам нужно не менее тридцати рублей. Во-первых, нам нужно питаться и — во-вторых — обогнать тиражную лоханку и встретиться с колумбовцами на суше, в Сталинграде.

Ипполит Матвеевич свернулся, как старый худой кот после стычки с молодым соперником — кипучим владельцем крыш, чердаков и слуховых окон.

Остап разгуливал вдоль лавок, соображая и комбинируя. К часу ночи великолепный план был готов. Бендер улегся рядом с компаньоном и заснул.

ГЛАВА XXXV

Междупланетный шахматный конгресс

С утра по Васюкам ходил высокий худой старик в золотом пенсне и в коротких, очень грязных, испачканных красками сапогах. Он налепливал на стены рукописные афиши:

22 июня 1927 г.
В помещении клуба «Картонажник»
состоится
лекция на тему
«Плодотворная дебютная идея»
и
сеанс одновременной игры в шахматы
на 160 досках
гроссмейстера (старший мастер) О. Бендера.
Все приходят со своими досками.
Плата за игру — 50 коп.
Плата за вход — 20 коп.
Начало ровно в 6 час. веч.
Администратор К. Михельсон.

Сам гроссмейстер тоже не терял времени. Заарендовав клуб за три рубля, он перебрался в шахсекцию, которая почему-то помещалась в коридоре управления коннозаводством.

В шахсекции сидел одноглазый человек и читал роман Шпильгагена в пантелеевском издании¹.

— Гроссмейстер О. Бендер! — заявил Остап, присаживаясь на стол. — Устраиваю у вас сеанс одновременной игры.

Единственный глаз васюкинского шахматиста раскрылся до пределов, дозволенных природой.

— Сию минуточку, товарищ гроссмейстер! — крикнул одноглазый. — Присядьте, пожалуйста. Я сейчас.

И одноглазый убежал. Остап осмотрел помещение шахматной секции. На стенах висели фотографии беговых лошадей, а на столе лежала запыленная конторская книга с заголовком: «Достижения Васюкинской шахсекции за 1925 год».

Одноглазый вернулся с дюжиной граждан разного возраста. Все они по очереди подходили знакомиться, называли фамилии и почтительно жали руку гроссмейстера.

— Проездом в Казань, — говорил Остап отрывисто, — да, да, сеанс

¹ Фр. Шпильгаген (1829–1911) — немецкий писатель, автор популярных в России социально-политических романов. Обратил на себя впервые внимание широких слоев общества романом «Один в поле не воин». Почти все романы Шпильгагена переведены на русский язык по многу раз; были изданы два «Собрания сочинений»: одно в 8 т., другое в 30 т.

сегодня вечером, приходите. А сейчас, простите, не в форме: устал после Карлсбадского турнира.

Васюкинские шахматисты внимали Остапу с сыновней любовью. Остапа понесло. Он почувствовал прилив новых сил и шахматных идей.

— Вы не поверите, — говорил он, — как далеко двинулась шахматная мысль. Вы знаете, Ласкер дошел до пошлых вещей, с ним стало невозможно играть. Он обкуривает своих противников сигарами. И нарочно курит дешевые, чтобы дым противней был. Шахматный мир в беспокойстве.

Гроссмейстер перешел на местные темы.

— Почему в провинции нет никакой игры мысли? Например, вот ваша шахсекция. Так она и называется: шахсекция. Скучно, девушки! Почему бы вам, в самом деле, не назвать ее как-нибудь красиво, истинно по-шахматному. Это вовлекло бы в секцию союзную массу. Назвали бы, например, вашу секцию: «Шахматный клуб четырех коней», или «Красный эндшпиль», или «Потеря качества при выигрыше темпа». Хорошо было бы! Звучно!

Идея имела успех.

— И в самом деле, — сказали васюкинцы, — почему бы не переименовать нашу секцию в «Клуб четырех коней»?

Так как бюро шахсекции было тут же, Остап организовал под своим почетным председательством минутное заседание, на котором секцию единогласно переименовали в «Шахклуб четырех коней». Гроссмейстер собственноручно, пользуясь уроками «Скрябина», художественно выполнил на листе картона вывеску с четырьмя конями и соответствующей надписью.

Это важное мероприятие сулило расцвет шахматной мысли в Васюках.

— Шахматы! — говорил Остап. — Знаете ли вы, что такое шахматы? Они двигают вперед не только культуру, но и экономику! Знаете ли вы, что ваш «Шахматный клуб четырех коней», при правильной постановке дела, сможет совершенно преобразить город Васюки?

Остап со вчерашнего дня еще ничего не ел. Поэтому красноречие его было необыкновенно.

— Да! — кричал он. — Шахматы обогащают страну! Если вы согласитесь на мой проект, то спускаться из города на пристань вы будете по мраморным лестницам! Васюки станут центром десяти губерний! Что вы раньше слышали о городе Земмеринге? Ничего! А теперь этот городишко богат и знаменит только потому, что там был организован международный турнир. Поэтому я говорю: в Васюках надо устроить международный шахматный турнир.

— Как? — закричали все.

— Вполне реальная вещь, — ответил гроссмейстер, — мои личные связи и ваша самодеятельность — вот все необходимое и достаточное для организации международного васюкинского турнира. Подумайте над тем, как

красиво будет звучать: «Международный васюкинский турнир 1927 года». Приезд Хосе Рауля Капабланки, Эмануила Ласкера, Алехина, Нимцовича, Рети, Рубинштейна, Мароци, Тарраша, Видмара и доктора Григорьева обеспечен. Кроме того, обеспечено и мое участие!

— Но деньги, — застонали васюкинцы. — Им же всем нужно деньги платить! Много тысяч денег! Где же их взять?

— Все учтено могучим ураганом, — сказал О. Бендер, — деньги дадут сборы.

— Кто же у нас будет платить такие бешеные деньги? Васюкинцы...

— Какие там васюкинцы! Васюкинцы денег платить не будут. Они будут их по-лу-чать! Это же все чрезвычайно просто. Ведь на турнир с участием таких величайших вельтмейстеров съедутся любители шахмат всего мира. Сотни тысяч людей, богато обеспеченных людей, будут стремиться в Васюки. Во-первых, речной транспорт такого количества пассажиров поднять не сможет. Следовательно, НКПС построит железнодорожную магистраль Москва—Васюки. Это — раз. Два — это гостиницы и небоскребы для размещения гостей. Три — поднятие сельского хозяйства в радиусе на тысячу километров: гостей нужно снабжать — овощи, фрукты, икра, шоколадные конфеты. Дворец, в котором будет происходить турнир, — четыре. Пять — постройка гаражей для гостевого автотранспорта. Для передачи всему миру сенсационных результатов турнира придется построить сверхмощную радиостанцию. Это — в-шестых. Теперь относительно железнодорожной магистрали Москва—Васюки. Несомненно, таковая не будет обладать такой пропускной способностью, чтобы перевезти в Васюки всех желающих. Отсюда вытекает аэропорт «Большие Васюки» — регулярное отправление почтовых самолетов и дирижаблей во все концы света, включая Лос-Анджелес и Мельбурн.

Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушел стеклянный тридцатитрехэтажный дворец шахматной мысли. В каждом его зале, в каждой комнате и даже в пронсящихся пулей лифтах сидели вдумчивые люди и играли в шахматы на инкрустированных малахитом досках.

Мраморные лестницы действительно ниспадали в синюю Волгу. На реке стояли океанские пароходы. По фуникулерам подымались в город мордатые иностранцы, шахматные леди, австралийские поклонники индийской защиты, индусы в белых тюрбанах, приверженцы испанской партии, немцы, французы, новозеландцы, жители бассейна реки Амазонки и завидующие васюкинцам — москвичи, ленинградцы, киевляне, сибиряки и одесситы.

Автомобили конвейером двигались среди мраморных отелей. Но вот — все остановилось. Из фешенебельной гостиницы «Проходная пешка» вышел чемпион мира Хосе Рауль Капабланка-и-Граупера. Его окружали дамы.

Милиционер, одетый в специальную шахматную форму (галифе в клетку и слоны на петлицах), вежливо откозырял. К чемпиону с достоинством подошел одноглазый председатель васюкинского «Клуба четырех коней». Беседа двух светил, ведшаяся на английском языке, была прервана прилетом доктора Григорьева и будущего чемпиона мира Алехина. Приветственные крики потрясли город. Хосе Рауль Капабланка-и-Граупера поморщился. По мановению руки одноглазого к аэроплану была подана мраморная лестница. Доктор Григорьев сбегал по ней, приветственно размахивая новой шляпой и комментируя на ходу возможную ошибку Капабланки в предстоящем его матче с Алехиным.

Вдруг на горизонте была усмотрена черная точка. Она быстро приближалась и росла, превратившись в большой изумрудный парашют. Как большая редька, висел на парашютном кольце человек с чемоданчиком.

— Это он! — закричал одноглазый. — Ура! Ура! Ура! Я узнаю великого философа-шахматиста, доктора Ласкера. Только он один во всем мире носит такие зеленые носочки.

Хосе Рауль Капабланка-и-Граупера снова поморщился.

Ласкеру проворно подставили мраморную лестницу, и бодрый экс-чемпион, сдувая с левого рукава пылинку, севшую на него во время полета над Силезией, упал в объятия одноглазого. Одноглазый взял Ласкера за талию, подвел его к чемпиону и сказал:

— Помиритесь! Прошу вас от имени широких васюкинских масс! Помиритесь!

Хосе Рауль шумно вздохнул и, потрясая руку старого ветерана, сказал:

— Я всегда преклонялся перед вашей идеей перевода слона в испанской партии с b5 на c4.

— Ура! — воскликнул одноглазый. — Просто и убедительно, в стиле чемпиона!

И вся невообразимая толпа подхватила:

— Ура! Виват! Банзай! Просто и убедительно, в стиле чемпиона!!!

Энтузиазм дошел до апогея. Завидя маэстро Дуза-Хотимирского и маэстро Перекатова, плывших над городом в яйцевидном оранжевом дирижабле, одноглазый взмахнул рукой. Два с половиной миллиона человек в одном воодушевленном порыве запели:

Чудесен шахматный закон и непреложен:

Кто перевес хотя б ничтожный получил

В пространстве, массе, времени, напоре сил,

Лишь для того прямой к победе путь возможен.

Экспрессы подкатывали к двенадцати васюкинским вокзалам, высаживая все новые и новые толпы шахматных любителей.



К одноглазому подбежал скороход.

— Смятение на сверхмощной радиостанции. Требуется ваша помощь.

На радиостанции инженеры встретили одноглазого криками:

— Сигналы о бедствии! Сигналы о бедствии!

Одноглазый нахлобучил радионаушники и прислушался.

— Уау, уау, уау! — неслись отчаянные крики в эфире. — SOS! Спасите наши души!

— Кто ты, умоляющий о спасении? — сурово крикнул в эфир одноглазый.

— Я — молодой мексиканец! — сообщили воздушные волны. — Спасите мою душу!

— Что вы имеете к «Шахматному клубу четырех коней»?

— Нижайшая просьба!

— А в чем дело?

— Я — молодой мексиканец Торре! Я только что выписался из сумасшедшего дома. Пустите меня на турнир! Пустите меня!

— Ах! Мне так некогда! — ответил одноглазый.

— SOS! SO! SOS! — заверещал эфир.

— Ну хорошо! Прилетайте уже!

— У меня нет де-е-нег! — донеслось с берегов Мексиканского залива.

— Ох уж эти мне молодые шахматисты, — вздохнул одноглазый. — Пошлите за ним мотовоздушную дрезину! Пусть едет!

Уже небо запыхало от светящихся реклам, когда по улицам города провели белую лошадь. Это была единственная лошадь, уцелевшая после механизации васюкинского транспорта. Особым постановлением она была переименована в коня, хотя и считалась всю жизнь кобылой. Почитатели шахмат приветствовали ее, размахивая пальмовыми ветвями и шахматными досками.

— Не беспокойтесь, — сказал Остап, — мой проект гарантирует вашему городу неслыханный расцвет производительных сил. Подумайте, что будет, когда турнир закончится и когда уедут все гости. Жители Москвы, стесненные жилищным кризисом, бросятся в ваш великолепный город. Столица автоматически переходит в Васюки. Сюда приезжает правительство. Васюки переименовываются в Нью-Москву, Москва — в Старые Васюки. Ленинградцы и харьковчане скрежещут зубами, но ничего не могут поделать. Нью-Москва становится эlegantнейшим центром Европы, а скоро и всего мира.

— Всего мира!!! — застонали оглушенные васюкинцы.

— Да! А впоследствии и вселенной. Шахматная мысль, превратившая уездный город в столицу земного шара, превратится в прикладную науку и изобретет способы межпланетного сообщения. Из Васюков полетят сигналы на Марс, Юпитер и Нептун. Сообщение с Венерой делается таким же легким, как переезд из Рыбинска в Ярославль. А там, как знать, может быть,

лет через восемь в Васюках состоится первый в истории мироздания междупланетный шахматный конгресс!

Остап вытер свой благородный лоб. Ему хотелось есть до такой степени, что он охотно съел бы зажаренного шахматного коня.

— Да-а, — выдавил из себя одноглазый, обводя пыльное помещение сумасшедшим взором, — но как же практически провести мероприятие в жизнь, подвести, так сказать, базу?

Присутствующие напряженно смотрели на гроссмейстера.

— Повторяю, что практически дело зависит только от вашей самостоятельности. Всю организацию, повторяю, я беру на себя. Материальных затрат никаких, если не считать расходов на телеграммы.

Одноглазый подталкивал своих соратников.

— Ну! — спрашивал он. — Что вы скажете?

— Устроим! Устроим! — гомонили васюкинцы.

— Сколько же нужно денег на... это... телеграммы?

— Смешная цифра, — сказал Остап, — сто рублей.

— У нас в кассе только двадцать один рубль шестнадцать копеек. Этого, конечно, мы понимаем, далеко не достаточно...

Но гроссмейстер оказался покладистым организатором.

— Ладно, — сказал он, — давайте ваши двадцать рублей.

— А хватит? — спросил одноглазый.

— На первичные телеграммы хватит. А потом начнется приток пожертвований, и денег некуда будет девать!

Упрятав деньги в зеленый походный пиджак, гроссмейстер напомнил собравшимся о своей лекции и сеансе одновременной игры на 160 досках, любезно распрощался до вечера и отправился в клуб «Картонажник» на свидание с Ипполитом Матвеевичем.

— Я голодаю, — сказал Воробьянинов трескучим голосом.

Он уже сидел за кассовым окошечком, но не собрал еще ни одной копейки и не мог купить даже фунта хлеба. Перед ним лежала проволочная зеленая корзиночка, предназначенная для сбора. В такие корзиночки в домах средней руки кладут ножи и вилки.

— Слушайте, Воробьянинов, — закричал Остап, — прекратите часа на полтора кассовые операции! Идем обедать в Нарпит. По дороге обрисую ситуацию. Кстати, вам нужно побриться и почиститься. У вас просто босяцкий вид. У гроссмейстера не может быть таких подозрительных знакомых.

— Ни одного билета не продал, — сообщил Ипполит Матвеевич.

— Не беда. К вечеру набегут. Город мне уже пожертвовал двадцать рублей на организацию международного шахматного турнира.

— Так зачем же нам сеанс одновременной игры? — зашептал администратор. — Ведь побить могут. А с двадцатью рублями мы сейчас же сможем

сесть на пароход — как раз «Карл Либкнехт» сверху пришел, — спокойно ехать в Сталинград и ждать там приезда театра. Авось там удастся вскрыть стулья. Тогда мы — богачи, и все принадлежит нам.

— На голодный желудок нельзя говорить такие глупые вещи. Это отрицательно влияет на мозг. За двадцать рублей мы, может быть, до Сталинграда и доедем. А питаться на какие деньги? Витамины, дорогой товарищ предводитель, даром никому не даются. Зато с экспансивных васюкинцев можно будет сорвать за лекцию и сеанс рублей тридцать.

— Побьют! — горько сказал Воробьянинов.

— Конечно, риск есть. Могут баки набить. Впрочем, у меня есть одна мыслишка, которая вас-то обезопасит, во всяком случае. Но об этом после. Пока что идем вкусить от местных блюд.

К шести часам вечера сытый, выбритый и пахнувший одеколоном гроссмейстер вошел в кассу клуба «Картонажник». Сытый и выбритый Воробьянинов бойко торговал билетами.

— Ну, как? — тихо спросил гроссмейстер.

— Входных — тридцать и для игры — двадцать, — ответил администратор.

— Шестнадцать рублей. Слабо, слабо!

— Что вы, Бендер, смотрите, какая очередь стоит! Неминуемо побьют!

— Об этом не думайте. Когда будут бить, будете плакать, а пока что не задерживайтесь! Учитесь торговать!

Через час в кассе было тридцать пять рублей. Публика волновалась в зале.

— Закрывайте окошечко! Давайте деньги! — сказал Остап. — Теперь вот что. Нате вам пять рублей, идите на пристань, наймите лодку часа на два и ждите меня на берегу пониже амбара. Мы с вами совершим вечернюю прогулку. Обо мне не беспокойтесь. Я сегодня в форме.

Гроссмейстер вошел в зал. Он чувствовал себя бодрым и твердо знал, что первый ход e2-e4 не грозит ему никакими осложнениями. Остальные ходы, правда, рисовались в совершенном уже тумане, но это несколько не смущало великого комбинатора. У него был приготовлен совершенно неожиданный выход для спасения даже самой безнадежной партии.

Гроссмейстера встретили рукоплесканиями. Небольшой клубный зал был увешан разноцветными бумажными флажками. Неделю тому назад состоялся вечер «Общества спасания на водах», о чем свидетельствовал также лозунг на стене: «Дело помощи утопающим — дело рук самих утопающих».

Остап поклонился, протянул вперед руки, как бы отвергая не заслуженные им аплодисменты, и взошел на эстраду.

— Товарищи! — сказал он прекрасным голосом. — Товарищи и братья по шахматам, предметом моей сегодняшней лекции служит то, о чем я читал и, должен признаться, не без успеха, в Нижнем-Новгороде неделю тому назад. Предмет моей лекции — плодотворная дебютная идея. Что такое, товарищи, дебют и что такое, товарищи, идея? Дебют, товарищи, — это «*Quasi una fantasia*». А что такое, товарищи, значит идея? Идея, товарищи, это человеческая мысль, облеченная в логическую шахматную форму. Даже с ничтожными силами можно овладеть всей доской. Все зависит от каждого индивидуума в отдельности. Например, вон тот блондинчик в третьем ряду. Положим, он играет хорошо...

Блондин в третьем ряду зарделся.

— А вон тот брюнет, допустим, хуже.

Все повернулись и осмотрели также брюнета.

— Что же мы видим, товарищи? Мы видим, что блондин играет хорошо, а брюнет играет плохо. И никакие лекции не изменят этого соотношения сил, если каждый индивидуум в отдельности не будет постоянно тренироваться в шашк... то есть я хотел сказать в шахматах... А теперь, товарищи, я расскажу вам несколько поучительных историй из практики наших уважаемых гипермодернистов Капабланки, Ласкера и доктора Григорьева.

Остап рассказал аудитории несколько ветхозаветных анекдотов, почерпнутых еще в детстве из «Синего журнала», и этим закончил интермедию.

Краткостью лекции все были слегка удивлены. И одноглазый не сводил своего единственного ока с гроссмейстеровой обуви.

Однако начавшийся сеанс одновременной игры задержал растущее подозрение одноглазого шахматиста. Вместе со всеми он расставлял столы покоем¹. Всего против гроссмейстера сели играть тридцать любителей. Многие из них были совершенно растеряны и поминутно глядели в шахматные учебники, освежая в памяти сложные варианты, при помощи которых надеялись сдать гроссмейстеру хотя бы после двадцать второго хода.

Остап скользнул взглядом по шеренгам «черных», которые окружали его со всех сторон, по закрытой двери и неустрашимо принялся за работу. Он подошел к одноглазому, сидевшему за первой доской, и передвинул королевскую пешку с клетки e2 на клетку e4.

Одноглазый сейчас же схватил свои уши руками и стал напряженно думать. По рядам любителей прошелестело:

— Гроссмейстер сыграл e2-e4.

Остап не баловал своих противников разнообразием дебютов. На остальных двадцати девяти досках он проделал ту же операцию: перета-

¹ В виде буквы П. «Покой» — старославянское название буквы.

шил королевскую пешку с e2 на e4. Один за другим любители хватались за волосы и погружались в лихорадочные рассуждения. Неиграющие переводили взоры за гроссмейстером. Единственный в городе фотолюбитель уже взгромоздился было на стул и собирался поджечь магний, но Остап сердито замахал руками и, прервав свое течение вдоль досок, громко закричал:

— Уберите фотографа! Он мешает моей шахматной мысли!

«С какой стати оставлять свою фотографию в этом жалком городишке. Я не люблю иметь дело с милицией», — решил он про себя.

Негодующее шиканье любителей заставило фотографа отказаться от своей попытки. Возмущение было так велико, что фотографа даже выперли из помещения.

На третьем ходу выяснилось, что гроссмейстер играет восемнадцать испанских партий. В остальных двенадцати черные применили хотя и устаревшую, но довольно верную защиту Филадельфии. Если б Остап узнал, что он играет такие мудреные партии и сталкивается с такой испытанной защитой, он крайне бы удивился. Дело в том, что великий комбинатор играл в шахматы второй раз в жизни.

Сперва любители, и первый среди них — одноглазый, пришли в ужас. Коварство гроссмейстера было несомненно. С необычайной легкостью и безусловно ехидничая в душе над отсталыми любителями города Васюки гроссмейстер жертвовал пешки, тяжелые и легкие фигуры направо и налево. Обаянному на лекции брюнету он пожертвовал даже ферзя. Брюнет пришел в ужас и хотел было немедленно сдаться, но только страшным усилием воли заставил себя продолжать игру.

Гром среди ясного неба раздался через пять минут.

— Мат! — пролепетал насмерть перепуганный брюнет. — Вам мат, товарищ гроссмейстер.

Остап проанализировал положение, позорно назвал «ферзя» «королевой» и высокопарно поздравил брюнета с выигрышем. Гул пробежал по рядам любителей.

«Пора рвать когти», — подумал Остап, спокойно расхаживая среди столов и небрежно переставляя фигуры.

— Вы неправильно коня поставили, товарищ гроссмейстер, — залез безил одноглазый. — Конь так не ходит.

— Пардон, пардон, извиняюсь, — ответил гроссмейстер, — после лекции я несколько устал.

В течение ближайших десяти минут гроссмейстер проиграл еще десять партий.

Удивленные крики раздавались в помещении клуба «Картонажник». Назревал конфликт. Остап проиграл подряд пятнадцать партий, а вскоре

еще три. Оставался один одноглазый. В начале партии он от страха наделал множество ошибок и теперь с трудом вел игру к победному концу. Остап, незаметно для окружающих, украл с доски черную ладью и спрятал ее в карман.

Толпа тесно сомкнулась вокруг играющих.

— Только что на этом месте стояла моя ладья! — закричал одноглазый, осмотревшись, — а теперь ее уже нет!

— Нет, значит, и не было! — грубовато сказал Остап.

— Как же не было? Я ясно помню!

— Конечно, не было!

— Куда же она девалась? Вы ее выиграли?

— Выиграл.

— Когда? На каком ходу?

— Что вы мне морочите голову с вашей ладьей? Если сдаетесь, то так и говорите!

— Позвольте, товарищи, у меня все ходы записаны!

— Контора пишет, — сказал Остап.

— Это возмутительно! — заорал одноглазый. — Отдайте мою ладью!

— Сдавайтесь, сдавайтесь, что это за кошки-мышки такие!

— Отдайте ладью!

С этими словами гроссмейстер, поняв, что промедление смерти подобно, зачерпнул в горсть несколько фигур и швырнул их в голову одноглазого противника.

— Товарищи! — заверещал одноглазый. — Смотрите все! Любителя бьют.

Шахматисты города Васюки опешили.

Не теряя драгоценного времени, Остап швырнул шахматной доской в лампу и, ударя в наступившей темноте по чьим-то челюстям и лбам, выбежал на улицу. Васюкинские любители, падая друг на друга, ринулись за ним.

Был лунный вечер. Остап неся по серебряной улице, легко, как ангел, отталкиваясь от грешной земли. Ввиду несостоявшегося превращения Васюков в центр мироздания, бежать пришлось не среди дворцов, а среди бревенчатых домиков с наружными ставнями. Сзади неслись шахматные любители.

— Держите гроссмейстера! — ревел одноглазый.

— Жулье! — поддерживали остальные.

— Пижоны! — огрызался гроссмейстер, увеличивая скорость.

— Караул! — кричали изобиженные шахматисты.

Остап запрыгал по лестнице, ведущей на пристань. Ему предстояло пробежать четырехста ступенек. На шестой площадке его уже поджидали два лю-



бителя, пробравшись сюда окольной тропинкой прямо по склону. Остап оглянулся. Сверху катилась собачьей стаей тесная группа разъяренных поклонников защиты Филидора. Отступления не было. Поэтому Остап побежал вперед.

— Вот я вас сейчас, сволочей! — гаркнул он храбрцам-разведчикам, бросаясь с пятой площадки.

Испуганные пластуны¹ ухнули, перевалились за перила и покатались куда-то в

темноту бугров и склонов. Путь был свободен.

— Держите гроссмейстера! — катилось сверху.

Преследователи бежали, стуча по деревянной лестнице, как падающие кегельные шары.

Выбежав на берег, Остап уклонился вправо, ища глазами лодку с верным ему администратором.

Ипполит Матвеевич идилически сидел в лодочке. Остап бухнулся на скамейку и яростно стал выгребать от берега. Через минуту в лодку полетели камни. Одним из них был подбит Ипполит Матвеевич. Немного повыше вулканического прыща у него вырос темный желвак. Ипполит Матвеевич упрятал голову в плечи и захныкал.

— Вот еще шляпа! Мне чуть голову не оторвали, и я ничего: бодр и весел. А если принять во внимание еще пятьдесят рублей чистой прибыли, то за одну гулю на вашей голове — гонорар довольно приличный.

Между тем преследователи, которые только сейчас поняли, что план превращения Васюков в Нью-Москву рухнул и что гроссмейстер увозит из города пятьдесят кровных васюкинских рублей, погрузились в большую лодку и с криками выгребли на середину реки. В лодку набилось человек тридцать. Всем хотелось принять личное участие в расправе с гроссмейстером. Экспедицией командовал одноглазый. Единственное его око сверкало в ночи, как маяк.

— Держи гроссмейстера! — вопили в перегруженной барке.

— Ходу, Киса! — сказал Остап. — Если они нас догонят, я не смогу поручиться за целостность вашего пенсне.

¹ Пластуны — особый род казаков, занимавшихся разведкой и охраной.

Обе лодки шли вниз по течению. Расстояние между ними все уменьшалось. Остап выбивался из сил.

— Не уйдете, сволочи! — кричали из барки.

Остап не отвечал: было некогда. Весла вырывались из воды. Вода потоками вылетала из-под беснующихся весел и попадала в лодку.

— Валяй, — шептал Остап самому себе.

Ипполит Матвеевич маялся. Барка торжествовала. Высокий ее корпус уже обходил лодочку concessionеров с левой руки, чтобы прижать гроссмейстера к берегу. Concessionеров ждала плачевная участь. Радость на барке была так велика, что все шахматисты перешли на правый борт, чтобы, поравнявшись с лодочкой, превосходными силами обрушиться на злодея гроссмейстера.

— Берегите пенсне, Киса! — в отчаянии крикнул Остап, бросая весла. — Сейчас начнется!

— Господа! — воскликнул вдруг Ипполит Матвеевич петушиным голосом. — Неужели вы будете нас бить?

— Еще как! — загремели васюкинские любители, собираясь прыгать в лодку.

Но в это время произошло крайне обидное для честных шахматистов всего мира происшествие. Барка неожиданно накренилась и правым бортом зачерпнула воду.

— Осторожней! — пискнул одноглазый капитан.

Но было уже поздно. Слишком много любителей скопилось на правом борту васюкинского дредноута. Переменив центр тяжести, барка не стала колебаться и, в полном соответствии с законами физики, перевернулась.

Общий вопль нарушил спокойствие реки.

— Уау! — протяжно стонали шахматисты.

Целых тридцать любителей очутились в воде. Они быстро выплывали на поверхность и один за другим цеплялись за перевернутую барку. Последним причалил одноглазый.

— Пижоны! — в восторге кричал Остап. — Что же вы не бьете вашего гроссмейстера? Вы, если не ошибаюсь, хотели меня бить?

Остап описал вокруг потерпевших крушение круг.



— Вы же понимаете, васюкинские индивидуумы, что я мог бы вас по одиночке утопить, но я дарюю вам жизнь. Живите, граждане! Только, ради создателя, не играйте в шахматы! Вы же просто не умеете играть! Эх вы, пижоны, пижоны... Едем, Ипполит Матвеевич, дальше. Прощайте, одноглазые любители! Боюсь, что Васюки, центром мироздания не станут. Я не думаю, чтобы мастера шахмат приехали к таким дуракам, как вы, даже если бы я их об этом просил. Прощайте, любители сильных шахматных ощущений! Да здравствует клуб четырех лошадей!

ГЛАВА XXXVI

И др.

Утро застало концессионеров на виду Чебоксар. Остап дремал у руля. Ипполит Матвеевич сонно водил веслами по воде. От холодной ночи обоих подирала дрожь. На востоке распускались розовые бутоны. Пенсне Ипполита Матвеевича все светлело. Овальные стекла их заиграли. В них попеременно отразились оба берега. Семафор с левого берега изогнулся в двояковогнутом стекле. Синие купола Чебоксар плыли, словно корабли. Сад на востоке разрастался. Бутоны превратились в вулканы и принялись извергать лаву наилучших кондитерских окрасок. Птички на левом берегу учинили большой и громкий скандал. Золотая дужка пенсне вспыхнула и ослепила гроссмейстера. Взошло солнце.

Остап раскрыл глаза и вытянулся, накрена лодку и треща костями.

— С добрым утром, Киса, — сказал он, дався зевотой. — Я пришел к тебе с приветом, рассказать, что солнце встало, что оно горячим светом по чему-то там затрепетало...

— Пристань, — доложил Ипполит Матвеевич.

Остап вытащил путеводитель и справился.

— Судя по всему — Чебоксары. Так, так... «Обращаем внимание на очень красиво расположенный г. Чебоксары...» Киса, он в самом деле, красиво расположен?... «В настоящее время в Чебоксарах 7702 жителя...» Киса! Давайте бросим погоню за бриллиантами и увеличим население Чебоксар до 7704 человек. А? Это будет очень эффектно... Откроем «Пти-шво»¹ и с этого «Пти-шво» будем иметь верный гран-кусок хлеба... Ну-с, дальше. «Основанный в 1555 году, город сохранил несколько весьма интересных церквей. Помимо административных учреждений Чувашской республики, здесь имеются: рабочий факультет, партийная школа, педагогический техникум, две школы второй ступени, музей, научное общество и библиотека. На Чебоксарской пристани и на базаре можно видеть чувашей и черемис, выделяющихся своим внешним видом...»

¹ Прообраз современной рулетки. Название «Пти-шво» образовано от *фр.* *petits chevaux*, что в переводе означает «лошадки».

Но, еще прежде, чем друзья приблизились к пристани, где можно было видеть чувашей и черемис, их внимание было привлечено предметом, плывшим по течению впереди лодки.

— Стул! — закричал Остап. — Администратор! Наш стул плывет.

Компаньоны подплыли к стулу. Он покачивался, вращался, погружался в воду, снова выплывал, удаляясь от лодки концессионеров. Вода свободно вливалась в его распоротое брюхо.

Это был стул, вскрытый на «Скрябине» и теперь медленно направляющийся в Каспийское море.

— Здорово, приятель! — крикнул Остап. — Давненько не виделись! Знаете, Воробьянинов, этот стул напоминает мне нашу жизнь. Мы тоже плывем по течению. Нас топят, мы выплываем, хотя, кажется, никого этим не радуем. Нас никто не любит, если не считать уголовного розыска, который тоже нас не любит. Никому до нас нет дела. Если бы вчера шахматным любителям удалось нас утопить, от нас остался бы только один протокол осмотра трупов: «Оба тела лежат ногами к юго-востоку, а головами с северо-западу. На теле рваные раны, нанесенные, по-видимому, каким-то тупым орудием». Любители били бы нас, очевидно, шахматными досками. Орудие, что и говорить, туповатое... «Труп первый принадлежит мужчине лет пятидесяти пяти, одет в рваный люстриновый пиджак, старые брюки и старые сапоги. В кармане пиджака удостоверение на имя Конрада Карловича гр. Михельсона...» Вот, Киса, что о вас написали бы.

— А о вас бы что написали? — сердито спросил Воробьянинов.

— О! Обо мне написали бы совсем другое. Обо мне написали бы так: «Труп второй принадлежит мужчине двадцати семи лет. Он любил и страдал. Он любил деньги и страдал от их недостатка. Голова его с высоким лбом, обрамленным иссиня-черными кудрями, обращена к солнцу. Его изящные ноги, сорок второй номер ботинок, направлены к северному сиянию. Тело облачено в незапятнанные белые одежды, на груди золотая арфа с инкрустацией из перламутра и ноты романа: «Прощай ты, Новая Деревня». Покойный юноша занимался выжиганием по дереву, что видно из обнаруженного в кармане фрака удостоверения, выданного 23/VIII 24 г. кустарной артелью «Пегас и Парнас» за № 86/1562». И меня похоронят, Киса, пышно, с оркестром, с речами, и на памятнике моем будет высечено: «Здесь лежит известный теплотехник и истребитель Остап-Сулейман-Берта-Мария Бендер-бей, отец которого был турецко-подданным и умер, не оставив сыну своему Остапу-Сулейману ни малейшего наследства. Мать покойного была графиней и жила нетрудовыми доходами».

Разговаривая подобным образом, концессионеры приткнулись к чебоксарскому берегу.

Вечером, увеличив капитал на пять рублей продажей васюкинской лодки,

друзья погрузились на теплоход «Урицкий» и поплыли в Сталинград, рассчитывая обогнать по дороге медлительный тиражный пароход и встретиться с труппой колумбовцев в Сталинграде.

Светящийся гигант понес компаньонов вниз по реке. Миновали Мариинский посад, Казань, Тетюши, Ульяновск, Сенгилей, село Новодевичье и перед вечером второго дня пути подошли к Жигулям.

Сто раз в этом романе наступал вечер, падало солнце и сияла звезда, но ни разу еще вечер не был наполнен такой кротостью и предчувствием великих событий, как этот.

Палубы «Урицкого» наполнились оранжевой, под заходящим солнцем, толпой пассажиров. Невысокие Жигулевские горы мощно зеленели с правой стороны. Волнение охватило души пассажиров.

Остап, чудом пробившийся из своего третьего класса к носу парохода, извлек путеводитель и узнал из него, что путь вдоль Жигулей представляет исключительное удовольствие.

«Пароход, — прочел Остап вслух, — проходит близ самого берега, разрезая падающие в реку тени береговых вершин. Густой ковер зеленой, в различных оттенках, растительности манит путника углубиться в девственную толщу лесов, чтобы насладиться прекрасным воздухом, полюбоваться открывающимися далями и мощной здесь красавицей Волгой и вспомнить далекое прошлое, когда неорганизованные бунтарские элементы...»

Пассажиры сгрудились вокруг Остапа.

«...неорганизованные бунтарские элементы, бессильные переустроить сложившийся общественный уклад, „гуляли“ тут, наводя страх на купцов и чиновников, неизбежно стремившихся к Волге, как важному торговому пути. Недаром народная память до сих пор сохранила немало легенд, песен и сказок, связанных с бывавшими в Жигулях Ермаком Тимофеевичем, Иваном Кольцом¹, Степаном Разиным и др.»

— И др., — повторил Остап, очарованный вечером.

— И др., — застонала толпа, вглядываясь в сумеречные очертания Молодецкого кургана.

— И др-р! — загудела пароходная сирена, взывая к пространству, к легендам, песням и сказкам, покоящимся на вершинах Жигулей.

Луна поднялась, как детский воздушный шар. Девья гора осветилась.

Это было свыше сил человеческих.

Из недр парохода послышалось желудочное урчание гитары, и страстный женский голос запел:

¹ Иван Кольцо — волжский казак. За разбой на Волге в 1579 году был осужден Иваном Грозным на смерть, но, спасаясь от наказания, отправился с Ермаком для покорения Сибири. Сопратник Ермака, атаман. Именно его отправил Ермак для доклада Ивану Грозному о покорении Сибирского царства.

И даже капитан, стоя на мостике и не отводя взора с Царева кургана, вопил в лунные просторы:

Грянем, бра-а-а-атцы, удалу-у-ую
На помин ее души!

«Ее души!» — пел кинооператор Полкан, тряся гривой и вцепившись в поручни.

«Ее души!» — ворковали Галкин, Палкин, Малкин, Чалкин и Залкинд.

«Ее души!» — взывал Симбиевич-Синдиевич.

«Ее души!» — заливались служащие, резвость которых в этот благоуханный вечер не была заключена в рамки служебных отношений.

И капитан, старый речной волк, зарыдал, как дитя. Тридцать лет он водил пароходы мимо Жигулей и каждый раз рыдал, как дитя. Так как в навигацию он совершал не менее двадцати рейсов, то за тридцать лет, таким образом, ему удалось всплакнуть шестьсот раз.

Нужно ли еще какое-нибудь доказательство неотразимости грустной красоты Жигулей?

Поравнявшийся со «Скрябиным» «Урицкий» находился в центре песенного циклона. Пассажиры скопом бросали персидскую княжну за борт.

Набежали пароходы местного сообщения, наполненные здешними жителями, выросшими на виду Жигулей. И тем не менее местные жители тоже пели «Стеньку Разина».

Не вида-а-али вы пода-арка
От донско-ого ка-а-зака-а-а...

Светились буи, отражались в воде четырехугольные окна салонов, мигали фонарики пароходов местного сообщения. Гремели песни, и казалось, что на реке дают бал.

«Урицкий» легко обошел тиражный пароход. Концессионеры смотрели на свое первое плавучее пристанище с надеждой. Там, в огнях, среди запретительных надписей и служебной суеты, в каюте режиссера стояли три стула. «Скрябин» медленно отдалялся, и до самой Самары были видны его огни.

«Скрябин» пришел в Сталинград в начале июля. Друзья встретили его, прячась за ящики на пристани. Перед разгрузкой на пароходе состоялся тираж. Разыграли крупные выигрыши.

Стульев пришлось ждать часа четыре. Сначала с парохода повалили колумбовцы и тиражные служащие. Среди них выделялось сияющее лицо Персидского.

Сидя в засаде, концессионеры слышали его крики:

— Да! Моментально еду в Москву! Телеграмму уже послал! И знаете какую? — «Ликую с вами». Пусть догадываются!

Потом Персицкий сел в прокатный автомобиль, предварительно осмотрев его со всех сторон и пощупав радиатор, и уехал, провожаемый почему-то криками «ура!».

После того как с парохода был выгружен гидравлический пресс, стали выносить колумбовское вещественное оформление. Стулья вынесли, когда уже стемнело. Колумбовцы погрузились в пять пароконных фургонов¹ и, весело крича, покатали прямо на вокзал.

— Кажется, в Сталинграде они играть не будут, — сказал Ипполит Матвеевич.

Это озадачило Остапа.

— Придется ехать, — решил он, — а на какие деньги ехать? Впрочем, идем на вокзал, а там видно будет.

На вокзале выяснилось, что театр едет в Пятигорск через Тихорецкую—Минеральные Воды. Денег у концессионеров хватило только на один билет.

— Вы умеете ездить зайцем? — спросил Остап Воробьянинова.

— Я попробую, — робко сказал Ипполит Матвеевич.

— Черт с вами! Лучше уж не пробуйте! Прощаю вам еще раз. Так и быть, зайцем поеду я.

Для Ипполита Матвеевича был куплен билет в бесплацкартном жестком вагоне, в котором бывший предводитель и прибыл на уставленную олеандрами в зеленых кадках станцию Минеральные Воды, Северо-Кавказских железных дорог, и, стараясь не попадаться на глаза выгружавшимся из поезда колумбовцам, стал искать Остапа.

Давно уже театр уехал в Пятигорск, разместясь в новеньких дачных вагончиках, а Остапа все не было. Он приехал только вечером и нашел Воробьянинова в полном расстройстве.

— Где вы были? — простонал предводитель. — Я так измучился.

— Это вы-то измучились, разъезжая с билетом в кармане? А я, значит, не измучился? Это не меня, следовательно, согнали с буферов вашего поезда в Тихорецкой? Это, значит, не я сидел там три часа как дурак, ожидая товарного поезда с пустыми нарзанными бутылками? Вы — свинья, гражданин предводитель! Где театр?

— В Пятигорске.

— Едем! Я кое-что накропал по дороге. Чистый доход выражается в трех рублях. Это, конечно, немного, но на первое обзаведение нарзаном и железнодорожными билетами хватит.

¹ Предназначенные для запрягания парой лошадей, коней.

Дачный поезд, брэнча, как телега, в пятьдесят минут дотащил путешественников до Пятигорска. Мимо Змейки и Бештау концессионеры прибыли к подножью Машука.

ГЛАВА XXXVII

Вид на малахитовую лужу

Был воскресный вечер. Все было чисто и умыто. Даже Машук, поросший кустами и рошдицами, казалось, был тщательно расчесан и струил запах горного вежеталя.

Белые штаны самого разнообразного свойства мелькали по игрушечному перрону: штаны из рогожки, чертовой кожи¹, коломянки², парусины и нежной фланели. Здесь ходили в сандалиях и рубашечках «апаш»³. Концессионеры, в тяжелых грязных сапожищах, тяжелых пыльных брюках, горячих жилетах и раскаленных пиджаках, чувствовали себя чужими. Среди всего многообразия веселеньких ситчиков, которыми щеголяли курортные девицы, самым светлейшим и самым элегантным был костюм начальницы станции. На удивление всем приезжим, начальником станции была женщина. Рыжие кудри вырывались из-под красной фуражки с двумя серебряными галунами на околыше. Она носила белый форменный китель и белую юбку.

Налюбовавшись начальницей, прочитав свеженаклеенную афишу о гастролях в Пятигорске театра Колумба и выпив два пятикопеечных стакана нарзана, путешественники проникли в город на трамвае линии «Вокзал — Цветник». За вход в «Цветник» взяли десять копеек.

В «Цветнике» было много музыки, много веселых людей и очень мало цветов. Симфонический оркестр исполнял в белой раковине «Пляску комаров». В Лермонтовской галерее продавали нарзан. Нарзаном торговали в киосках и вразнос.

Никому не было дела до двух грязных искателей бриллиантов.

— Эх, Киса, — сказал Остап, — мы чужие на этом празднике жизни.

Первую ночь на курорте концессионеры провели у нарзанного источника.

Только здесь, в Пятигорске, когда театр Колумба ставил третий раз перед изумленными горожанами свою «Женитьбу», компаньоны поняли всю трудность погони за сокровищами. Проникнуть в театр, как они предполагали

¹ Кирза — материал на основе многослойной хлопчатобумажной ткани, обработанной пленкообразующими веществами. Поверхность кирзы подвергают тиснению для имитации фактуры свиной кожи. В народе получила название «чертова кожа».

² Коломянка — льняная, нередко с добавлением пеньки (для наиболее дешевых сортов), плотная гладкая ткань.

³ Рубашка *апаш* — рубашка с открытым широким воротом; *апаш* — криминальная субкультура в Париже, существовавшая в конце XIX — начале XX века. Получили свое название в честь индейцев апачей, так как якобы не уступали им в жестокости.



раньше, было невозможно. За кулисами ночевали Галкин, Палкин, Малкин, Чалкин и Залкинд, марочная диета которых не позволяла им жить в гостинице. Так проходили дни, и друзья выбивались из сил, ночуя у места дуэли Лермонтова и прокармливаясь переноской багажа туристов-середнячков.

На шестой день Остапу удалось свести знакомство с монтером Мечниковым, заведующим гидропрессом. К этому времени Мечников, из-за отсутствия денег каждодневно похмелявшийся нарзаном из источника, пришел в ужасное состояние и, по наблюдению Остапа, продавал на рынке кое-какие предметы из театрального реквизита. Окончательная договоренность была достигнута на утреннем возлиянии у источника. Монтер Мечников называл Остапа дусей и соглашался.

— Можно, — говорил он, — это всегда можно, дуся. С нашим удовольствием, дуся.

Остап сразу же понял, что монтер — великий дока.

Договорные стороны заглядывали друг другу в глаза, обнимались, хлопали по спинам и вежливо смеялись.

— Ну, — сказал Остап, — за все дело десятку!

— Дуся! — удивился монтер. — Вы меня озлобляете. Я человек, измученный нарзаном.

— Сколько же вы хотите?

— Положите полста. Ведь имущество-то казенное. Я человек измученный.

— Хорошо. Берите двадцать! Согласны? Ну, по глазам вижу, что согласны.

— Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон.

— Хорошо излагает, собака, — шепнул Остап на ухо Ипполиту Матвеевичу, — учитесь.

— Когда же вы стулья принесете?

— Стулья против денег.

— Это можно, — сказал Остап, не думая.

— Деньги вперед, — заявил монтер, — утром — деньги, вечером — стулья, или вечером — деньги, а на другой день утром — стулья.

— А может быть, сегодня стулья, а завтра деньги? — пытал Остап.

— Я же, дуся, человек измученный. Такие условия душа не принимает!

— Но ведь я, — сказал Остап, — только завтра получу деньги по телеграфу.

— Тогда и разговаривать будем, — заключил упрямый монтер, — а пока, дуся, счастливо оставаться у источника, а я пошел: у меня с прессом работы много. Симбиевич за глотку берет. Сил не хватает. А одним нарзаном разве проживешь?

И Мечников, великолепно освещенный солнцем, удалился.

Остап строго посмотрел на Ипполита Матвеевича.

— Время, — сказал он, — которое мы имеем, — это деньги, которых мы не имеем. Киса, мы должны делать карьеру. Сто пятьдесят тысяч рублей и ноль ноль копеек лежат перед нами. Нужно только двадцать рублей, чтобы сокровище стало нашим. Тут не надо брезговать никакими средствами. Пан или пропал. Я выбираю пана, хотя он и явный поляк.

Остап задумчиво обошел кругом Ипполита Матвеевича.

— Снимите пиджак, предводитель, поживее, — сказал он неожиданно.

Остап принял из рук удивленного Ипполита Матвеевича пиджак, бросил его наземь и принялся топтать пыльными штиблетами.

— Что вы делаете? — завопил Воробьянинов. — Этот пиджак я ношу уже пятнадцать лет, и он все как новый!

— Не волнуйтесь! Он скоро не будет как новый! Дайте шляпу! Теперь посыпьте брюки пылью и оросите их нарзаном. Живо!

Ипполит Матвеевич через несколько минут стал грязным до отвращения.

— Теперь вы дозрели и приобрели полную возможность зарабатывать деньги честным трудом.

— Что же я должен делать? — слезливо спросил Воробьянинов.

— Французский язык знаете, надеюсь?

— Очень плохо. В пределах гимназического курса.

— Гм... Придется орудовать в этих пределах. Сможете ли вы сказать по-французски следующую фразу: «Господа, я не ел шесть дней»?

— Мосье, — начал Ипполит Матвеевич, запинаясь, — мосье, гм, гм... же не, что ли, же не манж па... шесть, как оно: ен, де, труа, катр, сенк... сис... сис... жур. Значит, же не манж па сис жур.

— Ну и произношение у вас, Киса! Впрочем, что от нищего требовать! Конечно, нищий в Европейской России говорит по-французски хуже, чем Мильеран¹. Ну, Кисуля, а в каких пределах вы знаете немецкий язык?

— Зачем мне это все? — воскликнул Ипполит Матвеевич.

— Затем, — сказал Остап веско, — что вы сейчас пойдете к «Цветнику», станете в тени и будете на французском, немецком и русском языках просить подавание, упирая на то, что вы бывший член государственной думы от кадетской фракции. Весь чистый сбор поступит монтеру Мечникову. Поняли?

Ипполит Матвеевич преобразился. Грудь его выгнулась, как Дворцовый мост в Ленинграде, глаза метнули огонь, и из ноздрей, как показалось Остапу, повалил густой дым. Усы медленно стали приподниматься.

— Ай-яй-яй, — сказал великий комбинатор, ничуть не испугавшись, — посмотрите на него. Не человек, а какой-то конек-горбунок!

— Никогда, — принялся вдруг чревоуещать Ипполит Матвеевич, — никогда Воробьянинов не протягивал руку.

— Так протянете ноги, старый дуралей! — закричал Остап. — Вы не протягивали руки?

— Не протягивал.

— Как вам понравится этот альфонсизм? Три месяца живет на мой счет. Три месяца я кормлю его, пою и воспитываю, и этот альфонс становится теперь в третью позицию и заявляет, что он... Ну! Довольно, товарищ! Одно из двух: или вы сейчас же отправитесь к «Цветнику» и приносите к вечеру десять рублей, или я вас автоматически исключаю из числа пайщиков-концессионеров. Считаю до пяти. Да или нет? Раз...

— Да, — пробормотал предводитель.

— В таком случае повторите заклинание.

— Мосье, же не манж па сис жур. Гебен зи мир битте этвас копек ауф дем штюк брод. Подайте что-нибудь бывшему депутату государственной думы.

— Еще раз. Жалостнее!

Ипполит Матвеевич повторил.

— Ну, хорошо. У вас талант к нищенству заложен с детства. Идите. Свидание у источника в полночь. Это, имейте в виду, не для романтики, а просто — вечером больше подают.

— А вы, — спросил Ипполит Матвеевич, — куда пойдете?

¹ Александр Мильеран (1859–1943) — французский политический деятель, президент Франции (1920–1924).

— Обо мне не беспокойтесь. Я действую, как всегда, в самом трудном месте.

Друзья разошлись.

Остап сбежал в писчебумажную лавчонку, купил там на последний гривенник квитанционную книжку и около часу сидел на каменной тумбе, перенумеровывая квитанции и расписываясь на каждой из них.

— Прежде всего, система, — бормотал он, — каждая общественная копейка должна быть учтена.

Великий комбинатор двинулся стрелковым шагом по горной дороге, ведущей вокруг Машука к месту дуэли Лермонтова с Мартыновым, мимо санаториев и домов отдыха. Обгоняемый автобусами и пароконными экипажами, Остап вышел к Провалу.

Небольшая, высеченная в скале галерея вела в конусообразный провал. Галерея кончалась балкончиком, стоя на котором можно было увидеть на дне Провала небольшую лужицу малахитовой зловонной жидкости. Этот Провал считается достопримечательностью Пятигорска, и поэтому за день его посещает немалое число экскурсий и туристов-одиночек.

Остап сразу же выяснил, что Провал для человека, лишенного предрассудков, может явиться доходной статьей.

— Удивительное дело, — размышлял Остап, — как город не догадался до сих пор брать гривенники за вход в Провал. Это, кажется, единственное место, куда пятигорцы пускают туристов без денег. Я уничтожу это позорное пятно на репутации города, я исправлю досадное упущение.

И Остап поступил так, как подсказывал ему разум, здоровый инстинкт и создавшаяся ситуация.

Он остановился у входа в Провал и, трепля в руках квитанционную книжку, время от времени вскрикивал:

— Приобретайте билеты, граждане! Десять копеек! Дети и красноармейцы бесплатно! Студентам — пять копеек! Не членам профсоюза — тридцать копеек!

Остап бил наверняка. Пятигорцы в Провал не ходили, а с советского туриста содрать десять копеек за вход «куда-то» не представляло ни малейшего труда. Часам к пяти набралось уже рублей шесть. Помогли нечлены союза, которых в Пятигорске было множество. Все доверчиво отдавали свои гривенники, и один румяный турист, завидя Остапа, сказал жене торжествующе:

— Видишь, Танюша, что я тебе вчера говорил? А ты говорила, что за вход в Провал платить не нужно. Не может этого быть. Правда, товарищ?

— Совершеннейшая правда, — подтвердил Остап, — этого быть не может, чтобы не брать за вход. Членам союза — десять копеек. Дети и крас-

ноармейцы бесплатно. Студентам — пять копеек и нечленам профсоюза — тридцать копеек.

Перед вечером к Провалу подъехала на двух линейках экскурсия харьковских милиционеров. Остап испугался и хотел было притвориться невинным туристом, но милиционеры так робко столпились вокруг великого комбинатора, что пути к отступлению не было. Поэтому Остап закричал довольно твердым голосом:

— Членам союза — десять копеек, но так как представители милиции могут быть приравнены к студентам и детям, то с них по пять копеек.

Милиционеры заплатили, деликатно осведомившись, с какой целью взимаются пятаки.

— С целью капитального ремонта Провала, — дерзко ответил Остап, — чтоб не слишком проваливался.

В то время как великий комбинатор ловко торговал видом на малахитовую лужу, Ипполит Матвеевич, сгорбясь и погрязая в стыде, стоял под акацией и, не глядя на гуляющих, жевал три врученных ему фразы:

— Мсье, же не манж па... Гебен зи мир битте... Подайте что-нибудь депутату государственной думы...

Подавали не то чтобы мало, но как-то невесело. Однако, играя на чистом парижском произношении слово «манж» и волнуя души бедственным положением бывшего члена госдумы, удалось нахватать медяков рубля на три.

Под ногами гуляющих трещал гравий. Оркестр с небольшими перерывами исполнял Штрауса, Брамса и Грига. Светлая толпа, лепеча, катилась мимо старого предводителя и возвращалась вспять. Тень Лермонтова незримо витала над гражданами, вкушавшими мацони¹ на веранде буфета. Пахло одеколоном и нарзанными газами.

— Подайте бывшему члену государственной думы, — бормотал предводитель.

— Скажите, вы в самом деле были членом Государственной думы? — раздалось над ухом Ипполита Матвеевича. — И вы действительно ходили на заседания? Ах! Ах! Высокий класс!

Ипполит Матвеевич поднял лицо и обмер. Перед ним прыгал, как воробышек, толстенький Авессалом Владимирович Изнуренков. Он сменил коричневатый лодзинский костюм на белый пиджак и серые панталоны с игровой искоркой. Он был необычайно оживлен и иной раз подскакивал вершков на пять от земли. Ипполита Матвеевича Изнуренков не узнал и продолжал засыпать его вопросами:

— Скажите, вы в самом деле видели Родзянко? Пуришкевич в самом деле был лысый? Ах! Ах! Какая тема! Высокий класс!

¹ *Мацун* (арм.), или *мацони* (груз.) — кисломолочный напиток армянского происхождения. Широко распространён на Кавказе.

Продолжая вертеться, Изнуренков сунул растерявшемуся предводителю три рубля и убежал. Но долго еще в цветнике мелькали его толстенные ляжки и чуть ли не с деревьев сыпалось:

— Ах! Ах! «Не пой, красавица, при мне ты песни Грузии печальной!» Ах! Ах! «Напоминают мне оне иную жизнь и берег дальний!..» Ах! Ах! А поутру она вновь улыбалась! Высокий класс!..

Ипполит Матвеевич продолжал стоять, обратив глаза к земле. И напрасно так стоял он. Он не видел многого.

В чудном мраке пятигорской ночи по аллеям парка гуляла Эллочка Щукина, волоча за собой покорного, примирившегося с нею Эрнеста Павловича. Поездка на Кислые Воды была последним аккордом в тяжелой борьбе с дочкой Вандербильда. Гордая американка недавно с развлекательной целью выехала в собственной яхте на Сандвичевы острова.

— Хо-хо! — раздавалось в ночной тиши. — Знаменито, Эрнестуля! Кр-р-расота!

В буфете, освещенном лампами, сидел голубой воришка Альхен со своей супругой Сашхен. Щеки ее по-прежнему были украшены николаевскими полубакенбардами. Альхен застенчиво ел шашлык по-карски, запивая его кахетинским № 2, а Сашхен, поглаживая бакенбарды, ждала заказанной осетрины.

После ликвидации второго дома Собеса (было продано все, включая даже туалетеноровый колпак повара и лозунг: «Тщательно пережевывая пищу, ты помогаешь обществу») Альхен решил отдохнуть и поразвлечься. Сама судьба хранила этого сытого жулика. Он собирался в этот день поехать в Провал, но не успел. Это спасло его. Остап выдоил бы из робкого завхоза никак не меньше тридцати рублей.

Ипполит Матвеевич побрел к источнику только тогда, когда музыканты складывали свои пропитры, праздничная публика расходилась и только влюбленные парочки усиленно дышали в тощих аллеях «Цветника».

— Сколько насбирали? — спросил Остап, когда согбенная фигура предводителя появилась у источника.

— Семь рублей двадцать девять копеек. Три рубля бумажкой. Остальные — медь и немного серебра.

— Для первой гастроли дивно! Ставка ответственного работника! Вы меня умиляете, Киса! Но какой дурак дал вам три рубля, хотел бы я знать? Может быть, вы сдачи давали?

— Изнуренков дал.

— Да не может быть! Авессалом? Ишь ты, шарик! Куда закатился! Вы с ним говорили? Ах, он вас не узнал!..

— Расспрашивал о Государственной думе! Смеялся!

— Вот видите, предводитель, нищим быть не так-то уж плохо, особенно при умеренном образовании и слабой постановке голоса! А вы еще кобени-



лись, лорда, хранителя печати, ломали! Ну, Кисочка, и я провел время недаром. Пятнадцать рублей как одна копейка. Итого — хватит!

На другое утро монтер получил деньги и вечером притащил два стула. Третий стул, по его словам, взять было никак невозможно. На нем звуковое оформление играло в карты.

Для большей безопасности друзья забрались почти на самую вершину Машука.

Внизу прочными недвижимыми огнями светился Пятигорск. Пониже Пятигорска плохонькие огоньки обозначали станицу Горячеводскую. На горизонте двумя параллельными пунктирными линиями высывался из-за горы Кисловодск.

Остап глянул в звездное небо и вынул из кармана известные уже плоскогубцы.

ГЛАВА XXXVIII

Зеленый Мыс

Инженер Брунс сидел на каменной веранде дачи на Зеленом Мысу под большой пальмой, накрахмаленные листья которой бросали острые и узкие тени на бритый затылок инженера, на белую его рубашку и на гамбовский стул из гарнитура генеральши Поповой, на котором томился инженер, дожидаясь обеда.

Брунс вытянул толстые, наливные губы трубочкой и голосом шаловливого карапуза протянул:

— Му-у-усик!

Дача молчала.

Тропическая флора ластилась к инженеру. Кактусы протягивали к нему свои ежовые рукавицы. Драцены гремели листьями. Бананы и саговые пальмы отгоняли мух с лысины инженера. Розы, обвивающие веранду, падали к его сандалиям.

Но все было тщетно. Брунс хотел обедать. Он раздраженно смотрел на перламутровую бухту, на далекий мысик Батума и певуче призывал:

— Му-у-усик! Му-у-усик!

Во влажном субтропическом воздухе звук быстро замирал. Ответа не было. Брунс представил себе большого коричневого гуся с шипящей жирной кожей и, не в силах сдержать себя, завопил:

— Мусик!!! Готов гусик?!

— Андрей Михайлович! — закричал женский голос из комнаты. — Не морочь мне голову!

Инженер, свернувший уже привычные губы в трубочку, немедленно ответил:

— Мусик! Ты не жалеешь своего маленького мѹжика!

— Пошел вон, обжора! — ответили из комнаты.

Но инженер не покорился. Он собрался было продолжать вызовы гусика, которые он безуспешно вел уже два часа, но неожиданный шорох заставил его обернуться.

Из черно-зеленых бамбуковых зарослей вышел человек в рваной синей косоворотке, опоясанной потертым витым шнурком с густыми кистями, и в затертых полосатых брюках. На добром лице незнакомца топорщилась лохматая борода. В руках он держал пиджак.

Человек приблизился и спросил приятным голосом:

— Где здесь находится инженер Брунс?

— Я инженер Брунс, — сказал заклинатель гусика неожиданным басом, — чем могу?

Человек молча повалился на колени. Это был отец Федор.

— Вы с ума сошли! — воскликнул инженер, вскакивая. — Встаньте, пожалуйста!

— Не встану, — ответил отец Федор, вода головой за инженером и глядя на него ясными глазами.

— Встаньте!

— Не встану!

И отец Федор осторожно, чтобы не было больно, стал постукивать головой о гравий.



— Мусик! Иди сюда! — закричал испуганный инженер. — Смотри, что делается. Встаньте, я вас прошу! Ну, умоляю вас!

— Не встану, — повторил отец Федор.

На веранду выбежала Мусик, тонко разбиравшаяся в интонациях мужа.

Завидев даму, отец Федор, не поднимаясь с колен, проворно переполз поближе к ней, поклонился в ноги и зачастил:

— На вас, матушка, на вас, голубушка, на вас уповаю!

Тогда инженер Брунс покраснел, схватил просителя под мышки и, нуту-жась, поднял его, чтобы поставить на ноги, но отец Федор схитрил и поджал ноги. Возмущенный Брунс потащил странного гостя в угол и насильно посадил его в полукресло (гамбсовское, отнюдь не из воробьяниновского особняка, но из гостиной генеральши Поповой).

— Не смею, — забормотал отец Федор, кладя на колени попахивающий керосином пиджак булочника, — не осмеливаюсь сидеть в присутствии высокопоставленных особ.

И отец Федор сделал попытку снова пасть на колени.

Инженер с печальным криком придержал отца Федора за плечи.

— Мусик, — сказал он, тяжело дыша, — поговори с этим гражданином. Тут какое-то недоразумение.

Мусик сразу взяла деловой тон.

— В моем доме, — сказала она грозно, — пожалуйста, не становитесь ни на какие колени!

— Голубушка! — умилился отец Федор. — Матушка!

— Никакая я вам не матушка. Что вам угодно?

Поп залопотал что-то непонятное, но, видно, умильное.. Только после долгих расспросов удалось понять, что он, как особой милости, просит продать ему гарнитур из двенадцати стульев, на одном из которых он в настоящий момент сидит.

Инженер от удивления выпустил из рук плечи отца Федора, который немедленно бухнулся на колени и стал по-черепашьи гоняться за инженером.

— Почему, — кричал инженер, увертываясь от длинных рук отца Федора, — почему я должен продать свои стулья? Сколько вы ни бухайтесь на колени, я ничего не могу понять!

— Да ведь это мои стулья, — простонал отец Федор.

— То есть как это ваши? Откуда ваши? С ума вы спятили? Мусик! Теперь для меня все ясно! Это явный псих!

— Мои, — униженно твердил отец Федор.

— Что ж, по-вашему, я у вас их украл? — вскипел инженер. — Украл? Слышишь, Мусик? Это какой-то шантаж!

— Ни боже мой, — шепнул отец Федор.

— Если я их у вас украл, то требуйте судом и не устраивайте в моем доме пандемониума!¹ Слышишь, Мусик! До чего доходит нахальство! Пообедать не дадут по-человечески!

Нет, отец Федор не хотел требовать «свои» стулья судом. Отнюдь. Он знал, что инженер Брунс не крал у него стульев. О, нет! У него и в мыслях этого не было. Но эти стулья все-таки до революции принадлежали ему, отцу Федору, и они бесконечно дороги его жене, умирающей сейчас в Воронеже. Исполняя ее волю, а никак не по собственной дерзости, он позволил себе узнать местонахождение стульев и явиться к гражданину Брунсу. Отец Федор не просит подаяния. О, нет! Он достаточно обеспечен (небольшой свечной заводик в Самаре), чтобы усладить последние минуты жены покупкой старых стульев. Он готов не поскупиться и уплатить за весь гарнитур рублей двадцать.

— Что? — крикнул инженер багровея. — Двадцать рублей? За прекрасный гостиный гарнитур? Мусик! Ты слышишь? Это все-таки псих! Ей-богу, псих!

— Я не псих. А единственно выполняя волю пославшей мя жены...

— О ч-черт, — сказал инженер, — опять ползать начал. Мусик! Он опять ползает!

— Назначьте же цену, — стонал отец Федор, осмотрительно биясь головой о ствол араукарии.

— Не портите дерева, чудак вы человек! Мусик, он, кажется, не псих. Просто, как видно, расстроен человек болезнью жены. Продать ему разве стулья, а? Отвяжется, а? А то он лоб разобьет!

— А мы на чем сидеть будем? — спросила Мусик.

— Купим другие.

— Это за двадцать-то рублей?

— За двадцать я, положим, не продам. Положим, не продам я и за двести... А за двести пятьдесят продам.

Ответом послужил страшный удар головой о драцену.

— Ну, Мусик, это мне уже надоело.

Инженер решительно подошел к отцу Федору и стал диктовать ультиматум:

— Во-первых, отойдите от пальмы не менее чем за три шага; во-вторых, немедленно встаньте. В-третьих, мебель я продам за двести пятьдесят рублей, не меньше.

— Не корысти ради, — пропел отец Федор, — а токмо во исполнение воли больной жены.

— Ну, милый, моя жена тоже больна. Правда, Мусик, у тебя легкие не в

¹ Пандемониум — собрание злых духов, царство Сатаны; место разврата и распутства.

порядке? Но я не требую на этом основании, чтобы вы... ну... продали мне, положим, ваш пиджак за тридцать копеек.

— Возьмите даром, — воскликнул отец Федор.

Инженер раздраженно махнул рукой и холодно сказал:

— Вы ваши шутки бросьте. Ни в какие рассуждения я больше не пускаюсь. Стулья оценены мною в двести пятьдесят рублей, и я не уступаю ни копейки.

— Пятьдесят, — предложил отец Федор.

— Мусик! — сказал инженер. — Позови Багратиона. Пусть проводит гражданина!

— Не корысти ради...

— Багратион!

Отец Федор в страхе бежал, а инженер пошел в столовую и сел за гусика. Любимая птица произвела на Брунса благотворное действие. Он начал успокаиваться.

В тот момент, когда инженер, обмотав косточку папиросной бумагой, поднес гусиную ножку к розовому рту, в окне появилось умоляющее лицо отца Федора.

— Не корысти ради, — сказал мягкий голос, — пятьдесят пять рублей.

Инженер, не оглядываясь, зарычал. Отец Федор исчез.

Весь день потом фигура отца Федора мелькала во всех концах дачи. То выбегала она из тени криптомерий, то возникала она в мандариновой роще, то перелетала через черный двор и, трепеща, уносилась к Ботаническому саду.

Инженер весь день призывал Мусика, жаловался на психа и на головную боль. В наступившей тьме время от времени раздавался голос отца Федора:

— Сто тридцать восемь! — кричал он откуда-то с неба.

А через минуту голос его приходил со стороны дачи Думбасова.

— Сто сорок один, — предлагал отец Федор, — не корысти ради, господин Брунс, а токмо...

Наконец инженер не выдержал, вышел на середину веранды и, вглядываясь в темноту, начал размеренно кричать:

— Черт с вами! Двести рублей! Только отвяжитесь.

Послышались шорох потревоженных бамбуков, тихий стон и удаляющиеся шаги. Потом все смолкло.

В заливе барахтались звезды. Светляки догоняли отца Федора, кружились вокруг головы, обливая лицо его зеленоватым медицинским светом.

— Ну и гусики теперь пошли, — пробормотал инженер, входя в комнаты.

Между тем отец Федор летел в последнем автобусе вдоль морского берега к Батуму. Под самым боком, со звуком перелистываемой книги, набегал легкий прибой; ветер ударял по лицу, и автомобильной сирене отвечало мяуканье шакалов.

В этот же вечер отец Федор отправил в город N жене своей Катерине Александровне такую телеграмму: «Товар нашел вышли двести тридцать телеграфом продай что хочешь Федя».

Два дня он восторженно слонялся у Брунсовой дачи, издали раскланивался с Мусиком и даже время от времени оглашал тропические дали криками:

— Не корысти ради, а токмо волею пославшей мя супруги!

На третий день деньги были получены с отчаянной телеграммой: «Продада все осталась без одной копейки целую и жду Евстигнеев все обедает Катя».

Отец Федор пересчитал деньги, истово перекрестился, нанял фургон и поехал на Зеленый Мыс.

Погода была сумрачная. С турецкой границы ветер нагонял тучи. Чорох курился. Голубая прослойка в небе все уменьшалась. Шторм доходил до шести баллов. Было запрещено купаться и выходить в море на лодках. Гул и гром стояли над Батумом. Шторм тряс берега.

Достигши дачи инженера Брунса, отец Федор велел вознице-аджарцу в башлыке подождать и отправился за мебелью.

— Принес деньги я, — сказал отец Федор, — уступили бы малость.

— Мусик, — застонал инженер, — я не могу больше!

— Да нет, я деньги принес, — заторопился отец Федор, — двести рублей, как вы говорили.

— Мусик! Возьми у него деньги! Дай ему стулья! И пусть сделает все это поскорее. У меня мигрень.

Цель всей жизни была достигнута. Свечной заводик в Самаре сам лез в руки. Бриллианты сыпались в карманы, как семечки.

Двенадцать стульев один за другим были погружены в фургон. Они очень походили на воробьяниновские, с тою только разницей, что обивка их была не ситцевая, в цветочках, а репсовая, синяя в розовую полосочку.

Нетерпение охватывало отца Федора. Под полою у него за витой шнурок был заткнут топорик. Отец Федор сел рядом с кучером и, поминутно оглядываясь на стулья, выехал к Батуму. Бодрые кони свезли отца Федора и его сокровища вниз на шоссе, мимо рестораника «Финал», по бамбуковым столам и беседкам которого гулял ветер, мимо туннеля, проглатывавшего последние цистерны нефтяного маршрута, мимо фотографа, лишённого в этот хмурый денек обычной своей клиентуры, мимо вывески «Батумский ботанический сад» и повлекли не слишком быстро, над самой линией прибоя. В том месте, где дорога соприкасалась с массивами, отца Федора обдавало солеными брызгами. Отбитые массивами от берега, волны оборачивались гейзерами, поднимались к небу и медленно опадали.



Толчки и взрывы прибоя накаляли смятенный дух отца Федора. Лошади, борясь с ветром, медленно приближались к Махинджаури. Куда хватал глаз, свистали и пучились мутные зеленые воды. До самого Батума трепалась белая пена прибоя, словно подол нижней юбки, выбившейся из-под платья неряшливой дамочки.

— Стой! — закричал вдруг отец Федор вознице. — Стой, мусульманин!

И он, дрожа и спотыкаясь, стал выгружать стулья на пустынный берег. Равнодушный аджарец получил свою пятерку, хлестнул по лошадям и уехал. А отец Федор, убедившись, что вокруг никого нет, стащил стулья с обрыва на небольшой сухой еще кусок пляжа и вынул топорик.

Минуту он находился в сомнении, не знал, с какого стула начать. Потом, словно лунатик, подошел к третьему стулу и зверски ударил топориком по спинке. Стул опрокинулся, не повредившись.

— Ага! — крикнул отец Федор. — Я т-тебе покажу!

И он бросился на стул, как на живую тварь. Вмиг стул был изрублен в капусту. Отец Федор не слышал ударов топора о дерево, о репс и о пружины. В могучем реве шторма глохли, как в войлоке, все посторонние звуки.

— Ага! Ага! Ага! — приговаривал отец Федор, рубя сплеча.

Стулья выходили из строя один за другим. Ярость отца Федора все увеличивалась. Увеличивался и шторм. Иные волны добирались до самых ног отца Федора.

От Батума до Синопа стоял великий шум. Море бесилось и срывало свое бешенство на каждом суденышке. Пароход «Ленин», чадя двумя своими трубами и тяжело оседая на корму, подходил к Новороссийску. Шторм вертелся в Черном море, выбрасывая тысячетонные валы на берега Трапезунда, Ялты, Одессы и Констанцы. За тишиной Босфора и Дарданелл гремело Средиземное море. За Гибралтарским проливом бился о Европу Атлантический океан. Сердитая вода опоясывала земной шар.

А на батумском берегу стоял отец Федор и, обливаясь потом, разрубал последний стул. Через минуту все было кончено. Отчаяние охватило отца Федора. Бросив остолбенелый взгляд на навороченную им гору ножек, спинок и пружин, он отступил. Вода схватила его за ноги. Он рванулся вперед и, вымокший, бросился на шоссе. Большая волна грянулась о то место, где только что стоял отец Федор, и, катясь назад, увлекла с собой весь искалеченный гарнитур генеральши Поповой. Отец Федор уже не видел этого. Он брел по шоссе, согнувшись и прижимая к груди мокрый кулак.

Он вошел в Батум, сослепу ничего не видя вокруг. Положение его было самое ужасное. За пять тысяч километров от дома, с двадцатью рублями в кармане, доехать в родной город было положительно невозможно.

Отец Федор миновал турецкий базар, на котором ему идеальным шепотом советовали купить пудру Коти¹, шелковые чулки и необандероленный² сухумский табак, потащился к вокзалу и затерялся в толпе носильщиков.

ГЛАВА XXXIX

Под облаками

Через три дня после сделки концессионеров с монтером Мечниковым театр Колумба выехал по железной дороге через Махачкалу и Баку. Все эти три дня концессионеры, не удовлетворившиеся содержанием вскрытых на Машуке двух стульев, ждали от Мечникова третьего, последнего из колумбовских стульев. Но монтер, измученный нарзаном, обратил все двадцать рублей на покупку простой водки и дошел до такого состояния, что содержался взаперти в бутафорской.

— Вот вам и Кислые Воды! — заявил Остап, узнав об отъезде театра. — Сучья лапа этот монтер! Имей после этого дело с теаработниками!

Остап стал гораздо суетливее, чем прежде. Шансы на отыскание сокровищ увеличились безмерно.

— В Тифлисе, — сказал Остап, нам нечего лениться. Нужны деньги на поездку во Владикавказ. Оттуда мы поедем в Тифлис на автомобиле по Военно-Грузинской дороге. Очаровательные виды! Захватывающий пейзаж! Чудный горный воздух! И в финале всего — сто пятьдесят тысяч рублей ноль ноль копеек. Есть смысл продолжать заседание.

Но выехать из Минеральных Вод было не так-то легко. Воробьянинов оказался бездарным железнодорожным зайцем, и так как попытки его сесть в поезд оказались безуспешными, то ему пришлось выступить около «Цветника» в качестве бывшего попечителя учебного округа. Это имело весьма малый успех. Два рубля за двенадцать часов тяжелой и унижительной работы. Сумма, однако, достаточная для проезда во Владикавказ.

В Беслане Остапа, ехавшего без билета, согнали с поезда, и великий комбинатор дерзко бежал за поездом версты три, грозя ни в чем не виновному Ипполиту Матвеевичу кулаком. После этого Остапу удалось вскочить на ступеньку медленно подтягивающегося к Кавказскому хребту поезда. С этой позиции Остап с любопытством взирал на развернувшуюся перед ним панораму кавказской горной цепи.

Был четвертый час утра. Горные вершины осветились темно-розовым солнечным светом. Горы не понравились Остапу.

¹ *Coty* — одна из популярнейших парфюмерных фирм начала XX века.

² Не имеющий акцизной табачной бандероли (марки), контрабандный.

— Слишком много шику, — сказал он. — Дикая красота. Воображение идиота. Никчемная вещь.

У владикавказского вокзала приезжающих ждал большой открытый автобус Закавтопромторга, и ласковые люди говорили:

— Кто поедет по Военно-Грузинской дороге, тех в город везем бесплатно.

— Куда же вы, Киса? — сказал Остап. — Нам в автобус. Пусть везут нас бесплатно.

Подвезенный автобусом к конторе Закавтопромторга, Остап, однако, не поспешил записаться на место в машине. Оживленно беседуя с Ипполитом Матвеевичем, он любовался опоясанной облаком Столовой горы и, находя, что гора действительно похожа на стол, быстро удалился.

Во Владикавказе пришлось просидеть несколько дней. Но все попытки достать деньги на проезд по Военно-Грузинской дороге или совершенно не принесли плодов, или давали средства, достаточные лишь для дневного пропитания. Попытка взять с граждан гривенники не удалась. Кавказский хребет был настолько высок и виден, что брать за его показ деньги не представлялось возможным. Его было видно почти отовсюду. Других же красот во Владикавказе не было. Что же касается Терека, то протекал он мимо «Трека», за вход в который деньги взимал город без помощи Остапа. Сбор подаяний, произведенный Ипполитом Матвеевичем, принес за два дня тринадцать копеек.

— Довольно, — сказал Остап, — выход один: идти в Тифлис пешком. В пять дней мы пройдем двести верст. Ничего, папаша, очаровательные горные виды, свежий воздух!.. Нужны деньги на хлеб и любительскую колбасу. Можете прибавить к своему лексикону несколько итальянских фраз, это уж как хотите, но к вечеру вы должны насбирать не меньше двух рублей! Обедать сегодня не придется, дорогой товарищ. Увы! Плохие шансы...

Спозаранку концессионеры перешли мостик через Терек, обошли казармы и углубились в зеленую долину, по которой шла Военно-Грузинская дорога.

— Нам повезло, Киса, — сказал Остап, — ночью шел дождь, и нам не придется глотать пыль. Вдыхайте, предводитель, чистый воздух. Пойте. Вспоминайте кавказские стихи. Ведите себя как полагается!..

Но Ипполит Матвеевич не пел и не вспоминал стихов. Дорога шла на подъем. Ночи, проведенные под открытым небом, напоминали о себе колотьем в бок, тяжестью в ногах, а любительская колбаса — постоянной и мучительной изжогой. Он шел, склонившись набок, держа в руке пятифунтовый хлеб, завернутый во владикавказскую газету, и чуть волоча левую ногу.

Опять идти! На этот раз в Тифлис, на этот раз по красивейшей в мире дороге. Ипполиту Матвеевичу было все равно. Он не смотрел по сторонам, как Остап. Он решительно не замечал Терека, который начинал уже погромыхать на дне долины. И только сияющие под солнцем ледяные вершины что-

то смутно ему напоминали: не то блеск бриллиантов, не то лучшие газетовые гроба мастера Безенчука.

До первой почтовой станции Балты путники шли в сфере влияния Столовой горы. Ее плотный слоновый массив с прожилками снега шел за ними верст десять. Путников обогнал сначала легковой автомобиль Закавтопромоторга, через полчаса — автобус, везший не менее сорока туристов и не больше ста двадцати чемоданов.

— Кланяйтесь Казбеку! — крикнул Остап вдогонку машине. — Поцелуйте его в левый ледник!

После автомобилей долго еще в горах пахло бензиновым перегаром и разогретой резиной.

Звонко брэнча, обгоняли путников арбы горцев. Навстречу из-за поворота выехал фаэтон.

В Балте Остап выдал Ипполиту Матвеевичу вершок колбасы и сам съел вершка два.

— Я кормилец семьи, — сказал он, — мне полагается усиленное питание.

После Балты дорога вошла в ущелье и двинулась узким карнизом, высеченным в темных отвесных скалах. Спираль дороги завивалась кверху, и вечером концессионеры очутились на станции Ларе в тысяче метров над уровнем моря.

Переночевали в бедном духане бесплатно и даже получили по стакану молока, прельстив хозяина и его гостей карточными фокусами.

Утро было так прелестно, что даже Ипполит Матвеевич, sprыснутый горным воздухом, зашагал бодрее вчерашнего.

За станцией Ларе сейчас же встала грандиозная стена бокового хребта. Долина Терека замкнулась тут узкими теснинами. Пейзаж становился все мрачнее, а надписи на скалах многочисленнее. Там, где скалы так сдавливали течение Терека, что пролет моста равен всего десяти сажням, концессионеры увидели столько надписей на скалистых стенках ущелья, что Остап, забыв о величественности Дарьяльского ущелья, закричал, стараясь перебороть грохот и стоны Терека:

— Великие люди! Обратите внимание, предводитель. Видите? Чуть выше облака и несколько ниже орла! Надпись: «Коля и Мика, июль 1914 г.». Незабываемое зрелище! Обратите внимание на художественность исполнения! Каждая буква величиною в метр и нарисована масляной краской! Где вы сейчас, Коля и Мика?

Задумался и Ипполит Матвеевич.

Где вы, Коля и Мика? И что вы теперь, Коля и Мика, делаете? Разжирили, наверное, постарели? Небось, теперь и на четвертый этаж не подыметесь, не то что под облака — имена свои рисовать?

Где же вы, Коля, служите? Плохо служится, говорите? Золотое детство вспоминаете? Какое же оно у вас золотое? Это пачканье-то ущелий вы считаете золотым детством? Коля, вы ужасны! И жена ваша Мика — противная женщина, хотя она виновата меньше вашего. Когда вы чертили свое имя, вися на скале, Мика стояла внизу на шоссе и глядела на вас влюбленными глазами. Тогда ей казалось, что вы второй Печорин. Теперь она знает, кто вы такой. Вы просто дурак! Да, да, все вы такие, ползуны по красотам! Печорин, Печорин, а там, гляди, по глупости отчета сбалансировать не можете!

— Киса, — продолжал Остап, — давайте и мы увековечимся. Забьем Мике баки. У меня, кстати, и мел есть! Ей-богу, полезу сейчас и напишу: «Киса и Ося здесь были».

И Остап, недолго думая, сложил на парапет, ограждавший шоссе от кипучей бездны Терека, запасы любительской колбасы и стал подниматься на скалу.

Ипполит Матвеевич сначала следил за подъемом великого комбинатора, но потом рассеялся и, обернувшись, принялся разглядывать фундамент замка Тамары, сохранившийся на скале, похожей на лошадиный зуб.

В это время, в двух верстах от концессионеров, со стороны Тифлиса в Дарьяльское ущелье вошел отец Федор. Он шел мерным солдатским шагом, глядя вперед себя твердыми алмазными глазами и опираясь на высокую клюку с загнутым концом.

На последние деньги отец Федор доехал до Тифлиса и теперь шагал на родину пешком, питаясь доброхотными даяниями. При переходе через Крестовый перевал (2345 метров над уровнем моря) его укусил орел. Отец Федор замахнулся на дерзкую птицу клюкой и пошел дальше.

Он шел, запутавшись в облаках, и бормотал:

— Не корысти ради, а токмо волею пославшей мя жены!

Эту же фразу он повторял, войдя в Дарьяльское ущелье.

Расстояние между врагами сокращалось. Поворотив за острый выступ, отец Федор налетел на старика в золотом пенсне.

Ущелье расколосось в глазах отца Федора. Терек прекратил свой тысячулетний крик. Отец Федор узнал Воробьянинова. После страшной неудачи в Батуме, после того как все надежды рухнули, новая возможность заполучить богатство повлияла на отца Федора необыкновенным образом.

Он схватил Ипполита Матвеевича за тощий кадык и, сжимая пальцы, закричал охрипшим голосом:

— Куда девал сокровище убиенной тобою тещи?

Ипполит Матвеевич, ничего подобного не ждавший, молчал, выкатив глаза так, что они почти соприкасались со стеклами пенсне.

— Говори! — приказывал отец Федор. — Покайся, грешник!

Воробьянинов почувствовал, что теряет дыхание.

Тут отец Федор, уже торжествовавший победу, увидел прыгавшего по скале Бендера. Технический директор спустился вниз, крича во все горло:

Дробясь о мрачные скалы,
Кипят и пенятся валь!..

Великий испуг поразило сердце отца Федора. Он машинально продолжал держать предводителя за горло, но колени у него затряслись.

— А, вот это кто?! — дружелюбно закричал Остап. — Конкурирующая организация!

Отец Федор не стал медлить. Повинуясь благодетельному инстинкту, он схватил концессионную колбасу и хлеб и побежал прочь.

— Бейте его, товарищ Бендер! — кричал с земли отдышавшийся Ипполит Матвеевич.

— Лови его! Держи!

Остап засвистал и заулюлюкал.

— Тю-у-у! — кричал он, пускаясь вдогонку. — Битва при пирамидах, или Бендер на охоте! Куда же вы бежите, клиент? Могу вам предложить хорошо выпотрошенный стул!

Отец Федор не выдержал муки преследования и полез на совершенно

отвесную скалу. Его толкало вверх сердце, поднимавшееся к самому горлу, и особенный, известный только одним трюсам зуд в пятках. Ноги сами отрывались от гранита и несли своего повелителя вверх.

— У-у-у! — кричал Остап снизу. — Держи его!

— Он унес наши припасы! — завопил Ипполит Матвеевич, подбегая к Остапу.

— Стой! — загремел Остап. — Стой, тебе говорю!

Но это придало только новые силы изнемогшему было отцу Федору. Он взвился и в несколько скачков очутился сажен на десять выше самой высокой надписи.

— Отдай колбасу! — взывал Остап. — Отдай колбасу, дурак! Я все прощу!

Отец Федор уже ничего не слышал. Он очутился на ровной площадке, за-



браться на которую не удавалось до сих пор ни одному человеку. Отцом Федором овладел тоскливый ужас. Он понял, что слезть вниз ему никак не удастся. Скала опускалась на шоссе перпендикулярно, и об обратном спуске нечего было и думать. Он посмотрел вниз. Там бесновался Остап, и на дне ущелья поблескивало золотое пенсне предводителя.

— Я отдам колбасу! — закричал отец Федор. — Снимите меня!

В ответ грохотал Терек и из замка Тамары неслись страстные крики. Там жили совы.

— Сними-ите меня! — жалобно кричал отец Федор.

Он видел все маневры концессионеров. Они бежали под скалой и, судя по жестам, мерзко сквернословили.

Через час легший на живот и спустивший голову вниз отец Федор увидел, что Бендер и Воробьянинов уходят в сторону Крестового перевала.

Спустилась быстрая ночь. В крошечной тьме и в адском гуле под самым облаком дрожал и плакал отец Федор. Ему уже не нужны были земные сокровища. Он хотел только одного: вниз, на землю.

Ночью он ревел так, что временами заглушал Терек, а утром подкрепился любительской колбасой с хлебом и сатанински хохотал над пробежавшими внизу автомобилями. Остаток дня он провел в созерцании гор и небесного светила — солнца. А следующей ночью он увидел царицу Тамару. Царица прилетела к нему из своего замка и кокетливо сказала:

— Соседями будем.

— Матушка! — с чувством сказал отец Федор. — Не корысти ради...

— Знаю, знаю, — заметила царица, — а токмо волею пославшей ты жены.

— Откуда ж вы знаете? — удивился отец Федор.

— Да уж знаю. Заходили бы, сосед. В шестьдесят шесть поиграем! А?

Она засмеялась и улетела, пуская в ночное небо шутихи.

На третий день отец Федор стал проповедовать птицам. Он почему-то склонял их к лютеранству.

— Птицы, — говорил он им звучным голосом, — покайтесь в своих грехах публично!

На четвертый день его показывали уже снизу экскурсантам.



— Направо — замок Тамары, — говорили опытные проводники, — а налево живой человек стоит, а чем живет и как туда попал, тоже неизвестно.

— И дикий же народ! — удивлялись экскурсанты. — Дети гор!

Шли облака. Над отцом Федором кружились орлы. Самый смелый из них украл остаток любительской колбасы и взмахом крыла сбросил в пенящийся Терек фунта полтора хлеба.

Отец Федор погрозил орлу пальцем и, лучезарно улыбаясь, прошептал:

Птичка божия не знает
Ни заботы, ни труда,
Хлопотливо не свивает
Долговечного гнезда.

Орел покосился на отца Федора, закричал «ку-ку-реку» и улетел.

— Ах, орлуша, орлуша, большая ты стерва!

Через десять дней из Владикавказа прибыла пожарная команда с надлежащим обозом и принадлежностями и сняла отца Федора.

Когда его снимали, он хлопал руками и пел лишенным приятности голосом:

И будешь ты царицей ми-и-и-и-р-ра,
Подр-р-руга ве-е-ечная моя!

И суровый Кавказ многократно повторил слова М. Ю. Лермонтова и музыки А. Рубинштейна.

— Не корысти ради, — сказал отец Федор брандмейстеру, — а токмо...

Хохочущего священника на пожарной колеснице увезли в психиатрическую лечебницу.

ГЛАВА XL Землетрясение

— Как вы думаете, предводитель, — спросил Остап, когда концессионеры подходили к селению Сиони, — чем можно заработать в этой чахлой местности, находящейся на двухверстной высоте над уровнем моря?

Ипполит Матвеевич молчал. Единственное занятие, которым он мог бы снискать себе жизненные средства, было нищенство, но здесь, на горных спиралях и карнизах, просить было не у кого.

Впрочем, и здесь существовало нищенство, но нищенство совершенно особое — альпийское: к каждому проходившему мимо селения автобусу или

легковому автомобилю подбегали дети и исполняли перед движущейся аудиторией несколько па наурской лезгинки; после этого дети бежали за машиной, крича:

— Давай денги! Денги давай!

Пассажиры швыряли пятаки и возносились к Крестовому перевалу.

— Святое дело, — сказал Остап, — капитальные затраты не требуются, доходы невелики, но в нашем положении ценны.

К двум часам второго дня пути Ипполит Матвеевич, под наблюдением великого комбинатора, исполнил перед летучими пассажирами свой первый танец. Танец этот был похож на мазурку, но пассажиры, пресыщенные дикими красотами Кавказа, сочли его за лезгинку и вознаградили тремя пятаками. Перед следующей машиной, которая оказалась автобусом, шедшим из Тифлиса во Владикавказ, плясал и скакал сам технический директор.

— Давай деньги! Деньги давай! — закричал он сердито.

Смеющиеся пассажиры щедро вознаградили его прыжки. Остап собрал в дорожной пыли тридцать копеек. Но тут сионские дети осыпали конкурентов каменным градом. Спасаясь от обстрела, путники скорым шагом направились в ближний аул, где истратили заработанные деньги на сыр и чуреки.

В этих занятиях концессионеры проводили свои дни. Ночевали они в горских саклях. На четвертый день они спустились по зигзагам шоссе в Кайшаурскую долину. Тут было жаркое солнце, и кости компаньонов, порядком промерзшие на Крестовом перевале, быстро отогрелись.

Дарьяльские скалы, мрак и холод перевала сменились зеленью и домовитостью глубочайшей долины. Путники шли над Арагвой, спускались в долину, населенную людьми и изобилующую домашним скотом и пищей. Здесь можно было выпросить кое-что, что-то заработать или просто украсть. Это было Закавказье.

Повеселевшие концессионеры пошли быстрее.

В Пассанауре, в жарком богатом селении с двумя гостиницами и несколькими духанами, друзья выпросили чурек и залегли в кустах напротив гостиницы «Франция» с садом и двумя медвежатами на цепи. Они наслаждались теплом, вкусным хлебом и заслуженным отдыхом.

Впрочем, скоро отдых был нарушен визгом автомобильных сирен, шорохом новых покрышек по кремневому шоссе и радостными возгласами. Друзья выглянули. К «Франции» подкатили дугом три однотипных новеньких автомобиля. Автомобили бесшумно остановились. Из первой машины выпрыгнул Персицкий. За ним вышел «Суд и быт», расправляя запыленные волосы. Потом из всех машин повалили члены автомобильного клуба газеты «Станок».

— Привал! — закричал Персицкий. — Хозяин! Пятнадцать шашлыков!

Во «Франции» заходили сонные фигуры, и раздались крики барана, которого волокли за ноги на кухню.

— Вы не узнаете этого молодого человека? — спросил Остап. — Это репортер со «Скрябина», один из критиков нашего транспаранта. С каким, однако, шиком они приехали! Что это значит?

Остап приблизился к пожирателям шашлыка и элегантнейшим образом раскланялся с Персицким.

— Бонжур! — сказал репортер. — Где это я вас видел, дорогой товарищ? А-а-а! Припоминаю. Художник со «Скрябина»! Не так ли?

Остап прижал руку к сердцу и учтиво поклонился.

— Позвольте, позвольте, — продолжал Персицкий, обладавший цепкой памятью репортера. — Не на вас ли это в Москве на Свердловской площади налетела извозчицья лошадь?

— Как же, как же! И еще, по вашему меткому выражению, я якобы отделался легким испугом.

— А вы тут как, по художественной части орудуете?

— Нет, я с экскурсионными целями.

— Пешком?

— Пешком. Специалисты утверждают, что путешествие по Военно-Грузинской дороге на автомобиле — просто глупость.

— Не всегда глупость, дорогой мой, не всегда! Вот мы, например, едем не так-то уж глупо. Машинки, как видите, свои, подчеркиваю — свои, коллективные. Прямое сообщение Москва—Тифлис. Бензину уходит на грош. Удобство и быстрота передвижения. Мягкие рессоры. Европа.

— Откуда у вас все это? — завистливо спросил Остап. — Сто тысяч выиграла?

— Сто не сто, а пятьдесят выиграла.

— В девятку?

— На облигацию, принадлежавшую автомобильному клубу.

— Да, — сказал Остап, — и на эти деньги вы купили автомобили?

— Как видите!

— Так-с. Может быть, вам нужен старшой? Я знаю одного молодого человека. Непьющий.

— Какой старшой?

— Ну, такой... Общее руководство, деловые советы, наглядное обучение по комплексному методу... А?

— Я вас понимаю. Нет, не нужен.

— Не нужен?

— Нет. К сожалению. И художник также не нужен.

— В таком случае дайте десять рублей.

— Авдотьин, — сказал Персицкий. — Будь добр, выдай этому гражданину за мой счет три рубля. Расписки не надо. Это лицо неподотчетное.

— Этого крайне мало, — заметил Остап, — но я принимаю. Я понимаю

всю затрудительность вашего положения. Конечно, если бы вы выиграли сто тысяч, то, вероятно, заняли бы мне целую пятерку. Но ведь вы выиграли всего-навсего пятьдесят тысяч рублей ноль ноль копеек. Во всяком случае — благодарю!

Бендер учтиво снял шляпу. Персицкий учтиво снял шляпу. Бендер прелюбезно поклонился. Персицкий ответил любезнейшим поклоном. Бендер приветственно помахал рукой. Персицкий, сидя у руля, сделал ручкой. Но Персицкий уехал в прекрасном автомобиле к сияющим далям, в обществе веселых друзей, а великий комбинатор остался на пыльной дороге с дураком компаньоном.

— Видали вы этот блеск? — спросил Остап Ипполита Матвеевича.

— Закавтопромторг или частное общество «Мотор»? — деловито осведомился Воробьянинов, который за несколько дней пути отлично познакомился со всеми видами автотранспорта на дороге. — Я хотел было подойти к ним потанцевать.

— Вы скоро совсем оупеете, мой бедный друг. Какой же это Закавтопромторг? Эти люди, слышите, Киса, вы-и-гра-ли пятьдесят тысяч рублей! Вы сами видите, Кисуля, как они веселы и сколько они накупили всякой механической дряни! Когда мы получим наши деньги, мы истратим их гораздо рациональнее. Не правда ли?

И друзья, мечтая о том, что они купят, когда станут богачами, вышли из Пассанаура. Ипполит Матвеевич живо воображал себе покупку новых носков и отъезд за границу. Мечты Остапа были обширнее. Его проекты были грандиозны: не то заграждение Голубого Нила плотиной, не то открытие игорного особняка в Риге с филиалами во всех лимитрофах¹.

На третий день, перед обедом, миновав скучные и пыльные места: Ананур, Душет и Цилканы, путники подошли к Мцхету — древней столице Грузии. Здесь Кура поворачивала к Тифлису.

Вечером путники миновали ЗАГЭС — Земо-Авчальскую гидроэлектростанцию. Стекло, вода и электричество сверкали различными огнями. Все это отражалось и дрожало в быстро бегущей Куре.

Здесь концессионеры свели дружбу с крестьянином, который привез их на арбе в Тифлис к одиннадцати часам вечера, в тот самый час, когда вечерняя свежесть вызывает на улице истомившихся после душного дня жителей грузинской столицы.

— Городок неплох, — сказал Остап, выйдя на проспект Шота Руставели, — вы знаете, Киса...

Вдруг Остап, не договорив, бросился за каким-то гражданином, шагов

¹ *Лимитроф* (от *лат.* *limitrophus* — «пограничный») — государства, образовавшиеся из окраин бывшей царской России, главным образом из западных губерний (Эстония, Латвия, Литва, отчасти Польша и Финляндия).

через десять настиг его и стал оживленно с ним беседовать. Потом быстро вернулся и ткнул Ипполита Матвеевича пальцем в бок.

— Знаете, кто это? — шепнул он быстро. — Это одесская бубличная артель «Московские баранки», гражданин Кислярский. Идем к нему. Сейчас вы снова, как это ни парадоксально, гигант мысли и отец русской демократии. Не забывайте надувать щеки и шевелить усами. Ах, черт возьми! Какой случай! Фортуна! Если я его сейчас не вскрою на пятьсот рублей, плюньте мне в глаза! Идем! Идем!

Действительно, в некотором отдалении от концессионеров стоял молочно-голубой от страха Кислярский в чесучовом костюме и канотье.

— Вы, кажется, знакомы, — сказал Остап шепотом, — вот особа, приближенная к императору, гигант мысли и отец русской демократии. Не обращайтесь внимания на его костюм. Это для конспирации. Везите нас куда-нибудь немедленно. Нам нужно поговорить.

Кислярский, приехавший на Кавказ, чтобы отдохнуть от старгородских потрясений, был совершенно подавлен. Мурлыча какую-то чепуху о застое в бараночно-бубличном деле, Кислярский посадил страшных знакомцев в экипаж с посеребренными спицами и подножкой и повез их к горе Давида. На вершину этой ресторанной горы поднялись по канатной железной дороге. Тифлис в тысячах огней медленно уползал в преисподнюю. Заговорщики поднимались прямо к звездам.

Ресторанные столы были расставлены на траве. Глухо бубнил кавказский оркестр, и маленькая девочка, под счастливыми взглядами родителей, по собственному почину танцевала между столиками лезгинку.

— Прикажете чего-нибудь подать! — втолковывал Бендер.

По приказу опытного Кислярского были поданы вино, зелень и соленый грузинский сыр.

— И поесть чего-нибудь, — сказал Остап. — Если бы вы знали, дорогой господин Кислярский, что нам пришлось перенести с Ипполитом Матвеевичем, вы бы подивились нашему мужеству.

«Опять! — с отчаянием подумал Кислярский. — Опять начинаются мои мученья. И почему я не поехал в Крым? Я же ясно хотел ехать в Крым! И Генриетта советовала!»

Но он безропотно заказал два шашлыка и повернул к Остапу свое услужливое лицо.

— Так вот, — сказал Остап, оглядываясь по сторонам и понижая голос, — в двух словах. За нами следили уже два месяца, и, вероятно, завтра на конспиративной квартире нас будет ждать засада. Придется отстреливаться.

У Кислярского посеребрились щеки.

— Мы рады, — продолжал Остап, — встретить в этой тревожной обстановке преданного борца за родину.



— Гм... да! — гордо процедил Ипполит Матвеевич, вспоминая, с каким голодным пылом он танцевал лезгинку недалеко от Сиони.

— Да, — шептал Остап. — Мы надеемся с вашей помощью поразить врага. Я дам вам парабеллум.

— Не надо, — твердо сказал Кислярский.

В следующую минуту выяснилось, что председатель биржевого комитета не имеет возможности принять участие в завтрашней битве. Он очень сожалеет, но не может. Он не знаком с военным делом. Потому-то его и выбрали председателем биржевого комитета. Он в полном отчаянии, но для спасения жизни отца русской демократии (сам он старый октябрист) готов оказать возможную финансовую помощь.

— Вы верный друг отечества! — торжественно сказал Остап, запивая пахучий шашлык сладеньким кипиани. — Пятьсот рублей могут спасти гиганта мысли.

— Скажите, — спросил Кислярский жалобно, — а двести рублей не могут спасти гиганта мысли?

Остап не выдержал и под столом восторженно пнул Ипполита Матвеевича ногой.

— Я думаю, — сказал Ипполит Матвеевич, — что торг здесь неуместен!

Он сейчас же получил пинок в ляжку, что означало: «Браво, Киса, браво, что значит школа!»

Кислярский первый раз в жизни услышал голос гиганта мысли. Он так поразился этому обстоятельству, что немедленно передал Остапу пятьсот рублей. Затем он уплатил по счету и, оставив друзей за столиком, удалился по причине головной боли. Через полчаса он отправил жене в Старгород телеграмму: «Еду твоему совету Крым всякий случай готовь корзинку».

Долгие лишения, которые испытал Остап Бендер, требовали немедленной компенсации. Поэтому в тот же вечер великий комбинатор напился на ресторанной горе до столбняка и чуть не выпал из вагона фуникулера на пути в гостиницу. На другой день он привел в исполнение давнишнюю свою мечту. Купил дивный серый в яблоках костюм. В этом костюме было жарко, но он все-таки ходил в нем, обливаясь потом. Воробьянинову в магазине готового платья Тифкооперации были куплены белый пикейный костюм и морская фуражка с золотым клеймом неизвестного яхт-клуба. В этом одеянии Ипполит Матвеевич походил на торгового адмирала-любителя. Стан его выпрямился. Походка сделалась твердой.

— Ах! — говорил Бендер. — Высокий класс! Если б я был женщиной, то делал бы такому мужественному красавцу, как вы, восемь процентов скидки с обычной цены. Ах! Ах! В таком виде мы можем возвращаться! Вы умеете возвращаться, Киса?

— Товарищ Бендер, — твердил Воробьянинов, — как же будет со стулом? Нужно разузнать, что с театром.

— Хо-хо! — возразил Остап, танцую со стулом в большом мавританском номере гостиницы «Ориент». — Не учите меня жить. Я теперь злой. У меня есть деньги. Но я великодушен. Даю вам двадцать рублей и три дня на разграбление города! Я как Суворов!.. Грабьте город, Киса! Веселитесь!

И Остап, размахивая бедрами, запел в быстром темпе:

Вечерний звон, вечерний звон,
Как много дум наводит он.

Друзья беспробудно пьянствовали целую неделю. Адмиральский костюм Воробьянинова покрылся разноцветными винными яблоками, а на костюме Остапа они расплылись в одно большое радужное яблоко.

— Здравствуйте! — сказал на восьмое утро Остап, которому с похмелья пришло в голову почитать «Зарю Востока». — Слушайте вы, пьянчуга, что пишут в газетах умные люди! Слушайте!

Театральная хроника

Вчера, 3 сентября, закончив гастроли в Тифлисе, выехал на гастроли в Ялту Московский театр Колумба. Театр предполагает пробыть в Крыму до начала зимнего сезона в Москве.

— Ага! Я вам говорил! — сказал Воробьянинов.

— Что вы мне говорили? — окрысился Остап.

Однако он был смущен. Эта оплошность была ему очень неприятна. Вместо того чтобы закончить курс погони за сокровищами в Тифлисе, теперь приходилось еще перебрасываться на Крымский полуостров. Остап сразу взялся за дело. Были куплены билеты в Батум и заказаны места во втором классе парохода «Пестель», который отходил из Батума на Одессу 7 сентября в 23 часа по московскому времени.

В ночь с десятого на одиннадцатое сентября, когда «Пестель», не заходя в Анапу из-за шторма, повернул в открытое море и взял курс прямо на Ялту, Ипполиту Матвеевичу приснился сон.

Ему снилось, что он в адмиральском костюме стоял на балконе своего старгородского дома и знал, что стоящая внизу толпа ждет от него чего-то. Большой подъемный кран опустил к его ногам свинью в черных яблочках. Пришел дворник Тихон в пиджачном костюме и, ухватив свинью за задние ноги, сказал:

— Эх, туды его в качель! Разве «Нимфа» кисть дает!

В руках Ипполита Матвеевича очутился кинжал. Им он ударил свинью в бок, и из большой широкой раны посыпались и заскакали по цементу бриллианты. Они прыгали и стучали все громче. И под конец их стук стал невыносим и страшен.

Ипполит Матвеевич проснулся от удара волны об иллюминатор.

К Ялте подошли в штилевую погоду, в изнуряющее солнечное утро. Оправившийся от морской болезни предводитель красовался на носу возле колокола, украшенного литой славянской вязью. Веселая Ялта выстроила вдоль берега свои крошечные лавчонки и рестораны-поплавки. На пристани стояли экипажики с бархатными сиденьями под полотняными вырезными тентами, автомобили и автобусы «Крымкурсо» и товарищества «Крымский шофер». Кирпичные девушки вращали развернутыми зонтиками и махали платками.

Друзья первыми сошли на раскаленную набережную. При виде концессионеров из толпы встречающих и любопытствующих вынырнул гражданин в чесучовом костюме и быстро зашагал к выходу из территории порта. Но было уже поздно. Охотничий взгляд великого комбинатора быстро распознал чесучового гражданина.

— Подождите, Воробьянинов! — крикнул Остап.

И он бросился вперед так быстро, что настиг чесучового мужчину в десяти шагах от выхода. Остап моментально вернулся со ста рублями.

— Не дает больше. Впрочем, я не настаивал, а то ему не на что будет вернуться домой.

И, действительно, Кислярский в сей же час удрал на автомобиле в Севастополь, а оттуда третьим классом домой, в Старгород.

Весь день концессионеры провели в гостинице, сидя голыми на полу и по минутно бегая в ванную под душ. Но вода лилась теплая, как скверный чай. От жары не было спасенья. Казалось, что Ялта сейчас вот растает и стечет в море.

К восьми часам вечера, проклиная все стулья на свете, компаньоны натянули горячие штиблеты и пошли в театр.

Шла «Женитьба». Измученный жарой Степан, стоя на руках, чуть не падал. Агафья Тихоновна бежала по проволоке, держа взмокшими руками зонтик с надписью: «Я хочу Подколесина». В эту минуту, как и весь день, ей хотелось только одного: холодной воды со льдом. Публике тоже хотелось пить. Поэтому, а может быть, и потому, что вид Степана, пожирающего горячую яичницу, вызывал отвращение, спектакль не понравился.

Концессионеры были удовлетворены, потому что их стул, совместно с тремя новыми пышными полукреслами рококо, был на месте.

Запрятавшись в одну из лож, друзья терпеливо выждали окончания неизменно затянувшегося спектакля. Публика наконец разошлась, и актеры побежали прохладиться. В театре не осталось никого, кроме членов-пайщиков концессионного предприятия. Все живое выбежало на улицу, под хлынувший наконец свежий дождь.

— За мной, Киса, — скомандовал Остап. — В случае чего мы — не нашедшие выхода из театра провинциалы.

Они пробрались на сцену и, чиркая спичками, но все же ударившись о гидравлический пресс, обследовали всю сцену. Великий комбинатор побежал вверх по лестнице, в бутафорскую.

— Идите сюда! — крикнул он.

Воробьянинов, размахивая руками, помчался наверх.

— Видите? — сказал Остап, разжигая спичку. Из мглы выступили угол гамбсовского стула и сектор зонтика с надписью: «Хочу...».

— Вот! Вот наше будущее, настоящее и прошедшее. Зажигайте, Киса, спички. Я его вскрою.

И Остап полез в карман за инструментами.

— Ну-с, — сказал он, протягивая руку к стулу, — еще одну спичку, предводитель.

Вспыхнула спичка, и, странное дело, стул сам собою скакнул в сторону и вдруг, на глазах изумленных концессионеров, провалился сквозь пол.

— Мама! — крикнул Ипполит Матвеевич, отлетая к стене, хотя не имел ни малейшего желания этого делать.

Со звоном выскочили стекла, и зонтик с надписью: «Я хочу Подколесина», подхваченный вихрем, вылетел в окно к морю. Остап лежал на полу, легко придавленный фанерными щитами.

Было двенадцать часов и четырнадцать минут. Это был первый удар большого крымского землетрясения 1927 года.

Удар в девять баллов, причинивший неисчислимые бедствия всему полуострову, вырвал сокровище из рук концессионеров.

— Товарищ Бендер! Что это такое? — кричал Ипполит Матвеевич в ужасе.

Остап был вне себя: землетрясение встало на его пути. Это был единственный случай в его богатой практике.

— Что это? — вопил Воробьянинов.

С улицы доносились крики, звон и топот.

— Это то, что нам нужно немедленно удирать на улицу, пока нас не завалило стеной. Скорей! Скорей! Дайте руку, шляпа.

И они ринулись к выходу. К их удивлению, у двери, ведущей со сцены в переулочек, лежал на спине целый и невредимый гамбсовский стул. Издав собачий визг, Ипполит Матвеевич вцепился в него мертвой хваткой.

— Давайте плоскогубцы! — крикнул он Остапу.

— Идиот вы паршивый! — застонал Остап. — Сейчас потолок обвалится, а он тут с ума сходит! Скорее на воздух!

— Плоскогубцы! — ревел обезумевший Ипполит Матвеевич.

— Ну вас к черту! Пропадайте здесь с вашим стулом! А мне моя жизнь дорога как память!

С этими словами Остап кинулся к двери, Ипполит Матвеевич залаял и, подхватив стул, побежал за Остапом. Как только они очутились на середине переулочка, земля тошно зашаталась под ногами; с крыши театра повалилась черепица, и на том месте, которое концессионеры только что покинули, уже лежали останки гидравлического пресса.

— Ну, теперь давайте стул, — хладнокровно сказал Бендер. — Вам, я вижу, уже надоело его держать.

— Не дам! — взвизгнул Ипполит Матвеевич.

— Это что такое? Бунт на корабле? Отдайте стул! Слышите?

— Это мой стул! — заклекотал Воробьянинов, перекрывая стон, плач и треск, несшиеся отовсюду.

— В таком случае получайте гонорар, старая калоша!

И Остап ударил Воробьянинова медной ладонью по шее.

В эту же минуту по переулочку промчался пожарный обоз с факелами, и при их трепетном свете Ипполит Матвеевич увидел на лице Бендера такое страшное выражение, что мгновенно покорился и отдал стул.

— Ну, теперь хорошо, — сказал Остап, переводя дыхание, — бунт подавлен. А сейчас возьмите стул и несите его за мной. Вы отвечаете за целостность вещи. Если даже будет удар в пятьдесят баллов, стул должен быть сохранен! Поняли?



— Понял.

Всю ночь концессионеры блуждали вместе с паническими толпами, не решаясь, как и все, войти в покинутые дома и ожидая новых ударов.

На рассвете, когда страх немного уменьшился, Остап выбрал местечко, поблизости которого не было ни стен, которые могли бы обвалиться, ни людей, которые могли бы помешать, и приступил к вскрытию стула.

Результаты вскрытия поразили обоих концессионеров. В стуле ничего не было. Ипполит Матвеевич, не выдержавший всех потрясений ночи и утра, засмеялся крысиным смешком. Непосредственно вслед за этим раздался третий удар, земля разверзлась и поглотила пощаженный первым толчком землетрясения и развороченный людьми гамбсовский стул, цветочки которого улыбались взошедшему в облачной пыли солнцу.

Ипполит Матвеевич встал на четвереньки и, оборотив помятое лицо к мутно-багровому солнечному диску, завыл. Слушая его, великий комбинатор свалился в обморок. Когда он очнулся, то увидел рядом с собой заросший лиловой щетиной подбородок Воробьянинова. Ипполит Матвеевич был без сознания.

— В конце концов, — сказал Остап голосом выздоравливающего тифозного, — теперь у нас осталось сто шансов из ста. Последний стул (при слове «стул» Ипполит Матвеевич очнулся) исчез в товарном дворе Октябрьского вокзала, но отнюдь не провалился сквозь землю. В чем дело? Заседание продолжается!

Где-то с грохотом падали кирпичи. Протяжно кричала пароходная сирена.

ГЛАВА XLІ

Сокровище

В дождливый день конца октября Ипполит Матвеевич без пиджака, в лунном жилете, осыпанном мелкой серебряной звездой, хлопотал в комнате Иванову. Ипполит Матвеевич работал на подоконнике, потому что стола в комнате до сих пор не было. Великий комбинатор получил большой заказ по художественной части на изготовление адресных табличек для жилтовариществ. Исполнение табличек по трафарету Остап возложил на Воробьянинова, а сам целый почти месяц, со времени приезда в Москву, кружил в районе Октябрьского вокзала, с непостижимой страстью выискивая следы последнего, безусловно таящего в себе бриллианты мадам Петуховой, стула.

Наморщив лоб, Ипполит Матвеевич трафаретил железные досочки. За полгода бриллиантовой скачки он потерял свои привычки.

По ночам Ипполиту Матвеевичу виделись горные хребты, украшенные дикими транспарантами, летал перед глазами Изнуренков, подрагивая корич-

невыми ляжками, переворачивались лодки, тонули люди, падал с неба кирпич, и разверзшаяся земля пускала в глаза серный дым.

Остап, пребывавший ежедневно с Ипполитом Матвеевичем, не замечал в нем никакой перемены. Между тем Ипполит Матвеевич переменялся необыкновенно. И походка у Ипполита Матвеевича была уже не та, и выражение глаз сделалось дикое, и отросший ус торчал уже не параллельно земной поверхности, а почти перпендикулярно, как у пожилого кота.

Изменился Ипполит Матвеевич и внутренне. В характере появились несвойственные ему раньше черты решительности и жестокости. Три эпизода постепенно воспитали в нем эти новые чувства: чудесное спасение от тяжких кулаков васюкинских любителей; первый дебют по части нищенства у пятигорского «Цветника» и, наконец, землетрясение, после которого Ипполит Матвеевич несколько повредился и затаил к своему компаньону тайную ненависть.

В последнее время Ипполит Матвеевич был одержим сильнейшими подозрениями. Он боялся, что Остап вскрыет стул сам и, забрав сокровища, уедет, бросив его на произвол судьбы. Высказывать свои подозрения он не смел, зная тяжелую руку Остапа и непреклонный его характер. Ежедневно, сидя у окна и подчищая старой зазубренной бритвой высохшие буквы, Ипполит Матвеевич томился. Каждый день он опасался, что Остап больше не придет, и он, бывший предводитель дворянства, умрет голодной смертью под мокрым московским забором.

Но Остап приходил каждый вечер, хотя радостных вестей не приносил. Энергия и веселость его были неисчерпаемы. Надежда ни на одну минуту не покидала его.

В коридоре раздался топот ног, кто-то грохнулся о несгораемый шкаф, и фанерная дверь распахнулась с легкостью перевернутой ветром страницы. На пороге стоял великий комбинатор. Он был весь залит водой, щеки его горели, как яблочки. Он тяжело дышал.

— Ипполит Матвеевич! — закричал он. — Слушайте, Ипполит Матвеевич!

Воробьянинов удивился. Никогда еще технический директор не называл его по имени и отчеству. И вдруг он понял...

— Есть? — выдохнул он.

— В том-то и дело, что есть. Ах, Киса, черт вас раздери!

— Не кричите, все слышно.

— Верно, верно, могут услышать, — зашептал Остап быстро. — Есть, Киса, есть, и, если хотите, я могу продемонстрировать его сейчас же. Он в клубе железнодорожников, новом клубе... Вчера было открытие... Как я нашел? Чепуха? Необыкновенно трудная вещь! Гениальная комбинация, блестяще проведенная до конца! Античное приключение!.. Одним словом, высочайший класс!

Не ожидая, пока Ипполит Матвеевич напялит пиджак, Остап выбежал в коридор. Воробьянинов присоединился к нему на лестнице. Оба, взволнованно забрасывая друг друга вопросами, мчались по мокрым улицам на Каланчевскую площадь. Они не сообразили даже, что можно сесть в трамвай.

— Вы одеты, как сапожник! — радостно болтал Остап. — Кто так ходит, Киса? Вам необходимо крахмальное белье, шелковые носочки и, конечно, цилиндр. В вашем лице есть что-то благородное! Скажите, вы в самом деле были предводителем дворянства?

Показав предводителю стул, который стоял в комнате шахматного кружка и имел самый обычный «гамбсовский вид», хотя и таил в себе несметные ценности, Остап потащил Воробьянинова в коридор. Здесь не было ни души. Остап подошел к еще не замазанному на зиму окну и выдернул из гнезда задвижки обеих рам.

— Через это окошечко, — сказал он, — мы легко и нежно попадем в клуб в любой час сегодняшней ночи. Запомните, Киса, третье окно от парадного подъезда.

Друзья долго еще бродили по клубу под видом представителей УОНО¹ и не могли надивиться прекрасным залам и комнатам.

— Если бы я играл в Васюках, — сказал Остап, сидя на таком стуле, я бы не проиграл ни одной партии. Энтузиазм не позволил бы. Однако пойдем, старичок, у меня двадцать пять рублей подкожных. Мы должны выпить пива и отдохнуть перед ночным визитом. Вас не шокирует пиво, предводитель? Не беда. Завтра вы будете лакать шампанское в неограниченном количестве.

Идя из пивной на Сивцев Вражек, Бендер страшно веселился и задирал прохожих. Он обнимал слегка захмелевшего Ипполита Матвеевича за плечи и говорил с нежностью:

— Вы чрезвычайно симпатичный старичок, Киса, но больше десяти процентов я вам не дам. Ей-богу, не дам. Ну, зачем вам, зачем вам столько денег?

— Как зачем? Как зачем? — кипятился Ипполит Матвеевич.

Остап чистосердечно смеялся и принимал щекой к мокрому рукаву своего друга по концессии.

— Ну что вы купите, Киса? Ну что? Ведь у вас нет никакой фантазии. Ей-богу, пятнадцати тысяч вам за глаза хватит... Вы же скоро умрете, вы же старенький. Вам же деньги вообще не нужны... Знаете, Киса, я, кажется, ничего вам не дам. Это баловство. А возьму я вас, Кисуля, к себе в секретари. А? Сорок рублей в месяц. Харчи мои. Четыре выходных дня... А? Спецдежда там, чаевые, соцстрах... А? Подходит вам это предложение?

¹ УОНО — уездный отдел Наркомпроса.

Ипполит Матвеевич вырвал руку и быстро ушел вперед. Шутки эти доводили его до иступления.

Остап нагнал Воробьянинова у входа в розовый особнячок.

— Вы в самом деле на меня обиделись? — спросил Остап. — Я ведь пошутил. Свои три процента вы получите. Ей-богу, вам трех процентов достаточно, Киса.

Ипполит Матвеевич угрюмо вошел в комнату.

— А? Киса, — резвился Остап, — соглашайтесь на три процента! Ей-богу, соглашайтесь! Другой бы согласился. Комнаты вам покупать не надо, благо Иванову уехал в Тверь на целый год. А то все-таки ко мне поступайте в камердинеры... Теплое местечко.

Увидев, что Ипполита Матвеевича ничем не растормошишь, Остап сладко зевнул, вытянулся к самому потолку, наполнив воздухом широкую грудную клетку, и сказал:

— Ну, друже, готовьте карманы. В клуб мы пойдем перед рассветом. Это наилучшее время. Сторожа спят и видят сладкие сны, за что их часто увольняют без выходного пособия. А пока, дорогуша, советую вам отдохнуть.

Остап улегся на трех стульях, собранных в разных частях Москвы, и, засыпая, проговорил:

— А то камердинером!.. Приличное жалованье... Харчи... Чаевые... Ну, ну, пошутил... Заседание продолжается! Лед тронулся, господа присяжные заседатели!

Это были последние слова великого комбинатора. Он заснул беспечным сном, глубоким, освежающим и не отягощенным сновидениями.

Ипполит Матвеевич вышел на улицу. Он был полон отчаяния и злобы. Луна прыгала по облачным кочкам. Мокрые решетки особняков жирно блестели. Газовые фонари, окруженные веночками водяной пыли, тревожно светились. Из пивной «Орел» вытолкнули пьяного. Пьяный заорал. Ипполит Матвеевич поморщился и твердо пошел назад. У него было одно желание: поскорее все кончить.

Он вошел в комнату, строго посмотрел на спящего Остапа, протер пенсне и взял с подоконника бритву. На ее зазубринках видны были высохшие чешуйки масляной краски. Он положил бритву в карман, еще раз прошел мимо Остапа, не глядя на него, но слыша его дыхание, и очутился в коридоре. Здесь было тихо и сонно. Как видно, все уже улеглись. В полной тьме коридора Ипполит Матвеевич вдруг улыбнулся наизявительнейшим образом и почувствовал, что на его лбу задвигалась кожа. Чтобы проверить это новое ощущение, он снова улыбнулся. Он вспомнил вдруг, что в гимназии ученик Пыхтеев-Какуев умел шевелить ушами.

Ипполит Матвеевич дошел до лестницы и внимательно прислушался. На лестнице никого не было. С улицы донеслось цоканье копыт извозчицкой ло-

шади, нарочито громкое и отчетливое, как будто бы считали на счетах. Предводитель кошачьим шагом вернулся в комнату, вынул из висящего на стуле пиджака Остапа двадцать рублей и плоскогубцы, надел на себя грязную адмиральскую фуражку и снова прислушался.

Остап спал тихо, не сопя. Его носоглотка и легкие работали идеально, исправно вдыхая и выдыхая воздух. Здоровенная рука свесилась к самому полу. Ипполит Матвеевич, ощущая секундные удары височного пульса, неторопливо подтянул правый рукав выше локтя, обмотал обнажившуюся руку вафельным полотенцем, отошел к двери, вынул из кармана бритву и, примерившись глазами к комнатным расстояниям, повернул выключатель. Свет погас, но комната оказалась слегка освещенной голубоватым аквариумным светом уличного фонаря.

— Тем лучше, — прошептал Ипполит Матвеевич.

Он приблизился к изголовью и, далеко отставив руку с бритвой, изо всей силы косо всадил все лезвие сразу в горло Остапа, сейчас же выдернул бритву и отскочил к стене. Великий комбинатор издал звук, какой производит кухонная раковина, всасывающая остатки воды. Ипполиту Матвеевичу удалось не запачкаться в крови. Вытирая пиджаком каменную стену, он прокрался к голубой двери и на секунду снова посмотрел на Остапа. Тело его два раза выгнулось и завалилось к спинкам стульев. Уличный свет поплыл по черной луже, образовавшейся на полу.

«Что это за лужа? — подумал Ипполит Матвеевич. — Да, да, кровь... Товарищ Бендер скончался».



Воробьянинов размотал слегка измазанное полотенце, бросил его, потом осторожно положил бритву на пол и удалился, тихо прикрыв дверь.

Очутившись на улице, Ипполит Матвеевич насупился и, бормоча: «Бриллианты все мои, а вовсе не шесть процентов», пошел на Каланчевскую площадь.

У третьего окна от парадного подъезда железнодорожного клуба Ипполит Матвеевич остановился. Зеркальные окна нового здания жемчужно серели в свете подступавшего утра. В сыром воздухе звучали глуховатые голоса маневровых паровозов. Ипполит Матвеевич ловко вскарабкался на карниз, толкнул раму и бесшумно прыгнул в коридор.

Легко ориентируясь в серых предрассветных залах клуба, Ипполит Матвеевич проник в шахматный кабинет и, зацепив головой висевший на стене портрет Эммануила Ласкера, подошел к стулу. Он не спешил. Спешить ему было некуда. За ним никто не гнался. Гроссмейстер О. Бендер спал вечным сном в розовом особняке на Сивцевом Вражке.

Ипполит Матвеевич сел на пол, обхватил стул своими жилистыми ногами и с хладнокровием дантиста стал выдергивать из стула медные гвозди, не пропуская ни одного. На шестьдесят втором гвозде работа его кончилась. Английский ситец и рогожа свободно лежали на обивке стула. Стоило только поднять их, чтобы увидеть футляры, футлярычки и ящички, наполненные драгоценными камнями.

«Сейчас же на автомобиль, — подумал Ипполит Матвеевич, обучившийся житейской мудрости в школе великого комбинатора, — на вокзал. И на польскую границу. За какой-нибудь камешек меня переправят на ту сторону, а там...»

И, желая поскорее увидеть, что будет «там», Ипполит Матвеевич сдернул со стула ситец и рогожку. Глазам его открылись пружины, прекрасные английские пружины, и набивка, замечательная набивка, довоенного качества, какой теперь нигде не найдешь. Но больше ничего в стуле не содержалось. Ипполит Матвеевич машинально разворошил пальцами обивку и целых полчаса просидел, не выпуская стула из цепких ног и тупо повторяя:

— Почему же здесь ничего нет? Этого не может быть! Этого не может быть!

Было уже почти светло, когда Воробьянинов, бросив все, как было, в шахматном кабинете, забыв там плоскогубцы и фуражку с золотым клеймом несуществующего яхт-клуба, никем не замеченный, тяжело и устало вылез через окно на улицу.

— Этого не может быть, — повторял он, отойдя на квартал. — Этого не может быть.

И он вернулся назад к клубу и стал разгуливать вдоль его больших окон, шевеля губами:

— Этого не может быть! Этого не может быть! Этого не может быть!

Изредка он вскрикивал, хватался за мокрую, от утреннего тумана, голову. Вспоминая все события ночи, он тряс седыми космами. Бриллиантовое возбуждение оказалось слишком сильным средством: он одряхлел в пять минут.

— Ходят тут, ходят всякие, — услышал Воробьянинов над своим ухом.

Он увидел сторожа в брезентовой спецодежде и в холодных сапогах. Сторож был очень стар и, как видно, добр.

— Ходят и ходят, — общительно говорил старик, которому надоело ночное одиночество, — и вы тоже, товарищ, интересуетесь. И верно. Клуб у нас, можно сказать, необыкновенный.

Ипполит Матвеевич страдальчески смотрел на румяного старика.

— Да, — сказал старик, — необыкновенный этот клуб. Другого такого нигде нету.

— А что же в нем такого необыкновенного? — спросил Ипполит Матвеевич, собираясь с мыслями.

Старичок радостно посмотрел на Воробьянинова. Видно, рассказ о необыкновенном клубе нравился ему самому, и он любил его повторять.

— Ну и вот, — начал старик, — я тут в сторожах хожу десятый год, а такого случая не было. Ты слушай, солдатик. Ну и вот, был здесь постоянно клуб, известно какой, первого участка службы тяги. Я его и сторожил. Негодящий был клуб... Топили его, топили и ничего не могли сделать. А товарищ Красильников ко мне подступает: куда, мол, дрова у тебя идут. А я их разве что ем, эти дрова? Бился товарищ Красильников с клубом — там сырость, тут холод, духовому кружку помещения нету, и в театр играть — одно мучение: господа артисты мерзли. Пять лет кредита просили на новый клуб, да не знаю, что там выходило. Дорпрофсоюз кредита не утверждал. Только весной товарищ Красильников стул для сцены купил, стул хороший, мягкий...

Ипполит Матвеевич, налегая всем корпусом на сторожа, слушал. Он был в полуобмороке. А старик, заливаясь радостным смехом, рассказал, как он однажды взгромоздился на этот стул, чтобы вывинтить электрическую лампочку, да и покатился.

— С этого стула я соскользнул, обшивка на нем порвалась. И смотрю — из-под обшивки стеклушки сыплются и бусы белые на ниточке.

— Бусы, — проговорил Ипполит Матвеевич.

— Бусы, — визгнул старик восхищенно, — и смотрю, солдатик, дальше, а там коробочки разные. Я эти коробочки даже и не трогал. А пошел прямо к товарищу Красильникову и доложил. Так и комиссии потом докладывал. Не трогал я этих коробочек и не трогал. И хорошо, солдатик, сделал, потому что там драгоценность найдена была, запрятанная буржуазией...

— Где же драгоценности? — закричал предводитель.

— Где, где, — передразнил старик, — тут, солдатик, соображение надо иметь. Вот они!

— Где? Где?

— Да вот они! — закричал румяный страж, радуясь произведенному эффекту. — Вот они! Очки протри! Клуб на них построили, солдатик! Видишь? Вот он, клуб! Паровое отопление, шашки с часами, буфет, театр, в галошах не пускают!..

Ипполит Матвеевич оледенел и, не двигаясь с места, водил глазами по карнизам.

Так вот оно где, сокровище мадам Петуховой! Вот оно! Все тут! Все сто пятьдесят тысяч рублей ноль ноль копеек, как любил говорить убитый Остап-Сулейман-Берта-Мария Бендер.

Бриллианты превратились в сплошные фасадные стекла и железобетонные перекрытия, прохладные гимнастические залы были сделаны из жемчуга. Алмазная диадема превратилась в театральный зал с вертящейся сценой, рубиновые подвески разрослись в целые люстры, золотые змеинные браслетки с изумрудами обернулись прекрасной библиотекой, а фермуар перевоплотился в детские ясли, планерную мастерскую, шахматный кабинет и бильярдную.

Сокровище осталось, оно было сохранено и даже увеличилось. Его можно было потрогать руками, но нельзя было унести. Оно перешло на службу другим людям.

Ипполит Матвеевич потрогал руками гранитную облицовку. Холод камня передался в самое его сердце.

И он закричал.

Крик его, бешеный, страстный и дикий — крик простреленной навывлет волчицы, — вылетел на середину площади, метнулся под мост и, отталкиваемый отовсюду звуками просыпающегося большого города, стал глохнуть и в минуту зачах.

Великолепное осеннее утро скатилось с мокрых крыш на улицы Москвы. Город двинулся в будничный свой поход.

1927



ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК



От авторов

Обычно по поводу нашего обобщественного литературного хозяйства к нам обращаются с вопросом вполне законным, но весьма однообразным: «Как это вы пишете вдвоем?»

Сначала мы отвечали подробно, вдавались в детали, рассказывали даже о крупной ссоре, возникшей по следующему поводу: убить ли героя романа «12 стульев» Остапа Бендера или оставить в живых? Не забывали упомянуть о том, что участь героя решилась жребием. В сахарницу были положены две бумажки, на одной из которых дрожащей рукой был изображен череп и две куриные косточки. Вынул череп — и через полчаса великого комбинатора не стало. Он был прирезан бритвой.

Потом мы стали отвечать менее подробно. О ссоре уже не рассказывали. Еще потом перестали вдаваться в детали. И, наконец, отвечали совсем уже без воодушевления:

— Как мы пишем вдвоем? Да так и пишем вдвоем. Как братья Гонкуры. Эдмонд бегает по редакциям, а Жюль стережет рукопись, чтобы не украли знакомые.

И вдруг единообразие вопросов было нарушено.

— Скажите, — спросил нас некий строгий гражданин из числа тех, что признали советскую власть несколько позже Англии и чуть раньше Греции, — скажите, почему вы пишете смешно? Что за смешки в реконструктивный период?¹ Вы что, с ума сошли?

После этого он долго и сердито убеждал нас в том, что сейчас смех вреден.

— Смеяться грешно! — говорил он. — Да, смеяться нельзя! И улыбаться нельзя! Когда я вижу эту новую жизнь, эти сдвиги, мне не хочется улыбаться, мне хочется молиться!

— Но ведь мы не просто смеемся, — возражали мы. — Наша цель — сатира, сатира именно на тех людей, которые не понимают реконструктивного периода.

¹ *Реконструктивный период* — период середины 1920–1930-х годов, следующий за «восстановительным периодом». Переход от нэпа к индустриальной, плановой государственной экономике.

— Сатира не может быть смешной, — сказал строгий товарищ и, подхватив под руку какого-то кустаря-баптиста, которого он принял за стопроцентного пролетария, повел его к себе на квартиру.

Повел описывать скучными словами, повел вставлять в шеститомный роман под названием «А паразиты никогда!».

Все рассказанное не выдумка. Выдумать можно было бы и посмешнее.

Дайте такому гражданину-аллилуйщику волю, и он даже на мужчин надеет паранджу, а сам с утра до вечера будет играть на трубе гимны и псалмы, считая, что именно таким образом надо помогать строительству социализма.

И все время, покуда мы сочиняли «Золотого теленка», над нами реял лик строгого гражданина.

— А вдруг эта глава выйдет смешной? Что скажет строгий гражданин?

И в конце концов мы постановили:

а) роман написать по возможности веселый,

б) буде строгий гражданин снова заявит, что сатира не должна быть смешной, — просить прокурора республики т. Крыленко¹ привлечь помянутого гражданина к уголовной ответственности по статье, карающей за головотяпство со взломом.

И. Ильф, Е. Петров

¹ Николай Васильевич Крыленко (1885–1938) — советский государственный и партийный деятель. В 1929–1931 годах — прокурор РСФСР. Расстрелян 29 июля 1938 года по приговору ВКВС в рамках дела о «контрреволюционной фашистско-террористической организации альпинистов и туристов». В 1956 году реабилитирован за отсутствием состава преступления.



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ЭКИПАЖ «АНТИЛОПЫ»

Переходя улицу
оглянься по сторонам
Правило уличного движения

ГЛАВА ПЕРВАЯ О том, как Паниковский нарушил конвенцию

Пешеходов надо любить.

Пешеходы составляют бóльшую часть человечества. Мало того — лучшую его часть. Пешеходы создали мир. Это они построили города, возвели многоэтажные здания, провели канализацию и водопровод, замостили улицы и осветили их электрическими лампами. Это они распространили культуру по всему свету, изобрели книгопечатание, выдумали порох, перебросили мосты через реки, расшифровали египетские иероглифы, ввели в употребление безопасную бритву, уничтожили торговлю рабами и

установили, что из бобов сои можно изготовить 114 вкусных питательных блюд.

И когда все было готово, когда родная планета приняла сравнительно благоустроенный вид, появились автомобилисты.

Надо заметить, что автомобиль тоже был изобретен пешеходами. Но автомобилисты об этом как-то сразу забыли. Кротких и умных пешеходов стали давить. Улицы, созданные пешеходами, перешли во власть автомобилистов. Мостовые стали вдвое шире, тротуары сузились до размера табачной бандероли¹. И пешеходы стали испуганно жаться к стенам домов.

В большом городе пешеходы ведут мученическую жизнь. Для них ввели некое транспортное гетто. Им разрешают переходить улицы только на перекрестках, то есть именно в тех местах, где движение сильнее всего и где волосок, на котором обычно висит жизнь пешехода, легче всего оборвать.

В нашей обширной стране обыкновенный автомобиль, предназначенный, по мысли пешеходов, для мирной перевозки людей и грузов, принял грозные очертания братоубийственного снаряда. Он выводит из строя целые шеренги членов профсоюзов и их семей.

Если пешеходу иной раз удастся выпорхнуть из-под серебряного носа машины, — его штрафует милиция за нарушение правил уличного катехизиса.

И вообще авторитет пешеходов сильно пошатнулся. Они, давшие миру таких замечательных людей, как Горацій, Бойль, Мариотт, Лобачевский, Гутенберг, Мейерхольд и Анатоль Франс, — принуждены теперь кривляться самым пошлым образом, чтобы только напомнить о своем существовании. Боже, боже, которого, в сущности, нет, до чего ты, которого на самом деле то и нет, довел пешехода!

Вот идет он из Владивостока в Москву по сибирскому тракту, держа в одной руке знамя с надписью: «Перестроим быт текстильщиков» и перекинув через плечо палку, на конце которой болтаются резервные сандалии «Дядя Ваня» и жестяной чайник без крышки. Это советский пешеход-физкультурник, который вышел из Владивостока юношей и на склоне лет у самых ворот Москвы будет задавлен тяжелым автокаром, номер которого так и не успеют заметить.

Или другой, европейский, могикан пешеходного движения. Он идет пешком вокруг света, катя перед собой бочку. Он охотно пошел бы так, без бочки; но тогда никто не заметит, что он действительно пешеход дальнего следования, и про него ничего не напишут в газетах. Приходится всю жизнь толкать перед собой проклятую тару, на которой к тому же (позор, позор!) выведена

¹ *Табачная бандероль* — это акцизная марка на табак. В Российской империи и в СССР в период нэпа применялись акцизные бандероли, напечатанные на узких длинных полосках тонкой, обычно папиросной, бумаги, которыми оклеивались упаковки (коробка, пачка) табака, папирос, сигарет или махорки.



большая желтая надпись, восхваляющая непревзойденные качества автомобильного масла «Грезы шофера».

Так деградировал пешеход.

И только в маленьких русских городах пешехода еще уважают и любят. Там он еще является хозяином улиц, беззаботно бродит по мостовой и пересекает ее самым замысловатым образом в любом направлении.

Гражданин в фуражке с белым верхом, какую по большей части носят администраторы летних садов и конференсье, несомненно, принадлежал к большей и лучшей части человечества. Он двигался по улицам города Арбатова пешком, со снисходительным любопытством озираясь по сторонам. В руке он держал небольшой акушерский саквояж. Город, видимо, ничем не поразил пешехода в артистической фуражке.

Он увидел десятка полтора голубых, резедовых и бело-розовых звонниц; бросилось ему в глаза облезлое американское золото¹ церковных куполов. Флаг трещал над официальным зданием.

У белых башенных ворот провинциального кремля две суровые старухи разговаривали по-французски, жаловались на советскую власть и вспоминали любимых дочерей. Из церковного подвала несло холодом, бил оттуда кислый винный запах. Там, как видно, хранился картофель.

— Храм спаса на картошке, — негромко сказал пешеход.

Пройдя под фанерной аркой со свежим известковым лозунгом: «Привет 5-й окружной конференции женщин и девушек», он очутился у начала длинной аллеи, именовавшейся Бульваром Молодых Дарований.

— Нет, — сказал он с огорчением, — это не Рио-де-Жанейро, это гораздо хуже.

Почти на всех скамьях Бульвара Молодых Дарований сидели одинокие девицы с раскрытыми книжками в руках. Дырявые тени падали на страницы книг, на голые локти, на трогательные челки. Когда приезжий вступил в прохладную аллею, на скамьях произошло заметное движение. Девушки, прикрывшись книгами Гладкова, Элизы Оржешко и Сейфуллиной, бросали на приезжего трусливые взгляды. Он проследовал мимо взволнованных читательниц парадным шагом и вышел к зданию исполкома — цели своей прогулки.

В эту минуту из-за угла выехал извозчик. Рядом с ним, держась за пыльное облупленное крыло экипажа и размахивая вздутой папкой с тисненой надписью «Musique», быстро шел человек в длиннополой толстовке. Он что-то горячо доказывал седоку. Седок — пожилой мужчина с висячим, как банан, носом — сжимал ногами чемодан и время от времени показывал своему собеседнику кукиш. В пылу спора его инженерская фуражка, околыш которой сверкал зеленым диванным плюшем, покосилась на-

¹ Так называемое американское золото — сплав меди и олова, применяющийся для «золочения» церковных куполов.

бок. Обе тяжущиеся стороны часто и особенно громко произносили слово «оклад».

Вскоре стали слышны и прочие слова.

— Вы за это ответите, товарищ Талмудовский! — крикнул длиннополый, отводя от своего лица инженерский кукиш.

— А я вам говорю, что на такие условия к вам не поедет ни один приличный специалист, — отвечал Талмудовский, стараясь вернуть кукиш на прежнюю позицию.

— Вы опять про оклад жалования? Придется поставить вопрос о рвачестве.

— Плевал я на оклад! Я даром буду работать! — кричал инженер, взволнованно описывая кукишем всевозможные кривые. — Захочу — и вообще уйду на пенсию. Вы это крепостное право бросьте. Сами всюду пишут: «Свобода, равенство и братство», а меня хотят заставить работать в этой крысиной норе.

Тут инженер Талмудовский быстро разжал кукиш и принялся считать по пальцам:

— Квартира — свиношник, театра нет, оклад... Извозчик! Пошел на вокзал!

— Тпр-ру-у! — завизжал длиннополый, суетливо забегая вперед и хватая лошадь под уздцы. — Я, как секретарь секции инженеров и техников... Кондрат Иванович! Ведь завод остается без специалистов... Побойтесь бога... Общественность этого не допустит, инженер Талмудовский... У меня в портфеле протокол.

И секретарь секции, расставив ноги, стал живо развязывать тесемки своей «Musique».

Эта неосторожность решила спор. Увидев, что путь свободен, Талмудовский поднялся на ноги и что есть силы закричал:

— Пошел на вокзал!

— Куда? Куда? — залепетал секретарь, устремляясь за экипажем. — Вы дезертир трудового фронта!

Из папки «Musique» вылетели листки папиросной бумаги с какими-то лиловыми «слушали-постановили».

Приезжий, с интересом наблюдавший инцидент, постоял с минуту на опустевшей площади и убежденным тоном сказал:

— Нет, это не Рио-де-Жанейро.

Через минуту он уже стучался в дверь кабинета predisполкома.

— Вам кого? — спросил его секретарь, сидевший за столом рядом с дверью. — Зачем вам к председателю? По какому делу?

Как видно, посетитель тонко знал систему обращения с секретарями правительственных, хозяйственных и общественных организаций. Он не стал уверять, что прибыл по срочному казенному делу.

— По личному, — сухо сказал он, не оглядываясь на секретаря и засовывая голову в дверную щель.

— К вам можно?

И, не дожидаясь ответа, приблизился к письменному столу.

— Здравствуйте, вы меня не узнаете?

Председатель, черноглазый большеголовый человек в синем пиджаке и в таких же брюках, заправленных в сапоги на высоких скороходовских каблучках, посмотрел на посетителя довольно рассеянно и заявил, что не узнает.

— Неужели не узнаете? А между тем многие находят, что я поразительно похож на своего отца.

— Я тоже похож на своего отца, — нетерпеливо сказал председатель. — Вам чего, товарищ?

— Тут все дело в том, какой отец, — грустно заметил посетитель. — Я сын лейтенанта Шмидта.

Председатель смутился и приподнялся. Он живо вспомнил знаменитый облик революционного лейтенанта с бледным лицом и в черной пелерине с бронзовыми львиными застежками. Пока он собирался с мыслями, чтобы задать сыну черноморского героя приличествующий случаю вопрос, посетитель присматривался к мебелировке кабинета взглядом разборчивого покупателя.

Когда-то, в царские времена, мебелировка присутственных мест производилась по трафарету. Выращена была особая порода казенной мебели: плоские, уходящие под потолок шкафы, деревянные диваны с трехдюймовыми полированными сиденьями, столы на бильярдных ногах и дубовые парапеты, отделявшие присутствие от внешнего беспокойного мира. За время революции эта порода мебели почти исчезла, и секрет ее выработки был утерян. Люди забыли, как нужно обставлять помещения должностных лиц, и в служебных кабинетах показались предметы, считавшиеся до сих пор неотъемлемой принадлежностью частной квартиры. В учреждениях появились пружинные адвокатские диваны с зеркальной полочкой для семи фарфоровых слонов, которые якобы приносят счастье, горки для посуды, этажерочки, раздвижные кожаные кресла для ревматиков и голубые японские вазы. В кабинете председателя арбатовского исполкома, кроме обычного письменного стола, прижились два пуфика, обитых полопавшимся розовым шелком, полосатая козетка, атласный экран с Фузиеймой и вишней в цвету и зеркальный славянский шкаф грубой рыночной работы.

«А шкафчик-то типа „Гей, славяне!“»¹ — подумал посетитель. — Тут много не возьмешь. Нет, это не Рио-де-Жанейро.

¹ «Гей, славяне!» — славянская патриотическая песня. Первоначально текст гимна был написан Самуэлом Томашиком в 1834 году под названием «Гей, словаки!» на мотив «Марша Домбровского», впоследствии был вольно переведен на все славянские языки и начал использоваться как гимн панславянского движения.

— Очень хорошо, что вы зашли, — сказал наконец председатель. — Вы, вероятно, из Москвы?

— Да, проездом, — ответил посетитель, разглядывая козетку и все более убеждаясь, что финансовые дела исполкома плохи. Он предпочитал исполкомы, обставленные новой шведской мебелью ленинградского древтреста.

Председатель хотел было спросить о цели приезда лейтенантского сына в Арбат, но неожиданно для самого себя жалобно улыбнулся и сказал:

— Церкви у нас замечательные. Тут уже из Главнауки приезжали, собираются реставрировать. Скажите, а вы-то сами помните восстание на броненосце «Очаков»?

— Смутно, смутно, — ответил посетитель. — В то героическое время я был еще крайне мал. Я был дитя.

— Простите, а как ваше имя?

— Николай... Николай Шмидт.

— А по батюшке?

«Ах, как нехорошо», — подумал посетитель, который и сам не знал имени своего отца.

— Да-а, — протянул он, уклоняясь от прямого ответа, — теперь многие не знают имен героев. Угар нэпа. Нет того энтузиазма. Я, собственно, попал к вам в город совершенно случайно. Дорожная неприятность. Остался без копейки.

Председатель очень обрадовался перемене разговора. Ему показалось позорным, что он забыл имя очаковского героя.

«Действительно, — думал он, с любовью глядя на воодушевленное лицо героя, — глхнешь тут за работой. Великие вехи забываешь».

— Как вы говорите? Без копейки? Это интересно.

— Конечно, я мог бы обратиться к частному лицу, — сказал посетитель, — мне всякий даст; но, вы понимаете, это не совсем удобно с политической точки зрения. Сын революционера — и вдруг просит денег у частника, у нэпмана...

Последние слова сын лейтенанта произнес с надрывом. Председатель тревожно прислушался к новым интонациям в голосе посетителя. «А вдруг припадочный, — подумал он, — хлопот с ним не оберешься».

— И очень хорошо сделали, что не обратились к частнику, — сказал вконец запутавшийся председатель.

Затем сын черноморского героя мягко, без нажима перешел к делу. Он просил пятьдесят рублей. Председатель, стесненный узкими рамками местного бюджета, смог дать только восемь рублей и три талона на обед в кооперативной столовой «Бывший друг желудка».

Сын героя уложил деньги и талоны в глубокий карман поношенного серого в яблоках пиджака и уже собрался было подняться с розового пуфика, когда за дверью кабинета послышался топот и заградительный возглас секретаря.



Дверь поспешно растворилась, и на пороге ее показался новый посетитель.

— Кто здесь главный? — спросил он, тяжело дыша и рыская блудливыми глазами.

— Ну, я, — сказал председатель.

— Здоров, председатель, — гаркнул новоприбывший, протягивая лопатообразную ладонь. — Будем знакомы. Сын лейтенанта Шмидта.

— Кто? — спросил глава города, тараща глаза.

— Сын великого, незабвенного героя лейтенанта Шмидта, — повторил пришелец.

— А вот же товарищ сидит — сын товарища Шмидта, Николай Шмидт.

И председатель в полном расстройстве указал на первого посетителя, лицо которого внезапно приобрело сонное выражение.

В жизни двух жуликов наступило щекотливое мгновение. В руках скромного и доверчивого председате-

ля исполкома в любой момент мог блеснуть длинный неприятный меч Немезиды. Судьба давала только одну секунду времени для создания спасительной комбинации. В глазах второго сына лейтенанта Шмидта отразился ужас.

Его фигура в летней рубашке «Парагвай», штанах с матросским клапаном и голубоватых парусиновых туфлях, еще минуту назад резкая и угловатая, стала расплываться, потеряла свои грозные контуры и уже решительно не внушала никакого уважения. На лице председателя появилась скверная улыбка.

И вот, когда второму сыну лейтенанта уже казалось, что все потеряно и что ужасный председательский гнев свалится сейчас на его рыжую голову, с розового пufика пришло спасение.

— Вася! — закричал первый сын лейтенанта Шмидта, вскакивая. — Родной братик! Узнаешь брата Колю?

И первый сын заключил второго сына в объятия.

— Узнаю! — воскликнул прозревший Вася. — Узнаю брата Колю.

Счастливая встреча ознаменовалась такими сумбурными ласками и столь необыкновенными по силе объятиями, что второй сын черноморского рево-

люционерера вышел из них с побледневшим от боли лицом. Брат Коля на радостях помял его довольно сильно.

Обнимаясь, оба брата искоса поглядывали на председателя, с лица которого не сходило укусное выражение. Ввиду этого спасительную комбинацию тут же на месте пришлось развить, пополнить бытовыми деталями и новыми, ускользнувшими от Истпарта¹ подробностями восстания моряков в 1905 году. Держась за руки, братья опустили на козетку и, не спуская лъстивых глаз с председателя, погрузились в воспоминания.

— До чего удивительная встреча! — фальшиво воскликнул первый сын, взглядом приглашая председателя примкнуть к семейному торжеству.

— Да, — сказал председатель замороженным голосом. — Бывает, бывает.

Увидев, что председатель все еще находится в лапах сомнения, первый сын погладил брата по рыжим, как у сеттера, кудрям и ласково спросил:

— Когда же ты приехал из Мариуполя, где ты жил у нашей бабушки?

— Да, я там жил, — пробормотал второй сын лейтенанта, — у нее.

— Что же ты мне так редко писал? Я очень беспокоился.

— Занят был, — угрюмо ответил рыжеволосый.

И, опасаясь, что неугомонный брат сейчас же заинтересуется, чем он был занят (а занят он был преимущественно тем, что сидел в исправительных домах различных автономных республик и областей), второй сын лейтенанта Шмидта вырвал инициативу и сам задал вопрос:

— А ты почему не писал?

— Я писал, — неожиданно ответил братец, чувствуя необыкновенный прилив веселости. — Заказные письма посылал. У меня даже почтовые квитанции есть.

И он полез в боковой карман, откуда действительно вынул множество лежалых бумажек. Но показал их почему-то не брату, а председателю исполкома, да и то издали.



¹ *Истпарт* — Комиссия по истории Октябрьской революции и РКП(б), научно-исследовательское учреждение. Занималась сбором, хранением, научной обработкой и изданием материалов по истории Коммунистической партии и Октябрьской революции. Как самостоятельное учреждение действовала в 1920–1928 годах, а ее региональные отделения — до 1939 года.

Как ни странно, но вид бумажек немного успокоил председателя, и воспоминания братьев стали живее. Рыжеволосый вполне освоился с обстановкой и довольно толково, хотя и монотонно, рассказал содержание массовой брошюры «Мятеж на Очакове». Брат украшал его сухое изложение деталями, настолько живописными, что председатель, начинавший было уже успокаиваться, снова наострил уши.

Однако он отпустил братьев с миром, и они выбежали на улицу, чувствуя большое облегчение.

За углом исполкомовского дома они остановились.

— Кстати, о детстве, — сказал первый сын, — в детстве таких, как вы, я убивал на месте. Из рогатки.

— Почему? — радостно спросил второй сын знаменитого отца.

— Таковы суровые законы жизни. Или, короче выражаясь, жизнь диктует нам свои суровые законы. Вы зачем полезли в кабинет? Разве вы не видели, что председатель не один?

— Я думал...

— Ах, вы думали? Вы, значит, иногда думаете? Вы мыслитель. Как ваша фамилия, мыслитель? Спиноза? Жан-Жак Руссо? Марк Аврелий?

Рыжеволосый молчал, подавленный справедливым обвинением.

— Ну, я вас прощаю. Живите. А теперь давайте познакомимся. Как-никак мы братья, а родство обязывает. Меня зовут Остап Бендер. Разрешите также узнать вашу первую фамилию.

— Балаганов, — представился рыжеволосый, — Шура Балаганов.

— О профессии не спрашиваю, — учтиво сказал Бендер, — но догадываюсь. Вероятно, что-нибудь интеллектуальное? Судимостей за этот год много?

— Две, — свободно ответил Балаганов.

— Вот это нехорошо. Почему вы продаете свою бессмертную душу? Человек не должен судиться. Это пошлое занятие. Я имею в виду кражи. Не говоря уже о том, что воровать — грешно, — мама наверно познакомила вас в детстве с такой доктриной, — это к тому же бесцельная трата сил и энергии.

Остап долго еще развивал бы свои взгляды на жизнь, если бы его не перебил Балаганов.

— Смотрите, — сказал он, указывая на зеленые глубины Бульвара Молодых Дарований. — Видите, вон идет человек в соломенной шляпе?

— Вижу, — высокомерно сказал Остап. — Ну и что же? Это губернатор острова Борнео?

— Это Паниковский, — сказал Шура. — Сын лейтенанта Шмидта.

По аллее, в тени августейших лип, склонясь немного набок, двигался немолодой уже гражданин. Твердая соломенная шляпа с рубчатыми краями боком сидела на его голове. Брюки были настолько коротки, что обнажали

белые завязки кальсон. Под усами гражданина, подобно огоньку папиросы, пылал золотой зуб.

— Как, еще один сын? — сказал Остап. — Это становится забавным.

Паниковский подошел к зданию исполкома, задумчиво описал у входа восьмерку, взялся за поля шляпы обеими руками и правильно установил ее на голове, обдернул пиджак и, тяжело вздохнув, двинулся внутрь.

— У лейтенанта было три сына, — заметил Бендер, — два умных, а третий дурак. Его нужно предостеречь.

— Не надо, — сказал Балаганов, — пусть знает в другой раз, как нарушать конвенцию.

— Что это за конвенция такая?

— Подождите, потом скажу. Вошел, вошел!

— Я человек завистливый, — сознался Бендер, — но тут завидовать нечему. Вы никогда не видели боя быков? Пойдем посмотрим.

Сдружившиеся дети лейтенанта Шмидта вышли из-за угла и подступили к окну председательского кабинета.

За туманным, немытым стеклом сидел председатель. Он быстро писал. Как у всех пишущих, лицо у него было скорбное. Вдруг он поднял голову. Дверь распахнулась, и в комнату проник Паниковский. Прижимая шляпу к сальному пиджаку, он остановился около стола и долго шевелил толстыми губами. После этого председатель подскочил на стуле и широко раскрыл рот. Друзья слышали протяжный крик.

Со словами «все назад» Остап увлек за собою Балаганова. Они побежали на бульвар и спрятались за деревом.

— Снимите шляпы, — сказал Остап, — обнажите головы. Сейчас состоится вынос тела.

Он не ошибся. Не успели еще замолкнуть раскаты и переливы председательского голоса, как в портале исполкома показались два дюжих сотрудника. Они несли Паниковского. Один держал его за руки, а другой за ноги.

— Прах покойного, — комментировал Остап, — был вынесен на руках близкими и друзьями.

Сотрудники вытащили третье глупое дитя лейтенанта Шмидта на крыльцо и принялись неторопливо раскачивать. Паниковский молчал, покорно глядя в синее небо.

— После непродолжительной гражданской панихиды... — начал Остап.

В ту же самую минуту сотрудники, придав телу Паниковского достаточный размах и инерцию, выбросили его на улицу.

— ...тело было предано земле, — закончил Бендер.

Паниковский шлепнулся на землю, как жаба. Он быстро поднялся и, крепясь набок сильнее прежнего, побежал по Бульвару Молодых Дарований с невероятной быстротой.



— Ну, теперь расскажите, — промолвил Остап, — каким образом этот гад нарушил конвенцию и какая это была конвенция.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Тридцать сыновей лейтенанта Шмидта

Хлопотливо проведенное утро окончилось. Бендер и Балаганов, не сговариваясь, быстро пошли в сторону от исполкома. По главной улице на раздвинутых крестьянских ходах¹ везли длинную синюю рельсу. Такой звон и пенье стояли на главной улице, будто возчик в рыбацкой брезентовой прозодежде вез не рельсу, а оглушительную музыкальную ноту. Солнце ломилось в стеклянную витрину магазина наглядных пособий, где над глобусами, черепами и картонной, весело раскрашенной печенью пьяницы дружески обнимались два скелета. В бедном окне мастерской штемпелей и печатей наибольшее место занимали эмалированные дощечки с надписями: «Закрывается на обед», «Обеденный перерыв от 2 до 3 ч. дня», «Закрывается на обеденный перерыв», просто «Закрывается», «Магазин закрыт» и, наконец, черная фундаментальная доска с золотыми буквами: «Закрывается для переучета

¹ *Крестьянские ходы* — повозка с двумя колесными парами (ходами), которые могли раздвигаться для транспортировки удлиненных предметов, таких как бревна и т. п.

товаров». По-видимому, эти решительные тексты пользовались в городе Арбатове наибольшим спросом. На все прочие явления жизни мастерская штемпелей и печатей отозвалась только одной синей табличкой: «Дежурная няня».

Затем, один за другим, расположились подряд три магазина духовых инструментов, мандолин и басовых балалаек. Медные трубы, развратно сверкая, возлежали на витринных ступеньках, обтянутых красным коленкором. Особенно хорош был бас-геликон. Он был так могуч, так лениво грелся на солнце, свернувшись в кольцо, что его следовало бы содержать не в витрине, а в столичном зоопарке, где-нибудь между слоном и удавом. И чтобы в дни отдыха родители водили к нему детей и говорили бы: «Вот, деточка, павильон геликона. Геликон сейчас спит. А когда проснется, то обязательно станет трубить». И чтобы дети смотрели на удивительную трубу большими чайными глазами.

В другое время Остап Бендер обратил бы внимание и на свежесрубленные, величиной в избу, балалайки, и на свернувшиеся от солнечного жара граммофонные пластинки, и на пионерские барабаны, которые своей молодецовой раскраской наводили на мысль о том, что пуля — дура, а штык — молодец; но сейчас ему было не до того. Он хотел есть.

— Вы, конечно, стоите на краю финансовой пропасти? — спросил он Балаганова.

— Это вы насчет денег? — сказал Шура. — Денег у меня нет уже целую неделю.

— В таком случае вы плохо кончите, молодой человек, — наставительно сказал Остап. — Финансовая пропасть — самая глубокая из всех пропастей, в нее можно падать всю жизнь. Ну ладно, не горюйте. Я все-таки унес в своем клюве три талона на обед. Председатель исполкома полюбил меня с первого взгляда.

Но молочным братьям не удалось воспользоваться добротой главы города. На дверях столовой «Бывший друг желудка» висел большой замок, покрытый не то ржавчиной, не то гречневой кашей.

— Конечно, — с горечью сказал Остап, — по случаю учета шницелей столовая закрыта навсегда. Придется отдать свое тело на растерзание частникам.

— Частники любят наличные деньги, — возразил Балаганов глухо.

— Ну, ну, не буду вас мучить. Председатель осыпал меня золотым дождем на сумму в восемь рублей. Но имейте в виду, уважаемый Шура, даром я вас питать не намерен. За каждый витамин, который я вам скормлю, я потребую от вас ряд мелких услуг.

Однако частновладельческого сектора в городе не оказалось, и братья пообедили в летнем кооперативном саду, где особые плакаты извеща-

ли граждан о последнем арбатовском нововведении в области народного питания:

«Пиво отпускается только членам профсоюза»

— Удовлетворимся квасом, — сказал Балаганов.

— Тем более, — добавил Остап, — что местные квасы изготавливаются артелью частников, сочувствующих советской власти. А теперь расскажите, чем провинился головорез Паниковский. Я люблю рассказы о мелких жульничествах.

Насытившийся Балаганов благодарно взглянул на своего спасителя и начал рассказ. Рассказ длился часа два и заключал в себе чрезвычайно интересные сведения.

Во всех областях человеческой деятельности предложение труда и спрос на него регулируются специальными органами. Актер поедет в Омск только тогда, когда точно выяснит, что ему нечего опасаться конкуренции и что на его амплуа холодного любовника или «кушать подано» нет других претендентов. Железнодорожников опекают родные им учкпрофсожи¹, заботливо публикующие в газетах сообщения о том, что безработные багажные раздатчики не могут рассчитывать на получение работы в пределах Сызрано-Вяземской дороги, или о том, что Средне-Азиатская дорога испытывает нужду в четырех барьерных сторожках. Эксперт-товаровед помещает объявление в газете, и вся страна узнает, что есть на свете эксперт-товаровед с десятилетним стажем, по семейным обстоятельствам меняющий службу в Москве на работу в провинции.

Все регулируется, течет по расчищенным руслам, совершает свой кругооборот в полном соответствии с законом и под его защитой.

И один лишь рынок особой категории жуликов, именующих себя детьми лейтенанта Шмидта, находился в хаотическом состоянии. Анархия раздирала корпорацию детей лейтенанта. Они не могли извлечь из своей профессии тех выгод, которые она, несомненно, могла принести.

Трудно найти более удобный плацдарм для всякого рода самозванцев, чем наше обширное государство, переполненное или сверх меры подозрительными, или чрезвычайно доверчивыми администраторами, хозяйственниками и общественниками.

По всей стране, вымогая и кланча, передвигаются фальшивые внуки Карла Маркса, несуществующие племянники Фридриха Энгельса, братья Луначарского, кузины Клары Цеткин или, на худой конец, потомки знаменитого анархиста князя Кропоткина. Отряды мифических родственников усердно разрабатывают природные богатства страны: добросердечие, глупость, раболепство и низкопоклонничество.

¹ Учкпрофсож — участковый комитет профсоюза железнодорожников.

От Минска до Берингова пролива и от Нахичевани на Араксе до Земли Франца-Иосифа входят в исполкомы, высаживаются на станционные платформы и озабоченно катят на извозчиках родственники великих людей. Они торопятся. Дел у них много.

Одно время предложение родственников все же превысило спрос, и на этом своеобразном рынке наступила депрессия. Чувствовалась необходимость в реформах. Постепенно упорядочили свою деятельность внуки Карла Маркса, кропоткинцы, энгельсовцы и им подобные, за исключением буйной корпорации детей лейтенанта Шмидта, которую, на манер польского сейма, вечно раздирала анархия. Дети подобались какие-то грубые, жадные, строптивые и мешали друг другу собирать в житницы.

Шура Балаганов, который считал себя первенцем лейтенанта, не на шутку обеспокоился создавшейся конъюнктурой. Все чаще и чаще ему приходилось сталкиваться с товарищами по корпорации, совершенно изгадившими плодородные поля Украины и курортные высоты Кавказа, где он привык прибыльно работать.

— И вы убоялись возрастающих трудностей? — насмешливо спросил Остап.

Но Балаганов не заметил иронии. Попивая лиловый квас, он продолжал свое повествование.

Выход из этого напряженного положения был один — конференция. Над созывом ее Балаганов работал всю зиму. Он переписывался с конкурентами ему лично знакомыми. Незнакомым передавал приглашение через попадавших на пути внуков Маркса. И вот наконец ранней весной 1928 года почти все известные дети лейтенанта Шмидта собрались в московском трактире, у Сухаревой башни. Кворум был велик — у лейтенанта Шмидта оказалось тридцать сыновей в возрасте от 18 до 52 лет и четыре дочки, глупые, немолодые и некрасивые.

В краткой вступительной речи Балаганов выразил надежду, что братья найдут общий язык и выработают наконец конвенцию, необходимость которой диктует сама жизнь.

По проекту Балаганова весь Союз Республик следовало разбить на тридцать четыре эксплуатационных участка, по числу собравшихся. Каждый участок передается в долгосрочное пользование одного дитяти. Никто из членов корпорации не имеет права переходить границы и вторгаться на чужую территорию с целью заработка.

Против новых принципов работы никто не возражал, если не считать Паниковского, который уже тогда заявил, что проживет и без конвенции. Зато при разделе страны разыгрались безобразные сцены. Высокие договаривающиеся стороны переругались в первую же минуту и уже не обращались друг к другу иначе как с добавлением бранных эпитетов.

Весь спор произошел из-за дележа участков.

Никто не хотел брать университетских центров. Никому не нужны были издавшие виды Москва, Ленинград и Харьков. Все единодушно отказывались от Республики немцев Поволжья.

— А что, разве это такая плохая республика? — невинно спрашивал Балаганов. — Это, кажется, хорошее место. Немцы, как культурные люди, не могут не протянуть руку помощи.

— Знаем, знаем! — кричали разволновавшиеся дети. — У немцев возьмешь!

Видимо, не один из собравшихся сидел у недоверчивых немцев-колонистов в тюремном плену.

Очень плохой репутацией пользовались также далекие, погруженные в пески, восточные области. Их обвиняли в невежестве и незнакомстве с личностью лейтенанта Шмидта.

— Нашли дураков! — визгливо кричал Паниковский. — Вы мне дайте Среднерусскую возвышенность, тогда я подпишу конвенцию.

— Как? Всю возвышенность? — язвил Балаганов. — А не дать ли тебе еще Мелитополь в придачу? Или Бобруйск?

При слове «Бобруйск» собрание болезненно застонало. Все соглашались ехать в Бобруйск хоть сейчас. Бобруйск считался прекрасным, высококультурным местом.

— Ну, не всю возвышенность, — настаивал жадный Паниковский, — хотя бы половину. Я, наконец, семейный человек, у меня две семьи.

Но ему не дали и половины.

После долгих криков решено было делить участки по жребию. Были нарезаны тридцать четыре бумажки, и на каждую из них нанесено географическое название. Плодородный Курск и сомнительный Херсон, мало разработанный Минусинск и почти безнадежный Ашхабад, Киев, Петрозаводск и Чита — все республики, все области лежали в чьей-то заячьей шапке с наушниками и ждали хозяев.

Веселые возгласы, глухие стоны и ругательства сопровождали жеребьевку.

Злая звезда Паниковского оказала свое влияние на исход дела. Ему досталась бесплодная и мстительная Республика немцев Поволжья. Он присоединился к конвенции вне себя от злости.

— Я поеду, — кричал он, — но предупреждаю: если немцы плохо ко мне отнесутся, я конвенцию нарушу, я перейду границу.

Балаганов, которому достался золотой Арбатовский участок, примыкавший к Республике немцев, встревожился и тогда же заявил, что нарушения эксплуатационных норм не потерпит.

Так или иначе, дело было упрямлено, после чего тридцать сыновей и четыре дочери лейтенанта Шмидта выехали в свои районы на работу.

— И вот вы, Бендер, сами видели, как этот гад нарушил конвенцию, —



закончил свое повествование Шура Балаганов. — Он давно ползал по моему участку, только я до сих пор не мог его поймать.

Против ожидания рассказчика, дурной поступок Паниковского не вызвал со стороны Остапа осуждения. Бендер развалился на стуле, небрежно глядя перед собой.

На высокой задней стене ресторанный сада были нарисованы деревья, густолиственные и ровные, как на картинке в хрестоматии. Настоящих деревьев в саду не было, но тень, падающая от стены, давала живительную прохладу и вполне удовлетворяла граждан. Граждане были, по-видимому, поголовно членами союза, потому что пили одно только пиво и даже ничем не закусывали.

К воротам сада, непрерывно ахая и стреляя, подъехал зеленый автомобиль, на дверце которого была выведена белая дугообразная надпись: «Эх, прокачу!» Ниже помещались условия прогулок на веселой машине. В час — три рубля. За конец — по соглашению. Пассажиров в машине не было.

Посетители сада тревожно зашептались. Минут пять шофер просительно смотрел через садовую решетку и, потеряв, видно, надежду заполучить пассажира, вызывающе крикнул:

— Такси свободен! Прошу садиться!

Но никто из граждан не выразил желаний сесть в машину «Эх, прокачу!». И даже самое приглашение шофера подействовало на них странным образом. Они понурились и старались не смотреть в сторону машины. Шофер покачал

головой и медленно отъехал. Арбатовцы печально смотрели ему вслед. Через пять минут зеленый автомобиль бешено промчался мимо сада в обратном направлении. Шофер подпрыгивал на своем сиденье и что-то неразборчиво кричал. Машина была пуста по-прежнему.

Остап проводил ее взглядом и сказал:

— Так вот, Балаганов, вы пижон. Не обижайтесь. Этим я хочу точно указать то место, которое вы занимаете под солнцем.

— Идите к черту! — грубо сказал Балаганов.

— Вы все-таки обиделись? Значит, по-вашему, должность лейтенантского сына — это не пижонство?

— Но ведь вы же сами сын лейтенанта Шмидта! — вскричал Балаганов.

— Вы пижон, — повторил Остап. — И сын пижона. И дети ваши будут пижонами. Мальчик! То, что произошло сегодня утром, — это даже не эпизод, а так, чистая случайность, каприз художника. Джентльмен в поисках десятки. Ловить на такие мизерные шансы не в моем характере. И что это за профессия такая, прости господи! Сын лейтенанта Шмидта! Ну, год еще, ну два. А дальше что? Дальше ваши рыжие кудри примелькаются, и вас просто начнут бить.

— Так что же делать? — забеспокоился Балаганов. — Как снискать хлеб насущный?

— Надо мыслить, — сурово сказал Остап. — Меня, например, кормят идеи. Я не протягиваю лапу за кислым исполкомовским рублем. Моя наметка пошире. Вы, я вижу, бескорыстно любите деньги. Скажите, какая сумма вам нравится?

— Пять тысяч, — быстро ответил Балаганов.

— В месяц?

— В год.

— Тогда мне с вами не по пути. Мне нужно пятьсот тысяч. И по возможности сразу, а не частями.

— Может, все-таки возьмете частями? — спросил мстительный Балаганов.

Остап внимательно посмотрел на собеседника и совершенно серьезно ответил:

— Я бы взял частями. Но мне нужно сразу.

Балаганов хотел было пошутить по поводу и этой фразы, но, подняв глаза на Остапа, сразу осекся. Перед ним сидел атлет с точеным, словно выбитым на монете, лицом. Смуглое горло перерезал хрупкий белый шрам. Глаза сверкали грозным весельем.

Балаганов почувствовал вдруг непреодолимое желание вытянуть руки по швам. Ему даже захотелось откашляться, как это бывает с людьми средней ответственности при разговоре с кем-либо из вышестоящих товарищей. И, действительно, откашлявшись, он смущенно спросил:

— Зачем же вам так много денег... и сразу?

— Вообще-то мне нужно больше, — сказал Остап, — пятьсот тысяч — это мой минимум, пятьсот тысяч полновесных ориентировочных рублей¹. Я хочу уехать, товарищ Шура, уехать очень далеко, в Рио-де-Жанейро.

— У вас там родственники? — спросил Балаганов.

— А что, разве я похож на человека, у которого могут быть родственники?

— Нет, но мне...

— У меня нет родственников, товарищ Шура, — я один на всем свете. Был у меня папа, турецкий подданный, да и тот давно скончался в страшных судорогах. Не в этом дело. Я с детства хочу в Рио-де-Жанейро. Вы, конечно, не знаете о существовании этого города.

Балаганов скорбно покачал головой. Из мировых очагов культуры он, кроме Москвы, знал только Киев, Мелитополь и Жмеринку. И вообще он был убежден, что земля плоская.

Остап бросил на стол лист, вырванный из книги.

— Это вырезка из «Малой советской энциклопедии». Вот что тут написано про Рио-де-Жанейро: «1360 тысяч жителей...» так... «значительное число мулатов... у обширной бухты Атлантического океана...» Вот, вот! «Главные улицы города по богатству магазинов и великолепию зданий не уступают первым городам мира». Представляете себе, Шура? Не уступают! Мулаты, бухта, экспорт кофе, так сказать, кофейный демпинг, чарльстон под названием «У моей девочки есть одна маленькая штучка» и... о чем говорить! Вы сами видите, что происходит. Полтора миллиона человек, и все поголовно в белых штанах. Я хочу отсюда уехать. У меня с советской властью возникли за последний год серьезнейшие разногласия. Она хочет строить социализм, а я не хочу. Мне скучно строить социализм. Что я, каменщик, каменщик в фартуке белом? Теперь вам ясно, для чего мне нужно столько денег?

— Где же вы возьмете пятьсот тысяч? — тихо спросил Балаганов.

— Где угодно, — ответил Остап. — Покажите мне только богатого человека, и я отниму у него деньги.

— Как? Убийство? — еще тише спросил Балаганов и бросил взгляд на соседние столики, где арбатовцы поднимали задравные фужеры.

— Знаете, — сказал Остап, — вам не надо было подписывать так называемой сухаревской конвенции. Это умственное упражнение, как видно, сильно вас истощило. Вы глупеете прямо на глазах. Заметьте себе, Остап Бендер никогда никого не убивал. Его убивали — это было. Но сам он чист

¹ После денежной реформы 1922–1924 годов и введения золотого червонца в стране продолжали использоваться старые рубли, новые полновесные рубли во избежание путаницы вплоть до 1930-х годов даже в официальных документах (напр., Политический отчет Центрального Комитета от 18 декабря 1925 года на XIV съезде ВКП(б)) именовались «ориентировочными», «золотыми», «червонными».

перед законом. Я, конечно, не херувим. У меня нет крыльев, но я чту Уголовный кодекс. Это моя слабость.

— Как же вы думаете отнять деньги?

— Как я думаю отнять? Отъем или увод денег варьируется в зависимости от обстоятельств. У меня лично есть четыреста сравнительно честных способов отъема. Но не в способах дело. Дело в том, что сейчас нет богатых людей, И в этом ужас моего положения. Иной набросился бы, конечно, на какое-нибудь беззащитное госучреждение, но это не в моих правилах. Вам известно мое уважение к Уголовному кодексу. Нет расчета грабить коллектив. Дайте мне индивида побогаче. Но его нет, этого индивидуума.

— Да что вы! — воскликнул Балаганов. — Есть очень богатые люди.

— А вы их знаете? — немедленно сказал Остап. — Можете вы назвать фамилию и точный адрес хотя бы одного советского миллионера? А ведь они есть, они должны быть. Раз в стране бродят какие-то денежные знаки, то должны же быть люди, у которых их много. Но как найти такого ловчилу?

Остап даже вздохнул. Видимо, грезы о богатом индивидууме давно волновали его.

— Как приятно, — сказал он задумчиво, — работать с легальным миллионером в хорошо организованном буржуазном государстве со старинными капиталистическими традициями. Там миллионер — популярная фигура. Адрес его известен. Он живет в особняке, где-нибудь в Рио-де-Жанейро. Идешь прямо к нему на прием и уже в передней, после первых же привет-



ствий, отнимаете деньги. И все это, имейте в виду, по-хорошему, вежливо: «Алло, сэр, не волнуйтесь. Придется вас маленько побеспокоить. Ол-райт. Готово». И все. Культура! Что может быть проще? Джентльмен в обществе джентльменов делает свой маленький бизнес. Только не надо стрелять в люстру, это лишнее. А у нас... боже, боже! в какой холодной стране мы живем! У нас все скрыто, все в подполье. Советского миллионера не может найти даже Наркомфин с его сверхмощным налоговым аппаратом. А миллионер, может быть, сидит сейчас в этом так называемом летнем саду, за соседним столиком и пьет сорокакопеечное пиво «Тип-Топ». Вот что обидно!

— Значит, вы думаете, — спросил Балаганов погодя, — что если бы нашелся такой вот тайный миллионер, то?..

— Не продолжайте. Я знаю, что вы хотите сказать. Нет, не то, совсем не то. Я не буду душить его подушкой или бить вороненым наганом по голове. И вообще ничего дурацкого не будет. Ах, если только найти индивида! Уж я так устрою, что он свои деньги мне сам принесет, на блюдечке с голубой каемкой.

— Это очень хорошо. — Балаганов доверчиво усмехнулся. — Пятьсот тысяч на блюдечке с голубой каемкой.

Он поднялся и стал кружиться вокруг столика. Он жалобно причмокивал языком, останавливался, раскрывал даже рот, как бы желая что-то произнести, но, ничего не сказав, садился и снова вставал. Остап равнодушно следил за эволюциями Балаганова.

— Сам принесет? — спросил вдруг Балаганов скрипучим голосом. — На блюдечке? А если не принесет? А где это Рио-де-Жанейро? Далеко? Не может того быть, чтобы все ходили в белых штанах. Вы это бросьте, Бендер. На пятьсот тысяч можно и у нас хорошо прожить.

— Бесспорно, бесспорно, — весело сказал Остап, — прожить можно. Но вы не трещите крыльями без повода. У вас же пятисот тысяч нет.

На безмятежном, невспаханном лбу Балаганова обозначилась глубокая морщина. Он неуверенно посмотрел на Остапа и промолвил:

— Я знаю такого миллионера. Может выйти дело.

С лица Бендера мигом сошло все оживление. Лицо его сразу же затвердело и снова приняло медальные очертания.

— Идите, идите, — сказал он, — я подаю только по субботам, нечего тут заливать.

— Честное слово, мосье Бендер...

— Слушайте, Шура, если уж вы окончательно перешли на французский язык, то называйте меня не мосье, а ситуайен, что значит — гражданин. Кстати, адрес вашего миллионера?

— Он живет в Черноморске.

— Ну, конечно, так и знал. Черноморск! Там даже в довоенное время человек с десятью тысячами назывался миллионером. А теперь... могу себе представить! Нет, это чепуха!

— Да нет же, дайте мне сказать. Это настоящий миллионер. Понимаете, Бендер, случилось мне недавно сидеть в тамошнем допре...¹

Через десять минут молочные братья покинули летний кооперативный сад с подачей пива. Великий комбинатор чувствовал себя в положении хирурга, которому предстоит произвести весьма серьезную операцию. Все готово. В электрических кастрюльках парятся салфеточки и бинты, сестра милосердия в белой тоге неслышно передвигается по кафельному полу, блестит медицинский фаянс и никель, больной лежит на стеклянном столе, томно закатив глаза к потолку, в специально нагретом воздухе носится запах немецкой жевательной резинки. Хирург с растопыренными руками подходит к операционному столу, принимает от ассистента стерилизованный финский нож и сухо говорит больному: «Ну-с, снимайте бурнус».

— У меня всегда так, — сказал Бендер, блестя глазами, — миллионное дело приходится начинать при ощутительной нехватке денежных знаков. Весь мой капитал, основной, оборотный и запасный, исчисляется пятью рублями.. — Как, вы сказали, фамилия подпольного миллионера?

— Корейко, — ответил Балаганов.

— Да, да, Корейко. Прекрасная фамилия. И вы утверждаете, что никто не знает о его миллионах?

— Никто, кроме меня и Пружанского. Но Пружанский, ведь я вам говорил, будет сидеть в тюрьме еще года три. Если б вы только видели, как он убивался и плакал, когда я выходил на волю. Он, видимо, чувствовал, что мне не надо было рассказывать про Корейко.

— То, что он открыл свою тайну вам, это чепуха. Не из-за этого он убивался и плакал. Он, вероятно, предчувствовал, что вы расскажете все дело мне. А это, действительно, бедному Пружанскому прямой убыток. К тому времени, когда Пружанский выйдет из тюрьмы, Корейко будет находить утешение только в пошлой пословице: «Бедность не порок».

Остап скинул свою летнюю фуражку и, помахав ею в воздухе, спросил:

— Есть у меня седые волосы?

Балаганов подобрал живот, раздвинул носки на ширину ружейного приклада и голосом правофлангового ответил:

— Никак нет!

— Значит, будут. Нам предстоят великие бои. Вы тоже поседете, Балаганов.

Балаганов вдруг глуповато хихикнул:

¹ Допр — дом общественно-принудительных работ (см. с. 43).

— Как вы говорите? Сам принесет деньги на блюдечке с голубой каемкой?
— Мне на блюдечке, — сказал Остап, — а вам на тарелочке.
— А как же Рио-де-Жанейро? Я тоже хочу в белых штанах.
— Рио-де-Жанейро, — это хрупкая мечта моего детства, — строго ответил великий комбинатор, — не касайтесь ее своими лапами. Ближе к делу. Выслать линейных в мое распоряжение. Частям прибыть в город Черноморск в наикратчайший срок. Форма одежды караульная. Ну, трубите марш! Командовать парадом буду я!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Бензин ваш — идеи наши

За год до того, как Паниковский нарушил конвенцию, проникнув в чужой эксплуатационный участок, в городе Арбатове появился первый автомобиль. Основоположителем автомобильного дела был шофер по фамилии Козлевич.

К рулевому колесу его привело решение начать новую жизнь. Старая жизнь Адама Козлевича была греховна. Он беспрестанно нарушал Уголовный кодекс РСФСР, а именно статью 162-ю, трактующую вопросы тайного похищения чужого имущества (кража).

Статья эта имеет много пунктов, но грешному Адаму был чужд пункт «а» (кража, совершенная без применения каких-либо технических средств). Это было для него слишком примитивно. Пункт «д», карающий лишением свободы на срок до пяти лет, ему тоже не подходил. Он не любил долго сидеть в тюрьме. И так как с детства его влекло к технике, то он всею душою отдался пункту «в» (тайное похищение чужого имущества, совершенное с применением технических средств или неоднократно, или по предварительному сговору с другими лицами, на вокзалах, пристанях, пароходах, вагонах и в гостиницах).

Но Козлевичу не везло. Его ловили и тогда, когда он применял излюбленные им технические средства, и тогда, когда он обходился без них. Его ловили на вокзалах, пристанях, на пароходах и в гостиницах. В вагонах его тоже ловили. Его ловили даже тогда, когда он в полном отчаянии начинал хватать чужую собственность по предварительному сговору с другими лицами.

Просидев в общей сложности года три, Адам Козлевич пришел к той мысли, что гораздо удобнее заниматься открытым накоплением своей собственности, чем тайным похищением чужой. Эта мысль внесла успокоение в его мятежную душу. Он стал примерным заключенным, писал разоблачительные стихи в тюремной газете «Солнце всходит и заходит» и усердно работал в механической мастерской исправдома. Пенитенциарная система оказала на него благотворное влияние. Козлевич, Адам Казимирович, 46 лет, происходящий

из крестьян б. Ченстоховского уезда, холостой, неоднократно судившийся, вышел из тюрьмы честным человеком.

После двух лет работы в одном из московских гаражей он купил по случаю такой старый автомобиль, что появление его на рынке можно было объяснить только ликвидацией автомобильного музея. Редкий экспонат был продан Козлевицу за сто девяносто рублей. Автомобиль почему-то продавался вместе с искусственной пальмой в зеленой кадке. Пришлось купить и пальму. Пальма была еще туда-сюда, но с машиной пришлось долго возиться: выискивать на базарах недостающие части, латать сиденья, заново ставить электрохозяйство. Ремонт был увенчан окраской машины в ящеричный зеленый цвет. Порода машины была неизвестна, но Адам Казимирович утверждал, что это «Лорен-Дитрих». В виде доказательства он приколотил к радиатору автомобиля медную бляшку с лорендитриховской фабричной маркой. Оставалось приступить к частному прокату, о котором Козлевич давно мечтал.

В тот день, когда Адам Казимирович собрался впервые вывезти свое детище в свет, на автомобильную биржу, произошло печальное для всех частных шоферов событие. В Москву прибыли сто двадцать маленьких черных, похожих на браунинги, таксомоторов «рено». Козлевич даже и не пытался с ними конкурировать. Пальму он сдал на хранение в извозчицью чайную «Версаль» и выехал на работу в провинцию.

Арбатов, лишенный автомобильного транспорта, понравился шоферу, и он решил остаться в нем навсегда.

Адаму Казимировичу представилось, как трудолюбиво, весело и, главное, честно он будет работать на ниве автопроката. Представлялось ему, как ранним арктическим утром дежурит он у вокзала в ожидании московского поезда. Завернувшись в рыжую коровью доху и подняв на лоб авиаторские консервы¹, он дружелюбно угощает носильщиков папиросами. Где-то сзади жмутся обмерзшие извозчики. Они плачут от холода и трясут толстыми синими юбками. Но вот слышится тревожный звон станционного колокола. Это — повестка. Пришел поезд. Пассажиры выходят на вокзальную площадь и с довольными гримасами останавливаются перед машиной. Они не ждали, что в арбатовское захолустье уже проникла идея автопроката. Трубя в рожок, Козлевич мчит пассажиров в Дом крестьянина.

Работа есть на весь день, все рады воспользоваться услугами механического экипажа. Козлевич и его верный «Лорен-Дитрих» — неперенные

¹ Консервы (от фр. *conserver* — «сохранять») — в русском языке с первой половины XIX и вплоть до XX века означало в первую очередь «цветные очки (дымчатые, синие), носимые для предохранения глаз от яркого солнечного света», и только во втором значении — «плоды и съестные припасы, заготовленные в прок особенным образом». *Авиаторские консервы* — плотно прилегающие к лицу особые очки для защиты глаз от яркого света, пыли, ветра.

участники всех городских свадеб, экскурсий и торжеств. Но больше всего работы — летом. По воскресеньям на машине Козлевича выезжают за город целые семьи. Раздается бессмысленный смех детей, ветер дергает шарфы и ленты, женщины весело лопочут, отцы семейств с уважением смотрят на кожаную спину шофера и спрашивают его о том, как обстоит автомобильное дело в Северо-Американских Соединенных Штатах (верно ли, в частности, то, что Форд ежедневно покупает себе новый автомобиль).

Так рисовалась Козлевичу его новая чудная жизнь в Арбатове. Но действительность в кратчайший срок развалила построенный воображением Адама Казимировича воздушный замок со всеми его башенками, подъемными мостами, флюгерами и штандартом.

Сначала подвел железнодорожный график. Скорые и курьерские поезда¹ проходили станцию Арбатов без остановки, с ходу принимая жезлы² и сбрасывая спешную почту. Смешанные поезда приходили только дважды в неделю. Они привозили народ все больше мелкий: ходоков и башмачников с котомками, колодками и прошениями. Как правило, смешанные пассажиры машиной не пользовались. Экскурсий и торжеств не было, а на свадьбы Козлевича не приглашали. В Арбатове под свадебные процессии привыкли нанимать извозчиков, которые в таких случаях вплетали в лошадиные гривы бумажные розы и хризантемы, что очень нравилось посаженным отцам.

Однако загородных прогулок было множество. Но они были совсем не такими, о каких мечтал Адам Казимирович. Не было ни детей, ни трепещущих шарфов, ни веселого лепета.

В первый же вечер, озаренный неяркими керосиновыми фонарями, к Адаму Казимировичу, который весь день бесплодно простоял на Спасо-Кооперативной площади, подошли четверо мужчин. Долго и молчаливо они вглядывались в автомобиль. Потом один из них, горбун, неуверенно спросил:

— Всем можно кататься?

— Всем, — ответил Козлевич, удивляясь робости арбатовских граждан. — Пять рублей в час.

Мужчины зашептались. До шофера донеслись странные вздохи и слова: «Прокатимся, товарищи, после заседания? А удобно ли? По рублю двадцати пяти на человека недорого. Чего же неудобного?..»

И впервые поместительная машина приняла в свое коленкоровое лоно

¹ Скорый поезд отличался от обычного пассажирского поезда только более высокой маршрутной скоростью за счет следования по маршруту с остановками только на крупных станциях. Курьерский поезд, кроме того, имел более мощный паровоз, только спальные вагоны, и его маршрутная скорость раза в полтора превышала скорость скорого поезда.

² Жезл, вручаемый машинисту на железных дорогах как разрешение продолжать путь. Жезловая система обеспечивала безопасность движения, исключая одновременное пребывание на однопутном перегоне более одного поезда.

арбатовцев. Несколько минут пассажиры молчали, подавленные быстротой передвижения, горячим запахом бензина и свистками ветра. Потом, томимые неясным предчувствием, они тихонько затаили: «Быстры, как волны, дни нашей жизни»¹. Козлевич взял вторую скорость. Промелькнули мрачные очертания законсервированной продуктовой палатки, и машина выскочила в поле, на лунный тракт.

«Что день, то короче к могиле наш путь», — томно выводили пассажиры. Им стало жалко самих себя, стало обидно, что они никогда не были студентами. Припев они исполнили громкими голосами:

По рюмочке, по маленькой,
Тирлим-бом-бом, тирлим-бом-бом.

— Стой! — закричал вдруг горбун. — Давай назад! Душа горит.

В городе седоки захватили много белых кегельных бутылочек и какую-то широкоплечую гражданку. В поле разбили бивак, ужинали с водкой, а потом без музыки танцевали польку-кокетку.

Истомленный ночным приключением, Козлевич весь день продремал у руля на своей стоянке. А к вечеру явилась вчерашняя компания, уже навеселе, снова уселась в машину и всю ночь носилась вокруг города. На третий день повторилось то же самое. Ночные пиры веселой компании, под предводительством горбуна, продолжались две недели кряду. Радости автомобилизации оказали на клиентов Адама Казимировича странное влияние: лица у них опухли и белели в темноте, как подушки. Горбун с куском колбасы, свисавшим изо рта, походил на вурдалака.

Они стали суетливыми и в разгаре веселья иногда плакали. Один раз бедовый горбун подвез на извозчике к автомобилю мешок рису. На рассвете рис повезли в деревню, обменяли там на самогон-первач и в этот день в город уже не возвращались. Пили с мужиками на брудершафт, сидя на скирдах. А ночью зажгли костры и плакали особенно жалобно.

В последовавшее затем серенькое утро железнодорожный кооператив «Линеец», в котором горбун был заведующим, а его веселые товарищи — членами правления и лавочной комиссии, закрылся для переучета товаров. Каково же было горькое удивление ревизоров, когда они не обнаружили в магазине ни муки, ни перца, ни мыла хозяйственного, ни корыт крестьянских, ни текстиля, ни рису. Полки, прилавки, ящики и кадучки — все было оголено. Только посреди магазина на полу стояли вытянувшиеся к потолку гигантские охотничьи сапоги сорок девятый номер, на желтой картонной подошве, и смутно мерцала в стеклянной будке автоматическая каска «Националь», никелированный дамский бюст которой был усеян раз-

¹ Переработка песни студента-медика А. Сребрянского «Вино». Одна из популярнейших студенческих песен XIX века.



ноцветными кнопками. А к Козлевичу на квартиру прислали повестку от народного следователя; шофер вызывался свидетелем по делу кооператива «Линеец».

Горбун и его друзья больше не являлись, и зеленая машина три дня простояла без дела.

Новые пассажиры, подобно первым, являлись под покровом темноты. Они тоже начали с невинной прогулки за город, но мысль о водке возникла у них, едва только машина сделала первые полкилометра. По-видимому, арбатовцы не представляли себе, как это можно пользоваться автомобилем в трезвом виде, и считали автотелегу Козлевича гнездом разврата, где обязательно нужно вести себя разухабисто, издавать непотребные крики и вообще прожигать жизнь.

Только тут Козлевич понял, почему мужчины, проходившие днем мимо его стоянки, подмигивали друг другу и нехорошо улыбались.

Все шло совсем не так, как предполагал Адам Казимирович. По ночам он носился с зажженными фарами мимо окрестных роц, слыша позади себя пьяную возню и вопли пассажиров, а днем, одурев от бессонницы, сидел у следователей и давал свидетельские показания. Арбатовцы прожигали свои жизни почему-то на деньги, принадлежавшие государству, обществу и кооперации. И Козлевич против своей воли снова погрузился в пучину Уголовного кодекса, в мир главы третьей, назидательно говорящей о должностных преступлениях.

Начались судебные процессы. И в каждом из них главным свидетелем обвинения выступал Адам Казимирович. Его правдивые рассказы сбивали подсудимых с ног, и они, задыхаясь в слезах и соплях, признавались во всем. Он погубил множество учреждений. Последней его жертвой пало филиальное отделение областной киноорганизации, снимавшее в Арбатове исторический фильм «Стенька Разин и княжна». Весь филиал упрятали на шесть лет, а фильм, представлявший узкосудебный интерес, был передан в музей вещественных доказательств, где уже находились охотничьи ботфорты из кооператива «Линеец».

После этого наступил крах. Зеленого автомобиля стали бояться как чумы. Граждане далеко обходили Спасо-Кооперативную площадь, на которой Козлевич водрузил полосатый столб с табличкой: «Биржа автомобилей». В течение нескольких месяцев Адам не заработал ни копейки и жил на сбережения, сделанные им за время ночных поездок.

Тогда он пошел на жертвы. На дверце автомобиля он вывел белую, и на его взгляд, весьма заманчивую надпись: «Эх, прокачу!» — и снизил цену с пяти рублей в час до трех. Но граждане и тут не переменили тактики. Шофер медленно колесил по городу, подъезжал к учреждениям и кричал в окна:

— Воздух-то какой! Прокатимся, что ли?

Должностные лица высывались на улицу и под грохот унтервудов отвечали:

— Сам катайся. Душегуб!

— Почему же душегуб? — чуть не плача, спрашивал Козлевич.

— Душегуб и есть, — отвечали служащие, — под выездную сессию подведешь.

— А вы бы на свои катались! — запальчиво кричал шофер. — На собственные деньги.

При этих словах должностные лица юмористически переглядывались и запирали окна. Катанье в машине на свои деньги казалось им просто глупым.

Владелец «Эх, прокачу!» рассорился со всем городом. Он уже ни с кем не раскланивался, стал нервным и злым. Завидя какого-нибудь совслужа в длинной кавказской рубашке с баллонными рукавами, он подъезжал к нему сзади и с горьким смехом кричал:

— Мошенники! А вот я вас сейчас под показательный подведу! Под сто девятую статью.

Совслуж вздрагивал, индифферентно оправлял на себе поясок с серебряным набором, каким обычно украшают сбрую ломовых лошадей, и, делая вид, что крики относятся не к нему, ускорял шаг. Но мстительный Козлевич продолжал ехать рядом и дразнить врага монотонным чтением карманного уголовного требника:

— «Присвоение должностным лицом денег, ценностей или иного имущества, находящегося в его ведении в силу его служебного положения, карается...»

Совслуж трусливо убегал, высоко подкидывал зад, сплющенный от долгого сидения на конторском табурете.

— «...лишением свободы, — кричал Козлевич вдогонку, — на срок до трех лет».

Но все это, если и приносило удовлетворение шоферу, то только моральное. Материальные дела его были нехороши. Сбережения подходили к концу. Надо было принять какое-то решение. Дальше так продолжаться не могло.

В таком воспаленном состоянии Адам Казимирович сидел однажды в своей машине, с отвращением глядя на глупый полосатый столбик «Биржа автомобилей». Он смутно понимал, что честная жизнь не удалась, что автомобильный мессия прибыл раньше срока и граждане не поверили в него. Козлевич был так погружен в свои печальные размышления, что даже не заметил двух молодых людей, уже довольно долго любовавшихся его машиной.

— Оригинальная конструкция, — сказал наконец один из них, — заря автомобилizма. Видите, Балаганов, что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление — и получилась прелестная колхозная сноповязалка.

— Отойди, — угрюмо сказал Козлевич.

— То есть как это «отойди»? Зачем же вы поставили на своей молотилке рекламное клеймо «Эх, прокачу!»? Может быть, мы с приятелем желаем совершить деловую поездку? Может быть, мы желаем именно эх-прокатиться.

В первый раз за арбатовский период жизни на лице мученика автомобильного дела появилась улыбка. Он выскочил из машины и проворно завел тяжело застучавший мотор.

— Пожалуйста, — сказал он, — куда везти?

— На этот раз никуда, — заметил Балаганов, — денег нету. Ничего не поделаешь, товарищ механик, бедность.

— Все равно садись! — закричал Козлевич отчаянно. — Подвезу даром. Пить не будете? Голые танцевать не будете при луне? Эх! Прокачу!

— Ну, что ж, воспользуемся гостеприимством, — сказал Остап, усевшись рядом с шофером. — У вас, я вижу, хороший характер. Но почему вы думаете, что мы способны танцевать в голом виде?

— Тут все такие, — ответил шофер, выводя машину на главную улицу, — государственные преступники.

Его томило желание поделиться с кем-нибудь своим горем. Лучше всего, конечно, было бы рассказать про свои страдания нежной морщинистой маме. Она бы пожалела. Но мадам Козлевич давно уже скончалась от горя, когда узнала, что сын ее Адам начинает приобретать известность как вор-рецидивист. И шофер рассказал новым пассажирам всю историю падения города Арбатова, под развалинами которого барахтался сейчас его зеленый автомобиль.

— Куда теперь ехать? — с тоской закончил Козлевич. — Куда податься?

Остап помедлил, значительно посмотрел на своего рыжего компаньона и сказал:

— Все ваши беды происходят оттого, что вы правдоискатель. Вы просто ягненок, неудавшийся баптист. Печально наблюдать в среде шоферов такие упадочнические настроения. У вас есть автомобиль — и вы не знаете, куда ехать. У нас дела похуже — у нас автомобиля нет. И все-таки мы знаем, куда ехать. Хотите, поедem вместе?

— Куда? — спросил шофер.

— В Черноморск, — сказал Остап. — У нас там небольшое интимное дело. И вам работа найдется. В Черноморске ценят предметы старины и охотно на них катаются. Поедем.

Сперва Адам Казимирович только улыбался, словно вдова, которой ничего уже в жизни не мило. Но Бендер не жалел красок. Он развернул перед смущенным шофером удивительные дали и тут же раскрасил их в голубой и розовый цвета.

— А в Арбатове вам терять нечего, кроме запасных цепей. По дороге голодать не будете. Это я беру на себя. Бензин ваш — идеи наши.

Козлевич остановил машину и, все еще упираясь, хмуро сказал:

— Бензину мало.

— На пятьдесят километров хватит?

— Хватит на восемьдесят.

— В таком случае все в порядке. Я вам уже сообщил, что в идеях и мыслях у меня недостатка нет. Ровно через шестьдесят километров вас прямо на дороге будет поджидать большая железная бочка с авиационным бензином. Вам нравится авиационный бензин?

— Нравится, — застенчиво ответил Козлевич.

Жизнь вдруг показалась ему легкой и веселой. Ему захотелось ехать в Черноморск немедленно.

— И эту бочку, — закончил Остап, — вы получите совершенно бесплатно. Скажу более. Вас будут просить, чтобы вы приняли этот бензин.

— Какой бензин? — шепнул Балаганов. — Что вы плетете?

Остап важно посмотрел на оранжевые веснушки, рассеянные по лицу молочного брата, и так же тихо ответил:



— Людей, которые не читают газет, надо морально убивать на месте. Вам я оставляю жизнь только потому, что надеюсь вас перевоспитать.

Остап не разъяснил, какая связь существует между чтением газет и большой бочкой с бензином, которая якобы лежит на дороге.

— Объявляю большой скоростной пробег Арбатов — Черноморск открытым, — торжественно сказал Остап. — Командором пробега назначаю себя. Водителем машины зачисляется... как ваша фамилия? — Адам Козлевич. Гражданин Балаганов утверждает бортмехаником с возложением на такового обязанностей прислуги за все. Только вот что, Козлевич, надпись «Эх, прокачу!» надо немедленно закрасить. Нам не нужны особые приметы.

Через два часа машина со свежим темно-зеленым пятном на боку медленно вывалилась из гаража и в последний раз покатила по улицам города Арбатова. Надежда светилась в глазах Козлевича. Рядом с ним сидел Балаганов. Он хлопотливо перетира л тряпочкой медные части, ревностно выполняя новые для него обязанности бортмеханика. Командор пробега развалился на рыжем сиденье, с удовлетворением поглядывая на своих новых подчиненных.

— Адам! — закричал он, покрывая скрежет мотора. — Как зовут вашу тележку?

— «Лорен-Дитрих», — ответил Козлевич.

— Ну, что это за название? Машина, как военный корабль, должна иметь собственное имя. Ваш «Лорен-Дитрих» отличается замечательной скоростью и благородной красотой линий. Посему предлагаю присвоить машине название — «Антилопа-Гну». Кто против? Единогласно.

Зеленая «Антилопа», скрипя всеми своими частями, промчалась по внешнему проезду Бульвара Молодых Дарований и вылетела на рыночную площадь.

Там взору экипажа «Антилопы» представилась странная картина. С площади, по направлению к шоссе, согнувшись, бежал человек с белым гусем под мышкой. Лево́й рукой он придерживал на голове твердую соломенную шляпу. За ним с криком бежала большая толпа. Убегавший часто оглядывался назад, и на его благообразном актерском лице можно было разглядеть выражение ужаса.

— Паниковский бежит! — закричал Балаганов.

— Вторая стадия кражи гуся, — холодно заметил Остап. — Третья стадия начнется после поимки виновного. Она сопровождается чувствительными побоями.

О приближении третьей стадии Паниковский, вероятно, догадывался, потому что бежал во всю прыть. От страха он не выпускал гуся, и это вы-

зывало в преследователях сильное раздражение.

— 116-я статья, — наизусть сказал Козлевич. — Тайное, а равно открытое похищение крупного скота у трудового земледельческого и скотоводческого населения.

Балаганов захохотал. Его тешила мысль, что нарушитель конвенции получит законное возмездие.

Машина выбралась на шоссе, прорезав галдящую толпу.

— Спасите! — закричал Паниковский, когда «Антилопа» с ним поравнялась.

— Бог подаст, — ответил Балаганов, свешиваясь за борт.

Машина обдала Паниковского клубами малиновой пыли.

— Возьмите меня, — вопил Паниковский из последних сил, держась рядом с машиной. — Я хороший.

Голоса преследователей сливались в общий недоброжелательный гул.

— Может, возьмем гада? — спросил Остап.

— Не надо, — жестоко ответил Балаганов, — пусть в другой раз знает, как нарушать конвенции.

Но Остап уже принял решение.

— Брось птицу! — закричал он Паниковскому и, обращаясь к шоферу, добавил: — Мальй ход.

Паниковский немедленно повиновался. Гусь недовольно поднялся с земли, почесался и как ни в чем не бывало пошел обратно в город.

— Влезайте, — предложил Остап, — черт с вами! Но больше не грешите, а то вырву руки с корнем.

Паниковский, перебирая ногами ухватился за кузов, потом налег на борт животом, перевалился в машину, как купающийся в лодку, и, стуча манжетами, упал на дно.

— Полный ход, — скомандовал Остап. — Заседание продолжается.

Балаганов надавил резиновую грушу, и из медного рожка вырвались старомодные, веселые, внезапно обрывающиеся звуки:



Матчиш прелестный танец. Та-ра-та...

Матчиш прелестный танец. Та-ра-та...

И «Антилопа-Гну» вырвалась в дикое поле, навстречу бочке с авиационным бензином.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Обыкновенный чемоданишко

Человек без шляпы, в серых парусиновых брюках, кожаных сандалиях, надетых по-монашески на босу ногу, и белой сорочке без воротничка, пригнув голову, вышел из низенькой калитки дома № 16. Очутившись на тротуаре, выложенном голубоватыми каменными плитами, он остановился и негромко сказал:

— Сегодня пятница. Значит, опять нужно идти на вокзал.

Произнеся эти слова, человек в сандалиях быстро обернулся. Ему показалось, что за его спиной стоит гражданин с цинковой мордой соглядатая. Но Малая Касательная улица была совершенно пуста.

Июньское утро еще только начинало формироваться. Акации подрагивали, роняя на плоские камни холодную оловянную росу. Уличные птички отщелкивали какую-то веселую дребедень. В конце улицы, внизу, за крышами домов пылало литое, тяжелое море. Молодые собаки, печально оглядываясь и стуча когтями, взбирались на мусорные ящики. Час дворников уже прошел, час молочниц еще не начинался.

Был тот промежуток между пятью и шестью часами, когда дворники, вдоволь намахавшись колючими метлами, уже разошлись по своим шатрам, в городе светло, чисто и тихо, как в государственном банке. В такую минуту хочется плакать и верить, что простокваша на самом деле полезнее и вкуснее хлебного вина; но уже доносится далекий гром: это выгружаются из дачных поездов молочницы с бидонами. Сейчас они бросятся в город и на площадках черных лестниц затеют обычную свару с домашними хозяйками. На миг покажутся рабочие с кошелками и тут же скроются в заводских воротах. Из фабричных труб грянет дым. А потом, подпрыгивая от злости, на ночных столиках зальются троечным звоном мириады будильников (фирмы «Павел Буре» — потише, треста точной механики — позвончее), и замычат спросонок советские служащие, падая с высоких девичьих кроваток. Час молочниц окончится, наступит час служилого люда.

Но было еще рано, служащие еще спали под своими фикусами. Человек в сандалиях прошел весь город, почти никого не встретив на пути. Он шел под акациями, которые в Черноморске несли некоторые общественные функции: на одних висели синие почтовые ящики с ведомственным гербом (конверт и молния), к другим же были прикованы жестяные лоханочки с водой для собак.

На Приморский вокзал человек в сандалиях прибыл в ту минуту, когда оттуда выходили молочницы. Больно ударившись несколько раз об их железные плечи, он подошел к камере хранения ручного багажа и предъявил квитанцию. Багажный смотритель с неестественной строгостью, принятой только на железных дорогах, взглянул на квитанцию и тут же выкинул предъявителю его чемодан. Предъявитель в свою очередь расстегнул кожаный кошелечек, со вздохом вынул оттуда десятикопеечную монету и положил ее на багажный прилавок, сделанный из шести старых, отполированных локтями рельсов.

Очутившись на вокзальной площади, человек в сандалиях поставил чемодан на мостовую, заботливо оглядел со всех сторон и даже потрогал рукою его белый портфельный замочек. Это был обыкновенный чемоданишко, состряпанный из дерева и оклеенный искусственной фиброй.

В таких вот чемоданишках пассажиры помоложе содержат нитяные носки «Скетч», две перемены толстовок, один волосодержатель, трусики, брошюру «Задачи комсомола в деревне» и три крутых сдавленных яйца. Кроме того, в углу обязательно находится комок грязного белья, завернутый в газету «Экономическая жизнь». Пассажиры постарше хранят в таком чемодане полный пиджачный костюм и отдельно к нему брюки из клетчатой материи, известной под названием «Столетье Одессы», подтяжки на роликах, домашние туфли с язычками, флакон тройного одеколона и белое марсельское одеяло. Надо заметить, что и в этом случае в углу имеется кое-что, завернутое в «Экономическую жизнь». Но это уже не грязное белье, а бледная вареная курица.

Удовлетворившись беглым осмотром, человек в сандалиях подхватил чемодан и влез в белый тропический вагон трамвая, доставивший его на другой конец города — к Восточному вокзалу. Здесь его действия были прямо противоположны тому, что он проделал только что на Приморском вокзале. Он сдал свой чемодан на хранение и получил квитанцию от великого багажного смотрителя.

Совершив эти странные эволюции, хозяин чемодана покинул вокзал как раз в то время, когда на улицах уже появились наиболее примерные служащие. Он вмешался в их нестройные колонны, после чего костюм его потерял всякую оригинальность. Человек в сандалиях был служащим, а служащие в Черноморске почти все одевались по неписаной моде: ночная рубашка с закатанными выше локтей рукавами, легкие сиротские брюки, те же сандалии или парусиновые туфли. Никто не носил шляп и картузов. Изредка только попадалась кепка, а чаще всего черные, дыбом поднятые патлы, а еще чаще, как дыня на баштане, мерцала загоревшая от солнца лысина, на которой очень хотелось написать химическим карандашом какое-нибудь слово.

Учреждение, в котором служил человек в сандалиях, называлось «Геркулес» и помещалось в бывшей гостинице. Вертящаяся стеклянная дверь

с медными пароходными поручнями втолкнула его в большой вестибюль из розового мрамора. В заземленном лифте помещалось бюро справок. Оттуда уже выглядывало смеющееся женское лицо. Пробежав по инерции несколько шагов, вошедший остановился перед стариком-швейцаром в фуражке с золотым зигзагом на околыше и молодецким голосом спросил:

— Ну что, старик, в крематорий пора?

— Пора, батюшка, — ответил швейцар, радостно улыбаясь, — в наш советский колумбарий.

Он даже взмахнул руками. На его добром лице отразилась полная готовность хоть сейчас предаться огненному погребению.

В Черноморске собирались строить крематорий с соответствующим помещением для гробовых урн, то есть колумбарием, и это новшество со стороны кладбищенского подотдела почему-то очень веселило граждан. Может быть, смешили их новые слова — крематорий и колумбарий, а может быть, особенно забавляла их самая мысль о том, что человека можно сжечь, как полено, — но только они приставали ко всем старикам и старухам в трамваях и на улицах с криками: «Ты куда, старушка, прешься? В крематорий торопишься?» Или: «Пропустите старичка вперед, ему в крематорий пора». И, удивительное дело, идея огненного погребения старикам очень понравилась, так что веселые шутки вызывали у них полное одобрение. И вообще разговоры о смерти, считавшиеся до сих пор неудобными и невежливыми, стали котиrowаться в Черноморске наравне с анекдотами из еврейской и кавказской жизни и вызывали всеобщий интерес.

Обогнув помещавшуюся в начале лестницы голую мраморную девушку, которая держала в поднятой руке электрический факел, и с неудовольствием взглянув на плакат «Чистка „Геркулеса“ начинается. Долой заговор молчания и круговую поруку», служащий поднялся на второй этаж. Он работал в финансово-счетном отделе. До начала занятий оставалось еще пятнадцать минут, но за своими столами уже сидели Сахарков, Дрейфус, Тезоименицкий, Музыкант, Чеважевская, Кукушкинд, Борисохлебский и Лapidус-младший. Чистки они нисколько не боялись, в чем неоднократно заверяли друг друга, но в последнее время почему-то стали приходить на службу как можно раньше. Пользуясь немногими минутами свободного времени, они шумно переговаривались между собой. Голоса их гудели в огромном зале, который в былое время был гостиничным рестораном. Об этом напоминали потолок в резных дубовых кессонах и расписные стены, где с ужасающими улыбками кувыркались менады, наяды и дриады.

— Вы слышали новость, Корейко? — спросил вошедшего Лapidус-младший. — Неужели не слышали? Ну? Вы будете поражены.



— Какая новость?.. Здравствуйте, товарищи! — произнес Корейко. — Здравствуйте, Анна Васильевна!

— Вы даже себе представить не можете! — с удовольствием сказал Лapidус-младший. — Бухгалтер Берлага попал в сумасшедший дом.

— Да что вы говорите? Берлага? Ведь он же нормальнейший человек!

— До вчерашнего дня был нормальнейший, а с сегодняшнего дня стал ненормальнейшим, — вступил в разговор Борисохлебский. — Это факт. Мне звонил его шурин. У Берлаги серьезнейшее психическое заболевание, расстройство пяточного нерва.

— Надо только удивляться, что у нас у всех нет еще расстройства этого нерва, — злоеще заметил старик Кукушкинд, глядя на сослуживцев сквозь овальные никелированные очки.

— Не каркайте, — сказала Чеважевская. — Вечно он тоску наводит.

— Все-таки жалко Берлагу, — отозвался Дрейфус, повернувшись на своем винтовом табурете лицом к обществу.

Общество молчаливо согласилось с Дрейфусом. Один только Лapidус-младший загадочно усмехнулся. Разговор перешел на тему о поведении душевнобольных; заговорили о маньяках, рассказано было несколько историй про знаменитых сумасшедших.

— Вот у меня, — воскликнул Сахарков, — был сумасшедший дядя, который воображал себя одновременно Авраамом, Исааком и Иаковом. Представляете себе, какой шум он поднимал!

— Надо только удивляться, — жестяным голосом сказал старик Кукушкинд, неторопливо протирая очки полкой пиджака, — надо только удивляться, что мы все еще не вообразили себя Авраамом, — старик засопел, — Исааком...

— И Иаковом? — насмешливо спросил Сахарков.

— Да! И Яковом! — внезапно завизжал Кукушкинд. — И Яковом! Именно Яковом. Живешь в такое нервное время... Вот когда я работал в банкирской конторе «Сикоморский и Цесаревич», тогда не было никакой чистки.

При слове «чистка» Лapidус-младший встрепенулся, взял Корейко об руку и увел его к громадному окну, на котором разноцветными стеклышками были выложены два готических рыцаря.

— самого интересного про Берлагу вы еще не знаете, — зашептал он. — Берлага здоров как бык.

— Как? Значит, он не в сумасшедшем доме?

— Нет, в сумасшедшем.

Лapidус тонко улыбнулся.

— В этом весь трюк. Он просто испугался чистки и решил пересидеть тревожное время. Притворился сумасшедшим. Сейчас он, наверно, рычит и хохочет. Вот ловкач! Даже завидно!

— У него, что же, родители не в порядке? Торговцы? Чуждый элемент?

— Да и родители не в порядке, и сам он, между нами говоря, имел аптеку. Кто же мог знать, что будет революция? Люди устраивались, как могли, кто имел аптеку, а кто даже фабрику. Я лично не вижу в этом ничего плохого. Кто мог знать?

— Надо было знать, — холодно сказал Корейко.

— Вот я и говорю, — быстро подхватил Лапидус, — таким не место в советском учреждении.

И, посмотрев на Корейко расширенными глазами, он удалился к своему столу.

Зал уже наполнился служащими, из ящиков были вынуты эластичные металлические линейки, отсвечивающие сеledочным серебром, счета с пальмовыми косточками, толстые книги, разграфленные розовыми и голубыми линиями, и множество прочей мелкой и крупной канцелярской утвари. Тезоименицкий сорвал с календаря вчерашний листок, — начался новый день, и кто-то из служащих уже впился молодыми зубами в длинный бутерброд с бараньим паштетом.

Уселся за свой стол и Корейко. Утвердив загорелые локти на письменном столе, он принялся вносить записи в контокоррентную книгу¹.

Александр Иванович Корейко, один из ничтожнейших служащих «Геркулеса», был человек в последнем приступе молодости — ему было тридцать восемь лет. На красном сургучном лице сидели желтые пшеничные брови и белые глаза. Английские усики цветом тоже походили на созревший злак. Лицо его казалось бы совсем молодым, если бы не грубые ефрейторские складки, пересекавшие щеки и шею. На службе Александр Иванович вел себя как сверхсрочный солдат: не рассуждал, был исполнительен, трудолюбив, искателен и туповат.

— Робкий он какой-то, — говорил о нем начальник финсчета, — какой-то уж слишком приниженный, преданный какой-то чересчур. Только объявят подписку на заем, как он уже лезет со своим месячным окладом. Первым подписывается. А весь оклад-то — сорок шесть рублей. Хотел бы я знать, как он существует на эти деньги...

Была у Александра Ивановича удивительная особенность. Он мгновенно умножал и делил в уме большие трехзначные и четырехзначные числа. Но это не освободило Корейко от репутации туповатого парня.

¹ Бухгалтерская книга для учета расчетов с организациями и лицами, от *итал.* conto corrente — «текущий счет».

— Слушайте, Александр Иванович, — спрашивал сосед, — сколько будет восемьсот тридцать шесть на четыреста двадцать три?

— Триста пятьдесят три тысячи шестьсот двадцать восемь, — отвечал Корейко, помедлив самую малость.

И сосед не проверял результата умножения, ибо знал, что туповатый Корейко никогда не ошибается.

— Другой бы на его месте карьеру сделал, — говорили и Сахарков, и Дрейфус, и Тезоименицкий, и Музыкант, и Чеважевская, и Борисохлебский, и Лapidус-младший, и старый дурак Кукушкинд, и даже бежавший в сумасшедший дом бухгалтер Берлага, — а этот — шляпа! Всю жизнь будет сидеть на своих сорока шести рублях.

И, конечно, сослуживцы Александра Ивановича, да и сам начальник финсчета товарищ Арников, и не только он, но даже Серна Михайловна, личная секретарша начальника всего «Геркулеса» товарища Полыхаева, — ну, словом, все были бы чрезвычайно удивлены, если б узнали, что Александр Иванович Корейко, смиреннейший из конторщиков, еще только час назад перетаскивал зачем-то с одного вокзала на другой чемодан, в котором лежали не брюки «Столетье Одессы», не бледная курица и не какие-нибудь «Задачи комсомола в деревне», а десять миллионов рублей в иностранной валюте и советских денежных знаках.

В 1915 году мещанин Саша Корейко был двадцатитрехлетним бездельником из числа тех, которых по справедливости называют гимназистами в отставке. Реального училища он не окончил, делом никаким не занялся, шатался до бульварам и прикармливался у родителей. От военной службы его избавил дядя, делопроизводитель воинского начальника, и поэтому он без страха слушал крики полусумасшедшего газетчика:

— Последние телеграммы! Наши наступают! Слава богу! Много убитых и раненых! Слава богу!

В то время Саша Корейко представлял себе будущее таким образом: он идет по улице — и вдруг у водосточного желоба, осыпанного цинковыми звездами, под самой стенкой находит вишневый, скрипящий, как седло, кожаный бумажник. В бумажнике очень много денег, две тысячи пятьсот рублей... А дальше все будет чрезвычайно хорошо.

Он так часто представлял себе, как найдет деньги, что даже точно знал, где это произойдет. На улице Полтавской Победы, в асфальтовом углу, образованном выступом дома, у звездного желоба. Там лежит он, кожаный благодетель, чуть присыпанный сухим цветом акаций, в соседстве со сплюснутым окурком. На улице Полтавской Победы Саша ходил каждый день, но, к крайнему его удивлению, бумажника не было. Он шевелил мусор гимназическим стеклом и тупо смотрел на висевшую у парадного хода эмалированную дощечку: «Податной инспектор Ю. М. Соловейский». И Саша ошалело брел домой, валился на

красный плюшевый диван и мечтал о богатстве, оглушаемый ударами сердца и пульсов. Пульсы были маленькие, злые, нетерпеливые.

Революция семнадцатого года согнала Корейко с плюшевого дивана. Он понял, что может сделаться счастливым наследником незнакомых ему богатей. Он почуял, что по всей стране валяется сейчас великое множество безпризорного золота, драгоценностей, превосходной мебели, картин и ковров, шуб и сервизов. Надо только не упустить минуты и побыстрее схватить богатство.

Но тогда он был еще глуп и молод. Он захватил большую квартиру, владец которой благоразумно уехал на французском пароходе в Константинополь, и открыто в ней зажил. Целую неделю он врал в чужой богатый быт исчезнувшего коммерсанта, пил найденный в буфете мускат, закусывая его пайковой селедкой, таскал на базар разные безделушки и был немало удивлен, когда его арестовали.

Он вышел из тюрьмы через пять месяцев. От мысли своей сделаться богачом он не отказался, но понял, что дело это требует скрытности, темноты и постепенности. Нужно было надеть на себя защитную шкуру, и она пришла к Александру Ивановичу в виде высоких оранжевых сапог, бездонных синих бриджей и долгополого френча работника по снабжению продовольствием.

В то беспокойное время все сделанное руками человеческими служило хуже, чем раньше: дома не спасали от холода, еда не насыщала, электричество зажигалось только по случаю большой облавы на дезертиров и бандитов, водопровод подавал воду только в первые этажи, а трамваи совсем не работали. Все же силы стихийные стали злее и опаснее: зимы были холодней, чем прежде, ветер был сильнее, и простуда, которая раньше укладывала человека в постель на три дня, теперь в те же три дня убивала его. И молодые люди без определенных занятий кучками бродили по улицам, бесшабашно распевая песенку о деньгах, потерявших свою цену:

Залетаю я в буфет,
Ни копейки денег нет,
Разменяйте десять миллионов...

Александр Иванович с беспокойством видел, как деньги, которые он наживал с великими ухищрениями, превращаются в ничто.

Тиф валил людей тысячами. Саша торговал краденными из склада медикаментами. Он заработал на тифе пятьсот миллионов, но денежный курс за месяц превратил их в пять миллионов. На сахаре он заработал миллиард. Курс превратил эти деньги в порошок.

В этом периоде одним из наиболее удачных его дел было похищение маршрутного поезда с продовольствием, шедшего на Волгу. Корейко был комен-

дантом поезда. Поезд вышел из Полтавы в Самару, но до Самары не дошел, а в Полтаву не вернулся. Он бесследно исчез по дороге. Вместе с ним пропал Александр Иванович.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Подземное царство

Оранжевые сапоги вынырнули в Москве в конце 1922 года. Над сапогами царила зеленоватая бекеша на золотом лисьем меху. Поднятый барашковый воротник, похожий с изнанки на стеганое одеяло, защищал от мороза молодецкую харю с сева­стопольскими полубаками. На голове Александра Ивановича помещалась прелестная курчавая папаха.

А в Москве в ту пору уже бегали новые моторы с хрустальными фонарями, двигались по улицам скоробогачи в котиковых ермолочках и в шубках, подбитых узорным мехом «лира». В моду входили остроносые готические штиблеты и портфели с чемоданными ремнями и ручками. Слово «гражданин» начинало теснить привычное слово «товарищ», и какие-то молодые люди, быстро сообразившие, в чем именно заключается радость жизни, уже танцевали в ресторанах уанстеп «Дикси» и даже фокстрот «Цветок солнца». Над городом стоял крик лихачей, и в большом доме Наркоминдела портной Журкевич день и ночь строчил фраки для отбывающих за границу советских дипломатов.

Александр Иванович с удивлением увидел, что его одеяние, считавшееся в провинции признаком мужественности и богатства, здесь, в Москве, является пережитком старины и бросает невыгодную тень на его обладателя.

Через два месяца на Сретенском бульваре открылось новое заведение под вывеской «Промысловая артель химических продуктов „Реванш“». Артель располагала двумя комнатами. В первой висел портрет основоположника социализма — Фридриха Энгельса, под которым, невинно улыбаясь, сидел сам Корейко в сером английском костюме, прoderнутом красной шелковой ниткой. Исчезли оранжевые ботфорты и грубые полубаки. Щеки Александра Ивановича были хорошо выбриты. В задней комнате находилось производство. Там стояли две дубовые бочки с манометрами и водомерными стеклами, одна — на полу, другая — на антресолях. Бочки были соединены тонкой клистирной трубкой, по которой, деловито журча, бежала жидкость. Когда вся жидкость переходила из верхнего сосуда в нижний, в производственное помещение являлся мальчик в валенках. Не по-детски вздыхая, мальчик вычерпывал ведром жидкость из нижней бочки, тащил ее на антресоли и вливал в верхнюю бочку. Закончив этот сложный производственный процесс, мальчик уходил в контору греться, а из клистирной трубки снова несло всхлипыванье: жидкость со­вершала свой обычный путь — из верхнего резервуара в нижний.

Александр Иванович и сам точно не знал, какого рода химикалии вырабатывает артель «Реванш». Ему было не до химикалий. Его рабочий день и без того был уплотнен. Он переезжал из банка в банк, хлопоча о ссудах для расширения производства. В трестах он заключал договоры на поставку химвидов и получал сырье по твердой цене. Ссуды он тоже получал. Очень много времени отнимала перепродажа полученного сырья на госзаводы по удесятеренной цене, и поглощали множество энергии валютные дела на черной бирже, у подножия памятника героям Плевны.

По прошествии года банки и тресты возымели желание узнать, насколько благотворно отразилась на развитии промартели «Реванш» оказанная ей финансовая и сырьевая помощь и не нуждается ли здоровый частник еще в каком-либо содействии. Комиссия, увешанная учеными бородами, прибыла в артель «Реванш» на трех пролеточках. В пустой конторе председатель комиссии долго вглядывался в равнодушное лицо Энгельса и стучал палкой по еловому прилавку, вызывая руководителей и членов артели. Наконец, дверь производственного помещения растворилась, и перед глазами комиссии предстал заплаканный мальчик с ведром в руке.

Из разговора с юным представителем «Реванша» выяснилось, что производство находится на полном ходу и что хозяин уже неделю не приходит. В производственном помещении комиссия пробыла недолго. Жидкость, так деловито журчавшая в клистирной кишке, по вкусу, цвету и химическому содержанию напоминала обыкновенную воду, какой в действительности и являлась. Удостоверив этот невероятный факт, председатель комиссии сказал «гм» и посмотрел на членов, которые тоже сказали «гм». Потом председатель с ужасной улыбкой взглянул на мальчика и спросил:

— А кой тебе годик?

— Двенадцатый миновал, — ответил — мальчик. И залился такими рыданиями, что



члены комиссии, толкаясь, выбежали на улицу и, разместившись на пролеточках, уехали в полном смущении. Что же касается артели «Реванш», то все операции ее были занесены в банковские и трестовские книги на «Счет прибылей и убытков», и именно в тот раздел этого счета, который ни словом не упоминает о прибылях, а целиком посвящен убыткам.

В тот самый день, когда комиссия вела многозначительную беседу с мальчиком в конторе «Реванша», Александр Иванович Корейко высадился из спального вагона прямого сообщения в небольшой виноградской республике, отстоявшей от Москвы на три тысячи километров.

Он растворил окно в номере гостиницы и увидел городок в оазисе, с бамбуковым водопроводом, с дрянной глиняной крепостью, городок, отгороженный от песков тополями и полный азиатского шума.

На другой же день он узнал, что республика начала строить электрическую станцию. Узнал он также, что денег постоянно не хватает и постройка, от которой зависит будущее республики, может остановиться.

И здоровый частник решил помочь республике. Он снова погрузился в оранжевые сапоги, надел тубетейку и, захватив пузатый портфель, двинулся в управление строительством.

Его встретили не особенно ласково; но он вел себя весьма достойно, ничего не просил для себя и напирал главным образом на то, что идея электрификации отсталых окраин чрезвычайно близка его сердцу.

— Вашему строительству, — говорил он, — не хватает денег. Я их достану.

И он предложил организовать при строительстве электростанции доходное подсобное предприятие.

— Что может быть проще! Мы будем продавать открытки с видами строительства, и это принесет те средства, в которых так нуждается постройка. Запомните: вы ничего не будете давать, вы будете только получать.

Александр Иванович решительно рубил воздух ладонью, слова его казались убедительными, проект был верный и выгодный. Заручившись договором, по которому он получал четвертую часть всех барышей с открыточного предприятия, Корейко начал работать.

Сперва понадобились оборотные средства. Их пришлось взять из денег, ассигнованных на постройку станции. Других денег в республике не было.

— Ничего, — утешал он строителей, — запомните: с этой минуты вы будете только получать.

Александр Иванович верхом на лошади проинспектировал ущелье, где уже возвышались бетонные параллелепипеды будущей станции, и одним взглядом оценил живописность порфировых скал. За ним на линейке¹ при-

¹ *Линейка* — длинная четырехколесная открытая повозка для коротких поездок, обычно с возможностью усесться по обе стороны спиной друг к другу (см. с. 87).

катили в ущелье фотографии. Они окружили строительство суставчатыми, голенастыми штативами, спрятались под черные шали и долго щелкали затворами. Когда все было заснято, один из фотографов спустил шаль и рассудительно сказал:

— Лучше, конечно, было бы строить эту станцию левее, на фоне монастырских руин, там гораздо живописнее.

Для печатания открыток решено было как можно скорее выстроить собственную типографию. Деньги, как и в первый раз, были взяты из строительных средств. Поэтому на электрической станции пришлось свернуть некоторые работы. Но все утешались тем, что барыши от нового предприятия позволят нагнать упущенное время.

Типографию строили в том же ущелье, напротив станции. И вскоре неподалеку от бетонных параллелепипедов станции появились бетонные параллелепипеды типографии. Постепенно бочки с цементом, железные прутья, кирпич и гравий перекочевали из одного конца ущелья в другой. Затем легкий переход через ущелье совершили и рабочие — на новой постройке больше платили.

Через полгода на всех железнодорожных остановках появились агенты-распространители в полосатых штанах. Они торговали открытками, изображавшими скалы виноградной республики, среди которых шли грандиозные работы. В летних садах, театрах, кино, на пароходах и курортах барышников вертели застекленные барабаны благотворительной лотереи. Лотерея была беспроигрышная, — каждый выигрыш являл собою открытку с видом электрического ущелья.

Слова Корейко сбылись, — доходы притекали со всех сторон. Но Александр Иванович не выпускал их из своих рук. Четвертую часть он брал себе по договору, столько же присваивал, ссылаясь на то, что еще не от всех агентских караванов поступала отчетность, а остальные средства употреблял на расширение благотворительного комбината.

— Нужно быть хорошим хозяином, — тихо говорил он, — сначала как следует поставим дело, тогда-то появятся настоящие доходы.

К этому времени экскаватор «Марион», снятый с электростанции, рыл глубокий котлован для нового типографского корпуса. Работа на электростанции прекратилась. Строительство обезлюдело. Возились там одни лишь фотографы и мелькали черные шали.

Дело расцвело, и Александр Иванович, с лица которого не сходила честная советская улыбка, приступил к печатанию открыток с портретами киноартистов.

Как водится, однажды вечером на тряской машине приехала полномочная комиссия. Александр Иванович не стал мешкать, бросил прощальный взгляд на потрескавшийся фундамент электростанции, на грандиозное, полное света здание подсобного предприятия и задал стрекача.

— Гм! — сказал председатель, ковыряя палкой в трещинах фундамента. — Где же электростанция?

Он посмотрел на членов комиссии, которые в свою очередь сказали «гм». Электростанции не было.

Зато в здании типографии комиссия застала работу в полном разгаре. Сияли лиловые лампы, и плоские печатные машины озабоченно хлопали крыльями. Три из них выпекали ущелье в одну краску, а из четвертой, многокрасочной, словно карты из рукава шулера, вылетали открытки с портретами Дугласа Фербенкса в черной полумаске на толстой самоварной морде, очаровательной Лиа де Путти и славного малого с вытаращенными глазами, известного под именем Монти Бенкса.

И долго еще после этого памятного вечера в ущелье под открытым небом шли показательные процессы. А Александр Иванович прибавил к своему капиталу полмиллиона рублей.

Его маленькие злые пульсы по-прежнему нетерпеливо бились. Он чувствовал, что именно сейчас, когда старая хозяйственная система сгнула, а новая только начинает жить, можно составить великое богатство. Но уже знал он, что открытая борьба за обогащение в Советской стране немыслима. И с улыбкой превосходства он глядел на жалкие остатки нэпманов, догнивающих под вывесками:

ТОРГОВЛЯ ТОВАРАМИ КАМВОЛЬНОГО
ТРЕСТА
Б. А. ЛЕЙБЕДЕВ,
ПАРЧА И УТВАРЬ ДЛЯ ЦЕРКВЕЙ И КЛУБОВ

или

БАКАЛЕЙНАЯ ЛАВКА
Х. РОБИНЗОН И М. ПЯТНИЦА.

Под нажимом государственного прессы трещит финансовая база и Лейбедева, и Пятницы, и владельцев музыкальной лжеартели «Там бубна звон».

Корейко понял, что сейчас возможна только подземная торговля, основанная на строжайшей тайне. Все кризисы, которые трясли молодое хозяйство, шли ему на пользу, все, на чем государство теряло, приносило ему доход. Он прорывался в каждую товарную брешь и уносил оттуда свою сотню тысяч. Он торговал хлебопродуктами, сукнами, сахаром, текстилем — всем. И он был один, совершенно один со своими миллионами. В разных концах

страны на него работали большие и малые пройдохи, но они не знали, на кого работают. Корейко действовал только через подставных лиц. И лишь сам знал длину цепи, по которой шли к нему деньги.

Ровно в двенадцать часов Александр Иванович отодвинул в сторону контокоррентную книгу и приступил к завтраку. Он вынул из ящика заранее очищенную сырую репку и, чинно глядя вперед себя, съел ее. Потом он проглотил холодное яйцо всмятку. Холодные яйца всмятку — еда очень невкусная, и хороший, веселый человек никогда их не станет есть. Но Александр Иванович не ел, а питался. Он не завтракал, а совершал физиологический процесс введения в организм должного количества жиров, углеводов и витаминов.

Все геркулесовцы увенчивали свой завтрак чаем, Александр Иванович выпивал стакан кипятку вприкуску. Чай возбуждает излишнюю деятельность сердца, а Корейко дорожил своим здоровьем.

Обладатель десяти миллионов походил на боксера, расчетливо подготавливающего свой триумф. Он подчиняется специальному режиму, не пьет и не курит, старается избегать волнений, тренируется и рано ложится спать — все для того, чтобы в назначенный день выскочить на сияющий ринг счастливым победителем. Александр Иванович хотел быть молодым и свежим в тот день, когда все возвратится к старому и он сможет выйти из подполья, безбоязненно раскрыв свой обыкновенный чемоданишко. В том, что старое вернется, Корейко никогда не сомневался. Он берег себя для капитализма.

И чтобы никто не разгадал его второй и главной жизни, он вел нищенское существование, стараясь не выйти за пределы сорокашестирублевого жалованья, которое получал за жалкую и нудную работу в финсчетном отделе, расписанном менадами, дриадами и наядами.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

«Антилопа-Гну»

Зеленый ящик с четырьмя жуликами скачками понесся по дымной дороге.

Машина подвергалась давлению таких же сил стихии, какие испытывает на себе пловец, купающийся в штормовую погоду. Ее внезапно сбивало налетавшим ухабом, втягивало в ямы, бросало со стороны на сторону и обдавало красной закатной пылью.

— Послушайте, студент, — обратился Остап к новому пассажиру, который уже оправился от недавнего потрясения и беззаботно сидел рядом с командором, — как же вы посмели нарушить сухаревскую конвенцию, этот почтенный пакт, утвержденный трибуналом Лиги Наций?

Паниковский притворился, что не слышит, и даже отвернулся в сторону.

— И вообще, — продолжал Остап, — у вас нечистая хватка. Только что мы были свидетелями отвратительной сцены. За вами гнались арбатовцы, у которых вы увели гуся.

— Жалкие, ничтожные люди! — сердито забормотал Паниковский.

— Вот как! — сказал Остап. — А себя вы считаете, очевидно, врачом-общественником? Джентльменом? Тогда вот что: если вам, как истому джентльмену, взбредет на мысль делать записи на манжетах, вам придется писать мелом.

— Почему? — раздраженно спросил новый пассажир.

— Потому что они у вас совершенно черные. Не от грязи ли?

— Вы жалкий, ничтожный человек! — быстро заявил Паниковский.

— И это вы говорите мне, своему спасителю? — кротко спросил Остап. — Адам Казимирович, остановите на минутку вашу машину. Благодарю вас. Шура, голубчик, восстановите, пожалуйста, статус-кво.

Балаганов не понял, что означает «статус-кво». Но он ориентировался на интонацию, с какой эти слова были произнесены. Гадливо улыбаясь, он принял Паниковского под мышки, вынес из машины и посадил на дорогу.

— Студент, идите назад, в Арбатов, — сухо сказал Остап, — там вас с нетерпением ожидают хозяева гуся. А нам грубиянов не надо. Мы сами грубияны. Едем.

— Я больше не буду! — взмолился Паниковский. — Я нервный!

— Встаньте на колени, — сказал Остап.



Паниковский так поспешно опустил на колени, словно ему подрубили ноги.

— Хорошо! — сказал Остап. — Ваша поза меня удовлетворяет. Вы приняты условно, до первого нарушения дисциплины, с возложением на вас обязанностей прислуги за все.

«Антилопа-Гну» приняла присмирившего грубияна и покатила дальше, колыхаясь, как погребальная колесница.

Через полчаса машина свернула на большой Новозайцевский тракт и, не уменьшая хода, въехала в село. У бревенчатого дома, на крыше которого росла сучковатая и кривая радиомачта, собрался народ. Из толпы решительно выдвинулся мужчина без бороды. В руке безбородый держал листок бумаги.

— Товарищи, — сердито крикнул он, — считаю торжественное заседание открытым! Позвольте, товарищи, считать эти аплодисменты...

Он, видимо, заготовил речь и уже заглядывал в бумажку, но, заметив, что машина не останавливается, не стал распространяться.

— Все в Автодор!¹ — поспешно сказал он, глядя на поравнявшегося с ним Остапа. — Наладим серийное производство советских автомашин. Железный конь идет на смену крестьянской лошадке.

И уже вдогонку удаляющемуся автомобилю, покрывая поздравительный гул толпы, выложил последний лозунг:

— Автомобиль — не роскошь, а средство передвижения.

За исключением Остапа, все антилоповцы были несколько обеспокоены торжественной встречей. Ничего не понимая, они вертелись в машине, как воробышки в гнезде. Паниковский, который вообще не любил большого скопления честных людей в одном месте, опасливо присел на корточки, так что глазам селян представилась только лишь грязная соломенная крыша его шляпы. Но Остап ничуть не смутился. Он снял фуражку с белым верхом и на приветствия отвечал гордым наклоном головы то вправо, то влево.

— Улучшайте дороги! — закричал он на прощание. — Мерси за прием!

И машина снова очутилась на белой дороге, рассекавшей большое тихое поле.

— Они за нами не погонятся?² — озабоченно спросил Паниковский. — Почему толпа?² Что случилось?²

— Просто люди никогда не видели автомобиля, — сказал Балаганов.

— Обмен впечатлениями продолжается, — отметил Бендер. — Слово за водителем машины. Ваше мнение, Адам Казимирович?

Шофер подумал, пугнул звуками матчиша собаку, сдуру выбежавшую на дорогу, и высказал предположение, что толпа собралась по случаю храмового праздника.

— Праздники такого рода, — разъяснил водитель «Антилопы», — часто бывают у селян.

— Да, — сказал Остап. — Теперь я ясно вижу, что попал в общество некультурных людей, то есть босяков без высшего образования. Ах, дети, ми-

¹ Автодор — существовавшее в СССР в 1927–1935 годах Общество содействия развитию автомобилизма и улучшению дорог.

лые дети лейтенанта Шмидта, почему вы не читаете газет? Их нужно читать. Они довольно часто сеют разумное, доброе, вечное.

Остап вынул из кармана «Известия» и громким голосом прочел экипажу «Антилопы» заметку об автомобильном пробеге Москва — Харьков — Москва.

— Сейчас, — самодовольно сказал он, — мы находимся на линии автопробега, приблизительно в полутораста километрах впереди головной машины. Полагаю, что вы уже догадались, о чем я говорю?

Нижние чины «Антилопы» молчали. Паниковский расстегнул пиджак и почесал голую грудь под грязным шелковым галстуком.

— Значит, вы не поняли? Как видно, в некоторых случаях не помогает даже чтение газет. Ну хорошо, выскажусь более подробно, хотя это и не в моих правилах. Первое: крестьяне приняли «Антилопу» за головную машину автопробега. Второе: мы не отказываемся от этого звания, более того — мы будем обращаться ко всем учреждениям и лицам с просьбой оказать нам надлежащее содействие, напирая именно на то, что мы головная машина. Третье... Впрочем, хватит с вас и двух пунктов. Совершенно ясно, что некоторое время мы продержимся впереди автопробега, снимая пенки, сливки и тому подобную сметану с этого высококультурного начинания.

Речь великого комбинатора произвела огромное впечатление. Козлевич бросал на командора преданные взгляды. Балаганов растирал ладонями свои рыжие вихры и заливался смехом. Паниковский, в предвкушении безопасной наживы, кричал ура.

— Ну, хватит эмоций, — сказал Остап. — Ввиду наступления темноты объявляю вечер открытым. Стоп!

Машина остановилась, и усталые антилоповцы сошли на землю. В поспевающих хлебах кузнечики ковали свое маленькое счастье. Пассажиры уже уселись в кружок у самой дороги, а старая «Антилопа» все еще кипятилась: иногда сам по себе потрескивал кузов, иногда слышалось в моторе короткое бряканье.

Неопытный Паниковский развел такой большой костер, что казалось — горит целая деревня. Огонь, сопя, кидался во все стороны. Покуда путешественники боролись с огненным столбом, Паниковский, пригнувшись, убежал в поле и вернулся, держа в руке теплый кривой огурец. Остап быстро вырвал его из рук Паниковского, говоря:

— Не делайте из еды культа.

После этого он съел огурец сам. Поужинали колбасой, захваченной из дому хозяйственным Козлевиным, и заснули под звездами.

— Ну-с, — сказал на рассвете Остап Козлевицу, — приготовьтесь как следует. Такого дня, какой предстоит сегодня, ваше механическое корыто еще не видело и никогда не увидит.

Балаганов схватил цилиндрическое ведро с надписью: «Арбатовский родильный дом», и побежал за водой на речку.

Адам Казимирович поднял капот машины, посвистывая, запустил руки в мотор, и стал копать в его медных кишечках.

Паниковский оперся спиной на автомобильное колесо и, пригорюнившись, не мигая, смотрел на клюквенный солнечный сегмент, появившийся над горизонтом. У Паниковского оказалось морщинистое лицо со множеством старческих мелочей: мешочков, пульсирующих жилок и клубничных румянцев. Такое лицо бывает у человека, который прожил долгую порядочную жизнь, имеет взрослых детей, пьет по утрам здоровое¹ кофе «Желудин» и пописывает в учрежденской стенгазете под псевдонимом «Антихрист».

— Рассказать вам, Паниковский, как вы умрете? — неожиданно сказал Остап.

Старик вздрогнул и обернулся.

— Вы умрете так. Однажды, когда вы вернетесь в пустой, холодный номер гостиницы «Марсель» (это будет где-нибудь в уездном городе, куда занесет вас профессия), вы почувствуете себя плохо. У вас отнимется нога. Голодный и небритый, вы будете лежать на деревянном топчане, и никто к вам не придет, Паниковский, никто вас не пожалеет. Детей вы не родили из экономии, а жен бросали. Вы будете мучиться целую неделю. Агония ваша будет ужасна. Вы будете умирать долго, и это всем надоест. Вы еще не совсем умрете, а бюрократ, заведующий гостиницей, уже напишет отношение в отдел коммунального хозяйства о выдаче бесплатного гроба... Как ваше имя и отчество?

— Михаил Самуэлевич, — ответил пораженный Паниковский.

— ...о выдаче бесплатного гроба для гражданина М. С. Паниковского. Впрочем, не надо слез, годика два вы еще протянете. Теперь — к делу. Нужно позаботиться о культурно-агитационной стороне нашего похода.

Остап вынул из автомобиля свой акушерский саквояж и положил его на траву.

— Моя правая рука, — сказал великий комбинатор, похлопывая саквояж по толстенькому колбасному боку. — Здесь все, что только может понадобиться эlegantному гражданину моих лет и моего размаха.

Бендер присел над чемоданчиком, как бродячий китайский фокусник над своим волшебным мешком, и одну за другой стал вынимать различные вещи. Сперва он вынул красную нарукавную повязку, на которой золотом было вышито слово «Распорядитель». Потом на траву

¹ В первых изданиях «Золотого тельника» печаталось именно «здоровое кофе». В 1920-е годы кофе стал настолько популярен, в том числе в среде малообразованной, что появился разговорный вариант, где кофе стал среднего рода. Этот вариант, именно с указанием «разговорный», даже вошел в довоенный словарь Ушакова.

легла милицейская фуражка с гербом города Киева, четыре колоды карт с одинаковой рубашкой и пачка документов с круглыми сиреневыми печатями.

Весь экипаж «Антилопы-Гну» с уважением смотрел на саквояж. А откуда появлялись все новые предметы.

— Вы — голуби, — говорил Остап, — вы, конечно, никогда не поймете, что честный советский паломник-пилигрим вроде меня не может обойтись без докторского халата.

Кроме халата в саквояже оказался и стетоскоп.

— Я не хирург, — заметил Остап. — Я невропатолог, я психиатр. Я изучаю души своих пациентов. И мне почему-то всегда попадаются очень глупые души.

Затем на свет были извлечены: азбука для глухонемых, благотворительные открытки, эмалевые нагрудные знаки и афиша с портретом самого Бендера в шальварах и чалме. На афише было написано:

ПРИЕХАЛ ЖРЕЦ
(Знаменитый бомбейский брамин-йог)
— сын Крепыша —
Любимец Рабиндраната Тагора

ИОКАНААН МАРУСИДЗЕ

(Заслуженный артист союзных республик)
Номера по опыту Шерлока Холмса. Индийский факир. Курочка-невидимка. Свечи с Атлантиды. Адская палатка. Пророк Самуил отвечает на вопросы публики. Материализация духов и раздача слонов.

Входные билеты от 50 к. до 2 р.

Грязная, захватанная руками чалма появилась вслед за афишей.

— Этой забавой я пользуюсь очень редко, — сказал Остап. — Представьте себе, что на жреца больше всего ловятся такие передовые люди, как заведующие железнодорожными клубами. Работа легкая, но противная. Мне лично претит быть любимцем Рабиндраната Тагора. А пророку Самуилу задают одни и те вопросы: «Почему в продаже нет животного масла?» или: «Еврей ли вы?»

В конце концов Остап нашел то, что искал: жестяную лаковую коробку с медовыми красками в фарфоровых ванночках и две кисточки.

— Машину, которая идет в голове пробегая, нужно украсить хотя бы одним лозунгом, — сказал Остап.

И на длинной полоске желтоватой бязи, извлеченной из того же саквояжа, он вывел печатными буквами коричневую надпись:

**АВТОПРОБЕГОМ —
ПО БЕЗДОРОЖЬЮ И РАЗГИЛЬДЯЙСТВУ!**

Плакат укрепили над автомобилем на двух хворостинах. Как только машина тронулась, плакат выгнулся под напором ветра и приобрел настолько лихой вид, что не могло быть больше сомнений в необходимости грохнуть автопробегом по бездорожью, разгильдяйству, а заодно, может быть, даже и по бюрократизму. Пассажиры «Антилопы» приосанились. Балаганов натянул на свою рыжую голову кепку, которую постоянно таскал в кармане. Паниковский вывернул манжеты на левую сторону и выпустил их из-под рукавов на два сантиметра. Козлевич заботился больше о машине, чем о себе. Перед отъездом он вымыл ее водой, и на неровных боках «Антилопы» заиграло солнце. Сам командор весело щурился и задира л спутников.

— Влево по борту деревня! — крикнул Балаганов, полочкой приставив ладонь ко лбу. — Останавливаться будем?

— Позади нас, — сказал Остап, — идут пять первоклассных машин. Свидание с ними не входит в наши планы. Нам надо поскорей снимать сливки. Посему остановку назначаю в городе Удоеве. Там нас, кстати, должна поджидать бочка с горючим. Ходу, Казимирович.

— На приветствия отвечать? — озабоченно спросил Балаганов.

— Отвечать поклонами и улыбками. Ртов прошу не открывать. Не то вы черт знает чего наговорите.

Деревня встретила головную машину приветливо. Но обычное гостеприимство здесь носило довольно странный характер. Видимо, деревенская общественность была извещена о том, что кто-то проедет, но кто проедет и с какой целью — не знала. Поэтому на всякий случай были извлечены все изречения и девизы, изготовленные за последние несколько лет. Вдоль улицы стояли школьники с разнокалиберными старомодными плакатами: «Привет Лиге Времени¹ и ее основателю, дорогому товарищу Керженцеву», «Не бо-

¹ *Лига Времени* — организация, созданная в 1923 году в СССР при поддержке основателя русской школы тайм-менеджмента и научной организации труда Платона Михайловича Керженцева. Задачи лиги были сформулированы в ее уставе весьма кратко: «борьба за правильное использование и экономию времени во всех проявлениях общественной и частной жизни, как основное условие для осуществления принципов научной организации в СССР». Прекратила свое существование в 1926 году. Члены ЛВ выступали за ликвидацию таких «убийц времени»,

имся буржуазного звона, ответим на ультиматум Керзона»¹, «Чтоб дети наши не угасли, пожалуйста, организуйте ясли».

Кроме того, было множество плакатов, исполненных преимущественно церковнославянским шрифтом, с одним и тем же приветствием: «Добро пожаловать!»

Все это живо пронеслось мимо путешественников. На этот раз они уверенно размахивали шляпами. Паниковский не удержался и, несмотря на запрещение, вскочил и выкрикнул невнятное, политически безграмотное приветствие. Но за шумом мотора и криками толпы никто ничего не разобрал.

— Гип-гип-ура! — закричал Остап. Козлевич открыл глушитель, и машина выпустила шлейф синего дыма, от которого зачихали бежавшие за автомобилем собаки.

— Как с бензином? — спросил Остап. — До Удоева хватит? Нам только тридцать километров сделать. А там — все отнимем.

— Должно хватить, — с сомнением ответил Козлевич.

— Имейте в виду, — сказал Остап, строго оглядывая свое войско, — мародерства не допущу. Никаких нарушений закона. Командовать парадом буду я.

Паниковский и Балаганов сконфузились.

— Все, что нам надо, удоевцы отдадут сами. Вы это сейчас увидите. Заготовьте место для хлеб-соли.

Тридцать километров «Антилопа» пробежала за полтора часа. Последний километр Козлевич очень суетился, поддавал газу и сокрушенно крутил голову. Но все усилия, а также крики и понукания Балаганова ни к чему не привели. Блестящий финиш, задуманный Адамом Казимировичем, не удался из-за нехватки бензина. Машина позорно остановилась посреди улицы, не дойдя ста метров до кафедры, увитой хвойными гирляндами в честь отважных автомобилистов.

Собравшиеся с громкими криками бросились навстречу прибывшему из мглы веков «Лорен-Дитриху». Тернии славы сейчас же впились в благородные лбы путников. Их грубо выгнали из машины и принялись качать с таким ожесточением, будто они были утопленниками и их во что бы то ни стало нужно было вернуть к жизни.

как митинги, заседания с бессмысленными обсуждениями политической доктрины, опоздания, затяжные перекуры. Передвигали станки и письменные столы для сокращения перемещений сотрудников, вели учет личного и рабочего времени с помощью хронокарт. Почетными председателями ЛВ были В. И. Ленин и Л. Д. Троцкий (см. с. 16).

¹ *Ультиматум Керзона* — нота правительства Великобритании, составленная министром иностранных дел лордом Керзоном и врученная Советскому правительству 8 мая 1923 года. Советское правительство 11 мая 1923 года отвергло британский ультиматум.



Козлевич остался у машины, а всех остальных повели к кафедре, где по плану намечен был летучий трехчасовой митинг. К Остапу протиснулся молодой человек шоферского типа и спросил:

— Как остальные машины?

— Отстали, — равнодушно ответил Остап. — Проколы, поломки, энтузиазм населения. Все это задерживает.

— Вы в командорской машине? — не отставал шофер-любитель. — Клептунов с вами?

— Клептунова я снял с пробега, — сказал Остап недовольно.

— А профессор Двуптих? На «Паккарде»?

— На «Паккарде».

— А писательница Вера Круц? — любопытствовал полушофер. — Вот бы на нее посмотреть! На нее и на товарища Нежинского. Он тоже с вами?

— Знаете, — сказал Остап, — я утомлен пробегом.

— А вы на «Студебеккере»?

— Можете считать нашу машину «Студебеккером», — сказал Остап злобно, — но до сих пор она называлась «Лорен-Дитрих». Вы удовлетворены? Но шофер-любитель удовлетворен не был.

— Позвольте, — воскликнул он с юношеской назойливостью, — но ведь в пробеге нет никаких «Лорен-Дитрихов»! Я читал в газете, что идут два «Паккарда», два «Фиата» и один «Студебеккер».

— Идите к чертовой матери со своим «Студебеккером»! — заорал Остап. — Кто такой Студебеккер? Это ваш родственник Студебеккер? Папа ваш Студебеккер? Чего вы прилипли к человеку? Русским языком ему говорят, что «Студебеккер» в последний момент заменен «Лорен-Дитрихом», а он морочит голову! «Студебеккер»!

Юношу уже давно оттеснили распорядители, а Остап долго еще взмахивал руками и бормотал:

— Знатоки! Убивать надо таких знатоков! «Студебеккер» ему подавай!

Делал он это с той целью, чтобы раз навсегда избавиться от опасных распросов.

Председатель комиссии по встрече автопробега протянул в своей приветственной речи такую длинную цепь придаточных предложений, что не мог из них выкарабкаться в течение получаса. Все это время командор пробега провел в большом беспокойстве. С высоты кафедры он следил за подозрительными действиями Балаганова и Паниковского, которые слишком оживленно шныряли в толпе. Бендер делал страшные глаза и в конце концов своей сигнализацией пригвоздил детей лейтенанта Шмидта к одному месту.

— Я рад, товарищи, — заявил Остап в ответной речи, — нарушить автомобильной сиреной патриархальную тишину города Удоева. Автомобиль, товарищи, не роскошь, а средство передвижения. Железный конь идет на



смену крестьянской лошадке. Наладим серийное производство советских автомашин. Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству. Я кончаю, товарищи. Предварительно закусив, мы продолжим наш далекий путь.

Пока толпа, недвижимо расположившаяся вокруг кафедры, внимала словам командора, Козлевич развил обширную деятельность. Он наполнил бак бензином, который, как и говорил Остап, оказался высшей очистки, беззастенчиво захватил в запас три больших бидона горючего, переменял камеры и протекторы на всех четырех колесах, захватил помпу и даже домкрат. Этим он совершенно опустошил как базисный, так и операционный склады удоевского отделения Автодора.

Дорога до Черноморска была обеспечена материалами. Не было, правда, денег. Но это командора не беспокоило. В Удоеве путешественники прекрасно пообедали.

— О карманных деньгах не надо думать, — сказал Остап, — они валяются на дороге, и мы их будем подбирать по мере надобности.

Между древним Удоевым, основанным в 794 году, и Черноморском, основанным в 1794 году¹, лежали тысяча лет и тысяча километров грунтовой и шоссейной дороги.

За эту тысячу лет на магистрали Удоев—Черное море появлялись различные фигуры.

¹ Прототипом Черноморска в романе является Одесса, основанная как раз в 1794 году.

Двигались по ней разъездные приказчики с товарами византийских торговых фирм. Навстречу им из гудящего леса выходил Соловей-разбойник, грубый мужчина в каракулевой шапке. Товары он отбирал, а приказчиков выводил в расход. Брели по этой дороге завоеватели со своими дружинами, проезжали мужики, с песнями тащились странники.

Жизнь страны менялась с каждым столетием. Менялась одежда, совершенствовались оружие, были усмирены картофельные бунты. Люди научились брить бороды. Полетел первый воздушный шар. Были изобретены железные близнецы — пароход и паровоз. Затрубили автомашины.

А дорога осталась такой же, какой была при Соловье-разбойнике.

Горбатая, покрытая вулканической грязью или засыпанная пылью, ядовитой, словно порошок от клопов, протянулась отечественная дорога мимо деревень, городков, фабрик и колхозов, протянулась тысячеверстной западней. По ее сторонам, в желтеющих, оскверненных травах, валяются скелеты телег и замученные, издыхающие автомобили.

Быть может, эмигранту, обезумевшему от продажи газет среди асфальтовых полей Парижа, вспоминается российский проселок очаровательной подробностью родного пейзажа: в лужице сидит месяц, громко молятся сверчки и позванивает пустое ведро, подвязанное к мужицкой телеге.

Но месячному свету дано уже другое назначение. Месяц сможет отлично сиять на гудронных шоссе. Автомобильные сирены и клаксоны заменят симфонический звон крестьянского ведерка. А сверчков можно будет слушать в специальных заповедниках; там будут построены трибуны, и граждане, подготовленные вступительным словом какого-нибудь седого сверчковеда, смогут в досталь насладиться пением любимых насекомых.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Сладкое время славы

Командор пробега, водитель машины, бортмеханик и прислуга за все чувствовали себя прекрасно.

Утро было прохладное. В жемчужном небе путалось бледное солнце. В травах кричала мелкая птичья сволочь.

Дорожные птички «пастушки» медленно переходили дорогу перед самыми колесами автомобиля. Степные горизонты источали такие бодрые запахи, что, будь на месте Остапа какой-нибудь крестьянский писатель-среднячок из группы «Стальное вымя», не удержался бы он, вышел бы из машины, сел бы в траву и тут же на месте начал бы писать на листах походного блокнота новую повесть, начинающуюся словами: «Инда взопрели озимые. Рассупонилось солнышко, расталдыкнуло свои лучи по белу светушку. Понюхал старик Ромуальдыч свою портянку и аж заколдобился...»

Но Остап и его спутники были далеки от поэтических восприятий. Вот уже сутки они мчались впереди автопробега. Их встречали музыкой и речами. Дети били для них в барабаны. Взрослые кормили их обедами и ужинами, снабжали заранее заготовленными авточастями, а в одном посаде поднесли хлеб-соль на дубовом резном блюде с полотенцем, вышитым крестиками. Хлеб-соль лежала на дне машины, между ногами Паниковского. Он все время отщипывал от каравая кусочки и в конце концов проделал в нем мышиную дыру. После этого брезгливый Остап выкинул хлеб-соль на дорогу. Ночь антилоповцы провели в деревушке, окруженные заботами деревенского актива. Они увезли оттуда большой кувшин топленого молока и сладкое воспоминание об одеколонном запахе сена, на котором спали.

— Молоко и сено, — сказал Остап, когда «Антилопа» на рассвете покидала деревню, — что может быть лучше! Всегда думаешь: «Это я еще успею. Еще много будет в моей жизни молока и сена». А на самом деле никогда этого больше не будет. Так и знайте: это была лучшая ночь в нашей жизни, мои бедные друзья. А вы этого даже не заметили.

Спутники Бендера смотрели на него с уважением. Их приводила в восторг открывшаяся перед ними легкая жизнь.

— Хорошо жить на свете! — сказал Балаганов. — Вот мы едем, мы сыты. Может быть, нас ожидает счастье...

— Вы в этом твердо уверены? — спросил Остап. — Счастье ожидает нас на дороге? Может быть, еще машет крылышками от нетерпения? «Где, — говорит оно, — адмирал Балаганов? Почему его так долго нет?» Вы псих, Балаганов! Счастье никого не поджидает. Оно бродит по стране в длинных белых одеждах, распевая детскую песенку: «Ах, Америка — это страна, там гуляют и пьют без закуски». Но эту наивную детку надо ловить, ей нужно понравиться, за ней нужно ухаживать. А у вас, Балаганов, с этой деткой романа не выйдет. Вы оборванец. Посмотрите, на кого вы похожи! Человек в вашем костюме никогда не добьется счастья. Да и вообще весь экипаж «Антилопы» экипирован отвратительно. Удивляюсь, как это нас еще принимают за участников автопробега!

Остап с сожалением оглядел своих спутников и продолжал:

— Шляпа Паниковского меня решительно смущает. Вообще он одет с вызывающей роскошью. Этот драгоценный зуб, эти кальсонные тесемочки, эта волосатая грудь под галстуком... Проще надо одеваться, Паниковский! Вы — почтенный старик. Вам нужны черный сюртук и касторовая шляпа. Балаганову подойдут клетчатая ковбойская рубашка и кожаные краги. И он сразу же приобретает вид студента, занимающегося физкультурой. А сейчас он похож на уволенного за пьянство матроса торгового флота. О нашем уважаемом водителе я не говорю. Тяжелые испытания, ниспосланные судьбой, помешали ему одеться сообразно званию. Неужели вы не видите, как подошли бы к его одухотворен-

ному, слегка испачканному маслом лицу кожаный комбинезон и хромовый черный картуз? Да, детушки, вам надо экипироваться.

— Денег нет, — сказал Козлевич, оборачиваясь.

— Шофер прав, — любезно ответил Остап, — денег действительно нет. Нет этих маленьких металлических кружочков, кои я так люблю.

«Антилопа-Гну» скользнула с пригорка. Поля продолжали медленно вращаться по обе стороны машины. Большая рыжая сова сидела у самой дороги, склонив голову набок и глупо вытаращив желтые незрячие глаза. Встревожненная скрипом «Антилопы» птица выпустила крылья, вспарила над машиной и вскоре улетела по своим скучным совиным делам. Больше ничего заслуживающего внимания на дороге не произошло.

— Смотрите! — закричал вдруг Балаганов. — Автомобиль!

Остап на всякий случай распорядился убрать плакат, увещевавший граждан ударить автопробегом по разгильдяйству. Покуда Паниковский выполнял приказ, «Антилопа» приблизилась к встречной машине.

Закрытый серый «Кадиллак», слегка накренившись, стоял у края дороги. Среднерусская природа, отражавшаяся в его толстых полированных стеклах, выглядела чище и красивее, чем была в действительности. Колонопреклоненный шофер снимал крышку с переднего колеса. Над ним в ожидании томились три фигуры в песочных дорожных пальто.

— Терпите бедствие? — спросил Остап, вежливо приподнимая фуражку.

Шофер поднял напряженное лицо и, ничего не ответив, снова углубился в работу.

Антилоповцы вылезли из своего зеленого тарантаса. Козлевич несколько раз обошел кругом чудесную машину, завистливо вздыхая, присел на корточках рядом с шофером и вскоре завел с ним специальный разговор. Паниковский и Балаганов с детским любопытством разглядывали пассажиров, из которых двое имели весьма надменный заграничный вид. Третий, судя по одуряющему калошному запаху, исходившему от его резиноктрестовского плаща, был соотечественник.

— Терпите бедствие? — повторил Остап, деликатно прикоснувшись к резиновому плечу соотечественника и в то же время устремив задумчивый взгляд на иностранцев.

Соотечественник раздраженно заговорил о лопнувшей шине, но его бормотание пролетело мимо ушей Остапа. На большой дороге, в ста тридцати километрах от ближайшего окружного центра, в самой середине Европейской России прогуливались у своего автомобиля два толстеньких заграничных цыпленка. Это взволновало великого комбинатора.

— Скажите, — перебил он, — эти двое не из Рио-де-Жанейро?

— Нет, — ответил соотечественник, — они из Чикаго. А я переводчик из «Ингуриста».

— Чего же они здесь делают, на распутье, в диком древнем поле, вдалеке от Москвы, от балета «Красный мак», от антикварных магазинов и знаменитой картины художника Репина «Иван Грозный убивает своего сына»? Не понимаю! Зачем вы их сюда завезли?

— А ну их к черту! — со скорбью сказал переводчик. — Третий день уже носимся по деревням как угорелые. Замучили меня совсем. Много я имел дела с иностранцами, но таких еще не видел, — и он махнул рукой в сторону своих румяных спутников. — Все туристы как туристы, бегают по Москве, покупают в кустарных магазинах деревянные братины¹. А эти двое отбились. Стали по деревням ездить.

— Это похвально, — сказал Остап. — Широкие массы миллиардеров знакомятся с бытом новой, советской деревни.

Граждане города Чикаго важно наблюдали за починкой автомобиля. На них были серебристые шляпы, замороженные крахмальные воротнички и красные матовые башмаки.

Переводчик с негодованием посмотрел на Остапа и воскликнул:

— Как же! Так им и нужна новая деревня! Деревенский самогон им нужен, а не деревня!

При слове «самогон», которое переводчик произнес с ударением, джентльмены беспокойно оглянулись и стали приближаться к разговаривающим.

— Вот видите! — сказал переводчик. — Слова этого спокойно слышать не могут.

— Да. Тут какая-то тайна, — сказал Остап, — или извращенные вкусы. Не понимаю, как можно любить самогон, когда в нашем отечестве имеется большой выбор благородных крепких напитков.

— Все это гораздо проще, чем вам кажется, — сказал переводчик. — Они ищут рецепт приготовления хорошего самогона.

— Ну, конечно! — закричал Остап. — Ведь у них «сухой закон». Все понятно... Достали рецепт?.. Ах, не достали? Ну, да. Вы бы еще на трех автомобилях приехали! Ясно, что вас принимают за начальство. Вы и не доставите рецепта, смею вас уверить.

Переводчик стал жаловаться на иностранцев:

— Поверите ли, на меня стали бросаться: расскажи да расскажи им секрет самогона. А я не самогонщик. Я член Союза работников просвещения. У меня в Москве старуха-мама.

— А вам очень хочется обратно в Москву? К маме?

Переводчик жалобно вздохнул.

— В таком случае заседание продолжается, — промолвил Бендер. — Сколько дадут ваши шефы за рецепт? Полтора дадут?

¹ *Братина* — древнерусский сосуд для совместного питья на пирах и на поминках (питья на всю братию). Пили из него, черпая ковшами или черпальцами.



— Дадут двести, — зашептал переводчик. — А у вас в самом деле есть рецепт?

— Сейчас же вам продиктую, то есть сейчас же по получении денег. Какой угодно: картофельный, пшеничный, абрикосовый, ячменный, из тутовых ягод, из гречневой каши. Даже из обыкновенной табуретки можно гнать самогон. Некоторые любят табуретовку. А то можно простую кишмишовку или сливянку. Одним словом — любой из полутора ста самогонов, рецепты которых мне известны.

Остап был представлен американцам. В воздухе долго плавали вежливо приподнятые шляпы. Затем приступили к делу.

Американцы выбрали пшеничный самогон, который привлек их простотой выработки. Рецепт долго записывали в блокноты. В виде бесплатной премии Остап сообщил американским ходокам наилучшую конструкцию кабинетного самогонного аппарата, который легко скрыть от посторонних взглядов в тумбе письменного стола. Ходоки заверили Остапа, что при американской технике изготовить такой аппарат не представляет никакого труда. Остап со своей стороны заверил американцев, что аппарат его конструкции дает в день ведро прелестного ароматного первача.

— О! — закричали американцы. Они уже слышали это слово в одной почтенной семье из Чикаго. И там о «pervatsch'e» были даны прекрасные референции. Глава этого семейства был в свое время с американским оккупационным корпусом в Архангельске¹, пил там «pervatsch» и с тех пор не может забыть очаровательного ощущения, которое он при этом испытал.

В устах разомлевших туристов грубое слово «первач» звучало нежно и заманчиво.

Американцы легко отдали двести рублей и долго трясли руку Бендера. Паниковскому и Балаганову тоже удалось попрощаться за руку с гражданами атлантической республики, измученными «сухим законом». Переводчик на радостях чмокнул Остапа в твердую щеку и просил захаживать, присовокупив, что старуха-мама будет очень рада. Однако адреса почему-то не оставил.

¹ Американская интервенция в Архангельске в числе британских военных сил, прозванная самими американцами «Экспедиция „Белый Медведь“» (The Polar Bear Expedition) проходила с сентября 1918 года по апрель 1919 года.

Сдружившиеся путешественники расселись по своим машинам. Козлевич на прощанье сыграл матчш, и под его веселые звуки автомобили разлетелись в противоположные стороны.

— Видите, — сказал Остап, когда американскую машину заволокло пылью, — все произошло так, как я вам говорил. Мы ехали. На дороге валялись деньги. Я их подобрал. Смотрите, они даже не запылились.

И он затрепал пачкой кредиток.

— Собственно говоря, хвастаться нечем, комбинация простенькая. Но опрятность, честность — вот что дорого. Двести рублей. В пять минут. И я не только не нарушил законов, но даже сделал приятное. Экипаж «Антилопы» снабдил денежным довольствием. Старухе-маме возвратил сына-переводчика. И наконец утолил духовную жажду граждан страны, с которой мы как-никак имеем торговые связи.

Подходило время обеда. Остап углубился в карту пробега, вырванную им из автомобильного журнала, и возвестил приближение города Лучанска.

— Город очень маленький, — сказал Бендер, — это плохо. Чем меньше город, тем длиннее приветственные речи. Посему попросим у любезных хозяев города обед на первое, а речи на второе. В антракте я снабжу вас вещевым довольствием. Паниковский! Вы начинаете забывать свои обязанности. Восстановите плакат на прежнем месте.



Понаторевший в торжественных финишах Козлевич лихо осадил машину перед самой трибуной. Здесь Бендер ограничился кратким приветствием. Условились перенести митинг на два часа. Подкрепившись бесплатным обедом, автомобилисты в приятнейшем расположении духа двинулись к магазину готового платья. Их окружали любопытные. Антилоповцы с достоинством несли свалившееся на них сладкое бремя славы. Они шли посреди улицы, держась за руки и раскачиваясь, словно матросы в чужеземном порту. Рыжий Балаганов, и впрямь похожий на молодого боцмана, затянул морскую песню.

Магазин «Платье мужское, дамское и детское» помещался под огромной вывеской, занимавшей весь двухэтажный дом. На вывеске были намалеваны десятки фигур: желтолицые мужчины с тонкими усиками, в шубах с отвернутыми наружу хорьковыми лапами, дамы с муфтами в руках, коротконогие дети в матросских костюмчиках, комсомолки в красных косынках и сумрачные хозяйственники, погруженные по самые бедра в фетровые сапоги.

Все это великолепие разбивалось о маленькую бумажку, прилепленную к входной двери магазина:

ШТАНОВ НЕТ

— Фу, как грубо, — сказал Остап, входя, — сразу видно, что провинция. Написали бы, как пишут в Москве: «Брюк нет», прилично и благородно. Граждане довольные расходятся по домам.

В магазине автомобилисты задержались недолго. Для Балаганова нашлась ковбойская рубашка в просторную канареечную клетку и стетсоновская шляпа¹ с дырочками. Козлевичу пришлось довольствоваться обещанным хромовым картузом и такой же тужуркой, сверкающей, как прессованная икра. Долго возились с Паниковским. Пасторский долгополый сюртук и мягкая шляпа, которые, по замыслу Бендера, должны были облагородить внешность нарушителя конвенции, отпали в первую же минуту. Магазин мог предложить только костюм пожарного: куртку с золотыми насосами в петлицах, волосатые полушерстяные брюки и фуражку с синим кантом. Паниковский долго прыгал перед волнистым зеркалом.

— Не понимаю, — сказал Остап, — чем вам не нравится костюм пожарного? Оно все-таки лучше, чем костюм короля в изгнании, который вы теперь носите. А ну, поворотитесь-ка, сынку! Отлично! Скажу вам прямо. Это подходит вам больше, чем запроектированные мною сюртук и шляпа.

На улицу вышли в новых нарядах.

— Мне нужен смокинг, — сказал Остап, — но здесь его нет. Подождем до лучших времен.

¹ *Стетсон* — ковбойская шляпа, названная по имени изобретателя (в 1860-х годах) и производителя Джона Стетсона.

Остап открыл митинг в приподнятом настроении, не подозревая о том, какая гроза надвигается на пассажиров «Антилопы». Он острил, рассказывал смешные дорожные приключения и еврейские анекдоты, чем чрезвычайно расположил к себе публику. Конец речи он посвятил разбору давно назревшей автопроблемы.

— Автомобиль, — воскликнул он трубным голосом, — не роскошь, а...

В эту минуту он увидел, что председатель комиссии по встрече принял из рук подбежавшего мальчика телеграмму. Произнося слова: «не роскошь, а средство передвижения», Остап склонился влево и через плечо председателя заглянул в телеграфный бланк. То, что он прочел, поразило его. Он думал, что впереди еще целый день. Его сознание мгновенно зарегистрировало ряд деревень и городов, где «Антилопа» воспользовалась чужими материалами и средствами.

Председатель еще шевелил усами, сясь вникнуть в содержание депеши, а Остап, на полуслове прыгнувший с трибуны, уже продирался сквозь толпу. «Антилопа» зеленела на перекрестке. К счастью, пассажиры сидели на местах и, скучая, дожидались того момента, когда Остап велит перетаскивать в машину дары города. Это обычно бывало после митинга.

Наконец до председателя дошел смысл телеграммы.

Он поднял глаза и увидел убегающего командора.

— Это жулики! — закричал он страдальчески.

Он всю ночь трудился над составлением приветственной речи, и теперь его авторское самолюбие было уязвлено.

— Хватай их, ребята!

Крик председателя достиг ушей антилоповцев. Они нервно засуетились. Козлевич пустил мотор и одним махом взлетел на свое сиденье. Машина прыгнула вперед, не дожидаясь Остапа. Впопыхах антилоповцы даже не сообразили, что оставляют своего командора в опасности.

— Стой! — кричал Остап, делая гигантские прыжки. — Догоню — всех уволю!

— Стой! — кричал председатель.

— Стой, дурак! — кричал Балаганов Козлевичу. — Не видишь, шефа потеряли!

Адам Казимирович нажал педали. «Антилопа» заскрежетала и остановилась. Командор кувыркнулся в машину с отчаянным криком: «Полный ход!» Несмотря на разносторонность и хладнокровие своей природы, он терпеть не мог физической расправы. Обезумевший Козлевич перескочил на третью скорость, машина рванулась, и в открывшуюся дверцу выпал Балаганов. Все это произошло в одно мгновение. Пока Козлевич снова тормозил, на Балаганова уже пала тень набегающей толпы. Уже протягивались к нему

здоровеннейшие ручищи, когда задним ходом подобралась к нему «Антилопа» и железная рука командора ухватила его за ковбойскую рубаху.

— Самый полный! — завопил Остап.

И тут жители Лучанска впервые поняли преимущество механического транспорта перед гужевым. Машина забренчала всеми своими частями и быстро унеслась, увозя от справедливого наказания четырех правонарушителей.

Первый километр жулики тяжело дышали. Дороживший своей красотой Балаганов рассматривал в карманное зеркальце малиновые царапины на лице, полученные при падении. Паниковский дрожал в своем костюме пожарного. Он боялся мести командора. И она пришла немедленно.

— Это вы погнали машину, прежде чем я успел сесть? — спросил командор грозно.

— Ей-богу... — начал Паниковский.

— Нет, нет, не отпирайтесь! Это ваши штуки. Значит, вы еще и трус к тому же? Я попал в одну компанию с вором и трусом? Хорошо! Я вас разжалую. До сих пор вы в моих глазах были брандмейстером. Отныне — вы простой топорник.

И Остап торжественно содрал с красных петличек Паниковского золотые насосы.

После этой процедуры Остап познакомил своих спутников с содержанием телеграммы.

— Дело плохо. В телеграмме предлагается задержать зеленую машину, идущую впереди автопробега. Надо сейчас же свернуть куда-нибудь в сторону. Хватит с нас триумфов, пальмовых ветвей и бесплатных обедов на постном масле. Идея себя изжила. Свернуть мы можем только на Гряжское шоссе. Но до него еще часа три пути. Я уверен, что горячая встреча готовится во всех ближайших населенных пунктах. Проклятый телеграф всюду понапихал свои столбы с проволоками.

Командор не ошибся.

Дальше на пути лежал городок, названия которого антилоповцы так никогда и не узнали, но хотели бы узнать, чтобы помянуть его при случае недобрим словом. У самого же входа в город дорога была преграждена тяжелым бревном. «Антилопа» повернула и, как слепой щенок, стала тыкаться в стороны в поисках обходной дороги. Но ее не было.

— Пошли назад! — сказал Остап, ставший очень серьезным.

И тут жулики услышали очень далекое комариное пенье моторов. Как видно, шли машины настоящего автопробега. Назад двигаться было нельзя, и антилоповцы снова кинулись вперед.

Козлевич нахмурился и быстрым ходом подвел машину к самому бревну. Граждане, стоявшие вокруг, испуганно отхлынули в разные стороны, ожидая



катастрофы. Но Козлевич неожиданно уменьшил ход и медленно перевалил через препятствие. Когда «Антилопа» проезжала город, прохожие сварливо ругали седоков, но Остап даже не отвечал.

К Гряжскому шоссе «Антилопа» подошла под все усиливающийся рокот невидимых покуда автомобилей. Едва успели свернуть с проклятой магистрали и в наступившей темноте убрать машину за пригорок, как раздалась взрывы и пальба моторов, и в столбах света показалась головная машина. Жулики притаились в траве у самой дороги и, внезапно потеряв обычную наглость, молча смотрели на проходящую колонну.

Полотнища ослепительного света полоскались на дороге. Машины мягко скрипели, пробегая мимо поверженных антилоповцев. Прах летел из-под колес. Протяжно завывали клаксоны. Ветер метался во все стороны. В минуту все исчезло, и только долго колебался и прыгал в темноте рубиновый фонарик последней машины.

Настоящая жизнь пролетела мимо, радостно трубя и сверкая лаковыми крыльями.

Искателям приключений остался только бензиновый хвост. И долго еще сидели они в траве, чихая и отряхиваясь.

— Да, — сказал Остап, — теперь я и сам вижу, что автомобиль не роскошь, а средство передвижения. Вам не завидно, Балаганов? Мне завидно.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Кризис жанра

В четвертом часу затравленная «Антилопа» остановилась над обрывом. Внизу на тарелочке лежал незнакомый город. Он был нарезан аккуратно, как торт. Разноцветные утренние пары носились над ним. Еле уловимый треск и легчайшее посвистывание почудилось спешившимся антилоповцам. Очевидно, это храпели граждане. Зубчатый лес подходил к городу. Дорога петлями падала с обрыва.

— Райская долина, — сказал Остап. — Такие города приятно грабить рано утром, когда еще не печет солнце. Меньше устаешь.

— Сейчас как раз раннее утро, — заметил Паниковский, льстиво заглядывая в глаза командора.

— Молчать, золотая рота!¹ — закричал Остап. — Вот неугомонный старик! Шуток не понимает.

— Что делать с «Антилопой»? — спросил Козлевич.

— Да, — сказал Остап, — в город на этой зеленой лоханке теперь не

¹ Первоначально это было неофициальное название Роты дворцовых гренадер, впоследствии это выражение приобрело переносный и бранный смысл и стало обозначать представителей городских низов и преступного мира.



въедешь. Арестуют. Придется встать на путь наиболее передовых стран. В Рио-де-Жанейро, например, краденые автомобили перекрашивают в другой цвет. Делается это из чисто гуманных побуждений — дабы прежний хозяин не огорчился, видя, что на его машине разъезжает посторонний человек. «Антилопа» снискала себе кислую славу, ее нужно перекрасить.

Решено было войти в город пешком порядком и достать красок, а для машины подыскать надежное убежище за городской чертой.

Остап быстро пошел по дороге вдоль обрыва и вскоре увидел косо́й бревенчатый домик, маленькие окошечки которого поблескивали речною синевой. Позади домика стоял сарай, показавшийся подходящим для сокрытия «Антилопы».

Пока великий комбинатор размышлял о том, под каким предлогом удобнее всего проникнуть в домик и сдружиться с его обитателями, дверь открылась и на крыльцо выбежал почтенный господин в солдатских подштанниках с черными жестяными пуговицами. На бледных парафиновых щеках его помещались приличные седые бакенбарды. Подобная физиономия в конце прошлого века была бы заурядной. В то время большинство мужчин выращивало на лице такие вот казенные, верноподданные волосяные приборы. Но сейчас, когда под бакенбардами не было ни синего вицмундира, ни штатского ордена с муаровой ленточкой, ни петлиц с золотыми звездами тайного советника — это лицо казалось ненатуральным.

— О господи, — зашамкал обитатель бревенчатого домика, протягивая руки к восходящему солнцу. — Боже, боже! Все те же сны! Те же самые сны!

Произнеся эту жалобу, старик заплакал и, шаркая ногами, побежал по тропинке вокруг дома. Обыкновенный петух, собиравшийся в эту минуту пропеть в третий раз, вышедший для этой цели на середину двора, кинулся прочь; сгоряча он сделал несколько поспешных шагов и даже уронил перо, но вскоре опомнился, вылез на плетень и уже с этой безопасной позиции сообщил миру о наступлении утра. Однако в голосе его чувствовалось волнение, вызванное недостойным поведением хозяина домика.

— Снятся, проклятые, — донесся до Остапа голос старика.

Бендер удивленно разглядывал странного человека с бакенбардами, которые можно найти теперь разве только на министерском лице швейцара консерватории.

«Что это за рак-отшельник?» — подумал Остап.

Между тем необыкновенный господин завершил свой круг и снова появился у крыльца. Здесь он помедлил и со словами: «Пойду, попробую еще раз» — скрылся за дверь.

— Люблю стариков, — прошептал Остап, — с ними никогда не соскучишься. Придется подождать результатов таинственной пробы. Ждать Остапу пришлось недолго. Вскоре из домика послышался плачевный вой, и, пятясь задом, как Борис Годунов в последнем акте оперы Мусоргского, на крыльцо вывалился старик.

— Чур меня, чур! — воскликнул он с шаляпинскими интонациями в голосе. — Все тот же сон! А-а-а!

Он повернулся и, спотыкаясь о собственные ноги, пошел прямо на Остапа. Решив, что пришло время действовать, великий комбинатор выступил из-за дерева и подхватил бакенбардиста в свои могучие объятия.

— Что? Кто? Что такое? — закричал беспокойный старик. — Что?

Остап осторожно разжал объятия, схватил старика за руку и сердечно ее потряс.

— Я вам сочувствую! — воскликнул он.

— Правда? — спросил хозяин домика, прикивая к плечу Бендера.

— Конечно, правда, — ответил Остап. — Мне самому часто снятся сны.

— А что вам снится?

— Разное.

— А какое все-таки? — настаивал старик.

— Ну, разное. Смесь. То, что в газете называют «Отовсюду обо всем» или «Мировой экран». Позавчера мне, например, снились похороны микадо, а вчера — юбилей Суццевской пожарной части.

— Боже! — произнес старик. — Боже! Какой вы счастливый человек.

Какой счастливый! Скажите, а вам никогда не снился какой-нибудь генерал-губернатор или... даже министр?

Бендер не стал упрячиться.

— Снился, — весело сказал он. — Как же. Генерал-губернатор. В прошлую пятницу. Всю ночь снился. И, помнится, рядом с ним еще полицмейстер стоял в узорных шальварах.

— Ах, как хорошо, — сказал старик. — А не снился ли вам приезд государя-императора в город Кострому?

— В Кострому? Было такое сновиденье. Позвольте, когда же это?.. Ну да, третьего февраля сего года. Государь-император, а рядом с ним, помнится, еще граф Фредерикс стоял, такой, знаете, министр двора.

— Ах ты господи! — заволновался старик. — Что ж это мы здесь стоим? Милости просим ко мне. Простите, вы не социалист? Не партиец?

— Ну, что вы! — добродушно сказал Остап. — Какой же я партиец? Я беспартийный монархист. Слуга царю, отец солдатам. В общем, взвейтесь, соколы, орлами, полно горе горевать...

— Чайку, чайку не угодно ли? — бормотал старик, подталкивая Бендера к двери.

В домике оказалась одна комната с сенями. На стенах висели портреты господ в форменных сюртуках. Судя по петлицам, господа эти служили в свое время по министерству народного просвещения. Постель имела беспорядочный вид и свидетельствовала о том, что хозяин проводил на ней самые беспоконные часы своей жизни.

— И давно вы живете таким анахоретом?¹ — спросил Остап.

— С весны, — ответил старик. — Моя фамилия Хворобьев. Здесь, думал я, начнется новая жизнь. А ведь что вышло? Вы только поймите...

Федор Никитич Хворобьев был монархистом и ненавидел советскую власть. Эта власть была ему противна. Он, когда-то попечитель учебного округа, принужден был служить заведующим методологическо-педагогическим сектором местного Пролеткульта². Это вызывало в нем отвращение.

До самого конца своей службы он не знал, как расшифровать слово «Пролеткульт», и от этого презирал его еще больше. Дрожь омерзения вызывали в нем одним своим видом члены месткома, сослуживцы и посетители методологическо-педагогического сектора. Он возненавидел слово «сектор». О, этот сектор! Никогда Федор Никитич, ценивший все изящное, а

¹ Анахорет (греч.) — удалившийся от мира, отшельник. Так называется человек, который уединенно живет в пустынной местности, по возможности чуждается всякого общения с другими людьми и ведет аскетичный образ жизни.

² Пролеткульт (сокр. от Пролетарские культурно-просветительные организации) — массовая культурно-просветительская и литературно-художественная организация пролетарской самодеятельности при Наркомате просвещения, существовавшая с февраля 1917 по 1932 год.

в том числе и геометрию, не предполагал, что это прекрасное математическое понятие, обозначающее часть площади криволинейной фигуры, будет так опошлено.

На службе Хворобьева бесило многое: заседания, стенгазеты, займы. Но и дома он не находил успокоения своей гордой душе. Дома тоже были стенгазеты, займы, заседания. Знакомые говорили исключительно о хамских, по мнению Хворобьева, вещах: о жалованье, которое они называли зарплатой, о месячнике помощи детям и о социальной значимости пьесы «Бронепоезд».

Никуда нельзя было уйти от советского строя. Когда огорченный Хворобьев одиноко прогуливался по улицам города, то и здесь из толпы гуляющих вылетали постылые фразы:

— ... Тогда мы постановили вывести его из состава правления...

— ... А я так и сказал: на ваше РКК примкамера есть, примкамера!¹

И, тоскливо поглядывая на плакаты, призывающие граждан выполнить пятилетку в четыре года, Хворобьев с раздражением повторял:

— Вывести! Из состава! Примкамера! В четыре года! Хамская власть!

Когда методологическо-педагогический сектор перешел на непрерывную неделю и вместо чистого воскресенья днями отдыха Хворобьева стали какие-то фиолетовые пятые числа², он с отвращением исхлопотал себе пенсию и поселился далеко за городом. Он поступил так для того, чтобы уйти от новой власти, которая завладела его жизнью и лишила покоя.

По целым дням просиживал монархист-одиночка над обрывом и, глядя на город, старался думать о приятном: о молебнах по случаю тезоименитства³ какой-нибудь высочайшей особы, о гимназических экзаменах и о родственниках, служивших по министерству народного просвещения. Но, к удивлению, мысли его сейчас же перескакивали на советское, неприятное.

«Что-то теперь делается в этом проклятом Пролеткульте?» — думал он.

¹ РКК — Расценочно-конфликтная комиссия, создававшаяся на предприятиях с целью решения производственных конфликтов. Половина ее состояла из рабочих предприятия, а вторая — из представителей администрации, парткома и месткома.

Примкамера — «примирительная камера» при Наркомтруде, выносила окончательный вердикт в споре, если РКК так и не смогла убедить конфликтующие стороны.

² Неделя в СССР в 1929–1930 годах состояла из пяти дней, при этом все рабочие были разделены на пять групп, названных по цветам (желтый, розовый, красный, зеленый, фиолетовый), и каждая группа имела свой собственный выходной (нерабочий) день в неделю (так называемая «непрерывка»). Несмотря на то, что выходных дней стало больше (один в пятидневку вместо одного в семидневку ранее), эта реформа была непопулярна, так как значительно усложняла личную, общественную и семейную жизнь из-за несовпадения выходных дней разных членов общества.

³ Тезоименитство — день именин члена царской семьи, иной высокопоставленной особы. Это слово и сегодня употребляется применительно к именинам православных патриархов.

После Пролеткульта вспоминались ему совершенно уже возмутительные эпизоды: демонстрации Первомайские и Октябрьские, клубные семейные вечера с лекциями и пивом, полугодовая смета методологического сектора.

«Все отняла у меня советская власть, — думал бывший попечитель учебного округа, — чины, ордена, почет и деньги в банке. Она подменила даже мои мысли. Но есть такая сфера, куда большевикам не проникнуть, — это сны, ниспосланные человеку богом. Ночь принесет мне успокоение. В своих снах я увижу то, что мне будет приятно увидеть».

В первую же после этого ночь бог прислал Федору Никитичу ужасный сон. Снилось ему, что он сидит в учрежденском коридоре, освещенном керосиновой лампочкой. Сидит и знает, что его с минуты на минуту должны вывести из состава правления. Внезапно открывается железная дверь, и оттуда выбегают служащие с криком: «Хворобьева нужно нагрузить». Он хочет бежать, но не может.

Федор Никитич проснулся среди ночи. Он помолился богу, указав ему, что, как видно, произошла досадная неувязка, и сон, предназначенный для ответственного, быть может, даже партийного товарища, попал не по адресу. Ему, Хворобьеву, хотелось бы увидеть для начала царский выход из Успенского собора.

Успокоенный, он снова заснул, но вместо лица обожаемого монарха тотчас же увидел председателя месткома, товарища Суржикова.

И уже каждую ночь Федора Никитича с непостижимой методичностью посещали одни и те же выдержанные советские сны. Представлялись ему: членские взносы, стенгазеты, совхоз «Гигант», торжественное открытие первой фабрики-кухни, председатель общества друзей кремации и большие советские перелеты.

Монархист ревел во сне. Ему не хотелось видеть друзей кремации. Ему хотелось увидеть крайнего правого депутата Государственной думы Пуришкевича, патриарха Тихона, ялтинского градоначальника Думбадзе или хотя бы какого-нибудь простенького инспектора народных училищ. Но ничего этого не было. Советский строй ворвался даже в сны монархиста.

— Все те же сны! — заключил Хворобьев плачущим голосом. — Проклятые сны!

— Ваше дело плохо, — сочувственно сказал Остап, — как говорится, бытие определяет сознание. Раз вы живете в советской стране, то и сны у вас должны быть советские.

— Ни минуты отдыха, — жаловался Хворобьев. — Хоть что-нибудь. Я уже на все согласен. Пусть не Пуришкевич. Пусть хоть Милюков¹. Все-

¹ Пуришкевич — депутат Государственной Думы, монархист, черносотенец. Милюков — депутат Государственной Думы, лидер партии кадетов, идеолог российского либерализма.

таки человек с высшим образованием и монархист в душе. Так нет же! Все эти советские антихристы.

— Я вам помогу, — сказал Остап. — Мне приходилось лечить друзей и знакомых по Фрейду. Сон — это пустяки. Главное — это устранить причину сна. Основной причиной является самое существование советской власти. Но в данный момент я устранить ее не могу. У меня просто нет времени. Я, видите ли, турист-спортсмен, сейчас мне надо произвести небольшую починку своего автомобиля, так что разрешите закатить его к вам в сарай. А насчет причины вы не беспокойтесь. Я ее устраню на обратном пути. Дайте только пробег окончить.

Одуревший от тяжелых снов монархист охотно разрешил милому и отзывчивому молодому человеку воспользоваться сараем. Он набросил поверх сорочки пальто, надел на босу ногу калоши и вышел вслед за Бендером во двор.

— Так, значит, можно надеяться? — спрашивал он, семена за своим ранним гостем.

— Не сомневайтесь, — небрежно отвечал командор, — как только советской власти не станет, вам сразу станет как-то легче. Вот увидите!

Через полчаса «Антилопа» была спрятана у Хворобьева и оставлена под надзором Козлевича и Паниковского. Бендер в сопровождении Балаганова отправился в город за красками.

Молочные братья шли навстречу солнцу, пробираясь к центру города. На карнизах домов прогуливались серые голуби. Спрыснутые водой деревянные тротуары были чисты и прохладны.

Человеку с неотягченной совестью приятно в такое утро выйти из дому, помедлить минуту у ворот, вынуть из кармана коробочку спичек, на которой изображен самолет с кукишем вместо пропеллера и подписью «Ответ Керзону», полюбоваться на свежую пачку папирос и закурить, спугнув кадильным дымом пчелу с золотыми позументами на брюшке.

Бендер и Балаганов подпали под влияние утра, опрятных улиц и бессребреников-голубей. На время им показалось, что совесть их ничем не отягчена, что все их любят, что они женихи, идущие на свидание с невестами в маркизовых платьях¹.

Внезапно дорогу братьям преградил человек со складным мольбертом и полированным ящиком для красок в руках. Он имел настолько взбудораженный вид, словно бы только что выскочил из горящего здания, успев спасти из огня лишь мольберт и ящик.

— Простите, — звонко сказал он, — тут только что должен был пройти товарищ Плотский-Поцелуев. Вы его не встретили? Он здесь не проходил?

¹ *Маркизет* — тонкая прозрачная ткань из лучшей, с кручеными нитями, пряжи.

— Мы таких никогда не встречаем, — грубо сказал Балаганов. Художник толкнул Бендера в грудь, сказал «пардон» и устремился дальше.

— Плотский-Поцелуев? — ворчал великий комбинатор, который еще не завтракал. — У меня самого была знакомая акушерка по фамилии Медуза-Горгонер, и я не делал из этого шума, не бегал по улицам с криками: «Не видали ли вы часом гражданки Медузы-Горгонер? Она, дескать, здесь прогуливалась». Подумаешь! Плотский-Поцелуев!

Не успел Бендер закончить своей тирады, как прямо на него выскочили два человека с черными мольбертами и полированными этюдниками. Это были совершенно различные люди. Один из них, как видно, держался того взгляда, что художник обязательно должен быть волосатым, и по количеству растительности на лице был прямым заместителем Генриха Наваррского в СССР. Усы, кудри и борода очень оживляли его плоское лицо. Другой был просто лыс, и голова у него была скользкая и гладкая, как стеклянный абажур.

— Товарища Плотского... — сказал заместитель Генриха Наваррского, задыхаясь.

— Поцелуева, — добавил абажур.

— Не видели? — прокричал Наваррский.

— Он здесь должен прогуливаться, — объяснил абажур.

Бендер отстранил Балаганова, который раскрыл было рот для произнесения ругательства, и с оскорбительной вежливостью сказал:

— Товарища Плотского, урожденного Поцелуева, мы не видели, но если указанный товарищ вас действительно интересует, то поспешите. Его ищет какой-то трудящийся, по виду художник-пушкарь.

Сцепляясь мольбертами и пихая друг друга, художники побежали дальше. В это время из-за угла вынесся извозчий экипаж. В нем сидел толстяк, у которого под складками синей толстовки угадывалось потное брюхо. Общий вид пассажира вызывал в памяти старинную рекламу патентованной мази, начиняющуюся словами: «Вид голого тела, покрытого волосами, производит отталкивающее впечатление». Разобраться в профессии толстяка было нетрудно. Он придерживал рукою большой стационарный мольберт. В ногах у извозчика лежал полированный ящик, в котором, несомненно, помещались краски.

— Алло! — крикнул Остап. — Вы ищете Плотского-Поцелуева?

— Так точно, — подтвердил жирный художник, жалобно глядя на Остапа.

— Торопитесь! Торопитесь! Торопитесь! — закричал Остап. — Вас обошли уже три художника. В чем тут дело? Что случилось?

Но лошадь, гремя подковами по диким булыжникам, уже унесла четвертого представителя изобразительных искусств.

— Какой культурный город! — сказал Остап. — Вы, вероятно, заметили, Балаганов, что из четырех встреченных нами граждан четверо оказались художниками. Любопытно.

Когда молочные братья остановились перед москательной лавкой¹, Балаганов шепнул Остапу:

— Вам не стыдно?

— Чего? — спросил Остап.

— Того, что вы собираетесь платить за краску живыми деньгами?

— Ах, вы об этом, — сказал Остап. — Признаюсь, немного стыдно. Глупое положение, конечно. Но что ж делать? Не бежать же в исполком и просить там красок на проведение «Дня жаворонка»². Они-то дадут, но ведь мы потеряем целый день.

Сухие краски в банках, стеклянных цилиндрах, мешках, бочонках и прорванных бумажных пакетах имели заманчивые цирковые цвета и придавали москательной лавке праздничный вид.

Командор и борт-механик придиричиво стали выбирать краски.

— Черный цвет — слишком траурно, — говорил Остап. — Зеленый тоже не подходит: это цвет рухнувшей надежды. Лиловый — нет. Пусть в лиловой машине разъезжает начальник угрозыска. Розовый — пошло, голубой — банально, красный — слишком верноподданно. Придется выкрасить «Антилопу» в желтый цвет. Будет ярковато, но красиво.

— А вы кто будете? Художники? — спросил продавец, подбородок которого был слегка запорошен киноварью.

— Художники, — ответил Бендер, — баталисты и маринисты.

— Тогда вам не сюда нужно, — сказал продавец, снимая с прилавка пакеты и банки.

— Как не сюда! — воскликнул Остап. — А куда же?

— Напротив.

Приказчик подвел друзей к двери и показал рукой на вывеску через дорогу. Там была изображена коричневая лошадиная голова и черными буквами по голубому фону выведено: «Овес и сено».

— Все правильно, — сказал Остап, — твердые и мягкие корма для скота. Но при чем же тут наш брат — художник? Не вижу никакой связи.

Однако связь оказалась, и очень существенная. Остап ее обнаружил уже в самом начале объяснения приказчика.

¹ *Москательная лавка* (устар.) — лавка, торгующая химическими веществами (краски, клей, масла и т. п.).

² *Жаворонки* — день народного календаря у славян, приходящийся на 9 марта. Согласно народному календарю, в этот день зима кончается — весна начинается, день с ночью меряется-равняется. Жаворонками называлось и печенье в виде птиц, выпекавшееся к празднику.





Город всегда любил живопись, и четыре художника, издавна здесь обитавшие, основали группу «Диалектический станковист». Они писали портреты ответственных работников и сбывали их в местный музей живописи. С течением времени число незарисованных ответработников сильно уменьшилось, что заметно снизило заработки диалектических станковистов. Но это было еще терпимо. Годы страданий начались с тех пор,

когда в город приехал новый художник Феофан Мармеладов.

Первая его работа вызвала в городе большой шум. Это был портрет заведующего гостиничным трестом. Феофан Мармеладов оставил станковистов далеко позади. Заведующий гостиничным трестом был изображен не масляными красками, не акварелью, не углем, не темперой, не пастелью, не гуашью и не свинцовым карандашом. Он был сработан из овса. И когда художник Мармеладов перевозил на извозчике картину в музей, лошадь беспокойно оглядывалась и ржала.

С течением времени Мармеладов стал употреблять также и другие злаки.

Имели громовой успех портреты из проса, пшеницы и мака, смелые наброски кукурузой и ядрицей, пейзажи из риса и натюрморты из пшена¹. Сейчас он работал над групповым портретом. Большое полотно изображало заседание окрплана². Эту картину Феофан готовил из фасоли и гороха. Но в глубине души он оставался верен овсу, который сделал ему карьеру и сбил с позиций диалектических станковистов.

— Овсом оно, конечно, способнее, — воскликнул Остап. — А Рубенсо с Рафаэлем дураки — маслом старались. Мы тоже дураки, вроде Леонардо да Винчи. Дайте нам желтой эмалевой краски.

Расплачиваясь с разговорчивым продавцом, Остап спросил:

¹ Модным веянием в 20-х годах прошлого века на Украине, а в особенности в Одессе (прообразе Черноморска), стала флоромозаика — создание картин и образов из растений, их частей и других естественных материалов, закрепленных на полотне специальным клеем.

² Окрплан — окружная плановая комиссия.

— Да, кстати, кто такой Плотский-Поцелуев? А то мы, знаете, не здешние, не в курсе дела.

— Товарищ Поцелуев — известный работник центра, наш горожанин. Теперь из Москвы в отпуск приехал.

— Все понятно, — сказал Остап. — Спасибо за информацию. До свидания!

На улице молочные братья завидели диалектических станковистов. Все четверо, с лицами грустными и томными, как у цыган, стояли на перекрестке. Рядом с ними торчали мольберты, составленные в ружейную пирамиду.

— Что, служивые, плохо? — спросил Остап. — Упустили Плотского-Поцелуева?

— Упустили, — застонали художники. — Из рук ушел.

— Феофан перехватил? — спросил Остап, обнаруживая хорошее знакомство с предметом.

— Уже пишет, халтурщик, — ответил заместитель Генриха Наваррского. — Овсом. К старой манере, говорит, перехожу. Жалуется, лабазник, на кризис жанра.

— А где ателье этого деляги? — любопытствовал Остап. — Хочется бросить взгляд.

Художники, у которых было много свободного времени, охотно повели Остапа и Балаганова к Феофану Мармеладову. Феофан работал у себя в садике, на открытом воздухе. Перед ним на табуретке сидел товарищ Плотский-Поцелуев, человек, видимо, робкий. Он не дыша смотрел на художника, который, как сеятель на трехчервонной бумажке, захватывал горстями овес из лукошка и бросал его по холсту. Мармеладов хмурился. Ему мешали воробьи. Они дерзко подлетали к картине и выклевывали из нее отдельные детали.

— Сколько вы получите за эту картину? — застенчиво спросил Поцелуев.

Феофан приостановил сев, критически посмотрел на свое произведение и задумчиво ответил:

— Что ж! Рублей двести пятьдесят музей за нее даст.

— Однако дорого.

— А овес-то нынче, — сказал Мармеладов певуче, — не укупишь. Он дорог, овес-то!

— Ну, как яровой клин? — спросил Остап, просовывая голову сквозь решетку садика. — Посевкампания, я вижу, проходит удачно. На сто процентов! Но все это чепуха по сравнению с тем, что я видел в Москве. Там один художник сделал картину из волос. Большую картину со многими фигурами, заметьте, идеологически выдержанную, хотя художник и пользовался волосами беспартийных, — был такой грех. Но идеологически, по-

вторюю, картина была замечательно выдержана. Называлась она «Дед Пахом и трактор в ночном». Это была такая строптивая картина, что с ней просто не знали, что делать. Иногда волосы на ней вставали дыбом. А в один прекрасный день она совершенно поседела, и от деда Пахома с его трактором не осталось и следа. Но художник успел отхватить за выдумку тысячи полторы. Так что вы не очень ободряйтесь, товарищ Мармеладов! Овес вдруг прорастет, ваши картины заколосятся, и вам уже больше никогда не придется снимать урожай.

Диалектические станковисты сочувственно захохотали. Но Феофан не смутился.

— Это звучит парадоксом, — заметил он, возобновляя посевные манипуляции.

— Ладно, — сообщил Остап, прощаясь, — сейте разумное, доброе, вечное, а там посмотрим! Прощайте и вы, служивые. Бросьте свои масляные краски. Переходите на мозаику из гаек, костылей и винтиков. Портрет из гаек! Замечательная идея!

Весь день антилоповцы красили свою машину. К вечеру она стала неузнаваемой и блистала всеми оттенками яичного желтка.

На рассвете следующего дня преображенная «Антилопа» покинула гостеприимный сарай и взяла курс на юг.

— Жалко, что не удалось попрощаться с хозяином. Но он так сладко спал, что его не хотелось будить. Может, ему сейчас наконец снится сон, которого он так долго ожидал: митрополит Двулогий благословляет чинов министерства народного просвещения в день трехсотлетия дома Романовых.

И в ту же минуту сзади, из бревенчатого домика, послышался знакомый уже Остапу плачевный рев.

— Все тот же сон! — вопил старый Хворобьев. — Боже, боже!

— Я ошибся, — заметил Остап. — Ему, должно быть, приснился не митрополит Двулогий, а широкий пленум литературной группы «Кузница и усадьба». Однако черт с ним! Дела призывают нас в Черноморск.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Снова кризис жанра

Чем только не занимаются люди!

Параллельно большому миру, в котором живут большие люди и большие вещи, существует маленький мир с маленькими людьми и маленькими вещами. В большом мире изобретен дизельмотор, написаны «Мертвые души», построена Днепровская гидростанция и совершен перелет вокруг света. В маленьком мире изобретен кричащий пузырь «уйди-уйди», написана песенка

«Кирпичики» и построены брюки фасона «полпред». В большом мире людьми двигает стремление облагодетельствовать человечество. Маленький мир далек от таких высоких материй. У его обитателей стремление одно — как-нибудь прожить, не испытывая чувства голода.

Маленькие люди торопятся за большими. Они понимают, что должны быть созвучны эпохе, и только тогда их товару может найти сбыт. В советское время, когда в большом мире созданы идеологические твердыни, в маленьком мире замечается оживление. Под все мелкие изобретения муравьиного мира подводится гранитная база коммунистической идеологии. На пузырье «уйди-уйди» изображается Чемберлен, очень похожий на того, каким его рисуют в «Известиях». В популярной песенке умный слесарь, чтобы добиться любви комсомолки, в три рефрена выполняет и даже перевыполняет промфинплан. И пока в большом мире идет яростная дискуссия об оформлении нового быта, в маленьком мире уже все готово: есть галстук «Мечта ударника», толстовка-гладковка, гипсовая статуэтка «Купающаяся колхозница» и дамские пробковые подмышники «Любовь пчел трудовых».

В области ребусов, шарад, шарадоидов, логогрифов и загадочных картинок пошли новые веяния. Работа по старинке вышла из моды. Секретари газетных и журнальных отделов «В часы досуга» или «Шевели мозговой извилиной» решительно перестали брать товар без идеологии. И пока великая страна шумела, пока строились тракторные заводы и создавались грандиозные зерновые фабрики, старик Синецкий, ребусник по профессии, сидел в своей комнате и, устремив остекленевшие глаза в потолок, сочинял шараду на модное слово «индустриализация».

У Синецкого была наружность гнома. Таких гномов обычно изображали маляры на вывесках зонтичных магазинов. Вывесочные гномы стоят в красных колпаках и дружелюбно подмигивают прохожим, как бы приглашая их поскорее купить шелковый зонтик или трость с серебряным набалдашником в виде собачьей головы. Длинная желтоватая борода Синецкого опускалась прямо под стол, в корзину для бумаг.

— Индустриализация, — горестно шептал он, шевеля бледными, как сырые котлеты, старческими губами.

И он привычно разделил это слово на шарадные части:

— Индус. Три. Али. За.

Все было прекрасно. Синецкий уже представлял себе пышную шараду, значительную по содержанию, легкую в чтении и трудную для отгадки. Сомнение вызывала последняя часть — «ция».

— Что же это за «ция» такая? — напрягся старик. — Вот если бы «акция»! Тогда отлично вышло бы: индустриализация.

Промучившись полчаса и не выдумав, как поступить с капризным окончанием, Синецкий решил, что конец придет сам собой, и приступил к работе.

Он начал писать свою поэму на листе, вырванном из бухгалтерской книги с надписью «дебет».

Сквозь белую стеклянную дверь балкона видны были цветущие акации, латаные крыши домов и резкая синяя черта морского горизонта. Черноморский полдень заливал город кисельным зноем.

Старик подумал и нанес на бумагу начальные строки:

Мой первый слог сидит в чалме,
Он на Востоке быть обязан.

— Он на Востоке быть обязан, — с удовольствием произнес старик.

Ему понравилось то, что он сочинил, трудно было только найти рифмы к словам «обязан» и «чалме». Ребусник походил по комнате и потрогал руками бороду. Вдруг его осенило:

Второй же слог известен мне,
Он с цифрою как будто связан.

С «Али» и «За» тоже удалось легко справиться:

В чалме сидит и третий слог,
Живет он тоже на Востоке.
Четвертый слог поможет бог
Узнать, что это есть предлог.

Утомленный последним усилием, Синицкий отвалился на спинку стула и закрыл глаза. Ему было уже семьдесят лет. Пятьдесят из них он сочинял ребусы, шарады, загадочные картинки и шарадоиды. Но никогда еще почтенному ребуснику не было так трудно работать, как сейчас. Он отстал от жизни, был политически неграмотен, и молодые конкуренты легко его побивали. Они приносили в редакции задачи с такой прекрасной идеологической установкой, что старик, читая их, плакал от зависти. Куда ему было угнаться за такой, например, задачей:

ЗАДАЧА-АРИФМОМОИД

На трех станциях: Воробьево, Грачево и Дроздово было по равному количеству служащих. На станции Дроздово было комсомольцев в шесть раз меньше, чем на двух других вместе взятых, а на станции Воробьево партийцев было на 12 человек больше, чем на станции Грачево. Но на этой последней беспартийных было на 6 человек больше, чем на первых двух. Сколько служащих было на каждой станции и какова там была партийная и комсомольская прослойка?

Очнувшись от своих горестных мыслей, старик снова взялся за листок с надписью «дебет», но в это время в комнату вошла девушка с мокрыми стриженными волосами и черным купальным костюмом на плече.

Она молча пошла на балкон, развесила на облупленных перилах сырой костюм и глянула вниз. Девушка увидела бедный двор, который видела уже много лет, — нищенский двор, где валялись разбитые ящики, бродили перепачканные углем коты и жестящик с громом чинил ведро. В нижнем этаже домашние хозяйки разговаривали о своей тяжелой жизни.

И разговоры эти девушка слышала не в первый раз, и котов она знала по имени, и жестящик, как ей показалось, чинил это самое ведро уже много лет подряд. Зося Синицкая вернулась в комнату.

— Идеология заела, — услышала она бормотание деда, — а какая в ребусном деле может быть идеология? Ребусное дело...

Зося заглянула в старческие каракули и сейчас же крикнула:

— Что ты тут написал? Что это такое? «Четвертый слог поможет бог узнать, что это есть предлог». Почему бог? Ведь ты сам говорил, что в редакции теперь не принимают шарад с церковными выражениями.

Синицкий ахнул. Крича: «Где бог, где? Там нет бога», он дрожащими руками втащил на нос очки в белой оправе и ухватился за листок.

— Есть бог, — промолвил он печально. — Оказался... Опять маху дал. Ах, жалко! И рифма пропадает хорошая.

— А ты вместо «бог» поставь «рок», — сказала Зося.

Но испуганный Синицкий отказался от «рока».

— Это тоже мистика. Я знаю. Ах, маху дал! Что же это будет, Зосенька?

Зося равнодушно посмотрела на деда и посоветовала сочинить новую шараду.

— Все равно, — сказала она, — слово с окончанием «ция» у тебя не выходит. Помнишь, как ты мучился со словом «теплофикация»?

— Как же, — оживился старик, — я еще третьим слогом поставил «кац» и написал так: «А третий слог, досуг имея, узнает всяк фамилию еврея». Не взяла эту шараду. Сказали: «Слабо, не подходит». Маху дал!

И старик, усевшись за свой стол, начал разрабатывать большой, идеологически выдержанный ребус. Первым долгом он набросал карандашом гуся, держащего в клюве букву «Г», большую и тяжелую, как виселица. Работа ладилась.

Зося принялась накрывать к обеду. Она переходила от буфета с зеркальными илюминаторами к столу и выгружала посуду. Появились фаянсовая суповая чашка с отбитыми ручками, тарелки с цветочками и без цветочков, пожелтевшие вилки и даже компотница, хотя к обеду никакого компота не предполагалось.

Вообще дела Синицких были плохи. Ребусы и шарady приносили в дом больше волнений, чем денег. С домашними обедами, которые старый ребусник давал знакомым гражданам и которые являлись главной статьей семейного дохода, тоже было плохо. Подвысоцкий и Бомзе уехали в отпуск. Стульян женился на гречанке и стал обедать дома, а Побирухина вычистили из учреждения по второй категории, и он от волнения потерял аппетит и отказался от обедов. Теперь он ходил по городу, останавливал знакомых и произносил одну и ту же полную скрытого сарказма фразу: «Слышали новость? Меня вычистили по второй категории». И некоторые знакомые сочувственно отвечали: «Вот наделали делов эти бандиты Маркс и Энгельс!» А некоторые ничего не отвечали, косили на Побирухина огненным глазом и проносились мимо, тряся портфелями. В конце концов из всех нахлебников остался один, да и тот не платил уже неделю, ссылаясь на задержку жалованья.

Недовольно задвигав плечами, Зося отправилась в кухню, а когда вернулась, за обеденным столом сидел последний столовник — Александр Иванович Корейко.

В обстановке неслужебной Александр Иванович не казался человеком робким и приниженным. Но все же настороженное выражение ни на минуту не сходило с его лица. Сейчас он внимательно разглядывал новый ребус Синицкого. Среди прочих загадочных рисунков был там нарисован куль, из которого сыпались буквы «Т», елка, из-за которой выходило солнце, и воробей, сидящий на нотной строке. Ребус заканчивался перевернутой вверх запятой.

— Этот ребус трудненько будет разгадать, — говорил Синицкий, похаживая вокруг столовника. — Придется вам посидеть над ним!

— Придется, придется, — ответил Корейко с усмешкой, — только вот гусь меня смущает. К чему бы такой гусь? А-а-а! Есть! Готово! «В борьбе обретешь ты право свое»?

— Да, — разочарованно протянул старик, — как это вы так быстро угадали? Способности большие. Сразу видно счетовода первого разряда.

— Второго разряда, — поправил Корейко. — А для чего вы этот ребус приготовили? Для печати?

— Для печати.

— И совершенно напрасно, — сказал Корейко, с любопытством поглядывая на борщ, в котором плавали золотые медали жира. Было в этом борще что-то заслуженное, что-то унтер-офицерское. — «В борьбе обретешь ты право свое» — это эсеровский лозунг. Для печати не годится.

— Ах ты боже мой! — застонал старик. — Царица небесная! Опять маху дал. Слышишь, Зосенька? Маху дал. Что же теперь делать?

Старика успокаивали. Кое-как пообедав, он немедленно поднялся, собрал сочиненные за неделю загадки, надел лошадиную поломанную шляпу и сказал:



— Ну, Зосенька, пойду в «Молодежные ведомости». Немножко беспокоюсь за алгеброид, но, в общем, деньги я там достану.

В комсомольском журнале «Молодежные ведомости» старика часто браковали, корили за отсталость, но все-таки не обижали, и журнал этот был единственным местом, откуда к старику бежал тоненький денежный ручеек. Синецкий захватил с собой шараду, начинающуюся словами: «Мой первый слог на дне морском», два колхозных логогрифа и один алгеброид, в котором, путем очень сложного умножения и деления, доказывалось преимущество советской власти перед всеми другими властями.

Когда ребусник ушел, Александр Иванович мрачно принялся рассматривать Зосю. Александр Иванович столовался у Синецких сначала потому, что обеды там были дешевые и вкусные. К тому же основным правилом он поставил себе ни на минуту не забывать о том, что он мелкий служащий. Он любил поговорить о трудности существования в большом городе на мизерное жалованье. Но с некоторых пор цена и вкус обедов потеряли для него то отвлеченное и показательное значение, которое он им придавал. Если бы от него потребовали и он мог сделать это не таясь, то платил бы за обед не шестьдесят копеек, как он это делал теперь, а три или даже пять тысяч рублей.

Александр Иванович, подвижник, сознательно изнурявший себя финансовыми веригами, запретивший себе прикасаться ко всему, что стоит дороже полтинника, и в то же время раздраженный тем, что из боязни потерять миллионы он не может открыто истратить ста рублей, влюбился со всей решительностью, на которую способен человек сильный, суровый и озлобленный бесконечным ожиданием.

Сегодня наконец он решил объявить Зосе о своих чувствах и предложить свою руку, где бился пульс, маленький и злой, как хорек, и свое сердце, стянутое сказочными обручами¹.

— Да, — сказал он, — такие-то дела, Зося Викторовна.

Сделав это сообщение, гражданин Корейко схватил со стола пепельницу, на которой был написан дореволюционный лозунг: «Муж, не серди свою жену», и стал внимательно в нее вглядываться.

Тут необходимо разъяснить, что нет на свете такой девушки, которая не знала бы по крайней мере за неделю о готовящемся изъятии чувств. Поэтому Зося Викторовна озабоченно вздохнула, остановившись перед зеркалом. У нее был тот спортивный вид, который за последние годы приобрели все красивые девушки. Проверив это обстоятельство, она уселась против Александра Ивановича и приготовилась слушать. Но Александр Иванович ничего не сказал. Он знал только две роли: служащего и подпольного миллионера. Третьей он не знал.

¹ Отсылка к сказке братьев Гримм «Король-лягушонок, или Железный Генрих».

— Вы слышали новость? — спросила Зося. — Побирухина вычистили.

— У нас тоже чистка началась, — ответил Корейко, — многие полетят. Например, Лapidус-младший. Да и Лapidус-старший тоже хорошо...

Здесь Корейко заметил, что идет по тропинке бедного служащего. Свинцовая задумчивость снова овладела им.

— Да, да, — сказал он, — живешь так в одиночестве, не зная наслаждений.

— Чего, чего не зная? — оживилась Зося.

— Не зная женской привязанности, — заметил Корейко спертым голосом.

Не видя никакой поддержки со стороны Зоси, он развил свою мысль.

Он уже стар. То есть не то чтоб стар, но не молод. И даже не то чтоб не молод, а просто время идет, годы проходят. Идут года. И вот это движение времени навевает на него разные мысли. О браке, например. Пусть не думают, что он какой-то такой. Он хороший, в общем. Совершенно безобидный человек. Его надо жалеть. И ему даже кажется, что его можно любить. Он не пижон, как другие, и не любит бросать слова на ветер. Почему бы одной девушке не пойти за него замуж?

Выразив свои чувства в такой несмелой форме, Александр Иванович сердито посмотрел на Зосю.

— А Лapidуса-младшего действительно могут вычистить? — спросила внучка ребусника.

И, не дождавшись ответа, заговорила по существу дела.

Она все отлично понимает. Время действительно идет ужасно быстро. Еще так недавно ей было девятнадцать лет, а сейчас уже двадцать. А еще через год будет двадцать один. Она никогда не думала, что Александр Иванович какой-то такой. Напротив, она всегда была уверена, что он хороший. Лучше многих. И, конечно, достоин всего. Но у нее именно сейчас какие-то искания, какие — она еще и сама не знает. В общем, она в данный момент выйти замуж не может. Да и какая жизнь у них может выйти? У нее искания. А у него, если говорить честно и откровенно, всего лишь сорок шесть рублей в месяц. И потом она его еще не любит, что, вообще говоря, очень важно.

— Какие там сорок шесть рублей! — страшным голосом сказал вдруг Александр Иванович, подымаясь во весь рост. — У меня... мне...

Больше он ничего не сказал. Он испугался. Начинаясь роль миллионера, и это могло бы кончиться только гибелью. Страх его был так велик, что он начал даже бормотать что-то о том, что не в деньгах счастье. Но в это время

за дверью послышалось чье-то сопенье. Зося выбежала в коридор. Там стоял дед в своей большой шляпе, сверкающей соломенными кристаллами. Он не решался войти. От горя борода его разошлась, как веник.

— Почему так скоро? — крикнула Зося. — Что случилось?

Старик возвел на нее глаза, полные слез.

Испуганная Зося схватила старика за колючие плечи и быстро потащила в комнату. Полчаса лежал Сеницкий на диване и дрожал.

После долгих уговоров дед приступил к рассказу.

Все было прекрасно. До самой редакции «Молодежных ведомостей» он добрался без всяких приключений. Заведующий отделом «Умственных упражнений» встретил ребусника чрезвычайно вежливо.

— Руку подал, Зосенька, — вздыхал старик. — Садитесь, говорит, товарищ Сеницкий. И тут-то он меня и огорошил. А ведь наш-то отдел, говорит, закрывают. Новый редактор прибыл и заявил, что наши читатели не нуждаются в умственных упражнениях, а нуждаются они, Зосенька, в специальном отделе шашечной игры. Что ж будет, спрашиваю. Да ничего, говорит заведующий, не пойдет ваш материал, и только. А шараду мою очень хвалил. Прямо, говорит, пушкинские строки, в особенности это место: «Мой первый слог на дне морском, на дне морском второй мой слог».

Старый ребусник долго еще содрогался на диване и жаловался на засилие советской идеологии.

— Опять драма! — воскликнула Зося.

Она нацепила шляпку и направилась к выходу. Александр Иванович двинулся за ней, хотя понимал, что идти не следовало бы.

На улице Зося взяла Корейко под руку:

— Мы все-таки будем дружить. Правда?

— Было бы лучше, если бы вы вышли за меня замуж, — откровенно буркнул Корейко.

В раскрытых настежь буфетах искусственных минеральных вод толпились молодые люди без шляп, в белых рубашках с закатанными выше локтя рукавами. Синие сифоны с металлическими кранами стояли на полках. Длинные стеклянные цилиндры с сиропом на вертящейся подставке мерцали аптекарским светом. Персы с печальными лицами калили на жаровнях орехи, и угарный дым манил гуляющих.

— В кино хочется, — капризно сказала Зося. — Орехов хочется, сельтерской с сиропом.

Для Зоси Корейко был готов на все. Он решил бы даже слегка нарушить свою конспирацию, потратив рублей пять на кутеж. Сейчас в кармане у него в плоской железной коробке от папирос «Кавказ» лежало десять тысяч рублей бумажками, достоинством по двадцать пять червонцев каждая. Но если бы даже он сошел с ума и решил бы обнаружить хотя

бы одну бумажку, ее все равно ни в одном кинематографе нельзя было разменять.

— Зарплату задерживают, — сказал он в полном отчаянии, — выплачивают крайне неаккуратно.

В эту минуту от толпы гуляющих отделился молодой человек в прекрасных сандалиях на босу ногу. Он салютовал Зосе поднятием руки.

— Привет, привет, — сказал он, — у меня две контрамарки в кино. Хотите? Только моментально.

И молодой человек в замечательных сандалиях увлек Зосю под тусклую вывеску кино «Камо грядеши», бывш. «Кво-Вадис».

Эту ночь конторщик-миллионер не спал дома. До самого утра он шатался по городу, тупо рассматривал карточки голеньких младенцев в стеклянных витринах фотографов, взрывал ногами гравий на бульваре и глядел в темную пропасть порта. Там переговаривались невидимые пароходы, слышались миллицейские свистки и поворачивался красный маячный огонек.

«Проклятая страна! — бормотал Корейко. — Страна, в которой миллионер не может повести свою невесту в кино».



Сейчас Зося уже казалась ему невестой.

Кутру побелевший от бессонницы Александр Иванович забрел на окраину города. Когда он проходил по Бессарабской улице, ему послышались звуки «Матчиша». Удивленный, он остановился.

Навстречу ему спускался с горы желтый автомобиль. За рулем, согнувшись, сидел усталый шофер в хромовой тужурке. Рядом с ним дремал широкоплечий малый, свесив набок голову в стетсоновской шляпе с дырочками. На заднем сиденье развалились еще двое пассажиров: пожарный в полной выходной форме и атлетически сложенный мужчина в морской фуражке с белым верхом.

— Привет первому черноморцу! — крикнул Остап, когда машина с тракторным грохотом проносилась мимо Корейко. — Теплые морские ванны еще работают? Городской театр функционирует? Уже объявили Черноморск вольным городом?

Но Остап не получил ответа. Козлевич открыл глушитель, и «Антилопа» утопила первого черноморца в облаке голубого дыма.

— Ну, — сказал Остап очнувшемуся Балаганову, — заседание продолжается. Подавайте сюда вашего подпольного Рокфеллера. Сейчас я буду его раздевать. Ох уж мне эти принцы и нищие!





ЧАСТЬ ВТОРАЯ ДВА КОМБИНАТОРА

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ Телеграмма от братьев Карамазовых

С некоторого времени подпольный миллионер почувствовал на себе чье-то неусыпное внимание. Сперва ничего определенного не было. Исчезло только привычное и покойное чувство одиночества. Потом стали обнаруживаться признаки более пугающего свойства.

Однажды, когда Корейко обычным размеренным шагом двигался на службу, возле самого «Геркулеса» его остановил нахальный нищий с золотым зубом. Наступая на волочащиеся за ним тесемки от кальсон, нищий схватил Александра Ивановича за руку и быстро забормотал:

— Дай миллион, дай миллион, дай миллион!

После этого нищий высунул толстый нечистый язык и понес совершенную уже чепуху. Это был обыкновенный нищий-полуидиот, какие часто встреча-

ются в южных городах. Тем не менее Корейко поднялся к себе, в финсчетный зал, со смущенною душой.

С этой вот встречи началась чертовщина.

В три часа ночи Александра Ивановича разбудили. Пришла телеграмма. Стуча зубами от утреннего холодка, миллионер разорвал бандероль и прочел: «Графиня изменившимся лицом бежит пруду».

— Какая графиня? — ошалело прошептал Корейко, стоя босиком в коридоре.

Но никто ему не ответил. Почтальон ушел. В двореком садике страстно мычали голуби. Жильцы спали. Александр Иванович повертел в руках серый бланк. Адрес правильный. Фамилия тоже.

«Малая Касательная 16 Александру Корейко графиня изменившимся лицом бежит пруду».

Александр Иванович ничего не понял, но так взволновался, что сжег телеграмму на свечке.

В 17 ч. 35 м. того же дня прибыла вторая депеша: «Заседание продолжается зпт миллион поцелуев».

Александр Иванович побледнел от злости и разорвал телеграмму в клочки. Но в эту же ночь принесли еще две телеграммы-молнии. Первая: «Грузите апельсины бочках братья Карамазовы».

И вторая: «Лед тронулся тчк командовать парадом буду я».

После этого с Александром Ивановичем произошел на службе обидный казус. Умножая в уме по просьбе Чеважевской 985 на 13, он ошибся и дал неверное произведение, чего с ним никогда в жизни не случалось. Но сейчас ему было не до арифметических упражнений. Сумасшедшие телеграммы не выходили из головы.

— Бочках, — шептал он, устремив глаза на старика Кукушкинда. — Братья Карамазовы. Просто свинство какое-то.

Он пытался успокоить себя мыслью, что это милые шутки каких-то друзей, но эту версию живо пришлось отбросить. Друзей у него не было. Что же касается сослуживцев, то это были люди серьезные и шутили только раз в году — первого апреля. Да и в этот день веселых забав и радостных мистификаций они оперировали только одной печальной шуткой: фабриковали на машинке фальшивый приказ об увольнении Кукушкинда и клали ему на стол. И каждый раз в течение семи лет старик хватался за сердце, что очень всех потешало. Кроме того, не такие это были богачи, чтобы тратить на депеши.

После телеграммы, в которой неизвестный гражданин уведомлял, что командовать парадом будет именно он, а не кто-либо другой, наступило успокоение. Александра Ивановича не тревожили три дня. Он начал уже привыкать к мысли, что все случившееся нисколько его не касается, когда пришла толстая заказная бандероль. В ней содержалась книга под названием «Капи-

талистические акулы» с подзаголовком: «Биография американских миллионеров».

В другое время Корейко и сам купил бы такую занятную книжицу, но сейчас он даже скривился от ужаса. Первая фраза была очеркнута синим карандашом и гласила: «Все крупные современные состояния нажиты самым бесчестным путем».

Александр Иванович на всякий случай решил пока что не навещать вокзал к заветному чемодану. Он находился в весьма тревожном расположении духа.

— Самое главное, — говорил Остап, прогуливаясь по просторному номеру гостиницы «Карлсбад», — это внести смятение в лагерь противника. Враг должен потерять душевное равновесие. Сделать это не так трудно. В конце концов люди больше всего пугаются непонятного. Я сам когда-то был мистиком-одиночкой и дошел до такого состояния, что меня можно было испугать простым финским ножом. Да, да. Побольше непонятного. Я убежден, что моя последняя телеграмма «мысленно вместе» произвела на нашего контрагента потрясающее впечатление. Все это — суперфосфат, удобрение. Пусть поволнуется. Клиента надо приучить к мысли, что ему придется отдать деньги. Его надо морально разоружить, подавить в нем реакционные собственные инстинкты.

Произнеся эту речь, Бендер строго посмотрел на своих подчиненных. Балаганов, Паниковский и Козлевич чинно сидели в красных плюшевых креслах с бахромой и кистями. Они стеснялись. Их смущал широкий образ жизни командора, смущали золоченые ламбрекены, ковры, сиявшие яркими химическими колерами, и гравюра «Явление Христа народу». Сами они вместе с «Антилопой» остановились на постоялом дворе и приходили в гостиницу только за получением инструкций.

— Паниковский, — сказал Остап, — вам было поручено встретиться сегодня с нашим подзащитным и вторично попросить у него миллион, сопровождая эту просьбу идиотским смехом?

— Как только он меня увидел, он перешел на противоположный тротуар, — самодовольно ответил Паниковский.

— Так. Все идет правильно. Клиент начинает нервничать. Сейчас он переходит от тупого недоумения к беспричинному страху. Я не сомневаюсь, что он вскакивает по ночам в постели и жалобно лепечет: «Мама, мама». Еще немного, самая чепуха, последний удар кисти, — и он окончательно созреет. С плачем он полезет в буфет и вынет оттуда тарелочку с голубой каемкой...

Остап подмигнул Балаганову. Балаганов подмигнул Паниковскому, Паниковский подмигнул Козлевичу, и хотя честный Козлевич ровно ничего не понял, он тоже стал мигать обоими глазами.

И долго еще в номере гостиницы «Карлсбад» шло дружелюбное перемигивание, сопровождавшееся смешками, цоканьем языком и даже вскакиванием с красных плюшевых кресел.

— Отставить веселье, — сказал Остап. — Пока что тарелочка с деньгами в руках Корейко, если только она вообще существует, эта волшебная тарелочка.

Затем Бендер усладал Паниковского и Козлевича на постоянный двор, предписав держать «Антилопу» наготове.

— Ну, Шура, — сказал он, оставшись вдвоем с Балагановым, — телеграмм больше не надо. Подготовительную работу можно считать законченной. Начинается активная борьба. Сейчас мы пойдем смотреть на драгоценного теленочка при исполнении им служебных обязанностей.

Держась в прозрачной тени акаций, молочные братья прошли городской сад, где толстая струя фонтана оплывала, как свеча, миновали несколько зеркальных пивных баров и остановились на углу улицы Меринга. Цветочницы с красными матросскими лицами купали свой нежный товар в эмалированных мисках. Нагретый солнцем асфальт шипел под ногами. Из голубой кафельной молочной выходили граждане, вытирая на ходу измазанные кефиром губы.

Толстые макаронные буквы деревянного золота, составлявшие слово «Геркулес», заманчиво светились. Солнце прыгало по саженным стеклам вертящейся двери. Остап и Балаганов вошли в вестибюль и смешались с толпой деловых людей.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Геркулесовцы

Как ни старались часто сменявшиеся начальники изгнать из «Геркулеса» гостиничный дух, достигнуть этого им так и не удалось. Как завхозы ни замазывали старые надписи, они все-таки выглядывали отовсюду. То выскакивало в торговом отделе слово «Кабинеты», то вдруг на матовой стеклянной двери машинного бюро замечались водяные знаки «Дежурная горничная», то обнаруживались на стенах золотые указательные персты с французским текстом «Pour les dames». Гостиница перла наружу.

Служащие помельче занимались в рублевых номерах четвертого этажа, где останавливались в свое время консисторские чиновники¹, приезжавшие на епархиальные съезды, или маленькие коммивояжеры с варшавскими усиками. Там еще пахло подмышками и стояли розовые железные умывальники. В номерах почище, куда заезжали бильярдные короли и провинциальные драматические артисты, разместились заведующие секциями, их помощники

¹ Консистория — учреждение при епархиальном архиерее с административными и судебными функциями. В дореволюционной России бракоразводные дела были подчинены консистории.

и завхоз. Здесь уже было получше: стояли платяные шкафы с зеркалами и пол был обшит рыжим линолеумом. В роскошных номерах с ваннами и альковами гнездились начальство. В белых ваннах валялись дела, а в полутемных альковах висели диаграммы и схемы, наглядно рисовавшие структуру «Геркулеса», а также связь его с периферией. Тут сохранились дурацкие золоченые диванчики, ковры и ночные столики с мраморными досками. В некоторых альковах стояли даже панцирные никелированные кровати с шариками. На них тоже лежали дела и всякая нужная переписка. Это было чрезвычайно удобно, так как бумажки всегда находились под рукой.

В одном из таких номеров, в номере пятом, останавливался в 1911 году знаменитый писатель Леонид Андреев. Все геркулесовцы это знали, и номер пятый почему-то пользовался в учреждении дурной славой.

Со всеми ответственными работниками, устраивавшими здесь свой кабинет, обязательно приключалась какая-нибудь беда. Не успевал номер пятый как следует войти в курс дела, как его уже снимали и бросали на иную работу. Хорошо еще, если без выговора. А то бывало и с выговором, бывало с опубличованием в печати, бывало и хуже, о чем даже упоминать неприятно.

— Демонский номер, — в один голос утверждали потерпевшие. — Ну кто мог подозревать?

И на голову писателя, автора страшного «Рассказа о семи повешенных», падали ужаснейшие обвинения, будто бы именно он повинен в том, что тов. Лапшин принял на службу шестерых родных братьев-богатырей, что тов. Справченко в заготовке древесной коры понадеялся на самотек, чем эти заготовки и провалил, и что тов. Индокитайский проиграл в польский банчок 7384 рубля 03 коп. казенных денег. Как Индокитайский ни вертелся, как ни доказывал в соответствующих инстанциях, что 03 коп. он израсходовал на пользу государства и что он может представить на указанную сумму оправдательные документы, ничто ему не помогло. Тень покойного писателя была неумолима, и осенним вечером Индокитайского повели на отсидку. Действительно, нехороший был этот номер пятый.

Начальник всего «Геркулеса» тов. Полыхаев помещался в бывшем зимнем саду, секретарша его Серна Михайловна то и дело мелькала среди уцелевших пальм и сикомор. Там же стоял длинный, как вокзальный перрон, стол, покрытый малиновым сукном, за которым происходили частые и длительные заседания правления. А с недавнего времени в комнате № 262, где некогда помещалась малая буфетная, заседала комиссия по чистке в числе восьми ничем не выдающихся с виду товарищей с серенькими глазами. Приходили они аккуратно каждый день и все читали какие-то служебные бумаженции.

Когда Остап и Балаганов поднимались по лестнице, раздавался тревожный звонок, и сразу же из всех комнат выскочили служащие. Стремительность этого маневра напоминала корабельный аврал.



Однако это был не аврал, а перерыв для завтрака. Иные из служащих поспешили в буфет, чтобы успеть захватить бутерброды с красной икрой. Иные же делали променад в коридорах, закусывая на ходу.

Из планового отдела вышел служащий благороднейшей наружности. Молодая округлая борода висела на его бледном ласковом лице. В руке он держал холодную котлету, которую то и дело подносил ко рту, каждый раз ее внимательно оглядев.

В этом занятии служащему чуть не помешал Балаганов, желавший узнать, на каком этаже находится финсчетный отдел.

— Разве вы не видите, товарищ, что я закусываю? — сказал служащий, с негодованием отвернувшись от Балаганова.

И, не обращая больше внимания на молочных братьев, он погрузился в разглядывание последнего кусочка котлеты. Осмотрев его со всех сторон самым тщательным образом и даже понюхав на прощанье, служащий отправил его в рот, выпятил грудь, сбросил с пиджака крошки и медленно подошел к другому служащему, стоявшему у дверей своего отдела.

— Ну что, — спросил он, оглянувшись, — как самочувствие?

— Лучше б не спрашивали, товарищ Бомзе, — ответил тот и, тоже оглянувшись, добавил: — Разве это жизнь? Нет никакого простора индивидуальности. Все одно и то же, пятилетка в четыре года, пятилетка в три года.

— Да, да, — зашептал Бомзе, — просто ужас какой-то! Я с вами совершенно согласен. Именно, никакого простора для индивидуальности, никаких стимулов, никаких личных перспектив. Жена, сами понимаете, домашняя хозяйка, и та говорит, что нет стимулов, нет личных перспектив.

Тяжело вздохнув, Бомзе двинулся навстречу другому служащему.

— Ну что, — спросил он, заранее печально улыбаясь, — как самочувствие?

— Да вот, — сказал собеседник, — сегодня утром из командировки. Удалось повидать совхоз. Грандиозно. Зерновая фабрика! Вы себе не представляете, голубчик, что такое пятилетка, что такое воля коллектива!

— Ну, то есть буквально то же самое я говорил только что! — с горячностью воскликнул Бомзе. — Именно воля коллектива! Пятилетка в четыре года, даже в три — вот стимул, который... Возьмите, наконец, даже мою жену. Домашняя хозяйка, — и та отдает должное индустриализации. Черт возьми, на глазах вырастает новая жизнь!

Отойдя в сторону, он радостно помотал головой. Через минуту он уже держал за рукав кроткого Борисохлебского и говорил:

— Вы правы, я тоже так думаю. Зачем строить Магнитогорски, совхозы, всякие комбайны, когда нет личной жизни, когда подавляется индивидуальность?

А еще через минуту его глуховатый голос булькал на площадке лестницы:

— Ну, то есть то же самое я говорил только что товарищу Борисохлебскому. Что плакать об индивидуальности, о личной жизни, когда на наших глазах растут зерновые фабрики, Магнитогорски, всякие комбайны, бетономешалки, когда коллектив...

В течение перерыва Бомзе, любивший духовное общение, успел покалякать с десятком сослуживцев. Сюжет каждой беседы можно было определить по выражению его лица, на котором горечь по поводу зажима индивидуальности быстро переходила в светлую улыбку энтузиаста. Но каковы бы ни были чувства, обуревавшие Бомзе, лицо его не покидало выражение врожденного благородства. И все, начиная с выдержанных товарищей из месткома и кончая политически незрелым Кукушкиндром, считали Бомзе честным и,



главное, принципиальным человеком. Впрочем, он и сам был такого же мнения о себе.

Новый звонок, извещавший о конце аврала, вернул служащих в номера. Работа возобновилась.

Собственно говоря, слова «работа возобновилась» не имели отношения к прямой деятельности «Геркулеса», заключающейся по уставу в различных торговых операциях в области лесо- и пиломатериалов. Последний год геркулесовцы, отбросив всякую мысль о скучных бревнах, диктовых листах¹, экспортных кедрах и прочих неинтересных вещах, предались увлекательнейшему занятию: они боролись за помещение, за любимую свою гостиницу.

Все началось с маленькой бумажки, которую принес в брезентовой разносной книге ленивый скороход из коммунотдела.

«С получением сего, — значилось в бумажке, — предлагается вам в недельный срок освободить помещение быв. гостиницы «Каир» и передать со всем быв. гостиничным инвентарем в ведение гостиничного треста. Вам предоставляется помещение быв. акц. о-ва „Жесть и бекон“. Основание: постановление Горсовета от 12/1929 г.»

Эту бумажку вечером положили на стол перед лицом товарища Польшаева, сидевшего в электрической тени пальм и сикомор.

— Как! — нервно вскричал начальник «Геркулеса». — Они пишут мне «предлагается»! Мне, подчиненному непосредственно центру! Да что они, с ума там посходили? А?

— Они бы еще написали «предписывается», — поддала жару Серна Михайловна. — Мужлань!

— Это просто анекдот, — сказал Польшаев, мрачно улыбаясь.

Немедленно же был продиктован ответ самого решительного характера. Начальник «Геркулеса» наотрез отказывался очистить помещение.

— Будут знать в другой раз, что я им не ночной сторож и никаких «предлагается» мне писать нельзя, — бормотал товарищ Польшаев, вынув из кармана резиновую печатку со своим факсимиле и в волнении оттиснув подпись вверх ногами.

И снова ленивый скороход, на этот раз геркулесовский, потащился по солнечным улицам, останавливаясь у квасных будок, вмешиваясь во все уличные скандалы и отчаянно размахивая разносной книгой.

Целую неделю после этого «геркулесовцы» обсуждали создавшееся положение. Служащие сходились на том, что Польшаев не потерпит такого подрыва своего авторитета.

— Вы еще не знаете нашего Польшаева, — говорили молодцы из финсчета. — Он мытый-перемытый. Его на голое постановление не возьмешь.

¹ Дикт — устаревшее название фанеры.

Вскоре после этого товарищ Бомзе вышел из кабинета начальника, держа в руках списочек избранных сотрудников. Он шагал из отдела в отдел, наклонялся над указанной в списке особой и таинственно шептал:

— Маленькая вечеринка. По три рубля с души. Проводы Польшаева.

— Как? — пугались избранные сотрудники. — Разве Польшаев уходит? Снимают?

— Да нет. Едет на неделю в центр, хлопотать насчет помещения. Так смотрите, не опаздывайте. Ровно в восемь у меня.

Проводы прошли очень весело. Сотрудники преданно смотрели на Польшаева, сидевшего с лафитничком в руке, ритмично били в ладоши и пели:

— Пей до дна, пей до дна, пейдодна, пей до дна, пей до дна, пейдодна.

Пели до тех пор, покуда любимый начальник не осушил изрядного количества лафитничков и высоких севастопольских стопок, после чего в свою очередь колеблющимся голосом начал песню: «По старой калужской дороге, на сорок девятой версте». Однако никто не узнал, что произошло на этой версте, так как Польшаев, неожиданно для всех, перешел на другую песню:

Шел трамвай девятый номер,
На площадке ктой-то помер,
Тянут, тянут мертвеца,
Ламца-дрица. Ца-ца.

После отъезда Польшаева производительность труда в «Геркулесе» слегка понизилась. Смешно было бы работать в полную силу, не зная, останешься ли в этом помещении, или придется со всеми канцпринадлежностями тащиться в «Жесть и бекон». Но еще смешнее было бы работать в полную силу после возвращения Польшаева. Он вернулся, как выразился Бомзе, на щите, помещение осталось за «Геркулесом», и сотрудники посвящали служебные часы насмешкам над коммунотделом.

Повергнутое учреждение просило отдать хотя бы умывальники и панцирные кровати, но возбужденный успехом Польшаев даже не ответил. Тогда схватка возобновилась с новой силой. В центр летели жалобы. Опровергать их Польшаев выезжал лично. Все чаще на квартире Бомзе слышалось победное «пейдодна», и все более широкие слои сотрудников втягивались в работу по борьбе за помещение. Постепенно забывались лесо-и пиломатериалы. Когда Польшаев находил вдруг у себя на столе бумажку, касающуюся экспортных кедров или диктовых листов, он так поражался, что некоторое время даже не понимал, чего от него хотят. Сейчас он был поглощен выполнением чрезвычайно важной задачи — переманивал к себе на высший оклад двух особенно опасных коммунотдельцев.

— Вам повезло, — говорил Остап своему спутнику. — Вы присутствуете при смешном событии — Остап Бендер идет по горячему следу. Учитесь! Мелкая уголовная сошка, вроде Паниковского, написала бы Корейко письмо: «Положите во дворе под мусорный ящик 600 рублей, иначе будет плохо» — и внизу пририсовала бы крест, череп и свечу. Соня-Золотая Ручка, достоинств которой я отнюдь не желаю умалить, в конце концов прибегла бы к обыкновенному хипесу¹, что принесло бы ей тысячи полторы. Дело женское. Возьмем, наконец, корнета Савина². Аферист выдающийся. Как говорится, негде пробы ставить. А что сделал бы он? Приехал бы к Корейко на квартиру под видом болгарского царя, наскандалил бы в домоуправлении и испортил бы все дело. Я же, как видите, не тороплюсь. Мы сидим в Черноморске уже неделю, а я только сегодня иду на первое свидание... Ага, вот и финсчетный зал! Ну, бортмеханик, покажите мне больного. Ведь вы специалист по Корейко.

Они вошли в гогочущий, наполненный посетителями зал, и Балаганов повел Бендера в угол, где за желтой перегородкой сидели Чеважевская, Корейко, Кукушкин и Дрейфус. Балаганов уже поднял руку, чтобы указать ею миллионера, когда Остап сердито шепнул:

— Вы бы еще закричали во всю глотку: «Вот он, богатей. Держите его». Спокойствие. Я угадаю сам. Который же из четырех?

Остап уселся на прохладный мраморный подоконник и, по-детски болтая ногами, принялся рассуждать:

— Девушка не в счет. Остаются трое: красномордый подхалим с белыми глазами, старичок-боровичок в железных очках и толстый барбос серьезнейшего вида. Старичка-боровичка я с негодованием отмечаю. Кроме ваты, которой он заткнул свои мохнатые уши, никаких ценностей у него не имеется. Остаются двое: барбос и белоглазый подхалим. Кто же из них Корейко? Надо подумать.

Остап вытянул шею и стал сравнивать кандидатов. Он так быстро вертел головой, словно следил за игрой в теннис, провожая взглядом каждый мяч.

— Знаете, бортмеханик, — сказал он наконец, — толстый барбос больше подходит к роли подпольного миллионера, нежели белоглазый подхалим. Вы обратите внимание на тревожный блеск в глазах барбоса. Ему не сидится на месте, ему не терпится, ему хочется поскорее побежать домой и запустить

¹ Способ вымогательства, когда женщина заводит мужчину на квартиру, создает компрометирующую обстановку, и в этот момент их «накрывает» разъяренный муж, который требует денег за «оскорбленную честь».

² Николай Герасимович Савин — русский преступник-авантюрист из дворянского рода. В 1911 году под видом великого князя Константина Николаевича предстал перед султаном в качестве претендента на болгарский трон.

свои лапы в пакеты с червонцами. Конечно, это он собиратель каратов и долларов. Разве вы не видите, что эта толстая харя является не чем иным, как демократической комбинацией из лиц Шейлока, Скупого рыцаря и Гарпагона? А тот, белоглазый, просто ничтожество, советский мышонок. У него, конечно, есть состояние — двенадцать рублей в сберкассе. Предел его ночных грез — покупка волосатого пальто с телячьим воротником. Это — не Корейко. Это — мыш, которая...

Но тут полная блеска речь великого комбинатора была прервана мужественным криком, который донесся из глубин финсчетного зала и, несомненно, принадлежал работнику, имеющему право кричать.

— Товарищ Корейко! Где же цифровые данные о задолженности нам коммунотдела? Товарищ Полыхаев срочно требует.

Остап толкнул Балаганова ногой. Но барбос спокойно продолжал скрипеть пером. Его лицо, носившее характернейшие черты Шейлока, Гарпагона и Скупого рыцаря, не изменилось. Зато красномордый блондин с белыми глазами, это ничтожество, этот советский мышонок, обуянный мечтой о пальто с телячьим воротником, проявил необычайное оживление. Он хлопотливо застучал ящиками стола, схватил какую-то бумажонку и быстро побежал на зов.

Великий комбинатор крякнул и испытующе посмотрел на Балаганова. Шура еще не научился властвовать собой. Он засмеялся.

— Да, — сказал Остап после некоторого молчания. — Этот денег на тарелочке не принесет. Разве только я очень уж попрошу. Объект, достойный уважения. Теперь — скорее на воздух. В моем мозгу родилась забавная комбинация. Сегодня вечером мы с божьей помощью впервые потрогаем господина Корейко за вымя. Трогать будете вы, Шура.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Гомер, Мильтон и Паниковский

Инструкция была самая простая:

1. Случайно встретиться с гражданином Корейко на улице.
2. Не бить его ни под каким видом и вообще не применять физического воздействия.
3. Отобрать все, что будет обнаружено в карманах поименованного гражданина.
4. Об исполнении донести.

Несмотря на исключительную простоту и ясность указаний, сделанных великим комбинатором. Балаганов и Паниковский завели жаркий спор. Сыновья лейтенанта сидели на зеленой скамейке в городском саду, значительно поглядывая на подъезд «Геркулеса». Пре皮ряясь, они не замечали даже, что

ветер, сгибавший пожарную струю фонтана, сыплет на них сеянную водичку. Они только дергали головами, бессмысленно смотрели на чистое небо и продолжали спорить.

Паниковский, который по случаю жары заменил толстую куртку топорника ситцевой рубашонкой с отложным воротником, держался высокомерно. Он очень гордился возложенным на него поручением.

— Только кража, — говорил он.

— Только ограбление, — возражал Балаганов, который тоже был горд доверием командора.

— Вы жалкая, ничтожная личность, — заявил Паниковский, с отвращением глядя на собеседника.

— А вы калека, — заметил Балаганов. — Сейчас начальник я!

— Кто начальник?

— Я начальник. Мне поручено.

— Вам?

— Мне.

— Тебе?

— А кому же еще? Уж не тебе ли?

И разговор перешел в область, не имевшую ничего общего с полученной инструкцией. Мулики так разгорячились, что начали даже легонько отпихивать друг друга ладонями и наперебой вскрикивать: «А ты кто такой?» Такие действия предшествуют обычно генеральной драке, в которой противники бросают шапки на землю, призывают прохожих в свидетели и размазывают на своих щетинистых мордасах детские слезы.

Но драки не произошло. Когда наступил наиболее подходящий момент для нанесения первой пощечины, Паниковский вдруг убрал руки и согласился считать Балаганова своим непосредственным начальством.

Вероятно, он вспомнил, что его часто били отдельные лица и целые коллективы и что при этом ему бывало очень больно. Захватив власть в свои руки, Балаганов сразу смягчился.

— Почему бы не ограбить? — сказал он менее настойчиво. — Разве так трудно? Корейко вечером идет по улице. Темно. Я подхожу с левой руки. Вы подходите справа. Я толкаю его в левый бок, вы толкаете в правый. Этот дурак останавливается и говорит: «Хулиган!» Мне. «Кто хулиган?» — спрашиваю я. И вы тоже спрашиваете, кто хулиган, и надавливаете справа. Тут я даю ему по морд... Нет, бить нельзя!

— В том-то и дело, что бить нельзя, — лицемерно вздохнул Паниковский. — Бендер не позволяет.

— Да я сам знаю... В общем, я хватаю его за руки, а вы смотрите, нет ли в карманах чего лишнего. Он, как водится, кричит «милиция», и тут я

его... Ах ты, черт возьми, нельзя бить. В общем, мы уходим домой. Ну, как план?

Но Паниковский уклонился от прямого ответа. Он взял из рук Балаганова резную курортную тросточку с рогаткой вместо набалдашника и, начертив прямую линию на песке, сказал:

— Смотрите. Во-первых, ждать до вечера. Во-вторых...

И Паниковский от правого конца прямой повел вверх волнистый перпендикуляр.

— Во-вторых, он может сегодня вечером просто не выйти на улицу. А если даже выйдет, то...

Тут Паниковский соединил обе линии третьей, так что на песке появилось нечто похожее на треугольник, и закончил:

— Кто его знает? Может быть, он будет прогуливаться в большой компании. Как вам это покажется?

Балаганов с уважением посмотрел на треугольник. Доводы Паниковского показались ему не особенно убедительными, но в треугольнике чувствовалась такая правдивая безнадежность, что Балаганов поколебался. Заметив это, Паниковский не стал мешкать.

— Поезжайте в Киев! — сказал он неожиданно. — И тогда вы поймете, что я прав. Обязательно поезжайте в Киев!

— Какой там Киев! — пробормотал Шура. — Почему?

— Поезжайте в Киев и спросите там, что делал Паниковский до революции. Обязательно спросите!

— Что вы пристаёте? — хмуро сказал Балаганов.

— Нет, вы спросите! — требовал Паниковский. — Поезжайте и спросите! И вам скажут, что до революции Паниковский был слепым. Если бы не революция, разве я пошел бы в дети лейтенанта Шмидта, как вы думаете? Ведь я был богатый человек. У меня была семья и на столе никелированный самовар. А что меня кормило? Синие очки и палочка.

Он вынул из кармана картонный футляр, оклеенный черной бумагой в тусклых серебряных звездочках, и показал синие очки.

— Вот этими очками, — сказал он со вздохом, — я кормился много лет. Я выходил в очках и с палочкой на Крещатик и просил какого-нибудь господина почище помочь бедному слепому перейти улицу. Господин брал меня под руку и вел. На другом тротуаре у него уже не хватало часов, если у него были часы, или бумажника. Некоторые носили с собой бумажники.

— Почему же вы бросили это дело? — спросил Балаганов оживившись.

— Революция, — ответил бывший слепой. — Раньше я платил городовому на углу Крещатика и Прорезной пять рублей в месяц, и меня никто не



трогал. Городовой следил даже, чтобы меня не обижали. Хороший был человек! Фамилия ему была Небаба, Семен Васильевич. Я его недавно встретил. Он теперь музыкальный критик. А сейчас? Разве можно связываться с милицией? Не видел хуже народа. Они какие-то идейные стали, какие-то культуртрегеры¹. И вот, Балаганов, на старости лет пришлось сделаться аферистом. Но для такого экстренного дела можно пустить в ход мои старые очки. Это гораздо вернее ограбления.

Через пять минут из общественной уборной, обсаженной табаком и мятой, вышел слепец в синих очках. Задрвав подбородок в небо и мелко постукивая перед собой курортной палочкой, он направился к выходу из сада. Следом за ним двигался Балаганов.

Паниковского нельзя было узнать. Отогнув назад плечи и осторожно ставя ноги на тротуар, он вплотную подходил к домам, стуча палочкой по витринным поручням, натыкался на прохожих и, глядя сквозь них, шествовал дальше. Он работал настолько добросовестно, что даже смял большую очередь, голова которой упиралась в столбик с надписью «Остановка автобуса». Балаганов только диву давался, глядя на бойкого слепого.

Паниковский злодействовал до тех пор, покуда из геркулесовского подъезда не вышел Корейко. Балаганов заметался. Сначала он подскочил слишком близко к месту действия, потом отбежал слишком далеко. И лишь после всего этого занял удобную для наблюдений позицию у фруктового киоска. Во рту у него почему-то появился противный вкус, словно бы он полчаса сосал медную дверную ручку. Но, взглянув на эволюции Паниковского, он успокоился.

Балаганов увидел, что слепой повернулся фронтом к миллионеру, зацепил его палочкой по ноге и ударил плечом. После этого они, видимо, обменялись

¹ *Культуртрегер* (нем.) — носитель культуры, распространитель просвещения и человек, способствующий духовному развитию, умственному и нравственному совершенствованию.

несколькими словами. Затем Корейко улыбнулся, взял слепого под руку и помог ему сойти на мостовую. Для большей правдоподобности Паниковский изо всех сил колотил палкой по булыжникам и задираал голову, будто он был взнуждан. Дальнейшие действия слепого отличались такой чистотой и точностью, что Балаганов почувствовал даже зависть. Паниковский обнял своего спутника за талию. Его рука скользнула по левому боку Корейко и на некую долю секунды задержалась над парусиновым карманом миллионера-конторщика.

— Ну-ну, — шептал Балаганов. — Давай, старик, давай!

Но в то же мгновение блеснули стекла, тревожно промывчала груша, затряслась земля, и большой белый автобус, еле удержавшись на колесах, резко осадил на середине мостовой. Одновременно с этим раздались два крика.

— Идиот! Автобуса не видит! — визжал Паниковский, выскочив из-под колеса и грозя провожатому сорванными с носа очками.

— Он не слепой! — удивленно вскричал Корейко. — Ворюга!

Все заволочло синим дымом, автобус покати далъше, и, когда бензиновая завеса разодралась, Балаганов увидел, что Паниковский окружен небольшой толпой граждан. Вокруг мнимого слепого началась какая-то возня. Балаганов подбежал поближе. По лицу Паниковского бродила безобразная улыбка. Он был странно безучастен ко всему происходящему, хотя одно ухо его было таким рубиновым, что, вероятно, светилось бы в темноте и при его свете можно было бы даже проявлять фотографические пластинки.

Расталкивая сбегавшихся отовсюду граждан, Балаганов бросился в гостиницу «Карлсбад».

Великий комбинатор сидел за бамбуковым столиком и писал.

— Паниковского бьют! — закричал Балаганов, картинно появляясь в дверях.

— Уже? — деловито спросил Бендер. — Что-то очень быстро.

— Паниковского бьют! — с отчаянием повторил рыжий Шура. — Возле «Геркулеса».

— Чего вы орете, как белый медведь в теплую погоду? — строго сказал Остап. — Давно бьют?

— Минут пять.

— Так бы сразу и сказали. Вот вздорный старик! Ну, пойдём полюбуемся. По дороге расскажете.

Когда великий комбинатор прибыл к месту происшествия, Корейко уже не было, но вокруг Паниковского колыхалась великая толпа, перегородившая улицу. Автомобили нетерпеливо кричали, упершись в людской массив. Из окон амбулатории смотрели санитарки в белых халатах. Бегали собаки с выгнутыми сабельными хвостами. В городском саду перестал бить фонтан. Решительно вздохнув, Бендер втиснулся в толпу.

— Пардон, — говорил он, — еще пардон! Простите, мадам, это не вы потеряли на углу талон на повидло? Скорей бегите, он еще там лежит. Пропустите экспертов, вы, мужчины! Пусти, тебе говорят, лишенец!¹

Применяя таким образом политику кнута и пряника, Остап пробрался к центру, где томился Паниковский. К этому времени при свете другого уха нарушителя конвенции тоже можно было бы производить различные фотографические работы. Увидев командора, Паниковский жалобно по-нурился.

— Вот этот? — сухо спросил Остап, толкая Паниковского в спину.

— Этот самый, — радостно подтвердили многочисленные правдолюбцы. — Своими глазами видели.

Остап призвал граждан к спокойствию, вынул из кармана записную книжку и, посмотрев на Паниковского, властно произнес:

— Попрошу свидетелей указать фамилии и адреса. Свидетели, записывайтесь!

Казалось бы, граждане, проявившие такую активность в поимке Паниковского, не замедлят уличить преступника своими показаниями. На самом же деле при слове «свидетели» все правдолюбцы поскучнели, глупо засуетились и стали пятиться. В толпе образовались промоины и воронки. Она разваливалась на глазах.

— Где же свидетели? — повторил Остап.

Началась паника. Работая локтями, свидетели выбирались прочь, и в минуту улица приняла свой обычный вид. Автомобили сорвались с места, окна амбулатории захлопнулись, собаки принялись внимательно осматривать основания тротуарных тумб, и в городском саду с нарзанным визгом снова поднялась струя фонтана.

Убедившись, что улица очищена и что Паниковскому уже не грозит опасность, великий комбинатор ворчливо сказал:

— Бездарный старик! Неталантливый сумасшедший! Еще один великий слепой выискался — Паниковский! Гомер, Мильтон и Паниковский! Теплая компания! А Балаганов? Тоже — матрос с разбитого корабля. Паниковского бьют, Паниковского бьют! А сам... Идемте в городской сад. Я вам устрою сцену у фонтана.

У фонтана Балаганов сразу же переложил всю вину на Паниковского. Оскандалившийся слепой указывал на свои расштатавшиеся за годы лихолетья нервы и, кстати, заявил, что во всем виноват Балаганов — личность, как известно, жалкая и ничтожная. Братья тут же принялись отпихивать друг друга ладонями. Уже послышались однообразные возгласы: «А ты кто такой?», уже вырвалась из очей Паниковского крупная слеза, предвестница

¹ Лишенец — неофициальное название гражданина СССР, в 1928—1936 лишенного избирательных прав, например частного торговца, служителя церкви, осужденного, душевнобольного.



генеральной драки, когда великий комбинатор, сказав «брек», развел противников, как судья на ринге.

— Боксировать будете по выходным дням, — промолвил он. — Прелестная пара: Балаганов в весе петуха, Паниковский в весе курицы!¹ Однако, господа чемпионы, работники из вас, как из собачьего хвоста — сито. Это кончится плохо. Я вас уволю, тем более что ничего социально ценного вы собою не представляете.

Паниковский и Балаганов, позабыв о ссоре, принялись божиться и уверять, что сегодня же к вечеру во что бы то ни стало обыщут Корейко. Бендер только усмехался.

— Вот увидите, — хорохорился Балаганов. — Нападение на улице. Под покровом ночной темноты. Верно, Михаил Самуэлевич?

— Честное, благородное слово, — поддержал Паниковский. — Мы с Шурой... не беспокойтесь! Вы имеете дело с Паниковским.

— Это меня и печалит, — сказал Бендер, — хотя, пожалуйста... Как вы говорите? Под покровом ночной темноты? Устраивайтесь под покровом. Мысль, конечно, жиденькая. Да и оформление тоже, вероятно, будет убогое.

После нескольких часов уличного дежурства объявились наконец все необходимые данные: покров ночной темноты и сам пациент, вышедший с девушкой из дома, где жил старый ребусник. Девушка не укладывалась в план. Пока что пришлось последовать за гуляющими, которые направились к морю.

Горящий обломок луны низко висел над остывающим берегом. На скалах сидели черные базальтовые, навек обнявшиеся парочки. Море шушукалось о любви до гроба, о счастье без возврата, о муках сердца и тому подобных неактуальных мелочах. Звезда говорила со звездой по азбуке Морзе, зажигаясь и потухая. Световой туннель прожектора соединял берега залива. Когда он исчез, на его месте долго еще держался черный столб.

— Я устал, — хныкал Паниковский, тащась по обрывам за Александром Ивановичем и его дамой. — Я старый. Мне трудно.

Он спотыкался о сусликовые норки и падал, хватаясь руками за сухие коровьи блины. Ему хотелось на постоянный двор, к домовитому Козлевичу, с которым так приятно попить чаю и покалякать о всякой всячине.

И в тот момент, когда Паниковский твердо уже решил идти домой, предложив Балаганову доверить начатое дело одному, впереди сказали:

— Как тепло! Вы не купаетесь ночью, Александр Иванович? Ну, тогда подождите здесь. Я только окунусь — и назад.

Послышался шум сыплющихся с обрыва камешков, белое платье исчезло, и Корейко остался один.

¹ Вес «петуха» — реальная весовая категория в профессиональном боксе, вес до 118 фунтов (53,525 кг), вес «курицы» — шутка Бендера.

— Скорей! — шепнул Балаганов, дергая Паниковского за руку. — Значит, я захожу с левой стороны, а вы — справа. Только живее!

— Я — слева, — трусливо сказал нарушитель конвенции.

— Хорошо, хорошо, вы — слева. Я толкаю его в левый бок, нет, в правый, а вы жмете слева.

— Почему слева?

— Вот еще! Ну, справа. Он говорит: «Хулиган», а вы отвечаете: «Кто хулиган?»

— Нет, вы первый отвечаете.

— Хорошо. Все Бендеру скажу. Пошли, пошли. Значит, вы слева...

И доблестные сыны лейтенанта, отчаянно трусая, приблизились к Александру Ивановичу.

План был нарушен в самом же начале. Вместо того, чтобы, согласно диспозиции, зайти с правой стороны и толкнуть миллионера в правый бок, Балаганов потоптался на месте и неожиданно сказал:

— Позвольте прикурить.

— Я не курю, — холодно ответил Корейко.

— Так, — глупо молвил Шура, озираясь на Паниковского. — А который час, вы не знаете?

— Часов двенадцать.

— Двенадцать, — повторил Балаганов. — Гм... Понятия не имел.

— Теплый вечер, — заискивающе сказал Паниковский.

Наступила пауза, во время которой неистовствовали сверчки. Луна побелела, и при ее свете можно было заметить хорошо развитые плечи Александра Ивановича. Паниковский не выдержал напряжения, зашел за спину Корейко и визгливо крикнул:

— Руки вверх!

— Что? — удивленно спросил Корейко.

— Руки вверх, — повторил Паниковский упавшим голосом.

Тотчас же он получил короткий, очень болезненный удар в плечо и упал на землю. Когда он поднялся, Корейко уже сцепился с Балагановым. Оба тяжело дышали, словно перетаскивали рояль. Снизу донесся русалочный смех и плеск.

— Что же вы меня бьете? — надрылся Балаганов. — Я же только спросил, который час!..

— Я тебе покажу, который час! — шипел Корейко, вкладывавший в свои удары вековую ненависть богача к грабителю.

Паниковский на четвереньках подобрался к месту побоища и сзади запустил обе руки в карманы геркулесовца. Корейко лягнул его ногой, но было уже поздно. Железная коробочка от папирос «Кавказ» перекочевала из левого кармана в руки Паниковского. Из другого кармана посыпались на землю бумажонки и членские книжечки.

— Бежим! — крикнул Паниковский откуда-то из темноты.

Последний удар Балаганов получил в спину.

Через несколько минут помятый и взволнованный Александр Иванович увидел высоко над собою две лунные, голубые фигуры. Они бежали по гребню горы, направляясь в город.

Свежая, пахнувшая йодом Зося застала Александра Ивановича за странным занятием. Он стоял на коленях и, зажигая спички срывающимися пальцами, подбирал с травы бумажонки. Но, прежде чем Зося успела спросить, в чем дело, он уже нашел квитанцию на чемоданишко, покоящийся в камере хранения ручного багажа, между камышовой корзинкой с черешнями и байковым портпледом¹.

— Случайно выронил, — сказал он, напряженно улыбаясь и бережно пряча квитанцию.

О папиросной коробке «Кавказ» с десятью тысячами, которые он не успел переложить в чемодан, вспомнилось ему только при входе в город.

Покуда шла титаническая борьба на морском берегу, Остап Бендер решил, что пребывание в гостинице на виду у всего города выпирает из рамок затеянного дела и придает ему ненужную официальность. Прочтя в черноморской вечерке объявление: «Сд. пр. ком. в. уд. в. н. м. од. ин. ход.», и мигом сообразив, что объявление это означает — «Сдается прекрасная комната со всеми удобствами и видом на море одинокому интеллигентному холостяку», Остап подумал: «Сейчас я, кажется, холост. Еще недавно старгородский ЗАГС прислал мне извещение о том, что брак мой с гражданкой Грицацовой расторгнут по заявлению с ее стороны и что мне присваивается добрачная фамилия О. Бендер. Что ж, придется вести добрачную жизнь. Я холост, одинок и интеллигентен. Комната безусловно останется за мной».

И, натянув прохладные белые брюки, великий комбинатор отправился по указанному в объявлении адресу.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Васисуалий Лоханкин и его роль в русской революции

Ровно в 16 часов 40 минут Васисуалий Лоханкин объявил голодовку.

Он лежал на клеенчатом диване, отвернувшись от всего мира, лицом к выпуклой диванной спинке. Лежал он в подтяжках и зеленых носках, которые в Черноморске называют также ковричками.

Поголодав минут двадцать в таком положении, Лоханкин застонал, перевернулся на другой бок и посмотрел на жену. При этом зеленые коври-

¹ *Портплед* (от фр. *porter* — «носить» и англ. *plaid* — «плед», в буквальном переводе — «чехол для пледа») — изначально мягкая дорожная сумка для постельных принадлежностей.

ки описали в воздухе небольшую дугу. Жена бросала в крашенный дорожный мешок свое добро: фигурные флаконы, резиновый валик для массажа, два платья с хвостами и одно старое без хвоста, фетровый кивер со стеклянным полумесяцем, медные патроны с губной помадой и трикотажные рейтузы.

— Варвара! — сказал Лоханкин в нос.

Жена молчала, громко дыша.

— Варвара! — повторил он. — Неужели ты в самом деле уходишь от меня к Птибурдукову?

— Да, — ответила жена. — Я ухожу. Так надо.

— Но почему же, почему? — сказал Лоханкин с коровьей страстностью.

Его и без того крупные ноздри горестно раздулись. Задрожала фараонская борода.

— Потому что я его люблю.

— А я как же?

— Васисуалий! Я еще вчера поставила тебя в известность. Я тебя больше не люблю.

— Но я! Я же тебя люблю, Варвара!

— Это твое частное дело, Васисуалий. Я ухожу к Птибурдукову. Так надо.

— Нет! — воскликнул Лоханкин. — Так не надо! Не может один человек уйти, если другой его любит!

— Может, — раздраженно сказала Варвара, глядясь в карманное зеркальце. — И вообще перестань дурить, Васисуалий.

— В таком случае я продолжаю голодовку! — закричал несчастный муж. — Я буду голодать до тех пор, пока ты не вернешься. День. Неделю. Год буду голодать!

Лоханкин снова перевернулся и уткнул толстый нос в скользкую холодную клеенку.

— Так вот и буду лежать в подтяжках, — донеслось с дивана, — пока не умру. И во всем будешь виновата ты с инженером Птибурдуковым.

Жена подумала, надела на белое невыпяченное плечо свалившуюся бретельку и вдруг заголосила:

— Ты не смеешь так говорить о Птибурдукове! Он выше тебя!

Этого Лоханкин не снес. Он дернулся, словно электрический разряд пробил его во всю длину, от подтяжек до зеленых карпеток.

— Ты самка, Варвара, — тягуче заныл он. — Ты публичная девка!

— Васисуалий, ты дурак! — спокойно ответила жена.

— Волчица ты, — продолжал Лоханкин в том же тягучем тоне. — Тебя я презираю. К любовнику уходишь от меня. К Птибурдукову от меня уходишь. К ничтожному Птибурдукову нынче ты, мерзкая, уходишь от меня. Так вот к

кому ты от меня уходишь! Ты похоти предаться хочешь с ним. Волчица старая и мерзкая притом!

Упиваясь своим горем, Лоханкин даже не замечал, что говорит пятистопным ямбом, хотя никогда стихов не писал и не любил их читать.

— Васисуалий! Перестань паясничать, — сказала волчица, застегивая мешок. — Посмотри, на кого ты похож. Хоть бы умылся. Я ухожу. Прощай, Васисуалий! Твою хлебную карточку я оставляю на столе.

И Варвара, подхватив мешок, пошла к двери. Увидев, что заклинания не помогли, Лоханкин живо вскочил с дивана, подбежал к столу и с криком: «Спасите!» — порвал карточку. Варвара испугалась. Ей представился муж, иссохший от голода, с затихшими пульсами и холодными конечностями.

— Что ты сделал? — сказала она. — Ты не смеешь голодать!

— Буду! — упрямо заявил Лоханкин.

— Это глупо, Васисуалий. Это бунт индивидуальности.

— И этим я горжусь, — ответил Лоханкин подозрительным по ямбу тоном. — Ты недооцениваешь значения индивидуальности и вообще интеллигенции.

— Но ведь общественность тебя осудит.

— Пусть осудит, — решительно сказал Васисуалий и снова повалился на диван.

Варвара молча швырнула мешок на пол, поспешно стащила с головы соломенный капор и, бормоча: «Взбесившийся самец», «тиран», «собственник», торопливо сделала бутерброд с баклажанной икрой.

— Ешь! — сказала она, поднося пищу к пунцовым губам мужа. — Слышишь, Лоханкин? Ешь сейчас же. Ну!

— Оставь меня, — сказал он, отводя руку жены. Пользуясь тем, что рот голодающего на мгновение открылся, Варвара ловко впихнула бутерброд в отверстие, образовавшееся между фараонской бородкой и подбритыми московскими усиками. Но голодающий сильным ударом языка вытолкнул пищу наружу.

— Ешь, негодяй! — в отчаянии крикнула Варвара, тыча бутербродом. — Интеллигент!

Но Лоханкин отводил лицо и отрицательно мычал. Через несколько минут разгоряченная, вымазанная зеленой икрой¹ Варвара отступила. Она села на свой мешок и заплакала ледяными слезами.

Лоханкин смахнул с бороды затесавшиеся туда крошки, бросил на жену осторожный, косой взгляд и затих на своем диване. Ему очень не хотелось расставаться с Варварой. Наряду с множеством недостатков у Варвары были два

¹ Классическая баклажанная икра по-одесски — темно-зеленого цвета.



существенных достижения: большая белая грудь и служба. Сам Васисуалий никогда и нигде не служил. Служба помешала бы ему думать о значении русской интеллигенции, к каковой социальной прослойке он причислял и себя. Таким образом, продолжительные думы Лоханкина сводились к приятной и близкой теме: «Васисуалий Лоханкин и его значение», «Лоханкин и трагедия русского либерализма», «Лоханкин и его роль в русской революции». Обо всем этом было легко и покойно думать, разгуливая по комнате в фетровых сапожках, купленных на Варварины деньги, и поглядывая на любимый шкаф, где мерцали церковным золотом корешки брокгаузовского энциклопедического словаря. Подолгу стаивал Васисуалий перед шкафом, переводя взоры с корешка на корешок. По ранжиру вытянулись там дивные образцы переплетного искусства: «Большая медицинская энциклопедия», «Жизнь животных» Брэма, пудовый том «Мужчина и женщина», а также «Земля и люди» Элизе Реклю.

«Рядом с этой сокровищницей мысли, — неторопливо думал Васисуалий, — делаешься чище, как-то духовно растешь».

Придя к такому заключению, он радостно вздыхал, вытаскивал из-под шкафа «Родину» за 1899 год в переплете цвета морской волны с пеной и брызгами, рассматривал картинки англо-бурской войны, объявление неизвестной дамы, под названием: «Вот как я увеличила свой бюст на шесть дюймов» — и прочие интересные штучки.

С уходом Варвары исчезла бы и материальная база, на которой покоилось благополучие достойнейшего представителя мыслящего человечества.

Вечером пришел Птибурдуков. Он долго не решался войти в комнаты Лоханкиных и мыкался по кухне среди длиннопламенных примусов и протянутых накрест веревок, на которых висело сухое гипсовое белье с подтеками синьки. Квартира оживилась. Хлопали двери, проносились тени, светились глаза жильцов, и где-то страстно вздохнули — мужчина пришел.

Птибурдуков снял фуражку, дернул себя за инженерский ус и наконец решился.

— Варя, — умоляюще сказал он, входя в комнату, — мы же условились...

— Полюбуйся, Сашук! — закричала Варвара, хватая его за руку и подталкивая к дивану. — Вот он! Лежит! Самец! Подлый собственник! Понимаешь, этот крепостник объявил голодовку из-за того, что я хочу от него уйти.

Увидев Птибурдукова, голодающий сразу же пустил в ход пятистопный ямб.

— Птибурдуков, тебя я презираю, — заныл он. — Жены моей касаться ты не смей. Ты хам, Птибурдуков, мерзавец! Куда жену уводишь от меня?

— Товарищ Лоханкин, — ошеломленно сказал Птибурдуков, хватаясь за усы.

— Уйди, уйди, тебя я ненавижу, — продолжал Васисуалий, раскачиваясь, как старый еврей на молитве, — ты гнида жалкая и мерзкая притом. Не инженер ты — хам, мерзавец, сволочь, ползучий гад и сутенер притом!

— Как вам не стыдно, Васисуалий Андреич, — сказал заскучавший Птибурдуков, — даже просто глупо. Ну, подумайте, что вы делаете? На втором году пятилетки...

— Он мне посмел сказать, что это глупо! Он, он, жену укравший у меня! Уйди, Птибурдуков, не то тебе по вые, по шее то есть, вам я надаю.

— Большой человек, — сказал Птибурдуков, стараясь оставаться в рамках приличия.

Но Варваре эти рамки были тесны. Она схватила со стола уже засохший зеленый бутерброд и подступила к голодающему. Лоханкин защищался с таким отчаянием, словно бы его собирались кастрировать. Птибурдуков отвернулся и смотрел в окно на конский каштан, цветущий белыми свечками. Позади себя он слышал отвратительное мычание Лоханкина и крики Варвары: «Ешь, подлый человек! Ешь, крепостник!»

На другой день, расстроенная неожиданным препятствием, Варвара не пошла на службу. Голодающему стало хуже.

— Вот уже и рези в желудке начались, — сообщал он удовлетворенно, — а там цынга на почве недоедания, выпадение волос и зубов.

Птибурдуков привел брата — военного врача. Птибурдуков-второй долго прикладывал ухо к туловищу Лоханкина и прислушивался к работе его органов с той внимательностью, с какой кошка прислушивается к движению мыши, залезшей в сахарницу. Во время осмотра Васисуалий глядел на свою грудь, мохнатую, как демисезонное пальто, полными слез глазами. Ему было очень жалко себя. Птибурдуков-второй посмотрел на Птибурдукова-первого и сообщил, что больному диеты соблюдать не надо. Есть можно все. Например, суп, котлеты, компот. Можно также — хлеб, овощи, фрукты. Не исключена рыба. Курить можно, конечно, соблюдая меру. Пить не советует, но для аппетита неплохо было бы вводить в организм рюмку хорошего портвейна. В общем, доктор плохо разобрался в душевной драме Лоханкиных. Сановито отдуваясь и стуча сапогами, он ушел, заявив на прощание, что больному не возбраняется также купаться в море и ездить на велосипеде.

Но больной не думал вводить в организм ни компота, ни рыбы, ни котлет, ни прочих разносолов. Он не пошел к морю купаться, а продолжал лежать на диване, осыпая окружающих бранчливыми ямбами. Варвара почувствовала к нему жалость. «Из-за меня голодает, — размышляла она с гордостью, — какая все-таки страсть. Способен ли Сашук на такое высокое чувство?» И она бросала беспокойные взгляды на сытого Сашука, вид которого показывал, что любовные переживания не мешают ему регулярно вводить в организм обеды и ужины. И даже один раз, когда Птибурдуков вышел из комнаты, она

назвала Васисуалия «беденьким». При этом у рта голодающего снова появился бутерброд и снова был отвергнут. «Еще немного выдержки, — подумал Лоханкин, — и не видать Птибурдукову моей Варвары».

Он с удовольствием прислушивался к голосам из соседней комнаты.

— Он умрет без меня, — говорила Варвара, — придется нам подождать. Ты же видишь, что я сейчас не могу уйти.

Ночью Варваре приснился страшный сон. Иссохший от высокого чувства Васисуалий глодал белые шпоры на сапогах военного врача. Это было ужасно. На лице врача было покорное выражение, словно у коровы, которую доит деревенский вор. Шпоры гремели, зубы лязгали. В страхе Варвара проснулась.

Желтое японское солнце светило в упор, затрачивая всю свою силу на освещение такой мелочишки, как граненая пробка от пузырька с одеколоном «Турандот». Клеенчатый диван был пуст. Варвара повела глазами и увидела Васисуалия. Он стоял у открытой дверцы буфета, спиной к кровати, и громко чавкал. От нетерпения и жадности он наклонялся, притопывал ногой в зеленом носке и издавал носом свистящие и хлюпающие звуки. Опустошив высокую баночку консервов, он осторожно снял крышку с кастрюли и, погрузив пальцы в холодный борщ, извлек оттуда кусок мяса. Если бы Варвара поймала мужа за этим занятием даже в лучшие времена их брачной жизни, то и тогда Васисуалию пришлось бы худо. Теперь же участь его была решена.

— Лоханкин! — сказала она ужасным голосом.

От испуга голодающий выпустил мясо, которое шлепнулось обратно в кастрюлю, подняв фонтанчик из капусты и морковных звезд. С жалобным воем кинулся Васисуалий к дивану. Варвара молча и быстро одевалась.

— Варвара! — сказал он в нос. — Неужели ты в самом деле уходишь от меня в Птибурдукову?

Ответа не было.

— Волчица ты, — неуверенно объявил Лоханкин, — тебя я презираю, к Птибурдукову ты уходишь от меня...

Но было уже поздно. Напрасно хныкал Васисуалий о любви и голодной смерти. Варвара ушла навсегда, волоча за собой дорожный мешок с цветными рейтузами, фетровой шляпой, фигурными флаконами и прочими предметами дамского обихода.

И в жизни Васисуалия Андреевича наступил период мучительных дум и моральных страданий. Есть люди, которые не умеют страдать, как-то не выходит. А если уж и страдают, то стараются проделать это как можно быстрее и незаметнее для окружающих. Лоханкин же страдал открыто, величаво, он хлестал свое горе чайными стаканами, он упивался им. Великая скорбь давала ему возможность лишней раз поразмыслить о значении русской интеллигенции, а равно о трагедии русского либерализма.

«А может быть, так надо, — думал он, — может быть, это искупление, и я выйду из него очищенным? Не такова ли судьба всех стоящих выше толпы людей с тонкой конституцией? Галилей, Милюков, А. Ф. Кони. Да, да, Варвара права, так надо!»

Душевная депрессия не помешала ему, однако, дать в газету объявление о сдаче внаем второй комнаты.

«Это все-таки материально поддержит меня на первых порах», — решил Васисуалий. И снова погрузился в туманные соображения о страданиях плоти и значении души как источника прекрасного.

От этого занятия его не могли отвлечь даже настоятельные указания соседей на необходимость тушить за собой свет в уборной. Находясь в расстройстве чувств, Лоханкин постоянно забывал это делать, что очень возмущало экономных жильцов.

Между тем обитатели большой коммунальной квартиры номер три, в которой обитал Лоханкин, считались людьми своенравными и известны были всему дому частыми скандалами и тяжелыми склоками. Квартиру номер три прозвали даже «Вороньей слободкой». Продолжительная совместная жизнь закалила этих людей, и они не знали страха. Квартирное равновесие поддерживалось блоками между отдельными жильцами. Иногда обитатели «Вороньей слободки» объединялись все вместе против какого-либо одного квартиранта, и плохо приходилось такому квартиранту. Центростремительная сила сутяжничества подхватывала его, втягивала в канцелярии юрисконсультов, вихрем пронесла через прокуренные судебные коридоры и вталкивала в камеры товарищеских и народных судов. И долго еще скитался непокорный квартирант, в поисках правды добираясь до самого всесоюзного старосты, товарища Калинина. И до самой своей смерти квартирант будет сыпать юридическими словечками, которых понаберется в разных присутственных местах, будет говорить не «наказывается» а «наказуется», не «поступок», а «деяние». Себя будет называть не «товарищ Жуков», как положено ему со дня рождения, а «потерпевшая сторона». Но чаще всего и с особенным наслаждением он будет произносить выражение «вчинить иск». И жизнь его, которая и прежде не текла молоком и медом, станет совсем уже дрянной.

Задолго до семейной драмы Лоханкиных летчик Севрюгов, к несчастью своему, проживавший в квартире номер три, вылетел по срочной командировке Осоевиахима¹ за полярный круг. Весь мир, волнуясь, следил за полетом Севрюгова. Пропала без вести иностранная экспедиция, шедшая к полюсу, и Севрюгов должен был ее отыскать. Мир жил надеждой на успешные действия летчика. Переговаривались радиостанции всех материков, метеорологи предостерегали отважного Севрюгова от магнитных бурь, коротковолновики

¹ Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству.

наполняли эфир свистом, и польская газета «Курьер Поранный», близкая к министерству иностранных дел, уже требовала расширения Польши до границы 1772 года. Целый месяц жилац квартиры номер три летал над ледяной пустыней, и грохот его моторов был слышен во всем мире.

Наконец Севрюгов совершил то, что совсем сбило с толку газету, близкую к польскому министерству иностранных дел. Он нашел затерянную среди торосов экспедицию, успел сообщить точное ее местонахождение, но после этого вдруг исчез сам. При этом известии земной шар переполнился криками. Имя Севрюгова произносилось на трехстах двадцати языках и наречиях, включая сюда язык черноногих индейцев, портреты Севрюгова в звериных шкурах появились на каждом свободном листке бумаги. В беседе с представителями печати Габриэль д'Аннунцио заявил, что только что закончил новый роман и сейчас же вылетает на поиски отважного русского. Появился чарльстон «Мне тепло с моей крошкой на полюсе». И старые московские халтурщики Услышкин-Вертер, Леонид Трепетовский и Борис Аммиаков, издавна практиковавшие литературный демпинг и выбрасывавшие на рынок свою продукцию по бросовым ценам, уже писали обозрение под названием «А вам не холодно?». Одним словом, наша планета переживала великую сенсацию.

Но еще большую сенсацию вызвало это сообщение в квартире номер три, находящейся в доме номер восемь по Лимонному переулку и известной больше под именем «Вороньей слободки».

— Пропал наш квартирант, — радостно говорил отставной дворник Никита Пряхин, суша над примусом валеный сапог. — Пропал, миленький. А не летай, не летай! Человек ходить должен, а не летать. Ходить должен, ходить.

И он переворачивал валенок над стонущим огнем.

— Долетался, желтоглазый, — бормотала бабушка, имени-фамилии которой никто не знал. Жила она на антресолях¹, над кухней, и, хотя вся квартира освещалась электричеством, бабушка жгла у себя наверху керосиновую лампу с рефлектором. Электричеству она не доверяла. — Вот и комната освободилась, площадь!

Бабушка первой произнесла слово, которое давно уже тяжелило сердца обитателей «Вороньей слободки». О комнате пропавшего летчика заговорили все: и бывший горский князь, а ныне трудящийся Востока, гражданин Гиgieniшвили, и Дуня, арендовавшая койку в комнате тети Паши, и сама тетя Паша — торговка и горькая пьяница, и Александр Дмитриевич Суховеико, в прошлом камергер двора его императорского величества, которого в квартире звали просто Митричем, и прочая квартирная сошка, во главе с ответственной съемщицей Люцией Францевной Пферд.

¹ Антресоль (фр.) — дополнительный половинный низенький этаж, устраиваемый в высоких комнатах.

— Что ж, — сказал Митрич, поправляя золотые очки, когда кухня наполнилась жильцами, — раз товарищ исчез, надо делить. Я, например, давно имею право на дополнительную площадь.

— Почему ж мужчине площадь? — возразила коечница Дуня. — Надо женщине. У меня, может, другого такого случая в жизни не будет, чтоб мужчина вдруг пропал.

И долго она еще толкалась между собравшимися, приводя различные доводы в свою пользу и часто произнося слово «мужчина».

Во всяком случае жильцы сходились на том, что комнату нужно забрать немедленно.

В тот же день мир задрожал от новой сенсации. Смелый Севрюгов нашелся, Нижний Новгород, Квебек и Рейкьявик услышали позывные Севрюгова. Он сидел с подмятым шасси на 84-й параллели. Эфир сотрясился от сообщений: «Смелый русский чувствует себя отлично», «Севрюгов шлет рапорт президиуму Осоавиахима», «Чарльз Линдберг считает Севрюгова лучшим летчиком в мире», «Семь ледоколов вышли на помощь Севрюгову и обнаруженной им экспедиции». В промежутках между этими сообщениями газеты печатали только фотографии каких-то ледяных кромок и берегов. Без конца слышались слова: «Севрюгов, Нордкап, параллель, Севрюгов, Земля Франца-Иосифа, Шпицберген, Кингсбей, пимы¹, горячее, Севрюгов».

Уныние, охватившее при этом известии «Воронью слободку», вскоре сменилось спокойной уверенностью. Ледоколы продвигались медленно, с трудом разбивая ледяные поля.

— Отобрать комнату, и все, — говорил Никита Пряхин. — Ему хорошо там на льду сидеть, а тут, например, Дуня все права имеет. Тем более по закону жилец не имеет права больше двух месяцев отсутствовать.

— Как вам не стыдно, гражданин Пряхин! — возражала Варвара, в то время еще Лоханкина, размахивая «Известиями». — Ведь это герой. Ведь он сейчас на восемьдесят четвертой параллели!

— Что еще за параллель такая, — смутно отзывался Митрич. — Может, такой никакой параллели и вовсе нету. Этого мы не знаем. В гимназиях не обучались.

Митрич говорил сущую правду. В гимназии он не обучался. Он окончил Пажеский корпус.

— Да вы поймите, — кипятилась Варвара, поднося к носу камергера газетный лист. — Вот статья. Видите? «Среди торосов и айсбергов».

— Айсберги! — говорил Митрич насмешливо. — Это мы понять можем. Десять лет как жизни нет. Все Айсберги, Вайсберги, Айзенберги, всякие там

¹ Пимы — разновидность сапог для Крайнего Севера, то же, что и унты.

Рабиновичи. Верно Пряхин говорит. Отобрать — и все. Тем более, что вот и Люция Францевна подтверждает насчет закона.

— А вещи на лестницу выкинуть, к чертям собачьим! — грудным голо- сом воскликнул бывший князь, а ныне трудящийся Востока, гражданин Ги- гиенишвили.

Варвару быстро заклевали, и она побежала жаловаться мужу.

— А может быть, так надо, — ответил муж, поднимая фараонскую боро- ду, — может, устами простого мужика Митрича говорит великая сермяжная правда. Вдумайся только в роль русской интеллигенции, в ее значение.

В тот великий день, когда ледоколы достигли наконец палатки Севрю- гова, гражданин Гигиенишвили взломал замок на севрюговской двери и вы- бросил в коридор все имущество героя, в том числе висевший на стене крас- ный пропеллер. В комнату вселилась Дуня, немедленно впустившая к себе за плату шестерых коечников. На завоеванной площади всю ночь длился пир. Никита Пряхин играл на гармонии, и камергер Митрич плясал «русскую» с пьяной тетей Пашей.

Будь у Севрюгова слава хоть чуть поменьше той всемирной, которую он приобрел своими замечательными полетами над Арктикой, не увидел бы он никогда своей комнаты, засосала бы его центростремительная сила сутяжни- чества, и до самой своей смерти называл бы он себя не «отважным Севрю- говым», не «ледовым героем», а «потерпевшей стороной». Но на этот раз «Воронью слободку» основательно прищемили. Комнату вернули (Севрю- гов вскоре переехал в новый дом), а бравый Гигиенишвили за самоуправство просидел в тюрьме четыре месяца и вернулся оттуда злой как черт.

Именно он сделал осиротевшему Лоханкину первое представление о не- обходимости регулярно тушить за собою свет, покидая уборную. При этом глаза у него были решительно дьявольские. Рассеянный Лоханкин не оце- нил важности демарша, предпринятого гражданином Гигиенишвили, и таким образом проморгал начало конфликта, который привел вскоре к ужасающе- му, небывалому даже в жилищной практике событию.

Вот как обернулось это дело. Васисуалий Андреевич по-прежнему за- бывал тушить свет в помещении общего пользования. Да и мог ли он пом- нить о таких мелочах быта, когда ушла жена, когда остался он без копей- ки, когда не было еще точно уяснено все многообразное значение русской интеллигенции? Мог ли он думать, что жалкий бронзовый светилко вось- мисвечевой лампы вызовет в соседях такое большое чувство? Сперва его предупреждали по нескольку раз в день. Потом прислали письмо, состав- ленное Митричем и подписанное всеми жильцами. И наконец перестали предупреждать и уже не слали писем. Лоханкин еще не постигал значи- тельности происходящего, но уже смутно почудилось ему, что некое кольцо готово сомкнуться.

Во вторник вечером прибежала тети Пашина девчонка и одним духом от-
рапортовала:

— Они последний раз говорят, чтоб тушили.

Но как-то так случилось, что Васисуалий Андреевич снова забылся, и
лампочка продолжала преступно светить сквозь паутину и грязь. Квартира
вдохнула. Через минуту в дверях лоханкинской комнаты показался гражда-
нин Гигиенишвили. Он был в голубых полотняных сапогах и в плоской шапке
из коричневого барашка.

— Идем, — сказал он, маня Васисуалия пальцем.

Он крепко взял его за руку, повел по темному коридору, где Васисуалий
почему-то затосковал и стал даже легонько брыкаться, и ударом в спину вы-
толкнул его на середину кухни. Уцепившись за бельевые веревки, Лоханкин
удержал равновесие и испуганно оглянулся. Здесь собралась вся квартира.
В молчании стояла здесь Люция Францевна Пферд. Фиолетовые химиче-
ские морщины лежали на властном лице ответственной съемщицы. Рядом с
нею, пригорюнившись, сидела на плите пьяненькая тетя Паша. Усмехаясь,
смотрел на оробевшего Лоханкина босой Никита Пряхин. С антресолей све-
шивалась голова ничьей бабушки. Дуня делала знаки Митричу. Бывший ка-
мергер двора улыбался, пряча что-то за спиной.

— Что? Общее собрание будет? — спросил Васисуалий Андреевич то-
неньким голосом.

— Будет, будет, — сказал Никита Пряхин, приближаясь к Лоханки-
ну, — все тебе будет. Кофе тебе будет, какава! Ложись! — закричал он вдруг,
дохнув на Васисуалия не то водкой, не то скипидаром.

— В каком смысле ложись? — спросил Васисуалий Андреевич, начиная
дрожать.

— А что с ним говорить, с нехорошим человеком! — сказал гражданин
Гигиенишвили. И, присев на корточки, принялся шарить по талии Лоханкина,
отстегивая подтяжки.

— На помощь! — шепотом произнес Васисуалий, устремляя безумный
взгляд на Люцию Францевну.

— Свет надо было тушить! — сурово ответила гражданка Пферд.

— Мы не буржуи — электрическую энергию зря жечь, — добавил ка-
мергер Митрич, окуная что-то в ведро с водой.

— Я не виноват! — запищал Лоханкин, вырываясь из рук бывшего кня-
зя, а ныне трудящегося Востока.

— Все не виноваты! — бормотал Никита Пряхин, придерживая трепе-
щущего жильца.

— Я же ничего такого не сделал.

— Все ничего такого не сделали.

— У меня душевная депрессия.

— У всех душевная.
— Вы не смеете меня трогать. Я малокровный.
— Все, все малокровные.
— От меня жена ушла! — надрывался Васисуалий.
— У всех жена ушла, — отвечал Никита Пряхин.
— Давай, давай, Никитушко! — хлопотливо молвил камергер Митрич, вынося к свету мокрые, блестящие розги. — За разговорами до свету не справимся.

Васисуалия Андреевича положили животом на пол. Ноги его молочно за-светились. Гигиенишвили размахнулся изо всей силы, и розга тонко запищала в воздухе.

— Мамочка! — взвизгнул Васисуалий.

— У всех мамочка! — наставительно сказал Никита, прижимая Лоханкина коленом.

И тут Васисуалий вдруг замолчал.

«А может быть, так надо, — подумал он, дергаясь от ударов и разглядывая темные, панцирные ногти на ноге Никиты. — Может, именно в этом искупление, очищение, великая жертва...»

И покуда его поролы, покуда Дуня конфузливо смеялась, а бабушка покрикивала с антресолей: «Так его, болезного, так его, родименького!» — Васисуалий Андреевич сосредоточенно думал о значении русской интеллигенции и о том, что Галилей тоже потерпел за правду.

Последним взял розги Митрич.

— Дай-кось я попробую, — сказал он, занося руку. — Надаю ему лозанов по филейным частям.

Но Лоханкину не пришлось отведать камергерской лозы. В дверь черного хода постучали. Дуня бросилась открывать. (Парадный ход «Вороньей слободки» был давно заколочен по той причине, что жильцы никак не могли решить, кто первый должен мыть лестницу. По этой же причине была наглухо заперта и ванная комната.)

— Васисуалий Андреевич, вас незнакомый мужчина спрашивает, — сказала Дуня как ни в чем не бывало.

И все действительно увидели стоявшего в дверях незнакомого мужчину в белых джентльменских брюках. Васисуалий Андреевич живо вскочил, поправил свой туалет и с ненужной улыбкой обратил лицо к вошедшему Бендеру.

— Я вам не помешал? — учтиво спросил великий комбинатор, щурясь.

— Да, да, — пролепетал Лоханкин, шаркая ножкой, — видите ли, тут я был, как бы вам сказать, немножко занят... Но... кажется, я уже освободился?

И он искательно посмотрел по сторонам. Но в кухне уже не было никого, кроме тети Паши, заснувшей на плите во время экзекуции. На дощатом полу



валялись отдельные прутики и белая полотняная пуговица с двумя дырочками.

— Пожалуйста ко мне, — пригласил Васисуалий.

— А может быть, я вас все-таки отвлек? — спросил Остап, очутившись в первой комнате Лоханкина. — Нет? Ну, хорошо. Так это у вас «Сд. пр. ком. в уд. в. н. м. од. ин. хол.»? А она на самом деле «пр.» и имеет «в. уд.»?

— Совершенно верно, — оживился Васисуалий, — прекрасная комната, все удобства. И недорого возьму. Пятьдесят рублей в месяц.

— Торговаться я не стану, — вежливо сказал Остап, — но вот соседи... Как они?

— Прекрасные люди, — ответил Васисуалий, — и вообще все удобства. И цена дешевая.

— Но ведь они, кажется, ввели в этой квартире телесные наказания?

— Ах, — сказал Лоханкин проникновенно, — ведь, в конце концов, кто знает? Может быть, так надо. Может быть, именно в этом великая сермяжная правда.

— Сермяжная? — задумчиво повторил Бендер. — Она же посконная,

домотканая и кондовая? Так, так. В общем, скажите, из какого класса гимназии вас вытурили за неуспешность? Из шестого?

— Из пятого, — ответил Лоханкин.

— Золотой класс. Значит, до физики Краевича вы не дошли? И с тех пор вели исключительно интеллектуальный образ жизни? Впрочем, мне все равно. Живите, как хотите. Завтра я к вам переезжаю.

— А задаток? — спросил бывший гимназист.

— Вы не в церкви, вас не обманут, — веско сказал великий комбинатор. — Будет и задаток. С течением времени.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Первое свидание

Когда Остап вернулся в гостиницу «Карлсбад» и, отразившись несчетное число раз в вестибюльных, лестничных и коридорных зеркалах, которыми так любят украшаться подобного рода учреждения, вошел к себе, его смутил господствующий в номере беспорядок. Красное плюшевое кресло лежало кверху куцыми ножками, обнаруживая непривлекательную джутовую изнанку. Бархатная скатерть с позументами съехала со стола. Даже картина «Явление Христа народу», и та покосилась набок, потерявши в этом виде большую часть поучительности, которую вложил в нее художник. С балкона дул свежий пароходный ветер, передвигая разбросанные по кровати денежные знаки. Между ними валялась железная коробка от папирос «Кавказ». На ковре, сцепившись и выбрасывая ноги, молча катались Паниковский и Балаганов.

Великий комбинатор брезгливо перешагнул через дерущихся и вышел на балкон. Внизу, на бульваре, лепетали гуляющие, перемальвался под ногами гравий, реяло над черными кленами слитное дыхание симфонического оркестра. В темной глубине порта кичился огнями и гремел железом строящийся холодильник. За брекватером¹ ревел и чего-то требовал невидимый пароход, вероятно, просился в гавань.

Возвратившись в номер, Остап увидел, что молочные братья уже сидят друг против друга на полу и, устало отпихиваясь ладонями, бормочут: «А ты кто такой?»

— Не поделились? — спросил Бендер, задерживая портьеру.

Паниковский и Балаганов быстро вскочили на ноги и принялись рассказывать. Каждый из них приписывал весь успех себе и чернил действия другого. Обидные для себя подробности они, не сговариваясь, опускали, приводя взамен их большое количество деталей, рисующих в выгодном свете их молодечество и расторопность.

¹ Брекватер — волнолом, волнорез.

— Ну, довольно! — молвил Остап. — Не стучите лысиной по паркету. Картина битвы мне ясна. Так вы говорите, с ним была девушка? Это хорошо. Итак, маленький служащий запросто носит в кармане... вы, кажется, уже посчитали? Сколько там? Ого! Десять тысяч! Жалованье господина Корейко за двадцать лет беспорочной службы. Зрелище для богов, как пишут наиболее умные передовики. Но не помешал ли я вам? Вы что-то делали тут на полу? Вы делили деньги? Продолжайте, продолжайте, я посмотрю.

— Я хотел честно, — сказал Балаганов, собирая деньги с кровати, — по справедливости. Всем поровну — по две с половиной тысячи.

И, разложив деньги на четыре кучки, он скромно отошел в сторону, сказавши:

— Вам, мне, ему и Козлевичу.

— Очень хорошо, — заметил Остап. — А теперь пусть разделит Паниковский, у него, как видно, имеется особое мнение.

Оставшийся при особом мнении Паниковский принялся за дело с большим азартом. Наклонившись над кроватью, он шевелил толстыми губами, слюнил пальцы и без конца переносил бумажки с места на место, будто раскладывал Большой Королевский пасьянс. После всех ухищрений на одеяле образовались три стопки: одна — большая, из чистых, новеньких бумажек, вторая — такая же, но из бумажек погрязнее, и третья — маленькая и совсем грязная.

— Нам с вами по четыре тысячи, — сказал он Бендеру, — а Балаганову две. Он и на две не наработал.

— А Козлевичу? — спросил Балаганов, в гневе закрывая глаза.

— За что же Козлевичу? — завизжал Паниковский. — Это грабеж! Кто такой Козлевич, чтобы с ним делиться? Я не знаю никакого Козлевича.

— Все? — спросил великий комбинатор.

— Все, — ответил Паниковский, не отводя глаз от пачки с чистыми бумажками. — Какой может быть в этот момент Козлевич?

— А теперь буду делить я, — по-хозяйски сказал Остап.

Он не спеша соединил кучки воедино, сложил деньги в железную коробочку и засунул ее в карман белых брюк.

— Все эти деньги, — заключил он, — будут сейчас же возвращены потерпевшему гражданину Корейко. Вам нравится такой способ дележки?

— Нет, не нравится, — вырвалось у Паниковского.

— Бросьте шутить, Бендер, — недовольно сказал Балаганов. — Надо разделить по справедливости.

— Этого не будет, — холодно сказал Остап. — И вообще в этот полночный час я с вами шутить не собираюсь.

Паниковский всплеснул старческими лиловатыми ладонями. Он с ужасом посмотрел на великого комбинатора, отошел в угол и затих. Изредка только сверкал оттуда золотой зуб нарушителя конвенции.

У Балаганова сразу сделалось мокрое, как бы сварившееся на солнце лицо.

— Зачем же мы работали? — сказал он, отдуваясь. — Так нельзя. Это... объясните.

— Вам, — вежливо сказал Остап, — любимому сыну лейтенанта, я могу повторить только то, что я говорил в Арбатове. Я чту Уголовный кодекс. Я не налетчик, а идейный борец за денежные знаки. В мои четыреста честных способов отъема денег ограбление не входит, как-то не укладывается. И потом мы прибыли сюда не за десятью тысячами. Этих тысяч мне лично нужно по крайней мере пятьсот.

— Зачем же вы послали нас? — спросил Балаганов остывая. — Мы старались.

— Иными словами, вы хотите спросить, известно ли достопочтенному командору, с какой целью он предпринял последнюю операцию? На это отведу: да, известно. Дело в том...

В эту минуту в углу потух золотой зуб. Паниковский развернулся, опустил голову и с криком: «А ты кто такой?» — вне себя бросился на Остапа. Не переменяя позы и даже не повернув головы, великий комбинатор толчком каучукового кулака вернул взбесившегося нарушителя конвенции на прежнее место и продолжал:

— Дело в том, Шура, что это была проверка. У служащего с сорокарублевым жалованьем оказалось в кармане десять тысяч рублей, что несколько странно и дает нам большие шансы, позволяет, как говорят марафоны и беговые жуки, надеяться на куш. Пятьсот тысяч — это безусловно куш. И получим мы его так. Я возвращу Корейко десять тысяч, и он их возьмет. Хотел бы я видеть человека, который не взял бы назад своих денег. И вот тут-то ему придет конец. Его погубит жадность. И едва только он сознается в своем богатстве, я возьму его голыми руками. Как человек умный, он поймет, что часть меньше целого, и отдаст мне эту часть из опасения потерять все. И тут, Шура, на сцену появится некая тарелочка с каемкой...

— Правильно! — воскликнул Балаганов.

В углу плакал Паниковский.

— Отдайте мне мои деньги, — шепелявил он, — я совсем бедный! Я год не был в бане. Я старый. Меня девушки не любят.

— Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ¹, — сказал Бендер. — Может быть, там помогут.

— Меня никто не любит, — продолжал Паниковский, содрогаясь.

¹ *Всемирная лига сексуальных реформ* — организация, существовавшая с 1921 по 1935 год в Германии и ставившая перед собой цель «проведение реформ в вопросах секса».



— А за что вас любить? Таких, как вы, девушки не любят. Они любят молодых, длинноногих, политически грамотных. А вы скоро умрете. И никто не напишет про вас в газете: «Еще один сгорел на работе». И на могиле не будет сидеть прекрасная вдова с персидскими глазами. И заплаканные дети не будут спрашивать: «Папа, папа, слышишь ли ты нас?»

— Не говорите так! — закричал перепугавшийся Паниковский. — Я всех вас переживу. Вы не знаете Паниковского. Паниковский вас всех еще продаст и купит. Отдайте мои деньги.

— Вы лучше скажите, будете служить или нет? Последний раз спрашиваю.

— Буду, — ответил Паниковский, утирая медленные стариковские слезы.

Ночь, ночь, ночь лежала над всей страной.

В Черноморском порту легко поворачивались краны, спускали стальные стропы в глубокие трюмы иностранцев и снова поворачивались, чтобы осторожно, с кошачьей любовью опустить на пристань сосновые ящики с оборудованием Тракторостроя. Розовый кометный огонь рвался из высоких труб силикатных заводов. Пылали звездные скопления Днепростроя, Магнитогорска и Сталинграда. На севере взошла Краснопутиловская звезда, а за нею зажглось великое множество звезд первой величины. Были тут фабрики, комбинаты, электростанции, новостройки. Светилась вся пятилетка, затмевая блеском старое, примелькавшееся еще египтянам небо.

И молодой человек, засидевшийся с любимой в рабочем клубе, торопливо зажигал электрифицированную карту пятилетки и шептал:

— Посмотри, вон красный огонек. Там будет Сибкомбайн. Мы поедем туда. Хочешь?

И любимая тихо смеялась, высвобождая руки.

Ночь, ночь, ночь, как уже было сказано, лежала над всей страной. Стонал во сне монархист Хворобьев, которому привиделась огромная профсоюзная книжка. В поезде, на верхней полке, храпел инженер Талмудовский, кативший из Харькова в Ростов, куда манил его лучший оклад жалованья. Качались на широкой атлантической волне американские джентльмены, уезжая на родину рецепт прекрасного пшеничного самогона. Ворочался на своем диване Васисуалий Лоханкин, потирая рукой пострадавшие места. Старый ребусник Синицкий зря жег электричество, сочиняя для журнала «Водопроводное дело» загадочную картинку: «Где председатель этого общего собрания рабочих и служащих, собравшихся на выборы месткома насосной станции?» При этом он старался не шуметь, чтобы не разбудить Зосю. Полыхаев лежал в постели с Серной Михайловной. Прочие геркулесовцы спали тревожным сном в разных частях города. Александр Иванович Корейко не мог заснуть, мучимый мыслью о своем богатстве. Если бы этого богатства не было вовсе,

он спал бы спокойно. Что делали Бендер, Балаганов и Паниковский — уже известно. И только о Козлевиче, водителе и собственнике «Антилопы-Гну», ничего сейчас не будет сказано, хотя уже стряслась с ним беда чрезвычайно политического свойства.

Рано утром Бендер раскрыл свой акушерский саквояж, вынул оттуда милицейскую фуражку с гербом города Киева и, засунув ее в карман, отправился к Александру Ивановичу Корейко. По дороге он задира л молочниц, ибо час этих оборотистых женщин уже наступил, в то время как час служащих еще не начинался, и мурлыкал слова романа: «И радость первого свиданья мне не волнует больше кровь». Великий комбинатор немного кривил душой. Первое свидание с миллионером-конторщиком возбуждало его. Войдя в дом № 16 по Малой Касательной улице, он напялил на себя официальную фуражку и, сдвинув брови, постучал в дверь.

Посредине комнаты стоял Александр Иванович. Он был в сетке-безрукавке и уже успел надеть брюки мелкого служащего. Комната была обставлена с примерной бедностью, принятой в дореволюционное время в сиротских приютах и тому подобных организациях, состоявших под покровительством императрицы Марии Федоровны. Здесь находились три предмета: железная лазаретная кровать, кухонный стол с дверцами, снабженными деревянной щеколдой, какой обычно запираются дачные сортиры, и облезший венский стул. В углу лежали гантели, и среди них две больших гири, утеха тяжелоатлета.

При виде милиционера Александр Иванович тяжело ступил вперед.

— Гражданин Корейко? — спросил Остап, лучезарно улыбаясь.

— Я, — ответил Александр Иванович, также выказывая радость по поводу встречи с представителем власти.

— Александр Иванович? — осведомился Остап, улыбаясь еще лучезарнее.

— Точно так, — подтвердил Корейко, подогревая свою радость сколько возможно.

После этого великому комбинатору оставалось только сесть на венский стул и учинить на лице сверхъестественную улыбку. Проделав все это, он посмотрел на Александра Ивановича. Но миллионер-конторщик напрягся и изобразил черт знает что: и умиление, и восторг, и восхищение, и немое обожание. И все это по поводу счастливой встречи с представителем власти.

Происшедшее нарастание улыбок и чувств напоминало рукопись композитора Франца Листа, где на первой странице указано играть «быстро», на второй — «очень быстро», на третьей — «гораздо быстрее», на четвертой — «быстро, как только возможно», и все-таки на пятой — «еще быстрее».

Увидев, что Корейко достиг пятой страницы и дальнейшее соревнование невозможно, Остап приступил к делу.

— А ведь я к вам с поручением, — сказал он, становясь серьезным.

— Пожалуйста, пожалуйста, — заметил Александр Иванович, тоже затуманившись.

— Хотим вас обрадовать.

— Любопытно будет узнать.

И, безмерно грустя, Бендер полез в карман. Корейко следил за его действиями с совсем уже похоронным лицом. На свет появилась железная коробка от папирос «Кавказ». Однако ожидаемого Остапом возгласа удивления не последовало. Подпольный миллионер смотрел на коробку с полнейшим равнодушием. Остап вынул деньги, тщательно пересчитал их и, пододвинув пачку к Александру Ивановичу, сказал:

— Ровно десять тысяч. Потрудитесь написать расписку в получении.

— Вы ошиблись, товарищ, — сказал Корейко очень тихо. — Какие десять тысяч? Какая расписка?

— Как какая? Ведь вас вчера ограбили?

— Меня никто не грабил.

— Да как же не ограбили? — взволновался Остап. — Вчера у моря. И забрали десять тысяч. Грабители арестованы. Пишите расписку.

— Да, ей-богу же, меня никто не грабил, — сказал Корейко, по лицу которого промелькнул светлый зайчик. — Тут явная ошибка.

Еще не осмыслив глубины своего поражения, великий комбинатор допустил неприличную суетливость, о чем всегда вспоминал впоследствии со стыдом. Он настаивал, сердился, совал деньги в руки Александру Ивановичу и вообще, как говорят китайцы, потерял лицо. Корейко пожимал плечами, предупредительно улыбался, но денег не брал.

— Значит, вас не грабили?

— Никто меня не грабил.

— И десять тысяч у вас не брали?

— Конечно, не брали. Ну, как вы думаете, откуда у меня может быть столько денег?

— Верно, верно, — сказал Остап, поостыв. — Откуда у мелкого служащего такая уйма денег?.. Значит, у вас все в порядке?

— Все! — ответил миллионер с чарующей улыбкой.

— И желудок в порядке? — спросил Остап, улыбаясь еще обольстительнее.

— В полнейшем. Вы знаете, я очень здоровый человек.

— И тяжелые сны вас не мучат?

— Нет, не мучат.

Дальше по части улыбок все шло совсем как у Листа, быстро, очень быстро, гораздо быстрее, быстро, как только возможно, и даже еще быстрее. Прощались новые знакомые так, словно не чаяли друг в друге души.



— Фуражечку милицейскую не забудьте, — говорил Александр Иванович. — Она на столе осталась.

— Не ешьте на ночь сырых помидоров, — советовал Остап, — чтоб не причинить вреда желудку.

— Всего хорошего, — говорил Корейко, радостно откланиваясь и шаркая ножкой.

— До свидания, до свидания, — отвечивал Остап, — интересный вы человек! Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.

И, все еще неся на лице ненужную улыбку, великий комбинатор выскочил на улицу. Несколько кварталов он прошел скорым шагом, позабыв о том, что на голове его сидит официальная фуражка с гербом города Киева, совершенно неуместным в городе Черноморске. И, только очутившись в толпе почтенных стариков, гомонивших напротив крытой веранды нарпитовской столовой № 68, он опомнился и принялся спокойно взвешивать шансы.

Пока он предавался своим размышлениям, рассеянно прогуливаясь взад и вперед, старики продолжали заниматься ежедневным своим делом.

Это были странные и смешные в наше время люди.

Почти все они были в белых пикейных жилетах и в соломенных шляпах канотье. Некоторые носили даже шляпы из потемневшей панамской соломы.

И уже, конечно, все были в пожелтевших крахмальных воротничках, откуда поднимались волосатые куриные шеи. Здесь, у столовой № 68, где раньше помещалось прославленное кафе «Флорида», собирались обломки довоенного коммерческого Черноморска: маклеры, оставшиеся без своих контор, коммиссионеры, увядшие по случаю отсутствия комиссий, хлебные агенты, выжившие из ума бухгалтеры и другая шушера. Когда-то они собирались здесь для совершения сделок. Сейчас же их тянули сюда, на солнечный угол, долголетняя привычка и необходимость почесать старые языки. Они ежедневно прочитывали московскую «Правду» — местную прессу они не уважали, — и все, что бы ни происходило на свете, старики рассматривали как прелюдию к объявлению Черноморска вольным городом. Когда-то, лет сто тому назад, Черноморск был действительно вольным городом, и это было так весело и доходно, что легенда о «порто-франко»¹ до сих пор еще бросала золотой блеск на светлый угол у кафе «Флорида».

— Читали про конференцию по разоружению? — обращался один пикейный жилет к другому пикейному жилету. — Выступление графа Бернсторфа.

— Бернсторф — это голова! — отвечал спрошенный жилет таким тоном, будто убедился в том на основе долголетнего знакомства с графом. — А вы читали, какую речь произнес Сноуден на собрании избирателей в Бирмингеме, этой цитадели консерваторов?

— Ну, о чем говорить... Сноуден — это голова! Слушайте, Валиадис, — обращался он к третьему старику в панаме. — Что вы скажете насчет Сноудена?

— Я скажу вам откровенно, — отвечала панама, — Сноудену пальца в рот не клади. Я лично свой палец не положил бы.

И, нимало не смущаясь тем, что Сноуден ни за что на свете не позволил бы Валиадису лезть пальцем в свой рот, старик продолжал:

— Но что бы вы ни говорили, я вам скажу откровенно: Чемберлен все-таки тоже голова.

Пикейные жилеты поднимали плечи. Они не отрицали, что Чемберлен тоже голова. Но больше всего утешал их Бриан.

— Бриан! — говорили они с жаром. — Вот это голова! Он со своим проектом «Пан-Европы»...

— Скажу вам откровенно, мосье Фунт, — шептал Валиадис, — все в порядке. Бенеш уже согласился на «Пан-Европу», но знаете, при каком условии?

Пикейные жилеты собрались поближе и вытянули куриные шеи.

¹ *Порто-франко* (итал. *porto franco* — «свободный порт») — порт (или его определенная часть, порто-франковская зона), пользующийся правом беспошлинного ввоза и вывоза товаров. Порто-франко не входит в состав таможенной территории государства. Действовал в Одессе с 1819 до 1858 года.

— При условии, что Черноморск будет объявлен вольным городом. Бенеш — это голова. Ведь им же нужно сбывать кому-нибудь свои сельскохозяйственные орудия? Вот мы и будем покупать.

При этом сообщении глаза стариков блеснули. Им уже много лет хотелось покупать и продавать.

— Бриан — это голова! — сказали они, вздыхая. — Бенеш — тоже голова.

Когда Остап очнулся от своих дум, он увидел, что его крепко держит за борт пиджака незнакомый старик в раздавленной соломенной шляпе с засаленной черной лентой. Прицепной галстук его съехал в сторону, и прямо на Остапа смотрела медная запонка.

— А я вам говорю, — кричал старик в ухо великому комбинатору, — что Макдональд на эту удочку не пойдет! Он не пойдет на эту удочку! Слышите?

Остап отодвинул рукой раскипятившегося старика и выбрался из толпы.

— Гювер — это голова! — несло ему вдогонку. — И Гинденбург — это голова.

К этому времени Остап уже принял решение. Он перебрал в голове все четыреста честных способов отъема денег, и, хотя среди них имелись такие перлы, как организация акционерного общества по поднятию затонувшего в крымскую войну корабля с грузом золота, или большое масленичное гулянье в пользу узников капитала, или концессия на снятие магазинных вывесок, — ни один из них не подходил к данной ситуации. И Остап придумал четыреста первый способ.

«Взять крепость неожиданной атакой не удалось, — думал он, — придется начать правильную осаду. Самое главное установлено. Деньги у защитного есть. И, судя по тому, что он не моргнув отказался от десяти тысяч, — деньги огромные. Итак, ввиду недоговоренности сторон заседание продолжается».

Он вернулся домой, купив по дороге твердую желтую папку с ботиночными тесемками.

— Ну? — спросили в один голос истомленные желанием Балаганов и Паниковский.

Остап молча прошел к бамбуковому столику, положил перед собой папку и крупными буквами вывел надпись: «Дело Александра Ивановича Корейко. Начато 25 июня 1930 года. Окончено.... го дня 193.. г.».

Из-за плеча Бендера на папку смотрели молочные братья.

— Что там внутри? — спросил любопытный Паниковский.

— О! — сказал Остап. — Там внутри есть все: пальмы, девушки, голубые экспрессы, синее море, белый пароход, мало поношенный смокинг, лакей-японец, собственный бильярд, платиновые зубы, целые носки, обеды на

чистом животном масле и, главное, мои маленькие друзья, слава и власть, которую дают деньги.

И он раскрыл перед изумленными антилоповцами пустую папку.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Рога и копыта

Жил на свете частник бедный. Это был довольно богатый человек, владец галантерейного магазина, расположенного наискось от кино «Капиталий». Он безмятежно торговал бельем, кружевными прошвами¹, галстуками, пуговицами и другим мелким, но прибыльным товаром. Однажды вечером он вернулся домой с искаженным лицом. Молча он полез в буфет, достал оттуда цельную холодную курицу и, расхаживая по комнате, съел ее всю. Сделав это, он снова открыл буфет, вынул цельное кольцо краковской колбасы весом ровно в полкило, сел на стул и, остекленело глядя в одну точку, медленно сжевал все полкило. Когда он потянулся за крутыми яйцами, лежавшими на столе, жена испуганно спросила:

— Что случилось, Боря?

— Несчастье! — ответил он, запихивая в рот твердое резиновое яйцо. — Меня ужасно обложили налогом. Ты даже себе не можешь представить.

— Почему же ты так много ешь?

— Мне надо развлечься, — отвечал частник. — Мне страшно.

И всю ночь частник ходил по своим комнатам, где одних шифоньеров было восемь штук, и ел. Он съел все, что было в доме. Ему было страшно.

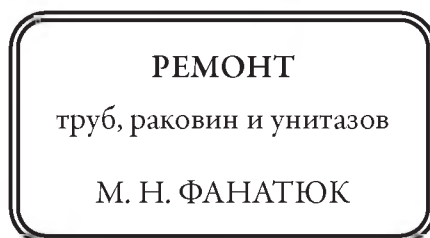
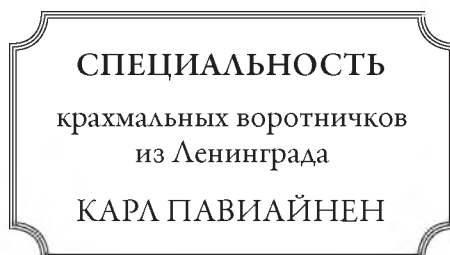
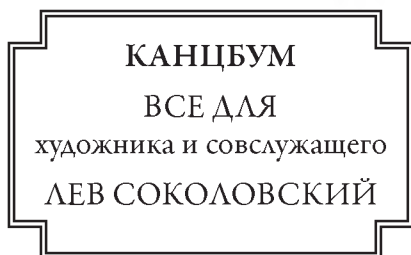
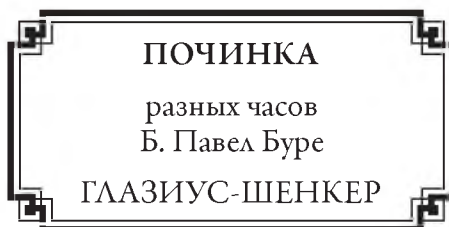
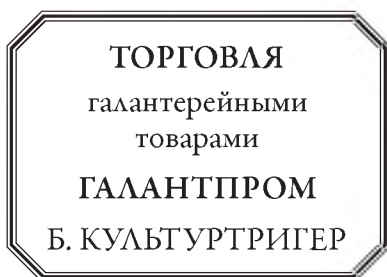
На другой день он сдал полмагазина под торговлю писчебумажными принадлежностями. Теперь в одной витрине помещались галстуки и подтяжки, а в другой висел на двух веревочках огромный желтый карандаш.

Потом настали времена еще более лихие. В магазине появился третий совладелец. Это был часовых дел мастер, отгеснивший карандаш в сторону и занявший половину окна бронзовыми часами с фигурой Психеи, но без минутной стрелки. И напротив бедного галантерейщика, который не переставал уже иронически улыбаться, сидел кроме постылого карандашника еще и часовщик с воткнутой в глаз черной лупой.

Еще дважды посетило галантерейщика горе-злосчастье. В магазин дополнительно въехали водопроводный мастер, который тотчас же зажег какой-то паяльный примус, и совсем уже странный купец, решивший, что именно в 1930 году от рождества христова население Черноморска набросится на его товар — крахмальные воротнички.

И когда-то гордая, спокойная вывеска галантерейщика приобрела мерзкий вид.

¹ *Прошва* — прошивка, узкая полоска кружева, ткани или кожи, вшитая, вставленная между чем-нибудь.



Покупатели и заказчики со страхом входили в некогда благоухавший магазин. Часовой мастер Глазиус-Шенкер, окруженный колесиками, пенсне и пружинами, сидел под часами, в числе коих были одни башенные. В магазине часто и резко звонили будильники. В глубине помещения толпились школьники, осведомлявшиеся насчет дефицитных тетрадей. Карл Павиайнен стриг свои воротнички ножницами, коротая время в ожидании заказчиков. И не успевал обходительный Б. Культуртригер спросить покупательницу: «Что вы хотели?» — как водопроводчик Фанатюк с грохотом ударял молотком по ржавой трубе, и сажа от паяльной лампы садилась на нежный галантерейный товар.

В конце концов странный комбинат частных развалился, и Карл Павиайнен уехал на извозчике во мглу, увозя свой не созвучный эпохе товар. За ним канули в небытие Галантпром и Канцбум, за которыми гнались конные фининспектора. Фанатюк спился. Глазиус-Шенкер ушел в часовой коллектив «Новое время». Гофрированные железные шторы со стуком упали. Исчезла и занятая вывеска.

Вскоре, однако, шторы снова поднялись, и над бывшим ковчегом частных появилась небольшая опрятная таблица:

Черноморское отделение
Арбатовской конторы
ПО ЗАГОТОВКЕ
РОГОВ И КОПЫТ

Праздный черноморец, заглянув в магазин, мог бы заметить, что прилавки и полки исчезли, пол был чисто вымыт, стояли яичные конторские столы, а на стенах висели обыкновенные учрежденские плакаты насчет часов приема и вредности рукопожатий. Новоявленное учреждение уже пересекал барьер, выставленный против посетителей, которых, однако, еще не было. У маленького столика, на котором желтый самовар пускал пары и тоненько жаловался на свою самоварную судьбу, сидел курьер с золотым зубом. Перетирая чайные кружки, он раздраженно напевал:

Что за времена теперь настали,
Что за времена теперь настали,
В бога верить перестали,
В бога верить перестали.

За барьером бродил рыжий молодец. Он изредка подходил к пишущей машинке, ударял толстым негнущимся пальцем по клавише и заливался смехом. В самой глубине конторы, под табличкой «начальник отделения», сидел великий комбинатор, озаренный светом штепсельной лампы.

Гостиница «Карлсбад» была давно покинута. Все антилоповцы, за исключением Козлевича, поселились в «Вороньей слободке» у Васисуалия Лоханкина, чрезвычайно этим скандализованного. Он даже пытался протестовать, указывая на то, что сдавал комнату не трем, а одному — одинокому интеллигентному холостяку. «Мон дье, Васисуалий Андреич, — отвечал Остап беззаботно, — не мучьте себя. Ведь интеллигентный-то из всех трех я один, так что условие соблюдено». На дальнейшие сетования хозяина Бендер рассудительно молвил: «Майн готт, дорогой Васисуалий! Может быть, именно в этом великая сермяжная правда». И Лоханкин сразу успокоился, выпросив у Остапа двадцать рублей. Паниковский и Балаганов отлично ужились в «Вороньей слободке», и их голоса уверенно звучали в общем квартирном хоре. Паниковского успели даже обвинить в том, что он по ночам отликает керосин из чужих примусов, Митрич не преминул сделать Остапу какое-то введливое замечание, на что великий комбинатор молча толкнул его в грудь.

Контора по заготовке рогов и копыт была открыта по многим причинам.

— Следствие по делу Корейко, — говорил Остап, — может поглотить много времени. Сколько — знает один бог. А так как бога нет, то никто не

знает. Ужасное положение. Может быть — год, а может быть — и месяц. Во всяком случае нам нужна легальность. Нужно смешаться с бодрой массой служащих. Все это даст контора. Меня давно влечет к административной деятельности. В душе я бюрократ и головотяп. Мы будем заготавливать что-нибудь очень смешное, например чайные ложечки, собачьи номера или шумклерский товар¹. Или рога и копыта. Прекрасно! Рога и копыта для нужд гребеночной и мундштучной промышленности. Чем не учреждение? К тому же в моем чемоданчике имеются чудные бланки на все случаи жизни и круглая, так называемая, мастичная печать².

Деньги, от которых Корейко отрекся и которые щепетильный Остап считал возможным заприходовать, были положены в банк на текущий счет нового учреждения. Паниковский снова бунтовал и требовал дележа, в наказание за что был назначен на низкооплачиваемую и унижительную для его свободобивой природы должность курьера. Балаганову достался ответственный пост уполномоченного по копытам с окладом в девяносто два рубля. На базаре была куплена старая пишущая машинка «Адлер», в которой не хватало буквы «е», и ее пришлось заменять буквой «э». Поэтому первое же отношение³, отправленное Остапом в магазин канцелярских принадлежностей, звучало так:

Отпуститэ податэлю сэго курьэру т. Паниковскому для Чэрноморского отдэлэния на 150 рублэй (сто пятьдэсят) канцпринадлэжностэй и крэдит за счэт Правлэния в городэ Арбатовэ.

ПРИЛОЖЭНИЭ. Бэз приложэний.

— Вот послал бог дурака уполномоченного по копытам! — сердился Остап. — Ничего поручить нельзя. Купил машинку с турецким акцентом. Значит, я начальник отделения? Свинья вы, Шура, после этого!

Но даже машинка с удивительным прононсом не могла омрачить светлой радости великого комбинатора. Ему очень нравилось новое поприще. Ежечасно он прибегал в контору с покупками. Он приносил такие сложные канцелярские машины и приборы, что курьер и уполномоченный только ахали. Тут были дыропробиватели, копировальные прессы, винтовой табурет и дорогая бронзовая чернильница в виде нескольких избушек для разного цвета чернил. Называлось это произведение «Лицом к деревне» и стоило полтора-ста рублей. Венцом всего был чугунный железнодорожный компостер, вы-

¹ Шнуры, кисти, бахрама.

² *Мастичная печать* — печать, обеспечивающая нанесение оттиска штемпельной краской.

³ Здесь поручение.

требуемый Остапом с пассажирской станции. Под конец Бендер притащил ветвистые оленины рога. Паниковский, кряхтя и жалуясь на свою низкую ставку, прибил их над столом начальника. Все шло хорошо и даже превосходно. На планомерной работе сказывалось только непонятное отсутствие автомобиля и его славного водителя — Адама Козлевича.

На третий день существования конторы явился первый посетитель. К общему удивлению, это был почтальон. Он принес восемь пакетов и, покалякав с курьером Паниковским о том о сем, ушел. В пакетах же оказались три повестки, коими представитель конторы срочно вызывался на совещания и заседания, причем все три повестки подчеркивали, что явка обязательна. В остальных бумагах заключались требования незнакомых, но, как видно, бойких учреждений о представлении различного рода сведений, смет и ведомостей во многих экземплярах, и все это тоже в срочном и обязательном порядке.



— Что это такое? — кричал Остап. — Еще три дня тому назад я был свободный горный орел-стервятник, трещал крыльями, где хотел, а теперь пожалуйте — явка обязательна! Оказывается, в этом городе есть множество людей, которым Остап Бендер нужен до зарезу. И потом, кто будет вести всю эту переписку с друзьями? Придется понести расход и пересмотреть штаты. Нужна знающая конторщица. Пусть сидит над делами.

Через два часа стряслась новая беда. Пришел мужик с тяжелым мешком.

— Рога кто будет принимать? — спросил он, сваливая кладь на пол.

Великий комбинатор косо посмотрел на посетителя и его добро. Это были маленькие кривые грязные рога, и Остап взирал на них с отвращением.

— А товар хороший? — осторожно спросил начальник отделения.

— Да ты посмотри, рожки какие! — загорячился мужик, поднося желтый рог к носу великого комбинатора. — Рожки первый сорт. Согласно кондиций.

Кондиционный товар пришлось купить. Мужик долго потом пил чай с Паниковским и рассказывал о деревенской жизни, вызывая в Остапе естественное раздражение человека, зря потерявшего пятнадцать рублей.

— Если Паниковский пустит еще одного рогоносца, — сказал Остап, дождавшись ухода посетителя, — не служить больше Паниковскому. Уволю без выходного пособия. И вообще хватит с нас государственной деятельности. Пора заняться делом.

Повесив на стеклянную дверь табличку «Перерыв на обед», начальник отделения вынул из шкафа папку, в которой якобы заключалось синее море и белый пароход, и, ударив по ней ладонью, сказал:

— Вот над чем будет работать наша контора. Сейчас в этом «деле» нет ни одного листка, но мы найдем концы, если для этого придется даже командировать Паниковского и Балаганова в каракумские пески или куда-нибудь в Кременчуг за следственным материалом.

В эту минуту дверная ручка конторы задергалась. За стеклом топтался старик в заштопанной белыми нитками панаме и широком чесучовом пиджаке, из-под которого виднелся пикейный жилет. Старик вытягивал куриную шею и прикладывал к стеклу большое ухо.

— Закрыто, закрыто! — поспешно крикнул Остап. — Заготовка копыт временно прекращена.

Однако старик продолжал делать руками знаки.

Если бы Остап не впустил старого беложилетника, то, может быть, магистральная линия романа пошла бы в ином направлении и никогда не произошли бы те удивительные события, в которых пришлось участвовать и великому комбинатору, и его раздражительному курьеру, и беспечному уполномоченному по копытам, и еще многим людям, в том числе некоему восточному мудрецу, внучке старого ребусника, знаменитому общественнику,

начальнику «Геркулеса», а также большому числу советских и иностранных граждан.

Но Остап отворил дверь. Старик, скорбно улыбаясь, прошел за барьер и опустился на стул. Он закрыл глаза и молча просидел на стуле минут пять. Слышны были только короткие свистки, которые время от времени подавал его бледный нос. Когда сотрудники конторы решили, что посетитель никогда уже не заговорит и стали шепотом совещаться, как бы поудобнее вынести его тело на улицу, старик поднял коричневые веки и низким голосом сказал:

— Моя фамилия — Фунт. Фунт.

— И этого, по-вашему, достаточно, чтобы врваться в учреждения, закрытые на обед? — весело сказал Бендер.

— Вот вы смеетесь, — ответил старик, а моя фамилия — Фунт. Мне девяносто лет.

— Что же вам угодно? — спросил Остап, начиная терять терпение.

Но тут гражданин Фунт снова замолк и молчал довольно продолжительное время.

— У вас контора, — сказал он наконец.

— Да, да, контора, — подбадривал Остап. — Дальше, дальше.

Но старик только поглаживал себя рукой по колену.

— Вы видите на мне эти брюки? — промолвил он после долгого молчания. — Это пасхальные брюки. Раньше я надевал их только на пасху, а теперь я ношу их каждый день.

И, несмотря на то, что Паниковский шлепнул его по спине, дабы слова выходили без задержки, Фунт снова затих. Слова он произносил быстро, но между фразами делал промежутки, которые простирались иногда до трех минут. Для людей, не привыкших к этой особенности Фунта, разговор с ним был невыносим. Остап уже собирался взять Фунта за крахмальный ошейник и указать ему путь-дорогу, когда старик снова раскрыл рот. В дальнейшем разговор принял такой занятный характер, что Остапу пришлось примириться с фунтовской манерой вести беседу.

— Вам не нужен председатель? — спросил Фунт.

— Какой председатель? — воскликнул Бендер.

— Официальный. Одним словом, глава учреждения.

— Я сам глава.

— Значит, вы собираетесь отсиживать сами? Так бы сразу и сказали. Зачем же вы морочите мне голову уже два часа?

Старик в пасхальных брюках разозлился, но паузы между фразами не уменьшились.

— Я — Фунт, — повторил он с чувством. — Мне девяносто лет. Я всю жизнь сидел за других. Такая моя профессия — страдать за других.

— Ах, вы подставное лицо?

— Да, — сказал старик, с достоинством тряся головой. — Я — зиц-председатель Фунт¹. Я всегда сидел. Я сидел при Александре Втором — Освободителе, при Александре Третьем — Миротворце, при Николае Втором — Кровавом.

И старик медленно загибал пальцы, считая царей.

— При Керенском я сидел тоже. При военном коммунизме я, правда, совсем не сидел, исчезла чистая коммерция, не было работы. Но зато как я сидел при нэпе! Как я сидел при нэпе! Это были лучшие дни моей жизни. За четыре года я провел на свободе не больше трех месяцев. Я выдал замуж внучку, Голконду Евсеевну, и дал за ней концертное фортепьяно, серебряную птичку и восемьдесят рублей золотыми десятками. А теперь я хожу и не узнаю нашего Черноморска. Где это все? Где частный капитал? Где первое общество взаимного кредита? Где, спрашиваю я вас, второе общество взаимного кредита? Где товарищество на вере? Где акционерные компании со смешанным капиталом? Где это все? Безобразия!

Эта короткая речь длилась сравнительно недолго — полчаса. Слушая Фунта, Паниковский растрогался. Он отвел Балаганова в сторону и с уважением зашептал:

— Сразу видно человека с раньшего времени. Таких теперь уже нету и скоро совсем не будет.

И он любезно подал старику кружку сладкого чая.

Остап перетащил зицпредседателя за свой начальнический стол, велел закрыть контору и принялся терпеливо выпрашивать вечного узника, отдавшего жизнь за «други своя». Зицпредседатель говорил с удовольствием. Если бы он не отдыхал так долго между фразами, можно было бы даже сказать, что он трещит без умолку.



¹ *Зицпредседатель* (от нем. *sitzen* — «сидеть», также имеет значение «сидеть в тюрьме», первоначально появилось выражение *зицредактор* (то есть редактор «для отсидки» на случай репрессий против печатного издания, подставной редактор) в 1880-х годах в Германии.

— Вы не знаете такого — Корейко Александра Ивановича? — спросил Остап, взглянув на папку с ботиночными тесемками.

— Не знаю, — ответил старик. — Такого не знаю.

— А с «Геркулесом» у вас были дела?

При слове «Геркулес» зицпредседатель чуть пошевелился. Этого легкого движения Остап даже не заметил, но будь на его месте любой пикейный жилет из кафе «Флорида», знавший Фунта издавна, например Валиадис, то он подумал бы: «Фунт ужасно разгорячился, он просто вне себя».

Как Фунту не знать «Геркулеса», если последние четыре отсидки были связаны непосредственно с этим учреждением! Вокруг «Геркулеса» кормилось несколько частных акционерных обществ. Было, например, общество «Интенсивник». Председателем был приглашен Фунт. «Интенсивник» получил от «Геркулеса» большой аванс на заготовку чего-то лесного — зицпредседатель не обязан знать, чего именно. И сейчас же лопнул. Кто-то загреб деньгу, а Фунт сел на полгода. После «Интенсивника» образовалось товарищество на вере «Трудовой кедр» — разумеется, под председательством благообразного Фунта. Разумеется, аванс в «Геркулесе» на поставку выдержанного кедра. Разумеется, неожиданный крах, кто-то разбогател, а Фунт отрабатывает председательскую ставку — сидит. Потом «Пилопомощь» — «Геркулес» — аванс — крах — кто-то загреб — отсидка. И снова: аванс — «Геркулес» — «Южный лесорубник» — для Фунта отсидка — кому-то куш.

— Кому же? — допытывался Остап, расхаживая вокруг старика. — Кто фактически руководил?

Старик молча сосал чай из кружки и с трудом приподымал тяжелые веки.

— Кто его знает? — сказал он горестно. — От Фунта все скрывали. Я должен только сидеть, в этом моя профессия. Я сидел при Александре Втором, и при Третьем, и при Николае Александровиче Романове, и при Александре Федоровиче Керенском. И при нэпе, до угара нэпа, и во время угара, и после угара. А сейчас я без работы и должен носить пасхальные брюки.

Остап долго еще продолжал выцеживать из старика словечки. Он действовал, как старатель, неустанно промывающий тонны грязи и песка, чтобы найти на дне несколько золотых крупинок. Он подталкивал Фунта плечом, будил его и даже щекотал под мышками. После всех этих ухищрений ему удалось узнать, что, по мнению Фунта, за всеми лопнувшими обществами и товариществами, несомненно, скрывалось какое-то одно лицо. Что же касается «Геркулеса», то у него выдоили не одну сотню тысяч.

— Во всяком случае, — добавил ветхий зицпредседатель, — во всяком случае этот неизвестный человек — голова. Вы знаете Валиадиса? Валиадис этому человеку пальца в рот не положил бы.

— А Бриану? — спросил Остап с улыбкой, вспомнив собрание пикейных жилетов у бывшего кафе «Флорида». — Положил бы Валиадис палец в рот Бриану? Как вы думаете?

— Ни за что! — ответил Фунт. — Бриан — это голова.

Три минуты он беззвучно двигал губами, а потом добавил:

— Гувер — это голова. И Гинденбург — голова. Гувер и Гинденбург — это две головы.

Остапом овладел испуг. Старейший из пикейных жилетов погружался в трясину высокой политики. С минуты на минуту он мог заговорить о пакте Келлога или об испанском диктаторе Примо де Ривера, и тогда никакие силы не смогли бы отвлечь его от этого почтенного занятия. Уже в глазах его появился идиотический блеск, уже над желтоватым крахмальным воротничком затрясся кадык, предвещая рождение новой фразы, когда Бендер вывинтил электрическую лампочку и бросил ее на пол. Лампочка разбилась с холодным треском винтовочного выстрела. И только это происшествие отвлекло зицпредседателя от международных дел. Остап быстро этим воспользовался.

— Но с кем-нибудь из «Геркулеса» вы все-таки виделись? — спросил он. — По авансовым делам?

— Со мною имел дело только геркулесовский бухгалтер Берлага. Он у них был на жалованье. А я ничего не знаю. От меня все скрывали. Я нужен людям для сидения. Я сидел при царизме, и при социализме, и при гетмане, и при французской оккупации. Бриан — это голова.

Из старика больше ничего нельзя было выжать. Но и то, что было сказано, давало возможность начать поиски.

«Тут чувствуется лапа Корейко», — подумал Остап.

Начальник черноморского отделения Арбатовской конторы по заготовке рогов и копыт присел за стол и перенес речь зицпредседателя Фунта на бумагу. Рассуждения о взаимоотношениях Валиадиса и Бриана он опустил.

Первый лист подпольного следствия о подпольном миллионере был занумерован, проколот в надлежащих местах и подшит к делу.

— Ну что, будете брать председателя? — спросил старик, надевая свою заштопанную панаму. — Я вижу, что вашей конторе нужен председатель. Я беру недорого: сто двадцать рублей в месяц на свободе и двести сорок — в тюрьме. Сто процентов прибавки на вредность.

— Пожалуй, возьмем, — сказал Остап. — Подайте заявление уполномоченному по копытам.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Ярбух фюр психоаналитик

Рабочий день в финансово-счетном отделе «Геркулеса» начался, как обычно, ровно в девять часов.

Уже Кукушкинд поднял полу пиджака, чтобы протереть ею стекла своих очков, а заодно сообщить сослуживцам, что работать в банкирской конторе «Сикоморский и Цесаревич» было не в пример спокойнее, чем в геркулесовском содоме; уже Тезоименицкий повернулся на своем винтовом табурете к стене и протянул руку, чтобы сорвать листок календаря, уже Лapidус-младший разинул рот на кусок хлеба, смазанный форшмаком из селедки, — когда дверь растворилась и на пороге ее показался не кто иной, как бухгалтер Берлага.

Это неожиданное антре вызвало в финсчете замешательство. Тезоименицкий поскользнулся на своей винтовой тарелочке, и календарный листок, впервые, может быть, за три года, остался несорванным. Лapidус-младший, позабыв укусить бутерброд, вхолостую задвигал челюстями. Дрейфус, Чеважевская и Сахарков безмерно удивились. Корейко поднял и опустил голову. А старик Кукушкинд быстро надел очки, позабыв протереть их, чего с ним за тридцать лет служебной деятельности никогда не случалось. Берлага как ни в чем не бывало уселся за свой стол и, не отвечая на тонкую усмешку Лapidуса-младшего, раскрыл свои книги.

— Как здоровье? — спросил все-таки Лapidус. — Пяточный нерв?

— Все прошло, — отвечал Берлага, не поднимая головы. — Я даже не верю, что такой нерв есть у человека.

До обеденного перерыва весь финсчет ерзал на своих табуретах и подушечках, томимый любопытством. И когда прозвучал авральный звонок, цвет счетоводного мира окружил Берлагу. Но беглец почти не отвечал на вопросы. Он отвел в сторону четырех самых верных и, убедившись, что поблизости нет никого лишнего, рассказал им о своих необыкновенных похождениях в сумасшедшем доме. Свой рассказ беглый бухгалтер сопровождал множеством заковыристых выражений и междометий, которые здесь опущены в целях связности повествования.

Рассказ бухгалтера Берлаги, сообщенный им под строжайшим секретом Борисохлебскому, Дрейфусу, Сахаркову и Лapidусу-младшему, о том, что случилось с ним в сумасшедшем доме

Как уже сообщалось, бухгалтер Берлага бежал в сумасшедший дом, опасаясь чистки. В этом лечебном заведении он рассчитывал пересидеть тревожное время и вернуться в «Геркулес», когда гром утихнет и восемь товарищей с серенькими глазами перекочуют в соседнее учреждение.

Все дело сварганил шурин. Он достал книжку о нравах и привычках душевнобольных, и после долгих споров из всех навязчивых идей был выбран бред величия.

— Тебе ничего не придется делать, — втолковывал шурин, — ты только должен всем и каждому кричать в уши: «Я Наполеон», или «Я Эмиль Золя!», или «Магомет!», если хочешь.

— А вице-короля Индии можно? — доверчиво спросил Берлага.

— Можно, можно. Сумасшедшему все можно. Значит — вице-король Индии?

Шурин говорил так веско, словно бы по меньшей мере состоял младшим ординатором психобольницы. На самом же деле это был скромный агент по распространению роскошных подписных изданий Госиздата, и от прошлого коммерческого величия в его сундучке сохранился только венский котелок на белой шелковой подкладке.

Шурин побежал к телефону вызывать карету, а новый вице-король Индии снял толстовку, разодрал на себе мадеполамовую сорочку и на всякий случай вылил на голову бутылочку лучших копировальных железисто-галлусовых чернил первого класса. Потом он лег животом на пол и, дождавшись прибытия санитаров, принялся выкрикивать:

— Я не более как вице-король Индии! Где мои верные найбы, магараджи, мои абреки, мои кунаки, мои слоны?

Слушая этот бред величия, шурин с сомнением качал головой. На его взгляд, абреки и кунаки не входили в сферу действия индийского короля. Но санитары только вытерли мокрым платком лицо бухгалтера, измазанное чернилами первого класса, и, дружно взявшись, всадили его в карету. Хлопнули лаковые дверцы, раздался тревожный медицинский гудок, и автомобиль умчал вице-короля Берлагу в его новые владения.

По дороге больной размахивал руками и что-то болтал, не переставая со страхом думать о первой встрече с настоящими сумасшедшими. Он очень боялся, что они будут его обижать, а может быть, даже побьют.

Больница оказалась совсем иной, чем представлял ее Берлага. В длинном светлом покое сидели на диванах, лежали на кроватях и прогуливались люди в голубоватых халатах. Бухгалтер заметил, что сумасшедшие друг с другом почти не разговаривают. Им некогда разговаривать. Они думают. Они думают все время. У них множество мыслей, надо что-то вспомнить, вспомнить самое главное, от чего зависит счастье. А мысли разваливаются и, самое главное, вильнув хвостиком, исчезают. И снова надо все обдумать, понять наконец, что же случилось, почему стало все плохо, когда раньше все было хорошо.

Мимо Берлаги уже несколько раз прошел безумец, нечесаный и несчастный. Охватив пальцами подбородок, он шагал по одной линии от окна к две-

ри, от двери к окну, опять к двери, опять к окну. И столько мыслей грохотало в его бедной голове, что он прикладывал другую руку ко лбу и ускорял шаги.

— Я вице-король Индии! — крикнул Берлага, оглянувшись на санитаря.

Безумец даже не посмотрел в сторону бухгалтера. Болезненно морщась, он снова принялся собирать свои мысли, разбежавшиеся от дикого крика Берлаги. Но зато к вице-королю подошел низкорослый идиот и, доверчиво обняв его за талию, сказал несколько слов на птичьем языке.

— Что? — искательно спросил перепугавшийся Берлага.

— Эне, бэнэ, раба, квинтер, финтер, жаба, — явственно произнес новый знакомый.

Сказавши «ой», Берлага отошел подальше от идиота. Произведя эту эволюцию, он приблизился к человеку с лимонной лысиной. Тот сейчас же отвернулся к стене и опасливо посмотрел на бухгалтера.

— Где мои магараджи? — спросил его Берлага, чувствуя необходимость поддержать репутацию сумасшедшего.

Но тут больной, сидевший на кровати в глубине покоя, поднялся на тоненькие и желтые, как церковные свечи, ноги и страдальчески закричал:

— На волю! На волю! В пампасы!

Как бухгалтер узнал впоследствии, в пампасы просился старый учитель географии, по учебнику которого юный Берлага знакомился в свое время с вулканами, мысами и перешейками. Географ сошел с ума совершенно неожиданно: однажды он взглянул на карту обоих полушарий и не нашел на ней Берингова пролива. Весь день старый учитель шарил по карте. Все было на месте: и Ньюфаундленд, и Суэцкий канал, и Мадагаскар, и Сандвичевы острова с главным городом Гонолулу, и даже вулкан Попокатепетль, а Берингов пролив отсутствовал. И тут же, у карты, старик тронулся¹. Это был добрый сумасшедший, не причинявший никому зла, но Берлага отчаянно струсил. Крик надрывал его душу.

— На волю! — продолжал кричать географ. — В пампасы! На волю!

Он лучше всех на свете знал, что такое воля. Он был географ, и ему были известны такие просторы, о которых обыкновенные, занятые скучными делами люди даже и не подозревают. Ему хотелось на волю, хотелось скакать на потном мустанге сквозь заросли.

В палату вошла молодая докторша с жалобными голубыми глазами и направилась прямо к Берлаге.

— Ну, как вы себя чувствуете, голубчик? — спросила она, притрагиваясь теплой рукой к пульсу бухгалтера. — Ведь вам лучше, не правда ли?

¹ По имеющимся у авторов сведениям, на карте, которая свела с ума бедного географа, Берингова пролива действительно не было. Отсутствие пролива было вызвано головоуятием издательства «Книга и полюс». Виновники понесли заслуженное наказание. Глава издательства была снята с должности и брошена на низовку, остальные отделались выговором с предупреждением (примеч. Ильфа и Петрова).

— Я вице-король Индии! — отрапортовал он, краснея. — Отдайте мне любимого слона!

— Это у вас бред, — ласково сказала докторша, — вы в лечебнице, мы вас вылечим.

— О-о-о! Мой слон! — вызывающе крикнул Берлага.

— Но ведь вы поймите, — еще ласковей сказала докторша, — вы не вице-король, все это бред, понимаете, бред!

— Нет, не бред, — возразил Берлага, зная, что первым делом нужно упрямитесь.

— Нет, бред!

— Нет, не бред!

— Бред!

— Не бред!

Бухгалтер, видя, что железо горячо, стал его ковать. Он толкнул докторшу и издал протяжный вопль, взбудораживший всех больных, в особенности маленького идиота, который сел на пол и, пуская слюни, сказал:

— Эн, ден, труакатр, мадмазель Журоватр.

И Берлага с удовлетворением услышал за своей спиной голос докторши, обращенный к санитару:

— Нужно будет перевести его к тем трем, не то он нам всю палату перепугает.

Два терпеливых санитаров отвели сварливого вице-короля в небольшую палату для больных с неправильным поведением, где смирно лежали три человека. Только тут бухгалтер понял, что такое настоящие сумасшедшие. При виде посетителей больные проявили необыкновенную активность. Толстый мужчина скатился с кровати, быстро встал на четвереньки и, высоко подняв обтянутый, как мандолина, зад, принялся отрывисто лаять и разгребать паркет задними лапами в больничных туфлях. Другой завернулся в одеяло и начал выкрикивать: «И ты, Брут, проданся большевикам!» Этот человек, несомненно, воображал себя Каем Юлием Цезарем. Иногда, впрочем, в его взбаламученной голове соскакивал какой-то рычажок, и он, путая, кричал: «Я Генрих Юлий Циммерман».

— Уйдите! Я голая! — закричал третий. — Не смотрите на меня. Мне стыдно. Я голая женщина.

Между тем он был одет и был мужчина с усами.

Санитары ушли. Вице-королем Индии овладел такой страх, что он и не думал уже выставлять требования о возврате любимого слона, магараджей, верных набобов, а также загадочных абреков и кунаков.

«Эти в два счета придушат», — думал он, леденя.

И он горько пожалел о том, что наскандалил в тихой палате. Так хо-

рошо было бы сейчас сидеть у ног доброго учителя географии и слушать нежный лепет маленького идиота: «Эне, бэнэ, раба, квинтер, финтер, жаба». Однако ничего ужасного не случилось. Человек-собака тявкнул еще несколько раз и, ворча, взобрался на свою кровать. Кай Юлий сбросил с себя одеяло, отчаянно зевнул и потянулся всем телом. Женщина с усами закурил трубку, и сладкий запах табака «Наш кепстен» внес в мятежную душу Берлага успокоение.

— Я вице-король Индии, — заявил он, осмелев.

— Молчи, сволочь! — лениво ответил на это Кай Юлий. И с прямой римлянина добавил: — Убью! Душу выну!

Это замечание храбрейшего из императоров и воинов отрезвило беглого бухгалтера. Он спрятался под одеяло и, грустно размышляя о своей полной тревог жизни, задремал.

Утром сквозь сон Берлага услышал странные слова:

— Посадили психа на нашу голову. Так было хорошо втроем — и вдруг... Возись теперь с ним! Чего доброго, этот проклятый вице-король всех нас перекусает.

По голосу Берлага определил, что слова эти произнес Кай Юлий Цезарь. Через некоторое время, открыв глаза, он увидел, что на него с выражением живейшего интереса смотрит человек-собака.

«Конец, — подумал вице-король, — сейчас укусит!»

Но человек-собака неожиданно всплеснул руками и спросил человеческим голосом:

— Скажите, вы не сын Фомы Берлага?

— Сын, — ответил бухгалтер и, спохватившись, сейчас же завопил: — Отдайте несчастному вице-королю его верного слона!

— Посмотрите на меня, — пригласил человек-дворяняга. — Неужели вы меня не узнаете?

— Михаил Александрович! — воскликнул прозревший бухгалтер. — Вот встреча!

И вице-король сердечно расцеловался с человеком-собакой. При этом они с размаху ударились лбами, произведя бильярдный стук. Слезы стояли на глазах Михаила Александровича.

— Значит, вы не сумасшедший? — спросил Берлага. — Чего же вы дурака валяли?

— А вы чего дурака валяли? Тоже! Слонов ему подавай! И потом должен вам сказать, друг Берлага, что вице-король для хорошего сумасшедшего — это слабо, слабо, слабо.

— А мне шурин сказал, что можно, — опечалился Берлага.

— Возьмите, например, меня, — сказал Михаил Александрович, — тонкая игра. Человек-собака. Шизофренический бред, осложненный мани-

акально-депрессивным психозом, и притом, заметьте, Берлага, сумеречное состояние души. Вы думаете, мне это легко далось? Я работал над источниками. Вы читали книгу профессора Блейлера «Аутистическое мышление»?

— Нет, — ответил Берлага голосом вице-короля, с которого сорвали орден Подвязки и разжаловали в денщики.

— Господа! — закричал Михаил Александрович. — Он не читал книги Блейлера! Да не бойтесь, идите сюда. Он такой же король, как вы — Цезарь.

Двое остальных питомцев небольшой палаты для лиц с неправильным поведением приблизились.

— Вы не читали Блейлера? — спросил Кай Юлий удивленно, — Позвольте, по каким же материалам вы готовились?

— Он, наверно, выписывал немецкий журнал «Ярбух фюр психоаналитик унд психопатологик», — высказал предположение неполноценный усач.

Берлага стоял как оплеванный. А знатоки так и сыпали мудреными выражениями из области теории и практики психоанализа. Все сошлись на том, что Берлаге придется плохо и что главный врач Титанушкин, возвращения которого из командировки ожидали со дня на день, разоблачит его в пять минут. О том, что возвращение Титанушкина наводило тоску на них самих, они не распространялись.

— Может быть, можно переменить бред? — трусливо спрашивал Берлага. — Что, если я буду Эмиль Золя или Магомет?

— Поздно, — сказал Кай Юлий. — Уже в истории болезни записано, что вы вице-король, а сумасшедший не может менять свои мании, как носки. Теперь вы всю жизнь будете в дурацком положении короля. Мы сидим здесь уже неделю и знаем порядки.

Через час Берлага узнал во всех подробностях подлинные истории болезней своих соседей по палате.

Появление Михаила Александровича в сумасшедшем доме объяснялось делами довольно простыми, житейскими. Он был крупный нэпман, невзначай не доплативший сорока трех тысяч подоходного налога. Это грозило вынужденной поездкой на Север, а дела настойчиво требовали присутствия Михаила Александровича в Черноморске. Дуванов, так звали мужчину, выдававшего себя за женщину, был, как видно, мелкий вредитель, который не без основания опасался ареста. Но совсем не таков был Кай Юлий Цезарь, значившийся в паспорте бывшим присяжным поверенным И. Н. Старохамским.

Кай Юлий Старохамский пошел в сумасшедший дом по высоким идейным соображениям.

— В Советской России, — говорил он, драпируясь в одеяло, — сумасшедший дом — это единственное место, где может жить нормальный че-

ловек. Все остальное — это сверхбедлам. Нет, с большевиками я жить не могу. Уж лучше поживу здесь, рядом с обыкновенными сумасшедшими. Эти по крайней мере не строят социализма. Потом здесь кормят. А там, в ихнем бедламе, надо работать. Но я на ихний социализм работать не буду. Здесь у меня, наконец, есть личная свобода. Свобода совести. Свобода слова...

Увидев проходившего мимо санитаря, Кай Юлий Старохамский визгливо закричал:

— Да здравствует Учредительное собрание! Все на форум! И ты, Брут, продайся ответственным работникам! — И, обернувшись к Берлаге, добавил: — Видели? Что хочу, то и кричу. А попробуйте на улице.

Весь день и большую часть ночи четверо больных с неправильным поведением резались в «шестьдесят шесть» без двадцати и сорока, игру хитрую, требующую самообладания, смекалки, чистоты духа и ясности мышления.

Утром вернулся из командировки профессор Титанушкин. Он быстро осмотрел всех четверых и тут же велел выкинуть их из больницы. Не помогли ни книга Блейлера, ни сумеречное состояние души, осложненное маниакально-депрессивным психозом, ни «Ярбух фюр психоаналитик унд психопатологик». Профессор Титанушкин не уважал симулянтов.

И они побежали по улице, расталкивая прохожих локтями. Впереди шествовал Кай Юлий. За ним поспешали женщина-мужчина и человек-собака. Позади всех плелся развенчанный вице-король, проклиная шурина и с ужасом думая о том, что теперь будет.

Закончив эту поучительную историю, бухгалтер Берлага тоскливо посмотрел сначала на Борисохлебского, потом на Дрейфуса, потом на Сахаркова и, наконец, на Лapidуса-младшего, головы которых, как ему показалось, соболезнующе качаются в полутьме коридора.

— Вот видите, чего вы добились своими фантазиями, — промолвил жестокосердый Лapidус-младший, — вы хотели избавиться от одной чистки, а попали в другую. Теперь вам плохо придется. Раз вас вычистили из сумасшедшего дома, то из «Геркулеса» вас наверно вычистят.

Борисохлебский, Дрейфус и Сахарков ничего не сказали. И, ничего не сказавши, стали медленно уплывать в темноту.

— Друзья! — слабо вскрикнул бухгалтер. — Куда же вы?

Но друзья уже мчались во весь дух, и их сиротские брюки, мелькнув в последний раз на лестнице, скрылись из виду.

— Нехорошо, Берлага, — холодно сказал Лapidус, — напрасно вы меня впутываете в свои грязные антисоветские плутни. Адье!

И вице-король Индии остался один.

Что же ты наделал, бухгалтер Берлага? Где были твои глаза, бухгалтер? И что сказал бы твой папа Фома, если бы узнал, что сын его на склоне



лет подался в вице-короли? Вот куда завели тебя, бухгалтер, твои странные связи с господином Фунтом, председателем многих акционерных обществ со смешанным и нечистым капиталом. Страшно даже подумать о том, что сказал бы старей Фома о проделках своего любимого сына. Но давно уже лежит Фома на втором христианском кладбище, под каменным серафимом с отбитым крылом, и только мальчишки, забегающие сюда воровать сирень, бросают иногда нелюбопытный взгляд на гробовую надпись: «Твой путь окончен. Спи, бедняга, любимый всеми Ф. Берлага». А может быть, и ничего не сказал бы старик. Ну, конечно же, ничего бы не сказал, ибо и сам вел жизнь не очень-то праведную. Просто посоветовал бы вести себя поосторожнее и в серьезных делах не полагаться на шурина. Да, черт знает, что ты наделал, бухгалтер Берлага!

Тяжелое раздумье, охватившее экс-наместника Георга Пятого в Индии, было прервано криками, несшимися с лестницы:

— Берлага! Где он? Его кто-то спрашивает. А, вот он стоит. Пройдите, гражданин!

В коридоре показался уполномоченный по копытам. Гвардейски размахивая ручищами, Балаганов подступил к Берлаге и вручил ему повестку: «Тов. Берлагэ. С получением сего предлагается немедленно явиться для выяснения некоторых обстоятельств».

Бумажка была снабжена штампом Черноморского отделения Арбатовской конторы по заготовке рогов и копыт и круглой печатью, содержание которой разобрать было бы трудновато, даже если бы Берлаге это пришло в голову. Но беглый бухгалтер был так подавлен свалившимися на него бедами, что только спросил:

— Домой позвонить можно?

— Чего там звонить, — хмуро сказал заведующий копытами.

Через два часа толпа, стоявшая у кино «Капиталий» в ожидании первого сеанса и от нечего делать глазевшая по сторонам, заметила, что из дверей конторы по заготовке рогов вышел человек и, хватаясь за сердце, медленно пошел прочь. Это был бухгалтер Берлага. Сперва он вяло передвигал ноги. Потом постепенно начал ускорять ход. Завернув за угол, бухгалтер незаметно перекрестился и побежал очертя голову. Вскоре он сидел уже за своим столом в финсчетном зале и ошалело глядел в «главную книгу». Цифры взвивались и переворачивались в его глазах.

Великий комбинатор захлопнул папку с «делом Корейко», посмотрел на Фунта, который сидел под новой надписью «председатель правления», и сказал:

— Когда я был очень молод, очень беден и кормился тем, что показывал на херсонской ярмарке толстого, грудастого монаха, выдавая его за женщину

с бородой — необъяснимый феномен природы, — то и тогда я не опускался до таких моральных низин, как этот пошлый Берлага.

— Жалкий, ничтожный человек, — подтвердил Паниковский, разнося чай по столам. Ему было приятно сознание того, что на свете есть люди еще более мелкие, чем он сам.

— Берлага — это не голова, — сообщил зампредседатель со свойственной ему неторопливостью. — Макдональд¹ — это голова. Его идея классового мира в промышленности...

— Хватит, хватит, — сказал Бендер. — Мы назначим специальное заседание, чтобы выяснить ваши взгляды на Макдональда и других буржуазных деятелей. Сейчас мне некогда. Берлага — это действительно не голова, но кое-что он нам сообщил о жизни и деятельности самовзрывающихся акционерных обществ.

Внезапно великому комбинатору стало весело. Все шло отлично. Вонючих рогов никто больше не приносил. Работу Черноморского отделения можно было считать удовлетворительной, хотя очередная почта доставила в контору кучу новых отношений, циркуляров и требований, и Паниковский уже два раза бегал на биржу труда за конторщицей.

— Да! — закричал вдруг Остап. — Где Козлевич? Где «Антилопа»? Что за учреждение без автомобиля? Мне на заседание нужно ехать. Все приглашают, без меня жить не могут. Где Козлевич?

Паниковский отвел глаза и со вздохом сказал:

— С Козлевичем нехорошо.

— Как это — нехорошо? Пьян он, что ли?

— Хуже, — ответил Паниковский, — мы даже боялись вам говорить. Его охмурили ксендзы.

При этом курьер посмотрел на уполномоченного по копытам, и оба они грустно покачали головами.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Блудный сын возвращается домой

Великий комбинатор не любил ксендзов. В равной степени он отрицательно относился к раввинам, далай-ламам, попам, муэдзинам, шаманам и прочим служителям культа.

— Я сам склонен к обману и шантажу, — говорил он, — сейчас, например, я занимаюсь выманиванием крупной суммы у одного упрямого гражданина. Но я не сопровождаю своих сомнительных действий ни песнопениями, ни ревом органа, ни глупыми заклинаниями на латинском или церковносла-

¹ Джеймс Рамсей (Рамси) Макдональд — один из лидеров и основателей Лейбористской партии, в 1920–30-х годах трижды занимал пост премьер-министра Великобритании.

вянском языке. И вообще я предпочитаю работать без ладана и астральных колокольчиков.

И откуда Балаганов и Паниковский, перебивая друг друга, рассказывали о злой участи, постигшей водителя «Антилопы», мужественное сердце Остапа переполнялось гневом и досадой.

Ксендзы уловили душу Адама Козлевича на постоялом дворе, где, среди пароконных немецких фургонов и молдаванских фруктовых площадок, в навозной каше стояла «Антилопа». Ксендз Кушаковский захаживал на постоялый двор для нравственных бесед с католиками-колонистами. Заметив «Антилопу», служитель культа обошел ее кругом и потрогал пальцем шину. Он поговорил с Козлевичем и узнал, что Адам Казимирович принадлежит к римско-католической церкви, но не исповедовался уже лет двадцать. Сказав: «Нехорошо, нехорошо, пан Козлевич», ксендз Кушаковский ушел, приподнимая обеими руками черную юбку и перепрыгивая через пенистые пивные лужи.

На другой день, ни свет ни заря, когда фуршики увозили на базар в местечко Кошары волнующихся мелких спекулянтов, насадив их по пятнадцать человек в одну фуру, ксендз Кушаковский появился снова. На этот раз его сопровождал еще один ксендз — Алоизий Морошек. Пока Кушаковский здоровался с Адамом Казимировичем, ксендз Морошек внимательно осмотрел автомобиль и не только прикоснулся пальцем к шине, но даже нажал грушу, вызвав звуки матчиша. После этого ксендзы переглянулись, подошли к Козлевичу с двух сторон и начали его охмурять. Охмуряли они его целый день. Как только замолкал Кушаковский, вступал Морошек. И не успевал он остановиться, чтобы вытереть пот, как за Адама снова принимался Кушаковский. Иногда Кушаковский поднимал к небу желтый указательный палец, а Морошек в это время перебирал четки. Иногда же четки перебирал Кушаковский, а на небо указывал Морошек. Несколько раз ксендзы принимались тихо петь по-латински, и уже к вечеру первого дня Адам Казимирович стал им подтягивать. При этом оба патера деловито взглянули на машину.

Через некоторое время Паниковский заметил в хозяине «Антилопы» перемену. Адам Казимирович произносил какие-то смутные слова о царствии небесном. Это подтверждал и Балаганов. Потом он стал надолго пропадать и наконец вовсе съехал со двора.

— Почему ж вы мне не доложили? — возмущился великий комбинатор.

Они хотели доложить, но они боялись гнева командора. Они надеялись, что Козлевич опомнится и вернется сам. Но теперь надежды потеряны. Ксендзы его окончательно охмурили. Еще не далее как вчера курьер и уполномоченный по копытам случайно встретили Козлевича. Он сидел в машине

у подъезда костела. Они не успели к нему подойти. Из костела вышел ксендз Алоизий Морошек с мальчиком в кружевах.

— Понимаете, Бендер, — сказал Шура, — все кодро¹ село в нашу «Антилопу», бедняга Козлевич снял шапку, мальчик позвонил в колокольчик, и они уехали. Прямо жалко было смотреть на нашего Адама. Не видать нам больше «Антилопы».

Великий комбинатор молча надел свою капитанскую фуражку с лакированным козырьком и направился к выходу.

— Фунт, — сказал он, — вы остаетесь в конторе! Рогов и копыт не принимать ни под каким видом. Если будет почта, сваливайте в корзину. Конторщица потом разберется. Понятно?

Когда вице-председатель открыл рот для ответа (это произошло ровно через пять минут), осиротевшие антилоповцы были уже далеко. В голове процессии, делая гигантские шаги, несли командор. Он изредка оборачивал голову назад и бормотал: «Не уберегли нежного Козлевича, меланхолики! Всех дезавуирую!² Ох, уж мне это черное и белое духовенство!³» Бортмеханик шел молча, делая вид, что нарекания относятся не к нему. Паниковский прыгал, как обезьяна, подогревая чувство мести к похитителям Козлевича, хотя на душе у него лежала большая холодная лягушка. Он боялся черных ксендзов, за которыми признавал многие волшебные свойства.

В таком порядке все отделение по заготовке рогов и копыт прибыло к подножию костела. Перед железной решеткой, сплетенной из спиралей и крестов, стояла пустая «Антилопа». Костел был огромен. Он врезался в небо, колючий и острый, как рыба кость. Он застревал в горле. Полированный красный кирпич, черепичные скаты, жестяные флаги, глухие контрфорсы⁴ и красивые каменные идолы, прятавшиеся от дождя в нишах, — вся эта вытянувшаяся солдатская готика сразу навалилась на антилоповцев. Они почувствовали себя маленькими. Остап залез в автомобиль, потянул носом воздух и с отвращением сказал:

— Фу! Мерзость! Наша «Антилопа» уже пропахла свечками, кружками на построение храма и ксендзовскими сапожищами. Конечно, развезать с

¹ *Кодло, кодла (крим., жарг.)* — группа, компания людей, проводящих вместе время, склонных к совершенно преступлениям.

² Здесь: лишить права действовать в дальнейшем от своего имени, лишить полномочий.

³ В православии священство бывает как вступившим в брак (так называемое белое духовенство), так и монахами, рукоположенными в священный сан (черное духовенство). В католичестве латинского обряда безбрачие обязательно для всех священников, к белому духовенству при этом относятся епархиальные священники, не принимавшие монашеских обетов, а к черному — священники, принадлежащие одному из монашеских орденов.

⁴ *Контрфорс (фр. contre force — «противодействующая сила»)* — вертикальная конструкция характерная для готических построек. Представляет собой выступающую часть стены, вертикальное ребро.

требами¹ на автомобиле приятнее, чем на извозчике. К тому же даром! Ну, нет, дорогие батюшки, наши требы поважней!

С этими словами Бендер вошел в церковный двор и, пройдя между детьми, игравшими в классы на расчерченном мелом асфальте, поднялся по гранитной банковской лестнице к дверям храма. На толстых дверях, обитых обручным железом, рассажены по квадратикам барельефные святые обменивались воздушными поцелуями, или показывали руками в разные стороны, или же развлекались чтением толстеньких книг, на которых добросовестный резчик изобразил даже латинские буквы. Великий комбинатор дернул дверь, но она не поддавалась. Изнутри неслись кроткие звуки фисгармонии.

— Охмурают! — крикнул Остап, спускаясь с лестницы. — Самый охмуреж идет! Под сладкий лепет мандолины.

— Может быть, уйдем? — спросил Паниковский, вертя в руках шляпу. — Все-таки храм божий. Неудобно.

Но Остап, не обращая на него внимания, подошел к «Антилопе» и принялся нетерпеливо надавливать грушу. Он играл матчш до тех пор, пока за толстыми дверьми не послышалось бречанье ключей. Антилоповцы задрали головы. Дверь растворилась на две половины, и веселые святые в своих дубовых квадратиках медленно отъехали вглубь. Из темноты портала выступил на высокую светлую паперть Адам Казимирович. Он был бледен. Его кондукторские усы отсырели и плачевно свисали из ноздрей. В руках он держал молитвенник. С обеих сторон его поддерживали ксендзы. С левого бока — ксендз Кушаковский, с правого — ксендз Алоизий Морошек. Глаза патеров были затоплены елеем.

— Алло, Козлевич! — крикнул Остап снизу. — Вам еще не надоело?

— Здравствуйте, Адам Казимирович, — развязно сказал Паниковский, прячась, однако, за спину командора.

Балаганов приветственно поднял руку и скорчил рожу, что, как видно, значило: «Адам, бросьте ваши шутки!»

Тело водителя «Антилопы» сделало шаг вперед, но душа его, подстегиваемая с обеих сторон пронзительными взглядами Кушаковского и Морошека, рванулась назад. Козлевич тоскливо посмотрел на друзей и потупился.

И началась великая борьба за бессмертную душу шофера.

— Эй вы, херувимы и серафимы! — сказал Остап, вызывая врагов на диспут. — Бога нет!

— Нет, есть, — возразил ксендз Алоизий Морошек, заслоня своим телом Козлевича.

¹ Треба — последовательное сочетание молитв, песнопений и действий таинств и других священнодействий, совершаемые по просьбе (по потребам, нуждам) одного или нескольких христиан в особых обстоятельствах их жизни, молебны, панихиды, отпевания, освящение домов и пр.

— Это просто хулиганство, — забормотал ксендз Кушаковский.

— Нету, нету, — продолжал великий комбинатор, — и никогда не было. Это медицинский факт.

— Я считаю этот разговор неуместным, — сердито заявил Кушаковский.

— А машину забирать — это уместно? — закричал нетактичный Балаганов. — Адам! Они просто хотят забрать «Антилопу».

Услышав это, шофер поднял голову и вопросительно посмотрел на ксендзов. Ксендзы заметались и, свистя шелковыми сутанами, попробовали увести Козлевича назад. Но он уперся.

— Как же все-таки будет с богом? — настаивал великий комбинатор.

Ксендзам пришлось начать дискуссию. Дети перестали прыгать на одной ножке и подошли поближе.

— Как же вы утверждаете, что бога нет, — начал Алоизий Морошек задумчивым голосом, — когда все живое создано им!..

— Знаю, знаю, — сказал Остап, — я сам старый католик и латинист. Пуэр, содер, веспер, генер, либер, мизер, аспер, тенер.

Эти латинские исключения, зазубренные Остапом в третьем классе частной гимназии Илиади и до сих пор бессмысленно сидевшие в его голове, произвели на Козлевича магнетическое действие. Душа его присоединилась к телу, и в результате этого объединения шофер робко двинулся вперед.

— Сын мой, — сказал Кушаковский, с ненавистью глядя на Остапа, — вы заблуждаетесь, сын мой. Чудеса господни свидетельствуют...

— Ксендз! Перестаньте трепаться! — строго сказал великий комбинатор. — Я сам творил чудеса. Не далее как четыре года назад мне пришлось в одном городишке несколько дней побыть Иисусом Христом. И все было в порядке. Я даже накормил пятью хлебами несколько тысяч верующих. Накормить-то я их накормил, но какая была давка!

Диспут продолжался в таком же странном роде. Неубедительные, но веселые доводы Остапа влияли на Козлевича самым живительным образом. На щеках шофера забрезжил румянец, и усы его постепенно стали подниматься кверху.

— Давай, давай! — неслись поощрительные возгласы из-за спиралей и крестов решетки, где уже собралась немалая толпа любопытных. — Ты им про римского папу скажи, про крестовый поход.

Остап сказал и про папу. Он заклеил Александра Борджиа за нехорошее поведение, вспомнил ни к селу ни к городу Серафима Саровского и особенно налег на инквизицию, преследовавшую Галилея. Он так увлекся, что обвинил в несчастьях великого ученого непосредственно Кушаковского и Морошека. Это была последняя капля. Услышав о страшной судьбе Галилея, Адам Казимирович быстро положил молитвенник на ступеньку и упал в широкие, как ворота, объятия Балаганова. Паниковский терся тут же, поглаживая



блудного сына по шероховатым щекам. В воздухе висели счастливые поцелуи.

— Пан Козлевич! — застонали ксендзы. — Доконд пан иде? Опамянтайсе, пан!

Но герои автопробега уже усаживались в машину.

— Вот видите, — крикнул Остап опечаленным ксендзам, занимая командорское место, — я же говорил вам, что бога нету. Научный факт. Прощайте, ксендзы! До свидания, патеры!

Сопровождаемая одобрительными криками толпы, «Антилопа» отъехала, и вскоре жестяные флаги и чере-

пичные скаты костела скрылись из глаз. На радостях антилоповцы остановились у пивной лавки.

— Вот спасибо, братцы, — говорил Козлевич, держа в руке тяжелую кружку. — Совсем было погиб. Охмурили меня ксендзы. В особенности Кушаковский. Ох, и хитрый же, черт! Верите ли, поститься заставлял! Иначе, говорит, на небо не попаду.

— Небо! — сказал Остап. — Небо теперь в запустении. Не та эпоха. Не тот отрезок времени. Ангелам теперь хочется на землю. На земле хорошо, там коммунальные услуги, там есть планетарий, можно посмотреть звезды в сопровождении антирелигиозной лекции.

После восьмой кружки Козлевич потребовал девятую, высоко поднял ее над головой и, пососав свой кондукторский ус, восторженно спросил:

— Нет бога?

— Нет, — ответил Остап.

— Значит, нету? Ну, будем здоровы.

Так он и пил после этого, произнося перед каждой новой кружкой:

— Есть бог? Нету? Ну, будем здоровы.

Паниковский пил наравне со всеми, но о боге не высказывался. Он не хотел впутываться в это спорное дело.

С возвращением блудного сына и «Антилопы» Черноморское отделение Арбатовской конторы по заготовке рогов и копыт приобрело недостававший ей блеск. У дверей бывшего комбината пяти частных теперь постоянно дежурила машина. Конечно, ей было далеко до голубых «бьюиков» и длиннотелых «линкольнов», было ей далеко даже до фордовских кареток, но все же это была машина, автомобиль, экипаж, который, как говорил Остап, при всех своих недостатках способен, однако, иногда двигаться по улицам без помощи лошадей.

Остап работал с увлечением. Если бы он направлял свои силы на действительную заготовку рогов или же копыт, то надо полагать, что мундштучное и гребеночное дело было бы обеспечено сырьем по крайней мере до конца текущего бюджетного столетия. Но начальник конторы занимался совершенно другим.

Оторвавшись от Фунта и Берлаги, сообщения которых были очень интересны, но непосредственно к Корейко пока не вели, Остап вознамерился в интересах дела сдружиться с Зосей Синицкой и между двумя вежливыми поцелуями под ночной акацией провентилировать вопрос об Александре Ивановиче, и не столько о нем, сколько о его денежных делах. Но длительное наблюдение, проведенное уполномоченным по копытам, показало, что между Зосей и Корейко любви нет и что последний, по выражению Шуры, даром топчется.

— Где нет любви, — со вздохом



комментировал Остап, — там о деньгах говорить не принято. Отложим девушку в сторону.

И в то время как Корейко с улыбкой вспоминал о жулике в милицейской фуражке, который сделал жалкую попытку третьесортного шантажа, начальник отделения носился по городу в желтом автомобиле и находил людей и людишек, о которых миллионер-конторщик давно забыл, но которые хорошо помнили его самого. Несколько раз Остап беседовал с Москвой, вызывая к телефону знакомого частника, известного доку по части коммерческих тайн. Теперь в контору приходили письма и телеграммы, которые Остап живо выбирал из общей почты, по-прежнему изобиловавшей пригласительными повестками, требованиями на рога и выговорами по поводу недостаточно энергичной заготовки копыт. Кое-что из этих писем и телеграмм пошло в папку с ботиночными тесемками.

В конце июля Остап собрался в командировку на Кавказ. Дело требовало личного присутствия великого комбинатора в небольшой виноградной республике.

В день отъезда начальника в отделении произошло скандальное происшествие. Паниковский, посланный с тридцатью рублями на пристань за билетом, вернулся через полчаса пьяный, без билета и без денег. Он ничего не мог сказать в свое оправдание, только выворачивал карманы, которые повисли у него, как бильярдные лузы, и беспрерывно хохотал. Все его смешило: и гнев командора, и укоризненный взгляд Балаганова, и самовар, доверенный его попечениям, и Фунт с нахлобученной на нос панамой, дремавший за своим столом. Когда же Паниковский взглянул на олени рога, гордость и украшение конторы, его прошиб такой смех, что он свалился на пол и вскоре заснул с радостной улыбкой на фиолетовых устах.

— Теперь у нас самое настоящее учреждение, — сказал Остап, — есть собственный растратчик, он же швейцар-пропойца. Оба эти типа делают реальными все наши начинания.

В отсутствие Остапа под окнами конторы несколько раз появлялись Алоизий Морошек и Кушаковский. При виде ксендзов Козлевич прятался в самый дальний угол учреждения. Ксендзы открывали дверь, заглядывали внутрь и тихо звали.

— Пан Козлевич! Пан Козлевич! Чо слышишь глос ойца небеснэго? Опамятайсе, пан!

При этом ксендз Кушаковский поднимал к небу палец, а ксендз Алоизий Морошек перебирал четки. Тогда навстречу служителям культа выходил Балаганов и молча показывал им огненный кулак. И ксендзы уходили, печально поглядывая на «Антилопу».

Остап вернулся через две недели. Его встречали всем учреждением. С высокой черной стены пришвартовывающегося парохода великий комби-

натор посмотрел на своих подчиненных дружелюбно и ласково. От него пахло молодым барашком и имеретинским вином.

В Черноморском отделении, кроме конторщицы, нанятой еще при Остапе, сидели два молодых человека в сапогах. Это были студенты, присланные из животноводческого техникума для прохождения практического стажа.

— Вот и хорошо! — сказал Остап кисло. — Смена идет. Только у меня, дорогие товарищи, придется поработать. Вы, конечно, знаете, что рога, то есть выросты, покрытые шерстью или твердым роговым слоем, являются придатками черепа и встречаются, главным образом, у млекопитающих?

— Это мы знаем, — решительно сказали студенты, — нам бы практику пройти.

От студентов пришлось избавиться сложным и довольно дорогим способом. Великий комбинатор послал их в командировку в калмыцкие степи для организации заготовительных пунктов. Это обошлось конторе в шестьсот рублей, но другого выхода не было: студенты помешали бы закончить удачно подвигавшееся дело.

Когда Паниковский узнал, в какую сумму обошлись студенты, он отвел Балаганова в сторону и раздражительно прошептал:

— А меня не посылают в командировку. И отпуска не дают. Мне нужно ехать в Ессентуки, лечиться. И выходных дней у меня нету, и спецодежды не дают. Нет, Шура, мне эти условия не подходят. И вообще, я узнал, в «Геркулесе» ставки выше. Пойду туда курьером. Честное, благородное слово, пойду!

Вечером Остап снова вызвал к себе Берлагу.

— На колени! — крикнул Остап голосом Николая Первого, как только увидел бухгалтера.

Тем не менее разговор носил дружеский характер и длился два часа. После этого Остап приказал подать «Антилопу» на следующее утро к подъезду «Геркулеса».

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

На суше и на море

Товарищ Скумбриевич явился на пляж, держа в руках именной портфель. К портфелю была прикована серебряная визитная карточка с загнутым углом и длиннейшим курсивом, из которого явствовало, что Егор Скумбриевич уже успел отпраздновать пятилетний юбилей службы в «Геркулесе».

Лицо у него было чистое, прямое, мужественное, как у бреющегося англичанина на рекламном плакате. Скумбриевич постоял у щита, где отмечалась

мелом температура воды, и, с трудом высвобождая ноги из горячего песка, пошел выбирать местечко поудобнее.

Лагерь купающихся был многолюден. Его легкие постройки возникали по утрам, чтобы с заходом солнца исчезнуть, оставив на песке городские отходы: увядшие дынные корки, яичную скорлупу и газетные лоскутья, которые потом всю ночь ведут на пустом берегу тайную жизнь, о чем-то шуршат и летают под скалами.

Скумбриевич пробрался между шалашиками из вафельных полотенец, зонтиками и простынями, натянутыми на палки. Под ними прятались девушки в купальных юбочках. Мужчины тоже были в костюмах, но не все. Некоторые из них ограничивались только фиговыми листиками, да и те прикрывали отнюдь не библейские места, а носы черноморских джентльменов. Делалось это для того, чтобы с носов не слезала кожа. Устроившись так, мужчины лежали в самых свободных позах. Изредка, прикрывши рукой библейское место, они входили в воду, окунались и быстро бежали на свои продавленные в песке лежа, чтобы не потерять ни одного кубического сантиметра целительной солнечной ванны.

Недостаток одежды у этих граждан с лихвой возмещал джентльмен совершенно иного вида. Он был в хромовых ботинках с пуговицами, визиточных брюках, наглухо застегнутом пиджаке, при воротничке, галстук и часовой цепочке, а также в фетровой шляпе. Толстые усы и оконная вата в ушах дополняли облик этого человека. Рядом с ним торчала палка со стеклянным набалдашником, перпендикулярно воткнутая в песок.

Зной томил его. Воротничок разбух от пота. Под мышками у джентльмена было горячо, как в домне; там можно было плавить руду. Но он продолжал неподвижно лежать.

На любом пляже мира можно встретить одного такого человека. Кто он такой, почему пришел сюда, почему лежит в полном обмундировании — ничего не известно. Но такие люди есть, по одному на каждый пляж. Может быть, это члены какой-нибудь тайной лиги дураков, или остатки некогда могучего ордена розенкрейцеров, или же ополоумевшие холостяки, — кто знает...

Егор Скумбриевич расположился рядом с членом лиги дураков и живо разделся. Голый Скумбриевич был разительно непохож на Скумбриевича одетого. Суховатая голова англичанина сидела на белом дамском теле с отлогими плечами и очень широким тазом. Покачивая последним, Егор подошел к воде, попробовал ее ногой и взвизгнул. Потом опустил в воду вторую ногу и снова взвизгнул. Затем он сделал несколько шагов вперед, заткнул большими пальцами уши, указательными закрыл глаза, средними прищемил ноздри, испустил душераздирающий крик и окунулся четыре раза подряд. Только после всего этого он поплыл вперед наразмашку, отворачивая голову при каждом



взмахе руки. И мелкая волна приняла на себя Егора Скумбриевича — примерного геркулесовца и выдающегося общественного работника. Через пять минут, когда уставший общественник перевернулся на спину и его круглое глобусное брюхо закачалось на поверхности моря, с обрыва, над пляжем, слышался антилоповский матчиш.

Из машины вышли Остап Бендер, Балаганов и бухгалтер Берлага, на лице которого выражалась полная покорность судьбе. Все трое спустились вниз и, бесцеремонно разглядывая физиономии купающихся, принялись кого-то разыскивать.

— Это его брюки, — сказал наконец Берлага, останавливаясь перед одеждами ничего не подозревавшего Скумбриевича. — Он, наверное, далеко заплыл.

— Хватит! — воскликнул великий комбинатор. — Больше ждать я не намерен. Приходится действовать не только на суше, но и на море.

Он скинул костюм и рубашку, под которыми оказались купальные трусы, и, размахивая руками, полез в воду. На груди великого комбинатора была синяя пороховая татуировка, изображавшая Наполеона в треугольной шляпе и с пивной кружкой в короткой руке.

— Балаганов! — крикнул Остап уже из воды. — Разденьте и приготовьте Берлагу. Он, может быть, понадобится.

И великий комбинатор поплыл на бок, раздвигая воды медным плечом и держа курс на северо-северо-восток, где маячил перламутровый живот Егора Скумбриевича.

Прежде чем погрузиться в морскую пучину, Остапу пришлось много поработать на континенте. Магистральный след завел великого комбинатора под золотые буквы «Геркулеса», и он большую часть времени проводил в этом учреждении. Его уже не удивляли комнаты с альковами и умывальниками, статуи, бездельничавшие на лестничных площадках, и швейцар в фуражке с золотым зигзагом, любивший потолковать об огненном погребении.

Из сумбурных объяснений отчаянного Берлаги выплыла полуответственная фигура товарища Скумбриевича. Он занимал большой двухоконный номер, в котором когда-то останавливались заграничные капитаны, укротители львов или богатые студенты из Киева.

В комнате часто и раздражительно звонили телефоны, иногда отдельно, а иногда оба сразу. Но никто не снимал трубок. Еще чаще раскрывалась дверь, стриженная служебная голова, просунувшись в комнату, растерянно поводила очами и исчезала, чтобы тотчас же дать место другой голове, но уже не стриженной, а поросшей жесткими патлами или попросту голой и сиреновой, как луковица. Но и луковичный череп ненадолго застревал в дверной щели. Комната была пуста.

Когда дверь открылась, быть может в пятидесятый раз за этот день, в комнату заглянул Бендер. Он, как и все, повертел головой слева направо и справа налево и, как все, убедился в том, что товарища Скумбриевича в комнате нету. Дерзко выражая свое недовольство, великий комбинатор побрел по отделам, секциям, секторам и кабинетам, спрашивая, не видел ли кто товарища Скумбриевича. И во всех этих местах он получал одинаковый ответ: «Скумбриевич только что здесь был», или: «Скумбриевич минуту назад вышел».

Полуответственный Егор принадлежал к многочисленному виду служащих, которые или «только что здесь были», или «минуту назад вышли». Некоторые из них в течение целого служебного дня не могут даже добраться до своего кабинета. Ровно в девять часов такой человек входит в учрежденческий вестибюль и, полный благих намерений, заносит ножку на первую ступень лестницы. Его ждут великие дела. Он назначил у себя в кабинете восемь важных рандеву, два широких заседания и одно узкое. На письменном столе лежит стопка бумаг, требующих немедленного ответа. Вообще дел много, суток не хватает. И полуответственный или ответственный гражданин бодро заносит ножку на мраморную ступень. Но опустить ее не так-то легко. «Товарищ Парусинов, на одну минуту, — слышится воркующий голос, — как раз я хотел проработать с вами один вопросик». Парусинова мягко берут под ручку и отводят в уголок вестибюля. И с этого момента ответственный или полуответственный работник погиб для страны — он пошел по рукам. Не успеет он проработать вопросик и пробежать три ступеньки, как его снова подхватывают, уводят к окну, или в темный коридор, или в какой-нибудь пустынный закоулок, где неряха завхоз набросал пустые ящики, и что-то ему втолковывают, чего-то добиваются, на чем-то настаивают и просят что-то проверить в срочном порядке. К трем часам дня он все-таки добирается до первой лестничной площадки. К пяти часам ему удастся прорваться даже на площадку второго этажа. Но так как он обитает на третьем этаже, а служебный день уже окончился, он быстро бежит вниз и покидает учреждение, чтобы успеть на срочное междуведомственное совещание. А в это время в кабинете надрываются телефоны, рушатся назначенные рандеву, переписка лежит без ответа, а члены двух широких заседаний и одного узкого безучастно пьют чай и калякают о трамвайных неполадках.

У Егора Скумбриевича все эти особенности были чрезвычайно обострены общественной работой, которой он отдавался с излишней горячностью. Он умело и выгодно использовал взаимный и всесторонний обман, который как-то незаметно прижился в «Геркулесе» и почему-то носил название общественной нагрузки.

Геркулесовцы сидели на собраниях по три часа кряду, слушая унижительную болтовню Скумбриевича.

Им всем очень хотелось схватить Егора за толстенькие ляжки и выбросить из окна с порядочной высоты. Временами им казалось даже, что никакой общественной деятельности вообще не существует и никогда не существовало, хотя они и знали, что за стенами «Геркулеса» есть какая-то другая, правильная общественная жизнь. «Вот скотина, — думали они, тоскливо вертя в руках карандаши и чайные ложечки, — симулянт проклятый!» Но придрататься к Скумбриевичу, разоблачить его было не в их силах. Егор произносил правильные речи о советской общественности, о культработе, о профучебе и о кружках самодеятельности. Но за всеми этими горячими словами ничего не было. Пятнадцать кружков, политических и музыкально-драматических, вырабатывали уже два года свои перспективные планы; ячейки добровольных обществ, имевшие своей целью споспешествовать развитию авиации, химических знаний, автомобилизма, конного спорта, дорожного дела, а также скорейшему уничтожению великодержавного шовинизма, существовали только в воспаленном воображении членов месткома. А школа профучебы, создание которой Скумбриевич ставил себе в особенную заслугу, все время перестраивалась, что, как известно, обозначает полную бездеятельность. Если бы Скумбриевич был честным человеком, он, вероятно, сам сказал бы, что вся эта работа ведется «в порядке миража». Но в месткоме этот мираж облакался в отчеты, а в следующей профсоюзной инстанции существование музыкально-политических кружков уже не вызывало никаких сомнений. Школа же профучебы рисовалась там в виде большого каменного здания, в котором стоят парты, бойкий учитель выводит мелом на доске кривую роста безработицы в Соединенных Штатах, а усатые ученики политически растут прямо на глазах. Из всего вулканического кольца общественной деятельности, которым Скумбриевич охватил «Геркулес», действовали только две огнедышащие точки: стенная газета «Голос председателя», выходящая раз в месяц и делающаяся в часы занятий силами Скумбриевича и Бомзе, и фанерная доска с надписью «Бросившие пить и вызывающие других», под которой, однако, не значилась ни одна фамилия.

Погоня за Скумбриевичем по этажам «Геркулеса» осточертела Бендеру, Великий комбинатор никак не мог настигнуть славного общественника. Он ускользал из рук. Вот здесь, в месткоме, он только что говорил по телефону, еще горяча была мембрана и с черного лака телефонной трубки еще не сошел туман его дыхания. Вот тут, на подоконнике, еще сидел человек, с которым он только сейчас разговаривал. Один раз Остап увидел даже отражение Скумбриевича в лестничном зеркале. Он бросился вперед, но зеркало тотчас же очистилось, отражая лишь окно с далеким облаком.

— Матушка-заступница, милиция-троеручица! — воскликнул Остап, переводя дыхание. — Что за банальный, опротивевший всем бюрократизм! В нашем Черноморском отделении тоже есть свои слабые стороны, всякие

там неполадки в пробирной палатке, но такого, как в «Геркулесе»... Верно, Шура?

Уполномоченный по копытам испустил тяжелый насосный вздох. Они снова очутились в прохладном коридоре второго этажа, где успели побывать за этот день раз пятнадцать. И снова, в пятнадцатый раз, они прошли мимо деревянного дивана, стоявшего у полыхаевского кабинета.

На диване с утра сидел выписанный из Германии за большие деньги немецкий специалист, инженер Генрих-Мария Заузе. Он был в обыкновенном европейском костюме, и только украинская рубашечка, расшитая запорожским узором, указывала на то, что инженер пробыл в России недели три и уже успел посетить магазин кустарных изделий. Он сидел неподвижно, откинув голову на деревянную спинку дивана и прикрыв глаза, как человек, которого собираются брить. Могло бы показаться, что он дремлет. Но молочные братья, не раз пробегавшие мимо него в поисках Скумбриевича, успели заметить, что краски на неподвижном лице заморского гостя беспрестанно меняются. К началу служебного дня, когда инженер занял позицию у дверей Полыхаева, лицо его было румяным в меру. С каждым часом оно все разгоралось и к перерыву для завтрака приобрело цвет почтового сургуча. По всей вероятности, товарищ Полыхаев добрался к этому времени лишь до второго лестничного марша. После перерыва смена красок пошла в обратном порядке. Сургучный цвет перешел в какие-то scarлатинные пятна. Генрих-Мария стал бледнеть, и к середине дня, когда начальнику «Геркулеса», по-видимому, удалось прорваться ко второй площадке, лицо иностранного специалиста стало крахмально-белым.

— Что с этим человеком делается? — шепнул Балаганову Остап. — Какая гамма переживаний!

Едва он успел произнести эти слова, как Генрих-Мария Заузе подскочил на диване и злобно посмотрел на полыхаевскую дверь, за которой слышались холостые телефонные звонки. «Wolokita!» — взвизгнул он дискантом и, бросившись к великому комбинатору, стал изо всей силы трясти его за плечи.

— Геноссе Полыхаев! — кричал он, прыгая перед Остапом. — Геноссе Полыхаев!

Он вынимал часы, совал их под нос Балаганову, поднимал плечи и опять набрасывался на Бендера.

— Вас махен зи? — ошеломленно спросил Остап, показывая некоторое знакомство с немецким языком. — Вас воллен зи от бедного посетителя?

Но Генрих-Мария Заузе не отставал. Продолжая держать левую руку на плече Бендера, правой рукой он подтащил к себе поближе Балаганова и произнес перед ними большую страстную речь, во время которой Остап нетерпеливо смотрел по сторонам в надежде поймать Скумбриевича, а уполномоченный по копытам негромко икал, почтительно прикрывая рот рукой и бессмысленно глядя на ботинки иностранца.

Инженер Генрих-Мария Заузе подписал контракт на год работы в СССР, или, как определял сам Генрих, любивший точность, — в концерна «Геркулес». «Смотрите, господин Заузе, — предостерегал его знакомый доктор математики Бернгард Гернгросс, — за свои деньги большевики заставят вас поработать». Но Заузе объяснил, что работы не боится и давно уже ищет широкого поля для применения своих знаний в области механизации лесного хозяйства.

Когда Скумбриевич доложил Польшаеву о приезде иностранного специалиста, начальник «Геркулеса» заметался под своими пальмами.

— Он нам нужен до зарезу! Вы куда его девали?

— Пока в гостиницу. Пусть отдохнет с дороги.

— Какой там может быть отдых! — вскричал Польшаев. — Столько денег за него плачено, валюты! Завтра же, ровно в десять, он должен быть здесь.

Без пяти минут десять Генрих-Мария Заузе, сверкая кофейными брюками и улыбаясь при мысли о широком поле деятельности, вошел в польшаевский кабинет. Начальника еще не было. Не было его также через час и через два. Генрих начал томиться. Развлекал его только Скумбриевич, который время от времени появлялся и с невинной улыбкой спрашивал:

— Что, разве геноссе Польшаев еще не приходил? Странно.

Еще через два часа Скумбриевич остановил в коридоре завтракавшего Бомзе и начал с ним шептаться:

— Прямо не знаю, что делать. Польшаев назначил немцу на десять часов утра, а сам уехал в Москву хлопотать насчет помещения. Раньше недели не вернется. Выручите, Адольф Николаевич! У меня общественная на-



грузка, профучебу вот никак перестроить не можем. Посидите с немцем, займите его как-нибудь. Ведь за него деньги плачены, валюта.

Бомзе в последний раз понюхал свою ежедневную котлетку, проглотил ее и, отряхнув крошки, пошел знакомиться с гостем.

В течение недели инженер Заузе, руководимый любезным Адольфом Николаевичем, успел осмотреть три музея, побывать на балете «Спящая красавица» и просидеть часов десять на торжественном заседании, устроенном в его честь. После заседания состоялась неофициальная часть, во время которой избранные геркулесовцы очень веселились, потрясали лафитничками, севастопольскими стопками и, обращаясь к Заузе, кричали: «Пей до дна!»

«Дорогая Тили, — писал инженер своей невесте в Аахен, — вот уже десять дней я живу в Черноморске, но к работе в концерне „Геркулес“ еще не приступил. Боюсь, что эти дни у меня вычтут из договорных сумм».

Однако пятнадцатого числа артельщик-плательщик вручил Заузе полу-месячное жалованье.

— Не кажется ли вам, — сказал Генрих своему новому другу Бомзе, — что мне заплатили деньги зря? Я не выполняю никакой работы.

— Оставьте, colega, эти мрачные мысли! — вскричал Адольф Николаевич. — Впрочем, если хотите, можно поставить вам специальный стол в моем кабинете.

После этого Заузе писал письмо невесте, сидя за специальным собственным столом: «Милая крошка. Я живу странной и необыкновенной жизнью. Я ровно ничего не делаю, но получаю деньги пунктуально, в договорные сроки. Все это меня удивляет. Расскажи об этом нашему другу, доктору Бернгарду Гернграссу. Это покажется ему интересным».

Приехавший из Москвы Польшаев, узнав, что у Заузе уже есть стол, обрадовался.

— Ну, вот и прекрасно! — сказал он. — Пусть Скумбриевич введет немца в курс дела.

Но Скумбриевич, со всем своим пылом отдавшийся организации мощного кружка гармонистов-баянистов, сбросил немца Адольфу Николаевичу. Бомзе это не понравилось. Немец мешал ему закусывать и вообще лез не в свои дела, и Бомзе сдал его в эксплуатационный отдел. Но так как этот отдел в то время перестраивал свою работу, что заключалось в бесконечном перетаскивании столов с места на место, то Генриха-Марию сплавивали в финсчетный зал. Здесь Арников, Дрейфус, Сахарков, Корейко и Борисохлебский, не владевшие немецким языком, решили, что Заузе — иностранный турист из Аргентины, и по целым дням объясняли ему геркулесовскую систему бухгалтерии. При этом они употребляли азбуку для глухонемых.

Через месяц очень взволнованный Заузе поймал Скумбриевича в буфете и принялся кричать:

— Я не желаю получать деньги даром! Дайте мне работу! Если так будет продолжаться, я буду жаловаться вашему патрону!

Конец речи иностранного специалиста не понравился Скумбриевичу. Он вызвал к себе Бомзе.

— Что с немцем? — спросил он. — Чего он бесится?

— Знаете что, — сказал Бомзе, — по-моему, он просто склочник. Ей-богу. Сидит человек за столом, ни черта не делает, получает тьму денег и еще жалуется.

— Вот действительно склочная натура, — заметил Скумбриевич, — даром что немец. — К нему надо применить репрессии. Я как-нибудь скажу Польшаеву. Тот его живо в бутылку загонит.

Однако Генрих-Мария решил пробиться к Польшаеву сам. Но ввиду того, что начальник «Геркулеса» был видным представителем работников, которые «минуту тому назад вышли» или «только что здесь были», попытка эта привела только к сидению на деревянном диване и взрыву, жертвами которого стали невинные дети лейтенанта Шмидта.

— Бюрократизмус! — кричал немец, в ажитации¹ переходя на трудный русский язык.

Остап молча взял европейского гостя за руку, подвел его к висевшему на стене ящику для жалоб и сказал, как глухому:

— Сюда! Понимаете? В ящик. Шрайбен, шриб, гешрибен. Писать. Понимаете? Я пишу, ты пишешь, он пишет, она, оно пишет. Понимаете? Мы, вы, они, оне пишут жалобы и кладут в сей ящик. Класть. Глагол «класть». Мы, вы, они, оне кладут жалобы... И никто их не вынимает. Вынимать! Я не вынимаю, ты не вынимаешь...

Но тут великий комбинатор увидел в конце коридора широкие бедра Скумбриевича и, не докончив урока грамматики, побежал за неуловимым общественником.

— Держись, Германия! — поощрительно крикнул немцу Балаганов, устремляясь за командором.

Но, к величайшей досаде Остапа, Скумбриевич снова исчез, словно бы вдруг дематериализовался.

— Это уже мистика, — сказал Бендер, вертя головой, — только что был человек, и нет его.

Молочные братья в отчаянии принялись открывать все двери подряд. Но уже из третьей комнаты Балаганов выскочил, как из проруби. Лицо его невралгически скосилось на сторону.

¹ *Ажитация* (лат. *agitatio* — «приведение в движение») — сильное эмоциональное возбуждение.

— Ва-ва, — сказал уполномоченный по копытам, прислоняясь к стене, — ва-ва-ва.

— Что с вами, дитя мое? — спросил Бендер. — Вас кто-нибудь обидел?

— Там, — пробормотал Балаганов, протягивая дрожащую руку.

Остап открыл дверь и увидел черный гроб.

Гроб покоился посреди комнаты на канцелярском столе с тумбами. Остап снял свою капитанскую фуражку и на носках подошел к гробу. Балаганов с боязнью следил за его действиями. Через минуту Остап поманил Балаганова и показал ему большую белую надпись, выведенную на гробовых откосах.

— Видите, Шура, что здесь написано? — сказал он. — «Смерть бюрократизму!» Теперь вы успокоились?

Это был прекрасный агитационный гроб, который по большим праздникам геркулесовцы вытаскивали на улицу и с песнями носили по всему городу. Обычно гроб поддерживали плечами Скумбриевич, Бомзе, Берлага и сам Польшаев, который был человеком демократической складки и не стыдился показываться рядом с подчиненными на различных шествиях и политкарнавалах. Скумбриевич очень уважал этот гроб и придавал ему большое значение. Иногда, навесив на себя фартук, Егор собственноручно перекрашивал гроб заново и освежал антибюрократические лозунги, в то время как в его кабинете хрипели и закатывались телефоны и разнообразнейшие головы, просунувшись в дверную щель, грустно поводили очами.

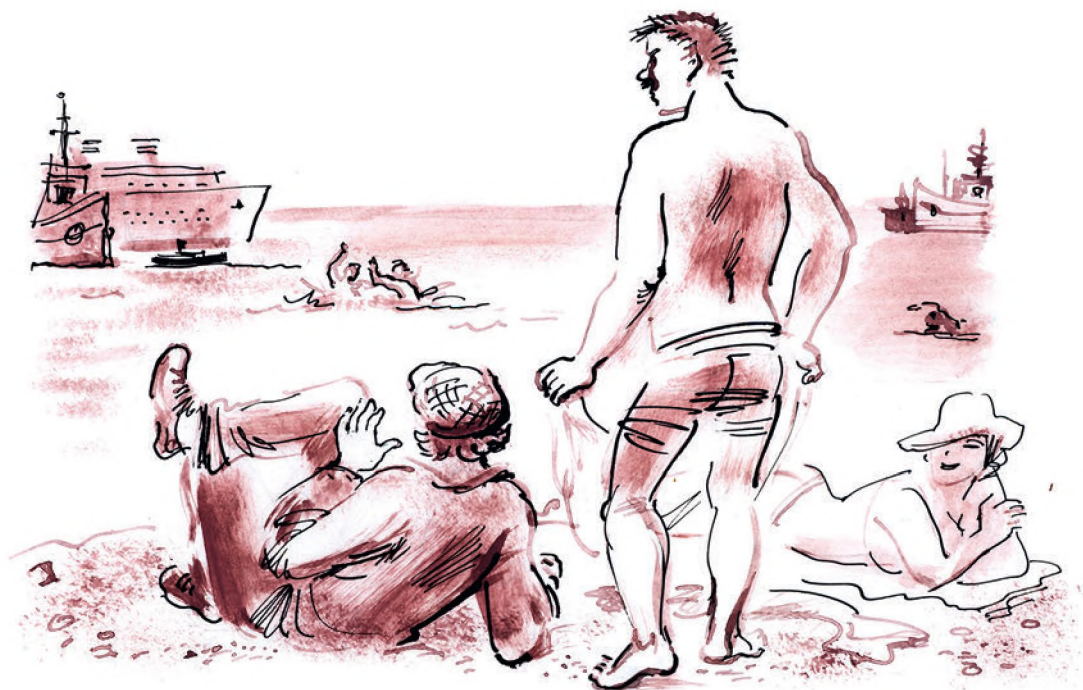
Егор так и не нашелся. Швейцар в фуражке с зигзагом сообщил Бендеру, что товарищ Скумбриевич минуту тому назад здесь был и только что ушел, уехал купаться на Комендантский пляж, что давало ему, как он говаривал, зарядку бодрости.

Прихватив на всякий случай Берлагу и растолкав дремавшего за рулем Козлевича, антилоповцы отправились за город.

Надо ли удивляться тому, что, распаленный всем происшедшим, Остап не стал медлить и полез за Скумбриевичем в воду, нисколько не смущаясь тем, что важный разговор о нечистых акционерных делах придется вести в Черном море.

Балаганов в точности исполнил приказание командора. Он раздел покорного Берлагу, подвел к воде и, придерживая его обеими руками за талию, принялся терпеливо ждать. В море, как видно, происходило тяжелое объяснение. Остап кричал, как морской царь. Слов нельзя было разобрать. Видно было только, что Скумбриевич попытался взять курс на берег, но Остап отрезал ему дорогу и погнал в открытое море. Затем голоса усилились, и стали слышны отдельные слова: «Интенсивник!», «А кто брал? Папа римский брал?..» «При чем тут я?..»

Берлага давно уже переступал босыми пятнами, оттискивая на мокром песке индейские следы. Наконец с моря донесся крик:



— Можно пускать!

Балаганов спустил в море бухгалтера, который с необыкновенной быстротой поплыл по-собачьи, колотя воду руками и ногами. При виде Берлаги Егор Скумбриевич в страхе окунулся с головой.

Между тем уполномоченный по копытам растянулся на песочке и закурил папиросу. Ждать ему пришлось минут двадцать. Первым вернулся Берлага. Он присел на корточки, вынул из кармана брюк носовой платок и, вытирая лицо, сказал:

— Сознался наш Скумбриевич. Очной ставки не выдержал.

— Выдал, гадюка? — добродушно спросил Шура. И, отняв от губ окурок большим и указательным пальцами, щелкнул языком. При этом из его рта вылетел плевок, быстрый и длинный, как торпеда.

Прыгая на одной ноге и нацеливаясь другой ногой в штанину, Берлага туманно пояснил:

— Я это сделал не в интересах истины, а в интересах правды.

Вторым прибыл великий комбинатор. Он с размаху лег на живот и, прижавшись щекой к нагретому песку, долго и многозначительно смотрел на вылезавшего из воды синего Скумбриевича. Потом он принял из рук Балаганова папку и, смачивая карандаш языком, принялся заносить в дело добытые тяжелым трудом новые сведения.

Удивительное превращение произошло с Егором Скумбриевичем. Еще полчаса назад волна приняла на себя активнейшего общественника, такого человека, о котором даже председатель месткома товарищ Нидерландюк говорил: «Кто-кто, а Скумбриевич не подкачает». А ведь подкачал Скумбриевич. И как подкачал! Мелкая летняя волна доставила на берег уже не дивное женское тело с головой бреющегося англичанина, а какой-то бесформенный бурдюк, наполненный горчицей и хреном.

В то время, покуда великий комбинатор пиратствовал на море, Генрих-Мария Заузе, подстергший все-таки Польшаева и имевший с ним весьма крупный разговор, вышел из «Геркулеса» в полном недоумении. Странно улыбаясь, он отправился на почтамт и там, стоя за конторкой, покрытой стеклянной доской, написал письмо невесте в город Аахен: «Дорогая девочка. Спешу сообщить тебе радостную весть. Наконец-то мой патрон Польшаев отправляет меня на производство. Но вот что меня поражает, дорогая Тили, — в концерне „Геркулес“ это называется загнать в бутылку (sagnat w butillku!). Мой новый друг Бомзе сообщил, что на производство меня посылают в виде наказания. Можешь ли ты себе это представить? И сможет ли это когда-нибудь понять наш добрый доктор математики Бернгард Гернгросс?»

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Универсальный штемпель

К двенадцати часам следующего дня по «Геркулесу» пополз слух о том, что начальник заперся с каким-то посетителем в своем пальмовом зале и вот уже три часа не отзывается ни на стук Серны Михайловны, ни на вызовы по внутреннему телефону. Геркулесовцы терялись в догадках. Они привыкли к тому, что Польшаева весь день водят под ручку в коридорах, усаживают на подоконники или затаскивают под лестницу, где и решаются все дела. Возникло даже предположение, что начальник отбился от категории работников, которые «только что вышли», и примкнул к влиятельной группе «затворников», которые обычно проникают в свои кабинеты рано утром, запираются там, выключают телефон и, отгородившись таким образом от всего мира, сочиняют разнообразнейшие доклады.

А между тем работа шла, бумаги требовали подписей, ответов и резолюций. Серна Михайловна недовольно подходила к польшаевской двери и прислушивалась. При этом в ее больших ушах раскачивались легкие жемчужные шарики.

— Факт, не имеющий прецедента, — глубокомысленно сказала секретарша.

— Но кто же, кто это у него сидит? — спрашивал Бомзе, от которого несло смешанным запахом одеколона и котлет. — Может, кто-нибудь из инспекции?

— Да нет, говорю вам, обыкновенный посетитель.

— И Польшаев сидит с ним уже три часа?

— Факт, не имеющий прецедента, — повторила Серна Михайловна.

— Где же выход из этого исхода? — взволновался Бомзе. — Мне срочно нужна резолюция Польшаева. У меня подробный доклад о непригодности бывшего помещения «Жесть и бекон» к условиям работы «Геркулеса». Я не могу без резолюции.

Серну Михайловну со всех сторон осадили сотрудники. Все они держали в руках большие и малые бумаги. Прождав еще час, в продолжение которого гул за дверью не затихал, Серна Михайловна уселась за свой стол и кротко сказала:

— Хорошо, товарищи. Подходите с вашими бумагами.

Она извлекла из шкафа длинную деревянную стоечку, на которой показывалось тридцать шесть штемпелей с толстенькими лаковыми головками, и, проворно вынимая из гнезд нужные печати, принялась оттискивать их на бумагах, не терпящих отлагательства.

Начальник «Геркулеса» давно уже не подписывал бумаг собственноручно. В случае надобности он вынимал из жилетного кармана печатку и, любовно дохнув на нее, оттискивал против титула сиреневое факсимиле. Этот трудовой процесс очень ему нравился и даже натолкнул на мысль, что некоторые наиболее употребительные резолюции не худо бы тоже перевести на резину.

Так появились на свет первые каучуковые изречения:

«Не возражаю. Польшаев».

«Согласен. Польшаев».

«Прекрасная мысль. Польшаев».

«Провести в жизнь. Польшаев».

Проверив новое приспособление на практике, начальник «Геркулеса» пришел к выводу, что оно значительно упрощает его труд и нуждается в дальнейшем поощрении и развитии. Вскоре была пущена в работу новая партия резины. На этот раз резолюции были многословнее:

«Объявить выговор в приказе. Польшаев».

«Поставить на вид. Польшаев».

«Бросить на периферию. Польшаев».

«Уволить без выходного пособия. Польшаев».

Борьба, которую начальник «Геркулеса» вел с коммунотделом из-за помещения, вдохновила его на новые стандартные тексты:

«Я коммунотделу не подчинен. Польшаев».

«Что они там, с ума посходили? Польшаев».

«Не мешайте работать. Польшаев».

«Я вам не ночной сторож. Польшаев».

«Гостиница принадлежит нам — и точка. Польшаев».

«Знаю я ваши штучки. Польшаев».

«И кроватей не дам, и умывальников. Польшаев».

Эта серия была заказана в трех комплектах. Борьба предвиделась длительная, и пронизательный начальник не без оснований опасался, что с одним комплектом он не обернется.

Затем был заказан набор резолюций для внутригеркулесовских нужд.

«Спросите у Серны Михайловны. Польшаев».

«Не морочьте мне голову. Польшаев».

«Тише едешь — дальше будешь. Польшаев».

«А ну вас всех! Польшаев».

Творческая мысль начальника не ограничилась, конечно, исключительно административной стороной дела. Как человек широких взглядов, он не мог обойти вопросов текущей политики. И он заказал прекрасный универсальный штамп, над текстом которого трудился несколько дней. Это была дивная резиновая мысль, которую Польшаев мог приспособить к любому случаю жизни. Помимо того, что она давала возможность немедленно откликаться на события, она также освобождала его от необходимости каждый раз мучительно думать. Штамп был построен так удобно, что достаточно было лишь заполнить оставленный в нем промежуток, чтобы получилась злободневная резолюция:

В ответ на

мы, геркулесовцы, как один человек ответим:

- а) повышением качества служебной переписки,
- б) увеличением делопроизводительности труда,
- в) усилением борьбы с бюрократизмом, волокитой, кумовством и подхалимством,
- г) уничтожением прогулов и именин,
- д) уменьшением накладных расходов на календари и портреты,
- е) общим ростом профсоюзной активности,
- ж) отказом от празднования рождества, пасхи, троицы, благовещения, крещения, курбан-байрама, йом-кипура, рамазана, пурима и других религиозных праздников,
- з) беспощадной борьбой с головоуятизмом, хулиганством, пьянством, обезличкой, бесхребетностью и переверзевщиной¹,

¹ Валерьян Федорович Переверзев (1882–1968) — советский литературовед. В конце 1920-х возглавил марксистскую литературоведческую школу, названную его именем. Эта школа была разгромлена в ходе дискуссии 1929–1930 годов, а слово «переверзевщина» превратилось в идеологический ярлык.



и) поголовным вступлением в ряды общества «Долой рутину с оперных подмостков»,

к) поголовным переходом на сою,

л) поголовным переводом делопроизводства на латинский алфавит, а также всем, что понадобится впредь.

Пунктирный промежуток Польшаев заполнял лично, по мере надобности, сообразуясь с требованиями текущего момента.

Постепенно Польшаев разохотился и стал все чаще и чаще пускать в ход свою универсальную резолюцию. Дошло до того, что он отвечал ею на выпады, происки, вылазки и бесчинства собственных сотрудников.

Например: «В ответ на наглое бесчинство бухгалтера Кукушкинда, потребовавшего уплаты ему сверхурочных, ответим...» Или: «В ответ на мерзкие происки и подлые выпады сотрудника Борисохлебского, попросившего внеочередной отпуск, ответим...» — и так далее.

И на все это надо было немедленно ответить повышением, увеличением, усилением, уничтожением, уменьшением, общим ростом, отказом от, беспощадной борьбой, поголовным вступлением, поголовным переходом, поголовным переводом, а также всем, что понадобится впредь.

И только отчитав таким образом Кукушкинда и Борисохлебского, начальник пускал в

дело коротенькую резинку: «Поставить на вид. Польшаев», или: «Бросить на периферию. Польшаев».

При первом знакомстве с резиновой резолюцией отдельные геркулесовцы опечалились. Их пугало обилие пунктов. В особенности смущал пункт о латинском алфавите и о поголовном вступлении в общество «Долой рутину с оперных подмостков». Однако все обернулось мирно. Скумбриевич, правда, размахнулся и организовал, кроме названного общества, еще и кружок «Долой Хованщину!», но этим все дело и ограничилось.

И покуда за польшаевской дверью слышался вентиляторный рокот голосов, Серна Михайловна бойко работала. Стоечка со штемпелями, расположившимися по росту — от самого маленького: «Не возражаю. Польшаев», до самого большого — универсального, напоминала мудреный цирковой инструмент, на котором белый клоун с солнцем ниже спины играет палочками серенаду Брага. Секретарша выбирала приблизительно подходящий по содержанию штампель и клеймила им бумаги. Больше всего она налегала на осторожную резинку: «Тише едешь — дальше будешь», памятуя, что это была любимейшая резолюция начальника.

Работа шла без задержки. Резина отлично заменила человека. Резиновый Польшаев нисколько не уступал Польшаеву живому.

Уже опустел «Геркулес» и босоногие уборщицы ходили по коридору с грязными ведрами, уже ушла последняя машинистка, задержавшаяся на час, чтобы перепечатать лично для себя строки Есенина: «Влача стихов злаченые рогожи, мне хочется вам нежное сказать», уже Серна Михайловна, которой надоело ждать, поднялась и, перед тем как выйти на улицу, стала массировать себе веки холодными пальцами, — когда дверь польшаевского кабинета задрожала, отворилась, и оттуда лениво вышел Остап Бендер. Он сонно посмотрел на Серну Михайловну и пошел прочь, размахивая желтой папкой с ботиночными тесемками. Вслед за ним из-под живительной тени пальм и сикомор вынырнул Польшаев. Серна взглянула на своего высокого друга и без звука опустила на квадратный матрасик, смягчавший жесткость ее стула. Как хорошо, что сотрудники уже разошлись и в эту минуту не могли видеть своего начальника! В усах у него, как птичка в ветвях, сидела алмазная слеза. Польшаев удивительно быстро моргал глазами и так энергично потирал руки, будто бы хотел трением добыть огонь по способу, принятому среди дикарей Океании. Он побежал за Остапом, позорно улыбаясь и выгибая стан.

— Что же будет? — бормотал он, забегая то с одной, то с другой стороны. — Ведь я не погибну? Ну, скажите же, золотой мой, серебряный, я не погибну? Я могу быть спокоен?

Ему хотелось добавить, что у него жена, дети, Серна, дети от Серны и еще от одной женщины, которая живет в Ростове-на-Дону; но в горле его что-то само по себе пикнуло, и он промолчал.

Плачевно подвывая, он сопровождал Остапа до самого вестибюля. В опустевшем здании они встретили только двух человек. В конце коридора стоял Егор Скумбриевич. При виде великого комбинатора он схватился за челюсть и отступил в нишу. Внизу, на лестнице, из-за мраморной девушки с электрическим факелом выглядывал бухгалтер Берлага. Он раболепно поклонился Остапу и даже молвил: «Здравствуйте», но Остап не ответил на приветствие вице-короля.

У самого выхода Польшаев схватил Остапа за рукав и пролепетал:

— Я ничего не утаил. Честное слово! Я могу быть спокоен? Правда?

— Полное спокойствие может дать человеку только страховой полис, — ответил Остап, не замедляя хода. — Так вам скажет любой агент по страхованию жизни. Лично мне вы больше не нужны. Вот государство, оно, вероятно, скоро вами заинтересуется.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Командор танцует танго

В маленьком буфете искусственных минеральных вод, на вывеске которого были намалеваны синие сифоны, сидели за белым столиком Балаганов и Паниковский. Уполномоченный по копытам жевал трубочку, следя за тем, чтобы крем не выдавился с противоположного конца. Этот харч богов он запивал сельтерской водой с зеленым сиропом «Свежее сено». Курьер пил целебный кефир. Перед ним стояли уже шесть пустых бутылочек. Из седьмой Паниковский озабоченно вытряхивал в стакан густую жидкость. Сегодня в конторе новая письмоводительница платила жалованье по ведомости, подписанной Бендером, и друзья наслаждались прохладой, шедшей от итальянских каменных плит буфета, от несгораемого шкафа-ледника, где хранилась мокрая брынза, от потемневших цилиндрических баллонов с шипучей водой и от мраморного прилавка. Кусок льда выскользнул из шкафа и лежал на полу, истекая водой. На него приятно было взглянуть после утомительного вида улицы с короткими тенями, с прибитыми жарою прохожими и очумевшими от жажды псами.

— Хороший город Черноморск! — сказал Паниковский, облизываясь. — Кефир хорошо помогает от сердца.

Это сообщение почему-то рассмешило Балаганова. Он неосторожно прижал трубочку, из нее выдавилась толстая колбаска крема, которую уполномоченный еле успел подхватить на лету.

— Знаете, Шура, — продолжал Паниковский, — я как-то перестал доверять Бендеру. Он что-то не то делает.

— Ну, ну! — угрожающе сказал Балаганов. — Тебя не спрашивали.

— Нет, серьезно. Я очень уважаю Остапа Ибрагимовича: это такой че-

ловек!.. Даже Фунт — вы знаете, как я уважаю Фунта, — сказал про Бендера, что это — голова. Но я вам скажу, Шура: Фунт — осел! Ей-богу, это такой дурак. Просто жалкая, ничтожная личность! А против Бендера я ничего не возражаю. Но мне кое-что не нравится. Вам, Шура, я все скажу как родному.

Со времени последней беседы с субинспектором Уголовного розыска к Балаганову никто не обращался как к родному. Поэтому он с удовлетворением выслушал слова курьера и легкомысленно разрешил ему продолжать.

— Вы знаете, Шура, — зашептал Паниковский, — я очень уважаю Бендера, но я вам должен сказать: Бендер — осел! Ей-богу, жалкая, ничтожная личность!

— Но, но! — предостерегающе сказал Балаганов.

— При чем тут — но-но? Вы только подумайте, на что он тратит наши деньги! Вы только вспомните! Зачем нам эта дурацкая контора? Сколько расходов! Одному Фунту мы платим сто двадцать. А конторщица! Теперь еще каких-то двух прислали, я видел — они сегодня жалованье по ведомости получали. Бронеподростки!¹ Зачем это все? Он говорит — для легальности. Плевал я на легальность, если она стоит таких денег. А оленьи рога за шестьдесят пять рублей! А чернильница! А все эти дырошшиватели!

Паниковский расстегнул пиджак, и полтинничная манишка, пристегнутая к шее нарушителя конвенции, взвилась вверх, свернувшись, как пергаментный свиток. Но Паниковский так разгорячился, что не обратил на это внимания.

— Да, Шура. Мы с вами получаем мизерный оклад, а он купается в роскоши. И зачем, спрашиваю я, он ездил на Кавказ? Он говорит — в командировку. Не верю! Паниковский не обязан всему верить! И я бегал для него на пристань за билетом. Заметьте себе, за билетом первого класса. Этот невский франт не может ездить во втором! Вот куда уходят наши десять тысяч! Он разговаривает по междугородному телефону, рассылает по всему свету телеграммы-молнии. Вы знаете, сколько стоит молния! Сорок копеек слово. А я принужден отказывать себе в кефире, который нужен мне для здоровья. Я старый, больной человек. Скажу вам прямо: Бендер — это не голова.

— Вы все-таки не очень-то, — заметил Балаганов, колеблясь. — Ведь Бендер сделал из вас человека. Вспомните, как в Арбатове вы бежали с гусем. А теперь вы служите, получаете ставку, вы член общества.

— Я не хочу быть членом общества! — завизжал вдруг Паниковский и, понизив голос, добавил: — Ваш Бендер — идиот. Затеял эти дурацкие розыски, когда деньги можно сегодня же взять голыми руками.

Тут уполномоченный по копытам, не помышляя больше о любимом начальнике, пододвинулся к Паниковскому. И тот, непрерывно отгибая вниз

¹ Бронеподростки (жарг.) — подросток 15–17 лет, принятый на работу в учреждение по брони, то есть вне конкурса.

непослушную манишку, поведал Балаганову о серьезнейшем опыте, который он проделал на свой страх и риск.

В тот день когда великий комбинатор и Балаганов гонялись за Скумбриевичем, Паниковский самовольно бросил контору на старого Фунта, тайно проник в комнату Корейко и, пользуясь отсутствием хозяина, произвел в ней внимательный осмотр. Конечно, никаких денег он в комнате не нашел, но он обнаружил нечто получше — гири, очень большие черные гири, пуда по полтора каждая.

— Вам, Шура, я скажу как родному. Я раскрыл секрет этих гирь.

Паниковский поймал наконец живой хвостик своей манишки, пристегнул его к пуговице на брюках и торжественно взглянул на Балаганова.

— Какой же может быть секрет? — разочарованно молвил уполномоченный по копытам. — Обыкновенные гири для гимнастики.

— Вы знаете, Шура, как я вас уважаю, — загорячился Паниковский, — но вы осел. Это золотые гири! Понимаете? Гири из чистого золота! Каждая гиря по полтора пуда. Три пуда чистого золота. Это я сразу понял, меня прямо как ударило. Я стоял перед этими гирями и бешено хохотал. Какой подлец этот Корейко! Отлил себе золотые гири, покрасил их в черный цвет и думает, что никто не узнает. Вам, Шура, я скажу как родному, — разве я рассказал бы вам этот секрет, если бы мог унести гири один? Но я старый, больной человек, а гири тяжелые. И я вас приглашаю как родного. Я не Бендер. Я честный!

— А вдруг они не золотые? — спросил любимый сын лейтенанта, которому очень хотелось, чтобы Паниковский возможно скорее развеял его сомнения.

— А какие ж они, по-вашему? — иронически спросил нарушитель конвенции.

— Да, — сказал Балаганов, моргая рыжими ресницами, — теперь мне ясно. Смотрите, пожалуйста, старик — и все раскрыл! А Бендер действительно что-то не то делает: пишет бумажки, ездит... Мы ему все-таки дадим часть, по справедливости, а?

— С какой стати? — возразил Паниковский. — Все нам! Теперь мы замечательно будем жить, Шура. Я вставляю себе золотые зубы и женюсь, ей-богу, женюсь, честное, благородное слово!

Ценные гири решено было изъять без промедления.

— Заплатите за кефир, Шура, — сказал Паниковский, — потом сочтемся.

Заговорщики вышли из буфета и, ослепленные солнцем, принялись кружить по городу. Их томило нетерпение. Они подолгу стояли на городских мостах и, налегши животами на парапет, безучастно глядели вниз, на крыши домов, на спускавшиеся в гавань улицы, по которым, с осторожностью лошади, съезжали грузовики. Жирные портовые воробьи долбили клювами

мостовую, в то время как из всех подворотен за ними следили грязные кошки. За ржавыми крышами, чердачными фонарями и антеннами виднелись синенькая вода, катерок, бежавший во весь дух, и желтая пароходная труба с большой красной буквой.

Время от времени Паниковский поднимал голову и принимался считать. Он переводил пуды на килограммы, килограммы — на старозаветные золотники, и каждый раз получалась такая заманчивая цифра, что нарушитель конвенции даже легонько повизгивал.

В одиннадцатом часу вечера молочные братья, кренясь под тяжестью двух больших гирь, шли по направлению к конторе по заготовке рогов и копыт. Паниковский нес свою долю обеими руками, выпятив живот и радостно пыхтя. Он часто останавливался, ставил гирию на тротуар и бормотал: «Женюсь! Честное, благородное слово, женюсь!» Здоровяк Балаганов держал гирию на плече. Иногда Паниковский никак не мог повернуть за угол, потому что гирия по инерции продолжала тащить его вперед. Тогда Балаганов свободной рукой придерживал Паниковского за шиворот и придавал его телу нужное направление.

У дверей конторы они остановились.

— Сейчас мы отпилим по кусочку, — озабоченно сказал Паниковский, — а завтра утром продадим. У меня есть один знакомый часовщик, господин Биберхам. Он даст настоящую цену. Не то что в Черноторге, где никогда настоящей цены не дадут.

Но тут заговорщики заметили, что из-под зеленых конторских занавесок пробивается свет.

— Кто же там может быть в такой час? — удивился Балаганов, нагибаясь к замочной скважине.

За письменным столом, освещенный боковым светом сильной штепсельной лампы, сидел Остап Бендер и что-то быстро писал.

— Писатель! — сказал Балаганов, заливаясь смехом и уступая скважину Паниковскому.

— Конечно, — заметил Паниковский, вдоволь насмотревшись, — опять пишет. Ей-богу, этот жалкий человек меня смешит. Но где же мы будем пилить?

И, жарко толкуя о необходимости завтра же утром сбыть для начала два кусочка золота часовщику Биберхаму, молочные братья подняли свой груз и пошли в темноту.

Между тем великий комбинатор заканчивал жизнеописание Александра Ивановича Корейко. Со всех пяти избушек, составлявших чернильный прибор «Лицом к деревне», были сняты бронзовые крышечки. Остап макал перо без разбору, куда попадет рука, ездил по стулу и шаркал под столом ногами.

У него было изнуренное лицо карточного игрока, который всю ночь проигрывал и только на рассвете поймал наконец талию. Всю ночь не вязались банки и не шла карта. Игрок менял столы, старался обмануть судьбу и найти везучее место. Но карта упрямо не шла. Уже он начал «выжимать», то есть, посмотрев на первую карту, медленнейшим образом выдвигать из-за ее спины другую, уже клал он карту на край стола и смотрел на нее снизу, уже складывал обе карты рубашками наружу и раскрывал их, как книгу, — словом, проделывал все то, что проделывают люди, когда им не везет в девятку. Но это не помогало. В руки шли по большей части картинки: валеты с веревочными усиками, дамы, нюхающие бумажные цветки, и короли с дворничьими бородами. Очень часто попадались черные и розовые десятки. В общем, шла та мерзость, которую официально называют «баккара», а неофициально — «бак» или «жир». И только в тот час, когда люстры желтеют и тухнут, когда под плакатами «спать воспрещается» храпят и захлебываются на стульях неудачники в заношенных воротничках, совершается чудо. Банки вдруг начинают вязаться, отвратительные фигуры и десятки исчезают, велят восьмерки и девятки. Игрок уже не мечется по залу, не выжимает карту, не заглядывает в них снизу. Он чувствует в руках счастливую талию. И уже марафоны столпились позади счастливца, дергают его за плечи и подхалимски шепчут: «Дядя Юра, дайте три рубля». А он, бледный и гордый, дерзко переворачивает карты и под крики: «Освобождаются места за девятым столом!» и «Аматорские¹, пришлите по полтиннику!» — потрошит своих партнеров. И зеленый стол, разграфленный белыми линиями и дугами, становится для него веселым и радостным, как футбольная площадка.

Для Остапа уже не было сомнений. В игре наступил перелом.

Все неясное стало ясным. Множество людей с веревочными усиками и королевскими бородами, с которыми пришлось сшибиться Остапу и которые оставили след в желтой папке с ботиночными тесемками, внезапно посыпались в сторону, и на передний план, круша всех и вся, выдвинулось белоглазое ветчинное рыло с пшеничными бровями и глубокими ефрейторскими складками на щеках.

Остап поставил точку, промакнул жизнеописание прессом с серебряным медвежонком вместо ручки и стал подшивать документы. Он любил держать дела в порядке. Последний раз полюбовался он хорошо разглаженными показаниями, телеграммами и различными справками. В папке были даже фотографии и выписки из бухгалтерских книг. Вся жизнь Александра Ивановича Корейко лежала в папке, а вместе с ней находились там пальмы, девушки, синее море, белый пароход, голубые экспрессы, зеркальный автомобиль и Рио-де-Жанейро, волшебный город в глубине бухты, где живут добрые мулаты и

¹ *Аматор* (от лат. *amator* — «любитель») — дилетант, любитель.



подавляющее большинство граждан ходит в белых штанах. Наконец-то великий комбинатор нашел того самого индивида, о котором он мечтал всю жизнь.

— И некому даже оценить мой титанический труд, — грустно сказал Остап, поднимаясь и зашнуровывая толстую папку. — Балаганов очень мил, но глуп. Паниковский — просто вздорный старик. А Козлевич — ангел без крыльев. Он до сих пор не сомневается в том, что мы заготавливаем рога для нужд мундштучной промышленности. Где же мои друзья, мои жены, мои дети? Одна надежда, что уважаемый Александр Иванович оценит мой великий труд и выдаст мне на бедность тысяч пятьсот. Хотя нет! Теперь я меньше миллиона не возьму, иначе добрые мулаты просто не станут меня уважать.

Остап вышел из-за стола, взял свою замечательную папку и задумчиво принялся расхаживать по пустой конторе, огибая машинку с турецким акцентом, железнодорожный компостер и почти касаясь головой оленьих рогов. Белый шрам на горле Остапа порозовел. Постепенно движения великого комбинатора все замедлялись, и его ноги в красных башмаках, купленных по случаю у греческого матроса, начали бесшумно скользить по полу. Незаметно он стал двигаться боком. Правой рукой он нежно, как девушку, прижал к груди папку, а левую вытянул вперед. Над городом явственно послышался канифольный скрип колеса Фортуны. Это был тонкий музыкальный звук, который перешел вдруг в легкий скрипичный унисон. И хватающая за сердце, давно позабытая мелодия заставила звучать все предметы, находившиеся в Черноморском отделении Арбатовской конторы по заготовке рогов и копыт.

Первым начал самовар. Из него внезапно вывалился на поднос охваченный пламенем уголек. И самовар запел:

Под знойным небом Аргентины,
Где небо южное так сине...

Великий комбинатор танцевал танго. Его медальное лицо было повернуто в профиль. Он становился на одно колено, быстро подымался, поворачивался и, легонько переступая ногами, снова скользил вперед. Невидимые фрачные фалды разлетались при неожиданных поворотах.

А мелодию уже перехватила пишущая машинка с турецким акцентом:

... Где небо южное так сине,
Где женщины, как на картине...

И неуклюжий, выдавший виды чугунный компостер глухо вздыхал о невозвратном времени:

... Где женщины, как на картине,
Танцуют все танго.



Остап танцевал классическое провинциальное танго, которое исполняли в театрах миниатюр двадцать лет тому назад, когда бухгалтер Берлага носил свой первый котелок, Скумбриевич служил в канцелярии градоначальника, Полыхаев держал экзамен на первый гражданский чин, а зицпредседатель Фунт был еще бодрым семидесятилетним человеком и вместе с другими пикейными жилетами сидел в кафе «Флорида», обсуждая ужасный факт закрытия Дарданелл в связи с итало-турецкой войной. И пикейные жилеты, в те времена еще румяные и гладкие, перебирали политических деятелей той эпохи. «Энвер-бей — это голова. Юан Шикай — это голова. Пуришкевич — все-таки тоже голова!» — говорили они. И уже тогда они утверждали, что Бриан — это голова, потому что он и тогда был министром.

Остап танцевал. Над его головой трещали пальмы и проносились цветные птички. Океанские пароходы терлись бортами о пристани Рио-де-Жанейро. Сметливые бразильские купчины на глазах у всех занимались кофейным демпингом, и в открытых ресторанах местные молодые люди развлекались спиртными напитками.

— Командовать парадом буду я! — воскликнул великий комбинатор.

Потушив свет, он вышел из комнаты и кратчайшим путем направился на Малую Касательную улицу. Бледные циркульные ноги прожекторов раздвигались по небу, спускались вниз, внезапно срезали кусок дома, открывая балкон или стеклянную арнаутскую галерею с остолбеневшей от неожиданности парочкой. Из-за угла навстречу Остапу, раскачиваясь и стуча гусеничными лентами, выехали два маленьких танка с круглыми грибовыми шляпками¹. Кавалерист, нагнувшись с седла, расспрашивал прохожего, как ближе проехать к Старому рынку. В одном месте Остапу преградила путь артиллерия. Он проскочил путь в интервале между двумя батареями. В другом — милиционеры торопливо прибывали к воротам дома доску с черной надписью: «Газоубежище».

Остап торопился. Его подгоняло аргентинское танго. Не обращая внимания на окружающее, он вошел в дом Корейко и постучал в знакомую дверь.

— Кто там? — послышался голос подпольного миллионера.

— Телеграмма! — ответил великий комбинатор, подмигнув в темноту.

Дверь открылась, и он вошел, зацепившись папкой за дверной косяк.

На рассвете далеко за городом сидели в овраге уполномоченный и курьер.

Они пилили гири. Носы их были перепачканы чугушной пылью. Рядом с Паниковским лежала на траве манишка. Он ее снял: она мешала работать. Под гирями предусмотрительный нарушитель конвенции разостлал газетный лист, дабы ни одна пылинка драгоценного металла не пропала зря.

¹ Имеется в виду первый советский серийный танк МС-1, имеющий над башней характерный, похожий на шляпку гриба люк с крышкой.

Молочные братья изредка важно переглядывались и принимались пилить с новой силой. В утренней тишине слышались только посвистывание сусликов и скрежетание нагретых ножевых.

— Что такое! — сказал вдруг Балаганов, переставая работать. — Три часа уже пилю, а оно все еще не золотое.

Паниковский не ответил. Он уже все понял и последние полчаса водил ножовкой только для виду.

— Ну-с, попилим еще! — бодро сказал рыжеволосый Шура.

— Конечно, надо пилить, — заметил Паниковский, стараясь оттянуть страшный час расплаты.

Он закрыл лицо ладонью и сквозь растопыренные пальцы смотрел на мерно двигавшуюся широкую спину Балаганова.

— Ничего не понимаю! — сказал Шура, допилив до конца и разнимая гирию на две яблочные половины. — Это не золото!

— Пилите, пилите, — пролепетал Паниковский. Но Балаганов, держа в каждой руке по чугунному полушарию, стал медленно подходить к нарушителю конвенции.

— Не подходите ко мне с этим железом! — завизжал Паниковский, отбегая в сторону. — Я вас презираю!

Но тут Шура размахнулся и, застонав от натуги, метнул в интригана обломок гири. Услышав над своей головой свист снаряда, интриган лег на землю.

Схватка уполномоченного с курьером была непродолжительна. Разозлившийся Балаганов сперва с наслаждением топтал манишку, а потом приступил к ее собственнику. Нанося удары, Шура приговаривал:

— Кто выдумал эти гири? Кто растратил казенные деньги? Кто Бендера ругал?

Кроме того, первенец лейтенанта вспомнил о нарушении сухаревской конвенции, что обошлось Паниковскому в несколько лишних тумачков.

— Вы мне ответите за манишку! — злобно кричал Паниковский, закрываясь локтями. — Имейте в виду, манишки я вам никогда не прощу! Теперь таких манишек нет в продаже!

В заключение Балаганов отобрал у противника ветхий кошелечек с тридцатью восемью рублями.

— Это за твой кефир, гадюка! — сказал он при этом.

В город возвращались без радости.

Впереди шел рассерженный Шура, а за ним, припадая на одну ножку и громко плача, тащился Паниковский.

— Я бедный и несчастный старик! — всхлипывал он. — Вы мне ответите за манишку. Отдайте мне мои деньги!

— Ты у меня получишь! — говорил Шура, не оглядываясь. — Все Бендеру скажу. Авантюрист!

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Конец «Вороньей слободки»

Варвара Птибурдукова была счастлива. Сидя за круглым столом, она обводила взором свое хозяйство. В комнате Птибурдуковых стояло много мебели, так что свободного места почти не было. Но и той площади, которая оставалась, было достаточно для счастья. Лампа посылала свет за окно, где, как дамская брошь, дрожала маленькая зеленая ветка. На столе лежали печенье, конфеты и маринованный судак в круглой железной коробочке. Штепсельный чайник собрал на своей кривой поверхности весь уют птибурдуковского гнезда. В нем отражались и кровать, и белые занавески, и ночная тумбочка. Отражался и сам Птибурдуков, сидевший напротив жены в синей пижаме со шнурками. Он тоже был счастлив. Пропуская сквозь усы папиросный дым, он выпиливал лобзиком из фанеры игрушечный дачный нужник. Работа была кропотливая. Необходимо было выпилить стенки, наложить косую крышку, устроить внутреннее оборудование, застеклить окошечко и приделать к двери микроскопический крючок. Птибурдуков работал со страстью; он считал выпиливание по дереву лучшим отдыхом.

Окончив работу, инженер радостно засмеялся, похлопал жену по толстой теплой спине и придвинул к себе коробочку с судаком. Но в эту минуту слышался сильный стук в дверь, мигнула лампа, и чайник сдвинулся с проволочной подставки.

— Кто бы это так поздно? — молвил Птибурдуков, открывая дверь.

На лестнице стоял Васисуалий Лоханкин. Он по самую бороду был завернут в белое марсельское одеяло, из-под которого виднелись волосатые ноги. К груди он прижимал книгу «Мужчина и женщина», толстую и раззолоченную, как икона. Глаза Васисуалия блуждали.

— Милости просим, — ошеломленно сказал инженер, делая шаг назад. — Варвара, что это?

— Я к вам пришел навеки поселиться, — ответил Лоханкин гробовым ямбом, — надеюсь я найти у вас приют.

— Как — приют? — сказал Птибурдуков, багровея. — Что вам угодно, Васисуалий Андреевич?

На площадку выбежала Варвара.

— Сашук! Посмотри, он голый! — закричала она. — Что случилось, Васисуалий? Да войди же, войдите.

Лоханкин переступил порог босыми ногами и, бормоча: «Несчастье, несчастье», начал метаться по комнате. Концом одеяла он сразу смахнул на пол тонкую столярную работу Птибурдукова. Инженер отошел в угол, чувствуя, что ничего хорошего уже не предвидится.



— Какое несчастье? — допытывалась Варвара. — Почему ты в одном одеяле?

— Я к вам пришел навеки поселиться, — повторил Лоханкин коровьим голосом.

Его желтая барабанная пятка выбивала по чистому восковому полу тревожную дробь.

— Что ты ерунду мелешь? — набросилась Варвара на бывшего мужа. — Ступай домой и проспись. Уходи отсюда! Иди, иди домой!

— Уж дома нет, — сказал Васисуалий, продолжая дрожать. — Сгорел до основания. Пожар, пожар погнал меня сюда. Спасти успел я только одеяло и книгу спас любимую притом. Но раз вы так со мной жестокосерды, уйду я прочь и прокляну притом.

Васисуалий, горестно шатаясь, пошел к выходу. Но Варвара с мужем удержали его. Они просили прощения, говорили, что не разобрали сразу, в чем дело, и вообще захлопотали. На свет были извлечены новый пиджачный костюм Птибурдукова, белье и ботинки.

Пока Лоханкин одевался, супруги совещались в коридоре.

— Куда его устроить? — шептала Варвара. — Он не может у нас ночевать, у нас одна комната.

— Я тебе удивляюсь, — сказал добрый инженер, — у человека несчастье, а ты думаешь только о своем благополучии.

Когда супруги вернулись в комнату, погорелец сидел за столом и прямо из железной коробочки ел маринованную рыбу. Кроме того, с полочки были сброшены два тома «Сопротивления материалов», и их место заняла раззолоченная «Мужчина и женщина».

— Неужели весь дом сгорел? — сочувственно спросил Птибурдуков. — Вот ужас!

— А я думаю, что, может, так надо, — сказал Васисуалий, приканчивая хозяйский ужин, — может быть, я выйду из пламени преобразившимся, а? Но он не преобразился.

Когда обо всем было переговорено, Птибурдуковы стали устраиваться на ночь. Васисуалию постлали матрасик на том самом остатке площади, которого еще час назад было достаточно для счастья. Окно закрыли, потушили свет, и в комнату вошла ночь. Минут двадцать все лежали молча, время от времени ворочаясь и тяжело вздыхая. Потом с полу донесся тягучий шепот Лоханкина:

— Варвара! Варвара! Слушай, Варвара!

— Чего тебе? — негодуяше спросила бывшая жена.

— Почему ты от меня ушла, Варвара!

Не дождавшись ответа на этот принципиальный вопрос, Васисуалий за-
ныл:

— Ты самка, Варвара! Ты волчица! Волчица ты, тебя я презираю...

Инженер недвижимо лежал в постели, задыхаясь от злости и сжимая кулаки.

«Воронья слободка» загорелась в двенадцать часов вечера, в то самое время, когда Остап Бендер танцевал танго в пустой конторе, а молочные братья Балаганов и Паниковский выходили из города, сгибаясь под тяжестью золотых гирь.

В длинной цепи приключений, которые предшествовали пожару в квартире номер три, начальным звеном была ничья бабушка. Она, как известно, жгла на своей антресоли керосин, так как не доверяла электричеству. После порки Васисуалия Андреевича в квартире давно уже не происходило никаких интересных событий, и беспокойный ум камергера Митрича томился от вынужденного безделья. Поразмыслив хорошенько о бабушкиных привычках, он встревожился.

— Сожжет, старая, всю квартиру! — бормотал он. — Ей что? А у меня одна рояль, может быть, две тысячи стоит.

Придя к такому заключению, Митрич застраховал от огня все свое движимое имущество. Теперь он мог быть спокоен и равнодушно глядел, как бабушка тащила к себе наверх большую мутную бутылку с керосином, держа ее на руках, как ребенка. Первым об осторожном поступке Митри-

ча узнал гражданин Гигиенишвили и сейчас же истолковал его по-своему. Он подступил к Митричу в коридоре и, схватив его за грудь, угрожающе сказал:

— Поджечь всю квартиру хочешь? Страховку получить хочешь? Ты думаешь, Гигиенишвили дурак? Гигиенишвили все понимает.

И страстный квартирант в тот же день сам застраховался на большую сумму. При этом известии ужас охватил всю «Воронью слободку». Люция Францевна Пферд прибежала на кухню с вытаращенными глазами.

— Они нас сожгут, эти негодяи. Вы как хотите, граждане, а я сейчас же иду страховать. Гореть все равно будем, хоть страховку получу. Я из-за них по миру идти не желаю.

На другой день застраховалась вся квартира, за исключением Лоханкина и ничьей бабушки. Лоханкин читал «Родину» и ничего не замечал, а бабушка не верила в страховку, как не верила в электричество. Никита Пряхин принес домой страховой полис с сиреневой каемкой и долго рассматривал на свет водяные знаки.

— Это выходит, значит, государство навстречу идет? — сказал он мрачно. — Оказывает жильцам помощь? Ну, спасибо! Теперь, значит, как пожелаем, так и сделаем.

И, спрятав полис под рубаху, Пряхин удалился в свою комнату. Его слова вселили такой страх, что в эту ночь в «Вороньей слободке» никто не спал. Дуня связывала вещи в узлы, а остальные коечники разбрелись ночевать по знакомым. Днем все следили друг за другом и по частям выносили имущество из дома.

Все было ясно. Дом был обречен. Он не мог не сгореть. И, действительно, в двенадцать часов ночи он запылал, подожженный сразу с шести концов.

Последним из дома, который уже наполнился самоварным дымом с прожилками огня, выскочил Лоханкин, прикрываясь белым одеялом. Он изо всех сил кричал: «Пожар! Пожар!», хотя никого не смог удивить этой новостью. Все жильцы «Вороньей слободки» были в сборе. Пьяный Пряхин сидел на своем сундуке с коваными углами. Он бессмысленно глядел на мерцающие окна, приговаривая: «Как пожелаем, так и сделаем». Гигиенишвили брезгливо нюхал свои руки, которые отдавали керосином, и каждый раз после этого вытирал их о штаны. Первая огненная пружина вырвалась из форточки и, роняя искры, развернулась под деревянным карнизом. Лопнуло и со звоном вывалилось первое стекло. Ничья бабушка страшно завывала.

— Сорок лет стоял дом, — степенно разъяснял Митрич, расхаживая в толпе, — при всех властях стоял, хороший был дом. А при советской сгорел. Такой печальный факт, граждане.

Женская часть «Вороньей слободки» сплотилась в одну кучу и не сводила глаз с огня. Орудийное пламя вырывалось уже из всех окон. Иногда

огонь исчезал, и тогда потемневший дом, казалось, отскакивал назад, как пушечное тело после выстрела. И снова красно-желтое облако выносилось наружу, парадно освещая Лимонный переулок. Стало горячо. Возле дома уже невозможно было стоять, и общество переключалось на противоположный тротуар.

Один лишь Никита Пряхин дремал на сундучке посреди мостовой. Вдруг он вскочил, босой и страшный.

— Православные! — закричал он, раздирая на себе рубаху. — Граждане!

Он боком побежал прочь от огня, врезался в толпу и, выкликая непонятные слова, стал показывать рукой на горящий дом. В толпе возник переполох.

— Ребенка забыли, — уверенно сказала женщина в соломенной шляпе.

Никиту окружили. Он отпихивался руками и рвался к дому.

— На кровати лежит! — иступленно кричал Пряхин. — Пусти, говорю!

По его лицу катились огненные слезы. Он ударил по голове Гигиенишвили, который преграждал ему дорогу, и бросился во двор. Через минуту он выбежал оттуда, неся лестницу.

— Остановите его! — закричала женщина в соломенной шляпе. — Он сгорит!

— Уйди, говорю! — вопил Никита Пряхин, приставляя лестницу к стене и отталкивая молодых людей из толпы, которые хватили его за ноги. — Не дам ей пропасть. Душа горит.

Он лягался ногами и лез вверх, к дымящемуся окну второго этажа.

— Назад! — кричали из толпы. — Зачем полез? Сгоришь!

— На кровати лежит! — продолжал выкликать Никита. — Цельный гусь, четверть хлебного вина. Что ж, пропадать ей, православные граждане?

С неожиданным проворством Пряхин ухватился за оконный слив и мигом исчез, втянутый внутрь воздушным насосом. Последние слова его были: «Как пожелаем, так и сделаем». В переулке наступила тишина, прерванная колоколом и трубными сигналами пожарного обоза. Во двор вбежали топорники в негнущихся брезентовых костюмах с широкими синими поясами.

Через минуту после того, как Никита Пряхин совершил единственный за всю жизнь героический поступок, от дома отделилось и грохнуло оземь горящее бревно. Крыша, треща, разошлась и упала внутрь дома. К небу поднялся сияющий столб, словно бы из дома выпустили ядро на луну.

Так погибла квартира номер три, известная больше под названием «Вороньей слободки».

Внезапно в переулке послышался звон копыт. В блеске пожара промчался на извозчике инженер Талмудовский. На коленях у него лежал заклеенный ярлыками чемодан. Подскакивая на сиденье, инженер наклонился к извозчику и кричал:

— Ноги моей здесь не будет при таком окладе жалованья! Пошел скорей! И тотчас же его жирная, освещенная огнями и пожарными факелами спина скрылась за поворотом.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Командовать парадом буду я

— Я умираю от скуки, — сказал Остап, — мы с вами беседуем только два часа, а вы уже надоели мне так, будто я знал вас всю жизнь. С таким строптивым характером хорошо быть миллионером в Америке. У нас миллионер должен быть более покладистым.

— Вы сумасшедший! — ответил Александр Иванович.

— Не оскорбляйте меня, — кротко заметил Бендер. — Я сын турецко-подданного и, следовательно, потомок янычаров. Я вас не пощажу, если вы будете меня обижать. Янычары не знают жалости ни к женщинам, ни к детям, ни к подпольным советским миллионерам.

— Уходите, гражданин! — сказал Корейко голосом геркулесовского бюрократа. — Уже третий час ночи, я хочу спать, мне рано на службу идти.

— Верно, верно, я и забыл! — воскликнул Остап. — Вам нельзя опаздывать на службу. Могут уволить без выходного пособия. Все-таки двухнедельный оклад — двадцать три рубля! При вашей экономии можно прожить полгода.

— Не ваше дело. Оставьте меня в покое. Слышите? Убирайтесь!

— Но эта экономия вас погубит. Вам, конечно, небезопасно показывать свои миллионы. Однако вы чересчур стараетесь. Вы подумали над тем, что с вами произойдет, если вы наконец сможете тратить деньги? Воздержание — вещь опасная! Знакомая мне учительница французского языка Эрнестина Иосифовна Пуанкаре никогда в жизни не пила вина. И что же! На одной вечеринке ее угостили рюмкой коньяку. Это ей так понравилось, что она выпила целую бутылку и тут же, за ужином, сошла с ума. И на свете стало меньше одной учительницей французского языка. То же может произойти и с вами.

— Чего вы, черт возьми, хотите от меня добиться?

— Того, чего хотел добиться друг моего детства Коля Остен-Бакен от подруги моего же детства, польской красавицы Инги Зайонц. Он добивался любви. И я добиваюсь любви. Я хочу, чтобы вы, гражданин Корейко, меня полюбили и в знак своего расположения выдали мне один миллион рублей.

— Вон! — негромко сказал Корейко.

— Ну вот, опять вы забыли, что я потомок янычаров.

С этими словами Остап поднялся с места. Теперь собеседники стояли друг против друга. У Корейки было штормовое лицо, в глазах мелькали белые барашки. Великий комбинатор сердечно улы-

бался, показывая белые кукурузные зубы. Враги подошли близко к настольной лампочке, и на стену легли их исполинские тени.

— Тысячу раз я вам повторял, — произнес Корейко, сдерживаясь, — что никаких миллионов у меня нет и не было. Поняли? Поняли? Ну, и уберите! Я на вас буду жаловаться.

— Жаловаться на меня вы никогда не будете, — значительно сказал Остап, — а уйти я могу, но не успею я выйти на вашу Малую Касательную улицу, как вы с плачем побежите за мной и будете лизать мои янычарские пятки, умоляя меня вернуться.

— Почему же это я буду вас умолять?

— Будете. Так надо, как любил выражаться мой друг Васисуалий Лоханкин, именно в этом сермяжная правда. Вот она!

Великий комбинатор положил на стол папку и, медленно развязывая ее ботиночные тесемки, продолжал:

— Только давайте условимся. Никаких эксцессов! Вы не должны меня душить, не должны выбрасываться из окна и, самое главное, не умирайте от удара. Если вы вздумаете тут же скоростижно скончаться, то поставите меня этим в глупое положение. Погибнет плод длительного добросовестного труда. В общем, давайте потолкуем. Уже не секрет, что вы меня не любите. Никогда я не добьюсь того, чего Коля Остен-Бакен добился от Инги Зайонц, подруги моего детства. Поэтому я не стану вздыхать напрасно, не стану хватать вас за талию. Считайте серенаду законченной. Утихли балалайки, гусли и позолоченные арфы. Я пришел к вам как юридическое лицо к юридическому лицу. Вот пачка весом в три-четыре кило. Она продается и стоит миллион рублей, тот самый миллион, который вы из жадности не хотите мне подарить. Купите!

Корейко склонился над столом и прочел на папке: «Дело Александра Ивановича Корейко. Начато 25 июня 1930 г. Окончено 10 августа 1930 г.».

— Какая чепуха! — сказал он, разводя руками. — Что за несчастье такое! То вы приходили ко мне с какими-то деньгами, теперь дело выдумали. Просто смешно.

— Ну что, состоится покупка? — настаивал великий комбинатор. — Цена невысокая. За кило замечательнейших сведений из области подземной коммерции беру всего по триста тысяч.

— Какие там еще сведения? — грубо спросил Корейко, протягивая руку к папке.

— Самые интересные, — ответил Остап, вежливо отводя его руку. — Сведения о вашей второй и главной жизни, которая разительно отличается от вашей первой, сорокашестирублевой, геркулесовской. Первая ваша жизнь всем известна. От десяти до четырех вы за советскую власть. Но вот о вашей второй жизни, от четырех до десяти, знаю я один. Вы учли ситуацию?

Корейко не ответил. Тень лежала в ефрейторских складках его лица.

— Нет, — решительно сказал великий комбинатор, — вы произошли не от обезьяны, как все граждане, а от коровы. Вы соображаете очень туго, совсем как парнокопытное млекопитающее. Это я говорю вам как специалист по рогам и копытам. Итак, еще раз. У вас, по моим сведениям, миллионов семь-восемь. Папка продается за миллион. Если вы ее не купите, я сейчас же отнесу ее в другое место. Там мне за нее ничего не дадут, ни копейки. Но вы погибнете. Это я говорю вам как юридическое лицо юридическому лицу. Я останусь таким же бедным поэтом и многоженцем, каким был, но до самой смерти меня будет тешить мысль, что я избавил общественность от великого сквалыжника.

— Покажите дело, — сказал Корейко задумчиво.

— Не суетитесь, — заметил Остап, раскрывая папку, — командовать парадом буду я. В свое время вы были извещены об этом по телеграфу. Так вот, парад наступил, и я, как вы можете заметить, им команду.

Александр Иванович взглянул на первую страницу дела и, увидев наклеенную на ней собственную фотографию, неприятно улыбнулся и сказал:

— Что-то не пойму, чего вы от меня хотите? Посмотреть разве из любопытства.

— Я тоже из любопытства, — заявил великий комбинатор. — Ну что ж, давайте приступим, исходя из этого в конце концов невинного чувства. Господа присяжные заседатели, Александр Иванович Корейко родился... Впрочем, счастливое детство можно опустить. В то голубенькое время Саша еще не занимался коммерческим грабежом. Дальше идет розоватое отрочество. Пропустим еще страницу. А вот и юность, начало жизни. Здесь уже можно остановиться. Из любопытства. Страница шестая дела...

Остап перевернул страницу шестую и огласил содержание страниц седьмой, восьмой и далее, по двенадцатую включительно.

— И вот, господа присяжные заседатели, перед вами только что прошли первые крупные делишки моего подзащитного, как то: торговля казенными медикаментами во время голода и тифа, а также работа по снабжению, которая привела к исчезновению железнодорожного маршрута с продовольствием, шедшего в голодающее Поволжье. Все эти факты, господа присяжные заседатели, интересуют нас с точки зрения чистого любопытства.

Остап говорил в скверной манере дореволюционного присяжного поверенного, который, ухватившись за какое-нибудь словечко, уже не выпускает его из зубов и тащит за собой в течение всех десяти дней большого процесса.

— Не лишено также любопытства появление моего подзащитного в Москве в 1922 году...

Лицо Александра Ивановича сохраняло нейтральность, но его руки бесцельно шарили по столу, как у слепого.

— Позвольте, господа присяжные заседатели, задать вам один вопрос. Конечно, из любопытства. Какой доход могут принести человеку две обыкновенные бочки, наполненные водопроводной водой? Двадцать рублей? Три рубля? Восемь копеек? Нет, господа присяжные заседатели! Александру Ивановичу они принесли четыреста тысяч золотых рублей ноль ноль копеек. Правда, бочки эти носили выразительное название: «Промысловая артель химических продуктов „Реванш“». Однако пойдём дальше. Страницы сорок вторая — пятьдесят третья. Место действия — маленькая доверчивая республика. Синее небо, верблюды, оазисы и пиджоны в золотых тубетейках. Мой подзащитный помогает строить электростанцию. Подчеркиваю — помогает. Посмотрите на его лицо, господа присяжные заседатели!..

Увлечшийся Остап повернулся к Александру Ивановичу и указал на него пальцем. Но эффектно описать рукой плавную дугу, как это делывали присяжные поверенные, ему не удалось. Подзащитный неожиданно захватил его руку на лету и молча стал ее выкручивать. В то же время г. подзащитный другой рукой вознамерился вцепиться в горло г. присяжного поверенного. С полминуты противники ломали друг друга, дрожа от напряжения. На Остапе расстегнулась рубашка, и в просвете мелькнула татуировка. Наполеон



по-прежнему держал пивную кружку, но был так красен, словно бы успел основательно нализаться.

— Не давите на мою психику! — сказал Остап, оторвав от себя Корейко и переводя дыхание. — Невозможно заниматься.

— Негодяй! Негодяй! — шептал Александр Иванович. — Вот негодяй!

Он сел на пол, кривясь от боли, причиненной ему потомком янычаров.

— Заседание продолжается! — молвил Остап как ни в чем не бывало. — И, как видите, господа присяжные заседатели, лед тронулся. Подзащитный пытался меня убить. Конечно, из детского любопытства. Он просто хотел узнать, что находится у меня внутри. Спешу это любопытство удовлетворить. Там внутри — благородное и очень здоровое сердце, отличные легкие и печень без признака камней. Прошу занести этот факт в протокол. А теперь — продолжим наши игры, как говорил редактор юмористического журнала, открывая очередное заседание и строго глядя на своих сотрудников.

Игры чрезвычайно не понравились Александру Ивановичу. Командировка, из которой Остап вернулся, дыша молодым вином и барашком, оставила в деле обширные следы. Тут была копия заочного приговора, снятые на кальку планы благотворительного комбината, выписки из «Счета прибылей и убытков», а также фотографии электрического ущелья и кинокоролей.

— И наконец, господа присяжные заседатели, третий этап деятельности моего драчливого подзащитного — скромная конторская работа в «Геркулесе» для общества и усиленная торгово-подземная деятельность — для души. Просто из любопытства отметим спекуляции валютой, мехами, камушками и прочими компактными предметами первой необходимости. И наконец остановимся на серии самовзрывающихся акционерных обществ под цветистыми нахально-кооперативными названиями: «Интенсивник», «Трудовой кедр», «Пилопомощь» и «Южный лесорубник». И всем этим вертел не господин Фунт, узник частного капитала, а мой друг подзащитный.

При этом великий комбинатор снова указал рукой на Корейко и описал ею давно задуманную эффектную дугу.

Затем Остап в напыщенных выражениях попросил у воображаемого суда разрешения задать подсудимому несколько вопросов и, подождав из приличия одну минуту, начал:

— Не имел ли подсудимый каких-либо внеслужебных дел с геркулесовцем Берлагой? Не имел. Правильно! А с геркулесовцем Скумбриевичем? Тоже нет. Чудесно. А с геркулесовцем Польшаевым?

Миллионер-конторщик молчал.

— Вопросов больше не имею. Ф-фу!.. Я устал и есть хочу. Скажите, Александр Иванович, нет ли у вас холодной котлеты за пазухой? Нету? Уди-

вительная бедность, в особенности если принять во внимание величину суммы, которую вы при помощи Польшаева выкачали из доброго «Геркулеса». Вот собственноручные объяснения Польшаева, единственного геркулесовца, который знал, кто скрывается под видом сорокашестирублевого конторщика. Но и он по-настоящему не понимал, кто вы такой. Зато это знаю я. Да, господа присяжные заседатели, мой подзащитный грешен. Это доказано. Но я все-таки позволю себе просить о снисхождении, при том, однако, условии, что подзащитный купит у меня папку. Я кончил.

К концу речи великого комбинатора Александр Иванович успокоился. Заложив руки в карманы легких брюк, он подошел к окну. Молодой день в трамвайных бубенцах уже шумел по городу.

За полисадом шли осовавиахимовцы, держа винтовки вкривь и вкось, будто несли мотыги. По оцинкованному карнизу, стуча красными вербными лапками и поминутно срываясь, прогуливались голуби. Александр Иванович, приучивший себя к экономии, потушил настольную лампу и сказал:

— Так это вы посылали мне дурацкие телеграммы?

— Я, — ответил Остап. — «Грузите апельсины бочках братья Карамзовы». Разве плохо?

— Глуповато.

— А нищий-полуидиот? — спросил Остап, чувствуя, что парад удался. — Хорош?

— Мальчишеская выходка! И книга о миллионерах — тоже. А когда вы пришли в виде киевского надзирателя, я сразу понял, что вы мелкий жулик. К сожалению, я ошибся. Иначе черта с два вы бы меня нашли.

— Да, вы ошиблись. И на старуху бывает проруха, как сказала польская красавица Инга Зайонц через месяц после свадьбы с другом моего детства Колей Остен-Бакеном.

— Ну, ограбление — это еще понятно, но гири! Почему вы украли у меня гири?

— Какие гири? Никаких гирь я не крал.

— Вам просто стыдно признаться. И вообще вы наделали массу глупостей.

— Возможно, — заметил Остап. — Я не ангел. У меня есть недочеты. Однако я с вами заболтался. Меня ждут мулаты. Прикажете получить деньги?

— Да, деньги! — сказал Корейко. — С деньгами заминка. Папка хорошая, слов нет, купить можно, но, подсчитывая мои доходы, вы совершенно упустили из виду расходы и прямые убытки. Миллион — это несуразная цифра.

— До свиданья, — холодно молвил Остап, — и, пожалуйста, побудьте дома полчаса. За вами приедут в чудной решетчатой карете.

- Так дела не делают, — сказал Корейко с купеческой улыбкой.
- Может быть, — вздохнул Остап, — но я, знаете, не финансист. Я — свободный художник и холодный философ.
- За что же вы хотите получить деньги? Я их заработал, а вы...
- Я не только трудился. Я даже пострадал. После разговоров с Берлагой, Скумбриевичем и Польшаевым я потерял веру в человечество. Разве это не стоит миллиона рублей, вера в человечество?
- Стоит, стоит, — успокоил Александр Иванович.
- Значит, пойдем в закрома? — спросил Остап. — Кстати, где вы держите свою наличность? Надо полагать, не в сберкассе?
- Пойдем! — ответил Корейко. — Там увидите.
- Может быть, далеко? — засуетился Остап. — Я могу машину.

Но миллионер от машины отказался и заявил, что идти недалеко и что вообще не нужно лишней помпы. Он учтиво пропустил Бендера вперед и вышел, захватив со стола небольшой пакетик, завернутый в газетную бумагу. Спускаясь с лестницы, Остап напевал: «Под небом знойной Аргентины...»

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Сердце шофера

На улице Остап взял Александра Ивановича под руку, и оба комбинатора быстро пошли по направлению к вокзалу.

— А вы лучше, чем я думал, — дружелюбно сказал Бендер. — И правильно. С деньгами нужно расставаться легко, без стонов.

— Для хорошего человека и миллиона не жалко, — ответил конторщик, к чему-то прислушиваясь.

Когда они повернули на улицу Меринга, над городом пронесся воющий звук сирены. Звук был длинный, волнистый и грустный. От такого звука в туманную ночь морякам становится как-то не по себе, хочется почему-то просить прибавки к жалованью по причине опасной службы. Сирена продолжала надрываться. К ней присоединились сухопутные гудки и другие сирены, более далекие и еще более грустные. Прохожие вдруг заторопились, будто бы их погнал ливень. При этом все ухмылялись и поглядывали на небо. Торговки семечками, жирные старухи, бежали, выпятив животы, и в их камышовых корзинках среди сыпучего товара подскакивали стеклянные стаканчики. Через улицу вкось промчался Адольф Николаевич Бомзе. Он благополучно успел проскочить в вертящуюся дверь «Геркулеса». Прогалопировал на разноцветных лошадках взвод конного резерва милиции. Промелькнул краснокрестный автомобиль. Улица внезапно очистилась. Остап заметил, что далеко впереди от бывшего кафе «Флорида» отделился табунчик пикейных жилетов. Размахивая газетами, канотье и панамскими шляпами, старики затрусили по мостовой. Но не успели они добраться до



угла, как раздался оглушающий лопающийся пушечный выстрел, пикейные жилеты пригнули головы, остановились и сейчас же побежали обратно. Полы их чесучовых пиджаков раздувались.

Поведение пикейных жилетов рассмешило Остапа. Пока он любовался их удивительными жестами и прыжками, Александр Иванович успел развернуть захваченный из дому пакет.

— Скабрзные старики! Опереточные комики! — сказал Остап, поворачиваясь к Корейко.

Но Корейко не было. Вместо него на великого комбинатора смотрела потрясающая харя со стеклянными водолазными очами и резиновым хоботом, в конце которого болтался жестяной цилиндр цвета хаки. Остап так удивился, что даже подпрыгнул.

— Что это за шутки? — грозно сказал он, протягивая руку к противогазу. — Гражданин подзащитный, призываю вас к порядку.

Но в эту минуту набежала группа людей в таких же противогазах, и среди десятка одинаковых резиновых харь уже нельзя было найти Корейко. Придерживая свою папку, Остап сразу же стал смотреть на ноги

чудовищ, но едва ему показалось, что он различил вдовьи брюки Александра Ивановича, как его взяли под руки и молодецкий голос сказал:

— Товарищ! Вы отравлены!

— Кто отравлен? — закричал Остап, вырываясь. — Пустите!

— Товарищ, вы отравлены газом! — радостно повторил санитар. — Вы попали в отравленную зону. Видите, газовая бомба.

На мостовой действительно лежал ящичек, из которого поспешно выбирался густой дым. Подозрительные брюки были уже далеко. В последний раз они сверкнули между двух потоков дыма и пропали. Остап молча и яростно выдирался. Его держали уже шесть масок.

— Кроме того, товарищ, вы ранены осколком в руку. Не сердитесь, товарищ! Будьте сознательны! Вы же знаете, что идут маневры. Сейчас мы вас переведем и отнесем в газоубежище.

Великий комбинатор никак не мог понять, что сопротивление бесполезно. Игрок, ухвативший на рассвете счастливую талию и удивлявший весь стол, неожиданно в десять минут спустил все забежавшему мимоходом из любопытства молодому человеку. И уже не сидит он, бледный и торжествующий, и уже не толкуются вокруг него марафоны, выклянчивая мелочь на счастье. Домой он пойдет пешком.

К Остапу подбежала комсомолка с красным крестом на переднике. Она вытащила из брезентовой сумки бинты и вату и, хмуря брови, чтобы не рассмеяться, обмотала руку великого комбинатора поверх рукава. Закончив акт милосердия, девушка засмеялась и убежала к следующему раненому, который покорно отдал ей свою ногу. Остапа потащили к носилкам. Там произошла новая схватка, во время которой раскачивались хоботы, а первый санитар-распорядитель громким лекторским голосом продолжал пробуждать в Остапе сознательность и другие гражданские доблести.

— Братцы! — бормотал великий комбинатор, в то время как его пристегивали к носилкам ремнями. — Сообщите, братцы, моему покойному папе, турецкоподданному, что любимый сын его, бывший специалист по рогам и копытам, пал смертью храбрых на поле брани.



Последние слова потерпевшего на поле брани были:

— Спи́те, орлы боевые! Соловей, соловей, пташечка.

После этого Остапа понесли, и он замолчал, устремив глаза в небо, где начиналась кутерьма. Катились плотные, как сердца, светлые клубки дыма. На большой высоте неровным углом шли прозрачные целлулоидные самолеты. От них расходилось звонкое дрожание, словно бы все они были связаны между собой железными нитями. В коротких промежутках между орудийными ударами продолжали выть сирены.

Остапу пришлось вытерпеть еще одно унижение. Его несли мимо «Геркулеса». Из окон четырех этажей лесоучреждения выглядывали служащие. Весь финсчет стоял на подоконниках. Лапидус-младший пугал Кукушкинда, делая вид, что хочет столкнуть его вниз. Берлага сделал большие глаза и поклонился носилкам. В окне второго этажа на фоне пальм стояли, обнявшись, Полыхаев и Скумбриевич. Заметив связанного Остапа, они зашептались и быстро захлопнули окно.

Перед вывеской «Газоубежище № 34» носилки остановились, Остапу помогли подняться, и, так как он снова попытался вырваться, санитару-распорядителю пришлось снова воззвать к его сознательности.

Газоубежище расположилось в домовом клубе. Это был длинный и светлый полуподвал с ребристым потолком, к которому на проволоках были подвешены модели военных и почтовых самолетов. В глубине клуба помещалась маленькая сцена, на заднике которой были нарисованы два синих окна с лунной и звездами и коричневая дверь. Под стеной с надписью: «Войны не хотим, но к отпору готовы», мыкались пикейные жилеты, захваченные всем табунчиком. По сцене расхаживал лектор в зеленом френче и, недовольно поглядывая на дверь, с шумом пропускавшую новые группы отравленных, с военной отчетливостью говорил:

— По характеру действия боевые отравляющие вещества делятся на удушающие, слезоточивые, общеядовитые, нарывные, раздражающие и так далее. В числе слезоточивых отравляющих веществ можем отметить хлорпикрин, бромистый бензол, бромацетон, хлорацетофенон...

Остап перевел мрачный взор с лектора на слушателей. Молодые люди смотрели оратору в рот, или записывали лекцию в книжечку, или возились у щита с винтовочными частями. Во втором ряду одиноко сидела девушка спортивного вида, задумчиво глядя на театральную луну.

«Хорошая девушка, — решил Остап, — жалко, времени нет. О чем она думает? Уж наверно не о бромистом бензоле. Ай-яй-яй! Еще сегодня утром я мог прорваться с такой девушкой куда-нибудь в Океанию, на Фиджи, или на какие-нибудь острова Жилтоварищества, или в Рио-де-Жанейро».

При мысли об утраченном Рио Остап заметался по убежищу.

Пикейные жилеты, в числе сорока человек, уже оправились от потрясения, подвинтили свои крахмальные воротнички и с жаром толковали о «Пан-Европе», о морской конференции трех держав и о гандизме.

— Слышали?² — говорил один жилет другому. — Ганди приехал в Данди¹.

— Ганди — это голова! — вздохнул тот. — И Данди — это голова.

Возник спор. Одни жилеты утверждали, что Данди — это город и головою быть не может. Другие с сумасшедшим упорством доказывали противное. В общем, все сошлись на том, что Черноморск будет объявлен вольным городом в ближайшие же дни.

Лектор снова сморщился, потому что дверь открылась и в помещение со стуком прибыли новые жильцы — Балаганов и Паниковский. Газовая атака застигла их при возвращении из ночной экспедиции. После работы над гириями они были перепачканы, как вредные коты. При виде командора молочные братья потупились.

— Вы что, на именинах у архиерея были?³ — хмуро спросил Остап.

Он боялся расспросов о ходе дела Корейко, поэтому сердито соединил брови и перешел в нападение.

— Ну, гуси-лебеди, где были, что подельвали?⁴

— Ей-богу, — сказал Балаганов, прикладывая руку к груди. — Это все Паниковский затеял.

— Паниковский! — строго сказал командор.

— Честное, благородное слово! — воскликнул нарушитель конвенции. — Вы же знаете, Бендер, как я вас уважаю! Это балагановские штуки.

— Шура! — еще более строго молвил Остап.

— И вы ему поверили! — с упреком сказал уполномоченный по копытам. — Ну, как вы думаете, разве я без вашего разрешения взял бы эти гири?⁵

— Так это вы взяли гири?⁶ — закричал Остап. — Зачем же?

— Паниковский сказал, что они золотые.

Остап посмотрел на Паниковского. Только сейчас он заметил, что под его пиджаком нет уже полтинничной манишки и оттуда на свет божий глядит голая грудь. Не говоря ни слова, великий комбинатор свалился на стул. Он затрясся, лоя руками воздух. Потом из его горла вырвались вулканические раскаты, из глаз выбежали слезы, и смех, в котором сказались все утомление ночи, все разочарование в борьбе с Корейко, так жалко спародированной молочными братьями, — ужасный смех раздался в газоубежище. Пикейные жилеты вздрогнули, а лектор еще громче и отчетливей заговорил о боевых отравляющих веществах.

Смех еще покалывал Остапа тысячью нарзанных иголок, а он уже чувствовал себя освеженным и помолодевшим, как человек, прошедший все па-

¹ Имеется в виду 390-километровый «соляной поход» Ганди в 1930 году до побережья Аравийского моря близ селения Данди.

рикмахерские инстанции: и дружбу с бритвой, и знакомство с ножницами, и одеколонный дождик, и даже причесывание бровей специальной щеточкой. Лаковая океанская волна уже плеснула в его сердце, и на вопрос Балаганова о делах он ответил, что все идет превосходно, если не считать неожиданного бегства миллионера в неизвестном направлении.

Молочные братья не обратили на слова Остапа должного внимания. Их радовало, что дело с гирями сошло так легко.

— Смотрите, Бендер, — сказал уполномоченный по копытам, — вон барышня сидит. Это с нею Корейко всегда гулял.

— Значит, это и есть Зося Синицкая? — с ударением произнес Остап. — Вот уж действительно — среди шумного бала, случайно...

Остап протолкался к сцене, вежливо остановил оратора и, узнав у него, что газовый плен продлится еще часа полтора-два, поблагодарил и присел тут же, у сцены, рядом с Зосей. Через некоторое время девушка уже не смотрела на размалеванное окно. Неприлично громко смеясь, она вырывала свой гребень из рук Остапа. Что касается великого комбинатора, то он, судя по движению его губ, говорил, не останавливаясь.

В газоубежище притащили инженера Талмудовского. Он отбивался двумя чемоданами. Его румяный лоб был влажен от пота и блестел, как блин.

— Ничего не могу сделать, товарищ! — говорил распорядитель. — Маневры! Вы попали в отравленную зону.

— Но ведь я ехал на извозчике! — кипятился инженер. — На извозчике! Я спешу на вокзал в интересах службы. Ночью я опоздал на поезд. Что ж, и сейчас опаздывать?

— Товарищ, будьте сознательны!

— Почему же я должен быть сознательным, если я ехал на извозчике! — негодовал Талмудовский.

Он так напирал на это обстоятельство, будто езда на извозчике делала седока неуязвимым и лишала хлорпикрин, бромацетон и бромистый бензол их губительных отравляющих свойств. Неизвестно, сколько бы еще времени Талмудовский переругивался с осоавиахимовцами, если бы в газоубежище не вошел новый отравленный и, судя по замотанной в марлю голове, также и раненый гражданин. При виде нового гостя Талмудовский замолчал и проворно нырнул в толпу пикейных жилетов. Но человек в марле сразу же заметил корпусную фигуру инженера и направился прямо к нему.

— Наконец-то я вас поймал, инженер Талмудовский! — сказал он злоеще. — На каком основании вы бросили завод?

Талмудовский повел во все стороны маленькими кабаньими глазками. Убедившись, что убежать некуда, он сел на свои чемоданы и закурил папиросу.

— Приезжаю к нему в гостиницу, — продолжал человек в марле громко, — говорят: выбыл. Как это, спрашиваю, выбыл, ежели он только вчера прибыл и по контракту обязан работать год? Выбыл, говорят, с чемоданами в Казань. Уже думал — все кончено, опять нам искать специалиста, но вот поймал: сидит, видите, покуривает. Вы летун, инженер Талмудовский! Вы разрушаете производство!

Инженер спрыгнул с чемоданов и с криком: «Это вы разрушаете производство!» — схватил обличителя за талию, отвел его в угол и зажужжал на него, как большая муха. Вскоре из угла послышались обрывки фраз: «При таком окладе...», «Идите поищите», «А командировочные?» Человек в марле с тоской смотрел на инженера.

Уже лектор закончил свои наставления, показав под конец, как нужно пользоваться противогазом, уже раскрылись двери газозубежища и пикейные жилеты, держась друг за друга, побежали к «Флориде», уже Талмудовский, отбросив своего преследователя, вырвался на волю, крича во все горло извозчика, а великий комбинатор все еще болтал с Зосей.

— Какая фемина! — ревниво сказал Паниковский, выходя с Балагановым на улицу. — Ах, если бы гири были золотые! Честное, благородное слово, я бы на ней женился!

При напоминании о злополучных гирях Балаганов больно толкнул Паниковского локтем. Это было вполне своевременно. В дверях газозубежища показался Остап с феминой под руку. Он долго прощался с Зосей, томно глядя на нее в упор. Зося последний раз улыбнулась и ушла.

— О чем вы с ней говорили? — подозрительно спросил Паниковский.

— Так, ни о чем, печки-лавочки, — ответил Остап. — Ну, золотая рота, за дело! Надо найти подзащитного.

Паниковский был послан в «Геркулес», Балаганов — на квартиру Александра Ивановича. Сам Остап бросился на вокзалы. Но миллионер-конторщик исчез. В «Геркулесе» его марка не была снята с табельной доски, в квартире он не возвратился, а за время газовой атаки с вокзалов отбыло восемь поездов дальнего следования. Но Остап и не ждал другого результата.

— В конце концов, — сказал он невесело, — ничего страшного нет. Вот в Китае разыскать нужного человека трудновато: там живет четыреста миллионов населения. А у нас очень легко: всего лишь сто шестьдесят миллионов, в три раза легче, чем в Китае. Лишь бы были деньги. А они у нас есть.

Однако из банка Остап вышел, держа в руке тридцать четыре рубля.

— Это все, что осталось от десяти тысяч, — сказал он с неизъяснимой печалью, — а я думал, что на текущем счету есть еще тысяч шесть-семь... Как же это вышло? Все было так весело, мы заготавливали рога и копыта, жизнь была упоительна, земной шар вертелся специально для нас, и вдруг... Понимаю! Накладные расходы! Аппарат съел все деньги.

И он посмотрел на молочных братьев с укоризной. Паниковский пожал плечами, как бы говоря: «Вы знаете, Бендер, как я вас уважаю! Я всегда говорил, что вы осел!» Балаганов ошеломленно погладил свои кудри и спросил:

— Что же мы будем делать?

— Как что! — вскричал Остап. — А контора по заготовке рогов и копыт? А инвентарь? За один чернильный прибор «Лицом к деревне» любое учреждение с радостью отдаст сто рублей! А пишущая машинка! А дыропробиватель, олени рога, столы, барьер, самовар! Все это можно продать. Наконец, в запасе у нас есть золотой зуб Паниковского. Он, конечно, уступает по величине гирям, но все-таки это молекула золота, благородный металл.

У конторы друзья остановились. Из открытой двери неслись молодые львиные голоса вернувшихся из командировки студентов животноводческого техникума, сонное бормотанье Фунта и еще какие-то незнакомые басы и баритоны явно агрономического тембра.

— Это состав преступления! — кричали практиканты. — Мы и тогда еще удивлялись. За всю кампанию заготовлено только двенадцать кило несортовых рогов.

— Вы пойдете под суд! — загремели басы и баритоны. — Где начальник отделения? Где уполномоченный по копытам?

Балаганов задрожал.

— Контора умерла, — шепнул Остап, — и мы здесь больше не нужны. Мы пойдем по дороге, залитой солнцем, а Фунта поведут в дом из красного кирпича, к окнам которого по странному капризу архитектора привинчены толстые решетки.

Экс-начальник отделения не ошибся. Не успели поверженные ангелы удалиться от конторы на три квартала, как услышали за собой треск извозничьего экипажа. В экипаже ехал Фунт. Он совсем был бы похож на доброго дедушку, покотившего после долгих сборов к женатому внуку, если бы не милиционер, который, стоя на подножке, придерживал старика за колючую спину.

— Фунт всегда сидел, — услышали антилоповцы низкий глухой голос старика, когда экипаж проезжал мимо. — Фунт сидел при Александре Втором — Освободителе, при Александре Третьем — Миротворце, при Николае Втором — Кровавом, при Александре Федоровиче Керенском...

И, считая царей и присяжных поверенных, Фунт загибал пальцы.

— А теперь что мы будем делать? — спросил Балаганов.

— Прошу не забывать, что вы проживаете на одном отрезке времени с Остапом Бендером, — грустно сказал великий комбинатор. — Прошу пом-

нить, что у него есть замечательный саквояж, в котором находится все для добывания карманных денег. Идемте домой, к Лоханкину.

В Лимонном переулке их ждал новый удар.

— Где же дом? — воскликнул Остап. — Ведь тут еще вчера вечером был дом?

Но дома не было, не было «Вороньей слободки». По обгорелым балкам ступал только страхового инспектор. Найдя на заднем дворе бидон из-под керосина, он понюхал его и с сомнением покачал головой.

— Ну, а теперь же что? — спросил Балаганов, испуганно улыбаясь.

Великий комбинатор не ответил. Он был подавлен утратой саквояжа. Сгорел волшебный мешок, в котором была индусская чалма, была афиша «Приехал жрец», был докторский халат, стетоскоп. Чего там только не было!

— Вот, — вымолвил наконец Остап, — судьба играет человеком, а человек играет на трубе.

Они побрели по улицам, бледные, разочарованные, оступевшие от горя. Их толкали прохожие, но они даже не огрызались. Паниковский, который поднял плечи еще во время неудачи в банке, так и не опускал их. Балаганов тербил свои красные кудри и огорченно вздыхал. Бендер шел позади всех, опустив голову и машинально мурлыча: «Кончен, кончен день забав,



стреляй, мой маленький зуав». В таком состоянии они притащились на постоялый двор. В глубине, под навесом, желтела «Антилопа». На трактирном крыльце сидел Козлевич. Сладостно отдуваясь, он втягивал из блюдечка горячий чай. У него было красное горшечное лицо. Он блаженствовал.

— Адам! — сказал великий комбинатор, останавливаясь перед шофером. — У нас ничего не осталось. Мы нищие, Адам! Примите нас! Мы погибаем.

Козлевич встал. Командор, униженный и бедный, стоял перед ним с непокрытой головой. Светлые польские глаза Адама Казимировича заблестели от слез. Он сошел со ступенек и поочередно обнял всех антилоповцев.

— Такси свободен! — сказал он, глотая слезы жалости. — Прошу садиться.

— Но, может быть, нам придется ехать далеко, очень далеко, — молвил Остап, — может быть, на край земли, а может быть, еще дальше. Подумайте!

— Куда хотите! — ответил верный Козлевич. — Такси свободен!

Паниковский плакал, закрывая лицо кулачками и шепча:

— Какое сердце! Честное, благородное слово! Какое сердце!

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Погода благоприятствовала любви

Обо всем, что великий комбинатор сделал в дни, следовавшие за переселением на постоялый двор, Паниковский отзывался с большим неодобрением.

— Бендер безумствует! — говорил он Балаганову. — Он нас совсем губит!

И на самом деле, вместо того чтобы постараться как можно дольше растянуть последние тридцать четыре рубля, обратив их исключительно на закупку продовольствия, Остап отправился в цветочный магазин и купил за тридцать пять рублей большой, как клумба, шевелящийся букет роз. Недостающий рубль он взял у Балаганова. Между цветов он поместил записку: «Слышите ли вы, как бьется мое большое сердце?» Балаганову было приказано отнести цветы Зосе Синицкой.

— Что вы делаете? — сказал Балаганов, взмахнув букетом. — Зачем этот шик?

— Нужно, Шура, нужно, — ответил Остап. — Ничего не поделаешь! У меня большое сердце. Как у теленка. И потом это все равно не деньги. Нужна идея.

Вслед за тем Остап уселся в «Антилопу» и попросил Козлевича вывезти его куда-нибудь за город.

— Мне необходимо, — сказал он, — пофилософствовать в одиночестве обо всем происшедшем и сделать необходимые прогнозы в будущее.

Весь день верный Адам катал великого комбинатора по белым приморским дорогам, мимо домов отдыха и санаториев, где отдыхающие шлепали туфлями, поколачивали молотками крокетные шары или прыгали у волейбольных сеток. Телеграфная проволока издавала виолончельные звуки. Дачницы тащили в ковровых кошелках синие баклажаны и дыни. Молодые люди с носовыми платками на мокрых после купанья волосах дерзко заглядывали в глаза женщинам и отпускали любезности, полный набор которых имелся у каждого черноморца в возрасте до 25 лет. Если шли две дачницы, молодые черноморцы говорили им вслед: «Ах, какая хорошенькая та, которая с краю!» При этом они от души хохотали. Их смешило, что дачницы никак не смогут определить, к которой из них относится комплимент. Если же навстречу попадалась одна дачница, то остряки останавливались, якобы пораженные громом, и долго чмокали губами, изображая любовное томление. Молодая дачница краснела и перебегала через дорогу, роняя синие баклажаны, что вызывало у ловеласов гомерический смех.

Остап полулежал на жестких антилоповских подушках и мыслил. Сорвать деньги с Польшаева или Скумбриевича не удалось — геркулесовцы уехали в отпуск. Безумный бухгалтер Берлага был не в счет: от него нельзя было ждать хорошего удоя. А между тем планы Остапа и его большое сердце требовали пребывания в Черноморске. Срок этого пребывания он сейчас и сам затруднился бы определить.

Услышав знакомый замогильный голос, Остап взглянул на тротуар. За шпалерой тополей шествовала под руку немолодая уже чета. Супруги, видимо, шли на берег. Позади тащился Лоханкин. Он нес в руках дамский зонтик и корзинку, из которой торчал термос и свешивалась купальная простыня.

— Варвара, — тянул он, — слушай, Варвара!

— Чего тебе, горе мое? — спросила Птибурдукова, не оборачиваясь.

— Я обладать хочу тобой, Варвара!..

— Нет, каков мерзавец! — заметил Птибурдуков, тоже не оборачиваясь.

И странная семья исчезла в антилоповской пыли.

Когда пыль упала на землю, Бендер увидел на фоне моря и цветочного партера большое стеклянное ателье.

Гипсовые львы с измаранными мордами сидели у подножья широкой лестницы. Из ателье бил беспокойный запах грушевой эссенции. Остап нюхал воздух и попросил Козлевича остановиться. Он вышел из машины и снова принялся втягивать ноздрями живительный запах эссенции.

— Как же это я сразу не догадался! — пробормотал он, вертясь у подъезда.

Он устремил взор на вывеску: «1-я Черноморская кинофабрика», погладил лестничного льва по теплой гриве и, промолвив: «Голконда»¹, быстро отправился назад, на постоянный двор.

Всю ночь он сидел у подоконника и писал при свете керосиновой лампочки. Ветер, забегавший в окно, перебирал исписанные листки. Перед сочинителем открывался не слишком привлекательный пейзаж. Деликатный месяц освещал не бог весть какие хоромы. Постоялый двор дышал, шевелился и хрипел во сне. Невидимые, в темных углах перестукивались лошади. Мелкие спекулянты спали на подводах, подложив под себя свой жалкий товар. Распутавшаяся лошадь бродила по двору, осторожно переступая через оглобли, волоча за собою недоуздок и суя морду в подводы в поисках ячменя. Подошла она и к окну сочинителя и, положив голову на подоконник, с печалью посмотрела на Остапа.

— Иди, иди, лошадь, — заметил великий комбинатор, — не твоего это ума дело!

Перед рассветом, когда постоянный двор стал оживать и между подводами уже бродил мальчик с ведром воды, тоненько выкликаая: «Кому кони напугать?», Остап окончил свой труд, вынул из «дела Кореяко» чистый лист бумаги и вывел на нем заголовок:

«ШЕЯ»

Многосерийный фильм

Сценарий О. Бендера

На 1-й Черноморской кинофабрике был тот ералаш², какой бывает только на конских ярмарках и именно в ту минуту, когда всем обществом ловят карманника.

В подъезде сидел комендант. У всех входящих он строго требовал пропуск, но если ему пропуска не давали, то он пускал и так. Люди в синих беретах сталкивались с людьми в рабочих комбинезонах, разбегались по многочисленным лестницам и немедленно по этим же лестницам бежали вниз. В вестибюле они описывали круг, на секунду останавливались, остолбенело глядя перед собой, и снова пускались вверх с такой прытью, будто бы их стегали сзади мокрым линьком. Стремглав проносились ассистенты, консультанты, эксперты, администраторы, режиссеры со своими адъютантшами, осветители, редакторы-монтажеры, пожилые сценаристки, заведующие запятыми и хранители большой чугунной печати.

Остап, принявшийся было расхаживать по кинофабрике обычным своим шагом, вскоре заметил, что никак не может включиться в этот кру-

¹ *Голконда*, или *Голканда* — древняя индийская крепость и столица одноименного султаната, была знаменита алмазами и гробницами с сокровищами.

² *Ералаш* (тюрк.) — беспорядок, суета, беспутность, запутанность и т. п.

жающийся мир. Никто не отвечал на его расспросы, никто не останавливался.

— Надо будет примениться к особенностям противника, — сказал Остап.

Он тихонько побежал и сразу же почувствовал облегчение. Ему удалось даже перекинуться двумя словечками с какой-то адъютантшей. Тогда великий комбинатор побежал с возможной быстротой и вскоре заметил, что включился в темп. Теперь он бежал ноздря в ноздю с заведующим литературной частью.

— Сценарий! — крикнул Остап.

— Какой? — спросил завлит, отбивая твердую рысь.

— Хороший! — ответил Остап, выдвигаясь на полкорпуса вперед.

— Я вас спрашиваю, какой? Немой или звуковой?

— Немой.

Легко выбрасывая ноги в толстых чулках, завлит обошел Остапа на повороте и крикнул:

— Не надо!

— То есть как — не надо? — спросил великий комбинатор, начиная тяжело скакать.

— А так! Немого кино уже нет. Обратитесь к звуковикам.

Оба они на миг остановились, остолбенело посмотрели друг на друга и разбежались в разные стороны.

Через пять минут Бендер, размахивая рукописью, опять бежал в подходящей компании, между двумя рысистыми консультантами.

— Сценарий! — сообщил Остап, тяжело дыша.

Консультанты, дружно перебирая рычагами, оборотились к Остапу:

— Какой сценарий?

— Звуковой.

— Не надо, — ответили консультанты, надав ходу. Великий комбинатор опять сбился с ноги и позорно заскакал.

— Как же это — не надо?

— Так вот и не надо. Звукового кино еще нет.

В течение получаса добросовестной рыси Бендер уяснил себе щекотливое положение дел на 1-й Черноморской кинофабрике. Вся щекотливость заключалась в том, что немое кино уже не работало ввиду наступления эры звукового кино, а звуковое еще не работало по причине организационных неполадок, связанных с ликвидацией эры немого кино.

В разгаре рабочего дня, когда бег ассистентов, консультантов, экспертов, администраторов, режиссеров, адъютантш, осветителей, сценаристов и хранителей большой чугунной печати достиг резвости знаменитого в свое время «Крепыша», распространился слух, что где-то, в какой-то комнате, сидит

человек, который в срочном порядке конструирует звуковое кино. Остап со всего ходу вскочил в большой кабинет и остановился, пораженный тишиной. За столом боком сидел маленький человек с бедуинской бородкой и в золотом пенсне со шнурком. Нагнувшись, он с усилием стаскивал с ноги ботинок.

— Здравствуйте, товарищ! — громко сказал великий комбинатор.

Но человек не ответил. Он снял ботинок и принялся вытряхивать из него песок.

— Здравствуйте! — повторил Остап. — Я принес сценарий!

Человек с бедуинской бородкой не спеша надел ботинок и молча стал его шнуровать. Закончив это дело, он повернулся к своим бумагам и, закрыв один глаз, начал выводить бисерные каракули.

— Что же вы молчите? — заорал Бендер с такой силой, что на столе кинодеятеля звякнула телефонная трубка.

Только тогда кинодеятель поднял голову, посмотрел на Остапа и сказал:

— Пожалуйста, говорите громче. Я не слышу.

— Пишите ему записки, — посоветовал проносившийся мимо консультант в пестром жилете, — он глухой.

Остап подсел к столу и написал на клочке бумаги: «Вы звуковик?»

— Да, — ответил глухой.

«Принес звуковой сценарий. Называется „Шея“, народная трагедия в шести частях», — быстро написал Остап.

Глухой посмотрел на записку сквозь золотое пенсне и сказал:

— Прекрасно! Мы сейчас же втянем вас в работу. Нам нужны свежие силы.

«Рад содействовать. Как в смысле аванса?» — написал Бендер.

— «Шея» — это как раз то, что нам нужно! — сказал глухой. — Посидите здесь, я сейчас приду. Только никуда не уходите. Я ровно через минуту.

Глухой захватил сценарий многометражного фильма «Шея» и выскользнул из комнаты.

— Мы вас втянем в звуковую группу! — крикнул он, скрываясь за дверь. — Через минуту я вернусь.

После этого Остап просидел в кабинете полтора часа, но глухой не возвращался. Только выйдя на лестницу и включившись в темп, Остап узнал, что глухой уже давно уехал в автомобиле и сегодня не вернется. И вообще никогда сюда не вернется, потому что его внезапно перебросили в Умань для ведения культработы среди ломовых извозчиков. Но ужаснее всего было то, что глухой увез сценарий многометражного фильма «Шея». Великий комбинатор выбрался из круга бегущих, опустился на скамью, припав к плечу сидевшего тут же швейцара.

— Вот, например, я! — сказал вдруг швейцар, развивая, видимо, давно мучившую его мысль. — Сказал мне помреж Терентьев бороду отпустить. Будешь, говорит, Навуходносора играть или Валтасара в фильме, вот названия не помню. Я и отрастил, смотри, какая борода — патриаршая! А теперь что с ней делать, с бородой! Помреж говорит: не будет больше немого фильма, а в звуковом, говорит, тебе играть невозможно, голос у тебя неприятный. Вот и сижу с бородой, тьфу, как козел! Брить жалко, а носить стыдно. Так и живу.

— А съемки у вас производятся? — спросил Бендер, постепенно приходя в сознание.

— Какие могут быть съемки? — важно ответил бородатый швейцар. — Летошний год сняли немой фильм из римской жизни. До сих пор отсудиться не могут по случаю уголовщины.

— Почему же они все бегают? — осведомился великий комбинатор, показывая на лестницу.

— У нас не все бегают, — заметил швейцар, — вот товарищ Супругов не бежит. Деловой человек. Все думаю к нему насчет бороды сходить, узнать, как за бороду платить будут: по ведомости или ордер отдельный...

Услышав слово «ордер», Остап пошел к Супругову. Швейцар не соврал. Супругов не скакал по этажам, не носил альпийского берета, не носил даже заграничных приставских шаровар-гольф. На нем приятно отдыхал взор.

Великого комбинатора он встретил чрезвычайно сухо.

— Я занят, — сказал он павлиньим голосом, — вам я могу уделить только две минуты.

— Этого вполне достаточно, — начал Остап. — Мой сценарий «Шея»...

— Короче, — сказал Супругов.

— Сценарий «Шея»...

— Вы говорите толком, что вам нужно?

— «Шея»...

— Короче. Сколько вам следует?

— У меня какой-то глухой...

— Товарищ! Если вы сейчас же не скажете, сколько вам следует, то я попрошу вас выйти. Мне некогда.

— Девятьсот рублей, — пробормотал великий комбинатор.

— Триста! — категорически заявил Супругов. — Получите и уходите. И имейте в виду, вы украли у меня лишних полторы минуты.

Супругов размашистым почерком накатал записку в бухгалтерию, передал ее Остапу и ухватился за телефонную трубку.

Выйдя из бухгалтерии, Остап сунул деньги в карман и сказал:

— Навуходносор прав. Один здесь деловой человек — и тот Супругов.

Между тем беготня по лестницам, кружение, визг и гоготанье на 1-й Черноморской кинофабрике достигли предела. Адъютантши скалили зубы. По-

мрежи вели черного козла, восхищаясь его фотогеничностью. Консультанты, эксперты и хранители чугунной печати сшибались друг с другом и хрипло хохотали. Пронеслась курьерша с помелом. Великому комбинатору почудилось даже, что один из ассистентов-аспирантов в голубых панталонах взлетел над толпой и, обогнув люстру, уселся на карнизе.

И в ту же минуту раздался бой вестибюльных часов.

«Бам-м!» — ударили часы.

Вопли и клекот потрясли стеклянное ателье. Ассистенты, консультанты, эксперты и редакторы-монтажеры катились вниз по лестницам. У выходных дверей началась свалка.

«Бам-м! Бам-м!» — били часы.

Тишина выходила из углов. Исчезли хранители большой печати, заведующие запятыми, администраторы и адъютантши. Последний раз мелькнуло помело курьерши.

«Бам-м!» — ударили часы в четвертый раз.

В ателье уже никого не было. И только в дверях, зацепившись за медную ручку карманом пиджака, бился, жалобно визжал и рыл копытцами мраморный пол ассистент-аспирант в голубых панталонах. Служебный день завершился. С берега, из рыбацкого поселка, донеслось пенье петуха.

Когда антилоповская касса пополнилась киноденьгами, авторитет командора, несколько поблекший после бегства Кореико, упрочился. Паниковскому была выдана небольшая сумма на кефир и обещаны золотые челюсти. Балаганову Остап купил пиджак и впридачу к нему скрипящий, как седло, кожаный бумажник. Хотя бумажник был пуст, Шура часто вынимал его и заглядывал внутрь. Козлевич получил пятьдесят рублей на закупку бензина.

Антилоповцы вели чистую, нравственную, почти что деревенскую жизнь. Они помогали заведующему постоялым двором наводить порядки и вошли в курс цен на ячмень и сметану. Паниковский иногда выходил во двор, озабоченно раскрывал рот ближайшей лошади, глядел в зубы и бормотал: «Добрый жеребец», хотя перед ним стояла добрая кобыла.

Один лишь командор пропадал по целым дням, а когда появлялся на постоялом дворе, бывал весел и рассеян. Он подсаживался к друзьям, которые пили чай в грязной стеклянной галерее, закладывал за колено сильную ногу в красном башмаке и дружелюбно говорил:

— В самом ли деле прекрасна жизнь, Паниковский, или мне это только кажется?

— Где это вы безумствуете? — ревниво спрашивал нарушитель конвенции.



— Старик! Эта девушка не про вас, — отвечал Остап.

При этом Балаганов сочувственно хохотал и разглядывал новый бумажник, а Козлевич усмехался в свои кондукторские усы. Он не раз уже катал командора и Зосю по Приморскому шоссе.

Погода благоприятствовала любви. Пикейные жилеты утверждали, что такого августа не было еще со времен порто-франко. Ночь показывала чистое телескопическое небо, а день подкатывал к городу освежающую морскую волну. Дворники у своих ворот торговали полосатыми монастырскими арбузами¹, и граждане надсаживались, сжимая арбузы с полюсов и склоняя ухо, чтобы услышать желанный треск. По вечерам со спортивных полей возвращались потные счастливые футболисты. За ними, подымая пыль, бежали мальчишки. Они показывали пальцами на знаменитого голкипера, а иногда даже подымали его на плечи и с уважением несли.

Однажды вечером командор предупредил экипаж «Антилопы», что завтра предстоит большая увеселительная прогулка за город с раздачей гостинцев.

— Ввиду того, что наш детский утренник посетит одна девушка, — сказал Остап значительно, — попросил бы господ вольноопределяющихся умыть лица, почиститься, а главное, не употреблять в поездке грубых выражений.

Паниковский очень взволновался, выпросил у командора три рубля, сбежал в баню и всю ночь потом чистился и скребся, как солдат перед парадом. Он встал раньше всех и очень торопил Козлевича. Антилоповцы смотрели на Паниковского с удивлением. Он был гладко выбрит, припудрен так, что походил на отставного конферансье. Он поминутно обдергивал на себе пиджак и с трудом ворочал шеей в оскар-уайльдовском воротничке.

Во время прогулки Паниковский держался весьма чинно. Когда его знакомили с Зосей, он изящно согнул стан, но при этом так сконфузился, что даже пудра на его щеках покраснела. Сидя в автомобиле, он поджимал левую ногу, скрывая прорванный ботинок, из которого смотрел большой палец. Зося была в белом платье, обшитом красной ниткой. Антилоповцы ей очень понравились. Ее смешил грубый Шура Балаганов, который всю дорогу причесывался гребешком «Собинов». Иногда же он очищал нос пальцем, после чего обязательно вынимал носовой платок и томно им обмахивался. Адам Казимирович учил Зосю управлять «Антилопой», чем также завоевал ее расположение. Немного смущал ее Паниковский. Она думала, что он не разговаривает с ней из гордости. Но чаще всего она останавливала взгляд на медальном лице командора.

На заходе солнца Остап роздал обещанные гостинцы. Козлевич получил

¹ *Монастырский* — сорт бахчевых арбузов, зеленый с белыми полосами и с красными или серыми семенами.



брелок в виде компаса, который очень подошел к его толстым серебряным часам. Балаганову был преподнесен «Чтец-декламатор» в дерматиновом переплете, а Паниковскому — розовый галстук с синими цветами.

— А теперь, друзья мои, — сказал Бендер, когда «Антилопа» возвратилась в город, — мы с Зосей Викторовной немного погуляем, а вам пора на постоялый двор, бай-бай.

Уж постоялый двор заснул, и Балаганов с Козлевичем выводили носами арпеджио, а Паниковский с новым галстуком на шее бродил среди подвод, ломая руки в немой тоске.

— Какая фемина! — шептал он. — Я люблю ее, как дочь!

Остап сидел с Зосей на ступеньках музея древностей. На площади, выложенной лавой¹, прогуливались молодые люди, любезничая и смеясь. За строем платанов светились окна международного клуба моряков. Иностранцы

¹ Лавы — брусчатка, которую в Одессе стелили в первой половине XIX века. Камни привозили в трюмах судов из Италии — это были куски лавы знаменитого Везувия.

матросы в мягких шляпах шагали по два и по три, обмениваясь непонятными короткими замечаниями.

— Почему вы меня полюбили? — спросила Зося, трогая Остапа за руку.

— Вы нежная и удивительная, — ответил командор, — вы лучше всех на свете.

Долго и молча сидели они в черной тени музейных колонн, думая о своем маленьком счастье. Было тепло и темно, как между ладонями.

— Помните, я рассказывала вам о Корейко? — сказала вдруг Зося. — О том, который делал мне предложение.

— Да, — сказал Остап рассеянно.

— Он очень забавный человек, — продолжала Зося. — Помните, я вам рассказывала, как неожиданно он уехал?

— Да, — сказал Остап более внимательно, — он очень забавный.

— Представьте себе, сегодня я получила от него письмо, очень забавное...

— Что? — воскликнул влюбленный, поднимаясь с места.

— Вы ревнуете? — лукаво спросила Зося.

— М-м, немножко. Что же вам пишет этот пошляк?

— Он вовсе не пошляк. Он просто очень несчастный и бедный человек. Садитесь, Остап. Почему вы встали? Серьезно, я его совсем не люблю. Он просит меня приехать к нему.

— Куда, куда приехать? — закричал Остап. — Где он?

— Нет, я вам не скажу. Вы ревнивец. Вы его еще убьете.

— Ну что вы, Зося! — осторожно сказал командор. — Просто любопытно узнать, где это люди устраиваются.

— О, он очень далеко! Пишет, что нашел очень выгодную службу, здесь ему мало платили. Он теперь на постройке Восточной магистрали¹.

— В каком месте?

— Честное слово, вы слишком любопытны! Нельзя быть таким Отелло!

— Ей-богу, Зося, вы меня смешите. Разве я похож на старого глупого мавра? Просто хотелось бы узнать, в какой части Восточной магистрали устраиваются люди.

— Я скажу, если вы хотите. Он работает табельщиком в Северном укладочном городке, — кротко сказала девушка, — но он только так называется — городок. На самом деле это поезд. Мне Александр Иванович очень интересно описал. Этот поезд укладывает рельсы. Понимаете? И по ним же движется. А навстречу ему, с юга, идет другой такой же городок. Скоро они

¹ Под названием Восточной магистрали в «Золотом тельнеке» описывается Турксиб (Туркестано-Сибирская магистраль) — железная дорога из Сибири в Среднюю Азию. Построенная в 1927–1930 годах, она стала одной из главных строек первой пятилетки СССР.

встретятся. Тогда будет торжественная смычка. Все это в пустыне, он пишет, верблюды... Правда, интересно?

— Необыкновенно интересно, — сказал великий комбинатор, бегая под колоннами. — Знаете что, Зося, надо идти. Уже поздно. И холодно. И вообще, идемте!

Он поднял Зосю со ступенек, вывел на площадь и здесь замялся.

— Вы разве меня не проводите домой? — тревожно спросила девушка.

— Что? — сказал Остап. — Ах, домой? Видите, я...

— Хорошо, — сухо молвила Зося, — до свиданья. И не приходите больше ко мне. Слышите?

Но великий комбинатор уже ничего не слышал. Только пробежав квартал, он остановился.

— Нежная и удивительная! — пробормотал он. Остап повернул назад, вслед за любимой. Минуты две он несся под черными деревьями. Потом снова остановился, снял капитанскую фуражку и затоптался на месте.

— Нет, это не Рио-де-Жанейро! — сказал он наконец.

Он сделал еще два колеблющихся шага, опять остановился, нахлобучил фуражку и, уже не рассуждая, помчался на постоянный двор.

В ту же ночь из ворот постоянного двора, бледно светя фарами, выехала «Антилопа». Заспанный Козлевич с усилием поворачивал рулевое колесо. Балаганов успел заснуть в машине во время коротких сборов, Паниковский грустно поводил глазками, вздрагивая от ночной свежести. На его лице еще виднелись следы праздничной пудры.

— Карнавал окончился! — крикнул командор, когда «Антилопа» со стуком проезжала под железнодорожным мостом. — Начинаются суровые будни.

А в комнате старого ребусника у букета засохших роз плакала нежная и удивительная.



ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Три дороги

«Антилопе» было нехорошо. Она останавливалась даже на легких подъемах и безвольно катилась назад. В моторе слышались посторонние шумы и хрипенье, будто бы под желтым капотом автомобиля кого-то душили. Машина была перегружена. Кроме экипажа, она несла на себе большие запасы горючего. В бидонах и бутылках, которые заполняли все свободные места, булькал бензин. Козлевич покачивал головой, поддавал газу и сокрушенно смотрел на Остапа.

— Адам, — говорил командор, — вы наш отец, мы ваши дети. Курс на восток! У вас есть прекрасный навигационный прибор — компас-брелок. Не сбейтесь с пути!

Антилоповцы катили уже третий день, но, кроме Остапа никто толком не знал конечной цели нового путешествия. Паниковский тоскливо смотрел на лохматые кукурузные поля и несмело шепелявил:

— Зачем мы опять едем? К чему это все? Так хорошо было в Черноморске.

И при воспоминании о чудной фемине он судорожно вздыхал. Кроме того, ему хотелось есть, а есть было нечего: деньги кончились.

— Вперед! — ответил Остап. — Не нойте, старик. Вас ждут золотые челюсти, толстенькая вдовушка и целый бассейн кефира. Балаганову я куплю матросский костюмчик и определю его в школу первой ступени. Там он научится читать и писать, что в его возрасте совершенно необходимо. А Козлевич, наш верный Адам, получит новую машину. Какую вы хотите, Адам Казимирович? «Студебеккер», «линкольн», «ройс», «Испано-Сюизу»?

— «Изотта Фраскини», — сказал Козлевич, зарумянившись.

— Хорошо. Вы ее получите. Она будет называться «Антилопа Вторая» или «Дочь Антилопы», как вам будет угодно. А сейчас нечего унывать. Довольствием я вас обеспечу. Правда, сгорел мой саквояж, но остались нескорые идеи. Если уж совсем плохо придется, мы остановимся в каком-нибудь счастливом городке и устроим там севильский бой быков. Паниковский будет пикадором. Одно это вызовет нездоровый интерес публики, а следовательно, огромный сбор.

Машина подвигалась по широкому шляху, отмеченному следами тракторных шпор. Шофер неожиданно затормозил.

— Куда ехать? — спросил он. — Три дороги.

Пассажиры вылезли из машины и, разминая ослабевшие ноги, прошли немного вперед. На распутье стоял наклонный каменный столб, на котором сидела толстая ворона. Сплющенное солнце садилось за кукурузные лохмы. Узкая тень Балаганова уходила к горизонту. Землю чуть тронула темная крапка, и передовая звезда своевременно сигнализировала наступление ночи.

Три дороги лежали перед антилоповцами: асфальтовая, шоссейная и проселочная. Асфальт еще желтелся от солнца, голубой пар стоял над шоссе, проселок был совсем темным и терялся в поле сейчас же за столбом. Остап крикнул на ворону, которая очень испугалась, но не улетела, побродил в раздумье на перекрестке и сказал:

— Объявляю конференцию русских богатырей открытой! Налицо имеются: Илья Муромец — Остап Бендер, Добрыня Никитич — Балаганов, и Алеша Попович — всеми нами уважаемый Михаил Паниковский.

Козлевич, пользуясь остановкой, заполз под «Антилопу» с французским ключом, а потому в число богатырей включен не был.

— Дорогой Добрыня, — распорядился Остап, — встаньте, пожалуйста, справа! Мосье Попович, займите ваше место с левой стороны! Приложите ладони ко лбам и взглядывайте вперед.

— Что это за шутки еще? — возмутился Алеша Попович. — Я голоден. Едем скорее куда-нибудь!

— Стыдно, Алешенька, — сказал Остап, — встаньте, как полагается древнему витязю. И раздумывайте. Смотрите, как Добрыня себя ведет. С него хоть сейчас можно былинку писать. Итак, богатыри, по какой дороге ехать? На какой из них валяются деньги, необходимые нам для текущих расходов? Я знаю, Козлевич двинулся бы по асфальту, шоферы любят хорошие дороги. Но Адам — честный человек, он плохо разбирается в жизни. Витязям асфальт ни к чему. Он ведет, вероятно, в зерновой гигант. Мы потеряемся там в шуме машин. Нас еще придавит каким-нибудь «катерпиллером»¹ или комбайном. Умереть под комбайном — это скучно. Нет, богатыри, нам не ехать по асфальтовой дороге. Теперь — шоссе. Козлевич, конечно, от него тоже не отказался бы. Но поверьте Илье Муромцу — шоссе нам не годится. Пусть обвиняют нас в отсталости, но мы не поедem по этой дороге. Чутье подсказывает мне встречу с нетактичными колхозниками и прочими образцовыми гражданами. Кроме того, им не до нас. По их обобщественным угодыям бродят сейчас многочисленные литературные и музыкальные бригады, собирая материалы для агропoэм и огородных кантат. Остается проселок, граждане богатыри! Вот он — древний сказочный путь, по которому двинется «Антилопа». Здесь русский дух! Здесь Русью пахнет! Здесь еще летает догорающая жарптица, и людям нашей профессии перепадают золотые перышки. Здесь сидит еще на своих сундуках кулак Кащей, считавший себя бессмертным и теперь с ужасом убедившийся, что ему приходит конец. Но нам с вами, богатыри, от него кое-что перепадет, в особенности если мы представимся ему в качестве

¹ Тракторы Caterpillar, выпускаемые и сейчас, стали одним из первых продуктов одноименной компании на рубеже XIX и XX веков. Приблизительно в то же время, что и в США, в России стали также использовать технику компании Caterpillar; производители наладили сотрудничество как с царской Россией, так и с Советским Союзом в 1920-е годы.

странствующих монахов. С точки зрения дорожной техники этот сказочный путь отвратителен. Но для нас другого пути нет. Адам! Мы едем!

Козлевич грустно вывел машину на проселок, где она немедленно принялась выписывать кренделя, крениться набок и высоко подкидывать пассажиров. Антилоповцы хватались друг за друга, сдавленно ругались и стукались коленями о твердые бидоны.

— Я хочу есть! — стонал Паниковский. — Я хочу гуся! Зачем мы уехали из Черноморска?

Машина визжала, выдираясь из глубокой колеи и снова в нее проваливаясь.

— Держитесь, Адам! — кричал Бендер. — Во что бы то ни стало держитесь! Пусть только «Антилопа» довезет нас до Восточной магистрали, и мы наградим ее золотыми шинами с мечами и бантами!

Козлевич не слушал. От сумасшедших бросков руль вырывался из его рук. Паниковский продолжал томиться.

— Бендер, — захрипел он вдруг, — вы знаете, как я вас уважаю, но вы ничего не понимаете! Вы не знаете, что такое гусь! Ах, как я люблю эту птицу! Это дивная жирная птица, честное, благородное слово. Гусь! Бендер! Крылышко! Шейка! Ножка! Вы знаете, Бендер, как я ловлю гуся? Я убиваю его, как тореадор, — одним ударом. Это опера, когда я иду на гуся! «Кармен»!..

— Знаем, — сказал командор, — видели в Арбатове. Второй раз не советую.

Паниковский замолчал, но уже через минуту, когда новый толчок машины бросил его на Бендера, снова раздался его горячий шепот:

— Бендер! Он гуляет по дороге. Гусь! Эта дивная птица гуляет, а я стою и делаю вид, что это меня не касается. Он подходит. Сейчас он будет на меня шипеть. Эти птицы думают, что они сильнее всех, и в этом их слабая сторона. Бендер! В этом их слабая сторона!..

Теперь нарушитель конвенции почти пел.

— Он идет на меня и шипит, как граммофон. Но я не из робкого десятка, Бендер. Другой бы на моем месте убежал, а я стою и жду. Вот он подходит и протягивает шею, белую гусиную шею с желтым клювом. Он хочет меня укунить. Заметьте, Бендер, моральное преимущество на моей стороне. Не я на него нападаю, он на меня нападает. И тут, в порядке самозащиты, я его хвата...

Но Паниковский не успел закончить своей речи. Раздался ужасный тошнотворный треск, и антилоповцы в секунду очутились прямо на дороге в самых разнообразных позах. Ноги Балаганова торчали из канавы. На животе великого комбинатора лежал бидон с бензином. Паниковский стонал, легко придавленный рессорой. Козлевич поднялся на ноги и, шатаясь, сделал несколько шагов.



«Антилопы» не было. На дороге валялась безобразная груда обломков: поршни, подушки, рессоры. Медные кишочки блестели под луной. Развалившийся кузов съехал в канаву и лежал рядом с очнувшимся Балагановым. Цепь сползала в колею, как гадюка. В наступившей тишине послышался тонкий звон, и откуда-то с пригорка прикатилось колесо, видимо, далеко закинутое ударом. Колесо описало дугу и мягко легло у ног Козлевича.

И только тогда шофер понял, что все кончилось. «Антилопа» погибла. Адам Казимирович сел на землю и охватил голову руками. Через несколько минут командор тронул его за плечо и сказал изменившимся голосом:

— Адам, нужно идти.

Козлевич встал и сейчас же опустился на прежнее место.

— Надо идти, — повторил Остап. — «Антилопа» была верная машина, но на свете есть еще много машин. Скоро вы сможете выбрать любую. Идем, нам нужно торопиться. Нужно где-нибудь переночевать, поесть, раздобыть денег на билеты. Ехать придется далеко. Идем, идем, Козлевич! Жизнь прекрасна, невзирая на недочеты. Где Паниковский? Где этот гусекрад? Шура! Ведите Адама!

Козлевича потащили под руки. Он чувствовал себя кавалеристом, у которого, по его недосмотру, погибла лошадь. Ему казалось, что теперь над ним будут смеяться все пешеходы.

После гибели «Антилопы» жизнь сразу затруднилась. Ночевать пришлось в поле.

Остап сразу же сердито заснул, заснули Балаганов с Козлевичем, а Паниковский всю ночь сидел у костра и дрожал.

Антилоповцы поднялись с рассветом, но добраться до ближайшей деревни смогли только к четверем часам дня. Всю дорогу Паниковский плелся позади. Он прихрамывал. От голода глаза его приобрели кошачий блеск, и он, не переставая, жаловался на судьбу и командора.

В деревне Остап приказал экипажу ждать на Третьей улице и никуда не отлучаться, а сам пошел на Первую, в сельсовет. Оттуда он вернулся довольно быстро.

— Все устроено, — сказал он повеселевшим голосом, — сейчас нас поставят на квартиру и дадут пообедать. После обеда мы будем нежиться на сене. Помните — молоко и сено? А вечером мы даем спектакль. Я его уже продал за пятнадцать рублей. Деньги получены. Шура! Вам придется что-нибудь продекламировать из «Чтеца-декламатора», я буду показывать антирелигиозные карточные фокусы, а Паниковский... Где Паниковский? Куда он девался?

— Он только что был здесь, — сказал Козлевич.

Но тут за плетнем, возле которого стояли антилоповцы, послышались гусиное гоготанье и бабий визг, пролетели белые перья, и на улице выбежал

Паниковский. Видно, рука изменила тореадору, и он в порядке самозащиты нанес птице неправильный удар. За ним гналась хозяйка, размахивая поленом.

— Жалкая, ничтожная женщина! — кричал Паниковский, устремляясь вон из деревни.

— Что за трепло! — воскликнул Остап, не скрывая досады. — Этот негодяй сорвал нам спектакль. Бежим, покуда не отобрали пятнадцать рублей.

Между тем разгневанная хозяйка догнала Паниковского, изловчилась и огрела его поленом по хребту. Нарушитель конвенции свалился на землю, но сейчас же вскочил и помчался с неестественной быстротой. Свершив этот акт возмездия, хозяйка радостно повернула назад. Пробегая мимо антилоповцев, она погрозила им поленом.

— Теперь наша артистическая карьера окончилась, — сказал Остап, скорым шагом выбираясь из деревни. — Обед, отдых — все пропало.

Паниковского они настигли только километра через три. Он лежал в придорожной канаве и громко жаловался. От усталости, страха и боли он побледнел, и многочисленные старческие румянцы сошли с его лица. Он был так жалок, что командор отменил расправу, которую собирался над ним учинить.

— Хлопнули Алешу Поповича да по могучей спинушке! — сказал Остап, проходя.

Все посмотрели на Паниковского с отвращением. И опять он потащился в конце колонны, стена и лепеча:

— Подождите меня, не спешите. Я старый, я больной, мне плохо!.. Гусь! Ножка! Шейка! Фемина!.. Жалкие, ничтожные люди!..

Но антилоповцы так привыкли к жалобам старика, что не обращали на них внимания. Голод гнал их вперед. Никогда еще им не было так тесно и неудобно на свете. Дорога тянулась бесконечно, и Паниковский отставал все больше и больше. Друзья уже спустились в неширокую желтую долину, а нарушитель конвенции все еще черно рисовался на гребне холма в зеленоватом сумеречном небе.

— Старик стал невозможным, — сказал голодный Бендер. — Придется его рассчитать. Идите, Шура, притащите этого симулянта!

Недовольный Балаганов отправился выполнять поручение. Пока он взбежал на холм, фигура Паниковского исчезла.

— Что-то случилось, — сказал Козлевич через несколько времени, глядя на гребень, с которого семафорил руками Балаганов.

Шофер и командор поднялись вверх.

Нарушитель конвенции лежал посреди дороги неподвижно, как кукла. Розовая лента галстука косо пересекала его грудь. Одна рука была

подвернута под спину. Глаза дерзко смотрели в небо. Паниковский был мертв.

— Паралич сердца, — сказал Остап, чтобы хоть что-нибудь сказать. — Могу определить и без стетоскопа. Бедный старик!

Он отвернулся. Балаганов не мог отвести глаз от покойника. Внезапно он скривился и с трудом выговорил:

— А я его побил за гири. И еще раньше с ним дрался.

Козлевич вспомнил о погибшей «Антилопе», с ужасом посмотрел на Паниковского и запел латинскую молитву.

— Бросьте, Адам! — сказал великий комбинатор. — Я знаю все, что вы намерены сделать. После псалма вы скажете: «Бог дал, бог и взял», потом: «Все под богом ходим», а потом еще что-нибудь, лишенное смысла, вроде: «Ему теперь все-таки лучше, чем нам». Всего этого не нужно, Адам Казимирович. Перед нами простая задача: тело должно быть предано земле.

Было уже совсем темно, когда для нарушителя конвенции нашлось последнее пристанище. Это была естественная могила, вымытая дождями у основания каменной, перпендикулярно поставленной плиты. Давно, видно, стояла эта плита у дороги. Может быть, красовалась на ней некогда надпись: «Владѣніе помѣщика отставного майора Георгія Афанасьевича Волкъ-Лисцкаго», а может быть, был это просто межевой знак потемкинских времен; да это было и неважно. Паниковского положили в яму, накопили палками земли и засыпали. Потом антилоповцы налегли плечами на расшатавшуюся от времени плиту и обрушили ее вниз. Теперь могила была готова. При спичечных вспышках великий комбинатор вывел на плите куском кирпича эпитафию:

Здесь лежит
МИХАИЛ САМУЭЛЕВИЧ ПАНИКОВСКИЙ
человек без паспорта

Остап снял свою капитанскую фуражку и сказал:

— Я часто был несправедлив к покойному. Но был ли покойный нравственным человеком? Нет, он не был нравственным человеком. Это был бывший слепой, самозванец и гусекрад. Все свои силы он положил на то, чтобы жить за счет общества. Но общество не хотело, чтобы он жил за его счет. А вынести этого противоречия во взглядах Михаил Самуэлевич не мог, потому что имел вспыльчивый характер. И поэтому он умер. Все!

Козлевич и Балаганов остались недовольны надгробным словом Остапа. Они сочли бы более уместным, если бы великий комбинатор распространился о благодеяниях, оказанных покойным обществу, о помощи его бедным, о чуткой душе покойного, о его любви к детям, а также обо всем том, что приписывается любому покойнику. Балаганов даже подступил к могиле, чтоб высказать все это самому, но командор уже надел фуражку и удалялся быстрыми шагами.

Когда остатки армии антилоповцев пересекли долину и перевалили через новый холм, сейчас же за ним открылась маленькая железнодорожная станция.

— А вот и цивилизация, — сказал Остап, — может быть, буфет, еда. Поспим на скамьях. Утром двинем на восток. Как вы полагаете?

Шофер и бортмеханик безмолвствовали.

— Что ж вы молчите, как женихи?

— Знаете, Бендер, — сказал наконец Балаганов, — я не поеду. Вы не обижайтесь, но я не верю. Я не знаю, куда нужно ехать. Мы там все пропадем. Я остаюсь.

— Я то же хотел вам сказать, — поддержал Козлевич.

— Как хотите, — заметил Остап с внезапной сухостью.

На станции буфета не было. Горела керосиновая лампа-молния. В пассажирском зале дремали на мешках две бабы. Весь железнодорожный персонал бродил по дощатому перрону, тревожно вглядываясь в предрассветную темноту за семафор.

— Какой поезд? — спросил Остап.

— Литерный, — нервно ответил начальник станции, поправляя красную фуражку с серебряными позументами. — Особого назначения. Задержан на две минуты. Разъезд пропуска не дает.

Раздался гул, задрожала проволока, из гула вылупились волчьи глазки, и короткий блестящий поезд с размаху влетел на станцию. Засияли широкие стекла мягких вагонов, под самым носом антилоповцев пронеслись букеты и винные бутылки вагона-ресторана, на ходу соскочили проводники с фонарями, и перрон сразу наполнился веселым русским говором и иностранной речью. Вдоль вагонов висели хвойные дуги и лозунги: «Привет героям — строителям Восточной магистрали!»

Литерный поезд с гостями шел на открытие дороги.

Великий комбинатор исчез. Через полминуты он снова появился и зашептал:

— Я еду! Как еду — не знаю, не знаю, но еду! Хотите со мной? Последний раз спрашиваю.

— Нет, — сказал Балаганов.

— Не поеду, — сказал Козлевич, — не могу больше.

— Что ж вы будете делать?

— А что мне делать? — ответил Шура. — Пойду в дети лейтенанта Шмидта — и все.

— «Антилопу» думаю собрать, — жалобно молвил Адам Казимирович, — пойду к ней, посмотрю, ремонт ей дам.

Остап хотел что-то сказать, но длинный свисток закрыл ему рот. Он пригнулся к себе Балаганова, погладил его по спине, расцеловался с Козлевым, махнул рукой и побежал к поезду, вагоны которого уже сталкивались между собой от первого толчка паровоза. Но, не добежав, он повернул назад, сунул в руку Козлеву пятнадцать рублей, полученные за проданный спектакль, и вспрыгнул на подножку движущегося поезда.

Оглянувшись, он увидел в сиреновой мгле две маленькие фигурки, подымавшиеся по насыпи. Балаганов возвращался в беспокойный стан детей лейтенанта Шмидта. Козлевич брел к останкам «Антилопы».





ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ЧАСТНОЕ ЛИЦО

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ Пассажи́р ли́терного поезда

Уасфальтовой пристани Рязанского вокзала в Москве стоял короткий литерный поезд. В нем было всего шесть вагонов: багажный, где против обыкновения помещался не багаж, а хранились на льду запасы пищи, вагон-ресторан, из которого выглядывал белый повар, и правительственный салон. Остальные три вагона были пассажирские, и на их диванах, покрытых суровыми полосатыми чехлами, надлежало разместить делегации рабочих-ударников, а также иностранным и советским корреспондентам.

Поезд готовился выйти на смычку рельсов Восточной Магистральной.

Путешествие предстояло длительное. Ударники впахивали в вагонный тамбур дорожные корзины с болтающимися на железном пруте черными за-

мочками. Советская пресса металась по перрону, размахивая лакированными фанерными саквояжами.

Иностранцы следили за носильщиками, переносившими их толстые кожаные чемоданы, кофры и картонки с цветными наклейками туристских бюро и пароходных компаний.

Пассажиры успели запастись книжкой «Восточная Магистраль», на обложке которой был изображен верблюд, нюхающий рельсу. Книжка продавалась тут же, с багажной тележки. Автор книги, журналист Паламидов, уже несколько раз проходил мимо тележки, ревниво поглядывая на покупателей. Он считался знатоком Магистрала и ехал туда в третий раз.

Приближалось время отъезда, но прощальная сцена ничем не напоминала отхода обычного пассажирского поезда. Не было на перроне старух, никто не высовывал из окна младенца, дабы он бросил последний взгляд на своего дедушку. Разумеется, не было и дедушки, в тусклых глазах которого отражается обычно страх перед железнодорожными сквозняками. Разумеется, никто и не целовался. Делегацию рабочих-ударников доставили на вокзал профсоюзные деятели, не успевшие еще проработать вопроса о прощальных поцелуях. Московских корреспондентов провожали редакционные работники, привыкшие в таких случаях отделяться рукопожатиями. Иностранцы же корреспонденты, в количестве тридцати человек, ехали на открытие магистрала в полном составе, с женами и граммофонами, так что провожать их было некому.

Участники экспедиции в соответствии с моментом говорили громче обычного, беспричинно хватались за блокноты и порицали провожающих за то, что те не едут вместе с ними в такое интересное путешествие. В особенности шумел журналист Лавуазьян. Он был молод душой, но в его кудрях, как луна в джунглях, светилась лысина.

— Противно на вас смотреть! — кричал он провожающим. — Разве вы можете понять, что такое Восточная магистраль!

Если бы руки горячего Лавуазьяна не были заняты большой пишущей машиной в клеенчатом кучерском чехле, то он, может быть, даже и побил бы кого-нибудь из друзей, так он был страстен и предан делу газетной информации. Ему уже сейчас хотелось послать в свою редакцию телеграмму-молнию, только не о чем было.

Прибывший на вокзал раньше всех сотрудник профсоюзного органа Ухудшанский неторопливо расхаживал вдоль поезда. Он нес с собой «Туркестанский край, полное географическое описание нашего отечества, настольная и дорожная книга для русских людей», сочинение Семенова-Тян-Шанского, изданное в 1903 году. Он останавливался около групп отъезжающих и провожающих и с некоторой сатирической нотой в голосе говорил:

— Уезжаете? Ну, ну!

Или:

— Остаетесь? Ну, ну!

Таким манером он прошел к голове поезда, долго, откинув голову назад, смотрел на паровоз и наконец сказал машинисту:

— Работаете? Ну, ну!

Затем журналист Ухудшанский ушел в купе, развернул последний номер своего профоргана и отдался чтению собственной статьи под названием «Улучшить работу лавочных комиссий» с подзаголовком «Комиссии перестраиваются недостаточно». Статья заключала в себе отчет о каком-то заседании, и отношение автора к описываемому событию можно было бы определить одной фразой: «Заседаете? Ну, ну!» Ухудшанский читал до самого отъезда.

Один из провожающих, человек с розовым плюшевым носом и бархатными височками, произнес пророчество, страшно всех напугавшее.

— Я знаю такие поездки, — заявил он, — сам ездил. Ваше будущее мне известно. Здесь вас человек сто. Ездить вы будете в общей сложности целый месяц. Двое из вас отстанут от поезда на маленькой глухой станции без денег и документов и догонят вас только через неделю, голодные и оборванные. У кого-нибудь обязательно украдут чемодан. Может быть, у Паламидова, или у Лавуазьяна, или у Навроцкого. И потерпевший будет ныть всю дорогу и выпрашивать у соседей кисточку для бритвы. Кисточку он будет возвращать невымытой, а тазик потеряет. Один путешественник, конечно, умрет, и друзья покойного, вместо того чтобы ехать на смычку, вынуждены будут везти дорогой прах в Москву. Это очень скучно и противно — возить прах. Кроме того, в дороге начнется склока. Поверьте мне! Кто-нибудь, хотя бы тот же Паламидов или Ухудшанский, совершит антиобщественный поступок. И вы будете долго и тоскливо его судить, а он будет с визгом и стонами отмежевываться. Все мне известно. Едете вы сейчас в шляпах и кепках, а назад вернетесь в тюбетейках. Самый глупый из вас купит полный доспех бухарского еврея: бархатную шапку, отороченную шакалом, и толстое ватное одеяло, сшитое в виде халата. И, конечно же, все вы по вечерам будете петь в вагоне «Стеньку Разина», будете глупо реветь: «И за борт ее бросает в надлежащую волну». Мало того, даже иностранцы будут петь: «Вниз по матушке по Волге, сюр нотр мер Волга, по нашей матери Волге».

Лавуазьян разгневался и замахнулся на пророка пищащей машинкой.

— Вы нам завидуете! — сказал он. — Мы не будем петь.

— Запоете, голубчики. Это неизбежно. Уж мне все известно.

— Не будем петь.

— Будете. И если вы честные люди, то немедленно напишите мне об этом открытку.

В это время раздался сдержанный крик. С крыши багажного вагона упал фоторепортер Меньшов. Он взобрался туда для того, чтобы заснять моменты отъезда. Несколько секунд Меньшов лежал на высоком перроне, держа над головой аппарат. Потом он поднялся, озабоченно проверил затвор и снова полез на крышу.

— Падаете? — спросил Ухудшанский, высовываясь из окна с газетой.

— Какое это падение! — презрительно сказал фоторепортер. — Вот если бы вы видели, как я падал со спирального спуска в Парке культуры и отдыха!

— Ну, ну, — заметил представитель профоргана и скрылся в окне.

Взобравшись на крышу и припав на одно колено, Меньшов продолжал работу. На него с выражением живейшего удовлетворения смотрел норвежский писатель, который уже разместил свои вещи в купе и вышел на перрон прогуляться. У писателя были светлые детские волосы и большой варяжский нос. Норвежец был так восхищен фотомолодечеством Меньшова, что почувствовал необходимость поделиться с кем-нибудь своими чувствами. Быстрыми шагами он подошел к старику-ударнику с Трехгорки, приставил свой указательный палец к его груди и пронзительно воскликнул:

— Вы!!!

Затем он указал на собственную грудь и так же пронзительно вскричал:

— Я!!!

Исчерпав таким образом все имевшиеся в его распоряжении русские слова, писатель приветливо улыбнулся и побежал к своему вагону, так как прозвучал второй звонок. Ударник тоже побежал к себе. Меньшов спустился на землю. Закивали головы, показались последние улыбки, пробежал фельетонист в пальто с черным бархатным воротником. Когда хвост поезда уже мотался на выходной стрелке, из буфетного зала выскочили два брата-корреспондента — Лев Рубашкин и Ян Скамейкин. В зубах у Скамейкина был зажат шницель по-венски. Братья, прыгая, как молодые собаки, промчались вдоль перрона, соскочили на запятнанную нефтью землю и только здесь, среди шпал, поняли, что за поездом им не угнаться.

А поезд, выбегая из строящейся Москвы, уже завел свою оглушительную песню. Он бил колесами, адски хохотал под мостами и, только оказавшись среди дачных лесов, немного поуспокоился и развил большую скорость. Ему предстояло описать на глобусе порядочную кривую, предстояло переменить несколько климатических провинций, переместиться из центральной прохлады в горячую пустыню, миновать много больших и малых городов и перегнать московское время на четыре часа.

К вечеру первого дня в вагон советских корреспондентов явились два вестника капиталистического мира: представитель свободомыслящей австрийской газеты господин Гейнрих и американец Хирам Бурман. Они пришли знакомиться. Господин Гейнрих был невелик ростом. На мистере Хи-

раме была мягкая шляпа с подкрученными полями. Оба говорили по-русски довольно чисто и правильно. Некоторое время все молча стояли в коридоре, с интересом разглядывая друг друга. Для разгона заговорили о Художественном театре. Гейнрих театр похвалил, а мистер Бурман уклончиво заметил, что в СССР его, как сиониста, больше всего интересует еврейский вопрос.

— У нас такого вопроса уже нет, — сказал Паламидов.

— Как же может не быть еврейского вопроса? — удивился Хирам.

— Нету. Не существует.

Мистер Бурман взволновался. Всю жизнь он писал в своей газете статьи по еврейскому вопросу, и расстаться с этим вопросом ему было бы больно.

— Но ведь в России есть евреи? — сказал он осторожно.

— Есть, — ответил Паламидов.

— Значит, есть и вопрос?

— Нет. Евреи есть, а вопроса нету.

Электричество, скопившееся в вагонном коридоре, было несколько разряжено появлением Ухудшанского. Он шел к умывальнику с полотенцем на шее.

— Разговариваете? — сказал он, покачиваясь от быстрого хода поезда. — Ну, ну!



Когда он возвращался назад, чистый и бодрый, с каплями воды на висках, спор охватил уже весь коридор. Из купе вышли совжурналисты, из соседнего вагона явилось несколько ударников, пришли еще два иностранца — итальянский корреспондент с фашистским жетоном, изображающим ликторский пучок и топорик, и немецкий профессор-востоковед, ехавший на торжество по приглашению Вокса¹. Фронт спора был очень широк — от строительства социализма в СССР до входящих на Западе в моду мужских беретов. И по всем пунктам, каковы бы они ни были, возникали разногласия.

— Спорите? Ну, ну, — сказал Ухудшанский, удаляясь в свое купе.

В общем шуме можно было различить только отдельные выкрики.

— Раз так, — говорил господин Гейнрих, хватая путиловца Суворова за косоворотку, — то почему вы тринадцать лет только болтаете? Почему вы не устраиваете мировой революции, о которой вы столько говорите? Значит, не можете? Тогда перестаньте болтать!

— А мы и не будем делать у вас революции! Сами сделаете.

— Я? Нет, я не буду делать революции.

— Ну, без вас сделают и вас не спросят.

Мистер Хирам Бурман стоял, прислонившись к тисненому кожаному простенку, и безучастно глядел на спорящих. Еврейский вопрос провалился в какую-то дискуссионную трещину в самом же начале разговора, а другие темы не вызывали в его душе никаких эмоций. От группы, где немецкий профессор положительно отзывался о преимуществах советского брака перед церковным, отделился стихотворный фельетонист, подписывавшийся псевдонимом Гаргантюа. Он подошел к призадумавшемуся Хираму и стал что-то с жаром ему объяснять. Хирам принялся слушать, но скоро убедился, что ровно ничего не может разобрать. Между тем Гаргантюа, поминутно поправляя что-нибудь в туалете Хирама, то подвязывая ему галстук, то снимая с него пушинку, то застегивая и снова расстегивая пуговицу, говорил довольно громко и, казалось, даже отчетливо. Но в его речи был какой-то неуловимый дефект, превращавший слова в труху. Беда усугублялась тем, что Гаргантюа любил поговорить и после каждой фразы требовал от собеседника подтверждения.

— Ведь верно? — говорил он, ворочая головой, словно бы собиравшись своим большим хорощим носом клюнуть некий корм. — Ведь правильно?

Только эти слова и были понятны в речах Гаргантюа. Все остальное сливалось в чудный убедительный рокот. Мистер Бурман из вежливости соглашался и вскоре убежал. Все соглашалось с Гаргантюа, и он считал себя человеком, способным убедить кого угодно и в чем угодно.

¹ *Всесоюзное общество культурной связи с заграницей (ВОКС)* — советская общественная организация, основанная в 1925 году. В 1958 году преобразовано в Союз советских обществ дружбы.

— Вот видите, — сказал он Паламидову, — вы не умеете разговаривать с людьми. А я его убедил. Только что я ему доказал, и он со мною согласился, что никакого еврейского вопроса у нас уже не существует. Ведь верно? Ведь правильно?

Паламидов ничего не разобрал и, кивнув головой, стал вслушиваться в беседу, происходившую между немецким востоковедом и проводником вагона. Проводник давно порывался вступить в разговор и только сейчас нашел свободного слушателя по плечу. Узнав предварительно звание, а также имя и фамилию собеседника, проводник отставил веник в сторону и плавно начал:

— Вы, наверно, не слышали, гражданин профессор, в Средней Азии есть такое животное, называется верблюд. У него на спине две кочки имеются. И был у меня железнодорожник знакомый, вы наверно слышали, товарищ Должностюк, багажный раздатчик. Сел он на этого верблюда между кочек и ударил его хлыстом. Верблюд был злой и стал его кочками давить, чуть было вовсе не задавил. Должностюк, однако, успел соскочить. Боевой был парень, вы, наверно, слышали? Тут верблюд ему весь китель оплевал, а китель только из прачечной...

Вечерняя беседа догорала. Столкновение двух миров окончилось благополучно. Ссоры как-то не вышло. Сосуществование в литерном поезде двух систем — капиталистической и социалистической — волей-неволей должно было продлиться около месяца. Враг мировой революции, господин Гейнрих, рассказал старый дорожный анекдот, после чего все пошли в ресторан ужинать, переходя из вагона в вагон по трясущимся железным щитам, и жмуря глаза от сквозного ветра. В ресторане, однако, население поезда расселось порознь. Тут же, за ужином, состоялись смотрины. Заграница, представленная корреспондентами крупнейших газет и телеграфных агентств всего мира, чинно налегла на хлебное вино и с ужасной вежливостью посматривала на ударников в сапогах и на советских журналистов, которые по-домашнему явились в ночных туфлях и с одними запонками вместо галстуков.

Разные люди сидели в вагоне-ресторане: и провинциал из Нью-Йорка мистер Бурман, и канадская девушка, прибывшая из-за океана толь-



ко за час до отхода литерного поезда и поэтому еще очумело вертевшая головой над котлетой в длинной металлической тарелочке, и японский дипломат, и другой японец, помоложе, и господин Гейнрих, желтые глаза которого почему-то усмехались, и молодой английский дипломат с тонкой теннисной талией, и немец-востоковед, весьма терпеливо выслушавший рассказ проводника о существовании странного животного с двумя кочками на спине, и американский экономист, и чехословак, и поляк, и четыре американских корреспондента, в том числе пастор, пишущий в газете союза христианских молодых людей, и стопроцентная американка из старинной пионерской семьи с голландской фамилией, которая прославилась тем, что в прошлом году отстала в Минеральных Водах от поезда и в целях рекламы некоторое время скрывалась в станционном буфете (это событие вызвало в американской прессе большой переполох. Три дня печатались статьи под заманчивыми заголовками: «Девушка из старинной семьи в лапах диких кавказских горцев» и «Смерть или выкуп»), и многие другие. Одни относились ко всему советскому враждебно, другие надеялись в наикратчайший срок разгадать загадочные души азиатов, третьи же старались добросовестно уразуметь, что же в конце концов происходит в Стране Советов.

Советская сторона шумела за своими столиками. Ударники принесли с собою еду в бумажных пакетах и налегли на чай в подстаканниках из белого крупновского металла. Более состоятельные журналисты заказали шницеля, а Лавуазьян, которого внезапно охватил припадок славянизма, решил не ударить лицом в грязь перед иностранцами и потребовал почки-соте. Почек он не съел, так как не любил их сызмальства, но тем не менее надулся гордостью и бросал на иноземцев вызывающие взгляды. И на советской стороне были разные люди. Был здесь сормовский рабочий, посланный в поездку общим собранием, и строитель со Сталинградского тракторного завода, десять лет назад лежавший в окопах против Врангеля на том самом поле, где теперь стоит тракторный гигант, и ткач из Серпухова, заинтересованный Восточной Магистралью, потому что она должна ускорить доставку хлопка в текстильные районы.

Сидели тут и металлисты из Ленинграда, и шахтеры из Донбасса, и машинист с Украины, и руководитель делегации в белой русской рубашке с большой бухарской звездой, полученной за борьбу с эмиром. Как бы удивился дипломат с теннисной талией, если бы узнал, что маленький вежливый стихотворец Гаргантюа восемь раз был в плену у разных гайдамацких атаманов и один раз даже был расстрелян махновцами, о чем не любил распространяться, так как сохранил неприятнейшие воспоминания, выбираясь с простреленным плечом из общей могилы.

Возможно, что и представитель христианских молодых людей схватился бы за сердце, выяснив, что веселый Паламидов был председателем армейского трибунала, а Лавуазьян в интересах газетной информации переделся

женщиной и проник на собрание баптисток, о чем и написал большую антирелигиозную корреспонденцию; что ни один из присутствующих советских граждан не крестил своих детей и что среди этих исчадий имеются даже четыре писателя.

Разные люди сидели в вагоне-ресторане.

На второй день сбылись слова плюшевого пророка. Когда поезд, гремя и ухаля, переходил Волгу по Сызранскому мосту, литерные пассажиры неприятными городскими голосами затянули песню о волжском богатыре. При этом они старались не смотреть друг другу в глаза. В соседнем вагоне иностранцы, коим не было точно известно, где и что полагается петь, с воодушевлением исполняли «Эй, полна, полна коробочка» с не менее странным припевом: «Эх, юхнем!» Открытки человеку с плюшевым носом никто не послал, было совестно. Один лишь Ухудшанский крепился. Он не пел вместе со всеми. Когда песенный разгул овладел поездом, один лишь он молчал, плотно сжимая зубы и делая вид, что читает «Полное географическое описание нашего отечества». Он был строго наказан. Музыкальный пароксизм случился с ним ночью, далеко за Самарой. В полночный час, когда необыкновенный поезд уже спал, из купе Ухудшанского послышался шатающийся голос: «Есть на Волге утес, диким мохом порос». Путешествие взяло свое.

А еще позже, когда заснул и Ухудшанский, дверь с площадки отворилась, на секунду послышался вольный гром колес, и в пустой блистающий коридор, озираясь, вошел Остап Бендер. Секунду он колебался, а потом сонно махнул рукой и раскрыл первую же дверь купе. При свете синей ночной лампочки спали Гаргантюа, Ухудшанский и фотограф Меньшов. Четвертый, верхний, диванчик был пуст. Великий комбинатор не стал раздумывать. Чувствуя слабость в ногах после тяжелых скитаний, невозвратимых утрат и двухчасового стояния на подножке вагона, он взобрался наверх. Оттуда ему представилось чудесное видение: у окна, на столике, задрав ножки вверх, как оглобли, лежала белотелая вареная курица.

— Я иду по неверному пути Паниковского, — прошептал Остап.

С этими словами он поднял курицу к себе и съел ее без хлеба и соли. Косточки он засунул под твердый холщовый валик. Он заснул счастливый, под скрипение переборок, вдыхая неповторимый железнодорожный запах краски.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ **«Позвольте войти наемнику капитала»**

Ночью Остапу приснилось грустное затушеванное лицо Зоси, а потом появился Паниковский. Нарушитель конвенции был в извозчичьей шляпе с пером и, ломая руки, говорил: «Бендер! Бендер! Вы не знаете, что такое курица! Это дивная, жирная птица, курица!» Остап не понимал и сердился:

«Какая курица? Ведь ваша специальность — гусь!» Но Паниковский настаивал на своем: «Курица, курица, курица!»

Бендер проснулся. Низко над головой он увидел потолок, выгнутый, как крышка бабушкина сундука. У самого носа великого комбинатора шевелилась багажная сетка. В купе было очень светло. В полупущенное окно рвался горячий воздух оренбургской степи.

— Курица! — донеслось снизу. — Куда же девалась моя курица? Кроме нас, в купе никого нет! Ведь верно? Позвольте, а это чьи ноги?

Остап закрыл глаза рукой и тут же с неудовольствием вспомнил, что так делывал и Паниковский, когда ему грозила беда. Отняв руку, великий комбинатор увидел головы, показавшиеся на уровне его полки.

— Спице? Ну, ну, — сказала первая голова.

— Скажите, дорогой, — доброжелательно молвила вторая, — это вы съели мою курицу? Ведь верно? Ведь правильно?

Фоторепортер Меньшов сидел внизу, по локоть засунув обе руки в черный фотографический мешок. Он перезаряжал кассеты.

— Да, — сдержанно сказал Остап, — я ее съел.

— Вот спасибо! — неожиданно воскликнул Гаргантюа. — А я уж и не знал, что с ней делать. Ведь жара, курица могла испортиться. Правильно? Выбрасывать жалко! Ведь верно?

— Разумеется, — сказал Остап осторожно, — я очень рад, что смог оказать вам эту маленькую услугу.

— Вы от какой газеты? — спросил фоторепортер, продолжая с томной улыбкой шарить в мешке. — Вы не в Москве сели?

— Вы, я вижу, фотограф, — сказал Остап, уклоняясь от прямого ответа, — знал я одного провинциального фотографа, который даже консервы открывал только при красном свете, боялся, что иначе они испортятся.

Меньшов засмеялся. Шутка нового пассажира пришлась ему по вкусу. И в это утро никто больше не задавал великому комбинатору скользких вопросов. Он спрыгнул с дивана и, погладив свои щеки, на которых за три дня отросла разбойничья щетина, вопросительно посмотрел на доброго Гаргантюа. Стихотворный фельетонист распаковал чемодан, вынул оттуда бритвенный прибор и, протянув его Остапу, долго что-то объяснял, кляя невидимый корм и поминутно требуя подтверждения своим словам.

Покуда Остап брился, мылся и чистился, Меньшов, опоясанный фотографическими ремнями, распространил по всему вагону известие, что в их купе едет новый провинциальный корреспондент, догнавший ночью поезд на аэроплане и съевший курицу Гаргантюа. Рассказ о курице вызвал большое оживление. Почти все корреспонденты захватили с собой в дорогу домашнюю снедь: коржики, рубленые котлеты, батоны и крутые яйца. Эту снедь никто не ел. Корреспонденты предпочитали ходить в ресторан.

И не успел Бендер закончить свой туалет, как в купе явился тучный писатель в мягкой детской курточке. Он положил на стол перед Остапом двенадцать яиц и сказал:

— Съешьте. Это яйца. Раз яйца существуют, то должен же кто-нибудь их есть?

Потом писатель выглянул в окно, посмотрел на бородавчатую степь и с горечью молвил:

— Пустыня — это бездарно! Но она существует. И с этим приходится считаться.

Он был философ. Выслушав благодарность Остапа, писатель потряс головой и пошел к себе дописывать рассказ. Будучи человеком пунктуальным, он твердо решил каждый день обязательно писать по рассказу. Это решение он выполнял с прилежностью первого ученика. По-видимому, он вдохновлялся мыслью, что раз бумага существует, то должен же на ней кто-нибудь писать.

Примеру философа последовали другие пассажиры. Навроцкий принес фаршированный перец в банке, Лавуазьян — котлеты с налипшими на них газетными строчками, Сапегин — селедку и коржики, а Днестров — стакан яблочного повидла. Приходили и другие, но Остап прекратил прием.

— Не могу, не могу, друзья мои, — говорил он, — сделай одному одолжение, как уже все наваливаются.

Корреспонденты ему очень понравились. Остап готов был умилиться, но он так наелся, что был не в состоянии предаваться каким бы то ни было чувствам. Он с трудом влез на свой диван и проспал почти весь день.

Шли третьи сутки пути. В ожидании событий литературный поезд томился. До Магистрала было еще далеко, ничего достопримечательного не случилось, и все же московские корреспонденты, иссушаемые вынужденным бездельем, подозрительно косились друг на друга.

«Не узнал ли кто-нибудь чего-нибудь и не послал ли об этом молнию в свою редакцию?»

Наконец, Лавуазьян не сдержался и отправил телеграфное сообщение: «Проехали оренбург тчк трубы паровоза валит дым тчк настроение бодрое зпт делегатских вагонах разговоры только восточной магистрала тчк молнируйте инструкции аральское море лавуазьян».

Тайна вскоре раскрылась, и на следующей же станции у телеграфного окошечка образовалась очередь. Все послали краткие сообщения о бодром настроении и о трубе паровоза, из коей валит дым.

Для иностранцев широкое поле деятельности открылось тотчас за Оренбургом, когда они увидели первого верблюда, первую юрту и первого казаха в остроконечной меховой шапке и с кнутом в руке. На полустанке, где поезд

случайно задержался, по меньшей мере двадцать фотоаппаратов нацелились на верблюжью морду. Началась экзотика, корабли пустыни, вольнолюбивые сыны степей и прочее романтическое тягло.

Американка из старинной семьи вышла из вагона в круглых очках с темными стеклами. От солнечного света ее защищал также зеленый зонтик. В таком виде ее долго снимал ручной кинокамерой «Аймо» седой американец. Сначала она стояла рядом с верблюдом, потом впереди него и, наконец, на нем, уместившись между кочками, о которых так тепло рассказывал проводник. Маленький и злой Гейнрих шнырял в толпе и всем говорил:

— Вы за ней присматривайте, а то она случайно застрянет на станции, и опять будет сенсация в американской прессе: «Отважная корреспондентка в лапах обезумевшего верблюда».

Японский дипломат стоял в двух шагах от казаха. Оба молча смотрели друг на друга. У них были совершенно одинаковые чуть сплюснутые лица, жесткие усы, желтая лакированная кожа и глаза, припухшие и неширокие. Они сошли бы за близнецов, если бы казах не был в бараньей шубе, подпоясанной ситцевым кушаком, а японец — в сером лондонском костюме и если бы казах не начал читать лишь в прошлом году, а японец не окончил двадцать лет назад двух университетов — в Токио и Париже. Дипломат отошел на шаг, нагнул голову к зеркалке и щелкнул затвором. Казах засмеялся, сел на своего шершавого конька и двинулся в степь.

Но уже на следующей станции в романтическую повесть вошли новые элементы. За станционным зданием лежали красные цилиндрические бочки — железная тара для горючего, желтело новое деревянное здание, и перед ним, тяжело втиснувшись в землю гусеничными цепями, тянулась тракторная шеренга. На решетчатом штабеле шпал стояла девушка-трактористка в черных рабочих штанах и валенках. Тут советские корреспонденты взяли реванш. Держа фотоаппараты на уровне глаз, они стали подбираться к девушке. Впереди всех крался Меньшов.

В зубах он держал алюминиевую кассету и движениями своими напоминал стрелка, делающего перебежку в цепи. Но если верблюд фотографировался с полным сознанием своего права на известность, то трактористка оказалась скромнее. Снимков пять она перенесла спокойно, а потом покраснела и ушла. Фотографы перекинулись на тракторы. Кстати, на горизонте, позади машин виднелась цепочка верблюдов. Все это — тракторы и верблюды — отлично укладывалось в рамку кадра под названием «Старое и новое» или «Кто кого?».

Остап проснулся перед заходом солнца. Поезд продолжал бежать в пустыне. По коридору бродил Лавуазьян, подбивая товарищей на издание специальной поездной газеты. Он даже придумал название: «На всех парах».



— Ну, что это за название! — сказал Остап. — Вот я видел стенгазету одной пожарной команды, называлась она — «Из огня да в полымя». Это было по существу.

— Вы — профессионал пера! — закричал Лавуазьян. — Сознайтесь, что вам просто лень писать для рупора поездной общественности.

Великий комбинатор не отрицал того, что он — профессионал пера. В случае надобности он мог бы без запинки объяснить, какой орган печати представляет он в этом поезде — «Черноморскую газету». Впрочем, в этом не было особенной нужды, потому что поезд был специальный и его не посещали сердитые контролеры с никелированными щипцами. Но Лавуазьян уже сидел со своей пишущей машиной в вагоне ударников, где его предложение вызвало суматоху. Уже старик с Трехгорки писал химическим карандашом заметку о необходимости устроить в поезде вечер обмена опытом и литературное чтение, уже искали карикатуриста и мобилизовали Навроцкого для собирания анкеты о том, какое предприятие из числа представленных делегатами лучше выполнило промфинплан.

Вечером в купе Гаргантюа, Меньшова, Ухудшанского и Бендера собралось множество газетного народа. Сидели тесно, по шесть человек на диванчике. Сверху свешивались головы и ноги. Ощутительно свежая ночь остудила журналистов, страдавших весь день от жары, а длинные такты колес, не утихавшие уже три дня, располагали к дружбе. Говорили о Восточной Магистрале, вспоминали своих редакторов и секретарей, рассказывали о смешных газетных ляпсусах и всем скопом журили Ухудшанского за отсутствие в его характере журналистской жилки. Ухудшанский высоко поднимал голову и с превосходством отвечал:

— Треплетесь? Ну, ну!

В разгаре веселья явился господин Гейнрих.

— Позвольте войти наемнику капитала, — бойко сказал он.

Гейнрих устроился на коленях толстого писателя, отчего писатель крякнул и стоически подумал: «Раз у меня есть колени, то должен же кто-нибудь на них сидеть? Вот он и сидит».

— Ну, как строится социализм? — нахально спросил представитель свободомыслящей газеты.

Как-то так случилось, что со всеми поездными иностранцами обращались учтиво, добавляя к фамилиям: «мистер», «герр» или «синьор», а корреспондента свободомыслящей газеты называли просто Гейнрих, считали трепачом и не принимали всерьез. Поэтому на прямо поставленный вопрос Паламидов ответил:

— Гейнрих! Напрасно вы хлопчете! Сейчас вы будете опять ругать советскую власть, это скучно и неинтересно. И потом мы это можем услышать от злой старушки из очереди.

— Совсем не то, — сказал Гейнрих, — я хочу рассказать библейскую историю про Адама и Еву. Вы позволите?

— Слушайте, Гейнрих, почему вы так хорошо говорите по-русски? — спросил Сапегин.

— Научился в Одессе, когда в тысяча девятьсот восемнадцатом году с армией генерала фон Бельца оккупировал этот чудный город. Я состоял тогда в чине лейтенанта. Вы, наверно, слышали про фон Бельца?

— Не только слышали, — сказал Паламидов, — но и видели. Ваш фон Бельц лежал в своем золотом кабинете во дворце командующего одесским военным округом с простреленной головой. Он застрелился, когда узнал, что в вашем отечестве произошла революция.

При слове «революция» господин Гейнрих официально улыбнулся и сказал:

— Генерал был верен присяге.

— А вы почему не застрелились, Гейнрих? — спросили с верхней полки. — Как у вас там вышло с присягой?

— Ну, что, будете слушать библейскую историю? — раздраженно сказал представитель свободомыслящей газеты.

Однако его еще некоторое время пытали расспросами насчет присяги и только тогда, когда он совсем уже разобиделся и собрался уходить, согласились слушать историю.

Рассказ господина Гейнриха об Адаме и Еве

— Был, господа, в Москве молодой человек, комсомолец. Звали его — Адам. И была в том же городе молодая девушка, комсомолка Ева. И вот эти молодые люди отправились однажды погулять в московский рай — в Парк культуры и отдыха. Не знаю, о чем они там беседовали. У нас обычно молодые люди беседуют о любви. Но ваши Адам и Ева были марксисты и, возможно, говорили о мировой революции. Во всяком случае, вышло так, что, прогуливаясь по бывшему Нескучному саду, они присели на траву под деревом. Не знаю, какое это было дерево. Может быть, это было древо познания добра и зла. Но марксисты, как вам известно, не любят мистики. Им, по всей вероятности, показалось, что это простая рябина. Продолжая беседовать, Ева сорвала с дерева ветку и подарила ее Адаму. Но тут показался человек, которого лишённые воображения молодые марксисты приняли за садового сторожа. А между тем это был, по всей вероятности, ангел с огненным мечом. Ругаясь и ворча, ангел повел Адама и Еву в контору на предмет составления протокола за повреждения, нанесенные садовому хозяйству. Это ничтожное бытовое происшествие отвлекло молодых людей от высокой политики, и Адам увидел, что перед ним стоит нежная Ева, а Ева заметила, что перед

ней стоит мужественный Адам. И молодые люди полюбили друг друга. Через три года у них было уже два сына.

Дойдя до этого места, господин Гейнрих неожиданно умолк, запихивая в рукава мягкие полосатые манжеты.

— Ну, и что же? — спросил Лавуазьян.

— А то, — гордо сказал Гейнрих, — что одного сына зовут Каин, а другого — Авель и что через известный срок Каин убьет Авеля, Авраам родит Исаака, Исаак родит Иакова, и вообще вся библейская история начнется сначала, и никакой марксизм этому помешать не сможет. Все повторяется. Будет и потоп, будет и Ной с тремя сыновьями, и Хам обидит Ноя, будет и Вавилонская башня, которая никогда не достроится, господа. И так далее. Ничего нового на свете не произойдет. Так что вы напрасно кипятились насчет новой жизни.

И Гейнрих удовлетворенно откинулся назад, придавив узкой селедочной спиной толстого добродушного писателя.

— Все это было бы прекрасно, — сказал Паламидов, — если было бы подкреплено доказательствами. Но доказать вы ничего не можете. Вам просто хочется, чтобы было так. Запрещать вам верить в чудо нет надобности. Верьте, молитесь.

— А у вас есть доказательства, что будет иначе? — воскликнул представитель свободомыслящей газеты.

— Есть, — ответил Паламидов, — одно из них вы увидите послезавтра, на смычке Восточной Магистрала.

— Ну-у, начинается! — заворчал Гейнрих. — Строительство! Заводы! Пятилетка! Что вы мне тычете в глаза свое железо? Важен дух! Все повторится! Будет и тридцатилетняя война, и столетняя война, и опять будут сжигать людей, которые посмеют сказать, что земля круглая. И опять обманут бедного Якова, заставив его работать семь лет бесплатно и подсунув ему некрасивую близорукую жену Лию взамен полногрудой Рахили. Все, все повторится. И Вечный Жид по-прежнему будет скитаться по земле...

— Вечный Жид никогда больше не будет скитаться! — сказал вдруг великий комбинатор, обводя собравшихся веселым взором.

— И на это вы тоже можете представить доказательства в течение двух дней? — возопил Гейнрих.

— Хоть сейчас, — любезно ответил Остап. — Если общество позволит, я расскажу о том, что произошло с так называемым Вечным Жидом.

Общество охотно позволило. Все приготовились слушать рассказ нового пассажира, а Ухудшанский даже промолвил: «Рассказываете? Ну, ну». И великий комбинатор начал.

Рассказ Остапа Бендера О Вечном Жиде

— Не буду напоминать вам длинной и скучной истории Вечного еврея. Скажу только, что около двух тысяч лет этот пошлый старик шатался по всему миру, не прописываясь в гостиницах и надоедая гражданам своими жалобами на высокие железнодорожные тарифы, из-за которых ему приходилось ходить пешком. Его видели множество раз. Он присутствовал на историческом заседании, где Колумбу так и не удалось отчитаться в авансовых суммах, взятых на открытие Америки. Еще совсем молодым человеком он видел пожар Рима. Лет полтораста он прожил в Индии, необыкновенно поражая йогов своей живучестью и сварливым характером. Одним словом, старик мог бы порассказать много интересного, если бы к концу каждого столетия писал мемуары. Но Вечный Жид был неграмотен и к тому же имел дырявую память.

Не так давно старик проживал в прекрасном городе Рио-де-Жанейро, пил прохладительные напитки, глядел на океанские пароходы и разгуливал под пальмами в белых штанах. Штаны эти он купил по случаю восемьсот лет назад в Палестине у какого-то рыцаря, отвоевавшего гроб господень, и они были еще совсем как новые. И вдруг старик забеспокоился. Захотелось ему в Россию, на Днепр. Он бывал везде: и на Рейне, и на Ганге, и на Миссисипи, и на Янцзы, и на Нигере, и на Волге. И не был он только на Днепре. Захотелось ему, видите ли, бросить взгляд и на эту широкую реку.

Аккурат в 1919 году Вечный Жид в своих рыцарских брюках нелегально перешел румынскую границу. Стоит ли говорить о том, что на животе у него хранились восемь пар шелковых чулок и флакон парижских духов, которые одна кишиневская дама просила передать киевским родственникам. В то бурное время ношение контрабанды на животе называлось «носить в припарку». Этому делу старика живо обучили в Кишиневе. Когда Вечный Жид, выполнив поручение, стоял на берегу Днепра, свесив неопрятную зеленую бороду, к нему подошел человек с желто-голубыми лампасами и петлюровскими погонами и строго спросил:

— Жид?

— Жид, — ответил старик.

— Ну, пойдем, — пригласил человек с лампасами.

И повел его к куренному атаману.

— Жида поймали, — доложил он, подталкивая старика коленом.

— Жид? — спросил атаман с веселым удивлением.

— Жид, — ответил скиталец.

— А вот поставьте его к стенке, — ласково сказал куренной.

— Но ведь я же Вечный! — закричал старик.

Две тысячи лет он нетерпеливо ждал смерти, а сейчас вдруг ему очень захотелось жить.



— Молчи, жидовская морда! — радостно закричал губатый атаман. — Рубай его, хлопцы-молодцы!

И Вечного странника не стало.

— Вот и все, — заключил Остап.

— Думаю, что вам, господин Гейнрих, как бывшему лейтенанту австрийской армии, известны повадки ваших друзей — петлюровцев? — сказал Паламидов.

Гейнрих ничего не ответил и сейчас же ушел. Сначала все думали, что он обиделся, но уже на другой день вы-

яснилось, что из советского вагона корреспондент свободомыслящей газеты направился прямо к мистеру Хираму Бурману, которому и продал историю о Вечном Жиде за сорок долларов. И Хирам на первой же станции передал рассказ Остапа Бендера по телеграфу в свою газету.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Потный вал вдохновенья

Наутро четвертого дня пути поезд взял на восток. Мимо снеговых цепей — Гималайских отрогов, — с грохотом перекатываясь через искусственные сооружения (мостики, трубы для пропуска весенних вод и др.), а также бросая трепетную тень на горные ручьи, литерный поезд проскочил городок под тополями и долго вертелся у самого бока большой снеговой горы. Не будучи в силах одолеть перевал сразу, литерный подсакивал к горе то справа, то слева, поворачивал назад, пыхтел, возвращался снова, терся о гору пыльно-зелеными своими боками, всячески хитрил — и выскочил, наконец, на волю. Исправно поработав колесами, поезд молодецки осадил на последней станции перед началом Восточной магистрали.

В клубах удивительного солнечного света, на фоне алюминиевых гор, стоял паровоз цвета молодой травы. Это был подарок станционных рабочих новой железной дороге.

В течение довольно долгого времени по линии подарков к торжествам и годовщинам у нас не все обстояло благополучно. Обычно дарили или очень маленькую, величиной с кошку, модель паровоза, или, напротив того, зубило, превосходящее размерами телеграфный столб. Такое мучительное превращение маленьких предметов в большие и наоборот отнимало много времени и денег. Никчемные паровозики пылились на канцелярских шкафах, а титаническое зубило, перевезенное на двух фургонах, бессмысленно и дико ржавело во дворе юбилейного учреждения.

Но паровоз ОВ, ударно выпущенный из капитального ремонта, был совершенно нормальной величины, и по всему было видно, что зубило, которое, несомненно, употребляли при его ремонте, тоже было обыкновенного размера. Красивый подарок немедленно впрягли в поезд, и «овечка», как принято называть в полосе отчуждения паровозы серии ОВ, неся на своем передке плакат «Даешь смычку», покати к южному истоку Магистрала — станции Горной.

Ровно два года назад здесь лег на землю первый черно-синий рельс, выпущенный уральским заводом. С тех пор из прокатных станков завода беспрерывно вылетали огненные полосы рельсов. Магистраль требовала их все больше и больше. Укладочные городки, шедшие навстречу друг другу, в довершение всего устроили соревнование и взяли такой темп, что всем поставщикам материалов пришлось туго.

Вечер на станции Горной, освещенной розовыми и зелеными ракетами, был настолько хорош, что старожилы, если бы они здесь имелись, конечно, сказали бы, что такого вечера они не запомнят. К счастью, в Горной старожилы не было. Еще в 1928 году здесь не было не только что старожилы, но и домов, и станционных помещений, и рельсового пути, и деревянной триумфальной арки с хлопающими на ней лозунгами и флагами, неподалеку от которой остановился литературный поезд.

Пока под керосино-калильными фонарями шел митинг и все население столпилось у трибуны, фоторепортер Меньшов с двумя аппаратами, штативом и машинкой для магния кружил вокруг арки. Арка казалась фотографу подходящей, она получилась бы на снимке отлично. Но поезд, стоявший шагах в двадцати от нее, получился бы слишком маленьким. Если же снимать со стороны поезда, то маленькой вышла бы арка. В таких случаях Магомет обычно шел к горе, прекрасно понимая, что гора к нему не пойдет. Но Меньшов сделал то, что показалось ему самым простым. Он попросил подать поезд под арку таким же легким тоном, каким просят в трамвае немножко подвинуться. Кроме того, он настаивал, чтобы из трубы паровоза валил густой белый пар. Еще требовал он, чтобы машинист бесстрашно смотрел из окошечка вдаль, держа ладонь

козырьком над глазами. Железнодорожники растерялись и, думая, что так именно и надо, просьбу удовлетворили. Поезд с лязгом подтянулся к арке, из трубы валил требуемый пар, и машинист, высунувшись в окошечко, сделал зверское лицо. Тогда Меньшов произвел такую вспышку магния, что задрожала земля и на сто километров вокруг залаяли собаки. Произведя снимок, фотограф сухо поблагодарил железнодорожный персонал и поспешно удалился в свое купе.

Поздно ночью литерный поезд шел уже по Восточной Магистрале. Когда население поезда укладывалось спать, в коридор вагона вышел фотограф Меньшов и, ни к кому не обращаясь, скорбно сказал:

— Странный случай! Оказывается, эту проклятую арку я снимал на пустую кассету! Так что ничего не вышло.

— Не беда, — с участием ответил ему Лавуазьян, — пустое дело. Попросите машиниста, и он живо даст задний ход. Всего лишь через три часа вы снова будете в Горной и повторите свой снимок. А смычку можно будет отложить на день.

— Черта с два теперь снимешь! — печально молвил фоторепортер. — У меня вышел весь магний, а то, конечно, пришлось бы вернуться.

Путешествие по Восточной Магистрале доставляло великому комбинатору много радости. Каждый час приближал его к Северному укладочному городку, где находился Корейко. Нравились Остапу и литерные пассажиры. Это были люди молодые, веселые, без бюрократической сумасшедшинки, так отличавшей его геркулесовских знакомых. Для полноты счастья не хватало денег. Подаренную провизию он съел, а для вагона-ресторана требовались наличные. Сперва Остап, когда новые друзья тащили его обедать, отговаривался отсутствием аппетита, но вскоре понял, что так жить нельзя. Некоторое время он присматривался к Ухудшанскому, который весь день проводил у окна в коридоре, глядя на телеграфные столбы и на птичек, слетающих с проволоки. При этом легкая сатирическая улыбка трогала губы Ухудшанского. Он закидывал голову и шептал птицам: «Порхаете? Ну, ну». Остап простер свое любопытство вплоть до того, что ознакомился даже со статьей Ухудшанского «Улучшить работу лавочных комиссий». После этого Бендер еще оглядел диковинного журналиста с ног до головы, нехорошо улыбнулся и, почувствовав знакомое волнение стрелка-охотника, заперся в купе.

Оттуда он вышел только через три часа, держа с руках большой разграфленный, как ведомость, лист бумаги.

— Пишете? — вяло спросил Ухудшанский.

— Специально для вас, — ответил великий комбинатор. — Вы, я замечаю, все время терзаетесь муками творчества. Писать, конечно, очень труд-

но. Я, как старый передовик и ваш собрат по перу, могу это засвидетельствовать. Но я, мой милый пастушок, изобрел такую штуку, которая избавляет от необходимости ждать, покуда вас окатит потный вал вдохновения. Вот. Извольте посмотреть.

И Остап протянул Ухудшанскому лист, на котором было написано:

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКТ

НЕЗАМЕНИМОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ СОЧИНЕНИЯ ЮБИЛЕЙНЫХ СТАТЕЙ, ТАБЕЛЬНЫХ ФЕЛЬЕТОНОВ, А ТАКЖЕ ПАРАДНЫХ СТИХОТВОРЕНИЙ, ОД И ТРОПАРЕЙ

РАЗДЕЛ I. СЛОВАРЬ

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ

- | | |
|----------------|-------------|
| 1. Клики | 11. Час |
| 2. Трудящиеся | 12. Враг |
| 3. Заря | 13. Поступь |
| 4. Жизнь | 14. Вал |
| 5. Маяк | 15. Пески |
| 6. Ошибки | 16. Скок |
| 7. Стяг (флаг) | 17. Конь |
| 8. Ваал | 18. Сердце |
| 9. Молох | 19. Прошлое |
| 10. Прислужник | |

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 1. Империалистический | 5. Индустриальный |
| 2. Капиталистический | 6. Стальной |
| 3. Исторический | 7. Железный |
| 4. Последний | |

ГЛАГОЛЫ

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. Пылать | 4. Рдеть |
| 2. Взметать (ся) | 5. Взивать (ся) |
| 3. Выявлять | 6. Вершить (ся) |

7. Петь

9. Скрежетать

8. Клеветать

10. Грозить

ХУДОЖЕСТВ. ЭПИТЕТЫ

1. Злобный

2. Зубовный

ПРОЧИЕ ЧАСТИ РЕЧИ

1. Девятый

4. Пускай!

2. Двенадцатый

5. Вперед!

3. Пусть!

(Междометия, предлоги, союзы, запятые, многоточия, восклицательные знаки и кавычки и т. п.)

ПРИМЕЧ. Запятые ставят перед «что», «который» и «если». Многоточия, восклиц. знаки и кавычки — где только возможно.

РАЗДЕЛ II. ТВОРЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (СОСТАВЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ИЗ СЛОВ РАЗДЕЛА I-ГО)

§1. ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ ДЕВЯТЫЙ ВАЛ

Восточная магистраль — это железный конь, который, взметая стальным скоком пески прошлого, вершит поступь истории, выявляя очередной зубовный скрежет клеветящего врага, на которого уже взмечается девятый вал, грозящий двенадцатым часом, последним часом для прислужников империалистического Молоха, этого капиталистического Ваала; но, невзирая на ошибки, пусть рдеют, а равно и взвиваются стяги у маяка индустриализации, пылающего под клики трудящихся, коими под пение сердец выявляется заря новой жизни: вперед.

§2. ХУДОЖЕСТВ. ОЧЕРК-ФЕЛЬЕТОН ПУСТЬ!..

— Вперед!

Он пылет под клики трудящихся...

Он выявляет зарю новой жизни...

— Маяк!

Индустриализации!

Пусть отдельные ошибки. Пусть. Но зато как рдеют... как несутся... как взвиваются... эти стяги! Эти флаги!..

— Пусть — Ваал капитализма! Пусть — Молох империализма! Пусть!

Но на прислужников уже взметається:

— Последний вал!

— Девятый час!

— Двенадцатый Ваал!

Пусть клеветают. Пусть скрежещут. Пусть выявляется злобный зубовой враг!

Вершится историческая поступь. Пески прошлого взметаются скоком стали.

Это — «железный» «конь»!..

Это:

— Восточная!

— Магистраль!

«Поют сердца»...

§3. ХУДОЖЕСТВ. СТИХОТВОРЕНИЕ

А) ТРИНАДЦАТЫЙ ВАЛ

Поют сердца под грохот дней,
Дрожит зарей маяк.
Пускай индустрии огней
Трепещет злобный враг.
Железный конь несет вперед
Истории скок взметать,
Семью трудящихся несет
Ошибки выявлять.
Взвивается последний час.
Зардел девятый вал,
Двенадцатый вершится час
Тебе, Молох-Ваал!

Б) ВОСТОЧНЫЙ ВАРИАНТ

Цветет урюк под грохот дней,
Дрожит зарей кишлак,
А средь арыков и аллей
Идет гулять ишак.

АЗИАТСКИЙ ОРНАМЕНТ

1. УРЮК (абрикосы)
 2. АРЫК (канал)
 3. ИШАК (осел)
 4. ПЛОВ (пища)
 5. БАЙ (нехороший человек)
 6. БАСМАЧ (нехороший человек)
 7. ШАКАЛ (животное)
 8. КИШЛАК (деревня)
 9. ПИАЛА (чашка)
 10. МЕДРЕСЕ (духовное училище)
 11. ИЧИГИ (обувь)
 12. ШАЙТАН (черт)
 13. АРБА (телега)
 14. ШАЙТАН-АРБА (Средне-Азиатская ж. д.)
 15. ТВОЯ МОЯ НЕ ПОНИМАЙ
 16. МАЛА-МАЛА
- } (выражения)

Добавление

При помощи материалов раздела 1-го по методам раздела 2-го сочиняются также: романы, повести, поэмы в прозе, рассказы, бытовые зарисовки, художеств. репортаж, хроника, эпопеи, пьесы, политобозрение, игра в политфанты, радиооперации и т. д.

Когда Ухудшанский ознакомился с содержанием документа, глаза его, доселе мутные, оживились. Ему, пробавлявшемуся до сих пор отчетами о заседаниях, внезапно открылись сверкающие стилистические высоты.

— И за все — двадцать пять тугриков, двадцать пять монгольских рублей, — нетерпеливо сказал великий комбинатор, томимый голодом.

— У меня нет монгольских, — молвил сотрудник профоргана, не выпущенная из рук «Торжественного комплекта».

Остап согласился взять обыкновенными рублями, пригласил Гаргантюа, которого называл уже «кум и благодетель», и вместе с ним отправился в вагон-ресторан. Ему принесли графин водки, блистающий льдом и ртутью, салат и большую, тяжелую, как подкова, котлету. После водки, которая произвела в его голове легкое кружение, великий комбинатор таинственно сообщил куму и благодетелю, что в Северном укладочном городке он надеется разыскать человечка, который должен ему небольшую сумму. Тогда он созывает всех корреспондентов на пир. На это Гаргантюа ответил длинной убедительной речью, в которой, по обыкновению, нельзя было разобрать ни слова. Остап подозревал буфетчика, расспросил, везет ли тот шампанское, и сколько

бутылок везет, и что еще имеется из деликатесов, и в каких количествах имеется, и что все эти сведения ему нужны потому, что дня через два он намерен дать банкет своим собратьям по перу. Буфетчик заявил, что сделано будет все, что возможно.

— Согласно законов гостеприимства, — добавил он почему-то.

По мере приближения к месту смычки, кочевников становилось все больше. Они спускались с холмов, наперерез поезду, в шапках, похожих на китайские пагоды. Литерный, грохоча, с головой уходил в скалистые порфировые выемки, прошел новый трехпролетный мост, последняя ферма которого была надвинута только вчера, и принялся осиливать знаменитый Хрустальный перевал. Знаменитым сделали его строители Магистрала, выполнившие все подрывные и укладочные работы в три месяца вместо восьми, намеченных по плану.

Поезд постепенно обрстал бытом. Иностранцы, выехавшие из Москвы в твердых, словно бы сделанных из аптекарского фаянса воротничках, в тяжелых шелковых галстуках и суконных костюмах, стали распоясываться. Одолевала жара. Первым изменил форму одежды один из американцев. Стыдливо посмеиваясь, он вышел из своего вагона в странном наряде. На нем были желтые толстые башмаки, чулки и брюки-гольф, роговые очки и русская косоворотка хлебозаготовительного образца, вышитая крестиками. И чем жарче становилось, тем меньше иностранцев оставалось верными идее европейского костюма. Косоворотки, апашки, гейши, сорочки-фантази, толстовки, лжетолстовки и полутолстовки, одесские сандалии и тапочки полностью преобразили работников прессы капиталистического мира. Они приобрели разительное сходство со старинными советскими служащими, и их мучительно хотелось чистить, выпытывать, что они делали до 1917 года, не бюрократы ли они, не головотяпы ли и благополучны ли по родственникам.

Прилежная «овечка», увешанная флагами и гирляндами, поздней ночью втянула литерный поезд на станцию Гремящий Ключ, место смычки. Кинооператоры жгли римские свечи. В их резком белом свете стоял начальник строительства, взволнованно глядя на поезд. В вагонах не было огня. Все спали. И только правительственный салон светился большими квадратными окнами. Дверь его быстро открылась, и на низкую землю прыгнул член правительства.

Начальник Магистрала сделал шаг вперед, взял под козырек и произнес рапорт, которого ждала вся страна. Восточная Магистраль, соединившая прямым путем Сибирь и Среднюю Азию, была закончена на год раньше срока.

Когда формальность была выполнена, рапорт отдан и принят, два немолодых и несентиментальных человека поцеловались.

Все корреспонденты, и советские и иностранные, и Лавуазьян, в нетерпении пославший телеграмму о дыме, шедшем из паровозной трубы, и канадская девушка, сломя голову примчавшаяся из-за океана, — все спали. Один только Паламидов метался по свежей насыпи, разыскивая телеграф. Он рассчитал, что если молнию послать немедленно, то она появится еще в утреннем номере. И в черной пустыне он нашел наспех сколоченную избушку телеграфа.

«Блеске звезд, — писал он, сердясь на карандаш, — отдан рапорт окончания магистрали тчк присутствовал историческом поцелуе начальника магистрали членом правительства паламидов».

Первую часть телеграммы редакция поместила, а поцелуй выкинула. Редактор сказал, что члену правительства неприлично целоваться.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Гремящий Ключ

Солнце встало над холмистой пустыней в 5 часов 02 минуты 46 секунд. Остап поднялся на минуту позже. Фоторепортер Меньшов уже обвешивал себя сумками и ремнями. Кепку он надел задом наперед, чтобы козырек не мешал смотреть в видискатель. Фотографу предстоял большой день. Остап тоже надеялся на большой день и, даже не умывшись, выпрыгнул из вагона. Желтую папку он захватил с собой.

Прибывшие поезда с гостями из Москвы, Сибири и Средней Азии образовали улицы и переулки. Со всех сторон составы подступали к трибуне, сипели паровозы, белый пар задерживался на длинном полотняном лозунге: «Магистраль — первое детище пятилетки».

Еще все спали, и прохладный ветер стучал флагами на пустой трибуне, когда Остап увидел, что чистый горизонт сильно пересеченной местности внезапно омрачился разрывами пыли. Со всех сторон выдвигались из-за холмов остроконечные шапки. Тысячи всадников, сидя в деревянных седлах и понукая волосатых лошадок, торопились к деревянной стреле, находившейся в той самой точке, которая была принята два года назад как место будущей смычки.

Кочевники ехали целыми аулами. Отцы семейства двигались верхом, верхами, по-мужски, ехали жены, ребята по трое двигались на собственных лошадках, и даже злые тещи и те посылали вперед своих верных коней, ударяя их каблуками под живот. Конные группы вертелись в пыли, носились по полю с красными знаменами, вытягивались на стременах и, повернувшись боком, любопытно озирали чудеса. Чудес было много: поезда, рельсы, молодева-тые фигуры кинооператоров, решетчатая столовая, неожиданно выросшая на голом месте, и радиорепродукторы, из которых несся свежий голос «раз, два,

три, четыре, пять, шесть», — проверялась готовность радиоустановки. Два укладочных городка, два строительных предприятия на колесах, с материальными складами, столовыми, канцеляриями, банями и жильем для рабочих, стояли друг против друга, перед трибуной, отделенные только двадцатью метрами шпал, еще не прошитых рельсами. В этом месте ляжет последний рельс и будет забит последний костыль. В голове Южного городка висел плакат: «Даешь Север!», в голове Северного — «Даешь Юг!».

Рабочие обоих городков смешались в одну кучу. Они увиделись впервые, хотя знали и помнили друг о друге с самого начала постройки, когда их разделяли полторы тысячи километров пустыни, скал, озер и рек. Соревнование в работе ускорило свидание на год. Последний месяц рельсы укладывали бегом. И Север и Юг стремились опередить друг друга и первыми войти в Гремящий Ключ. Победил Север. Теперь начальники обоих городков, один в графитной толстовке, а другой в белой косоворотке, мирно беседовали у стрельы, причем на лице начальника Севера против воли время от времени появлялась змеиная улыбка. Он спешил ее согнать и хвалил Юг, но улыбка снова подымала его выцветшие на солнце усы.

Остап побежал к вагонам Северного городка, однако городок был пуст. Все его жители ушли к трибуне, перед которой уже сидели музыканты. Обжигая губы о горячие металлические мундштуки, они играли увертюру.

Советские журналисты заняли левое крыло трибуны. Лавуазьян, свесившись вниз, умолял Меньшова заснять его при исполнении служебных обязанностей. Но Меньшову было не до того. Он снимал ударников Магистрали группами и в одиночку, заставляя костыльщиков размахивать молотами, а грабарей — опираться на лопаты. На правом крыле сидели иностранцы. У входов на трибуну красноармейцы проверяли пригласительные билеты. У Остапа билета не было. Комендант поезда выдавал их по списку, где представитель «Черноморской газеты» О. Бендер не значился. Напрасно Гаргантюа манил великого комбинатора наверх, крича: «Ведь верно? Ведь правильно?» — Остап отрицательно мотал головой, водя глазами на трибуну, на которой тесно уместились герои и гости.

В первом ряду спокойно сидел табельщик Северного укладочного городка Александр Корейко. Для защиты от солнца голова его была прикрыта газетной треуголкой. Он чуть выдвинул ухо, чтобы получше слышать первого оратора, который уже пробирался к микрофону.

— Александр Иванович! — крикнул Остап, сложив руки трубой.

Корейко посмотрел вниз и поднялся. Музыканты заиграли «Интернационал», но богатый табельщик выслушал гимн невнимательно. Вздорная фигура великого комбинатора, бегавшего по площадке, очищенной для последних рельсов, сразу же лишила его душевного спокойствия. Он посмотрел через головы толпы, соображая, куда бы убежать. Но вокруг была пустыня.

Пятнадцать тысяч всадников непрестанно шатались взад и вперед, десятки раз переходили вброд холодную речку и только к началу митинга расположились в конном строю позади трибуны. А некоторые, застенчивые и гордые, так и промаячили весь день на вершинах холмов, не решаясь подъехать ближе к гудящему и ревущему митингу.

Строители Магистралей праздновали свою победу шумно, весело, с криками, музыкой и подбрасыванием на воздух любимцев и героев. На полотно со звоном полетели рельсы. В минуту они были уложены, и рабочие-укладчики, забившие миллионы костылей, уступили право на последние удары своим руководителям.

— Согласно законов гостеприимства, — сказал буфетчик, сидя с поварами на крыше вагона-ресторана.

Инженер-краснознаменец сдвинул на затылок большую фетровую шляпу, схватил молот с длинной ручкой и, сделав плачущее лицо, ударил прямо по земле. Дружелюбный смех костыльщиков, среди которых были силачи, забивающие костыль одним ударом, сопутствовал этой операции. Однако мягкие удары о землю вскоре стали перемежаться звоном, свидетельствующим, что молот иногда приходит в соприкосновение с костылем. Размахивали молотами секретарь крайкома, члены правительства, начальник Севера и Юга и гости. Самый последний костыль в каких-нибудь полчаса заколотил в шпалу начальник строительства.

Начались речи. Они произносились по два раза — на казахском и русском языках.

— Товарищи, — медленно сказал костыльщик-ударник, стараясь не смотреть на орден Красного Знамени, только что приколотый к его рубашке, — что сделано, то сделано, и говорить тут много не надо. А от всего нашего укладочного коллектива просьба правительству — немедленно отправить нас на новую стройку. Мы хорошо сработались вместе и последние месяцы укладывали по пяти километров рельсов в день. Обязуемся эту норму удержать и повысить. И да здравствует наша мировая революция! Я еще хотел сказать, товарищи, что шпалы поступали с большим браком, приходилось отбрасывать. Это дело надо поставить на высоту!

Корреспонденты уже не могли пожаловаться на отсутствие событий. Записывались речи. Инженеров хватали за талию и требовали от них сведений с точными цифровыми данными. Стало жарко, пыльно и деловито. Митинг в пустыне задымился, как огромный костер. Лавуазьян, нацарапав десять строчек, бежал на телеграф, отправлял молнию и снова принимался записывать. Ухудшанский ничего не записывал и телеграммы не посылал. В кармане у него лежал «Торжественный комплект», который давал возможность в пять минут составить прекрасную корреспонденцию с азиатским орнаментом.



Будущее Ухудшанского было обеспечено. И поэтому он с более высокой, чем обычно, сатирической нотой в голосе говорил собратьям:

— Стараетесь? Ну, ну!

Неожиданно в ложе советских журналистов появились отставшие в Москве Лев Рубашкин и Ян Скамейкин. Их взял с собой самолет, прилетевший на смычку рано утром. Он спустился в десяти километрах от Гремящего Ключа, за далеким холмом, на естественном аэродроме, и братья-корреспонденты только сейчас добрались оттуда пешим порядком. Еле поздоровавшись, Лев Рубашкин и Ян Скамейкин выхватили из карманов блокноты и принялись наверстывать упущенное время.

Фотоаппараты иностранцев щелкали беспрерывно. Глотки высохли от речей и солнца. Собравшиеся все чаще поглядывали вниз, на холодную речку, на столовую, где полосатые тени навеса лежали на длиннейших банкетных столах, уставленных зелеными нарзанными бутылками. Рядом расположились киоски, куда по временам бегали пить участники митинга. Корейко мучился от жажды, но крепился под своей детской треуголкой. Великий комбинатор издали дразнил его, поднимая над головой бутылку лимонада и желтую папку с ботиночными тесемками.

На стол, рядом с графином и микрофоном, поставили девочку-пионерку.

— Ну, девочка, — весело сказал начальник строительства, — скажи нам, что ты думаешь о Восточной Магистральной?

Не удивительно было бы, если бы девочка внезапно топнула ножкой и начала: «Товарищи! Позвольте мне подвести итоги тем достижениям, кои...» — и так далее, потому что встречаются у нас примерные дети, которые с печальной старательностью произносят двухчасовые речи. Однако пионерка Гремящего Ключа своими слабыми ручонками сразу ухватила быка за рога и тонким смешным голосом закричала:

— Да здравствует пятилетка!

Паламидов подошел к иностранному профессору-экономисту, желая получить у него интервью.

— Я восхищен, — сказал профессор, — все строительство, которое я видел в СССР, грандиозно. Я не сомневаюсь в том, что пятилетка будет выполнена. Я об этом буду писать.

Об этом через полгода он действительно выпустил книгу, в которой на двухстах страницах доказывал, что пятилетка будет выполнена в намеченные сроки и что СССР станет одной из самых мощных индустриальных стран. А на двухсот первой странице профессор заявил, что именно по этой причине Страну Советов нужно как можно скорее уничтожить, иначе она принесет естественную гибель капиталистическому обществу. Профессор оказался более деловым человеком, чем болтливый Гейнрих.

Из-за холма поднялся белый самолет. Во все стороны врассыпную кинулись казахи. Большая тень самолета бросилась через трибуну и, выгибаясь, побежала в пустыню. Казахи, крича и поднимая кнуты, погнались за тенью. Кинооператоры встревоженно завертели свои машинки. Стало еще более суматошно и пыльно. Митинг окончился.

— Вот что, товарищи, — говорил Паламидов, поспешая вместе с братьями по перу в столовую, — давайте условимся: пошлых вещей не писать.

— Пошлость отвратительна! — поддержал Лавуазьян. — Она ужасна.

И по дороге в столовую корреспонденты единогласно решили не писать об Узун-Кулаке, что значит Длинное Ухо, что в свою очередь значит — степной телеграф. Об этом писали все, кто только ни был на Востоке, и об этом больше невозможно читать. Не писать очерков под названием «Легенда озера Иссык-Куль». Довольно пошлостей в восточном вкусе!

На опустевшей трибуне, среди окурков, разорванных записок и нанесенного из пустыни песка сидел один только Корейко. Он никак не решался сойти вниз.

— Сойдите, Александр Иванович! — кричал Остап. — Пожалейте себя! Глоток холодного нарзана! А? Не хотите? Ну, хоть меня пожалейте! Я хочу есть! Ведь я все равно не уйду! Может быть, вы хотите, чтобы я спел вам серенаду Шуберта «Легкою стопой ты приди, друг мой»? Я могу!

Но Корейко не стал дожидаться. Ему и без серенады было ясно, что день-ги придется отдать. Пригнувшись и останавливаясь на каждой ступеньке, он стал спускаться вниз.

— На вас треугольная шляпа? — резвился Остап. — А где же серый походный пиджак? Вы не поверите, как я скучал без вас. Ну, здравствуйте, здравствуйте! Может, почеломкаемся? Или пойдем прямо в закрома, в пещеру Лейхтвейса, где вы храните свои тугрики!

— Сперва обедать, — сказал Корейко, язык которого высох от жажды и царапался, как рашпиль.

— Можно и пообедать. Только на этот раз без шалопайства. Впрочем, шансов у вас никаких. За холмами залегли мои молодцы, — соврал Остап на всякий случай.

И, вспомнив о молодцах, он погрузился в грусть.

Обед для строителей и гостей был дан в евразийском роде. Казахи расположились на коврах, поджав ноги, как это делают на Востоке все, а на Западе только портные. Казахи ели плов из белых мисочек, запивали его лимонадом. Европейцы засели за столы.

Много трудов, забот и волнений перенесли строители Магистрала за два года работы. Но и немало беспокойства причинила им организация парадного обеда в центре пустыни. Долго обсуждалось меню, азиатское

и европейское. Вызвал продолжительную дискуссию вопрос о спиртных напитках. На несколько дней управление строительством стало походить на Соединенные Штаты перед выборами президента. Сторонники сухой и мокрой проблемы вступили в единоборство. Наконец ячейка высказалась против спиртного. Тогда всплыло новое обстоятельство — иностранцы, дипломаты, москвичи! Как их накормить поизящнее? Все-таки они у себя там в Лондонах и Нью-Йорках привыкли к разным кулинарным эксцессам. И вот из Ташкента выписали старого специалиста Ивана Осиповича. Когда-то он был метрдотелем в Москве у известного Мартьяныча и теперь доживал свои дни заведующим нарпитовской столовой у Куриного базара.

— Так вы смотрите, Иван Осипович, — говорили ему в управлении, — не подкачайте. Иностранцы будут. Нужно как-нибудь повиднее все сделать, пофасонистее.

— Верьте слову, — бормотал старик со слезами на глазах, — каких людей кормил! Принца Вюртембергского кормил! Мне и денег платить не нужно. Как же мне напоследок жизни людей не покормить? Покоормлю вот — и умру!

Иван Осипович страшно разволновался. Узнав об окончательном отказе от спиртного, он чуть не заболел, но оставить Европу без обеда не решился. Представленную им смету сильно урезали, и старик, шепча себе под нос: «Накормлю и умру» — добавил шестьдесят рублей из своих сбережений. В день обеда Иван Осипович пришел в нафталиновом фраке. Покуда шел митинг, он нервничал, поглядывал на солнце и покрикивал на кочевников, которые просто из любопытства пытались въехать в столовую верхом. Старик замахивался на них салфеткой и дребезжал:

— Отойди, Мамай, не видишь, что делается! Ах, господи! Соус пикан перестоится. И консоме с пашотом не готово!

На столе уже стояла закуска. Все было сервировано чрезвычайно красиво и с большим умением. Торчком стояли твердые салфетки, на стеклянных тарелочках во льду лежало масло, скрученное в бутоны, селедки держали во рту серсо из лука или маслины, были цветы, и даже обыкновенный серый хлеб выглядел весьма презентабельно.

Наконец гости явились за стол. Все были запылены, красны от жары и очень голодны. Никто не походил на принца Вюртембергского. Иван Осипович вдруг почувствовал приближение беды.

— Прошу у гостей извинения, — сказал он искательно, — еще пять минуточек, и начнем обедать! Личная у меня к вам просьба — не трогайте ничего на столе до обеда, чтоб все было как полагается.

На минуту он убежал в кухню, светски пританцовывая, а когда вернулся назад, неся на блюде какую-то парадную рыбу, то увидел страшную сце-

ну разграбления стола. Это до такой степени не походило на разработанный Иваном Осиповичем церемониал принятия пищи, что он остановился. Англичанин с теннисной талией беззаботно ел хлеб с маслом, а Гейнрих, перегнувшись через стол, вытаскивал пальцами маслину из селедочного рта. На столе все смешалось. Гости, удовлетворявшие первый голод, весело обменивались впечатлениями.

— Это что такое? — спросил старик упавшим голосом.

— Где же суп, папаша? — закричал Гейнрих с набитым ртом.

Иван Осипович ничего не ответил. Он только махнул салфеткой и пошел прочь. Дальнейшие заботы он бросил на своих подчиненных.

Когда комбинаторы пробились к столу, толстый человек с висячим, как банан, носом произносил первую застольную речь. К своему крайнему удивлению, Остап узнал в нем инженера Талмудовского.

— Да! Мы герои! — восклицал Талмудовский, протягивая вперед стакан с нарзаном. — Привет нам, строителям Магистрала! Но каковы условия нашей работы, граждане! Скажу, например, про оклад жалованья. Не спорю, на Магистрала оклад лучше, чем в других местах, но вот культурные удобства! Театра нет! Пустыня! Канализации никакой!.. Нет, я так работать не могу!

— Кто это такой! — спрашивали друг у друга строители. — Вы не знаете?

Между тем Талмудовский уже вытащил из-под стола чемоданы.

— Плевал я на договор! — кричал он, направляясь к выходу. — Что? Подъемные назад? Только судом, только судом!

И даже толкая обедающих чемоданами, он вместо «пardon» свирепо кричал: «Только судом!».

Поздно ночью он уже катил в моторной дрезине, присоединившись к дорожным мастерам, ехавшим по делу к южному истоку Магистрала. Талмудовский сидел верхом на чемоданах и разъяснял мастерам причины, по которым честный специалист не может работать в этой дыре. С ними ехал домой метрдотель Иван Осипович. В горе он не успел даже снять фрака. Он был сильно пьян.

— Варвары! — кричал он, высовываясь на бреющий ветер и грозя кулаком в сторону Гремящего Ключа. — Всю сервировку к свиньям собачьим!.. Антон Павловича кормил, принца Вюртембергского!.. Приеду домой и умру! Вспомнят тогда Ивана Осиповича. Сервируй, скажут, банкетный стол на восемьдесят четыре персоны, к свиньям собачьим. А ведь некому будет! Нет Ивана Осиповича Трикартова! Скончался! Отбыл в лучший мир, иде же несть ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная... Ве-е-е-чая па-м-мять!..

И покуда старик отпевал самого себя, хвосты его фрака трещали на ветру, как вымпелы.



Остап, не дав Корейко доестъ компота, поднял его из-за стола и потащил рассчитывать. По приставной лестничке комбинаторы взобрались в товарный вагон, где помещалась канцелярия Северной укладки и стояла складная полотняная кровать табельщика. Здесь они заперлись.

После обеда, когда литерные пассажиры отдыхали, набираясь сил для участия в вечернем гулянье, фельетонист Гаргантюа поймал братьев-корреспондентов за недозволенным занятием. Лев Рубашкин и Ян Скамейкин несли на телеграф две бумажки. На одной из них было краткое сообщение: «Срочная москва степной телеграф тире узун-кулак квч длинное ухо зпт разнес аулам весть состоявшейся смычке магистрали рубашкин».

Вторая бумажка была исписана сверху донизу. Вот что в ней содержалось:

Легенда озера Иссык-Куль

Старый каракалпак Ухум Бухеев рассказал мне эту легенду, овеванную дыханием веков. Двести тысяч четыреста восемьдесят пять лун тому назад молодая, быстроногая, как джейран (горный баран), жена хана, красавица

Сумбурун горячо полюбила молодого нукера Ай-Булака. Велико было горе старого хана, когда он узнал об измене горячо любимой жены. Старик двадцать лун возносил молитвы, а потом со слезами на глазах запечатал красавицу в бочку и, привязав к ней слиток чистого золота весом в семь джасын (18 кило), бросил драгоценную ношу в горное озеро. С тех пор озеро и получило свое имя — Иссык-Куль, что значит «Сердце красавицы склонно к измене».

ЯН СКАМЕЙКИН-САРМАТСКИЙ (ПОРШЕНЬ)

— Ведь верно? — спрашивал Гаргантюа, показывая выхваченные у братьев бумажки. — Ведь правильно?

— Конечно, возмутительно! — отвечал Паламидов. — Как вы смели написать легенду после всего, что было говорено? По-вашему, Иссык-Куль переводится как «Сердце красавицы склонно к измене и перемене»? Ой ли! Не наврал ли вам липовый каракалпак Ухум Бухеев? Не звучит ли это название таким образом: «Не бросайте молодых красавиц в озеро, а бросайте в озеро легковых корреспондентов, поддающихся губительному влиянию экзотики»?

Писатель в детской курточке покраснел. В его записной книжке уже значились и Узун-Кулак, и две душистые легенды, усащенные восточным орнаментом.

— А по-моему, — сказал он, — в этом нет ничего страшного. Раз Узун-Кулак существует, должен же кто-нибудь о нем писать?

— Но ведь уже тысячу раз писали! — сказал Лавуазьян.

— Узун-Кулак существует, — вздохнул писатель, — и с этим приходится считаться.

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

Александр Ибн-Иванович

В нагретом и темном товарном вагоне воздух был плотный и устойчивый, как в старом ботинке. Пахло кожей и ногами. Корейко зажег кондукторский фонарь и полез под кровать. Остап задумчиво смотрел на него, сидя на пу-стом ящике из-под макарон. Оба комбинатора были утомлены борьбой и от-несли к событию, которого Корейко чрезвычайно опасался, а Бендер ждал всю жизнь, с каким-то казенным спокойствием. Могло бы показаться даже, что дело происходит в кооперативном магазине, покупатель спрашивает го-ловной убор, а продавец лениво выбрасывает на прилавок лохматую кепку бу-лыжного цвета. Ему все равно — возьмет покупатель кепку или не возьмет. Да и сам покупатель не очень-то горячится, спрашивая только для успокое-ния совести: «Может, другие есть?» — на что обычно следует ответ: «Бери-

те, берите, а то и этого не будет». И оба смотрят друг на друга с полнейшим равнодушием. Корейко долго возился под кроватью, как видно, отстегивая крышку чемодана и копаясь в нем наугад.

— Эй, там, на шхуне! — устало крикнул Остап. — Какое счастье, что вы не курите! Просить папиросу у такого скряги, как вы, было бы просто мучительно. Вы никогда не протянули бы портсигара, боясь, что у вас вместо одной папиросы заберут несколько, а долго копались бы в кармане, с трудом приоткрывая коробку и вытаскивая оттуда жалкую согнутую папироску. Вы нехороший человек. Ну, что вам стоит вытащить весь чемодан!

— Еще чего! — буркнул Корейко, задыхаясь под кроватью.

Сравнение со скрягой-курильщиком было ему неприятно. Как раз в эту минуту он вытягивал из чемодана толстенные пачки. Никелированный язычок замка царапал его оголенные до локтя руки. Для удобства он лег на спину и продолжал работать, как шахтер в забое. Из тюфяка в глаза миллионера сыпалась солома и прочая соломенная дрянь, какой-то порошок и хлебные усики.

«Ах, как плохо, — думал Александр Иванович, — плохо и страшно. Вдруг он сейчас меня задушит и заберет все деньги? Очень просто. Разрежет на части и отправит малой скоростью в разные города. А голову заквасит в бочке с капустой».

Корейко прошибло погребной сыростью. В страхе он выглянул из-под кровати. Бендер дремал на своем ящичке, клоня голову к железнодорожному фонарю.

«А может, его... малой скоростью, — подумал Александр Иванович, продолжая вытягивать пачки и ужасаясь, — в разные города? Строго конфиденциально. А?»

Он снова выглянул. Великий комбинатор вытянулся и отчаянно, как дог, зевнул. Потом он взял кондукторский фонарь и принялся им размахивать, выкликая:

— Станция Хащепетовка! Выходите, гражданин! Приехали! Кстати, совсем забыл вам сказать, может быть, вы собираетесь меня зарезать? Так знайте — я против. И потом меня уже один раз убивали. Был такой взбалмошный старик, из хорошей семьи, бывший предводитель дворянства, он же регистратор загса, Киса Воробьянинов. Мы с ним на паях искали счастья на сумму в сто пятьдесят тысяч рублей. И вот перед самым размежеванием добытой суммы глупый предводитель полоснул меня бритвой по шее. Ах, как это было пошло, Корейко! Пошло и больно! Хирурги еле-еле спасли мою молодую жизнь, за что я им глубоко признателен.

Наконец Корейко вылез из-под кровати, пододвинув к ногам Остапа пачки с деньгами. Каждая пачка была аккуратно заклеена в белую бумагу и перевязана шпагатом.



— Девяносто девять пачек, — сказал Корейко грустно, — по десять тысяч в каждой. Бумажками по двадцать пять червонцев. Можете не проверять, у меня, как в банке.

— А где же сотая пачка? — спросил Остап с энтузиазмом.

— Десять тысяч я вычел. В счет ограбления на морском берегу.

— Ну, это уже свинство. Деньги истрачены на вас же. Не занимайтесь формалистикой.

Корейко, вздыхая, выдал недостающие деньги, взамен чего получил свое жизнеписание в желтой папке с ботиночными тесемками. Жизнеписание он тут же сжег в железной печке, труба которой выходила сквозь крышу вагона. Остап в это время взял на выдержку одну из пачек, сорвал обертку и, убедившись, что Корейко не обманул, сунул ее в карман.

— Где же валюта? — придиричиво спросил великий комбинатор. — Где мексиканские доллары, турецкие лиры, где фунты, рупии, пезеты, центавосы, румынские леи, где лимитрофные латы и золотые? Дайте хоть часть валютой!

— Берите, берите что есть, — отвечал Корейко, сидя перед печкой и глядя на корчащиеся в огне документы, — берите, а то и этого скоро не будет. Валюты не держу.

— Вот я и миллионер! — воскликнул Остап с веселым удивлением. — Сбылись мечты идиота!

Остап вдруг опечалился. Его поразила обыденность обстановки, ему показалось странным, что мир не переменялся сию же секунду и что ничего, решительно ничего не произошло вокруг. И хотя он знал, что никаких таинственных пещер, бочонков с золотом и лампочек Аладдина в наше суровое время не полагается, все же ему стало чего-то жалко. Стало ему немного скучно, как Роальду Амундсену, когда он, проносясь в дирижабле «Норге» над Северным полюсом, к которому пробирался всю жизнь, без воодушевления сказал своим спутникам: «Ну, вот мы и прилетели». Внизу был битый лед, трещины, холод, пустота. Тайна раскрыта, цель достигнута, делать больше нечего, и надо менять профессию. Но печаль минутна, потому что впереди слава, почет и уважение — звучат хоры, стоят шпалерами гимназистки в белых пелеринах, плачут старушки матери полярных исследователей, съеденных товарищами по экспедиции, исполняются национальные гимны, стреляют ракеты, и старый король прижимает исследователя к своим колючим орденам и звездам.

Минутная слабость прошла. Остап побросал пачки в мешочек, любезно предложенный Александром Ивановичем, взял его под мышку и откатил тяжелую дверь товарного вагона.

Праздник кончился. Ракеты золотыми удочками закидывались в небо, вылавливая оттуда красных и зеленых рыбок, холодный огонь брызгал в глаза, вертелись пиротехнические солнца, бураки подкидывали вверх винегрет из светящихся помидоров и желтых восклицательных знаков. За хижинкой телеграфа на деревянной сцене шел спектакль для кочевников. Некоторые из них сидели на скамьях, другие же смотрели на представление с высоты своих седел. Часто ржали лошади. Литерный поезд был освещен от хвоста до головы.

— Да! — воскликнул Остап. — Банкет в вагоне-ресторане! Я и забыл! Какая радость! Идемте, Корейко, я вас угощаю, я всех угощаю! Согласно законов гостеприимства! Коньяк с лимончиком, клецки из дичи, фрикандо с шампиньонами, старое венгерское, новое венгерское, шампанское вино!..

— Фрикандо, фрикандо, — сказал Корейко злобно, — а потом посадят. Я не хочу себя афишировать!

— Я обещаю вам райский ужин на белой скатерти, — настаивал Остап. — Идемте, идемте! И вообще бросьте отшельничество, спешите выпить вашу долю спиртных напитков, съесть ваши двадцать тысяч котлет. Не то налетят посторонние лица и сожрут вашу порцию. Я устрою вас в литературный поезд, там я свой человек, — и уже завтра мы будем в сравнительно культурном центре. А там с нашими миллионами... Александр Иванович!..

Великому комбинатору хотелось сейчас всех облагодетельствовать, хотелось, чтобы всем было весело. Темное лицо Корейко тяготило его. И он принялся убеждать Александра Ивановича. Он был согласен с тем, что афиши-

ровать себя не следует, но к чему морить себя голодом? Остап и сам толком не разбирал, зачем ему понадобился веселый табельщик, но, раз начав, он не мог уже остановиться. Под конец он стал даже угрожать:

— Будете вот сидеть на своем чемодане, а в один погожий денек явится к вам костлявая — и косою по шее. А? Представляете себе аттракцион? Спешите, Александр Иванович, котлеты еще на столе. Не будьте твердолобым.

После потери миллиона Корейко стал мягче и восприимчивей.

— Может, в самом деле проветриться? — сказал он неуверенно. — Прокатиться в центр? Но, конечно, без шика, без этого гусарства.

— Какое уж тут гусарство! Просто два врача-общественника едут в Москву, чтобы посетить Художественный театр и собственными глазами взглянуть на мумию в Музее изящных искусств. Берите чемодан.

Миллионеры пошли к поезду. Остап небрежно помахивал своим мешком, как кадиллом. Александр Иванович улыбался глупейшим образом. Литерные пассажиры прогуливались, стараясь держаться поближе к вагонам, потому что уже прицепляли паровоз. В темноте мерцали белые штаны корреспондентов.

В купе на верхней койке Остапа лежал под простыней незнакомый ему человек и читал газету.

— Ну, слезайте, — дружелюбно сказал Остап, — пришел хозяин.

— Это мое место, товарищ, — заметил незнакомец. — Я Лев Рубашкин.

— Знаете, Лев Рубашкин, не пробуждайте во мне зверя, уходите отсюда.

Великого комбинатора толкал на борьбу недоумевающий взгляд Александра Ивановича.

— Вот еще новости, — сказал корреспондент заносчиво. — Кто вы такой?

— Не ваше собачье дело! Говорят вам — слезайте, и слезайте!

— Всякий пьяный, — визгливо начал Рубашкин, — будет здесь хулиганничать...

Остап молча схватил корреспондента за голую ногу. На крики Рубашкина сбежался весь вагон. Корейко на всякий случай убрался на площадку.

— Деретесь? — спросил Ухудшанский. — Ну, ну.

Остапа, который уже успел хлопнуть Рубашкина мешком по голове, держали за руки Гаргантюа и толстый писатель в детской курточке.

— Пусть он покажет билет! — надрывался великий комбинатор. — Пусть покажет плацкарту!

Рубашкин, совершенно голый, прыгал с полки на полку и требовал коменданта. Оторвавшийся от действительности Остап тоже настаивал на вызове начальства. Скандал завершился большой неприятностью. Рубашкин предъявил и билет и плацкарту, после чего трагическим голосом потребовал того же от Бендера.

— А я не покажу из принципа! — заявил великий комбинатор, поспешно покидая место происшествия. — У меня такие принципы!

— Заяц! — завизжал Лев Рубашкин, выскочивший в коридор нагишом. — Обращаю ваше внимание, товарищ комендант, здесь ехал заяц!

— Где заяц? — провозгласил комендант, в глазах которого появился гончий блеск.

Александр Иванович, пугливо притаившийся за выступом трибуны, вглядывался в темноту, но ничего не мог различить. Возле поезда возились фигуры, прыгали папиросные огни и слышались голоса: «Потрудитесь предъявить!», «А я вам говорю, что из принципа!», «Хулиганство!», «Ведь верно? Ведь правильно?», «Должен же кто-нибудь ехать без билета?» Стукнули буферные тарелки, над самой землей, шипя, пробежал тормозной воздух, и светлые окна вагонов сдвинулись с места. Остап еще хорохорился, но мимо него уже ехали полосатые диваны, багажные сетки, проводники с фонарями, букеты и потолочные пропеллеры вагона-ресторана. Уезжал банкет с шампанским вином, со старым и новым венгерским. Из рук вырвались клецки из дичи и унеслись в ночь. Фрикандо, нежное фрикандо, о котором так горячо повествовал Остап, покинуло Гремящий Ключ. Александр Иванович приблизился.

— Я этого так не оставляю, — ворчал Остап, — бросили в пустыне корреспондента советской прессы. Я подыму на ноги всю общественность. Корейко! Мы выезжаем первым же курьерским поездом! Закупим все места в международном вагоне!

— Что вы, — сказал Корейко, — какой уж там курьерский! Отсюда никакие поезда не ходят. По плану эксплуатация начнется только через два месяца.

Остап поднял голову. Он увидел черное абиссинское небо, дикие звезды и все понял. Но робкое напоминание Корейко о банкете придало ему новые силы.

— За холмом стоит самолет, — сказал Бендер, — тот, который прилетел на торжество. Он уйдет только на рассвете. Мы успеем.

Для того чтобы успеть, миллионеры двинулись широким дромадерским шагом. Ноги их разъезжались в песке, горели костры кочевников, тащить чемодан и мешок было не то чтобы тяжело, но крайне противно. Покуда они карабкались на холм со стороны Гремящего Ключа, с противной стороны на холм в треске пропеллеров надвигался рассвет. Вниз с холма Бендер и Корейко уже бежали, боясь, что самолет улетит без них.

Под высокими, как крыша, рифлеными крыльями самолета ходили маленькие механики в кожаных пальто. Три пропеллера слабо вертелись, вентилируя пустыню. На квадратных окнах пассажирской кабины болтались занавески с плюшевыми шариками. Пилот прислонился спиной к алюминиевой ступеньке и ел пирожок, запивая его нарзаном из бутылки.

— Мы пассажиры, — крикнул Остап, задыхаясь, — два билета первого класса!

Ему никто не ответил. Пилот бросил бутылку и стал надевать перчатки с раструбами.

— Есть места? — повторил Остап, хватая пилота за руку.

— Пассажиров не принимаем, — сказал пилот, берясь за лестничный поручень. — Это — специальный рейс.

— Я покупаю самолет! — поспешно сказал великий комбинатор. — Заверните в бумажку.

— С дороги! — крикнул механик, подымаясь вслед за пилотом.

Пропеллеры исчезли в быстром вращении. Дрожая и переваливаясь, самолет стал разворачиваться против ветра. Воздушные вихри вытолкнули миллионеров назад, к холму. С Остапа слетела капитанская фуражка и покати-лась в сторону Индии с такой быстротой, что ее прибытия в Калькутту следовало бы ожидать не позже чем через три часа. Так бы она и вкатилась на главную улицу Калькутты, вызывая своим загадочным появлением внимание кругов, близких к Интеллидженс Сервис, если бы самолет не улетел и буря не улеглась. В воздухе самолет блеснул ребрами и сгинул в солнечном свете. Остап сбегал за фуражкой, которая повисла на кустике саксаула, и молвил:

— Транспорт отбился от рук. С железной дорогой мы поссорились. Воздушные пути сообщения для нас закрыты. Пешком? Четыреста километров. Это не воодушевляет. Остается одно — принять ислам и передвигаться на верблюдах.

Насчет ислама Корейко промолчал, но мысль о верблюдах ему понравилась. Заманчивый вид вагона-ресторана и самолета утвердил его в желании совершить развлекательную поездку врача-общественника, конечно, без гусарства, но и не без некоторой лихости.

Аулы, прибывшие на смычку, еще не снялись, и верблюдов удалось купить неподалеку от Гремящего Ключа. Корабли пустыни обошлись по сто семьдесят рублей за штуку.

— Как дешево! — шепнул Остап. — Давайте купим пятьдесят верблюдов. Или сто!

— Это гусарство, — хмуро сказал Александр Иванович. — Что с ними делать? Хватит и двух.

Казахи с криками усадили путешественников между горбами, помогли привязать чемодан, мешок и провизию на дорогу — бурдюк с кумысом и двух баранов. Верблюды поднялись сперва на задние ноги, отчего миллионеры низко поклонились, а потом на передние ноги и зашагали вдоль полотна Восточной Магистрала. Бараны, привязанные веревочками, трусили позади, время от времени катя шарики и бляя душераздирающим образом.

— Эй, шейх Корейко! — крикнул Остап. — Александр Ибн-Иванович! Прекрасна ли жизнь?

Шейх ничего не ответил. Ему попался ледащий верблюд¹, и он яростно лупил его по плешивому заду саксауловой палкой.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Багдад

Семь дней верблюды тащили через пустыню новоявленных шейхов. В начале путешествия Остап веселился от души. Все его потешало: и барахтающийся между верблюжьими кочками Александр-Ибн-Иванович, и ледащий корабль пустыни, старавшийся увернуться от своих обязанностей, и мешок с миллионом, ударами которого великий комбинатор иногда подбадривал непокорных баранов. Себя Остап называл полковником Лоуренсом.

— Я — эмир-динамит! — кричал он, покачиваясь на высоком хребте. — Если через два дня мы не получим приличной пищи, я взбунтую какие-либо племена. Честное слово! Назначу себя уполномоченным пророка и объявлю священную войну, джихад. Например, Дании. Зачем датчане замучили своего принца Гамлета? При современной политической обстановке даже Лига наций удовлетворится таким поводом к войне. Ей-богу, куплю у англичан на миллион винтовок, — они любят продавать огнестрельное оружие племенам, — и марш-марш в Данию. Германия пропустит — в счет репараций. Представляете себе вторжение племен в Копенгаген? Впереди всех я на белом верблюде. Ах! Паниковского нет! Ему бы датского гуся!..

Но через несколько дней, когда от баранов остались только веревочки, а кумыс был весь выпит, даже эмир-динамит погрузтел и только меланхолически бормотал:

— В песчаных степях аравийской земли три гордые пальмы зачем-то росли.

¹ Ледащий — плохой, негодный, дрянной, хилый.



Оба шейха сильно похудели, оборвались, поросли бородками и стали похожи на дервишей из небогатого прихода.

— Еще немного терпения, Ибн-Корейко, — и мы приедем в городок, не уступающий Багдаду. Плоские кровли, туземные оркестры, ресторанчики в восточном вкусе, сладкие вина, легендарные девицы и сорок тысяч вертелов с шашлыками карскими, турецкими, татарскими, месопотамскими и одесскими. И, наконец, железная дорога.

На восьмой день путники подъехали к древнему кладбищу. До самого горизонта окаменевшими волнами протянулись ряды полуциркульных гробниц. Покойников здесь не зарывали. Их клали на землю, обстраивая каменными колпаками. Над пепельным городом мертвых сверкало страшное солнце. Древний Восток лежал в своих горячих гробах.

Комбинаторы стегнули верблюдов и вскоре въехали в оазис. Далеко вокруг озаряли город зеленые факелы тополей, отражавшиеся в залитых водой квадратных рисовых полях. Одиноко стояли карагачи, точно воспроизводящие форму гигантского глобуса на деревянной ножке. Стали попадаться ослики, несшие на себе толстых седоков в халатах и вязанки клевера.

Корейко и Бендер ехали мимо лавочек, торгующих зеленым табаком в порошок и вонючим коническим мылом, похожим на головки шрапнелей. Ремесленники с белыми кисейными бородами возились над медными листами, свертывая их в тазы и узкогорлые кувшины. Сапожники сушили на солнце



маленькие кожи, выкрашенные чернилами. Темно-синие, желтые и голубые изразцы мечетей блестели жидким стеклянным светом.

Остаток дня и ночь миллионеры тяжело и бесчувственно проспали в гостинице, а утром выкупались в белых ваннах, побрились и вышли в город. Безоблачное настроение шейхов портило необходимость тащить с собою чемодан и мешок.

— Я считаю первейшей своей обязанностью, — сказал Бендер хвастливо, — познакомить вас с волшебным погребком. Он называется «Под луной». Я тут был лет пять тому назад, читал лекции о борьбе с абортами. Какой погребок! Полутьма, прохлада, хозяин из Тифлиса, местный оркестр, холодная водка, танцовщицы с бубнами и кимвалами. Закатимся туда на весь день. Могут же быть у врачей-общественников свои миниатюрные слабости? Я угощаю. Золотой теленок отвечает за все.

И великий комбинатор потрянул своим мешком. Однако погребка «Под луной» уже не было. К удивлению Остапа, не было даже той улицы, на которой звучали его бубны и кимвалы. Здесь шла прямая европейская улица, которая обстраивалась сразу во всю длину. Стояли заборы, висела алебастровая пыль, и грузовики раскаляли и без того горячий воздух. Посмотрев минутку на фасады из серого кирпича с длинными лежащими окнами, Остап толкнул Корейко и, промолвив: «Есть еще местечко, содержит один из Баку», повел его на другой конец города. Но на местечке не было уже стихотворной вывески, сочиненной лично духанщиком из Баку:

**УВАЖАЙ СЕБЯ,
УВАЖАЙ НАС,
УВАЖАЙ КAVKAZ,
ПОСЕТИ НАС.**

Вместо того глазам шейхов предстал картонный плакат с арабскими и русскими буквами:

ГОРОДСКОЙ МУЗЕЙ ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ

— Войдем, — печально сказал Остап, — там по крайней мере прохладно. И потом посещение музея входит в программу путешествующих врачей-общественников!

Они вступили в большую, выбеленную мелом комнату, опустили на пол свои миллионы и долго отирали горячие лбы руками. В музее было только восемь экспонатов: зуб мамонта, подаренный молодому музею городом Ташкентом, картина маслом «Стычка с басмачами», два эмирских халата, золотая рыбка в аквариуме, витрина с засушенной саранчой, фарфоровая статуэтка фабрики Кузнецова и, наконец, макет обелиска, который город собирался поставить на главной площади. Тут же, у подножия проекта, ле-

жал большой жестяной венок с лентами. Его привезла недавно специальная делегация из соседней республики, но, так как обелиска еще не было (ассигнованные на него средства ушли на постройку бани, которая оказалась гораздо нужнее), делегация, произнеся соответствующие речи, возложила венок на проект.

К посетителям тотчас же подошел юноша в ковровой бухарской тюрбетейке на бритой голове и, волнуясь, как автор, спросил:

— Ваши впечатления, товарищи?

— Ничего себе, — сказал Остап.

Молодой человек заведовал музеем и без промедления стал говорить о затруднениях, которые переживает его детище. Кредиты недостаточны. Ташкент отделался одним зубом, а своих ценностей, художественных и исторических, некому собирать. Не присылают специалиста.

— Мне бы триста рублей! — вскричал заведующий. — Я бы здесь Лувр сделал!

— Скажите, вы хорошо знаете город? — спросил Остап, мигнув Александру Ивановичу. — Не могли бы вы указать нам некоторые достопримечательности? Я знал ваш город, но он как-то переменялся.

Заведующий очень обрадовался. Крича, что все покажет лично, он запер музей на замок и повел миллионеров на ту же улицу, где они полчаса назад искали погребок «Под луной».

— Проспект имени Социализма! — сказал он, с удовольствием втягивая в себя алебастровую пыль. — Ах! Какой чудный воздух! Что здесь будет через год! Асфальт! Автобус! Институт по ирригации! Тропический институт! Ну, если Ташкент на этот раз не даст научных сил!.. Вы знаете, у них есть столько костей мамонта, а мне они прислали только один зуб, в то время как в нашей республике такая тяга к естествознанию.

— Вот как? — заметил Корейко, с укором глядя на Остапа.

— И вы знаете, — зашептал энтузиаст, — я подозреваю, что это не зуб мамонта. Они подсунули слоновый!

— А как у вас с такими... с кабачками в азиатском роде, знаете, с тимпанами и флейтами? — нетерпеливо спросил великий комбинатор.

— Изжили, — равнодушно ответил юноша, — давно уже надо было истребить эту заразу, рассадник эпидемий. Весною как раз последний вертеп придушили. Назывался «Под луной».

— Придушили? — ахнул Корейко.

— Честное слово! Но зато открыта фабрика-кухня. Европейский стол. Тарелки моются и сушатся при помощи электричества. Кривая желудочных заболеваний резко пошла вниз.

— Что делается! — воскликнул великий комбинатор, закрывая лицо руками.

— Вы еще ничего не видели, — сказал заведующий музеем, застенчиво смеясь. — Едем на фабрику-кухню обедать.

Они уселись в линейку под полотняным навесом с фестонами, обшитыми синей каймой, и поехали. По пути любезный проводник поминутно заставлял миллионеров высовываться из-под балдахина и показывал им здания, уже возведенные, здания возводящиеся и места, где они еще только будут возводиться. Корейко смотрел на Остапа злыми глазами. Остап отворачивался и говорил:

— Какой чудный туземный базарчик! Багдад!

— Семнадцатого числа начнем сносить, — сказал молодой человек, — здесь будет больница и коопцентр.

— И вам не жалко этой экзотики? Ведь Багдад!

— Очень красиво! — вздохнул Корейко.

Молодой человек рассердился:

— Это для вас красиво, для приезжих, а нам тут жить приходится.

В большом зале фабрики-кухни среди кафельных стен под ленточными мухоморами, свисавшими с потолка, путешественники ели перловый суп и маленькие коричневые биточки. Остап осведомился насчет вина, но получил восторженный ответ, что недавно недалеко от города открыт источник минеральной воды, превосходящей своими вкусовыми данными прославленный нарзан. В доказательство была потребована бутылка новой воды и распита при гробовом молчании.

— А как кривая проституции? — с надеждой спросил Александр Ибн-Иванович.

— Резко пошла на снижение, — ответил неумолимый молодой человек.

— Ай, что делается! — сказал Остап с фальшивым смехом.

Но он действительно не знал, что делается. Когда встали из-за стола, выяснилось, что молодой человек успел заплатить за всех. Он ни за что не соглашался взять деньги у миллионеров, уверяя, что послезавтра все равно получит жалованье, а до этого времени как-нибудь обернется.

— Ну, а веселье? Как город веселится? — уже без экстаза спрашивал Остап. — Тимпаны, кимвалы?

— Разве вы не знаете! — удивился заведующий музеем. — На прошлой неделе у нас открылась городская филармония. Большой симфонический квартет имени Бебеля и Паганини. Едем сейчас же. Как это я упустил из виду!

После того, что он заплатил за обед, отказаться от посещения филармонии было невозможно из этических соображений. Выйдя оттуда, Александр Ибн-Иванович сказал дворницким голосом:

— Городская фисгармония!

Великий комбинатор покраснел.

По дороге в гостиницу молодой человек неожиданно остановил возницу, высадил миллионеров, взял их за руки и, подымаясь от распиравшего его восторга на цыпочки, подвел к маленькому камню, отгороженному решеточкой.

— Здесь будет стоять обелиск! — сказал он значительно. — Колонна марксизма!

Прощаясь, молодой человек просил приезжать почаще. Добродушный Остап пообещал обязательно приехать, потому что никогда не проводил такого радостного дня, как сегодня.

— Я — на вокзал, — сказал Корейко, оставшись наедине с Бендером.

— Поедем в другой город кутить? — спросил Остап. — В Ташкенте можно весело провести дня три.

— С меня хватит, — ответил Александр Иванович, — я поеду на вокзал сдавать чемодан на хранение, буду здесь служить где-нибудь в конторщиках. Подожду капитализма. Тогда и повеселюсь.

— Ну и ждите, — сказал Остап довольно грубо, — а я поеду. Сегодняшний день — это досадное недоразумение, перегибы на местах. Золотой теленок в нашей стране еще имеет кое-какую власть!

На вокзальной площади они увидели толпу литерных корреспондентов, которые после смычки совершали экскурсионную поездку по Средней Азии. Они окружали Ухудшанского. Владелец торжественного комплекта самодовольно поворачивался во все стороны, показывая свои приобретения. На нем была бархатная шапка, отороченная шакальим хвостом, и халат, скроенный из ватного одеяла.

Предсказания плюшевого пророка продолжали исполняться.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

Врата великих возможностей

В тот печальный и светлый осенний день, когда в московских скверах садовники срезают цветы и раздают их детям, главный сын лейтенанта Шмидта Шура Балаганов спал на скамье в пассажирском зале Рязанского вокзала. Он лежал, положив голову на деревянный бортик. Мятая кепка была надвинута на нос. По всему было видно, что бортмеханик «Антилопы» и уполномоченный по копытам несчастлив и нищ. К его небритой щеке прилипла раздробленная яичная скорлупа. Парусиновые туфли потеряли форму и цвет и напоминали скорее молдавanske постолы¹. Ласточки летали под высоким потолком двухсветного зала².

За большими невымытыми окнами виднелись блокировка, семафоры и прочие предметы, нужные в железнодорожном хозяйстве. Побежали носильщики, и вскоре через зал потянулось население прибывшего поезда. Последним с перрона вошел пассажир в чистой одежде. Под расстегнутым легким ма-

¹ *Постолы* — примитивная обувь из одного или нескольких кусков кожи, стянутая на щиколотке ремнем.

² Зал с двумя рядами окон, расположенных один над другим.

кинтошем виднелся костюм в мельчайшую kaleйдоскопическую клетку. Брюки спускались водопадом на лаковые туфли. Заграничный вид пассажира дополняла мягкая шляпа, чуть скошенная на лоб. Услугами носильщика он не воспользовался и нес чемодан сам. Пассажир лениво шел по опустевшему залу и, несомненно, очутился бы в вестибюле, если б внезапно не заметил плачевной фигуры Балаганова. Он сощурился, подошел поближе и некоторое время разглядывал спящего. Потом осторожно, двумя пальцами в перчатке приподнял кепку с лица бортмеханика и улыбнулся.

— Вставайте, граф, вас зовут из подземелья! — сказал он, расталкивая Балаганова.

Шура сел, потер лицо рукою и только тогда признал пассажира.

— Командор! — закричал он.

— Нет, нет, — заметил Бендер, защищаясь ладонью, — не обнимайте меня. Я теперь гордый.

Балаганов завертелся вокруг командора. Он не узнавал его. Переменился не только костюм. Остап похудел, в глазах появилась рассеянность, лицо было покрыто колониальным загаром.

— Забурел, забурел! — радостно вскрикнул Балаганов. — Вот забурел!

— Да, я забурел, — сообщил Бендер с достоинством. — Посмотрите на брюки. Европа — «А»! А это видели? Безымянный палец моей левой руки унизан бриллиантовым перстнем. Четыре карата. Ну, каковы ваши достижения? Все еще в сыновьях?

— Да так, — замялся Шура, — больше по мелочам.

В буфете Остап потребовал белого вина и бисквитов для себя и пива с бутербродами для бортмеханика.

— Скажите, Шура, честно, сколько вам нужно денег для счастья? — спросил Остап. — Только подсчитайте все.

— Сто рублей, — ответил Балаганов, с сожалением отрываясь от хлеба с колбасой.

— Да нет, вы меня не поняли. Не на сегодняшний день, а вообще. Для счастья. Ясно? Чтобы вам было хорошо на свете.

Балаганов долго думал, несмело улыбаясь, и наконец объявил, что для полного счастья ему нужно шесть тысяч четыреста рублей и что с этой суммой ему будет на свете очень хорошо.

— Ладно, — сказал Остап, получите пятьдесят тысяч.

Он расстегнул на коленях квадратный саквояж и сунул Балаганову пять белых пачек, перевязанных шпагатом. У бортмеханика сразу же пропал аппетит. Он перестал есть, запрятал деньги в карманы и уже не вынимал оттуда рук.

— Неужели тарелочка? — спрашивал он восхищенно.

— Да, да, тарелочка, — ответил Остап равнодушно. — С голубой кае-



мкой. Подзащитный принес в зубах. Долго махал хвостом, прежде чем я согласился взять. Теперь я команду парадом! Чувствую себя отлично.

Последние слова он произнес нетвердо.

Парад, надо сказать правду, не ладился, и великий комбинатор лгал, утверждая, что чувствует себя отлично. Справедливее было бы сказать, что он ощущает некую неловкость, в чем, однако, не хочет сознаться даже самому себе.

С тех пор как он расстался с Александром Ивановичем у камеры хранения ручного багажа, куда подпольный миллионер сдал свой чемоданишко, прошел месяц.

В первом же городе, в который Остап въехал с чувствами завоевателя, он не смог достать номера в гостинице.

— Я заплачу сколько угодно! — высокомерно сказал великий комбинатор.

— Ничего не выйдет, гражданин, — отвечал портье, — конгресс почвоведов приехал в полном составе осматривать опытную станцию. Забронировано за представителями науки.

И вежливое лицо портье выразило почтение перед конгрессом. Остапу захотелось закричать, что он главный, что его нужно уважать и почитать, что у него в мешке миллион, но он почел за благо воздержаться и вышел на улицу в крайнем раздражении.

Весь день он ездил по городу на извозчике. В лучшем ресторане он полтора часа томился в ожидании, покуда почвоведы, обедавшие всем конгрессом, не встанут из-за стола. В театре в этот день давался спектакль для почвоведов, и билеты вольным гражданам не продавались. К тому же Остапа не пустили бы в зрительный зал с мешком в руках, а девать его было некуда. Чтобы не ночевать в интересах науки на улице, миллионер в тот же вечер уехал, отоспавшись в международном вагоне.

Утром Бендер сошел в большом волжском городе. С деревьев, вертясь винтом, слетали желтые прозрачные листья. Волга дышала ветром. Номеров не было ни в одной гостинице.

— Разве что через месяц, — с сомнением говорили отельные заведующие с бородками, и без бородок, и усатые, и просто бритые, — покуда на электроцентрали не смонтируют третий агрегат, и не надейтесь. Все под специалистов отдано. И потом — окружной съезд комсомола. Ничего не можем поделать.

Пока великий комбинатор торчал у высоких конторок портье, по гостиничным лестницам торопились инженеры, техники, иностранные специалисты и комсомольцы — делегаты съезда.

И снова Остап провел день на извозчике, с нетерпением дожидаясь курьерского поезда, где можно умыться, отдохнуть и почитать газетку.

Великий комбинатор провел пятнадцать ночей в разных поездках, переезжая из города в город, потому что номеров нигде не было. В одном месте воздвигали домну, в другом — холодильник, в третьем — цинковый завод. Все было переполнено деловыми людьми. В четвертом месте Остапу поперек дороги стал пионерский слет, и в номере, где миллионер мог бы нескучно провести вечер с подружкой, галдели дети. В дороге он обжился, завел чемодан для миллиона, дорожные вещи и экипировался. Уже Остап замышлял долгое и покойное путешествие во Владивосток, рассчитав, что поездка в оба конца займет три недели, когда вдруг почувствовал, что если сейчас же не осядет на землю, то умрет от какой-нибудь загадочной железнодорожной болезни. И он сделал то, что делывал всегда, когда был счастливым обладателем пустых карманов. Он стал выдавать себя за другого, телеграфуя вперед, что едет инженер, или врач-общественник, или тенор, или писатель. К его удивлению, для всех людей, приезжавших по делу, номера находились, и Остап немножко отошел после поездной качки. Один раз для получения номера ему пришлось даже выдать себя за сына лейтенанта Шмидта. После этого эпизода великий комбинатор предался невеселым размышлениям.

«И это путь миллионера! — думал он с огорчением. — Где уважение? Где почет? Где слава? Где власть?»

Даже Европа — «А», которой Остап хвастался перед Балагановым — костюм, туфли и шляпа, — были куплены в комиссионном магазине и при всей своей превосходной доброте имели изъян — это были вещи не свои, не родные, с чужого плеча. Их уже кто-то носил, может быть, час, минуту, но все-таки таскал кто-то чужой. Обидно было и то, что правительство не обращает никакого внимания на бедственное положение миллионеров и распределяет жизненные блага в плановом порядке. И вообще было плохо. Начальник станции не брал под козырек, что в былые времена проделывал перед любимой купчиной с капиталишкой в пятьдесят тысяч, отцы города не приезжали в гостиницу представляться, пресса не торопилась брать интервью и вместо фотографий миллионеров печатала портреты каких-то ударников, зарабатывающих сто двадцать рублей в месяц.

Остап каждый день считал свой миллион, и все был миллион без какой-то мелочи. Он прилагал все усилия, обедал несколько раз в день, пил коллекционные вина, раздавал непомерные чаевые, купил перстень, японскую вазу и шубу на хорьках. Шубу и вазу пришлось подарить номерному, потому что Остап не любил возиться в дороге с громоздкими вещами. Кроме того, в случае надобности он мог закупить еще множество шуб и ваз. За месяц, однако, истрачено было только шесть тысяч.

Нет! Парад решительно не удавался, хотя все было на месте. Вовремя были высланы линейные, к указанному сроку прибыли части, играл оркестр.

Но полки смотрели не на него, не ему кричали «ура», не для него махал руками капельмейстер. Однако Остап не сдавался. Он крепко надеялся на Москву.

— А как Рио-де-Жанейро, — возбужденно спросил Балаганов. — По-едем?

— Ну его к черту! — с неожиданной злостью сказал Остап. — Все это выдумка, нет никакого Рио-де-Жанейро, и Америки нет, и Европы нет, ничего нет. И вообще последний город — это Шепетовка, о которую разбиваются волны Атлантического океана.

— Ну и дела! — вздохнул Балаганов.

— Мне один доктор все объяснил, — продолжал Остап, — за граница — это миф о загробной жизни. Кто туда попадает, тот не возвращается.

— Прямо цирк! — воскликнул Шура, ничего не поняв. — Ух, как я теперь заживу! Бедный Паниковский! Он, конечно, нарушил конвенцию, но бог с ним! Вот радовался бы старик!

— Предлагаю почтить память покойного вставанием, — сказал Бендер.

Молочные братья поднялись и минуту простояли молча, глядя вниз на переломленные бисквиты и недоеденный бутерброд.

Тягостное молчание прервал Балаганов.

— Знаете, что с Козлевичем? — сказал он. — Прямо цирк! Он все-таки собрал «Антилопу» и работает в Черноморске. Письмо прислал. Вот... Бортмеханик вынул из кепки письмо.

«Здравствуйте, Шура, — писал водитель „Антилопы“, — как живете? Все ли вы еще сын л. Ш.? Мне живется хорошо, только нету денег, а машина после ремонта что-то капризничает и работает только один час в день. Все время ее чиню, прямо сил никаких нет. Пассажиры обижаются. Может, вы, дорогой Шура, пришлете мне маслопроводный шланг, хоть не новый. Здесь на базаре положительно нельзя достать. Поищите на Смоленском рынке, там, где продают старые замки и ключи. А если вам плохо, то приезжайте, как-нибудь перебьемся. Я стою на углу улицы Меринга, на бирже. Где теперь О. Б.? Ваш с уважением Адам Козлевич. Забыл написать. Ко мне на биржу приходили ксендзы, Кушаковский и Морошек. Был скандал. А. К.».

— Побегу теперь искать шланг, — озабоченно сказал Балаганов.

— Не надо, — ответил Остап, — я ему новую машину куплю. Едем в гранд-отель, я забронировал номер по телеграфу для дирижера симфонического оркестра. А вас надо приодеть, умыть, дать вам капитальный ремонт. Перед вами, Шура, открываются врата великих возможностей.

Они вышли на Каланчевскую площадь. Такси не было. На извозчике Остап ехать отказался.

— Это карета прошлого, — сказал он брезгливо, — в ней далеко не уедешь. Кроме того, там, в подкладке, живут маленькие мыши.

Пришлось сесть в трамвай. Вагон был переполнен. Это был один из тех зараженных ссорою вагонов, которые часто циркулируют по столице. Склоку в них начинает какая-нибудь мстительная старушка в утренние часы предслужебной давки. Постепенно в ссору втягиваются все пассажиры вагона, даже те, которые попали туда через полчаса после начала инцидента. Уже злая старушка давно сошла, утеряна уже и причина спора, а крики и взаимные оскорбления продолжаются, и в перебранку вступают все новые кадры пассажиров. И в таком вагоне до поздней ночи не затихает ругань.

Волнующиеся пассажиры быстро оттеснили Балаганова от Остапа, и вскоре молочные братья болтались в разных концах вагона, стиснутые грудями и корзинами. Остап висел на ремне, с трудом выдирая чемодан, который все время уносило течением.

Внезапно, покрывая обычную трамвайную брань, со стороны, где колыбался Балаганов, послышался женский вой:

— Украла!!! Держите! Да вот же он стоит!



Все повернули головы. К месту происшествия, задыхаясь от любопытства, стали пробиваться любители. Остап увидел ошеломленное лицо Балаганова. Бортмеханик еще и сам не понимал, что случилось, а его уже держали за руку, в которой крепко была зажата грошовая дамская сумочка с мелкой бронзовой цепочкой.

— Бандит! — кричала женщина. — Только отвернулась, а он...

Обладатель пятидесяти тысяч украл сумочку, в которой были черепаховая пудреница, профсоюзная книжка и 1 р. 70 к. денег. Вагон остановился. Любители потащили Балаганова к выходу. Проходя мимо Остапа, Шура горестно шептал:

— Что ж это такое? Ведь я машинально.

— Я тебе покажу машинально! — сказал любитель в пенсне и с портфелем, с удовольствием ударяя бортмеханика по шее.

В окно Остап увидел, как к группе скорым шагом подошел милиционер и повел преступника по мостовой.

Великий комбинатор отвернулся.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Индийский гость

В четырехугольном замкнутом дворе гранд-отеля слышались кухонные стуки, шипение пара и крики: «Два чайных комплекта в шестнадцатый», а в белых коридорах было ясно и тихо, как в распределительном зале электростанции. В ста пятидесяти номерах спал конгресс почвоведов, вернувшись из поездки, тридцать номеров было отведено под делегации зарубежных коммерсантов, которые выясняли наболевший вопрос, можно ли в конце концов прибыльно торговать с Советским Союзом, лучший апартамент из четырех комнат занимал знаменитый индусский поэт и философ, а в маленьком номере, отведенном дирижеру симфонического оркестра, спал Остап Бендер.

Он лежал на плюшевом одеяле, одетый, прижимая к груди чемодан с миллионом. За ночь великий комбинатор вдохнул в себя весь кислород, содержащийся в комнате, и оставшиеся в ней химические элементы можно было назвать азотом только из вежливости. Пахло скисшим вином, адскими котлетами и еще чем-то непередаваемо гадким. Остап застонал и повернулся. Чемодан свалился на пол. Остап быстро открыл глаза.

— Что ж это было? — пробормотал он, гримасничая. — Гусарство в ресторанным зале! И даже, кажется, какое-то кавалергардство! Фу! Держал себя как купец второй гильдии! Боже мой, не обидел ли я присутствующих? Там какой-то дурак кричал: «Почвоведы, встаньте!», а потом плакал и клялся, что в душе он сам почвовед. Конечно, это был я! Да, но по какому это поводу?..

И он вспомнил, что вчера, решив начать подобающую жизнь, он поставил выстроить себе особняк в мавританском стиле. Утро он провел в грандиозных мечтах. Он представлял себе дом с минаретами, швейцара с лицом памятника, малую гостиную, бильярдную и какой-то конференц-зал. В земельном отделе Совета великому комбинатору разъяснили, что участок получить можно. Но уже в строительной конторе все рухнуло. Упал швейцар, гремя каменной мордой, зашатался золотой конференц-зал и развалились минареты.

— Вы частное лицо? — спросили миллионера в конторе.

— Да, — ответил Остап, — резко выраженная индивидуальность.

— К сожалению, строим только для коллективов и организаций.

— Кооперативных, общественных и хозяйственных? — спросил Бендер с горечью.

— Да, для них.

— А я?

— А вы стройте сами.

— Да, но где же я возьму камни, шпингалеты? Наконец, плитусы?

— Добудьте как-нибудь. Хотя это трудно. Контингенты уже распределены по заявкам промышленности и кооперации.

По всей вероятности, это и было причиной безобразного ночного гусарства.

Остап лежа вынул записную книжечку и стал подсчитывать расходы со времени получения миллиона. На первой страничке была памятная запись:

Верблюд.....	180 р.
Баран.....	30 р.
Кумыс.....	1 р. 75 к.
<hr/>	
Итого.....	211 р. 75 к.

Дальнейшее было не лучше. Шуба, соус, железнодорожный билет, опять соус, опять билет, три чалмы, купленные на черный день, извозчики, ваза и всякая чепуха. Если не считать пятидесяти тысяч Балаганова, которые не принесли ему счастья, миллион был на месте.

— Не дают делать капитальных вложений! — возмущался Остап. — Не дают! Может, зажить интеллектуальной жизнью, как мой друг Лоханкин? В конце концов материальные ценности я уже накопил, надо прикапывать помаленьку ценности духовные. Надо немедленно выяснить, в чем заключается смысл жизни.

Он вспомнил, что в гостиничном вестибюле весь день толкуются девушки, стремящиеся поговорить с приезжим индусским философом о душе.

— Пойду к индусу, — решил он, — узнаю наконец, в чем дело. Это, правда, пижонство, но другого выхода нет.

Не разлучаясь с чемоданом, Бендер, как был, в смятом костюме, спустился в бельэтаж и постучал в дверь комнаты великого человека. Ему открыл переводчик.

— Философ принимает? — спросил Остап.

— Это смотря кого, — ответил переводчик вежливо. — Вы частное лицо?

— Нет, нет, — испуганно сказал великий комбинатор, — я от одной кооперативной организации.

— Вы с группой? Вас сколько человек? А то, знаете, учителю трудно принимать всех отдельных лиц. Он предпочитает беседовать...

— С коллективом? — подхватил Остап. — Меня как раз коллектив уполномочил разрешить один важный принципиальный вопрос насчет смысла жизни.

Переводчик ушел и через пять минут вернулся. Он отдернул портьеру и пышно сказал:

— Пусть войдет кооперативная организация, желающая узнать, в чем смысл жизни.

На кресле с высокой и неудобной резной спинкой сидел великий философ и поэт в коричневой бархатной рясе и в таком же колпаке. Лицо у него было смуглое и нежное, а глаза черные, как у подпоручика. Борода, белая и широкая, словно фрачная манишка, закрывала грудь. Стенографистка сидела у его ног. Два переводчика, индус и англичанин, разместились по бокам.

При виде Остапа с чемоданом философ заерзал на кресле и что-то встревоженно зашептал переводчику. Стенографистка стала спешно записывать, а переводчик обратился к великому комбинатору:

— Учитель желает узнать, не содержатся ли в чемодане пришельца песни и саги и не собирается ли пришелец прочесть их вслух, так как учителю прочли уже много песен и саг и он больше не может их слушать.

— Скажите учителю, что саг нету, — почтительно ответил Остап.

Черноглазый старец еще больше обеспокоился и, оживленно говоря, стал со страхом показывать на чемодан пальцем.

— Учитель спрашивает, — начал переводчик, — не собирается ли пришелец поселиться у него в номере, потому что к нему на прием еще никогда не приходили с чемоданом.

И только после того, как Остап успокоил переводчика, а переводчик философа, напряжение прошло и началась беседа.

— Прежде чем ответить на ваш вопрос о смысле жизни, — сказал переводчик, — учитель желает сказать несколько слов о народном образовании в Индии.



— Передайте учителю, — сообщил Остап, — что проблема народного образования волнует меня с детства.

Философ закрыл глаза и принялся неторопливо говорить. Первый час он говорил по-английски, а второй час по-бенгальски. Иногда он начинал петь тихим приятным голосом, а один раз даже встал и, приподняв рясу, сделал несколько танцевальных движений, изображавших, как видно, игры школьников в Пенджабе. Затем он сел и снова закрыл глаза, а Остап долго слушал перевод. Сперва Остап вежливо кивал головой, потом сонно смотрел в окно и, наконец, начал развлекаться — перебирал в кармане мелочь, любовался перстнем и даже довольно явственно подмигнул хорошенькой стенографистке, после чего она еще быстрее зачиркала карандашом.

— А как все-таки будет со смыслом жизни? — спросил миллионер, улучив минуту.

— Учитель желает прежде, — объяснил переводчик, — познакомить пришельца с обширными материалами, которые он собрал при ознакомлении с постановкой дела народного образования в СССР.

— Передайте его благородию, — ответил Остап, — что пришелец не возражает.

И машина снова пришла в движение. Учитель говорил, пел пионерские песни, показывал стенгазету, которую ему поднесли дети 146-й трудовой школы, и один раз даже всплакнул. Переводчики бубнили в два голоса, стенографистка писала, а Остап рассеянно чистил ногти.

Наконец Остап громко закашлял.

— Знаете, — сказал он, — переводить больше не нужно. Я стал как-то понимать по-бенгальски. Вот когда будет насчет смысла жизни, тогда и переведите.

Когда философу подтвердили настойчивое желание Остапа, черноглазый старец заволновался.

— Учитель говорит, — заявил переводчик, — что он сам приехал в вашу великую страну, чтобы узнать, в чем смысл жизни. Только там, где народное образование поставлено на такую высоту, как у вас, жизнь становится осмысленной. Коллектив...

— До свиданья, — быстро сказал великий комбинатор, — передайте учителю, что пришелец просит разрешения немедленно уйти.

Но философ уже пел нежным голосом марш Буденного, которому он выучился у советских детей. И Остап удалился без разрешения.

— Кришна! — кричал великий комбинатор, бегая по своему номеру. — Вишну! Что делается на свете? Где сермяжная правда? А может быть, я дурак и ничего не понимаю, и жизнь прошла глупо, бессистемно? Настоящий индус, видите ли, все знает про нашу обширную страну, а я, как оперный ин-

дейский гость, долблю все одно и то же: «Не счесть алмазов пламенных в лабазах каменных». До чего же гадко!

В этот день Остап обедал без водки и в первый раз оставил чемодан в номере. Потом он смиренно сидел на подоконнике, с интересом рассматривая обыкновенных прохожих, которые прыгали в автобус, как белки.

Ночью великий комбинатор вдруг проснулся и сел на кровати. Было тихо, и только из ресторана через замочную скважину пробирался меланхолический бостон.

— Как же я забыл! — сказал он сердито.

Потом он засмеялся, зажег свет и быстро написал телеграмму: «Черноморск. Зосе Синицкой. Связи ошибкой жизни готов лететь Черноморск крыльях любви, молнируйте ответ Москва Грандотель Бендер».

Он позвонил и потребовал, чтобы телеграмма была отправлена немедленно молнией.

Зося не ответила. Не было ответа и на другие телеграммы, составленные в том же отчаянном и лирическом роде.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Дружба с юностью

Поезд шел в Черноморск.

Первый пассажир снял пиджак, повесил его на медную завитушку багажника, потом стащил ботинки, поочередно поднося толстые ножки почти к самому лицу, и надел туфли с языками.

— Слышали вы историю про одного воронежского землемера, который оказался родственником японского микадо? — спросил он, заранее улыбаясь.

Второй и третий пассажиры придвинулись поближе. Четвертый пассажир уже лежал на верхнем диване, под колючим малиновым одеялом, недовольно глядя в иллюстрированный журнал.

— Неужели не слышали? Одно время об этом много говорили. Это был обыкновенный землемер: жена, одна комната, сто двадцать рублей жалованья. Фамилия Бигусов. Обыкновенный, ну, совершенно не замечательный человек, даже, если хотите знать, между нами говоря, хам. Приходит он однажды со службы, а у него в комнате сидит японец, в таком, между нами говоря, отличном костюме, в очках и, если хотите знать, в ботинках из змеиной кожи, последняя новость. «Ваша фамилия — Бигусов?» — спрашивает японец. «Да», — говорит Бигусов. «А имя-отчество?» — «Такое-то», — отвечает. «Правильно, — говорит японец, — в таком случае не будете ли вы любезны снять толстовку, — мне нужно осмотреть ваше голое туловище». — «Пожалуйста», — говорит. Ну, между нами говоря, если хотите знать, японец туловище даже не рассматривал, а сразу кинулся к родимому пятну. Было у Бигу-

сова такое пятно, на боку. Посмотрел на него японец через увеличительное стекло, побледнел и говорит: «Поздравляю вас, гражданин Бигусов, и позвольте вам вручить посылку и пакет». Жена, конечно, открыла посылку. А там, если хотите знать, лежит в стружках японский обоюдоострый меч. «Почему же мне меч?» — спросил землемер. «А вы, — говорит, — прочтите письмо. Там все написано. Вы самурай». Тут Бигусов тоже побледнел. Воронеж, если хотите знать, не особенно большой центр. Между нами говоря, какое там может быть отношение к самураям? Самое отрицательное. Ну, делать нечего. Бигусов берется за письмо, вскрывает четырнадцать восковых печатей и читает его. Что же вы думаете? Оказалось, что ровно тридцать шесть лет тому назад проезжал через Воронежскую губернию один японский полупринц-инкогнито. Ну, конечно, между нами говоря, спутался его высочество с одной воронежской девушкой, прижил ребенка инкогнито. И даже хотел жениться, только микадо запретил шифрованной телеграммой. Полупринцу пришлось уехать, а ребенок остался незаконный. Это и был Бигусов. И вот по прошествии стольких лет полупринц стал умирать, а тут, как назло, законных детей нету, некому передать наследство, и к тому же угасает знаменитый род, что для японца хуже всего. Ну, пришлось вспомнить про Бигусова. Вот привалило человеку счастье! Сейчас, говорят, он уже в Японии. Старик умер. А Бигусов теперь принц, родственник микадо и к тому же еще, между нами говоря, получил наличными миллион иен. Миллион! Такому дураку!

— Дали бы мне миллион рублей! — сказал второй пассажир, суча ногами. — Я бы им показал, что делать с миллионом!

В полете между верхними диванами появилась голова четвертого пассажира. Он внимательно поглядел на человека, точно знавшего, что можно сделать с миллионом, и, ничего не сказавши, снова закрылся журналом.

— Да, — сказал третий пассажир, распечатывая железнодорожный пакетик с двумя индивидуальными сухарями, — бывают различные факты в области денежного обращения. У одной московской девицы в Варшаве умер дядя и оставил ей миллионное наследство, а она даже не знала. Но там, за границей, пронюхали, и уже через месяц в Москве появился довольно приличный иностранец. Этот голубчик решил жениться на девушке, пока она не проведала про наследство. А у нее в Москве был жених, тоже довольно красивый молодой человек из Палаты мер и весов. Она его очень любила и, естественно, не хотела выходить замуж за другого. А тот, иностранец, прямо с ума сходил, посылал ей букеты, конфеты и фильдеперсовы чулки. Оказывается, иностранный голубчик приехал не сам от себя, а от акционерного общества, которое образовалось специально для эксплуатации дядиного наследства. У них даже был основной капитал в восемнадцать тысяч золотых. Этот их уполномоченный должен был во что бы то ни стало жениться на девушке и вывезти ее за границу! Очень романтическая история! Представляете себе положение уполномоченного! Такая

ответственность! Ведь он взял аванс и не может его оправдать из-за этого советского жениха. А там, в Варшаве, кошмар! Акционеры ждут волнуются, акции падают. В общем, все кончилось крахом. Девушка вышла замуж за своего, советского. Так она ничего и не узнала.

— Вот дура! — сказал второй пассажир. — Дали бы мне этот миллион!

И в ажитации он даже вырвал из рук соседа сухарик и нервно съел его.

Обитатель верхнего дивана придиричиво закашлял. Видимо, разговоры мешали ему заснуть.

Внизу стали говорить тише. Теперь пассажиры сидели тесно, голова к голове, и, задыхаясь, шептали:

— Недавно Международное общество Красного Креста давало объявление в газетах о том, что разыскиваются наследники американского солдата Гарри Ковальчука, погибшего в 1918 году на войне. Наследство — миллион! То есть было меньше миллиона, но выросли проценты... И вот в глухой деревушке на Вольни...

На верхнем диване металось малиновое одеяло. Бендеру было скверно. Ему надоели вагоны, верхние и нижние диваны, весь трясущийся мир путешествий. Он легко дал бы полмиллиона, чтобы заснуть, но шепот внизу не прекращался:

— ...Понимаете, в один жакт явилась старушка и говорит: я, говорит, у себя в подвале нашла горшочек, не знаю, что в горшочке, уж будьте добры, посмотрите сами. Посмотрело правление жакта в этот горшок, а там золотые индийские рупии, миллион рупий...

— Вот дура! Нашла кому рассказывать!.. Дали бы мне этот миллион, уж я бы...

— Между нами говоря, если хотите знать, — деньги — это все.

— А в одной пещере под Можайском...

Сверху послышался стон, звучный полновесный стон гибнущего индивидуума.

Рассказчики на миг смутились, но очарованье неожиданных богатств, льющихся из карманов японских принцев, варшавских родственников или американских солдат, было так велико, что они снова стали хватать друг друга за коленки, бормоча:

— И вот когда вскрыли мощи, там, между нами говоря, нашли на миллион...

Утром, еще затопленный сном, Остап услышал звук отстегиваемой шторы и голос:

— Миллион! Понимаете, целый миллион...

Это было слишком. Великий комбинатор гневно заглянул вниз. Но вчерашних пассажиров уже не было. Они сошли на рассвете в Харькове, оставив после себя смятые постели, просаленный листок арифметической бума-

ги, котлетные и хлебные крошки, а также веревочку. Стоящий у окна новый пассажир равнодушно посмотрел на Остапа и продолжал, обращаясь к двум своим спутникам:

— Миллион тонн чугуна. К концу года. Комиссия нашла, что объединение может это дать. И что самое смешное, Харьков утвердил!

Остап не нашел в этом заявлении ничего смешного. Однако новые пассажиры разом принялись хохотать. При этом на всех троих заскрипели резиновые пальто, которых они еще не успели снять.

— Как же Бубешко, Иван Николаевич? — спросил самый молодой из пассажиров с азартом. — Наверное, землю носом роет?

— Уж не роет. Оказался в дурацком положении. Но что было! Сначала он полез в драку... вы знаете Иван Николаевич, — характер... 825 тысяч тонн и ни на одну тонну больше. Тут началось серьезное дело. Преуменьшение возможностей... Факт! Равнение на узкие места — факт? Надо было человеку сразу же полностью сознаться в своей ошибке. Так нет! Амбиция! Подумаешь, — благородное дворянство. Сознаться — и все. А он начал по частям. Решил авторитет сохранить. И вот началась музыка, Достоевщина: «С одной стороны, признаю, но, с другой стороны, подчеркиваю». А что там подчеркивать, что за бесхребетное влияние! Пришлось нашему Бубешко писать второе письмо.

Пассажиры снова засмеялись.

— Но и там он о своем оппортунизме не сказал ни слова. И пошел писать. Каждый день письмо. Хотят для него специальный отдел завести: «Поправки и отмежевки». И ведь сам знает, что зашил, хочет выкарабкаться, но такое сам нагромоздил, что не может. И последний раз до того дошел, что даже написал: «Так, мол, и так... ошибку признаю, а настоящее письмо считаю недостаточным».

Остап уже давно пошел умыться, а новые пассажиры все еще досмеивались. Когда он вернулся, купе было подметено, диваны опущены, и проводник удалялся, прижимая подбородком охапку простынь и одеял. Молодые люди, не боявшиеся сквозняков, открыли окно, и в купе, словно морская волна, запертая в ящик, прыгал и валялся осенний ветер.

Остап забросил на сетку чемодан с миллионом и уселся внизу, дружелюбно поглядывая на новых соседей, которые как-то особенно рьяно вживались в быт международного вагона, — часто смотрелись в дверное зеркало, подпрыгивали на диване, испытывая упругость его пружин и федерканта¹, одобряли качество красной полированной обшивки и нажимали кнопки. Время от времени один из них исчезал на несколько минут и по возвращении шептался с товарищами. Наконец в дверях появилась девушка в бобриковом мужском

¹ Федеркант (нем.) — «передний край»; более плотная набивка наиболее изнашивающейся передней части дивана и дополнительная шнуровка переднего ряда пружин.

пальто и гимнастических туфлях, с тесемками, обвивавшимися вокруг щиколоток на древнегреческий манер.

— Товарищи! — сказала она решительно. — Это свинство. Мы тоже хотим ехать в роскоши. На первой же станции мы должны обменяться.

Попугчики Бендера угрожающе загалдели.

— Нечего, нечего. Все имеют такие же права, как и вы, — продолжала девушка. — Мы уже бросили жребий. Вышло Тарасову, Паровицкому и мне. Выметайтесь в третий класс.

Из возникшего шума Остап понял, что в поезде с летней заводской практики возвращалась в Черноморск большая группа студентов политехникума. В жестком вагоне на всех не хватило мест, и три билета пришлось купить в международный с раскладкой разницы на всю компанию.

В результате девушка осталась в купе, а трое первенцев удалились с запоздалым достоинством. На их места тотчас же явились Тарасов и Паровицкий. Не медля, они принялись подпрыгивать на диванах и нажимать кнопки. Девушка хлопотливо прыгала вместе с ними; не прошло и получаса, как в купе ввалилась первая тройка. Ее пригнала назад тоска по утраченному великолепию. За нею с конфузливymi улыбками показались еще двое, а потом еще один, усатый. Усатому была очередь ехать в роскоши только на второй день, и он не мог вытерпеть. Его появление вызвало особенно возбужденные крики, на которые не замедлил появиться проводник.

— Что же это, граждане, — сказал он казенным голосом, — целая шайка-лейка собралась. Уходите, которые из жесткого вагона. А то пойду к главному.

Шайка-лейка оторопела.

— Это гости, — сказала девушка запечалившись, — они пришли только посидеть.

— В правилах воспрещается, — заявил проводник, — уходите.

Усатый попятился к выходу, но тут в конфликт вмешался великий комбинатор.

— Что же это вы, папаша, — сказал он проводнику, — пассажиров не надо линчевать без особой необходимости. Зачем так точно придерживаться буквы закона? Надо быть гостеприимным. Знаете, как на Востоке! Пойдемте, я вам сейчас все растолкую.

Поговорив с Остапом в коридоре, проводник настолько проникся духом Востока, что, не помышляя уже об изгнании шайки-лейки, принес ей девять стаканов чая в тяжелых подстаканниках и весь запас индивидуальных сухарей. Он даже не взял денег.

— По восточному обычаю, — сказал Остап обществу, — согласно законов гостеприимства, как говорил некий работник кулинарного сектора.

Услуга была оказана с такой легкостью и простотой, что ее нельзя было не принять. Трещали разрывающиеся сухарные пакетики, Остап по-хозяйски раздавал чай и вскоре подружился со всеми восемью студентами и одной студенткой.

— Меня давно интересовала проблема всеобщего, равного и тайного обучения, — болтал он радостно, — недавно я даже беседовал по этому поводу с индусским философом-любителем. Человек крайней учености. Поэтому, что бы он ни сказал, его слова сейчас же записываются на граммофонную пластинку. А так как старик любит поговорить — есть за ним такой грешок, — то пластинок скопилось восемьсот вагонов, и теперь из них уже делают пуговицы.

Начав с этой вольной импровизации, великий комбинатор взял в руки сухарик.

— Этому сухарю, — сказал он, — один шаг до точильного камня. И этот шаг уже сделан.

Дружба, подогреваемая шутками подобного рода, развивалась очень быстро, и вскоре вся шайка-лейка под управлением Остапа уже распевала ча-стушку:

У Петра Великого
Ближих нету никого,
Только лошадь и змея, —
Вот и вся его семья.

К вечеру Остап знал всех по имени и с некоторыми был уже на ты. Но многого из того, что говорили молодые люди, он не понимал. Вдруг он показался себе ужасно старым. Перед ним сидела юность, немножко грубая, прямолинейная, какая-то обидно нехитрая. Он был другим в свои двадцать лет. Он признался себе, что в свои двадцать лет он был гораздо разностороннее и хуже. Он тогда не смеялся, а только посмеивался. А эти смеялись вовсю.

«Чему так радуется эта толстомордая юность? — подумал он с внезапным раздражением. — Честное слово, я начинаю завидовать».

Хотя Остап был, несомненно, центром внимания всего купе и речь его лилась без запинки, хотя окружающие и относились к нему наилучшим образом, но не было здесь ни балагановского обожания, ни трусливого подчинения Паниковского, ни преданной любви Козлевича. В студентах чувствовалось превосходство зрителя перед конференсье. Зритель слушает гражданина во фраке, иногда смеется, лениво аплодирует ему, но в конце концов уходит домой, и нет ему больше никакого дела до конференсье. А конференсье после спектакля приходит в артистический клуб, грустно сидит над котлетой и жалуется собрату по Рабису — опереточному комику, что публика его не понимает, а

правительство не ценит. Комик пьет водку и тоже жалуется, что его не понимают. А чего там не понимать? Остроты стары, и приемы стары, а переучиваться поздно. Все, кажется, ясно.

История с Бубешко, преуменьшившим планы, была рассказана вторично, на этот раз специально для Остапа. Он ходил со своими новыми друзьями в жесткий вагон убеждать студентку Лиду Писаревскую прийти к ним в гости и при этом так красноречиво, что застенчивая Лида пришла и приняла участие в общем гаме. Внезапное доверие разрослось до того, что к вечеру, прогуливаясь по перрону большой узловой станции с девушкой в мужском пальто, великий комбинатор подвел ее почти к самому выходному semaфору и здесь, неожиданно для себя, излил ей свою душу в довольно пошлых выражениях.

— Понимаете, — втолковывал он, — светила луна, королева ландшафта. Мы сидели на ступеньках музея древностей, и вот я почувствовал, что я ее люблю. Но мне пришлось в этот же вечер уехать, так что дело расстроилось. Она, кажется, обиделась. Даже на верное обиделась.

— Вас послали в командировку? — спросила девушка.

— М-да. Как бы командировка. То есть не совсем командировка, но срочное дело. Теперь я страдаю. Величественно и глупо страдаю.

— Это не страшно, — сказала девушка, — переключите избыток своей энергии на выполнение какого-нибудь тру-





— Служишь в банке?

Остап внезапно сатирически посмотрел на студента и внезапно сказал:

— Нет, не службу. Я миллионер.

Конечно, это заявление ни к чему не обязывало Остапа и все можно было бы обратить в шутку, но Паровицкий засмеялся с такой надсадой, что великому комбинатору стало обидно. Его охватило желание поразить спутников, вызвать у них еще большее восхищение.

— Сколько же у вас миллионов? — спросила девушка в гимнастических туфлях, подбивая его на веселый ответ.

— Один, — сказал Остап, бледный от гордости.

— Что-то мало, — заявил усатый.

дового процесса. Пилите дрова, например. Теперь есть такое течение.

Остап пообещал переключиться и, хотя не представлял себе, как он заменит Зосю пилкой дров, все же почувствовал большое облегчение. Они вернулись в вагон с таинственным видом и потом несколько раз выходили в коридор пошептаться о неразделенной любви и о новых течениях в этой области.

В купе Остап по-прежнему выбивался из сил, чтобы понравиться компании. И он достиг того, что студенты стали считать его своим. А грубиян Паровицкий изо всей силы ударил Остапа по плечу и воскликнул:

— Поступай к нам в политехнику. Ей-богу! Получишь стипендию 75 рублей. Будешь жить, как бог. У нас — столовая, каждый день мясо. Потом на Урал поедem на практику.

— Я уже окончил один гуманитарный вуз, — торопливо молвил великий комбинатор.

— А что ты теперь делаешь? — спросил Паровицкий.

— Да так, по финансовой линии.

— Мало, мало, — закричали все.

— Мне достаточно, — сказал Бендер торжественно.

С этими словами он взял свой чемодан, щелкнул никелированными застежками и высыпал на диван все его содержимое. Бумажные плитки легли расплывающейся горкой. Остап перегнул одну из них, и обертка лопнула с картонным треском.

— В каждой пачке по десять тысяч. Вам мало? Миллион без какой-то мелочи. Все на месте. Подписи, паркетная сетка и водяные знаки.

При общем молчании Остап сгреб деньги обратно в чемодан и забросил его на багажник жестом, который показался Остапу царственным. Он снова сел на диван, отвалился на спинку, широко расставил ноги и посмотрел на шайку-лейку.

— Как видите, гуманитарные науки тоже приносят плоды, — сказал миллионер, приглашая студентов повеселиться вместе с ним.

Студенты молчали, разглядывая различные кнопки и крючки на орнаментированных стенках купе.

— Живу, как бог, — продолжал Остап, — или как полубог, что, в конце концов, одно и то же.

Немного подождав, великий комбинатор беспокойно задвигался и воскликнул в самом дружеском тоне:

— Что ж вы, черти, приуныли?

— Ну, я пошел, — сказал усатый, подумав, — пойду к себе, посмотрю, как и чего.

И он выскочил из купе.

— Удивительная вещь, замечательная вещь, — заметил Остап, — еще сегодня утром мы не были даже знакомы, а сейчас чувствуем себя так, будто знаем друг друга десять лет. Что это, флюиды действуют?



— Сколько мы должны за чай? — спросил Паровицкий. — Сколько мы выпили, товарищи? Девять стаканов или десять? Надо узнать у проводника. Сейчас я приду.

За ним снялись еще четыре человека, увлекаемые желанием помочь Паровицкому в его расчетах с проводником.

— Может, споем что-нибудь? — предложил Остап. — Что-нибудь железное. Например, «Сергей поп, Сергей поп!» Хотите? У меня дивный волжский бас.

И, не дожидаясь ответа, великий комбинатор поспешно запел: «Вдоль да по речке, вдоль да по Казанке сизый селезень плывет». Когда пришло время подхватить припев, Остап по-капельмейстерски взмахнул руками и топнул ногой, но грозного хорового крика не последовало. Одна лишь Лида Писаревская по застенчивости пискнула: «Сергей поп, Сергей поп!», но тут же осеклась и выбежала.

Дружба гибла на глазах. Скоро в купе осталась только добрая и отзывчивая девушка в гимнастических туфлях.

— Куда это все убежали? — спросил Бендер.

— В самом деле, — прошептала девушка, — надо узнать.

Она проворно бросилась к двери, но несчастный миллионер схватил ее за руку.

— Я пошутил, — забормотал он, — я трудящийся. Я дирижер симфонического оркестра!.. Я сын лейтенанта Шмидта!.. Мой папа турецко-подданный. Верьте мне!..

— Пустите! — зашептала девушка.

Великий комбинатор остался один.

Купе тряслось и скрипело. Ложечки поворачивались в пустых стаканах, и все чайное стадо потихоньку сползло на край столика. В дверях показался проводник, прижимая подбородком стопку одеял и простынь.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ

Его любили домашние хозяйки, домашние работницы, вдовы и даже одна женщина — зубной техник

В Черноморске гремели крыши и по улицам гуляли сквозняки. Силою неожиданно напавшего на город северо-восточного ветра нежное бабье лето было загнано к мусорным ящикам, желобам и выступам домов. Там оно помиралось среди обугленных кленовых листьев и разорванных трамвайных билетов. Холодные хризантемы тонули в мисках цветочниц. Хлопали зеленые ставни закрытых квасных будок. Голуби говорили «умру, умру». Воробьи согревались, клюя горячий навоз. Черноморцы брели против ве-

тра, опустив головы, как быки. Хуже всех пришлось пикейным жилетам. Ветер срывал с них канотье и панамские шляпы и катил их по паркетной мостовой вниз, к бульвару. Старики бежали за ними, задыхаясь и негодуя. Тротуарные вихри мчали самих преследователей так сильно, что они иной раз перегоняли свои головные уборы и приходили в себя только приткнувшись к мокрым ногам бронзовой фигуры екатерининского вельможи, стоявшего посреди площади.

«Антилопа» на своей стоянке издавала корабельные скрипы. Если раньше машина Козлевича вызывала веселое недоумение, то сейчас она внушала жалость: левое заднее крыло было подвязано канатом, порядочная часть ветрового стекла была заменена фанерой, и вместо утерянной при катастрофе резиновой груши с «Матчишем» висел на веревочке никелированный председательский колокольчик. Даже рулевое колесо, на котором покоились честные руки Адама Казимировича, несколько свернулось в сторону. На тротуаре, рядом с «Антилопой», стоял великий комбинатор. Облокотившись о борт машины, он говорил:

— Я обманул вас, Адам. Я не могу подарить вам ни «Изотта Фраскини», ни «линкольна», ни «бьюика», ни даже «форда». Я не могу купить новой машины. Государство не считает меня покупателем. Я частное лицо. Единственно, что можно было бы приобрести по объявлению в газете, — это такую же рухлядь, как наша «Антилопа».

— Почему же, — возразил Козлевич, — мой «Лорен-Дитрих» — добрая машина. Вот если бы еще подержанный маслопроводный шланг, не нужно мне тогда никаких бьюиков.

— Шланг я вам привез, — сказал Остап, — вот он. И это единственное, дорогой Адам, чем я могу помочь вам по части механизации транспорта.

Козлевич очень обрадовался шлангу, долго вертел его в руках и тут же стал прилаживать. Остап толкнул колокольчик, который издал заседательский звон, и горячо начал:

— Вы знаете, Адам, новость: на каждого гражданина давит столб воздуха силою в 214 кило!

— Нет, — сказал Козлевич, — а что?

— Как что! Это научно-медицинский факт. И мне это стало с недавнего времени тяжело. Вы только подумайте! 214 кило! Давят круглые сутки, в особенности по ночам. Я плохо сплю. Что?

— Ничего, я слушаю, — ласково ответил Козлевич.

— Мне очень плохо, Адам. У меня слишком большое сердце.

Водитель «Антилопы» хмыкнул, Остап продолжал болтать:

— Вчера на улице ко мне подошла старуха и предложила купить вечную иглу для примуса. Вы знаете, Адам, я не купил. Мне не нужна вечная игла, я не хочу жить вечно. Я хочу умереть. У меня налицо все пошлые признаки

влюбленности: отсутствие аппетита, бессонница и маниакальное стремление сочинять стихи. Слушайте, что я накропал вчера ночью при колеблющемся свете электрической лампы: «Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты, как мимолетное виденье, как гений чистой красоты». Правда, хорошо? Талантливо? И только на рассвете, когда дописаны были последние строки, я вспомнил, что этот стих уже написал А. Пушкин. Такой удар со стороны классика! А?

— Нет, нет, продолжайте, — сказал Козлевич сочувственно.

— Так вот и живу, — продолжал Остап с дрожью в голосе. — Тело мое прописано в гостинице «Каир», а душа манкирует, ей даже в Рио-де-Жанейро не хочется. А тут еще атмосферный столб душит.

— А вы у нее были? — спросил прямолинейный Козлевич. — У Зоси Викторовны?

— Не пойду, — сказал Остап, — по причине гордой застенчивости. Во мне проснулись янычары. Я этой негодяйке послал из Москвы на триста пятьдесят рублей телеграмм и не получил ответа даже на полтинник. Это я-то, которого любили домашние хозяйки, домашние работницы, вдовы и даже одна женщина — зубной техник. Нет, Адам, я туда не пойду. До свидания!

Великий комбинатор отправился в гостиницу, выгнул из-под кровати чемодан с миллионом, который валялся рядом со стоптанными башмаками. Некоторое время он смотрел на него довольно тупо, потом взял его за ручку и выбрался на улицу. Ветер схватил Остапа за плечи и потащил к Приморскому бульвару. Здесь было пустынно, никто не сидел на белых скамейках, изрезанных за лето любовными надписями. На внешний рейд, огибая маяк, выходил низкий грузовик с толстыми прямыми мачтами.

— Довольно, — сказал Остап, — золотой теленок не про меня. Пусть берет кто хочет. Пусть миллионерствует на просторе!

Он оглянулся и, видя, что вокруг никого нет, бросил чемодан на траву.

— Пожалуйста, — промолвил он, обращаясь к черным кленам, и шаркался.

Он пошел по аллее не оглядываясь. Сначала он шел медленно, шагом гуляющего, потом заложил руки в карманы, потому что они вдруг стали ему мешать, и усилил ход, чтобы победить колебания. Он заставил себя повернуть за угол и даже запеть песенку, но уже через минуту побежал назад. Чемодан лежал на прежнем месте. Однако с противоположной стороны к нему, нагибаясь и вытягивая руки, подходил гражданин средних лет и весьма обыкновенной наружности.

— Ты куда?! — закричал Остап еще издали. — Я тебе покажу хватать чужие чемоданы! На секунду оставить нельзя! Безобразие!

Гражданин недовольно пожал плечами и отступил. А Бендер снова потащился с золотым теленком в руках.

«Что ж теперь делать? — размышлял он. — Как распорядиться проклятым кушем, который обогащает меня только моральными муками? Сжечь его, что ли?»

На этой мысли великий комбинатор остановился с удовольствием.

«Как раз в моем номере есть камин. Сжечь его в камине! Это величественно! Поступок Клеопатры! В огонь! Пачка за пачкой! Чего мне с ними возиться? Хотя нет, глупо. Жечь деньги — пижонство! Гусарство! А что я могу на них сделать, кроме нэпманского жранья? Дурацкое положение! Музейный заведующий собирается за триста рублей Лувр учинить, любой коллектив каких-нибудь водников или кооперативная корпорация драмписателей за миллион может выстроить полун небоскреб с плоской крышей для лекций на свежем воздухе. А Остап Бендер, потомок янычаров, ни черта не может сделать! Вот навалился класс-гегемон на миллионера-одиночку!»

Размышляя о том, как поступить с миллионом, великий комбинатор бегал по аллеям, садился на цементный парапет и сердито смотрел на качающийся за волнорезом пароход.

«Нет, от пожара придется отказаться. Жечь деньги — трусливо и не грациозно. Нужно придумать какой-нибудь эффектный жест. Основать разве стипендию имени Балаганова для учащихся заочного радиотехникума? Купить пятьдесят тысяч серебряных ложек, отлить из них конную статую Паниковского и установить на могиле? Инкрустировать „Антилопу“ перламутром? А может быть...»

Великий комбинатор соскочил с парапета, озаренный новой мыслью. Не медля ни минуты, он покинул бульвар и, стойко выдерживая натиск фронтальных и боковых ветров, пошел на почтамт.

Там по его просьбе чемодан зашили в рогожку и накрест перевязали бечевой. Получилась простецкая с виду посылка, какие почтамт принимает ежедневно тысячами и в каких граждане отправляют своим родственникам свиное сало, варенье или яблоки.

Остап взял химический карандаш и, возбужденно махнув им в воздухе, написал:

ЦЕННАЯ

НАРОДНОМУ КОМИССАРУ
ФИНАНСОВ.
МОСКВА.

И посылка, брошенная рукой дюжего почтовика, рухнула на груды овальных тючков, торбочек и ящичков. Засовывая в карман квитанцию, Остап увидел, что его миллион вместе с прочим грузом уже увозит на тележке в соседний зал ленивый старичок с белыми молниями в петлицах.

— Заседание продолжается, — сказал великий комбинатор, — на этот раз без участия депутата сумасшедших аграриев О. Бендера.

Он долго еще стоял под аркой почтамта, то одобряя свой поступок, то сожалея о нем. Ветер забрался под макинтош Остапа. Ему стало холодно, и он с огорчением вспомнил, что так и не купил второй шубы.

Прямо перед ним на секунду остановилась девушка. Задрав голову, она посмотрела на блестящий циферблат почтамтских часов и пошла дальше. На ней было шершавое пальтецо короче платья и синий берет с детским помпоном. Правой рукой она придерживала сдуваемую ветром полу пальто. Сердце командора качнулось еще прежде, чем он узнал Зося, и он зашагал за ней по мокрым тротуарным плитам, невольно держась на некоторой дистанции. Иногда девушку заслоняли прохожие, и тогда Остап сходил на мостовую, глядяваясь в Зося сбоку и обдумывая тезисы предстоящего объяснения.

На углу Зося остановилась перед галантерейным киоском и стала осматривать коричневые мужские носки, качавшиеся на веревочке. Остап принялся патрулировать неподалеку.

У самой обочины тротуара жарко разговаривали два человека с портфелями. Оба были в демисезонных пальто, из-под которых виднелись белые летние брюки.

— Вы вовремя ушли из «Геркулеса», Иван Павлович, — говорил один, прижимая к груди портфель, — там сейчас разгром, чистят, как звери.

— Весь город говорит, — вздохнул другой.

— Вчера чистили Скумбриевича, — сладострастно сказал первый, — пробиться нельзя было. Сначала все шло очень культурно. Скумбриевич так рассказал свою биографию, что ему все аплодировали. Я, говорит, родился между молотом и наковальней. Этим он хотел подчеркнуть, что его родители были кузнецы. А потом из публики кто-то спросил: «Скажите, вы не помните, был такой торговый дом „Скумбриевич и сын. Скобяные товары“? Вы не тот Скумбриевич?» И тут этот дурак возьми и скажи: «Я не Скумбриевич, я сын». Представляете, что теперь с ним будет? Первая категория обеспечена.

— Да, товарищ Вайнторг, такие строгости. А сегодня кого чистят?

— Сегодня большой день! Сегодня Берлага, тот самый, который спасался в сумасшедшем доме. Потом сам Польшаев и эта гадюка Серна Михайловна, его морганатическая жена. Она в «Геркулесе» никому дышать не давала. Приду сегодня часа за два до начала, а то не протолкаешься. Кроме того, Бомзе...

Зося пошла вперед, и Остап так и не узнал, что случилось с Адольфом Николаевичем Бомзе. Это, однако, нисколько его не взволновало. Начальная фраза разговора была уже готова. Командор быстро нагнал девушку.

— Зося, — сказал он, — я приехал, и отмахнуться от этого факта невозможно.

Фраза эта была произнесена с ужасающей развязностью. Девушка отшатнулась, и великий комбинатор понял, что взял фальшивый тон. Он переменил интонацию, он говорил быстро и много, жаловался на обстоятельства, сказал о том, что молодость прошла совсем не так, как вообразалось в младенческие годы, что жизнь оказалась грубой и низкой, словно басовый ключ.

— Вы знаете, Зося, — сказал он наконец, — на каждого человека, даже партийного, давит атмосферный столб весом в 214 кило. Вы этого не замечали?

Зося не ответила.

В это время они проходили мимо кино «Капиталий». Остап быстро посмотрел наискось, в сторону, где летом помещалась учрежденная им контрора, и издал тихий возглас. Через все здание тянулась широкая вывеска:

ГОСОБЪЕДИНЕНИЕ РОГА И КОПЫТА

Во всех окнах были видны пишущие машинки и портреты государственных деятелей. У входа с победной улыбкой стоял молодец-курьер, не чета Паниковскому. В открытые ворота с дощечкой «Базисный склад» въезжали трехтонные грузовики, нагруженные доверху кондиционными рогами и копытами. По всему было видно, что детище Остапа свернуло на правильный путь.

— Вот навалился класс-гегемон, — сказал Остап печально, — даже мою легкомысленную идею и ту использовал для своих целей. А меня оттерли, Зося. Слышите, меня оттерли. Я несчастен.

— Печальный влюбленный, — произнесла Зося, впервые поворачиваясь к Остапу.

— Да, — ответил Остап, — я типичный Евгений Онегин, он же рыцарь, лишенный наследства советской властью.

— Ну, какой там рыцарь!

— Не сердитесь, Зося. Примите во внимание атмосферный столб. Мне кажется даже, что он давит на меня значительно сильнее, чем на других граждан. Это от любви к вам. И, кроме того, я не член профсоюза. От этого тоже.

— Кроме того, еще потому, что вы врете больше других граждан.

— Это не ложь. Это закон физики. А может быть, действительно никакого столба нет и это одна моя фантазия?

Зося остановилась и стала стягивать с руки перчатку серо-чулочного цвета.

— Мне тридцать три года, — поспешно сказал Остап, — возраст Иисуса Христа. А что я сделал до сих пор? Учения я не создал, учеников разбазарил, мертвого Паниковского не воскресил, и только вы...

— Ну, до свиданья, — сказала Зося, — мне в столовку.

— Я тоже буду обедать, — заявил великий комбинатор, взглянув на вывеску: «Учебно-показательный пищевой комбинат ФЗУ при Черноморской Государственной академии пространственных искусств», — съем какие-нибудь дежурно-показательные щи при этой академии. Может быть, полегчает.

— Здесь только для членов профсоюза, — предупредила Зося.

— Тогда я так посижу.

Они спустились вниз по трем ступенькам. В глубине учебно-показательного комбината под зеленой кровлей пальмы сидел черноглазый молодой человек и с достоинством смотрел в обеденную карточку.

— Перикл! — еще издали закричала Зося. — Я тебе купила носки с двойной пяткой. Познакомьтесь. Это Фемиди.

— Фемиди, — сказал молодой человек, сердечно пожимая руку Остапа.

— Бендер-Задунайский, — грубо ответил великий комбинатор, сразу сообразив, что опоздал на праздник любви и что носки с двойной пяткой — это не просто продукция какой-то кооперативной артели лжеинвалидов, а некий символ счастливого брака, узаконенного загсом.

— Как! Разве вы еще и Задунайский? — весело спросила Зося.

— Да, Задунайский. Ведь вы тоже уже не только Синицкая? Судя по носкам...

— Я — Синицкая-Фемиди.

— Уже двадцать семь дней, — заметил молодой человек, потирая руки.

— Мне нравится ваш муж, — сказал рыцарь, лишенный наследства.

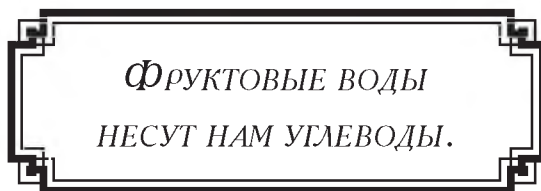
— Мне самой нравится, — ответила Зося запальчиво.

Пока молодые супруги ели флотский борщ, высоко подымая ложки и переглядываясь, Остап недовольно косился на культплакаты, развешанные по стенам. На одном было написано:

*Не отвлекайся
во время еды разговорами.
Это мешает правильному
выделению желудочного сока.*



Другой был составлен в стихах:



Делать больше было нечего. Надо было уходить, но мешала неизвестно откуда подоспевшая застенчивость.

— В этом флотском борще, — с натугой сказал Остап, — плавают обломки кораблекрушения.

Супруги Фемиди добродушно засмеялись.

— А вы, собственно, по какой линии работаете? — спросил молодого человека Остап.

— А я, собственно, секретарь изоколлектива железнодорожных художников, — ответил Фемиди.

Великий комбинатор стал медленно подниматься.

— Ах, представитель коллектива! Этого можно было ожидать! Однако не буду отвлекать вас разговорами. Это помешает вам правильно выделять желудочный сок, столь необходимый для здоровья.

Он ушел, не попрощавшись, срезая углы столиков, двигаясь к выходу по прямой.

— Увели девушку! — пробормотал он на улице. — Прямо из стойла увели. Фемиди! Немезиди! Представитель коллектива Фемиди увел у одиночника-миллионера...

И тут с потрясающей ясностью и чистотой Бендер вспомнил, что никакого миллиона у него не имеется. Додумывал он эту мысль уже на бегу, разгребая руками прохожих, как пловец воду в состязании на побитие мирового рекорда.

— Тоже, апостол Павел нашелся, — шептал он, перепрыгивая через клумбы городского сада. — Бессребреник, с-сукин сын! Менонит проклятый, адвентист седьмого дня! Дурак! Если они уже отправили посылку — повешусь! Убивать надо таких толстовцев!

Поскользнувшись два раза на кафельном полу почтамта, великий комбинатор подбежал к окошечку. Здесь стояла небольшая, суровая и молчаливая очередь. Остап сгоряча просунул было в окошечко голову, но гражданин, стоявший в очереди первым, нервно поднял острые локти и несколько потеснил пришельца назад. Второй гражданин, как заводной, тоже поднял локти, и великий комбинатор оказался еще немного дальше от заветного окошка. И в полном молчании локти поднимались и раздвигались до тех пор, покуда дерзкий не очутился на законном месте — в самом хвосте.

— Мне только... — начал Остап. Но он не продолжал. Это было бесполезно. Очередь, серая, каменная, была несокрушима, как греческая фаланга. Каждый знал свое место и готов был умереть за свои маленькие права.

Только через сорок пять минут Остап вложил голову в почтовое окошко и азартно потребовал обратно свою посылку. Служащий равнодушно возвратил квитанцию Остапу.

— Товарищ, мы посылку обратно не выдаем.

— Как! Уже отправили? — спросил великий комбинатор колеблющимся голосом. — Я только час тому назад сдал!

— Товарищ, мы посылку обратно не выдаем, — повторил почтовый работник.

— Но ведь это моя посылка, — сказал Остап ласково, — понимаете, моя. Я ее отправил, я ее хочу взять назад. Понимаете, забыл вложить банку варенья. Из райских яблочек. Очень вас прошу. Дядя страшно обидится. Понимаете...

— Товарищ, мы обратно посылку не выдаем.

Остап оглянулся, ища помощи. Сзади стояла очередь, молчаливая и суровая, знающая все правила, в том числе и то, что посылки обратно не выдаются.

— Вложить баночку, — пролепетал Остап, — райские яблочки.

— Товарищ, баночку отправьте отдельной посылкой, сказал служащий, смягчаясь. — Ничего вашему дяде не сделается.

— Вы не знаете моего дяди! — горячо сказал Остап. — И потом я бедный студент, у меня нет денег. Прошу вас как общественника.

— Вот видите, товарищ, — сказал служащий плачущим голосом, — где ее теперя искать! Там три тонны посылки лежит.

Но тут великий комбинатор принялся молотить такую жалостливую чепуху, что работник связи ушел в другой зал искать посылку бедного студента. Молчаливая доселе очередь сразу подняла крик. Великого комбинатора всячески поносили за незнание почтовых законов, а одна гражданка в гневе даже ущипнула его.

— Больше никогда этого не делайте, — строго сказал почтовик, выкидывая Бендеру его чемоданчик.

— Никогда не сделаю! — заявил командор. — Честное студенческое слово!

От ветра стучали крыши, качались фонари, тени двигались по земле, и дождь пересекал проекционные лучи автомобильных прожекторов.

— Довольно психологических эксцессов, — радостно сказал Бендер, — довольно переживаний и самокопания. Пора начать трудовую буржуазную

жизнь. В Рио-де-Жанейро! Куплю плантацию и выпишу в качестве обезьяны Балаганова. Пусть срывает для меня бананы!

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Кавалер ордена Золотого Руна

Странный человек шел ночью в приднестровских плавнях. Он был огромен и бесформенно толст. На нем плотно сидел брезентовый балахон с поднятым капюшоном. Мимо камышовых делянок, под раскоряченными фруктовыми деревьями странный человек двигался на цыпочках, как в спальне. Иногда он останавливался и вздыхал. Тогда внутри балахона слышалось бряканье, какое издают сталкивающиеся друг с другом металлические предметы. И каждый раз после этого в воздухе повисал тонкий, чрезвычайно деликатный звон. Один раз странный человек зацепился за мокрый корень и упал на живот. Тут раздался такой громкий звук, будто свалился на паркет рыцарский доспех. И долго еще странный человек не вставал с земли, всматриваясь в темноту.

Шумела мартовская ночь. С деревьев сыпались и шлепались оземь полновесные аптекарские капли.

— Проклятое блюдо! — прошептал человек.

Он поднялся и до самого Днестра дошел без приключений. Человек приподнял полы, сполз с берега и, теряя равновесие на раскисшем льду, побежал в Румынию.

Великий комбинатор готовился всю зиму. Он покупал североамериканские доллары с портретами президентов в белых буклях, золотые часы и портсигары, обручальные кольца, бриллианты и другие драгоценные штуки.

Сейчас он нес на себе семнадцать массивных портсигаров с монограммами, орлом и гравированными надписями:

«Директору Русско-Карпатского банка и благодетелю Евсею Рудольфовичу Полуфабриканту в день его серебряной свадьбы от признательных сослуживцев».

«Тайному советнику М. И. Святотацкому по окончании сенаторской ревизии от чинов Черноморского градоначальства».

Но тяжелее всех был портсигар с посвящением: *«Г-ну приставу Алексеевского участка от благодарных евреев купеческого звания».* Под надписью помещалось пылающее эмалевое сердце, пробитое стрелой, что, конечно, должно было символизировать любовь евреев купеческого звания к господину приставу.

По карманам были рассованы бубличные связки обручальных колец, перстней и браслетов. На спине в три ряда висели на крепких веревочках двадцать пар золотых часов. Некоторые из них раздражающе тикали, и Бендеру казалось, что у него по спине ползают насекомые. Среди них были и

дарственные экземпляры, о чем свидетельствовала надпись на крышке: «Любимому сыну Серезеньке Кастраки в день сдачи экзаменов на аттестат зрелости». Над словом «зрелости» булавкой было выцарапано слово «половой». Сделано это было, по-видимому, приятелями молодого Кастраки, такими же двоечниками, как и он сам. Остап долго не хотел покупать эти неприличные часы, но в конце концов приобрел, так как твердо решил вложить в драгоценности весь миллион.

Вообще зима прошла в больших трудах. Бриллиантов великий комбинатор достал только на четыреста тысяч; валюты, в том числе каких-то сомнительных польских и балканских денег, удалось достать только на пятьдесят тысяч. На остальную сумму пришлось закупить тяжестей. Особенно трудно было передвигаться с золотым блюдом на животе. Блюдо было большое и овальное, как щит африканского вождя, и весило двадцать фунтов. Мощная выя командора сгибалась под тяжестью архиерейского наперсного креста с надписью «*Во имя отца и сына и св. духа*», который был приобретен у бывшего иподиакона кафедрального собора гражданина Самообложенского. Поверх креста на замечательной ленте висел орден Золотого Руна — литой барашек.

Орден этот Остап выторговал у диковинного старика, который, может быть, был даже великим князем, а может, и камердинером великого князя. Старик непомерно дорожился, указывая на то, что такой орден есть только у нескольких человек в мире, да и то большей частью коронованных особ.

— Золотое Руно, — бормотал старик, — дается за высшую доблесть!

— А у меня как раз высшая, — отвечал Остап, — к тому же я покупаю барашка лишь постольку, поскольку это золотой лом.

Но командор кривил душой. Орден ему сразу понравился, и он решил оставить его у себя навсегда в качестве ордена Золотого Теленка.

Подгоняемый страхом и ожиданием гремящего винтовочного выстрела, Бендер добежал до середины реки и остановился. Давило золото — блюдо, крест, браслеты. Спина чесалась под развешанными на ней часами. Полы балахона намокли и весили несколько пудов. Остап со стоном сорвал балахон, бросил его на лед и устремился дальше. Теперь обнаружилась шуба, великая, почти необыкновенная шуба, едва ли не самое ценное в туалете Остапа. Он строил ее четыре месяца, строил, как дом, изготавливал чертежи, свозил материалы. Шуба была двойная — подбита уникальными чернобурыми лисами, а крыта неподдельным котиком. Воротник был шит из соболей. Удивительная это была шуба! Супершуба с шиншиловыми карманами, которые были набиты медалями за спасение утопающих, нательными крестиками и золотыми мостами, последним достижением зубоврачебной техники. На голове великого комбинатора возвышалась шапка. Не шапка, а бобровая тиара.

Весь этот чудесный груз должен был обеспечить командору легкую, безалаберную жизнь на берегу теплого океана, в воображаемом городе детства, среди балконных пальм и фикусов Рио-де-Жанейро.

В три часа ночи строптивый потомок янычаров ступил на чужой заграничный берег. Тут тоже было тихо, темно, здесь тоже была весна, и с веток рвались капли. Великий комбинатор рассмеялся.

— Теперь несколько формальностей с отзывчивыми румынскими боярами — и путь свободен. Я думаю, что две-три медали за спасение утопающих скрасят их серую пограничную жизнь.

Он обернулся к советской стороне и, протянув в тающую мглу толстую котиковую руку, промолвил:

— Все надо делать по форме. Форма номер пять — прощание с родиной. Ну что ж, адье, великая страна. Я не люблю быть первым учеником и получать отметки за внимание, прилежание и поведение. Я частное лицо и не обязан интересоваться силосными ямами, траншеями и башнями. Меня как-то мало интересует проблема социалистической переделки человека в ангела и вкладчика сберкассы. Наоборот. Интересуют меня наболевшие вопросы бережного отношения к личности одиноких миллионеров...

Тут прощание с отечеством по форме № 5 было прервано появлением нескольких вооруженных фигур, в которых Бендер признал румынских пограничников. Великий комбинатор с достоинством поклонился и внятно произнес специально заученную фразу:

— Траяску Романиа Маре!

Он ласково заглянул в лица пограничников, едва видные в полутьме. Ему показалось, что пограничники улыбаются.

— Да здравствует великая Румыния! — повторил Остап по-русски. — Я старый профессор, бежавший из полуподвалов московской Чека! Ей-богу, еле вырвался! Приветствую в вашем лице...

Один из пограничников приблизился к Остапу вплотную и молча снял с него меховую тиару. Остап потянулся за своим головным убором, но пограничник так же молча отпихнул его руку назад.

— Но! — сказал командор добродушно. — Но, но! Без рук! Я на вас буду жаловаться в Сфатул Цэрий, в Большой Хурулдан!

В это время другой пограничник проворно, с ловкостью опытного любовника, стал расстегивать на Остапе его великую, почти невероятную сверхшубу. Командор рванулся. При этом движении откуда-то из кармана вылетел и покатился по земле большой дамский браслет.

— Бранзулетка! — взвизгнул погран-офицер в коротком пальто с собачьим воротником и большими металлическими пуговицами на выпуклом заду.

— Бранзулетка! — закричали остальные, бросаясь на Остапа.

Запутавшись в шубе, великий командор упал и тут же почувствовал, что у него из штанов вытаскивают драгоценное блюдо. Когда он поднялся, то увидел, что офицер с бесчеловечной улыбкой взвешивает блюдо на руках. Остап вцепился в свою собственность и вырвал ее из рук офицера, после чего сейчас же получил ослепляющий удар в лицо. События развертывались с военной быстротой. Великому комбинатору мешала шуба, и он некоторое время бился с врагами на коленях, мечя в них медалями за спасение утопающих. Потом он почувствовал вдруг неизъяснимое облегчение, позволившее ему нанести противнику ряд сокрушительных ударов. Оказалось, что с него успели сорвать стотысячную шубу.

— Ах, такое отношение! — пронзительно зашел Остап, дико озираясь.

Был момент, когда он стоял, прислонившись к дереву, и обрушивал сверкающее блюдо на головы нападающих. Был момент, когда у него с шеи рвали орден Золотого Руна, и командор по-лошадиному мотал головой. Был также момент, когда он, высоко подняв архиерейский крест с надписью «Во имя отца и сына и святого духа», истерически выкрикивал:

— Эксплуататоры трудового народа! Пауки! Приспешники капитала! Гады!

При этом изо рта у него бежали розовые слюни. Остап боролся за свой миллион, как гладиатор. Он сбрасывал с себя врагов и подымался с земли, глядя вперед помраченным взором.

Он опомнился на льду, с расквашенной мордой, с одним сапогом на ноге, без шубы, без портсигаров, украшенных надписями, без коллекции часов, без блюда, без валюты, без креста и бриллиантов, без миллиона. На высоком берегу стоял офицер с собачьим воротником и смотрел вниз, на Остапа.



— Сигуранца проклятая! — закричал Остап, поднимая босую ногу. — Паразиты!

Офицер медленно вытащил пистолет и оттянул назад ствол. Великий комбинатор понял, что интервью окончилось. Сгибаясь, он заковылял назад, к советскому берегу.

Белый папиросный туман поднимался от реки. Разжав руку, Бендер увидел на ладони плоскую медную пуговицу, завиток чьих-то твердых черных волос и чудом сохранившийся в битве орден Золотого Руна. Великий комбинатор тупо посмотрел на трофеи и остатки своего богатства и продолжал двигаться дальше, скользя в ледяных ямках и кривясь от боли.

Долгий и сильный пушечной полноты удар вызвал колебания ледяной поверхности. Напропалую дул теплый ветер. Бендер посмотрел под ноги и увидел на льду большую зеленую трещину. Ледяное плато, на котором он находился, качнулось и углом стало лезть под воду.

— Лед тронулся! — в ужасе закричал великий комбинатор. — Лед тронулся, господа присяжные заседатели!

Он запрыгал по раздвигающимся льдинам, изо всех сил торопясь в страну, с которой так высокомерно прощался час тому назад. Туман поднимался важно и медлительно, открывая голую плавню.

Через десять минут на советский берег вышел странный человек без шапки и в одном сапоге. Ни к кому не обращаясь, он громко сказал:

— Не надо оваций! Графа Монте-Кристо из меня не вышло. Придется переквалифицироваться в управдомы.

1931



**НЕОБЫКНОВЕННЫЕ
ИСТОРИИ
ИЗ ЖИЗНИ
ГОРОДА
КОЛОКОЛАМСКА**





СИНИЙ ДЬЯВОЛ

В сентябре месяце в Колоколамск вернулся из Москвы ездивший туда по торговым делам доктор Гром. Он прихрамывал и сверх обыкновения прикатил со станции домой на извозчике. Обычно доктор приходил со станции пешком.

Гражданка Гром чрезвычайно удивилась этому обстоятельству. Когда же она заметила на левом ботинке мужа светлый рубчатый след автомобильной шины, удивление ее увеличилось еще больше.

— Я попал под автомобиль, — сказал доктор Гром радостно, — потом судился.

И доктор-коммерсант, уснащая речь ненужными подробностями, поведал жене историю своего счастья.

В Москве, у Тверской заставы, фортуна, скрипя автомобильными шинами, повернулась лицом к доктору Грому. Сияние ее лица было столь ослепительно, что доктор упал. Только поднявшись, он понял, что попал под автомобиль. Доктор сразу успокоился, почистил попачкавшиеся брюки и закричал:

— Убили!

Из остановившегося синего «паккарда» выпрыгнули мужчина в опрятном котелке и шофер с коричневыми усами. Пестрый флажок небольшой соседней державы трепетал над радиатором оскандалившегося автомобиля.

— Убили! — твердо повторил доктор Гром, обращаясь к собравшимся зевакам.

— А я его знаю, — сказал чей-то молодецкий голос. — Это посол страны Клятвии. Клятвийский посол.

Суд произошел на другой же день, и по приговору его клятвийское посольство повинно было выплачивать доктору за причиненное ему увечье по сто двадцать рублей в месяц.

По этому случаю доктор Гром пировал с друзьями в Колоколамске три дня и три ночи подряд. К концу пирушки заметили, что исчез безработный кондитер Алексей Елисеевич.

Не успели утихнуть восторги по поводу счастливого поворота судьбы доктора Грома, как новая сенсация взволновала Колоколамск. Вернулся Алексей Елисеевич. Оказалось, что он ездил в Москву, попал там по чистой случайности под синий автомобиль клятвийского посольства и привез приговор суда.

На этот раз посольство повинно было выплачивать кондитеру за причиненное ему увечье по сто сорок рублей в месяц, как обремененному большой семьей.

На радостях кондитер выкатил народу бочку пива. Весь Колоколамск тряхивал с усов пивную пену и прославлял жертву уличного движения.

Третья жертва обозначилась через неделю. Это был заведующий курсами декламации и пения Синдик-Бугаевский. Он действовал с присущей его характеру прямоотой. Выехав в Москву, он направился прямо к воротам клятвийского посольства и, как только машина вывалилась на улицу, подставил свою ногу под колесо. Синдик-Бугаевский получил довольно тяжелые ушибы и сторублевую пенсию по гроб жизни.

Только тут колоколамцы поняли, что их город вступил в новый, счастливейший период своей истории. Найденную доктором Громом золотоносную жилу граждане принялись разрабатывать с величайшим усердием.

На отхожий промысел в Москву потянулись все — умудренные опытом старики, молодые частники, ученики курсов декламации и уважаемые работники. Особенно пристрастились к этому делу городские извозчики в синих жупанах. Одно время в Колоколамске не работал ни один извозчик. Все они уезжали на отхожий. С котомками на плечах они падали под клятвийскую машину, отлеживались в госпиталях, а потом аккуратно взимали с посольства установленную сумму.

Между тем в Клятвии разразился неслыханный финансовый кризис. Расходы по содержанию посольства увеличились в такой степени, что пришлось урезать жалованье государственным чиновникам и уменьшить армию с трехсот человек до пятнадцати. Зашевелилась оппозиционная правительству партия христианских социалистов. Председатель совета министров, господин

Эдгар Павийainen, беспрерывно подвергался нападкам оппозиционного лидера господина Сууп.

Когда под клятвийскую машину попал тридцатый по счету гражданин города Колоколамска, Никита Псов, и для уплаты ему вознаграждения пришлось закрыть государственную оперу, волнение в стране достигло предела. Ожидали путча со стороны военной клики.

В палату был внесен запрос:

— Известно ли господину председателю совета министров, что страна находится накануне краха?

На это господин председатель совета министров ответил:

— Нет, не известно.

Однако, несмотря на этот успокоительный ответ, Клятвии пришлось сделать внешний заем. Но и заем был съеден колоколамцами в какие-нибудь два месяца.

Шофер клятвийской машины, на которого уповало все государство, проявлял чудеса осторожности. Но колоколамцы необычайно навестились в удивительном ремесле и безошибочно попадали под машину. Рассказывали, что шофер однажды удирал от одного колоколамского дьякона три квартала, но сметливый служитель культа пробежал проходным двором и успел-таки броситься под машину.

Колоколамцы затаскали Клятвию по судам. Страна погибала.

С наступлением первых морозов из Колоколамска потащился в Москву председатель лжеартели «Личтруд» мосье Подлинник. Он долго колебался и хныкал. Но жена была беспощадна. Указывая мужу на быстрое обогащение сограждан, она сказала:

— Если ты не поедешь на отхожий, я брошусь под поезд.

Подлинника провожал весь город. Когда же он садился в вагон, побывавшие на отхожем колоколамцы кричали:

— Головой не попади! Телега тяжелая! Подставляй ножку!

Подлинник вернулся через два дня с забинтованной головой и большим, как расплывшееся чернильное пятно, синяком под глазом.левой рукой он не владел.

— Сколько? — спросили сограждане, подразумевая под этим сумму пенсии из отошавшего клятвийского казначейства.

Но председатель лжеартели вместо ответа беззвучно заплакал. Ему было стыдно рассказать, что он по ошибке кинулся под автомобиль треста цветных металлов, что шофер вовремя затормозил и потом долго бил его, Подлинника, по голове и рукам американским гаечным ключом.

Вид мосье Подлинника был настолько страшен, что колоколамцы на отхожий промысел больше не ходили.

И только этот случай спас Клятвию от окончательного разорения.

Город снова заскучал, и мирная его заштатная жизнь длилась до тех пор, пока из Аргентины не приехал в Колоколамск чудный джентльмен в костюме из розового сукна.

ГОСТЬ ИЗ ЮЖНОЙ АМЕРИКИ

В воскресенье утром на Большой Месткомовской улице показался джентльмен, не виданный доселе в Колоколамске. На нем был костюм из розового шевиота¹ и звездный галстук. От джентльмена веяло запахом душистых прерий. Он растерянно поворачивал голову по сторонам, и по его полному лицу катились перламутровые слезы умиления. Вслед за диковинным гражданином двигалась тачка с разноцветными чемоданами, толкаемая станционником.

Добравшись до Членской площади, кортеж остановился. Здесь открылся такой восхитительный вид на город Колоколамск и обтекающую его реку Збрую, что розовый джентльмен громко заплакал. Из вежливости всхлипнул и носильщик. При этом от него распространился удушливый запах водки.

В таком положении застал их через час председатель лжеартели «Личтруд» мосье Подлинник, проходивший через Членскую площадь по делам артели.

Остановившись за десять шагов от незнакомца, Подлинник с удивлением спросил:

— Пардон, где вы достали такой костюм?

— В Буэнос-Айресе, — ответил плачущий джентльмен.

— А галстук?

— В Монтевидео.

— Кто же вы такой? — воскликнул Подлинник.

— Я колоколамец! — ответил джентльмен. — Я Горацио Федоренкос.



¹ *Шевиот* — ткань, изготавливаемая из шерсти тонкорунных овец.

Восторгам председателя лжеартели не было пределов. Он хватал розового толстяка за талию, поднимал на воздух, громко целовал и громко задавал вопросы.

Через десять минут Подлинник знал все. Герасим Федоренко, тридцать лет тому назад уехавший из Колоколамска, нашел алмазные россыпи и неслыханно разбогател. Но, блуждая в степях Южной Америки, Горацио мечтал взглянуть хотя бы одним глазком на родной Колоколамск. И вот он здесь — рыдает от счастья.

Чествование соотечественника состоялось в анкетном зале военизированных курсов декламации и пения. Горацио Иванович заполнил почетную анкету, заключенную в шевровую¹ папку, и поцеловался с начальником курсов Синдик-Бугаевским. Во время неофициальной части торжества Федоренкос плясал русскую. Он вилял спиной и мягко притопывал каучуковыми подошвами. На рассвете растрогавшийся Горацио принял решение увековечить приезд в родной город постройкой тридцатидвухэтажного небоскреба для своих сограждан.

— Брешет, — говорили колоколамцы, качая гостя. — Что-что, а насчет дома брешет! Такие дома не могут существовать в природе.

Каково же было их удивление, когда уже через неделю на Членской площади появились подъемные краны. Великие партии техников, инженеров и рабочих приехали из столичных центров. Постройкой верховодил сам Горацио. Он был одет в синий парусиновый комбинезон и деловито ругался на странной смеси русского и испанского языков.

Колоколамцы насмешливо поглядывали на постройку. Они ходили вокруг строящегося здания с видом несколько обиженных именников и ограничивались тем, что воровали строительные материалы на топливо и высказывались в том смысле, что постройка движется слишком медленно.

К концу второго месяца небоскреб был почти готов. Тридцать второй этаж упирался в облака. Глубоко под землей кончали сборку электромоторов. Квадратные оконные стекла нижних этажей отражали дремучие леса и озера колоколамских окрестностей. А в окнах двадцать пятого этажа отражался даже губернский город, расположенный за 180 километров.

Оставалось смонтировать только водяное отопление, поставить в уборных фарфоровые унитазы и включить в общую электросеть кухонные плиты. Кроме того, не были закончены еще многие мелкие детали, без которых жизнь в большом доме становится невыносимой.

В это самое время распространился слух, что ночью в небоскреб самовольно вселился Никита Псов со всем своим хозяйством и цепной собакой. Говорили, что Никита захватил лучшую квартиру. Будку с цепной собакой он поместил на лестничной площадке своего этажа.

¹ Шевровая — изготовленная из тонкой кожи козленка или ягненка.

Этого было достаточно, чтобы колоколамцы, сжигаемые нетерпением, лавой ринулись в незаконченное здание для захвата квартир. На пути своем они сшибали с ног монтеров и десятников. Напрасно Горацио Федоренкос взывал к благоразумию сограждан. С непокрытой головой он стоял у парадных дверей, обшитых листовой медью, и кричал:

— Милицииос!

Внедрявшиеся в дом граждане только посмеивались и пребольно толкали Горацио Ивановича этажерками и топчанами. Федоренкос уехал. Его отъезда никто даже не заметил.

В новом доме поместился весь Колоколамск со всеми жителями, пивными, учреждениями, рогатым скотом и домашней птицей. Отделение милиции и многочисленные будуары для вытрезвления граждан разместились в центре дома — шестнадцатом этаже.

По требованию колоколамцев пивные были распределены равномерно по всему зданию и для скорейшего достижения их разрешено было пользоваться вне очереди пассажирскими лифтами. Экспрессные лифты, как самые емкие, были отданы под перевозку рогатого скота. Каждое утро пастух сгонял коров в лифты и спускал их вниз — на пастбище.

На первых порах обрадованные граждане невоздержанно предавались празднествам. Они циркулировали по небоскребу с методичностью кровообращения: из квартиры в пивную ближайшего этажа, оттуда в будуар для вытрезвления, затем в милицию для составления протокола, потом в первый этаж — судиться и, наконец, в 29-й этаж — Этаж заключения.

Прошли праздники, наступили будни. По утрам во всех этажах стучали топоры. Колоколамцы рубили деревянные перегородки на дрова и топили ими перевезенные со старых квартир буржуйки.

Из труб незаконченного центрального отопления колоколамцы делали кровати. Медные дверные приборы шли на выделку зажигалок. Эту кустарную продукцию колоколамцы продавали в губцентре. На лестничных лаковых перилах сушилось белье, а на мраморных площадках были воздвигнуты дощатые дачные клозеты.

Никита Псов, житель 19-го этажа, тоскуя по привольной колоколамской жизни, залез как-то рубить дрова в лифт. Топором он зацепил какую-то кнопку, и лифт помчался. Он безостановочно летал в своей клетке вверх и вниз. Граждане высыпали на мраморные лестницы и в изумлении глядели на обезумевшую машину. В глазах у них сквозило недоверие к технике. Гражданка Псова, совершенно глупая баба, бегала за лифтом вниз и вверх и кричала:

— Никита Иваныч! Отдай хоть ключ от квартиры! Войтить в квартиру нельзя!

Дверь в квартиру Псовых взломали. Так как запереться было нечем, то квартиру воры очистили в ту же ночь. Подозрение падало на пятый

этаж, этаж чрезвычайно по-дозрительный и уже названный «Вороньей Слободкой».

Остановить лифт удалось лишь вечером второго дня. Для этого пришлось испортить динамо-машину. Дом погрузился во мрак. Извлеченный из лифта в полумертвом состоянии Никита Псов злобно простонал:

— Не надо нам таких домов! Все пошло от этого международного джентельмента!

Когда же он увидел свою опустошенную квартиру, то немедленно выселился из небоскреба в старую халупу, разбив предварительно камнями все стекла в ненавистой ему «Вороньей Слободке». Гонимые холодом слободские насильственно вторглись в шестой этаж, где помещались чрезвычайно расширенные курсы декламации. Ученики-декламаторы пошли в хулиганы. На темных лестницах начались грабежи. С одиноких колоколамцев снимали шубы и калоши.

На квартиру Подлинников, проживавших в глухом 32-м этаже с испорченной канализацией, был произведен налет. Перепуганный председатель лжеартели последовал примеру Никиты Псова. В домоуправлении он заявил, что



жить так высоко очень страшно, что ему к тому же мешает сырость от проносющихся под окнами облаков.

В течение трех дней небоскреб совершенно опустел. Колоколамцы ушли на старые места. Некоторое время оставалась еще милиция, но и она выехала.

Постепенно все оборудование чудесного небоскреба растащили по халупам. От здания остался только остов. Черные квадраты окон печально смотрели на дремучие леса и озера колоколамских окрестностей, и губернский город не отражался больше в окнах 25-го этажа.

ВАСИСУАЛИЙ ЛОХАНКИН

Давно уже Колоколамск не видел гробовщика Васисуалия Лоханкина в таком сильном возбуждении. Когда он проходил по Малой Бывшей улице, он даже пошатывался, хотя два последних дня вовсе не пил.

Он заходил во все дома по очереди и сообщал согражданам последнюю новость:

— Конец света. Потоп. Разверзлись хляби небесные. В губернском городе семь дней и семь ночей дождь хлещет. Уже два ответственных работника утонуло. Светопреставление начинается. Довели большевики до ручки! Поглядите-ка!

И Лоханкин дрожащей рукой показывал на небо. К городу со всех сторон подступали фиолетовые тучи. Горизонт грохотал и выбрасывал короткие злые молнии.

Впечатлительный гражданин Пфферд из дома № 17 значительно развил сообщение Лоханкина. По полученным им, Пффердом, сведениям, Москва была уже затоплена и реки повсюду вышли из берегов, в чем он, Пфферд, видел кару небесную. Когда же к кучке граждан, тревожно озиравших небеса, подбежала Сицилия Петровна в капоте из оранжевого фланелета¹ и заявила, что потоп ожидается уже давно и об этом на прошлой неделе говорил ей знакомый коммунист из центра, в городе началась паника.

Колоколамцы были жизнелюбивы и не хотели гибнуть во цвете лет. Посыпались проекты, клонящиеся к спасению города от потопа.

— Может, переедем в другой город? — сказал Никита Псов, наименее умный из граждан.

— Лучше стрелять в небо из пушек, — предложил мосье Подлинник, — и разогнать таким образом тучи.

Но оба эти предложения были отвергнуты. Первое отклонили после блестящей речи Лоханкина, доказавшего, что вся страна уже затоплена и переезжать совершенно некуда. Вторым, довольно дельным предложением нельзя было воспользоваться за отсутствием артиллерии.

¹ Фланелет — бумажная ткань с ворсом, сходная с фланелью.

И тогда взоры всех колоколамцев с надеждой и вожделием обратились на капитана Ноя Архиповича Похотилло, который стоял немного поодаль от толпы и самодовольно крутил свои триумфальные усы. Капитан славился большим жизненным опытом и сейчас же нашелся.

— Ковчег! — сказал он. — Нужно строить ковчег!

— Ной Архипович! — застонала толпа в предчувствии великих событий.

— Считаться не приходится, — отрезал капитан Похотилло. — Благодарить будете после избавления.

На головы граждан упали первые сиреневые капли дождя. Это подстегнуло рвение колоколамцев, и к строительству ковчега приступили безотлагательно. В дело пошел весь лесоматериал, какой только нашелся в городе.

Рабочим чертежом служил рисунок Доре из восемнадцатифунтовой Семкиной Библии, которую принес дьякон живой церкви отец Огнепоклонников. К вечеру дождь усилился, пришлось работать под зонтиками. Крышу ковчега сделали из гробов Лоханкина, потому что не хватило лесоматериалов. Крыша блистала серебряным и золотым глазетом¹.

— Считаться не приходится, — говорил капитан Похотилло.

На нем был штормовой плащ и зюйдвестка. Редкий дождь шел всю ночь. На рассвете в ковчег стали приезжать пассажиры. И тут только граждане поняли, что означает странное выражение капитана «Считаться не приходится». Считаться приходилось все время. Ной Архипович брал за все: за вход, за багаж, за право взять в плавание пару чистых или нечистых животных и за место на корме, где, по уверениям капитана, должно было меньше качать.

С первых пассажиров, в числе которых были: мосье Подлинник, Пферд и Сицилия Петровна, сменившая утренний капот² на брезентовый тальер³, расторопный капитан взял по 80 рублей. Но потом Ной Архипович решил советских знаков не брать и брал царскими. Никита Псов разулся перед ковчегом и вынул из сапога «катеньку»⁴, за что был допущен внутрь с женой и вечнозеленым фикусом.

У ковчега образовалась огромная пробка. Хлебнувший водки капитан заявил, что после потопа денежное обращение рухнет, что денег ему никаких поэтому не надо, а даром спасать колоколамцев он не намерен. Ноя Архиповича с трудом убедили брать за проезд вещами. Он стоял у входа на судно и презрительно рассматривал на свет чьи-то диагональные⁵ брюки, подбрасы-

¹ *Глазет* — ткань, похожая на парчу, с шелковой цветной основой и узорами из золота и серебра.

² *Капот* — домашнее женское платье, разновидность домашнего халата.

³ *Тальер* — женский нарядный костюм, состоявший из жакета, по крою напоминающего фрак, и узкой, в обтяжку, юбки.

⁴ В дореволюционной России «катенька» — царская сторублевка с изображением Екатерины II.

⁵ *Диагональные* — вид переплетения ткани. Наиболее распространен в галифе.



вал на руке дутые золотые браслеты и не гнушался швейными машинками, отдавая предпочтение ножным.

Посадка сопровождалась шумом и криками. Подгоняемые дождем, который несколько усилился, граждане энергично напирали. Оказалось, что емкость ковчега ограничена двадцатью двумя персонами, включая сюда кормчего Похотилло и его первого помощника Лоханкина.

— Ковчег не резиновый! — кричал Ной Архипович, защищая вход своей широкой грудью.

Граждане с надрывом голосили:

— Пройдите в ковчег! Впереди свободнее!

— Граждане, пропустите клетку с воронами! — вопил Васисуалий Лоханкин.

Когда вороны были внесены, капитан Похотилло увидел вдали начальника курсов декламации и пения Синдика-Бугаевского, за которым в полном составе двигались ученики курсов.

— Ковчег отправляется! — испуганно закричал капитан. — Граждане! Сойдите со ступенек. Считаться не приходится!

Двери захлопнулись. Дождь грозно стучал о глазетовую крышку. Снаружи доносились глухие вопли обреченных на гибель колоколамцев. Великое плавание началось.

Три дня и три ночи просидели отборные колоколамцы в ковчеге, скудно питались, помалкивали и с тревогой ждали грядущего.

На четвертый день выпустили через люк в крыше ворону. Она улетела и не вернулась.

— Еще рано, — сказал Лоханкин.



— Воды еще не сошли! — разъяснил капитан.

На пятый день выпустили вторую ворону. Она вернулась через пять минут. К левой ее ножке была привязана записочка: «Вылезайте, дураки». И подпись: «Синдик-Бугаевский».

Отборные колоколамцы кинулись к выходу. В глаза им ударило солнце. Ковчег, весь в пыли, стоял на месте его постройки — посреди Малой Бывшей, рядом с пивной «Друг желудка».

— Позвольте, где же потоп? — закричал разобиженный Пферд. — Это все Лоханкин выдумал.

— Я выдумал? — возмущенно сказал Васисуалий Лоханкин. — А кто говорил, что реки вышли из берегов, что Москва уже утонула? Тоже Лоханкин?

— Считаться не приходится! — загремел Похотилло. И ударил гробовщика вороной по румяному лицу.

Счеты с автором потопа граждане сводили до поздней ночи.

ГОРОД И ЕГО ОКРЕСТНОСТИ

Не находя нужным облекать таинственностью историю Колоколамска, доводим до сведений наших читателей, что:

- а) Колоколамск действительно существует;
- б) ничего общего с Волоколамском не имеет и
- в) находится он как раз между РСФСР и УССР, так что не нанесен на географические карты ни одной из этих дружественных и союзных республик. В этом целиком приходится винить наших географов.



Что же касается газетных работников, очеркистов и описателей уездной жизни, то, даже стремясь в Колоколамск, они по странной иронии судьбы попадали в Ялту или Кисловодск, каковые города описывали с усердием, достойным лучшего применения.

Но автору вместе с художником К. Ротовым¹ удалось попасть в Колоколамск, пожить там в отеле «Ряжск» и даже снять генеральный план с этого удивительного города.

Как видно из плана, славный город Колоколамск привольно и живописно раскинулся на левом берегу мелководной реки Збруи. В XIV веке конюх ко-

¹ Художник К. Ротов делал рисунки к первой публикации «Необыкновенных историй...» в журнале «Чудак» за 1929 год.

Последовательно угостившись за счет гостей в пивных «Санитас», «Заре навстречу», «Малорусь», «Огненное погребение», «Голос минувшего» и в пивной завода имени Емельяна Пугачева, Псов-старший не оправдал возложенных на него надежд, потому что потерял дар речи.

Упомянутая Большая Месткомовская улица является главной артерией города. Она соединяет железнодорожную станцию с Членской площадью, где висится остов небоскреба, история которого читателю уже известна¹. Затем Большая Месткомовская спускается к реке. Через паром, управляемый капитаном Н. Похотилло, можно переправиться на противоположный берег и попасть в дремучий лес, окружающий город и помешавший в свое время татарам предать Колоколамск огню и мечу, потоку и разграблению, гладу и мору.

Углубившись в лес, легко наткнуться на кустаря-одиночку, портного Соловейчика. Здесь, в бору, он спасается от налогов, но, несмотря на это, берет за шитье так дорого, что получил у колоколамцев название Соловейчика-разбойника.

Вправо, на горе, висится артель бывших монахинь под названием «Деепричастие». Продукцию свою монахини сбывают в кооператив, что в Переулетном переулке, неподалеку от Семибатюшной заставы.

Восточная часть города справедливо гордится двумя Бывшими, на стыке которых был построен ковчег² — Бездокладной и Землетрясенческой — улицами. Последнюю назвали не так давно в честь очередного землетрясения в Японии.

Из переулков самым большим здесь является Похотливый переулок с прекрасными Индивидуальными банями.

Обойдя молчанием ничем не выдающиеся Мелколавочный, Малосольный и Малахольный переулки, отметим темное пятно города — Приключенческий тупик. Он получил свое название из-за происходящих в нем ежевечерних ограблений запоздалых путников, которые заползают туда в пьяном виде.

Из достопримечательностей восточной части города отметим русско-украинское общество «Геть неграмотность» и горящий дом у Семибатюшной заставы. Дом этот горит ежедневно уже в течение пяти лет. Его каждое утро поджигает домовладелец брандмайор Огонь-Полыхаев, чтобы дать работу вверенной ему пожарной команде.

Южная, она же Привокзальная, часть Колоколамска отличается красотой расположенного на ней Старорежимного бульвара. Кроме того, это самая фешенебельная часть города. Здесь находятся Спасо-Кооперативная площадь с лжепромысловой артелью «Личтруд» под председательством мосье

¹ См. историю «Гость из Южной Америки».

² См. историю «Васисуалий Лоханкин».

Подлинника, военизированные курсы декламации и пения Синдика-Бугаевского, старинный храм Выявления Христа, оживленная Гигроскопическая улица с великолепным, но, к сожалению, все еще незаконченным зданием здравницы «Все за лечебу».

Особенно поражает на Спасо-Кооперативной площади могила неизвестного частника.

В начале нэпа в Колоколамск приехал никому не известный частник за конским волосом. Весь день он ездил по городу, закупая свой товар, к вечеру внезапно упал с извозчика на Спасо-Кооперативной и скоропостижно скончался. Документов при нем не оказалось.

Не желая отставать от Парижа, Брюсселя и Варшавы, устроивших у себя Могилы Неизвестных Солдат, но не имея возможности раздобыть солдата (никто из колоколамцев никогда не воевал), горожане зарыли неизвестного частника на площади и зажгли на его могиле неугасаемый огонь. Каждую неделю, по субботам, Соловейчик-разбойник в парадной траурной кепке переправляется в центральную часть города на пароме и принимает у могилы неизвестного частника заказы на шитье.

Западная часть города состоит из трех улиц и одного переулка. Широкий, прямой, как стрела, Крестовыдвиженческий проспект украшен новой, Крестовыдвиженческой церковью. Рядом с церковью помещается русско-украинское общество «Геть рукопожатие».

Единодушная улица и продолжение ее — Единогласная — соединяются с Южной частью города Досадным переулком. Между Единодушной и Единогласной высится каланча и милицейская часть.

Самая молодая часть города — Зазбруйная часть — стоит на стрелке, образуемой Вожжей и Збруей, и основное занятие проживающих здесь граждан лучше всего характеризуется названиями улиц.

Сюда приезжают колоколамцы за водкой по большим праздникам, когда закрыт кооператив.

Таков Колоколамск, в существовании которого, можно надеяться, никто теперь не усомнится.

СТРАШНЫЙ СОН

Бывший мещанин, а ныне бесцветный гражданин города Колоколамска Иосиф Иванович Завитков неожиданно для самого себя и многочисленных своих знакомых вписал одну из интереснейших страниц в историю города.

Казалось бы между тем, что от Завиткова Иосифа Ивановича нельзя было ожидать никакой прыти. Но таковы все колоколамцы. Даже самый тихий из них может в любую минуту совершить какой-нибудь отчаянный или героический поступок и этим лишний раз прославить Колоколамск.

Все было гладко в жизни Иосифа Ивановича. Он варил ваксу «Африка», тусклость которой удивляла всех, а имевшееся в изобилии свободное время проводил в пивной «Голос минувшего».

Оказал ли на Завиткова свое губительное действие запах ваксы, помрачил ли его сознание пенистый портер, но так или иначе Иосиф Иванович в ночь с воскресенья на понедельник увидел сон, после которого почувствовал себя в полном расстройстве.

Приснилось ему, что на стыке Единодушной и Единогласной улиц повстречались с ним трое партийных в кожаных куртках, кожаных шляпах и кожаных штанах.

— Тут я, конечно, хотел бежать, — рассказывал Завитков соседям, — а они стали посреди мостовой и поклонились мне в пояс.

— Партийные? — восклицали соседи.

— Партийные! Стояли и кланялись. Стояли и кланялись.

— Смотри, Завитков, — сказали соседи, — за такие факты по головке не глядят.

— Так ведь мне же снилось! — возразил Иосиф Иванович, усмехаясь.

— Это ничего, что снилось. Были такие случаи... Смотри, Завитков, как бы чего не вышло!

И соседи осторожно отошли подальше от производителя ваксы.

Целый день Завитков шаялся по городу и, вместо того чтобы варить свою «Африку», советовался с горожанами касательно виденного во сне. Всюду он слышал предостерегающие голоса и к вечеру лег в свою постель со стесненной грудью и омраченной душой.

То, что он увидел во сне, было настолько ужасно, что Иосиф Иванович до полудня не решался выйти на улицу.

Когда он переступил наконец порог своего дома, на улице его поджидала кучка любопытствующих соседей.

— Ну, Завитков? — спросили они нетерпеливо.

Завитков махнул рукой и хотел было юркнуть назад, в домик, но уйти было не так-то легко. Его уже крепко обнимал за талию председатель общества «Геть рукопожатие» гражданин Долой-Вышневецкий.

— Видел? — спросил председатель грозно.

— Видел, — устало сказал Завитков.

— Их?

— Их самых.

И Завитков, вздыхая, сообщил соседям второй сон. Он был еще опаснее первого. Десять партийных, все в кожаном, с брезентовыми портфелями, кланялись ему, беспартийному Иосифу Ивановичу Завиткову, прямо в землю на Спасо-Кооперативной площади.

— Хорош ты, Завитков, — сказал Долой-Вышневецкий, — много себе позволяешь!

— Что же это, граждане, — гомонили соседи, — этак он весь Колоколамск под кодекс подведет.

— Где же это видано, чтоб десять партийных одному беспартийному кланялись?

— Гордый ты стал, Завитков. Над всеми хочешь возвыситься.

— Сон это, граждане! — вопил изнуренный Завитков. — Разве мне это надо? Во сне ведь это!

За Иосифа Ивановича вступился председатель лжеартели мосье Подлинник.

— Граждане! — сказал он. — Слов нет, Завитков совершил неэтичный поступок. Но должны ли мы сразу же его заклеить? И я скажу — нет. Может быть, он на ночь съел что-нибудь нехорошее. Простим его для последнего раза. Надо ему очистить желудок. И пусть заснет спокойно.

Председатель лжеартели своей рассудительностью завоевал в городе большое доверие. Собравшиеся согласились с мосье Подлинником и решили дожидаться следующего утра.

Устрашенный Завитков произвел тщательную прочистку желудка и заснул с чувством приятной слабости в ногах.

Весь город ожидал его пробуждения. Толпы колоколамцев запрудили Бездокладную улицу, стараясь пробраться поближе к Семибатюшной заставе, где находился скромный домик производителя ваксы.

Всю ночь спящий Завитков подсознательно блаженствовал. Ему поочередно снилось, что он доит корову, красит ваксой табуретку и гоняет голубей. Но на рассвете начался кошмар. С поразительной ясностью Завитков увидел, что по губернскому шоссе подъехал к нему в автомобиле председатель губисполкома, вышел из машины, стал на одно колено и поцеловал его, Завиткова, в руку.

Со стоном выбежал Завитков на улицу.

Розовое солнце превосходно осветило бледное лицо мастера ваксы.

— Видел! — закричал он, бухаясь на колени. — Председатель исполкома мне ручку поцеловал. Вяжите меня, православные!

К несчастному приблизились Долой-Вышневецкий и мосье Подлинник.

— Сам понимаешь, — заметил Долой-Вышневецкий, набрасывая веревки на Иосифа Ивановича, — дружба дружбой, а хвост набок.

Толпа одобрительно роптала.

— Пожалуйста, — с готовностью сказал Завитков, понимавший всю тяжесть своей вины, — делайте что хотите.

— Его надо продать! — заметил мосье Подлинник с обычной рассудительностью.

— Кто же купит такого дефективного? — спросил Долой-Вышневецкий.

И, словно в ответ на это, зазвенели колокольчики бесчисленных троек, и розовое облако снежной пыли взметнулось на Губшоссе.

Это двигался из Витебска на Камчатку караван кинорежиссеров на съемку картины «Избушка на Байкале». В передовой тройке скакал взмыленный главный режиссер.

— Какой город? — хрипло закричал главреж, высовываясь из кибитки.

— Колоколамск! — закричал из толпы Никита Псов. — Колоколамск, ваше сиятельство!

— Мне нужен типаж идиота. Идиоты есть?

— Есть один продажный, — вкрадчиво сказал мосье Подлинник, приближаясь к кибитке. — Вот! Завитков!

Взор режиссера скользнул по толпе и выразил полное удовлетворение. Выбор нужного типажа был великолепен. Что же касается Завиткова, то главрежа он прямо-таки очаровал.

— Давай! — рявкнул главный.

Связанного Завиткова положили в кибитку. И караван вихрем вылетел из города.

— Не поминайте лихом! — донеслись из поднявшейся метели слова Завиткова.

А метель все усиливалась и к вечеру нанесла глубочайшие сугробы. Ночью небо очистилось. Как ядро, выкатилась луна. Оконные стекла заросли морозными пальмами. Город мирно спал. И все видели обыкновенные мирные сны.

ПРОЛЕТАРИЙ ЧИСТЫХ КРОВЕЙ

Колоколамцы не в шутку обижались, когда им указывали на то, что в их славном городе нет пролетариев.

— Как нет? — восклицали колоколамцы. — А Взносав! Наш-то Досифей Взносав! Слава богу, не какой-нибудь частник. Пролетарий чистых кровей.

Весь город гордился Досифеем Взносавым, один лишь Досифей Взносав не гордился самим собой. Дела его шли плохо.

Взносав был холодным сапожником, проживал в Зазбруйной части города, на Штопорной улице, а работал на Привозном рынке в базарные дни.

То ли базарных дней было мало, то ли колоколамцы, не склонные к подвижности, почти не изнашивали обуви, но заработки у Досифея были ничтожны, и он сильно горевал.

— Пролетарий я, действительно пролетарий, — говорил он хмуро. — И кровей, слава тебе господи, не смешанных. Чай, не мулат какой-нибудь. А что толку? Выпить не на что!

В таком настроении забрел он однажды на квартиру к мосье Подлиннику. Цель у Взносова была простая — отвести душу. А всем в городе было известно, что отвести душу легче всего в разговоре с рассудительным председателем лжеартели.

Подлинник, облаченный в рубашку-гейша, с расшитой кренделями грудью, сидел за обеденным столом.

Перед ним дымился суп-пейзан, в котором привольно плавал толстый кусок мяса. Водка в пузатом графине отливала оловом и льдом.

— Принимайте гостя, товарищ Подлинник, — сказал холодный сапожник, входя, — чай, не мулат, не метис какой-нибудь.

— О чем может быть речь! — ответил лжепредседатель. — Садитесь, мосье Взносов. Вон там, возле граммофона стоит пустой стул.

Досифей покосился на пар, восходивший над супом-пейзан, и, жмуря глаза от ртутного блеска графинчика, уселся в углу комнаты и начал обычные жалобы.

— Пролетарий я, действительно. Не индеец какой-нибудь. Чистых кровей. А выпить тем не менее не на что.

Несмотря на этот прямой намек, Досифей приглашен к столу не был. Подлинник, багровея, проглотил большой кусок мяса и, отдышавшись, молвил:

— Удивляюсь я вам, мосье Взносов. С вашим происхождением...

— На черта мне это происхождение! — с тоской произнес холодный сапожник. — Из происхождения шубы не сошьешь.

Подлинник застыл с вилкой в руке, держа ее, словно трезубец.

— Вы думаете, не сошьешь шубы? Из происхождения, вы думаете, нельзя сшить шубы?

— Нельзя!

И сапожник печально постучал пальцем по розовой граммофонной трубе. Подлинник вдруг поднялся из-за стола и задумчиво прошелся по комнате. Минуты две он размышлял, а затем внес совершенно неожиданное предложение.

— Тогда, мосье Взносов, — сказал он, — продайте мне свое происхождение. Раз оно не подходит вам, то оно, может быть, подойдет мне. Много дать я не могу. Дела теперь всюду в упадке. Одним словом, что вы хотите?

Холодный сапожник еще раз глянул на графинчик и вступил в торг. Он требовал: яловочные сапоги — одни, портьеру — одну, четверть водки и три рубля деньгами. Подлинник со своей стороны предлагал рюмку водки и тарелку супа-пейзан.

Торговались они долго. Продавец, рассердившись, уходил, Подлинник выбегал за ним на улицу и кричал: «Пс-ст», продавец возвращался, и снова

уходил, и вновь возвращался, но Подлинник не прибавил ничего. На том и сошлись. Пролетарское происхождение было продано за рюмку водки и суп-пейзан.

— Смотрите, мосье Взносоев, — сказал Подлинник. — А оно у вас настоящее, это происхождение?

— Чай, не абиссинец! — возразил холодный сапожник, с удовольствием проглатывая водку. — Чистых кровей. Товар настоящий.

И слава Досифея Взносоева, — слава, которую он не сумел оценить, померкла. На колоколамский небосклон торжественно выплыла тучная звезда почетного городского пролетария мосье Подлинника.

Председатель лжеартели вцепился в свое новое происхождение с необыкновенным жаром. На Привозном рынке он приобрел связку лаптей и якобы пешим ходом смотался в губцентр, чтобы поднести лапточки ответработнику товарищу Плинтусову, его жене мадам Плинтусовой и их детям: мальчику Гоге и девочке Демагоге.

Назад взамен лаптей Подлинник привез большое удостоверение какого-то кредитного товарищества с резолюцией товарища Плинтусова — «удовлетворить». Что значилось в удостоверении, не знала даже мадам Подлинник, но мощь его была настолько велика, что позволила новому пролетарию значительно расширить обороты лжеартели и близко познакомиться с прекрасным словом «сверхприбыль».



Мосье Подлинник ходил теперь в коричневой кожаной тужурке с бобровым воротником, в каракулевой кепке и в фетровых сапогах, восходящих к самым бедрам.

— Слава богу, — скромно говорил он, — я не какой-нибудь мулат. Пролетарий чистой крови.

Для того чтобы устранить последние сомнения в чистоте своего происхождения, Подлинник нарисовал свое родословное древо. Ветви этого древа сгибались под тяжестью предков мосье.

По мужской линии род Подлинника восходил к Степану Разину, а по женской — к Фердинанду Лассалю.

Из этого же древа явствовало, что прапрапрадедушка мосье в свое время был единственным в Киеве полянином, который протестовал против захватнической политики Аскольда и Дира.

Это был пир генеалогии, знатности и богатства.

О холодном сапожнике, продавшем свое происхождение, все забыли, но сам Досифей Взносков страдал невыразимо. Позднее раскаяние грызло его душу. Он не спал по ночам, похудел и перестал пить.

И однажды все увидели, как Досифей прошел через город, неся в правой руке дымящуюся тарелку супа-пейзан, а в левой — рюмку водки. Он шел как сомнамбула, шел выкупать свое пролетарское происхождение.

Он вошел в дом Подлинника и с дарами в руках остановился на пороге.

Мосье пролетарий сидел за безбрежным письменным столом. На мизинце его левой руки блистал перстень с бриллиантовыми серпом и молотом. Стена была увешана редчайшими портфелями. Они висели как коллекция старинного оружия.

— Вы пришли к занятому человеку, — сказал Подлинник.

— Вот суп, — робко сказал Досифей, — а вот и водка. Отдайте мне назад мое пролетарское происхождение.

Подлинник встрепенулся.

— Тронутое руками считается проданным, — сказал он ясным голосом. — Происхождение в последнее время поднялось в цене. И я могу обменять его только на партийный билет. Может быть, у вас есть такой билет?

Но у Досифея Взноскова билета не было. Он был безбилетный.

Медленно он вышел от Подлинника и удалился в свою Зазбруйную часть. Переходя реку по льду, он остановился у проруби, с тоской оглянулся и бросил в воду тарелку с уже остывшим супом и рюмку с водкой.

ЗОЛОТОЙ ФАРШ

Целую неделю новая курица гражданина Евтушевского не неслась. А в среду в 8 часов и 40 минут вечера снесла золотое яйцо.

Это совершенно противоестественное событие произошло следующим образом.

С утра Евтушевский, как обычно, был занят: продавал дудки, копался в огорожке, заряжал и разряжал партию мышеловок, изготовленную по заказу председателя промысловой лжеартели «Личтруд» мосье Подлинника.

После обеда старый дудочник залез в соседний двор за навозом для кирпича, но был замечен. В него бросили палкой и попали. До самых сумерек Евтушевский стоял у плетня и однообразно ругал соседей.

День был вконец испорчен. Жизнь казалась отвратительной. Дудок в этот день никто не купил. Пополнить запасы топлива не удалось. Курица не неслась.

В таких грустных размышлениях застали Евтушевского мосье и мадам Подлинники. Они приходили за своими мышеловками только в безлунные вечера, потому что официально считалось, что чета Подлинников prepares мышеловки сама, не эксплуатируя чужой труд.

— Имейте в виду, мосье Евтушевский, — сказал председатель лжеартели, — что ваши мышеловки имеют большой дефект.

— Дефект и минус! — укоризненно подтвердила мадам Подлинник.

— Ну да! — продолжал мнимый председатель — Ваши мышеловки слишком сильно действуют. Клиенты обижаются. У Бибиных вашу мышеловку нечаянно зацепили. Она долго прыгала по комнате, выбила стекло и упала в колодец.

— Упала и утонула, — добавила председательша. Евтушевский погрузился еще больше.

Вдруг в углу, где толкалась курица, раздалось бормотанье и затрещали крылья.

— Ей-богу, сейчас снесется! — закричал дудочник, вскочив.

Но слова его были заглушены таким громким стуком, как будто бы на пол упала гиря. На середину комнаты, гремя, выкатилось темное яйцо и, описав параболическую кривую, остановилось у ног хозяина дома.

— Что т-такое?

Евтушевский взял со стола керосиновую лампу с голубым фаянсовым резервуаром и нагнулся, чтобы осветить странный предмет. Вместе с Евтушевским наклонилась к полу и лжеартельная чета.

Жидкий свет лампы образовал на полу бледный круг, посредине которого матово блистало крупное золотое яйцо.

Оторопь взяла присутствующих. Первым очнулся мосье Подлинник.

— Это большое достижение! — сказал он деревянным голосом.

— Достижение и плюс, — добавила жена, не сводя лунатических глаз с драгоценного предмета.

Подлинник потянулся к яйцу рукой.

— Не балуй! — молвил дудочник и схватил вороватую руку.

Голос у него был очень тихий и даже робкий, но вцепился он в Подлинника мертвой хваткой. Мадам он сразу же ударил ногой, чтоб не мешала. Курица бегала вокруг, страстно кудахтала и увеличивала суматоху.

Минуту все помолчали, а затем разговор возобновился.

— Пустите, — сказал лжепредседатель. — Я только хотел посмотреть, — может, яйцо фальшивое.

Не отпуская Подлинника, Евтушевский поставил лампу на стол и поднял яйцо с пола. Оно было тяжелым и весило не меньше трех фунтов.

— Яичко что надо, — завистливо сказал мосье. — Но, может быть, оно все-таки фальшивое.

— Чего еще выдумали, — дудочник высокомерно усмехнулся, — станет вам курица нести фальшивые золотые яйца. Фантазия ваша! Слуш-шай-те... Да тут же проба есть. Ей-богу... как на обручальном кольце.

На удивительном яйце действительно было выбито клеймо пробирной палатки, указывающее 56-ю пробу.

— Ну, теперь вас арестуют, — сказал Подлинник.

— И задавят налогами! — добавила мадам.

— А курицу отберут.

— И яйца отберут.

Евтушевский растерялся. Известковые тени легли на его лицо.

— Какие яйца? Ведь есть же только одно яйцо.

— Пока одно. Потом будет еще. Я уже слышал об этом. Это же известная история о том, как курица несла золотые яйца. Евтушевский, мосье Евтушевский! Имейте в виду, мосье Евтушевский, что один дурак такую курицу уже зарезал. Был такой прецедент.

— И что там было внутри? — с любопытством спросил старый дудочник.

— Ничего не было. Что там может быть? Потроха...

Евтушевский тяжело вздохнул, повертел яйцо в руке и стал шлифовать его о брюки. Яйцо заблестело пуще прежнего. Лучи лампы отражались на его поверхности лампадным, церковным блеском. Евтушевский не проронил ни слова.

Председатель лжеартели озабоченно бегал вокруг старого дудочника. Он очень волновался, давил ногами клетки и чуть даже не наступил на притихшую курочку.

Евтушевский молчал, тупо глядя на драгоценное яйцо.

— Мосье Евтушевский! — закричал Подлинник. — Почему вы молчи-

те? Я же вам разъяснил, что в курице никакого золота не может быть. Слышите, мосье Евтушевский?

Но владелец чудесной курицы продолжал хранить молчание.

— Он ее зарежет! — закричал Подлинник.

— Зарежет и ничего не найдет! — добавила мадам.

— Откуда же берется золото? — раздался надтреснутый, полный низкой страсти, голос Евтушевского.

— Вот дурак! — заорал разозленный лжепредседатель. — Оттуда и берется.

— Нет, вы скажите, откуда оттуда?

Мосье Подлинник с ужасом почувствовал, что ответить на этот вопрос не может. Минуты две он озадаченно сопел, а потом сказал:

— Хорошо. Мне вы не верите. Не надо. Но председателю общества «Геть неграмотность» вы можете поверить? Ученому человеку вы доверяете?

Евтушевский не ответил.

Супруги Подлинник ушли, оставив старого дудочника наедине со своими тяжелыми мыслями. Всю ночь маленькое окошечко домика было освещено. Из дома несло кудахтанье курицы, которой Евтушевский не давал спать. Он поминутно брал ее на руки и окидывал безумным взглядом.

К утру весь Колоколамск уже знал о чудесном яйце. Супруги Подлинник провели остаток вечера в визитах. Всюду под строжайшим секретом они сообщали, что курица Евтушевского снесла три фунта золота и что никакого



жувальничества здесь быть не может, так как на золоте есть клеймо пробирной палатки.

Общее мнение было таково, что Колоколамску предстоит блестящая будущность. Началось паломничество к домику Евтушевского. Но проникнуть в дом никому не удалось — дудочник не отвечал на стук в двери.

Наконец к дверям домика протиснулись Подлинники, ведя с собой председателя смешанного русско-украинского общества «Геть неграмотность» товарища Балюстрадника. Это был человек очень худой и такой высокий, что в городе его называли человеком-верстой.

После долгих препирательств Евтушевский открыл дверь, и делегация, провожаемая завистливыми взорами толпы, вошла в достопримечательное отныне жилище Евтушевского.

— Гм, — заметил Балюстрадник и сразу же взялся за яйцо.

Он поднес его к глазам, почти к самому потолку, с видом человека, которому приходится по нескольку раз в день видеть свежеснесенные, еще теплые золотые яйца.

— Не правда ли, мосье Балюстрадник, — начал Подлинник, — это глупо, то, что хочет сделать мосье Евтушевский? Он хочет зарезать курицу, которая несет золотые яйца.

— Хочу, — прошептал Евтушевский.

За ночь он понял все. Он уже не сомневался в том, что курица начинена золотом и нет никакого смысла тратиться на ее прокорм и ждать, когда она соблаговолит разрешиться новым яйцом.

Председатель общества «Геть неграмотность» погрузился в размышления.

— Надо резать! — вымолвил он наконец.

Евтушевский, словно бы освобожденный от заклятия, стал гоняться за курицей, которая в бегстве скользила, припадала на одну ножку, летала над столами и билась об оконное стекло.

Подлинник был в ужасе.

— Зачем резать? — кричал он, наседая на «Геть неграмотность».

«Геть» иронически улыбнулся. Он сел и покачал ногой, заложной за ногу.

— А как же иначе? Ведь курица питается не золотом. Значит, все золото, которое она может снести, находится в ней. Значит, нужно резать.

— Но позвольте!.. — вскричал Подлинник.

— Не позволю! — ответил Балюстрадников.



— Спросите кого угодно. И все вам скажут, что нельзя резать курицу, которая несет золотые яйца.

— Пожалуйста. Под окном весь Колоколамск. Я не возражаю против здоровой критики моих предложений. Спросите.

Председатель лжеартели ударил по оконной раме, как Рауль де Нанжи в четвертом действии оперы «Гугеноты», и предстал перед толпой.

— Граждане! — завопил он. — Что делать с курицей?

И среди кристальной тишины раздался бодрый голосок стоящего впереди всех старичка с седой бородой ниже колен.

— А что с ей делать, с курицей-то?

— Заре-езать! — закричали все.

— В таком случае я в долю! — воскликнул мосье Подлинник и ринулся за курицей, которая никак не давалась в руки дудочника.

В происшедшем замешательстве курица выскочила в окно и, пролетев над толпой, поскакала по Бездокладной улице. Преследователи, стучаясь головами о раму, выбросились на улицу и начали погоню.

Через минуту соотношение сил определилось так.

По пустой, нудной улице, подымая пыль, катилась курица Барышня. В десяти метрах от нее на длинных ногах поспешал человек-верста. За ним, голова в голову, мчались Евтушевский с Подлинником, а еще позади нестройной кучей с криками бежали колоколамцы. Кавалькаду замыкала мадам Подлинник со столовым ножом в руке.

На площади Барышню, вмешавшуюся в общество простых колоколамских кур, схватили, умертвили и выпотрошили.

Золота в ней не было и на грош.

Кто-то высказал предположение, что зарезали не ту курицу. И действительно, внешним своим видом Барышня ничем не отличалась от прочих колоколамских кур.

Тогда началось поголовное избиение домашней птицы. Сгоряча резали и потрошили даже гусей и уток. Особенно свирепствовал председатель общества «Геть неграмотность». В общей свалке и неразберихе он зарезал индюка, принадлежавшего председателю общества «Геть рукопожатие».

Золотого фарша нигде не нашли.

Смеющегося Евтушевского увезли на телеге в психбольницу.

Когда милиция явилась в дом Евтушевского, чтобы описать оставшееся после него имущество, с подгнившего бревенчатого потолка тяжело, как гиря, упал и покатился по полу какой-то круглый предмет, обернутый в бумажку.

В бумажке оказалось золотое яйцо, точь-в-точь как первое. Была и 56-я проба. Но кроме этого на яйце были каллиграфически выгравированы слова: «С Новым годом».

На бумажке была надпись: «Передать С. Т. Евтушевскому. Дорогой

сын! Эти два яйца — все, что осталось у меня после долгой беспорочной службы в пробирной палатке. Когда-нибудь эти яички тебя порадуют. Твой папа Тигрий Евтушевский».

КРАСНЫЙ КАЛОШНИК-ГАЛОШНИК

На рассвете морозного февральского дня население славного города Колоколамска было разбужено нестройным ружейным залпом.

Жители в валенках, надетых прямо на исподнее, высыпали на улицы. Последовавший сейчас же после залпа набат усилил тревогу. Надтреснутые теноровые звуки колоколов Крестовыдвиженческой церкви были мощно подержаны басовыми нотами, которые неслись с колокольни храма Выявления Христа.

Как всегда бывает во время неожиданной тревоги, граждане отлично знали, в каком направлении нужно бежать. И в скором времени Спасо-Кооперативная площадь была запружена толпой.

У могилы неизвестного частного в полном недоумении стоял весь штат колоколамской милиции, состоящий из четырех пеших милиционеров и их начальника товарища Отмежуева. Ружья милиционеров еще дымилась. Отмежуев держал в руке наган, направляя дуло его к молочным небесам.

— В кого стреляют? — закричал Никита Псов, врезываясь в толпу.

Он несколько запоздал, и по его внешнему виду (сквозь распахнувшийся сторожевой тулуп гражданина Псова была видна волосатая грудь, увенчанная голубой татуировкой в виде голой дамочки с пенящейся кружкой пива) можно было заключить, что, если он сейчас же, немедленно, не узнает, в кого стреляют, с ним может приключиться разрыв сердца.

Но Отмежуев не ответил. Задрав голову вверх, он пронзительно смотрел на низкие снежные облака.

Постепенно и толпа заприметила плывущий над площадью воздушный шар, похожий на детский мяч в сетке.

— По вражескому самолету, — отчаянным голосом скомандовал Отмежуев, — паль-ба шеренгой!!!

Шеренга, зажмурив глаза, выпалила.

— Недолет! — с сожалением крикнул Никита Псов. — Ну, все равно не уйдут, черти! Шляпами закидаем!

И тут же поделился с толпой своими соображениями:

— Знаем мы этих летунов! Это из страны Клятвии штурмовать наш Колоколамск летят. Ясное дело!

Слух о нашествии врага исторг у собравшихся на площади протяжный вопль.

Прежде чем Никита Псов, побежавший домой за топором, успел вернуться назад, воздушный шар быстро пошел на снижение. Через пять минут толпа уже различала большую камышовую корзинку и надпись, шедшую наискось шара: «Красный Калошник-Галошник».

Насчет явно русской надписи сомнений ни у кого не возникло. Мосье Подлинник, успевший занять наиудобнейшее место на могиле неизвестного частного, сразу же заявил, что надпись поддельная и сделана она коварными клятвийцами для того, чтобы ввести колоколамцев в заблуждение и тем легче их завоевать.

Отмежуев скомандовал, и новый залп поколебал морозный воздух.

Тут зрители заметили испуганные лица воздухоплателей, которые свешивались за борт корзины.

— Сдавайся! — завопил подоспевший гражданин Псов, потрясая топором.

Воздухоплатели размахивали руками и что-то кричали, но их слова таяли, не долетая до земли. Пылкий Отмежуев открыл беспорядочную стрельбу, после чего в толпу полетели мешки с балластом.

Шар на минутку взмыл, но, продырявленный колоколамскими пулями, снова пошел ко дну. Теперь расстроенные лица аэронавтов были видны настолько ясно, что толпа стала торжествовать победу.

— Сдаемся! — закричал пожилой воздухоплатель в роговых очках. — Сдаемся, дураки вы этикие!

Аэростат снизился до высоты двухэтажного дома.

— Вот еще идиоты! — кричали сверху. — Навязались на нашу голову.

— Ладно уж! — отвечали снизу. — Сходи, Клятвия, на землю. Здесь посчитаемся!

При этих словах Никита Псов приветственно взмахнул топором. Этот жест заставил лица воздухоплателей перекокситься.

— Что вы делаете?! — кричали калошники-галошники.

Никита Псов не ответил. Он высоко подпрыгнул в надежде достать топором корзину.

— Чтоб вы сдохли! — истерически закричали сверху и сбросили вниз измерительные приборы и примус.

Но так как шар все же не поднимался, летуны стали суетливо раздеваться и сбрасывать на землю шубы, пиджаки, валяные сапоги, элегантные подтяжки и перцовую колбасу.

— Консервов нету? — деловито крикнул мосье Подлинник.

— Сукины вы сыны! — ответили воздухоплатели, уносясь в небеса.

Отмежуев объявил стрельбу пачками, после чего «Красный Калошник-Галошник» камнем свалился на площадь. Один аэронавт вывалился при па-

дении и немедленно был взят в плен. Шар, гонимый ветром, потащил остальных по Старорежимному бульвару к центру города.

Толпа бросилась в погоню. Впереди всех гнался за неприятелем брендмайор Огонь-Полыхаев со своими приспешниками из пожарной команды.

На Членской площади беглый шар был настигнут, и летуны были пленены.

— Что же вы, черти, — плача, вопрошал главный аэронавт в роговых очках и фрезовых¹ кальсонах, — на своих кидаетесь с топорами?! Шар прострелили, дураки!

Недоразумение быстро разъяснилось. Полет был организован газетой «Красная акация», для каковой цели был зафрахтован воздушный корабль «Красный Калошник-Галошник».

— Написано на вас, что вы спортсмены? — угрюмо говорил Отмежуев. — Откуда мне знать? По уставу, после троекратного предупреждения, обязан стрелять. А вы говорите, что не слышали. Надо было слышать!

— Да ну вас, болванов! — сказал человек в очках. — Давайте лучше шар чинить.

Но шара уже не было. Он пропал бесследно.

Зато на другой день после отъезда неудачливых калошников-галошников из города во всех магазинах Колоколамска продавались непромокаемые пальто из отличного прорезиненного шелка.

СОБАЧИЙ ПОЕЗД

Обычно к двенадцати часам дня колоколамцы и прелестные колоколамки выходили на улицы, чтобы подышать чистым морозным воздухом. Делать горожанам было нечего, и чистым воздухом они наслаждались ежедневно и подолгу.

В пятницу, выпавшую в начале марта, когда на Большой Месткомовской степенно циркулировали наиболее именитые семьи, с Членской площади послышался звон бубенцов, после чего на улицу выкатил удивительный экипаж.

В длинных самоедских санях, влекомых цугом² двенадцатью собаками, вольно сидел закутанный в оленью доху молодой человек с маленьким тощим лицом.

При виде столь странной для умеренного колоколамского климата запряжки граждане проявили естественное любопытство и шпалерами расположились вдоль мостовой.

¹ Фрезовый (от фр. fraise — «земляника») — цвет раздавленной земляники.

² Цуг — вид упряжки, в которой лошади идут гуськом.

Неизвестный путешественник быстро покати́л по улице, часто похлестывая бичом взмыленную левую пристяжную в третьем ряду и зычным голосом вскрикивая:

— Шарик, черт косо́й! Но-о-о, Шарик!

Доставалось и другим собачкам.

— Я т-тебе, Бобик!.. Но-о-о, Жучка!.. Побери-и-гись!!!

Колоколамцы, не зная, кого послал бог, на всякий случай крикнули «ура».

Незнакомец снял меховую шапку с длинными сибирскими ушами, приветственно помахал ею в воздухе и около пивной «Голос минувшего» придержал своих неукротимых скакунов.

Через пять минут, привязав собачий поезд к дереву, путешественник вошел в пивную. На стене питейного заведения висел плакат: «Просьба о скатерти руки не вытирать», хотя на столе никаких скатертей не было.

— Чем прикажете потчевать? — спросил хозяин дрожащим от волнения голосом.

— Молчать! — закричал незнакомец. И тут же потребовал полдюжины пива.

Колоколамцам, набившимся в пивную, стало ясно, что они имеют дело с личностью незаурядной. Тогда из толпы выдвинулся представитель исполнительной власти и с беззаветной преданностью в голосе прокричал прямо по Гоголю:

— Не будет ли каких-нибудь приказаний начальнику милиции Отмежуеву?

— Будут! — ответил молодой человек. — Я профессор центральной издательской академии пространственных наук Эммануил Старохамский.

— Слушаюсь! — крикнул Отмежуев.

— Метеориты есть?

— Чего-с?

— Метеориты, или так называемые болиды, у вас есть?

— Отмежуев очень испугался. Сперва сказал, что есть. Потом сказал, что нету. Затем окончательно запутался и пробормотал, что есть один гнойник, но, к сожалению, еще недостаточно выявленный.

— Гнойниками не интересуюсь! — воскликнул молодой восемнадцатилетний профессор, которому пышные лавры Кулика не давали покою. — По имеющимся в центральной академии сведениям, у вас во время царствования Александра Первого Благословенного упал метеорит величиною в Крымский полуостров.

Представитель исполнительной власти совершенно потерялся, но положение спас мосье Подлинник, мудрейший из колоколамцев.

Он приветствовал юного профессора на восточный манер, прикладывая поочередно ладонь ко лбу и к сердцу. Он думал, что так нужно приветствовать представителей науки. Покончив с этим церемонным обрядом, он зая-

вил, что из современников Александра Первого Благословенного в городе остался один лишь беспартийный старик по фамилии Керосинов и что старик этот — единственный человек, который может дать профессору нужные ему разъяснения.

Керосинов, хотя и зарос какими-то корнями, оказался бодрым и веселым человеком.

— Ну что, старик, — дружелюбно спросил профессор, — в крематорий пора?

— Пора, батюшка, — радостно ответил полуторавековый старик, — в наш, советский крематорий. В наш-то колумбарий!

Потом подумал и добавил:

— И планетарий.

— Метеорит помнишь?

— Как же, батюшка, помню. Все приезжали, Александр Первый приезжал. И Голенищев-Кутузов приезжал с Эггертом и Малиновской. И этот, который крутит, киноимпатор приезжал. И Анри Барбюс в казенной пролетке приезжал. Расспрашивал про старую жизнь, я, конечно, таить не стал. Истязали, говорю. В 1801 году, говорю.

Тут старик понес такую чушь, что его увели. Больше никаких сведений о метеорите профессор Старохамский получить не смог.

— Ну-с, — задумчиво молвил профессор, — придется делать бурение.

За пиво он не заплатил, раскинул на Большой Месткомовской палатку и зажил там, ожидая, как он говорил, средств из центра на бурение.

Через неделю он оброс бородкой, задолжал за шесть grosсов пива и лишился собак, которые убежали от него и рыскали по окраинам города, наводя ужас на путников.

Колоколамцам юный профессор полюбился, и они очень его жалели.

— Пропадает наш Старохамский без средствиев, — говорили они дома за чаем, — а какое же бурение без средствиев!

По вечерам избранное общество собиралось в «Голосе минувшего» и разглядывало погибающего путешественника.

Профессор сидел за зеленым барьером из пивных бутылок и пронзительным голосом читал вслух московские газеты. По его маленькому лицу струились пьяные слезы.

— Вот, пожалуйста, что в газетах пишут, — бормотал он. — «Все на поиски профессора Старохамского», «Экспедиция на помощь профессору Старохамскому». Меня ищут. Ох! Найдут ли?!

И профессор рыдал с новой силой.

— Наука! — с уважением говорили колоколамцы. — Это тебе не ларек открыть. Шутка ли! Метеорит. Раз в тысячу лет бывает. А где его искать? Может, он в Туле лежит! А тут человек задаром гибнет!



Наконец через месяц экспедиция нашла на верный след.

С утра Колоколамск переполнился северными оленями, аэросанями и корреспондентами в пимах. Под звон колоколов и радостные клики толпы профессор был извлечен из «Голоса минувшего», с трудом поставлен на ноги и осмотрен экспедиционными врачами. Они нашли его прекрасно сохранившимся силы.

А в это время корреспонденты в пимах бродили по улицам и, хватая колоколамцев за полы, жалобно спрашивали:

— Гнойники есть?

— Нарывы есть?

На другой день северные олени и аэросани умчали спасителей и спасенного.

Экспедиция торопилась. Ей в течение ближайшей недели нужно было спасти еще человек двадцать исследователей, затерявшихся в снежных просторах нашей необъятной страны.

ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ

Грачи прилетели в город Колоколамск.

Был светлый ледяной весенний день, и птицы кружили над городом, резкими голосами воздавая хвалу городским властям. Колоколамские птички, подобно гражданам, всей душой любили власть имущих.

Днем на склонах Старорежимного бульвара уже бормотали ручейки, и прошлогодняя трава подымала голову.

Но не весенний ветер, не крики грачей, не попытки реки Збруи преждевременно тронуться вызвали в городе лихорадочное настроение. Залихорадило, затрясло город от сообщения Никиты Псова.

— Источник! Источник! — вопил Никита, проносясь по улицам, сбивая с ног городских сумасшедших, стуча в окна и забегая в квартиры сограждан. — Своими глазами!

— На расспросы граждан Никита Псов не отвечал, судорожно взмахивал руками и устремлялся дальше. За ним бежала растущая все больше и больше толпа.

— Кто знает, сколько бы еще мчались любопытные граждане за обезумевшим Псовым, если бы дорогу им не преградил доктор Гром, выскочивший в белом халате из своего домика.

— Тпр-р-р! — сказал доктор Гром. И все остановились. А Никита начал бессвязно божиться и колотить себя в грудь обеими руками.

— Ну, — строго спросил доктор, — скажи мне, ветка Палестины, в чем дело?

Гром любил уснащать речь стихотворными цитатами.

— В Приключенческом тупике источник забил, — с убеждением воскликнул Никита. — Своими глазами!

И гражданин Псов, прерываемый возгласами удивления, доложил обществу, что он, забредя по пьяному делу в Приключенческий тупик, проснулся на земле от прикосновения чего-то горячего. Каково же было его, Псова, удивление, когда он обнаружил, что лежит в мутноватой горячей воде, бьющей прямо из земли.

— Тут я, конечно, вскочил, — закончил Никита, — и чувствую, что весь мой ревматизм как рукой сняло. Своими глазами!

И Псов начал произносить самые страшные клятвы в подтверждение происшедшего с ним чуда.

— Прибежали в избу дети, — заявил доктор Гром, — если это не нарзан, то худо-бедно боржом.

Доктор Гром мигом слетал за инструментами, и через час в Приключенческий тупик не смогла бы проникнуть даже мышь, так много людей столпилось у источника.

Доктор, раскинув полы белого халата, сидел на земле у самого источника, небольшой параболой вылетавшего из земли и образовавшего уже порядочную лужу. Он на скорую руку производил исследование.

— Слышали ль вы, — сказал он, наконец подымаясь, — слышали ль вы за рошей глас ночной? Слышали ль вы, что это — источник, худо-бедно, в десять раз лучше нарзана?

Толпа ахнула. И доктор стал выкрикивать результаты анализа.

— Натри хлорати — 2,7899! Натри бикарбоници — 10,0026. Ферри бикарбоната — 3,1267, кали хлорази — 8,95.

— Сколько хлорази? — взволнованно переспросил мосье Подлинник, давно уже совавший палец в кипящие воды источника.

— Восемь целых, девяносто пять сотых! — победоносно ответил Гром. — Буря мглою небо кроет.

— Что небо! — ахнул Подлинник. — Это все кроет. Это богатство!

— Кисловодску — конец! — сказал доктор. — При таких углекислосщелочных данных наш источник вконец излечивает: подагру, хирагру, ожирение, сахарную болезнь, мигрень, половое бессилие, трахому, чирья, катар желудка, чесотку, ангину и сибирскую язву.

В толпе началось сильное движение. Едва доктор начал перечислять болезни, как Никита Псов сбросил свой тулупчик, прямо в штанах бросился в желтоватую воду и начал плескаться в ней с таким усердием, как будто решил избавиться сразу и от хирагры, и от полового бессилия, и от ангины, и от сибирской язвы. Источник вспенился, и все ясно почувствовали его острый целебный запах.

Многие граждане сбрасывали верхнее платье, чтобы, окунувшись в источник, возвратит себе юношеское здоровье. Их подбадривал Псов, который, дрожа, вылез из воды и начал уже покрываться ледяной пленкой.

Но тут неорганизованному пользованию благами источника был положен конец. К толпе вернулся сбегавший за начальником милиции мосье Подлинник и при помощи расторопного Отмежуева мигом вытеснил толпу из тупика, установил рогатку и турникет и повесил дощечку с надписью:

КОЛОКОЛАМСКИЙ

Радиактивный курорт

«ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ»

Главный директор — *т. Подлинник*

Начальник АФО — *т. Отмежуев*

ВХОД ВОСПРЕЩАЕТСЯ.



Толпа понуро теснилась за рогаткой, стараясь поближе пробиться к курорту «Вторая молодость». Прижавшись животом к турникету и вытянув длинную шею, стоял совершенно ошеломленный неожиданным поворотом событий доктор Гром. Отмежуев, глядя невидящими глазами, отпихивал его назад.

— А я? — в тоске спрашивал доктор.

После долгого разговора с Подлинником, во время которого собеседники хлопали друг друга по плечу и отчаянно взвизгивали, Подлинник смилостивился, и на дощечке появился новый пункт:

**Завед. медицинско-правовой
и методологическо-санитарной
частью — д-р ГРОМ.**

Администрация тут же распределила между собой функции и воодушевленно принялась за пропаганду и эксплуатацию нового курорта.

Подлинник хлопотал, как насадка. Он скупил в городе множество пивных бутылок и организовал разлив целебной воды, которую и начал продавать по полтиннику за бутылку. Это было, правда, дороже боржома, но оправдывалось сверхъестественными свойствами минерального напитка.

На вопрос, куда пойдут вырученные деньги, главный директор ответил, что 60 % пойдет на улучшение быта курортного персонала, а на остальные

будет построен курзал и приглашены из Москвы опереточная труппа и писатель Пильняк для прочтения ряда рассказов из быта мадагаскарских середняков.

Не дремал также заведующий медицинско-правовой и методологическо-санитарной частью — доктор Гром.

В анкетном зале военизированных курсов декламации и пения он в один вечер прочел подряд три лекции: «Вчера, сегодня и завтра колоколамского курорта», «У порога красоты и здоровья» и «Жизнь, на что ты мне дана».

Из последней лекции, а равно и из первых двух, явствовало, что жизнь дана гражданам для того, чтобы потреблять новый минеральный напиток «Вторая молодость».

Уже слепые бандуристы, вертя ручки своих скрипучих инструментов, воспевали будущее Колоколамска, уже выручка главного директора достигла изрядной суммы и начались споры о принципах разделения ее между участниками нового предприятия, как вдруг дивный лечебно-показательный, методологическо-санитарный, радиактивный и целебный замок рухнул.

В Приключенческий тупик пришли посланные отделом коммунального хозяйства водопроводчики, разбросали рогатки, опрокинули турникет, заявив, что им нужно починить лопнувшую в доме № 3 фановую трубу. Работу свою они выполнили в полчаса, после чего целебный источник навсегда прекратился.

За доктором-коммерсантом гонялись толпы граждан, успевших испить радиактивной водицы. Он валил все на Никиту Псова. Но предъявить к Псову претензии граждане не могли.

Узнав, в каких водах он купался, Никита слег в постель, жалуясь на ревматические боли и громко стеная.

МОРЕПЛАВАТЕЛЬ И ПЛОТНИК

Неслыханный кризис, как леденящий все живое антициклон, пронесся над Колоколамском. Из немногочисленных лавочек и с базарных лотков совершенно исчезла кожа. Исчез хром, исчезло шевро, иссякли даже запасы подошвы.

В течение целой недели колоколамцы недоумевали. Когда же, в довершение несчастья, с рынка исчез брезент, они окончательно приуныли.

К счастью, причины кризиса скоро разъяснились. Разъяснились они на празднике, данном в честь председателя общества «Геть рукопожатие» гражданина Долой-Вышневецкого по поводу пятилетнего его служения делу изжития рукопожатий.

Торжество открылось в лучшем городском помещении — анкетном зале курсов декламации и пения. Один за другим по красному коврику всходили

на эстраду представители городских организаций, произносили приветственные речи и вручали юбиляру подарки.

Шесть сотрудников общества «Геть рукопожатие» преподнесли любимому начальнику шесть шевровых портфелей огненного цвета с чемоданными ремнями и ручками.

Дружественное общество «Геть неграмотность» в лице председателя Баллюстрадника одарило взволнованного юбиляра двенадцатью хромовыми портфелями крокодилей выделки.

Юбиляр кланялся и благодарил. Оркестр мандолинистов непрерывно исполнял туш.

Начальник милиции Отмежуев, молодецки хрипя, отрапортовал приветствие и выдал герою четыре брезентовых портфеля с мечами и бантами.

Не ударил лицом в грязь и брандмайор Огонь-Полыхаев. Ему, правда, не повезло. Он спохватился поздно, когда кожи уже не было. Но из этого испытания гражданин Огонь вышел победителем: он разрезал большой шланг и соорудил из него бесподобный резиновый портфель. Это был лучший из портфелей. Он так растягивался, что мог вместить все текущие дела и архивы большого учреждения.

Долой-Вышневецкий плакал.

Речь гражданина Подлинника, выступившего от имени городской торговли и промышленности, надолго еще останется в памяти колоколамцев. Даже через тысячу лет речь Подлинника наряду с речами Цицерона и правозаступника Вакханальского будет почитаться образцом ораторского искусства.

— Вы! — воскликнул Подлинник, тыча указательным пальцем в юбиляра. — Вы — жрец науки, мученик идеи, великой идеи отмены рукопожатий в нашем городе! Вот я плачу перед вами!

Подлинник сделал попытку заплакать, но это ему не удалось.

— Я глухо рыдаю! — закричал он.

И сделал знак рукой.

Немедленно распахнулась дверь, и по боковому проходу в залу вкатилась тачка, увитая хвоей. Она была доверху нагружена коллекционными портфелями.

— Я не могу говорить! — проблеял Подлинник. И, захватив в руки груды портфелей, ловко стал метать их в юбиляра, дружелюбно покрикивая: — Вы академик! Вы герой! Вы мореплаватель! Вы плотник! Я не умею говорить! Горько! Горько!

Он сделал попытку поцеловать юбиляра, но это было невозможно. Долой-Вышневецкий по самое горло был засыпан портфелями, и к нему нельзя было подобраться.

Такого юбилея Колоколамск еще никогда не видал.

На другой день утром по городу прошел слух, что кожа наконец-то появилась в продаже. Где появилась кожа, еще никто не знал, но взволнованные

граждане на всякий случай наводнили улицы города. К полудню все бежали к рынку.

У мясных рядов вилась длинная очередь. Перед нею под большим зонтом мирно сидел академик, герой, мореплаватель и плотник Долой-Вышневецкий. Пять лет посвятил он великому делу истребления рукопожатий в пределах города Колоколамска, а первый день шестого года отдал торговле плодами своей работы. Он продавал портфели. Они были аккуратно рассортированы с обозначением цены на каждом из них.

— А вот кому хорошие портфели! — зазывал юбиляр. — А вот кому кожа на штилеты, на сапоги, на дамские лодочки! Ремни на упряжь! Есть портфели бронированные, крокодиловые, резиновые! Лучший оригинальный детский забавный подарок детям на пасху — мечи и банты! А вот кому мечи и банты на детские игрушки!

Стоптавшие обувь колоколамцы торопливо раскупали портфели и сейчас же относили их сапожникам.

Гражданин Подлинник, горько улыбаясь, приторговывал шевровый портфель на туфли жене.

— Я не оратор! — говорил он. — Но десять рублей за этот портфель, с ума сойти! Тоже мореплаватель!

— У нас без торгу! — отвечал мореплаватель и плотник. — А вот кому портфели бронированные, крокодиловые, резиновые! На сапоги! На дамские лодочки!

Торговал он и на другой день.

В конце концов он превратился в торговца портфелями, дамскими сумочками, бумажниками и ломкими лаковыми поясками. О своей бывлой научной деятельности он вспоминал редко и с неудовольствием.

Так погиб для колоколамской общественности лучший ее представитель — глава общества «Геть рукопожатие».

1928—1929



ДОПОЛНЕНИЯ

ПРОШЛОЕ РЕГИСТРАТОРА ЗАГСА¹

На масленицу 1913 года в Старгороде произошло событие, взволновавшее передовые слои местного общества. В четверг вечером в кафешантане «Сальве», в роскошно отделанных залах шла грандиозная программа:

ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНАЯ ТРУППА ЖОНГЛЕРОВ

10 арабов!

Величайший феномен XX века

Стэнс

Загадочно! Непостижимо!

Стэнс — человек-загадка!

Поразительные испанские акробаты

И н а с!

К р е з и н а — дива из парижского театра

«Фоли-Бержер!»

Сестры Д р а ф а р и другие номера

Сестры Драфир — их было трое — метались по крохотной сцене, задник которой изображал Версальский сад, и с волжским акцентом пели:

¹ Впервые опубликовано в журнале «30 дней», 1929, № 10, как самостоятельный рассказ. В примечании от редакции говорилось, что «Прошлое регистратора загса» является неизданной главой из романа «Двенадцать стульев».

В текст романа эта глава авторами не включалась и при их жизни не переиздавалась.

Вторая публикация — в журнале «Крокодил», 1957, № 24.

Печатается по тексту журнала «30 дней».

Пред вами мы, как птички,
Легко порхаем здесь,
Толпа нам рукоплещет,
Бомонд в восторге весь.

Исполнив этот куплет, сестры вздрогнули, взялись за руки и под усилившийся аккомпанемент рояля грянули что есть силы рефрен:

Мы порхаем,
Мы слез не знаем,
Нас знает каждый всяк —
И умный и дурак.

Отчаянный пляс и обворожительные улыбки трио Драфир не произвели никакого действия на передовые круги старгородского общества. Круги эти, представленные в кафешантане гласным городской думы Чарушниковым с двоюродной сестрой, первогильдейным купцом Ангеловым, сидевшим навеселе с двумя двоюродными сестрами в палевых одеждах, архитектором управы, городским врачом, тремя помещиками и многими менее именитыми людьми с двоюродными сестрами и без них, проводили трио Драфир похоронными хлопками и снова предались радостям «семейного парадного ужина с шампанским Мумм (зеленая лента) по два рубля с персоны».

На столиках в особых стоечках из белого металла торчали привлекательные голубые меню, содержание которых, наводившее на купца Ангелова тяжелую пьяную скуку, было обольстительно и необыкновенно для молодого человека, лет семнадцати, сидевшего у самой сцены с недорогой, очень зрелой двоюродной сестрой. Молодой человек еще раз перечел меню: «Судачки попьет. Жаркое — цыпленок. Малосольный огурец. Суфле-глясе Жанна д'Арк. Шампанское Мумм (зеленая лента). Дамам — живые цветы». Сбалансировал в уме одному ему известные суммы и робко заказал ужин на две персоны. А уже через полчаса плакавшего молодого человека, в котором купец Ангелов громогласно опознал переодетого гимназиста, сына бакалейщика Дмитрия Маркеловича, выводил старый лакей Петр, с негодованием бормотавший: «А ежели денег нет, то зачем фрукты требовать. Они в карточке не обозначены, их цена особая». Двоюродная сестра, кокетливо закутавшись в кошачий палантин с черными лапками, шла позади, выбрасывая зад то направо, то налево. Купец Ангелов радостно кричал вслед опозоренному гимназисту: «Двоечник! Второгодник! Папе скажу! Будет тебе бенефис!»

Скука, навеянная выступлением сестер Драфир, исчезла бесследно. На сцену медленно вышла знаменитая мадемуазель Брезина, с бритыми подмышками и небесным личиком. Дива была облачена в страусовый туалет. Она не пела, не рассказывала, даже не танцевала. Она расхаживала по сцене, умильно глядя на публику, пронзительно вскрикивала и одновременно с этим

сбивала носком божественной ножки проволочное пенсне с носа партнера — бесцветного усатого господина. Ангелов и городской архитектор, бритый старичок, были вне себя.

— Отдай все и мало! — кричал Ангелов страшным голосом.

Гласный городской думы Чарушников, ужаленный в самое сердце феей из «Фоли-Бержер», поднялся из-за столика и, примерившись, бросил на сцену кружок серпантина. Развившись только до половины, кружок попал в подбородок прелестной дивы. Неподдельное веселье захватило зал. Требовали шампанское.

Городской архитектор плакал. Помещики усиленно приглашали городского врача к себе в деревню. Оркестр заиграл туш.

В момент наивысшей радости раздались громкие голоса. Оркестр смолк, и архитектор — первый обернувшийся ко входу — сперва закашлялся, а потом зааплодировал. В зал вошел известный мот и бонвиван, уездный предводитель дворянства Ипполит Матвеевич Воробьянинов, ведя под руки двух совершенно голых дам. Позади шел околоточный надзиратель, держа под мышкой разноцветные бебехи, составлявшие, по-видимому, наряды разоблачившихся спутниц Ипполита Матвеевича.

— Извините, ваше высокоблагородие, — дрожащим голосом говорил околоточный, — но по долгу службы...

Голые дамы с любопытством смотрели на окружающих. В зале началось смятение. Не пал духом один лишь Ангелов.

— Голубчик! Ипполит Матвеевич! — закричал он. — Орел! Дай я тебя поцелую.

— По долгу службы, — неожиданно твердо вымолвил околоточный, — не позволяют правила!

— Что-с? — спросил Ипполит Матвеевич тенором. — Кто вы такой?

— Околоточный надзиратель шестого околотка, Садовой части, Юкин.

— Господин Юкин, — сказал Ипполит Матвеевич, — сходите к полицмейстеру и доложите ему, что вы мне надоели. А теперь по долгу службы делайте что хотите.

И Ипполит Матвеевич горделиво проследовал со своими спутницами в отдельный кабинет, куда немедленно ринулись встревоженный метрдотель, сам хозяин «Сальве» и совершенно одичавший купец Ангелов.

Событие это, взволновавшее передовые круги старгородского общества, окончилось так же, как оканчивались все подобные события: двадцать пять рублей штрафа и статейка в местной либеральной газете «Общественная мысль» под неосторожным заглавием «Похождения предводителя». Статейка была написана возвышенным слогом и начиналась так:

«В нашем богоспасаемом городе что ни событие, то — сенсация!

И, как нарочно, в каждой сенсации замешаны именно:

— Влиятельные лица!!!»

Статья, в которой упоминались инициалы Ипполита Матвеевича, заканчивалась неизбежным: «Бывали хуже времена, но не было подлей» — и была подписана популярным в городе фельетонистом Принцем Датским.

В тот же день чиновник для особых поручений при градоначальнике позвонил в редакцию и любезно просил господина Принца Датского прибыть в канцелярию градоначальника к четырем часам дня для объяснений. Принц Датский сразу затосковал и уже не смог дописать очередного фельетона. В назначенное время венценосный журналист сидел в приемной градоначальника и, смущаясь, думал о том, как он, заикающийся настолько, что его не смогли излечить даже курсы профессора Файнштейна, будет объясняться с градоначальником, человеком вспыльчивым и ничего не понимающим в газетной технике.

Градоначальник с особенным удовольствием всматривался в синеватое лицо Принца Датского, который тщетно силился выговорить необыкновенно трудные для него слова: «Ваше высокопревосходительство». Беседа кончилась тем, что градоначальник поднялся из-за стола и сказал:

— Для вашего спокойствия рекомендую о таких вещах больше не заикаться.

Принц Датский, успевший одолеть к этому времени слова «ваше высокопревосходительство», зашипел особенно сильно, позволил себе улыбнуться и, почти выворачиваясь наизнанку, вытряхнул из себя ответ:

— Т-т-т-так я-же в-в-в-ообще з-аикаюсь!

Остроумие Принца было оценено довольно дорого. Газета заплатила сто рублей штрафа и о следующих похождениях Ипполита Матвеевича уже ничего не писала.

Неожиданные поступки были свойственны Ипполиту Матвеевичу с детства.

Ипполит Матвеевич Воробьянинов родился в 1875 году в Старгородском уезде, в поместье своего отца Матвея Александровича, страстного любителя голубей. Пока сын рос, болел детскими болезнями и вырабатывал первые взгляды на жизнь, Матвей Александрович гонял длинным бамбуковым шестом голубей, а по вечерам, запахнувшись в халат, писал сочинение о разновидностях и привычках любимых птиц. Все крыши усадебных построек были устланы хрупким голубиным пометом. Любимый голубь Матвея Александровича Фредерик со своей супругой Манькой обитал в отдельной благоустроенной голубятне.

На девятом году мальчика определили в подготовительный класс Старгородской дворянской гимназии, где он узнал, что, кроме красивых и приятных вещей: пенала, скрипящего и пахнущего кожаного ранца, переводных картинок и упоительного катания на лаковых перилах гимназической лестницы, есть еще единицы, двойки, двойки с плюсом и тройки с двумя минусами.

О том, что он лучше других мальчиков, Ипполит узнал уже во время вступительного экзамена по арифметике. На вопрос, сколько получится яблок, если из левого кармана вынуть три яблока, а из правого девять, сложить их вместе, а потом разделить на три, Ипполит ничего не ответил, потому что решить этой задачи не смог. Экзаменатор собрался было записать Воробьянинову Ипполиту двойку, но батюшка, сидевший за экзаменационным столом, со вздохом сообщил: «Это Матвея Александровича сын. Очень бойкий мальчик». Экзаменатор записал Воробьянинову Ипполиту «три», и бойкий мальчик был принят.

В Старгороде было две гимназии: дворянская и городская. Воспитанники дворянской гимназии питали вражду к питомцам гимназии городской. Они называли их «карандашами» и гордились своими фуражками с красным околышем.

За это в свою очередь они получили обидное прозвище «баклажан». Не один карандаш принял мученический венец из «фонарей» и «бланшей» от руки мстительных баклажан. Озлобленные карандаши устраивали на баклажан-одинокочек облавы и с гиканьем обстреливали дворянчиков из дальнобойных рогаток.

Баклажан-одинокочка, тряся ранцем, спасался в переулочек и долго еще сидел в подъезде какого-нибудь дома, бледный, потерявший одну галошу. Взятая в плен галоша забрасывалась победителями на крышу трехэтажного дома, самого высокого в городе.

Были еще в Старгороде кадеты, которых гимназисты называли «сапогами», но жили они в двух верстах от города, в своем корпусе, и вели, по мнению баклажан, жизнь загадочную и даже легендарную.

Ипполит завидовал кадетам, их голубым погончикам, с наляпанным по трафарету желтым александровским вензелем, их бляхам с накладными орлами; но лишенный, по воле отца, возможности получить воспитание воина, сидел в гимназии, получал тройки с двумя минусами и предпринимал самые неслыханные дела.

В третьем классе Ипполит остался на второй год. Как-то, перед самыми экзаменами, во время большой перемены три гимназиста забрались в актальный зал и долго лазили там, с восторгом осматривая стол, покрытый сверкающим зеленым сукном, тяжелые малиновые портьеры с бомбошками и кадки с пальмами.

Гимназист Савицкий, известный в гимназических кругах сорвиголова, радостно плюнул в вазон с фикусом, Ипполит и третий гимназист, Пыхтеев-Какуев, чуть не умерли от смеха.

— А фикус ты можешь поднять? — с почтением спросил Ипполит.

— Ого! — ответил силач Савицкий.

— А ну, подними!

Савицкий сейчас же начал трудиться над фикусом.

— Не подынешь! — шептали Ипполит с Пыхтеевым-Какуевым.

Савицкий с красной мордочкой и взмокшими нахохленными волосами продолжал напрягаться у фикуса.

Вдруг произошло самое ужасное. Савицкий оторвался от фикуса и спиной налетел на колонну красного дерева с золотыми ложбинками, на которой стоял мраморный бюст Александра I, Благословенного. Бюст зашатался, слепые глаза царя укоризненно посмотрели на мигом притихших гимназистов, и Благословенный, постояв секунду под углом в сорок пять градусов, кинулся головой вниз, как пловец в реку. Падение императора имело роковые последствия. От лица царя отделился сверкающий рафинадный кусок, в котором гимназисты с ужасом узнали нос. Холодея, товарищи подняли бюст и поставили его на прежнее место. Первым убежал Пыхтеев-Какуев.

— Что же теперь будет, Воробьянинов? — спросил Савицкий.

— Это не я разбил, — быстро ответил Ипполит.

Он покинул актальный зал вторым. Оставшись один, Савицкий, не надеясь ни на что, пытался водворить нос на прежнее место. Нос не приставал. Тогда Савицкий пошел в уборную и утопил нос в дыре.

Во время «греческого» в третий класс вошел директор «Сизик». Сизик сделал греку знак оставаться на месте и произнес ту же самую речь, которую он только что произносил по очереди в пяти старших классах. У директора не было зубов.

— Гошпода, — заявил он, — кто ражбил бюшт гошударя в актовом жале? Класс молчал.

— Пожор! — рявкнул директор, обрызгивая слюною зубрил, сидящих на передних партах.

Зубрилы преданно смотрели в глаза Сизика. Взгляд их выражал горькое сожаление о том, что они не знают имени преступника.

— Пожор! — повторил директор. — Имейте в виду, гошпода, что ешли в чечение чаша виновный не шожнаеча, вещь клаш будет оштавлен на второй год. Те же, которые шидят второй год, будут ишключены.

Третий класс не знал, что Сизик говорил о том же самом во всех классах, и поэтому его слова вызвали страх.

Конец урока прошел в полном смятении. Грека никто не слушал. Ипполит смотрел на Савицкого.

— Сизик врет, — говорил Савицкий грустно, — пугает. Нельзя всех оставить на второй год.

Пыхтеев-Какуев плакал, положив голову на парту.

— А мы-то за что? — кричали зубрилы, преданно глядя на грека.

— Ну, дети, дети, дети! — взывал грек.

Но паника только увеличивалась. Плакал уже не один Пыхтеев-Какуев.

Доведенные до отчаяния зубрили рыдали. Звонки, возвестивший конец урока, прозвучал среди взрывов всеобщего отчаяния.

Зубрила Мурзик прочел молитву после учения: «Благодарим тебя, создателю», икая от горя.

После урока Савицкий, не добившись никакого толку от заплаканного Пыхтеева-Какуева, пошел искать Ипполита, но Ипполита нигде не было.

На другой день Савицкий был исключен из гимназии. Пыхтеев-Какуев получил тройку из поведения с предупреждением и вызовом родителей. Родитель, мелкопоместный владетель, приехал на бегунках, запряженных неподкованной лошадкой, и после разговора с директором утащил сына в шинельную, где и отодрал его самым зверским образом суконными вожжами в присутствии массы любопытных из старших классов. Рев маленького Пыхтеева-Какуева был слышен за городской чертой.

Ипполит наказан не был, а гимназические его годы сопровождали обычные события и вещи. В гимназию он приезжал в фаэтоне с фонарями и толстым кучером, который величал его по имени и отчеству. Липки и резинки водились у него самые лучшие и дорогие. Играл он в перышки всегда счастливо, потому что перья покупали ему целыми коробками, и с таким резервом он мог играть до бесконечности, беря противников на выдержку. Завтракать он ездил домой. Это вызывало зависть, и он этим гордился.

В шестом классе была выкурена первая папироса. Зима прошла в гимназических балах. Ипполит вертелся в мазурке и пил в гардеробной ром. В седьмом классе его мучили квадратные уравнения, «чертова лестница» (объем пирамиды), параллелограмм скоростей и «Метаморфозы» Овидия. А в восьмом классе он узнал «Логикку», «Христианское правоучение» и легкую венерическую болезнь.

Отец его сильно одряхлел. Длинный бамбуковый шест дрожал в его руках, а сочинение о свойствах голубиной породы еще не дошло до середины. Матвей Александрович умер, так его и не закончив, и Ипполит Матвеевич, кроме шестнадцати голубиных стай, совершенно иссохшего и ставшего похожим на попугая Фредерика, получил двадцать тысяч годового дохода и огромное, плохо поставленное хозяйство.

Начало самостоятельной жизни молодой Воробьянинов ознаменовал кутежом с пьяной стрельбой по голубям. Он не пошел ни в университет, ни на государственную службу. От военной службы его избавила общая слабость здоровья, поразительная в таком цветущем на вид человеке. Он так и остался неслужащим дворянином, золотой рыбкой себе на уме, неверным женихом и волокитой по натуре. Он переустроил родительский особняк в Старгороде на свой лад, завел камердинера с баками, трех лакеев, повара-француза и большой штат кухонной прислуги.

Благотворительные базары в Старгороде отличались большой пышностью и изобретательностью, которую наперерыв проявляли дамы избранного общества.

Базары эти устраивались то в виде московского трактира, то на манер кавказского аула, где черкешенки в корсетах торговали в пользу приютских детей шампанским Аи по цене, неслыханной даже на таких заоблачных высотах.

На одном из этих базаров Ипполит Матвеевич, стоя под вывеской: «Настоящи кавказки духан. Нормални кавказки удоволсти», познакомился с женой нового окружного прокурора — Еленой Станиславовной Боур. Прокурор был стар, но жена его, по уверению секретаря суда, была:

...Сама юность волнующая,
Сама младость ликующая,
К поцелуям зовущая,
Вся такая воздушная.

Секретарь суда грешил стишками.

«Зовущая к поцелуям» Елена Станиславовна носила на голове черную бархатную тарелочку с шелковой розеткой цветов французского национального флага, что должно было изображать полный наряд молодой черкесской девицы. На плече воздушная прокурорша держала картонный кувшин, оклеенный золотой бумагой, из которого торчало горлышко шампанской бутылки.

— Разришиты стаканчик шенпански! — сказал Ипполит Матвеевич, представляясь истинным горцем.

Прокурорша нежно улыбнулась и спустила с плеча кувшин.

Ипполит Матвеевич, задержав дыхание, смотрел на ее голые, парафиновые руки, неумело открывающие бутылку. Он выпил шипучку, не почувствовав даже вкуса. Голые руки Елены Станиславовны смешали все его мысли. Он вынул из жилетного кармана сотенный билет, положил его на край скалы из бурого папье-маше и, громко сопя, отошел. Прокурорша улыбнулась еще нежней, потащила кредитку к себе и молвила музыкальным голосом:

— Бедные дети не забудут вашей щедрости.

Ипполит Матвеевич издали прижал руки к груди и поклонился на целый аршин глубже, чем кланялся обычно.

Разогнувшись, он понял, что без прокурорши ему не жить, и попросил секретаря представить его новому прокурору. Прокурор был похож на умную обезьяну.

Прогуливаясь с Ипполитом Матвеевичем между замком Тамары и чучелом орла, державшим в клюве кружку для пожертвований, прокурор Боур проворно чесал у себя за ухом и рассказывал последние петербургские новости.

С Еленой Станиславовной Воробьянинову в этот вечер довелось разговаривать еще несколько раз по поводу бедственного положения приютских детей и живописности старгородского парка.

На следующий день Ипполит Матвеевич подкатил к подъезду Боуров на злейших в мире лошадях, провел полчаса в приятнейшей беседе о бедственном положении приютских детей, а уже через месяц секретарь суда конфиденциально шепнул в мохнатое ухо следователя по важнейшим делам, что прокурор, «кажется, стал бодаться», на что следователь с усмешкой ответил: «Це дило треба розжувати» — и рассказал очень интересное дело, слушавшееся в городе Орле и окончившееся оправданием мужа, убившего изменницу-жену.

Во всем городе дамочки заливались по-соловьиному. Мужья завидовали удачливости Воробьянинова. Постники, трезвенники и идеалисты забрасывали прокурора анонимными письмами. Прокурор читал их на заседаниях суда, ловко и быстро почесывая за ухом. С Воробьяниновым он был любезнее прежнего.

Положение его было безвыходным — он ожидал вскоре перевода в столицу и не мог портить карьеры пошлым убийством любовника жены.

Но Ипполит Матвеевич позволил себе совершенную бестактность: он велел выкрасить свой экипаж в белый цвет и прокатился в нем вместе с угоревшей от любви прокуроршей по Большой Пушкинской улице.

Напрасно Елена Станиславовна прикрывала мраморное лицо вуалеткой, расшитой черными птичками, — ее узнали все. Город в страхе содрогнулся, но и этот любовный эксцесс не оказал на прокурора никакого действия. Отчаявшиеся постники, трезвенники и идеалисты стали бомбардировать анонимками самое министерство юстиции. Товарищ министра был поражен трудностью окружного прокурора. Все ждали дуэли. Но прокурор по-прежнему, минуя оружейный магазин, катил каждое утро к зданию судебных установлений, с грустью поглядывая на фигуру Фемиды, державшей весы. В одной их чаше Боур явственно видел себя санкт-петербургским прокурором, а в другой — розового и наглого Воробьянинова.

Все кончилось совершенно неожиданно: Ипполит Матвеевич увез прокуроршу в Париж, а прокурора перевели в Сызрань. В Сызрани прокурор прожил долго, заслал человек восемьсот на каторгу и в конце концов умер.

Когда через год они вернулись назад, Старгород был завален снегом.

Тяжелые обозы шагом проходили по Большой Пушкинской. Обледенелые деревья Александровского бульвара были абонированы галками. Снежные звезды, крестики и другие морозные знаки отличий медленно садились на нос Ипполита Матвеевича. Ветра не было. С вокзала Ипполит Матвеевич ехал на низких санках, небрежно поглядывая на городские достопримечательности: на новое здание биржи, сооруженное усердием старгородских купцов в

ассиро-вавилонском стиле, на каланчу пушкинской части с висевшими на ней двумя большими круглыми бомбами, которые указывали на пожар средней величины, возникший в районе.

— Кто горит, Михайла? — спросил Ипполит Матвеевич кучера.

— Балагуровы горят. Вторые сутки.

Не проехали и двух кварталов, как натолкнулись на небольшую толпу народа, уныло стоявшую напротив балагуровского дома. Из открытых окон второго этажа медленно выходил дым. В окне появился пожарный и лениво прокричал вниз:

— Ваня! Дай-ка французскую лестницу.

Снег продолжал лететь. Внизу никто не отозвался. Пожарный в раздумье постоял у окна, зевнул и равнодушно скрылся в дыму.

— Так он и пять суток гореть будет, — гневно сказал Ипполит Матвеевич. — Тоже... Париж!

С Еленой Станиславовной Воробьянинов разошелся очень мирно. Продолжал бывать у нее, ежемесячно посылал ей в конверте триста рублей и ни сколько не обижался, когда заставлял у нее молодых людей, по большей части бойких и прекрасно воспитанных.

Ипполит Матвеевич продолжал жить в своем особняке на Денисовской улице, ведя легкую холостую жизнь. Он очень заботился о своей наружности, посещал первые представления в городском театре и одно время так пристрастился к опере, что подружился с баритоном Аврамовым и прошел с ним арию Жермона из «Травиаты» — «Ты забыл край милый свой, бросил ты Прованс родной». Когда приступили к разучиванию арии Риголетто: «Куртизаны, исчадья порока, насмеялись надо мною вы жестоко», баритон с негодованием заметил, что Ипполит Матвеевич живет с его женою, колоратурным сопрано. Последовавшая затем сцена была ужасна. Возмущенный до глубины души баритон сорвал с Воробьянинова сто шестьдесят рублей и поскакал в Казань.

Скабрзные похождения Ипполита Матвеевича, а в особенности избиение в клубе благородного собрания присяжного поверенного Мурузи, закрепили за ним репутацию демонического человека.

Даже в 1905 году, принесшем беспокойство и тревогу, Ипполита Матвеевича не покинула природная жизнерадостность и вера в твердые устои российской государственности. К тому же в имени Ипполита Матвеевича все прошло тихо, если не считать сожжения нескольких стогов сена. Графа Витте, заключившего Портсмутский мир, Ипполит Матвеевич сгоряча назвал предателем, но подробно по этому поводу так и не высказался.

Новые годы не переменили жизни Ипполита Матвеевича. Он часто бывал в Петербурге и Москве, любил слушать цыган, делая при этом тонкое различие между петербургскими и московскими, посещал гимназических то-

варищей, служивших кто по министерству внутренних дел, а кто по финансовой части.

Жизнь проходила весело и быстро. На Ипполита Матвеевича уже не охотились предприимчивые родоначальницы. Все считали его безнравственным холостяком. И вдруг в 1911 году Воробьянинов женился на дочери соседа, состоятельного помещика Петухова. Произошло это после того, как отъявленный холостяк, заехав как-то в имение, увидел, что дела его пошатнулись и что без выгодной женитьбы поправить их невозможно. Наибольшее приданое можно было получить за Мари Петуховой, долговязой и кроткой девушкой. Два месяца Ипполит Матвеевич складывал к подножию Мари белые розы, а на третий сделал предложение, женился и был избран уездным предводителем дворянства.

— Ну, как твой скелетик? — нежно спрашивала Елена Станиславовна, у которой Ипполит Матвеевич после женитьбы стал бывать чаще прежнего.

Ипполит Матвеевич весело очеривался, заливаясь смехом.

— Нет, честное слово, она очень милая, но до чего наивна... А теща, Клавдия Ивановна!.. Ты знаешь, она называет меня «Эполет». Ей кажется, что так произносят в Париже! Замечательно!

С годами жизнь Ипполита Матвеевича заметно менялась. Он рано и красиво поседел. У него появились маленькие привычки. Просыпаясь по утрам, он говорил себе: «Гут морген» или «Бонжур». Его одолевали детские страсти. Он начал собирать земские марки, ухлопал на это большие деньги, скоро оказался владельцем лучшей коллекции в России и завел оживленную переписку с англичанином Энфильдом, обладавшим самым полным собранием русских земских марок. Превосходство англичанина в области коллекционирования марок подобного рода сильно волновало Ипполита Матвеевича. Положение предводителя и большие связи помогли ему в деле одоления соперника из Глазго. Ипполит Матвеевич подбил председателя земской управы на выпуск новых марок Старгородского губернского земства, чего уже не было лет десять.

Председатель, смешливый старик, введенный Ипполитом Матвеевичем в суть дела, долго хохотал и согласился на предложение Воробьянинова. Новые марки были выпущены в двух экземплярах и включены в каталог за 1912 год. Клише Воробьянинов собственноручно разбил молотком. Через три месяца Ипполит Матвеевич получил от Энфильда учтивое письмо, в котором англичанин просил продать ему одну из тех редчайших марок по цене, какую будет угодно назначить мистеру Воробьянинову.

От радости на глазах у мистера Воробьянинова выступили слезы. Он медленно сел писать ответное письмо мистеру Энфильду. В письме он написал латинскими буквами только два слова: «Накося выкусы».

После этого деловая связь с мистером Энфильдом навсегда прекратилась и удовлетворенная страсть Ипполита Матвеевича к маркам значительно ослабела.

К этому времени Воробьянинова стали звать бонвиваном. Да он и в самом деле любил хорошо пожить. Жил он, к удивлению тещи, доходами от имения своей жены. Клавдия Ивановна однажды даже пыталась поделиться с ним своими взглядами на жизнь и обязанности примерного мужа, но зять внезапно затрясся, сбросил на пол сахарницу и крикнул:

— Замечательно! Меня учат жить! Это просто замечательно!

Вслед за этим бушующий зять укатил в Москву на банкет, затеянный охотничьим клубом в честь умерщвления известным охотником г. Шарабаринным двухтысячного, со времени основания клуба, волка.

Столы были расставлены полумесяцем. В центре на сахарной скатерти, среди поросят, заливных и вспотевших графинчиков с водками и коньяками лежала шкура юбиляра. Г. Шарабарин в коричневой визитке и котелке, клюнувший уже с утра и ослепленный магнием бесчисленных фотографов, стоял, дико поглядывая по сторонам, и слушал речи.

Ипполиту Матвеевичу слово было предоставлено поздно, когда он уже основательно развеселился. Он быстро накинул на себя шкуру волка и, позабыв о семейных делах, торжественно сказал:

— Милостивые государи, господа члены охотничьего клуба! Позвольте вас поздравить от имени старгородских любителей ружейной охоты с таким знаменательным событием. Очень, очень приятно видеть таких почтенных любителей ружейной охоты, как господин Шарабарин, которые, держась за руки, идут к достижению вечных идеалов! Очень, очень приятно!

Сказав этот спич, Ипполит Матвеевич сбросил на пол юбилейную шкуру, поставил на нее сопротивляющегося господина Шарабарина и троекратно с ним расцеловался.

В этот свой наезд Ипполит Матвеевич пробыл в Москве две недели и вернулся веселый и злой. Теща дулась. И Ипполит Матвеевич в пику ей совершил поступок, который дал такую обильную пищу злоязычию Принца Датского.

Был 1913 год.

Французский авиатор Бранденжон де Мулинэ совершил свой знаменитый перелет из Парижа в Варшаву на приз Помери. Дамы в корзинных шляпах, с кружевными белыми зонтиками и гимназисты старших классов встретили победителя воздуха восторженными криками. Победитель, несмотря на перенесенное испытание, чувствовал себя довольно бодро и охотно пил русскую водку.

Жизнь была ключом.

На Александровском вокзале в Москве толпа курсисток, носильщиков и членов общества «Свободной эстетики» встречала вернувшегося из Поли-

незии К. Д. Бальмонта. Толстощекая барышня первая кинула в трубадура с козлиной бородкой мокрую розу. Поэта осыпали цветами весны — ландышами. Началась первая приветственная речь:

— Дорогой Константин, семь лет ты не был в Москве...

После речей к поэту прорвался почитатель из присяжных поверенных и, передавая букет поэту, сказал вытверженный наизусть экспромт:

Из-за туч
Солнца луч —
Гений твой.
Ты могуч,
Ты певуч,
Ты живой.

Вечером в обществе «Свободной эстетики» торжество чествования поэта было омрачено выступлением неофутуриста Маяковского, допытывавшегося у прославленного барда, «не удивляет ли его то, что все приветствия исходят от лиц, ему близко знакомых». Шиканье и свистки покрыли речь неофутуриста.

Два молодых человека — двадцатилетний барон Гейсмар и сын видного чиновника министерства иностранных дел Далматов — познакомились в иллюзионе с женой прапорщика запаса Марианной Тиме и убили ее, чтобы ограбить.

В кинематографах, на морщинистых экранах, шла сильная драма в трех частях из русской жизни: «Княгиня Бутырская», хроника мировых событий «Эклер-журнал» и комическая «Талантливый полицейский» с участием Поксона (гомерический хохот).

Из Спасских ворот Кремля выходил на Красную площадь крестный ход, и протоиерей Розов, десятипудовый верзила, читал устрашающим голосом высочайший манифест.

В Старгородской газете «Ведомости градоначальства» появился ликующий стишок, принадлежащий перу местного цензора Плаксина:

Скажи, дорогая мамаша,
Какой нынче праздник у нас,
В блестящем мундире папаша,
Не ходит брат Митенька в класс?

Брат Митенька не ходил в класс по случаю трехсотлетия дома Романовых. И папаша действительно в блестящих мундирах и просторных треугольниках катили в пролетках к Стрельбищенскому полю, на котором назначен был парад частей гарнизона, кадетского корпуса и казенных гимназий.

На джутовой фабрике и в железнодорожных мастерских рабочим раздавали билеты на романовские гуляния в саду трезвости, а вечером несколько

штатских выхватили из толпы гуляющих двух рабочих и отвезли их на извозчиках в жандармское управление. В темном небе блистал, сокращался и, раздуваемый ветром, снова пылал фейерверочный императорский вензель.

В эту же ночь Ипполит Матвеевич, от которого еще пахло духами, переваривал торжественный ужин, сидя на балконе своего особняка. Ему было только тридцать восемь лет. Тело он имел чистое, полное и доброкачественное.

Зубы все были на месте. В голове, как ребенок во чреве матери, мягко шевелился свежий армянский анекдот. Жизнь казалась ему прекрасной. Теща была побеждена, денег было много, на будущий год он замышлял новое путешествие за границу.

Но не знал Ипполит Матвеевич, что через год, в мае, умрет его жена, а в июле возникнет война с Германией. Он считал, что к пятидесяти годам будет губернским предводителем, не зная того, что в восемнадцатом году его выгонят из собственного дома, и он, привыкший к удобному и сытому безделью, покинет потухший Старгород, чтобы в товарно-пассажирском поезде бежать куда глаза глядят.

Ипполит Матвеевич, сидя на балконе, видел в своем воображении мелкую рябь остендского взморья, кровли Парижа, темный лик и сиянье медных кнопок международного вагона, но не воображал себе Ипполит Матвеевич (а если бы и вообразил, то все равно не понял бы) хлебных очередей, замерзшей постели, масляного «каганца», сыпнотифозного бреда и лозунга «Сделал свое дело — и уходи» в канцелярии загса уездного города N.

Не знал Ипполит Матвеевич, сидя на балконе, и того, что через четырнадцать лет еще крепким мужчиной он вернется в Старгород и снова войдет в те самые ворота, над которыми он сейчас сидит, войдет чужим человеком, чтобы искать клад своей тещи, сдуру запрятанный ею в гамбсовский стул, на котором ему так удобно сейчас сидеть и, глядя на полыхающий фейерверк с горящим в центре императорским гербом, мечтать о том, как прекрасна жизнь.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ОБ ИЛЬФЕ

1

Однажды, во время путешествия по Америке, мы с Ильфом поссорились. Произошло это в штате Нью-Мексико, в маленьком городе Галлопе, вечером того самого дня, глава о котором в нашей книге «Одноэтажная Америка» называется «День несчастий».

Мы перевалили Скалистые горы и были сильно утомлены. А тут еще предстояло сесть за пишущую машинку и писать фельетон для «Правды».

Мы сидели в скучном номере гостиницы, недовольно прислушиваясь к свисткам и колокольному звону маневровых паровозов (в Америке железнодорожные пути часто проходят через город, а к паровозам бывают прикреплены колокола). Мы молчали. Лишь изредка один из нас говорил: «Ну?»

Машинка была раскрыта, в каретку вставлен лист бумаги, но дело не двигалось.

Собственно говоря, это происходило регулярно в течение всей нашей десятилетней литературной работы — трудней всего было написать первую строчку. Это были мучительные дни. Мы нервничали, сердились, понукали друг друга, потом замолкали на целые часы, не в силах выдать ни слова, потом вдруг принимались оживленно болтать о чем-нибудь, не имеющем никакого отношения к нашей теме, — например, о Лиге Наций или о плохой работе Союза писателей. Потом замолкали снова. Мы казались себе самыми гадкими лентяями, какие только могут существовать на свете. Мы казались себе беспредельно бездарными и глупыми. Нам противно было смотреть друг на друга.

И обычно, когда такое мучительное состояние достигало предела, вдруг появлялась первая строчка — самая обыкновенная, ничем не замечательная строчка. Ее произносил один из нас довольно неуверенно. Другой с кислым видом исправлял ее немного. Строчку записывали. И тотчас же все мучения кончались. Мы знали по опыту — если есть первая фраза, дело пойдет.

Но вот в городе Галлопе, штат Нью-Мексико, дело никак не двигалось вперед. Первая строчка не рождалась. И мы поссорились.

Вообще говоря, мы ссорились очень редко, и то по причинам чисто литературным — из-за какого-нибудь оборота речи или эпитета. А тут ссора приключилась ужасная — с криками, ругательствами и страшными обвинениями. То ли мы слишком изнервничались и переутомились, то ли сказала здесь смертельная болезнь Ильфа, о которой ни он, ни я в то время еще не знали, только поссорились мы долго — часа два. И вдруг, не сговариваясь, мы стали смеяться. Это было странно, дико, невероятно, но мы смеялись. И не каким-нибудь истерическим, визгливым, так называемым чуждым смехом, после которого надо принимать валерьянку, а самым обыкновенным, так называемым здоровым смехом. Потом мы признались друг другу, что одновременно подумали об одном и том же: нам нельзя ссориться, это бессмысленно. Ведь мы все равно не можем разойтись. Ведь не может же исчезнуть писатель, проживший десятилетнюю жизнь и сочинивший полдесятка книг, только потому, что его составные части поссорились, как две домашние хозяйки в коммунальной кухне из-за примуса.

И вечер в городе Галлопе, начавшийся так ужасно, окончился задушевнейшим разговором.

Это был самый откровенный разговор за долгие годы нашей никогда и ничем не омрачавшейся дружбы. Каждый из нас выложил другому все свои самые тайные мысли и чувства. Уже очень давно, примерно к концу работы над «12 стульями», мы стали замечать, что иногда произносим какое-нибудь слово или фразу одновременно. Обычно мы отказывались от такого слова и принимались искать другое.

— Если слово пришло в голову одновременно двум, — говорил Ильф, — значит, оно может прийти в голову трем и четверем, значит, оно слишком близко лежало. Не ленитесь, Женья, давайте поищем другое. Это трудно. Но кто сказал, что сочинять художественные произведения — легкое дело?

Как-то, по просьбе одной редакции, мы сочинили юмористическую автобиографию, в которой было много правды. Вот она:

«Очень трудно писать вдвоем. Надо думать, Гонкурам было легче. Все-таки они были братья. А мы даже не родственники. И даже не однолетки. И даже различных национальностей: в то время как один русский (загадочная славянская душа), другой — еврей (загадочная еврейская душа).

Итак, работать нам трудно.

Труднее всего добиться того гармонического момента, когда оба автора усаживаются наконец за письменный стол.

Казалось бы, все хорошо: стол накрыт газетой, чтобы не пачкать скатерти, чернильница полна до краев, за стеной одним пальцем выстукивают на рояле «О, эти черные...», голубь смотрит в окно, повестки на разные заседания разорваны и выброшены. Одним словом, все в порядке, сиди и сочиняй.

Но тут начинается.

Тогда как один из авторов полон творческой бодрости и горит желанием подарить человечеству новое художественное произведение, как говорится, широкое полотно, другой (о, загадочная славянская душа!) лежит на диване, задрал ножки, и читает историю морских сражений. При этом он заявляет, что тяжело (по всей вероятности, смертельно) болен.

Бывает и иначе.

Славянская душа вдруг подымается с одра болезни и говорит, что никогда еще не чувствовала в себе такого творческого подъема. Она готова работать всю ночь напролет. Пусть звонит телефон — не отвечать, пусть ломятся в дверь гости — вон! Писать, только писать. Будем прилежны и пылки, будем бережно обращаться с подлежащим, будем лелеять сказуемое, будем нежны к людям и строги к себе.

Но другой соавтор (о, загадочная еврейская душа!) работать не хочет, не может. У него, видите ли, нет сейчас вдохновения. Надо подождать. И вообще он хочет ехать на Дальний Восток с целью расширения своих горизонтов.

Пока убедишь его не делать этого поспешного шага, проходит несколько дней. Трудно, очень трудно.

Один — здоров, другой — болен. Больной выздоровел, здоровый ушел в театр. Здоровый вернулся из театра, а больной, оказывается, устроил небольшой разворот для друзей, холодный бал с закуской а-ля фуршет. Но вот наконец прием окончился и можно было бы приступить к работе. Но тут у здорового вырвали зуб, и он сделался больным. При этом он так неистово страдает, будто у него вырвали не зуб, а ногу. Это не мешает ему, однако, дочитывать историю морских сражений.

Совершенно непонятно, как это мы пишем вдвоем».

Действительно. Сочинять вдвоем было не вдвое легче, как это могло бы показаться в результате простого арифметического сложения, а в десять раз труднее. Это было не простое сложение сил, а непрерывная борьба двух сил, борьба изнурительная и в то же время плодотворная. Мы отдавали друг другу весь свой жизненный опыт, свой литературный вкус, весь запас мыслей и наблюдений. Но отдавали с борьбой. В этой борьбе жизненный опыт подвергался сомнению. Литературный вкус иногда осмеивался, мысли признавались глупыми, а наблюдения поверхностными. Мы непрерывно подвергали друг друга жесточайшей критике, тем более обидной, что преподносилась она в юмористической форме. За письменным столом мы забывали о жалости.

Со временем мы все чаще стали ловить себя на том, что произносим одно и то же слово

одновременно. И часто это было действительно хорошее, нужное слово, которое лежало не близко, а далеко. И хотя оно было произнесено двумя, но едва ли могло прийти в голову еще трем или четверем. Так выработался у нас единый литературный стиль и единый литературный вкус. Это было полное духовное слияние. И вот о нем мы говорили вечером в городе Галлопе, штат Нью-Мексико.

Мы признались друг другу, что испытываем одно и то же чувство неуверенности в собственных силах. Сможет ли один из нас написать хотя бы одну строчку самостоятельно? Год спустя мы написали нашу последнюю большую книгу — «Одноэтажную Америку». Это было первое произведение, которое мы сочиняли порознь: двадцать глав написал Ильф, двадцать глав написал я, и семь глав мы написали вместе, по старому способу. Мы убедились, что наши страхи были напрасны.

Но тогда, в Галлопе, мы были откровенны и нежны и очень встревожены.

Я не помню, кто из нас произнес эту фразу:

— Хорошо, если бы мы когда-нибудь погибли вместе, во время какой-нибудь авиационной или автомобильной катастрофы. Тогда ни одному из нас не пришлось бы присутствовать на собственных похоронах.

Кажется, это сказал Ильф. Я уверен, что в эту минуту мы подумали об одном и том же. Неужели наступит такой момент, когда один из нас останется с глазу на глаз с пишущей машинкой? В комнате будет тихо и пусто, и надо будет писать.

А через три недели жарким и светлым январским днем мы прогуливались по знаменитому кладбищу Нового Орлеана, рассматривая странные могилы, расположенные в два или три этажа над землей. Ильф был очень бледен и задумчив. Он часто уходил один в переулочки, образованные скучными рядами кирпичных побеленных могил, и через несколько минут возвращался, еще более печальный и встревоженный.

Вечером, в гостинице, Ильф, морщась, сказал мне:

— Женья, я давно хотел поговорить с вами. Мне очень плохо. Уже дней десять как у меня болит грудь. Болит непрерывно, днем и ночью. Я никуда не могу уйти от этой боли. А сегодня, когда мы гуляли по кладбищу, я кашлянул и увидел кровь. Потом кровь была весь день. Видите?

Он кашлянул и показал мне платок.

Через год и три месяца, 13 апреля 1937 года, в десять часов тридцать пять минут вечера Ильф умер.

2

И вот я сижу один против пишущей машинки, на которой Ильф в последний год своей жизни напечатал удивительные записки. В комнате тихо и пусто, и надо писать. И в первый раз после привычного слова «мы» я пишу пустое и холодное слово «я» и вспоминаю нашу молодость.

Как это было?

Мы оба родились и выросли в Одессе, а познакомились в Москве.

В 1923 году Москва была грязным, запущенным и беспорядочным городом. В конце сентября прошел первый осенний дождь и на булыжных мостовых грязь держалась до заморозков. В Охотном ряду и в Обжорном ряду торговали частники. С грохотом проезжали ломовики. Валялось сено. Иногда раздавался милицейский свисток, и беспатентные торговцы, толкая пешеходов корзинками и лотками, медленно и нахально разбегались по переулочкам. Москвичи смотрели на них с отвращением. Противно, когда по улице бежит взрослый бородатый человек с красным лицом и вытаращенными глазами. Возле асфальтовых котлов сидели беспризорные дети. У обочин стояли извозчики — странные экипажи с очень высокими колесами и узеньким сиденьем, на котором еле помещались два человека. Московские

извозчики были похожи на птеродактилей с потрескавшимися кожаными крыльями — существа допотопные и к тому же пьяные. В том году милиционерам выдали новую форму — черные шинели и шапки пирожком из серого искусственного барашка с красным суконным верхом. Милиционеры очень гордились новой формой. Но еще больше гордились они красными палочками, которые были им выданы для того, чтобы дирижировать далеко не оживленным уличным движением.

Москва отъедалась после голодных лет. Вместо старого, разрушенного быта создавался новый. В Москву понаехало множество провинциальных молодых людей для того, чтобы завоевать великий город. Днем они толпились возле биржи труда. Ночевали они на вокзалах и бульварах. А наиболее счастливые из завоевателей устраивались у родственников и знакомых. Сумрачные коридоры больших московских квартир были переполнены спящими на сундуках провинциальными родственниками.

Ильфу повезло. Он поступил на службу в газету «Гудок» и получил комнату в общежитии типографии в Чернышевском переулке. Но нужно было иметь большое воображение и большой опыт по части ночевок в коридоре у знакомых, чтобы назвать комнатой это ничтожное количество квадратных сантиметров, ограниченное половинкой окна и тремя перегородками из чистой фанеры. Там помещался матрац на четырех кирпичках и стул. Потом, когда Ильф женился, ко всему этому был добавлен еще и примус. Четырьмя годами позже мы описали это жилье в романе «12 стульев», в главе «Общежитие имени монаха Бертольда Шварца».

Я не могу вспомнить, как и где мы познакомились с Ильфом. Самый момент знакомства совершенно исчез из моей памяти. Не помню я и характера ильфовской фразы, его голоса, интонаций, манеры разговаривать. Я вижу его лицо, но не могу услышать его голоса.

Я отчетливо вижу комнату, где делалась четвертая страница газеты «Гудок», так называемая четвертая полоса. Здесь в самом злющем роде обрабатывались рабковские заметки. У окна стояли два стола, соединенные вместе. Тут работали четыре сотрудника. Ильф сидел слева. Это был чрезвычайно насмешливый двадцатипятилетний человек в пенсне с маленькими голыми и толстыми стеклами. У него было немного асимметричное, твердое лицо с румянцем на скулах. Он сидел, вытянув перед собой ноги в остроносых красных башмаках, и быстро писал. Окончив очередную заметку, он минуту думал, потом вписывал заголовок и довольно небрежно бросал листок заведующему отделом, который сидел напротив. Ильф делал смешные и совершенно неожиданные заголовки. Запомнился мне такой: «И осел ушами шевелит». Заметка кончалась довольно мрачно: «Под суд!»

В комнате четвертой полосы создавалась очень приятная атмосфера остроумия. Острили здесь бесперывно. Человек, попадавший в эту атмосферу, сам начинал острить, но главным образом был жертвой насмешек. Сотрудники остальных отделов газеты побаивались этих отчаянных остряков.

Для боязни было много оснований. В комнате четвертой полосы на стене висел большой лист бумаги, куда наклеивались всяческие газетные ляпсусы: бездарные заголовки, малограмотные фразы, неудачные фотографии и рисунки. Этот страшный лист назывался так: «Сопли и вопли».

3

Как случилось, что мы с Ильфом стали писать вдвоем? Назвать это случайностью было бы слишком просто. Ильфа нет, и я никогда не узнаю, что думал он, когда мы начинали работать вместе. Я же испытывал по отношению к нему чувство огромного уважения, а иногда даже восхищения. Я был моложе его на пять лет, и, хотя он был очень застенчив, писал мало и никогда не показывал написанного, я готов был признать его своим метром. Его литературный вкус казался мне в то время безукоризненным, а смелость его мнений приводила

меня в восторг. Но у нас был еще один метр, так сказать, профессиональный метр. Это был мой брат, Валентин Катаев. Он в то время тоже работал в «Гудке» в качестве фельетониста и подписывался псевдонимом Старик Собакин. И в этом качестве он часто появлялся в комнате четвертой полосы. Однажды он вошел туда со словами:

— Я хочу стать советским Дюма-отцом.

Это высокомерное заявление не вызвало в отделе особенного энтузиазма. И не с такими заявлениями входили люди в комнату четвертой полосы.

— Почему же это, Валюн, вы вдруг захотели стать Дюма-пером? — спросил Ильф.

— Потому, Илюша, что уже давно пора открыть мастерскую советского романа, — ответил Старик Собакин, — я буду Дюма-отцом, а вы будете моими неграми. Я вам буду давать темы, вы будете писать романы, а я их потом буду править. Пройдусь раза два по вашим рукописям рукой мастера — и готово. Как Дюма-пер. Ну? Кто желает? Только помните, я собираюсь держать вас в черном теле.

Мы еще немного пошутили на тему о том, как Старик Собакин будет Дюма-отцом, а мы его неграми. Потом заговорили серьезно.

— Есть отличная тема, — сказал Катаев, — стулья. Представьте себе, в одном из стульев заперты деньги. Их надо найти. Чем не авантюрный роман? Есть еще темки... А? Соглашайтесь. Серьезно. Один роман пусть пишет Иля, а другой Женья.

Он быстро написал стихотворный фельетон о козликке, которого вез начальник пути какой-то дороги в купе второго класса, подписался «Старик Собакин» и куда-то убежал. А мы с Ильфом вышли из комнаты и стали прогуливаться по длиннейшему коридору Дворца Труда.

— Ну что, будем писать? — спросил я.

— Что ж, можно попробовать, — ответил Ильф.

— Давайте так, — сказал я, — начнем сразу. Вы один роман, а я другой. А сначала сделаем планы для обоих романов.

Ильф подумал.

— А может быть, будем писать вместе?

— Как это?

— Ну, просто вместе будем писать один роман. Мне понравилось про эти стулья. Молодец Собакин.

— Как же вместе? По главам, что ли?

— Да нет, — сказал Ильф, — попробуем писать вместе, одновременно, каждую строчку вместе. Понимаете? Один будет писать, другой в это время будет сидеть рядом. В общем, сочинять вместе.

В этот день мы пообедали в столовой Дворца Труда и вернулись в редакцию, чтобы сочинять план романа. Вскоре мы остались одни в громадном пустом здании. Мы и ночные сторожа. Под потолком горела слабая лампочка. Розовая настольная бумага, покрывавшая соединенные столы, была заляпана кляксами и сплошь изрисована отчаянными острьяками четвертой полосы. На стене висели грозные «Сопли и вопли».

Сколько должно быть стульев? Очевидно, полный комплект — двенадцать штук. Название нам понравилось. «Двенадцать стульев». Мы стали импровизировать. Мы быстро сошлись на том, что сюжет со стульями не должен быть основой романа, а только причиной, поводом к тому, чтобы показать жизнь. Мы составили черновой план романа в один вечер и на другой день показали его Катаеву. Дюма-отец план одобрил, сказал, что уезжает на Юг, и потребовал, чтобы к его возвращению, через месяц, была бы готова первая часть.

— А уже тогда я пройду рукой мастера, — пообещал он.

Мы заняли.

— Валюн, пройдитесь рукой мастера сейчас, — сказал Ильф, — вот по этому плану.

— Нечего, нечего, вы негры и должны трудиться.

И он уехал. А мы остались. Это было в августе или сентябре 1927 года.

И начались наши вечера в опустевшей редакции. Сейчас я совершенно не могу вспомнить, кто произнес какую фразу, кто и как исправил ее. Собственно, не было ни одной фразы, которая так или иначе не обсуждалась и не изменялась, не было ни одной мысли или идеи, которая тотчас же не подхватывалась. Но первую фразу романа произнес Ильф. Это я помню хорошо.

После короткого спора было решено, что писать буду я. Ильф убедил меня, что мой почерк лучше.

Я сел за стол. Как же мы начнем? Содержание главы было известно. Была известна фамилия героя — Воробьянинов. Ему уже было решено придать черты моего двоюродного дяди — председателя уездной земской управы. Уже была придумана фамилия для тещи — мадам Петухова и название похоронного бюро — «Милости просим». Не было только первой фразы. Прошел час. Фраза не рождалась. То есть фраз было много, но они не нравились ни Ильфу, ни мне. Затянувшаяся пауза тяготила нас. Вдруг я увидел, что лицо Ильфа сделалось еще более твердым, чем всегда, он остановился (перед этим он ходил по комнате) и сказал:

— Давайте начнем просто и старомодно: «В уездном городе N». В конце концов не важно, как начать, лишь бы начать.

Так мы и начали.

И в этот первый день мы испытали ощущение, которое не покидало нас потом никогда. Ощущение трудности. Нам было очень трудно писать. Мы работали в газете и в юмористических журналах очень добросовестно. Мы знали с детства, что такое труд. Но никогда не представляли себе, как трудно писать роман. Если бы я не боялся показаться банальным, я сказал бы, что мы писали кровью. Мы уходили из Дворца Труда в два или три часа ночи, ошеломленные, почти задохшиеся от папиросного дыма. Мы возвращались домой по мокрому и пустым московским переулкам, освещенным зеленоватыми газовыми фонарями, не в состоянии произнести ни слова.

Иногда нас охватывало отчаяние.

— Неужели наступит такой момент, когда рукопись будет наконец написана и мы будем везти ее в санках. Будет идти снег. Какое, наверно, замечательное ощущение — работа окончена, больше ничего не надо делать.

Все-таки мы окончили первую часть вовремя. Семь печатных листов были написаны в месяц. Это еще не был роман, но перед нами уже лежала рукопись, довольно толстенькая пачка больших, густо исписанных листов. У нас еще никогда не было такой толстенькой пачки. Мы с удовольствием перебирали ее, нумеровали и без конца высчитывали количество печатных знаков в строке, множили эти знаки на количество строк в странице, потом множили на число страниц. Да. Мы не ошиблись. В первой части было семь листов. И каждый лист содержал в себе сорок тысяч чудных маленьких знаков, включая запятые и двоеточия. Мы торжественно понесли рукопись Дюма-отцу, который к тому времени уже вернулся. Мы никак не могли себе представить: хорошо мы написали или плохо. Если бы Дюма-отец, он же Старик Собакин, он же Валентин Катаев, сказал нам, что мы принесли галиматю, мы несколько не удивились бы. Мы готовились к самому худшему. Но он прочел рукопись, все семь листов прочел при нас и очень серьезно сказал:

— Вы знаете, мне понравилось то, что вы написали. По-моему, вы совершенно сложившиеся писатели.

— А как же рука мастера? — спросил Ильф.

— Не прибедайтесь, Илюша. Обойдетесь и без Дюма-пера. Продолжайте писать сами. Я думаю, книга будет иметь успех.

Мы продолжали писать.

Остап Бендер был задуман как второстепенная фигура, почти что эпизодическое лицо. Для него у нас была приготовлена фраза, которую мы слышали от одного нашего знакомого

бильярдиста: «Ключ от квартиры, где деньги лежат». Но Бендер стал постепенно выпираться из приготовленных для него рамок. Скоро мы уже не могли с ним сладить. К концу романа мы обращались с ним, как с живым человеком, и часто сердились на него за нахальство, с которым он пролезал почти в каждую главу. Это верно, что мы поспорили о том, убивать Остапа или нет. Действительно, были приготовлены две бумажки. На одной из них мы изобразили череп и две косточки. И судьба великого комбинатора была решена при помощи маленькой лотереи. Впоследствии мы очень досадовали на это легкомыслие, которое можно было объяснить лишь молодостью и слишком большим запасом веселья.

И вот в январе месяце 1928 года наступила минута, о которой мы мечтали. Перед нами лежала такая толстая рукопись, что считать печатные знаки пришлось часа два. Но как приятно была эта работа!

Мы уложили рукопись в папку.

— А вдруг мы ее потеряем? — спросил я.

Ильф встревожился.

— Знаете что, — сказал он, — сделаем надпись.

Он взял листок бумаги и написал на нем: «Нашедшего просят вернуть по такому-то адресу».

И аккуратно наклеил листок на внутреннюю сторону обложки.

Все случилось так, как мы мечтали. Шел снег. Чинно сидя на санках, мы везли рукопись домой. Но не было ощущения свободы и легкости. Мы не чувствовали освобождения. Напротив. Мы испытывали чувство беспокойства и тревоги. Напечатают ли наш роман? Понравится ли он? А если напечатают и понравится, то, очевидно, нужно писать новый роман. Или, может быть, повесть.

Мы думали, что это конец трудов, но это было только начало.

4

Мы работали вместе десять лет. Это очень большой срок. В литературе это целая жизнь. Мне хочется написать роман об этих десяти годах, об Ильфе, о его жизни и смерти, о том, как мы сочиняли вместе, путешествовали, встречались с людьми, о том, как за эти десять лет изменялась наша страна и как мы изменялись вместе с ней. Может быть, со временем такую книгу удастся сочинить. Покуда же мне хотелось бы написать несколько строк о записных книжках Ильфа, оставшихся нам после его смерти.

— Обязательно записывайте, — часто говорил он мне, — все проходит, все забывается. Я понимаю — записывать не хочется. Хочется глазеть, а не записывать. Но тогда нужно заставить себя.

Очень часто ему не удавалось заставить себя сделать это, и его очередная записная книжечка не вынималась из кармана по целым месяцам. Потом надевался другой пиджак, и когда нужно было записать что-нибудь, книжечки не было.

— Худо, худо, — говорил Ильф, — обязательно надо записывать.

Проходило еще некоторое время, и у Ильфа появлялась новенькая записная книжка. Он с удовольствием рассматривал ее, торжественно хлопал ее ладонью по картонному или клеенчатому переплету и прятал в боковой карман с таким видом, что теперь-то уж будет вести записи каждый день и даже ночью будет просыпаться, чтобы записать что-нибудь. Некоторое время книжечка действительно вынималась довольно часто, потом наступал период охлаждения, книжечка забывалась в старом пиджаке и, наконец, торжественно приносилась домой новая.

Однажды Ильфу после настойчивых его просьб подарили в какой-то редакции или издательстве громадную бухгалтерскую книгу с толстой блестящей бумагой, разграфленной красными и синими линиями. Эта книга ему очень нравилась. Он без конца открывал ее и закрывал, внимательно рассматривал бухгалтерские линии и говорил:

— Здесь должно быть записано все. Книга жизни. Вот тут, справа, смешные фамилии и мелкие подробности. Слева — сюжеты, идеи и мысли.

К своим увлечениям Ильф относился иронически. Он, несомненно, любил эту толстую книгу, как носительницу совершенно правильной идеи — все записывать. Но он знал, что все равно никогда не заставит себя записывать каждый день в течение всей своей жизни, и потому подшучивал над книгой. Постепенно увлечение прошло, и в книге появились рисунки, небрежные и резкие ильфовские рисунки, где какой-нибудь профиль, или шапочка с пером, или странный верблюд с пятнадцатью горбами («верблюд-автобус», как называл его Ильф) были повторены десятки и даже сотни раз.

После Ильфа осталось много книжечек. Некоторые из них заполнены только наполовину, некоторые на треть, а в некоторых записи занимают лишь две-три странички. Остальные пусты или покрыты рисунками.

В 1925 году мы еще не начали писать вместе с Ильфом, и он главным образом занимался журналистикой.

Редакция послала Ильфа в Среднюю Азию. Это было его первое большое путешествие. Он потом часто и с удовольствием о нем вспоминал.

Разбирая записные книжки Ильфа, мы нашли заметки, касающиеся поездки в Среднюю Азию. Ильф был очень строг и даже беспощаден в своих литературных вкусах. От писателя он требовал точности, умения собрать и заготовить впрок наблюдения, неожиданные словесные обороты, термины. Мельком услышанные рассказы какого-нибудь случайного попутчика, кусочек ландшафта, промелькнувший в окне вагона, цвет неба или моря, форма дерева или описание животного — вот чему были посвящены его первые записи.

Это была, если можно так выразиться, писательская кухня.

Впоследствии, работая вместе, мы, прежде чем начать писать задуманную книгу, заготавливали на листах бумаги самые разнообразные наблюдения, сюжеты и мысли. Я уже говорил о том, что сейчас невозможно установить, кто что придумал. Но кое-что Ильф извлекал из своих записных книжек и требовал того же от меня.

Во время последнего путешествия по Америке мы купили пишущую машинку. Ильф очень увлекся ею. Ему нравился сам процесс печатания. В первый же вечер (это было в Нью-Йорке) он сел писать, вернее — печатать, дневник. Он собирался делать это каждый день. Но поездка была так утомительна, что на дневник не хватало ни времени, ни сил.

Вернувшись в Москву, уже смертельно больной, Ильф снова вернулся к этой идее и стал регулярно записывать свои наблюдения, но уже не в форме дневника, а в виде коротеньких самостоятельных записей. За последний год своей жизни он напечатал так около двух листов.

Эти заметки он делал весной 1936 года в Остафьево и в Кореизе, затем летом на даче под Москвой, осенью — в Форосе и зимою, с 1936 по 37 год, в Москве.

Эта последняя работа — не просто «писательская кухня». На мой взгляд, его последние записки (они напечатаны сразу на машинке, густо, через одну строчку) — выдающееся литературное произведение. Оно поэтично и грустно.

Ильф знал, что умирает. Потому так грустны его последние записи. Он был застенчив и ужасно не любил выставлять себя напоказ.

— Вы знаете, Женя, — говорил он мне, — я принадлежу к тем людям, которые входят в двери последними.

Только в двух местах рукописи Ильф вспоминает о своей болезни:

«...и так мне грустно, как всегда, когда я думаю о случившейся беде».

«Такой грозный ледяной весенний вечер, что холодно и страшно делается на душе. Ужасно, как мне не повезло».

Это все, что он написал о себе.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	5
-------------------	---

ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ

Часть первая. Старгородский лев

ГЛАВА I. Безенчук и «нимфы»	13
ГЛАВА II. Кончина мадам Петуховой.	23
ГЛАВА III. «Зерцало грешного»	29
ГЛАВА IV. Муза дальних странствий	34
ГЛАВА V. Великий комбинатор	38
ГЛАВА VI. Бриллиантовый дым.	45
ГЛАВА VII. Следы «Титаника»	49
ГЛАВА VIII. Голубой воришка	53
ГЛАВА IX. Где ваши локоны?	62
ГЛАВА X. Слесарь, попугай и гадалка	68
ГЛАВА XI. Алфавит — зеркало жизни	77
ГЛАВА XII. Знойная женщина — мечта поэта	87
ГЛАВА XIII. Дышите глубже: вы взволнованы!	98
ГЛАВА XIV. Союз «Меча и орала»	110

Часть вторая. В Москве

ГЛАВА XV. Среди океана стульев	121
ГЛАВА XVI. Общежитие имени монаха Бертольда Шварца	123
ГЛАВА XVII. Уважайте матрацы, граждане!	130
ГЛАВА XVIII. Музей мебели	136
ГЛАВА XIX. Баллотировка по-европейски	144
ГЛАВА XX. От Севильи до Гренады	153
ГЛАВА XXI. Экзекуция	162
ГЛАВА XXII. Людоедка Эллочка	171
ГЛАВА XXIII. Авессалом Владимирович Изнуренков	177
ГЛАВА XXIV. Клуб автомобилистов.	186
ГЛАВА XXV. Разговор с голым инженером	193
ГЛАВА XXVI. Два визита	199
ГЛАВА XXVII. Замечательная допровская корзинка	204
ГЛАВА XXVIII. Курочка и тихоокеанский петушок	210
ГЛАВА XXIX. Автор «Гаврилиады»	218
ГЛАВА XXX. Могучая кучка, или Золотоискатели	227
ГЛАВА XXXI. В театре Колумба	233

Часть третья. Сокровище мадам Петуховой

ГЛАВА XXXII. Волшебная ночь на Волге	245
ГЛАВА XXXIII. Нечистая пара	252
ГЛАВА XXXIV. Изгнание из рая	259
ГЛАВА XXXV. Междупланетный шахматный конгресс	264
ГЛАВА XXXVI. И др.	278
ГЛАВА XXXVII. Вид на малахитовую лужу	284
ГЛАВА XXXVIII. Зеленый Мыс	292
ГЛАВА XXXIX. Под облаками	300
ГЛАВА XL. Землетрясение	306
ГЛАВА XLI Сокровище	317

ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК

От авторов	327
----------------------	-----

Часть первая. Экипаж «Антилопы»

ГЛАВА ПЕРВАЯ. О том, как Паниковский нарушил конвенцию	329
ГЛАВА ВТОРАЯ. Тридцать сыновей лейтенанта Шмидта	340
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Бензин ваш — идеи наши	351
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Обыкновенный чемоданишко	362
ГЛАВА ПЯТАЯ. Подземное царство	370
ГЛАВА ШЕСТАЯ. «Антилопа-Гну»	375
ГЛАВА СЕДЬМАЯ. Сладкое бремя славы	386
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. Кризис жанра	396
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. Снова кризис жанра	408

Часть вторая. Два комбинатора

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. Телеграмма от братьев Карамазовых	419
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. Геркулесовцы	422
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. Гомер, Мильтон и Паниковский	429
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ. Васисуалий Лоханкин и его роль в русской революции	438
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ. Первое свидание	452
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ. Рога и копыта	462
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ. Ярбух фюр психоаналитик	472
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ. Блудный сын возвращается домой	481
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ. На суше и на море	489
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ. Универсальный штемпель	501
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ. Командор танцует танго	506

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ. Конец «Вороньей слободки»	516
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ. Командовать парадом буду я	521
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ. Сердце шофера	527
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. Погода благоприятствовала любви . . .	536
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ Три дороги	548

Часть третья. Частное лицо

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ. Пассажир литерного поезда	557
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ. «Позвольте войти наемнику капита- ла»	565
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ. Потный вал вдохновенья	574
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ. Гремящий Ключ	582
ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ. Александр Ибн-Иванович	591
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ. Багдад	598
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ. Врата великих возможностей	603
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ. Индийский гость	610
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. Дружба с юностью	615
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ. Его любили домашние хозяйки, домашние работницы, вдовы и даже одна женщина — зубной техник . .	624
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ. Кавалер ордена Золотого Руна . . .	634

НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ ГОРОДА КОЛОКОЛАМСКА

СИНИЙ ДЬЯВОЛ	641
ГОСТЬ ИЗ ЮЖНОЙ АМЕРИКИ	644
ВАСИСУАЛИЙ ЛОХАНКИН	648
ГОРОД И ЕГО ОКРЕСТНОСТИ	651
СТРАШНЫЙ СОН	655
ПРОЛЕТАРИЙ ЧИСТЫХ КРОВЕЙ	658
ЗОЛОТОЙ ФАРШ	662
КРАСНЫЙ КАЛОШНИК-ГАЛОШНИК	667
СОБАЧИЙ ПОЕЗД	669
ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ	673
МОРЕПЛАВАТЕЛЬ И ПЛОТНИК	676

ДОПОЛНЕНИЯ

ПРОШЛОЕ РЕГИСТРАТОРА ЗАГСА	679
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ОБ ИЛЬФЕ	693



Смех может быть чрезвычайно серьезным, потому что, веселя, он в то же время разит. Он придает чувство уверенности тому, кто смеется, и обливает ядом того, над кем смеются; недаром французы говорят, что смеяться — это убивать. Мольер писал веселые комедии, а Вольтер — веселые повести и рассказы, но оба они были чрезвычайно серьезными людьми. Ильф и Петров — очень веселые люди. В них много молодости и силы. Им всякая пошлость жизни не импонирует. Они сознают свою

внутреннюю силу, а стало быть, превосходство над окружающей обывательщиной, над жизненной мелюзгой, над мелочным бытом; они знают — эта сторона советского быта, эта мелочь, обывательщина является только испачканным подолом одежда революции. Они сознают, что дальше, за пеленой этих масок, курьезных событий, страстишек и жалких пороков имеется совершенно другая жизнь героического напряжения. Поэтому они и веселы, поэтому они позволяют себе позубоскалить над жизненными явлениями того мизерного и карликового порядка, которых у нас сколько угодно. Дело в том, что гигантское плановое хозяйство, титаническое строительство нового мира врезалось в мещанскую Россию. А мещанская Россия от Гоголя через Успенского, Чехова до городка Окурова Максима Горького оставалась все той же затхлой, жалкой и мелкой. И теперь она пришла в своеобразное кипение и, как может, реагирует на исполинское явление революции и реагирует, конечно, невпопад. Если она страдает и гибнет, то это нельзя взять всерьез, — почему же не гибнуть этому мусору, который история должна смести со своих путей? Если она волнуется или протестует — все эти суждения и вытекающие отсюда поступки являются лилипутской суетней «вокруг настоящего».



Граблевская Ольга Венедиктовна, родилась в Санкт-Петербурге, окончила факультет книжной графики института им. И. Е. Репина, член Союза художников России. Оформила более сотни книг. Работы периодически экспонируются на коллективных и персональных выставках. В частности, в 2008 году в Михайловском театре состоялась персональная выставка, посвященная Морису Бешару. В 2014 году в Копенгагене, в Москве, в Пятигорске, в Санкт-Петербурге и др. — персональные выставки, посвященные 200-летию юбилею М. Ю. Лермонтова. В 2001 году О. Граблевская стала лауреатом Международного конкурса карикатуристов, проходившем в Турции. Ольга Венедиктовна

— штатный художник журнала «Костёр», сотрудничает со многими петербургскими издательствами. В 2013 году стала победителем Всероссийского конкурса иллюстраторов «Лермонтов 2014». В 2014 году пятигорским издательством «Снег» выпущен подарочный двухтомник М. Ю. Лермонтова со 150-ю иллюстрациями, выполненными О. Граблевской.

ISBN 978-5-9603-0560-0

